

Константины Смирновы

8

8

Константины
Смирновы



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1982

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВОСЬМОЙ

Разные дни войны

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

том I
1941 год

Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1982

Оформление художника
ВЛ. МЕДВЕДЕВА

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1982 г.

С $\frac{4702010200-126}{028(01)-82}$ подписное

Подзаголовок этой выходящей сейчас в двух томах книги определяет ее характер. Она — не мемуары профессионального военного и не труд историка, а именно дневник писателя, своими глазами видевшего какую-то частицу событий Великой Отечественной войны. События эти были необъятно огромны, а круг моих личных наблюдений весьма ограничен, и я достаточно хорошо понимаю это, чтобы не претендовать на их полноту.

Следует добавить, что моя работа тех лет выходила за рамки обязанностей военного корреспондента «Красной звезды», и в книге речь пойдет не об одних фронтовых поездках, но и о писательской работе.

Наиболее подробные записи связаны у меня с началом и концом войны, с сорок первым и сорок пятым годами. Записи за сорок второй, сорок третий и сорок четвертый годы иногда довольно подробны, а иногда носят отрывочный характер. Следы некоторых поездок на фронт остались только в корреспонденциях, печатавшихся в «Красной звезде» и «Правде», в копиях репортажей, которые я посылал через Информбюро в Америку, и в скоросписи фронтовых блокнотов. Я хорошо понимал, как важно для писателя вести военные записи, и, пожалуй, даже преувеличивал их значение, когда, отвечая во время войны на вопросы Американского Телеграфного Агентства, писал:

«Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же, как кончится война, им нужно будет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны и как бы их за это ни хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали на войне за войну, окажутся именно их дневники».

Однако эти слова разошлись с делом. Важность дневниковых записей я понимал, а вести их систематически порой не хватало времени. В промежутках между фронтовыми поездками и корреспондентской работой я написал за те годы две книги стихов, три пьесы и повесть «Дни и ночи». Успевая одно — не успевал другого. И дело было не только в недостатке времени, а и в недостатке душевных сил.

В книге «Разные дни войны» читатель встретится:

Во-первых, с теми страницами моих военных записок, которые были продиктованы между поездками на фронт или — что гораздо реже — были сделаны по памяти вскоре после войны; текст их сокращен мною главным образом за счет малосущественных подробностей корреспондентской жизни и некоторых мест, носивших личный характер.

Во-вторых, со страницами, взятыми мною из фронтовых блокнотов, из переписки военного, а иногда и послевоенного времени, и в нескольких случаях — из моих военных корреспонденций.

И наконец, в-третьих, с моими нынешними воспоминаниями и размышлениями, основанными по большей части на знакомстве с архивными материалами. Быть может, некоторым из читателей покажется, что я отвел в книге излишне много места выяснению биографических подробностей и дальнейших судеб даже мельком встреченных мною на фронте людей. Но мне хочется напомнить, что оборванность людских судеб — одна из самых трагичных черт войны. И сейчас у меня все обостряется чувство неоплатности долга, все неотложней становится обязанность: всюду, где можешь, назвать разысканные тобою имена воевавших людей, проследить в сложных переплетях войны ниточки их судеб, иногда безвозвратно оборванных, а иногда просто не до конца нам известных, в том числе тех, кто остался жив, но, случалось, был записан в мертвые ошибкою памяти или документа.

Подготавливая книгу к печати, я старался, чтобы читателю в каждом случае было ясно, с чем он имеет дело: с тем, что я писал в те годы, или с тем, что вспоминаю теперь.

Книга — документальная, в ней нет вымышленных персонажей, и всюду, где я считал себя вправе это сделать, я сохранил подлинные имена и фамилии. В такой книге, как эта, возможны ошибки памяти, и я буду признателен тем, кто на них укажет.

Мне остается честно предупредить тех из читателей, которые знают роман «Живые и мертвые» и примыкающие к этому роману повести «Из записок Лопатина», что они столкнутся здесь, в дневнике, с уже знакомыми им отчасти лицами и со многими сходными ситуациями и подробностями.

Это объясняется тем, что, когда пишешь повесть или роман о таком тяжком деле, как война, фантазировать и брать факты с потолка как-то не тянет. Наоборот, всюду, где это позволяет твой собственный жизненный опыт, стараешься держаться поближе к тому, что видел на войне своими глазами.

При всей разнице литературных жанров «Живые и мертвые» были написаны, в общем, о том же самом, что и дневник. Он был отправной точкой для романа и предшествовал ему по времени, хотя сейчас для многих читателей, когда они встретятся в дневнике с тем, что уже читали в романе, все будет выглядеть как раз наоборот.

В дальнейшем, на протяжении книги, я буду лишь в самых необходимых случаях напоминать об этой связи одного с другим, но здесь, во вступлении, хочу без недомолвок признаться, что для меня самого, как для писателя, эта связь принципиально важна...

СОРОК ПЕРВЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Двадцать первого июня меня вызвали в радиокомитет и предложили написать две антифашистские песни. Так я почувствовал, что война, которую мы, в сущности, все ожидали, очень близка.

О том, что война уже началась, я узнал только в два часа дня. Все утро 22 июня писал стихи и не подходил к телефону. А когда подошел, первое, что услышал: война.

Сейчас же позвонил в политуправление. Сказали, чтоб позвонил еще раз — в пять.

Шел по городу. Люди спешили, но, в общем, все было внешне спокойно.

Был митинг в Союзе писателей. Во дворе столпилось много народу. Среди других были многие из тех, кто так же, как и я, всего несколько дней назад вернулся с лагерных сборов после окончания курсов военных корреспондентов. Теперь здесь, во дворе, договаривались между собой, чтоб ехать на фронт вместе, не разъединяться. Впоследствии, конечно, все те разговоры оказались наивными, и разъехались мы не туда и не так, как думали.

На следующий день нас — первую партию, — человек тридцать, вызвали в политуправление и распределили по газетам. Во фронтовые — по два, в армейские — по одному. Мне предстояло ехать в армейскую газету. Было немножко неожиданно это предстоящее одиночество. Писательское, конечно.

Потом вместе с Долматовским был в райкоме партии. Перед отъездом на фронт я стал кандидатом партии — секретарь райкома вручил мне кандидатскую карточку, а Долматовскому партийный билет. После этого мы опять до вечера были в Наркомате обороны. Там выписывали документы: мне в армейскую газету 3-й армии в Гродно. Получили документы и обмундирование. Оружия не дали, сказали: достанете на фронте. Там, в вещевом цехгаузе, я в последний раз видел многих из тех, с кем мы разъезжались.

Шумели, примеряя военную форму. Были очень оживлены, может быть, даже слишком, первичали.

Шинель виюныхх выбрал себе не по росту, и пришлось на следующее утро, 24-го, менять в военторге. Долматовский купал себе там шпалы на петлицы. Так и простились с ним посреди магазина.

В ночь с 23-го на 24-е была первая воздушная тревога, как потом оказалось — учебная. Все это, конечно, были игрушки, но я тащил детей с нятого этажа вниз, в убежище, и мне все это казалось чрезвычайно серьезным.

Двадцать четвертого, еще засветло, ездил на вокзал, чтобы оформить до Минска свой военский литер. Но места так и не добился, только узнал, когда пойдет поезд. Решили, что как-нибудь сяду. Было настроение проститься с Москвой сегодня и не откладывать отъезда еще на день.

Вечером в Москве было абсолютно темно. Машину, в которой я ехал на вокзал, задержали: шофер ехал не с такими предохранительными сетками, какие положено было иметь. К счастью, подвезла другая машина, и в последнюю минуту я все-таки попал к поезду, отходившему на Минск. Верней, думал, что в последнюю минуту, потому что поезд ушел только через два часа.

На вокзале кое-где горели старые лампочки. Черный вокзал, толпа людей, непонятно, когда, куда и какой идет поезд, какие-то решетки, через которые не пускают. Перебросил чемодан, потом перелез сам.

Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели, и мне казалось, что вот таким я всегда и буду. Не знаю, как другие, а я, несмотря на Халхин-Гол, в эти первые два дня настоящей войны был наивен, как мальчишка.

Поезд тронулся. Вагоны были, неизвестно почему, дачные, без верхних полок, хотя поезд шел до Минска.

Я должен был явиться в политуправление фронта в Минске, а оттуда — в армейскую газету 3-й армии. В вагоне ехали главным образом командиры, возвращавшиеся из отпусков. Было тяжело и страшно. Судя по нашему вагону, казалось, что половина Западного военного округа была в отпуску. Я не понимал, как это случилось.

Ехали ночь на 25-е и весь день 25-го. Вечером в Орше бомбили, но далеко от поезда. 26-го, вернее, в ночь на 26-е поезд подошел к Борисову. Известия с каждым часом были все тревожнее. И надо сказать, мы быстро привыкали к ним, хотя им и трудно было поверить.

Рядом со мной в вагоне сидели полковник-тапкист и его сын, мальчик лет шестнадцати, которого отцу разрешили взять с со-

бой в армию. Кроме них, один артиллерийский капитан, по виду спокойный человек.

Слезли в Борисове в шесть утра. Дальше поезда не шли. Были сведения, что пути до Минска разбомблены и перехвачены десантом. Потом говорили, что немцы 26-го уже вышли на железную дорогу между Минском и Борисовом, обойдя Минск. Но нам это еще не приходило в голову, думали, десант. Мы вылезли прямо у станции, свалили в кучу чемоданы. Сын полковника заботливо помогал старшим устроиться с харчами. Все тащили все, что было, и ели вместе. Кто-то вдруг притащил бочонок сметаны. Черпали сметану тарелками, кружками и даже касками. Было в этом что-то грустное. Внешне как будто ничего особенного, а в сущности: эх, где наша не пропадала!

Поез, три часа метался по городу в поисках власти. Ни комендант станции, ни комендант города ничего не могли сказать. Начальник гарнизона корпусной комиссар Сусайков был не то в городе, не то километрах в двенадцати от города у себя в броне-танковом училище, которым он командовал.

После долгих поисков мы с артиллерийским капитаном поймали пятитонку, шофер которой готовился бросить ее из-за того, что кончился бензин, и поехали по Минскому шоссе искать хоть какое-нибудь начальство.

Над городом крутились немецкие самолеты. Были отчаянная жара и пыль. У выезда из города, возле госпиталя, я увидел первых мертвых. Они лежали на носилках и без носилок. Не знаю, откуда они появились. Наверное, после бомбежки.

По дороге шли войска и машины. Одни в одну сторону, другие — в другую. Ничего нельзя было понять.

Выехали из города, по там, где стояло броне-танковое училище, верней, должно было стоять, и где, по нашим расчетам, мог находиться начальник гарнизона, все было пастежк распахануто и пусто. Стояли только две танкетки, и в ожидании отъезда сидели в одной из комнат их экипажи. Никто ничего не знал. Начальник гарнизона, по слухам, был где-то па Минском шоссе, а училище было уже эвакуировано.

Поехали обратно в город. Немецкие самолеты гонялись за машинами. Один прошел над нами, строча из пулемета. От гроу-зовика полетели щепки, но никого не задело. Я плюхнулся в пыль в придорожную канаву.

Вернулись в комендатуру. Комендант — старший лейтенант — кричал: «Закопать пулеметы!» За два часа нашего отсутствия многое переменилось. По городу шли и бежали неизвестно куда люди.

Я попросил коменданта выдать мне наган. На это комендант мне ответил: «Эх! Что бы вам обратиться раньше на полчаса. Ничего не осталось. Все за час роздали. Даже маузеры раздавали рядовым бойцам».

В нашей машине бензин действительно был уже на исходе. Узнав, где находится нефтебаза — она была примерно в пятнадцати километрах в сторону Минска, — поехали туда за бензином. По дороге посадили в машину какого-то интенданта и еще двух-трех военных.

На нефтебазе все оказалось спокойно, хотя по дороге нас уверяли, что там уже немцы. Пока мы ведрами заливали бензин в машину, капитан пошел к начальнику нефтебазы что-то выяснить. Войдя вслед за ним, я увидел страшную картину: капитан, с которым я приехал, и какой-то полковник держали под взведенными наганами двух командиров в форме саперов. Один из них был с орденами. У обоих было отобрано оружие. Как впоследствии оказалось, их прислали сюда выяснить возможность подрыва нефтебазы, и не то они перепутали и явились уже подрывать ее, не то их не так поняли, в общем, вышло недоразумение, из-за которого капитан и полковник приняли их за диверсантов и пять минут держали под револьверными дулами. Когда все наконец выяснилось, один из саперов — помолодой майор с двумя орденами — стал кричать, что с ним никогда еще такого не было, что он три раза был ранен в финскую кампанию, что после такого позора ему остается только застрелиться. С трудом удалось его успокоить.

Заправившись бензином, поехали обратно. На переезде стоял длиннейший состав, загораживавший дорогу. Голова его упиралась в хвост другого состава, загораживавшего следующий переезд. И так, кажется, до бесконечности. Двое из сидевших в кузове нашей машины стали шуметь и требовать, чтобы мы бросили машину и шли пешком, потому что поезда никогда не пойдут и нас тут настигнут немцы. Мы с капитаном на них не кричали.

Но действительно пришлось ждать около часа. Где-то бухала артиллерия. Было отвратительное ощущение неизвестности, а у меня к тому же — безоружности. Болтавшаяся на боку пустая кобура только раздражала.

Когда мы снова добрались до города, комендатура грузилась. На мой вопрос, что происходит, комендант охрипшим голосом прокричал:

— Есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, перейти на ту сторону Березины и там, не пуская немцев, защищаться до последней капли крови!

Мы выехали из города. По пыльной дороге на восток шли машины, изредка — орудия. Двигались пешком люди. Теперь все уже направлялись в одну сторону — на восток.

На дамбе, перед мостом, стоял человек с двумя паганами — за поясом и в руке. Он останавливал людей и машины и вне себя, грозя застрелить, кричал, что он должен остановить здесь армию и он остановит ее и будет стрелять всех, кто попробует отступить. Этот человек был искренен в своем отчаянии, но все это вместе взятое было нелепо, и люди равнодушно ехали и шли мимо него. Он пропускать их, хватал за гимнастерки следующих и опять грозил застрелить.

Переехав через мост, мы свернули с дороги и остановились в небольшом редком лесу, метрах в шестистах от реки. Здесь уже кишмя кишело. По большей части все это были командиры и красноармейцы, ехавшие из отпусков обратно в части. А кроме них, бесконечное количество призванных, упорно двигавшихся на запад, на свои призывные пункты.

Было уже часа четыре дня. Несколько полковников, в том числе и тот полковник-танкист Лизюков, с которым я ехал в одном вагоне, наводили в лесу порядок. Составляли списки, делили людей на роты и батальоны и отправляли налево и направо вдоль берега Березины занимать оборону. Было много винтовок, несколько пулеметов и орудий.

Артиллерийский капитан, с которым я ездил, отправился еще раз обратно в Борисов за снарядами и пушками, потому что хотя здесь были и пушки и снаряды, но калибр снарядов не соответствовал калибру орудий.

Я загнал машину в лес и пошел записываться в строевые списки. Записавшись, встретил военного юриста, который тоже ехал со мной в одном вагоне. Он сказал мне, что ему приказали заниматься тут его прокурорскими делами, и посоветовал мне быть при нем: «Ведь не газету же здесь выпускать». Через несколько минут он притащил мне откуда-то винтовку со штыком, но без ремня, так что мне все время приходилось держать ее в руках.

Через полчаса после того, как я попал сюда, немцы с воздуха обнаружили наше скопление и стали обстреливать лес из пулеметов. Волны самолетов шли одна за другой примерно через каждые двадцать минут.

Мы ложились, прижимаясь головами к тощим деревьям. Лес был редкий, и нас очень удобно было расстреливать с воздуха. Никто друг друга не знал, и при всем желании люди не могли толком ни приказывать, ни подчиняться.

— Хоть бы дождаться темноты, — сказал мне прокурор.

Наконец часа через три над лесом низко прошло звено И-15. Мы вскочили, довольные, что наконец-то появились наши самолеты. Но они полили нас хорошей порцией свинца. Несколько человек рядом со мною было ранено — все в поги. Как лежали в ряд, так их и пересекла пулеметная очередь.

Мы думали, что это случайность, ошибка, но самолеты развернулись и прошли над лесом во второй и в третий раз. Звезды на их крыльях были прекрасно нам видны. Когда они в третий раз прошли над лесом, кому-то из пулемета удалось сбить один самолет. Туда, где горел этот самолет, на опушку, побежало много народа. Бежавшие туда говорили, что из кабины вытащили труп полусгоревшего немецкого летчика.

Не понимаю, как это случилось. Остается думать, что немцы в первый день где-то захватили несколько самолетов и научили своих летчиков летать на них. Во всяком случае, впечатление у нас осталось удручающее.

Штурмовали нас до поздней ночи. К ночи вернулся капитан и привез снаряды. Он был очень доволен тем, что дорвался до своего артиллерийского дела и не чувствует уже себя неизвестно куда гонимой пешкой.

Мы чего-то пожевали, кажется сухарей. А пить — устали так, что за водой даже не пошли.

Я уже в темноте улегся у колес грузовика, положив под голову шинель, а винтовку рядом. Было чувство усталости и полного недоумения перед всем, что кругом делается. Но вместе с тем была вера, что все это случайность, какой-то немецкий прорыв, что впереди и сзади есть наши войска, которые придут и все поправят.

Я устал до такой степени, что, когда ночью нас опять начали обстреливать с воздуха, проснулся, только когда кто-то над ухом выстрелил и открылась отчаянная стрельба в небо. Машины ехали куда-то, пятались между деревьями одна на другую, разбивались, ломались. Над горизонтом то и дело повисали осветительные ракеты и слышались далекие взрывы бомб.

Наш водитель хотел было рвануться вслед за другими, но я удержал его, решив не выезжать из лесу, пока не прекратится паника.

Через полчаса в лесу стало тише. Сев в пятитонку, стали пробираться к дороге. Выехали на опушку. Оставив там водителя с машиной, я вышел на дорогу и наткнулся на группу из четырех или пяти человек, которые разговаривали с кем-то, одетым в штатское, и требовали у него документы. Он отвечал, что документов у него нет. Они требовали еще настойчивее; тогда он дрожащим голосом крикнул: «Документы вам? Все Гитлера ловите!

Все равно вам его не поймать!» Военный, стоявший рядом со мной, молча поднял паган и выстрелил. Штатский согнулся и упал.

Над нашими головами загорелась ослепительная белая ракета, и сразу же шагах в сорока грохнула бомба. Я упал. Потом грохнуло еще раз и еще — уже дальше. Я поднялся. Рядом со мной лежал застреленный, около него — почти на нем — убитый осколком бомбы военный, один из только что стоявших здесь. А больше никого не было.

Я вернулся в лес. Шофер лежал под машиной, головой — под мотор. Выехав с ним на дорогу, мы узнали у проходивших военных, что всем приказано отойти километров на семь назад, туда, где через лес идет просека.

На лесной дороге было темно. Я шел перед машиной, чтобы не дать ей врезаться в деревья. Когда рассвело, мы добрались до опушки леса, где чуть ли не за каждым деревом стояли машины. Люди рыли окопы и щели.

Я оставил машину в лесу, рядом с другими машинами, а сам пошел искать какое-нибудь начальство. Мне указали как на старшего на корпусного комиссара Сусайкова. Он стоял на лесной дороге, молодой небритый человек в надетой на глаза пилотке, в красноармейской шинели, накинутой на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Я подошел к нему и по своей все еще не выветрившейся наивности спросил, где редакция газеты, в которой я мог бы работать, потому что я писатель и направлен в армейскую газету.

Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и сказал равнодушно:

— Разве вы не видите, что делается? Какая газета?!

Я сказал, что мне надо явиться в штаб фронта, в политуправление. Он покачал головой. Он не знал, где штаб фронта, и вообще он ровно ничего не знал, так же как и все находившиеся вместе с ним в этом лесу.

В семь, когда солнце поднялось уже высоко, немцы снова начали бомбить и обстреливать это место. Приходилось ложиться, вставать, опять ложиться, опять вставать. Во время одного из таких лежаний я увидел прокурора. Оказывается, он лежал рядом со мной.

— Что ты делаешь? — спросил он меня.

Я сказал, что пока ничего.

— Ну, тогда будешь работать у нас, хорошо?

Я сказал «хорошо» и подсел к той кучке людей, которая пыталась здесь организовать военную прокуратуру. Кроме прокурора, тут были какой-то политрук с авиационными петлицами и еще несколько человек.

Кругом был мелкий лес и редкий березняк. Я вспомнил свой монгольский опыт и, так как мне уже надоело лежать плашмя па животе с чувством полной беспомощности, предложил достать лопаты; мы достали их, и под моим руководством работники све-жеиспеченной прокуратуры стали рыть щели, как мы рыли их в Монголии: в виде буквы «г».

Часа через два, успев за это время по два раза перележать бомбежки, мы вырыли в песчаном грунте добротную глубокую и узкую щель. Только к концу этой работы я вспомнил, что уже двое суток почти ничего не ел и не пил. Меня клонило ко сну, должно быть, от усталости и голода. Я сел на краю щели, прислонился к березовому кусту и задремал. Лицо пригревало солнцем, и, как обычно бывает в такие минуты короткого и случайного сна, наснех снилось что-то очель приятное.

Среди этого сна снова началась трескотня пулеметов. Я автоматически, еще не проснувшись, прыгнул в щель. Самолеты шли над лесом бреющим, и вслед за мной в щель скатились люди. Не успел я окончательно проснуться, как мне на голову ссыпалось что-то очень тяжелое и спросило женским голосом:

— Вам не тяжело?

— Не тяжело, — сказал я.

А женщина все еще сидела на моей шее, пытаюсь как-то подвинуться, чтобы мне было легче, и от этого у меня трещали позвонки. Через пять минут, когда, сделав несколько кругов, самолеты ушли, я почувствовал, как тяжесть ослабела, и вылез из щели. Оказывается, на мне сидела довольно плотная санитарка. Она теперь стояла передо мной и робко извинялась: говорила, что все люди, всем жить хочется. Оставалось только согласиться.

События дня путаются у меня в голове. Я засыпал, потом стреляли, я лез в щель. Потом опять засыпал. Помню, как меня послали сопровождать каких-то двух людей — мужчину и женщину, — как я вышел на открытое место, стоял с ними у ограды, проверял их документы и выяснял с дотошностью доморощенного следователя, откуда они и как они сюда попали.

А в это время опять пошли над головой самолеты. Кругом все легли или побежали в лес. И мне хотелось сделать то же самое, но было неудобно. Я стоял и продолжал расспрашивать этих двух — мужчину и женщину, — которые, кажется, были больше напуганы моими расспросами, чем пулеметными очередями с воздуха.

Тут же, недалеко, у забора, шлепались пули, по нас не заделало, все обошлось благополучно.

Потом помню майора с обвязанной шеей — в него только что выстрелил по недоразумению какой-то командир, приняв его за

диверсанта, и он волновался, обижался, кричал сердитым голосом, но это ни на кого не производило впечатления.

Я подошел к самой опушке, где лесная дорога выходила на Минское шоссе. Вдруг в пяти шагах от меня на шоссе выскочил боец с винтовкой, с сумасшедшими, вылезающими из орбит глазами и закричал сдавленным, срывающимся голосом:

— Бегите! Немцы окружили! Пропали!

Кто-то из командиров, стоявших рядом со мной, закричал:

— Стреляй в него, в паникера! — и, вытащив револьвер, стал стрелять.

Я тоже вынул паган, который получил час назад, и тоже стал стрелять по бегущему. Сейчас мне кажется, что это был, паверно, сумасшедший человек, с психикой, не выдержавшей страшных испытаний этого дня. Но тогда я об этом не думал, а просто стрелял в него.

Очевидно, мы в него не попали, потому что он побежал дальше. Какой-то капитан выскочил ему наперерез на дорогу и, пытаясь задержать, схватил за винтовку. После борьбы красноармеец вырвал винтовку. Она выстрелила. Еще больше испугавшись этого выстрела, он, как затравленный, оглянулся и кинулся со штыком на капитана. Тот вытащил паган и уложил его. Три или четыре человека молча стащили тело с дороги.

Над шоссе опять пошли немецкие самолеты, и все снова легли на землю или в щели.

Потом помню двух человек — полкового комиссара и бригадвоенврача, которые вели за собой через лес под командой человек полтора-два выпускников Военно-медицинской академии. Я так и не понял: не то они практиковались в Минске, не то их зачем-то под командой отправили в Минск, и теперь, потеряв по дороге уже двадцать человек во время бомбежек и обстрелов, они шли обратно на Оршу. Они искали печальство, просили им чем-нибудь помочь, но кто и чем мог им тут помочь? Им просто предложили идти дальше. И они так и сделали — пошли.

Потом еще через час военюрист подошел ко мне и сказал:

— Вы ведь, кажется, писатель?

Я сказал, что да.

— Вот помогите тут определить одного человека. Он по вашей части, если не врет. Он все документы и военный билет со страху порвал, но говорит, что работал в Союзе писателей в Минске. Может, это и правда?

Я подошел к этому человеку. Он был такой обросший, грязный, измученный, что по его виду нельзя было разобрать, сколько ему лет — тридцать или пятьдесят. Я стал расспрашивать его. Оказалось, что это работник Союза писателей в Минске, тот

самый человек, который в мирное время доставал билеты на поезд и устраивал номера в гостинице.

Для очистки совести — хотя я ему сразу поверил — я стал выяснять у него какие-то подробности про Кондрата Крапиву: когда Кондрат Крапива ездил в Москву? Я сам никогда не видел Кондрата Крапиву, но вспомнил числа, в которые он весной должен был приехать на конференцию драматургов в Москву. Человек ответил на мой вопрос настолько точно, что сомнений не оставалось: он был именно тем, за кого себя выдавал.

А я вдруг вспомнил, как что-то совершенно дикое и нелепое, обсуждение своей пьесы «Парень из нашего города». Совсем недавно на конференции в клубе писателей доклад, выступления, какие-то споры. Все это сейчас, здесь, было невероятно странно.

Так как личность этого работника Союза писателей в Минске оказалась установленной, его не тронули, несмотря на отсутствие документов, а решили отправить в какую-нибудь часть, которая будет формироваться.

И он сидел тут же рядом с нами, сначала вместе с конвоируемыми, которые его привели, а потом просто так, потому что все о нем уже забыли.

Следующий, с кем мне пришлось говорить, был девятнадцатилетний мальчишка — худой, небритый, с редко торчащими на подбородке волосками, с топким и злым лицом, которое то казалось очень умным, то казалось лицом помешанного. Я так до конца и не понял, кем он был. Его привели из роты, стоявшей в соседнем лесу. Когда над рощицей проходили немецкие самолеты, он, несмотря на команду «Маскируйся!», вышел на середину поляны, встал на самом виду и начал размахивать руками. Ни окрики, ни призывы не помогали. Он продолжал делать свое. Когда его привели к нам, он продолжал с упорством маньяка твердить, что он попал к немцам и что все мы — немцы.

Военюрист подвел его ко мне и спросил:

— Ну вот кто это, по-вашему, стоит перед вами? Батальонный комиссар или нет?

— Нет, это немецкий офицер, — сказал парень.

— Но ведь у него знаки различия, разве вы не видите? Вот, — ткнул военюрист в мои шпалы. — Или это, по-вашему, погоня?

— Погоня, — с упорством сумасшедшего сказал парень.

— Вы понимаете, где вы находитесь? — спросил военюрист.

— Я у немцев. Все вы немцы, — сказал парень.

И больше из него ничего невозможно было выжать.

Его тоже отвели на опушку к нескольким густо росшим деревьям, где сидели остальные задержанные.

Мне самому казалось, что этот мальчишка тронулся.

Часов в пять дня, уже не помню зачем, мы вместе с военюристом вышли на самую опушку леса. Шагах в ста от нас стоял грузовик, а около грузовика — высокий командир в форме пограничника. Вдруг раздалось гудение, потом свист. Все мы легли на землю — где кто был, — а этот командир-пограничник полез под свою машину.

Наверно, бомба была небольшая, разрыв был не особенно сильный, но она прямым попаданием угодила в машину. Когда мы поднялись с земли, вместо машины были только куски изогнутого железа, а по лужайке еще катилось колесо. Оно докатилось и упало около нас.

Я накинул на плечи шинель, потому что, несмотря на теплый день, озяб от голода и усталости, и пошел искать свою машину. Наверно, ее кто-то перегнал в другое место. А может быть, шофер самовольно уехал, не знаю. Искал ее часа полтора по всему лесу, но так и не нашел. Там, в машине, у меня были чемодан и притороченный к нему плащ. Но всего этого было не жаль, а жаль было только лежавшей в чемодане привезенной еще из Монголии меховой безрукавки — там, в Монголии, их называли забайкальскими майками — и двух трубок, лежавших в кармане этой безрукавки. Табак был в кармане брюк, а трубок не было. Я, собственно говоря, главным образом из-за них и пошел искать машину.

Вернулся, попробовал свернуть сигарку из газеты, но ничего не вышло — никогда не вертел.

Под вечер, часов в семь, военюрист сказал мне, что все-таки он должен искать штаб фронта, куда он командирован.

— А вы куда? — спросил он меня.

Я сказал, что мне нужно явиться в политуправление фронта.

— Ну что ж, тогда поедем вместе, — сказал он. — А по дороге вы мне поможете доставить арестованных до Орши.

Я согласился. По правде сказать, мне в тот момент было все равно — оставаться тут до утра или ехать. Хотелось только одного — спать.

Мы вышли на дорогу. По ней с запада на восток с небольшими интервалами шли грузовики, то полные, то пустые. Мы остановили один из них. С нами вместе останавливали эту машину немолодой усталый полковник в пограничной форме и боец-пограничник. Они оба искали штаб пограничных войск.

Все мы сели в эту машину. Полковник рядом с шофером, а я, военюрист, один копвойный, боец-пограничник и пять задержанных — в кузов.

Сначала я дремал, но потом начались палеты и обстрелы, и мы то и дело вылезали из машины, ложились в кювет, снова вле-

зали, снова вылезали. Надосло все это до невероятности. Но спать уже не хотелось. Неудобно сидя, трясаясь на борту машины, я стал рассиживать сидевшего рядом со мной, тоже на борту, парня — того, который всех нас называл немцами. Не помню точно, откуда он был, но он говорил, что в деревне у него мать, что он окончил десятилетку и был взят в армию. Говорил он туманно, и мне по разговору показалось, что отец его был из высланных кулаков. Он говорил то злобно, то бестолково, как настоящий сумасшедший. И по-моему, не притворялся.

— Ну хорошо, мы тебя отпустим,— сказал я. — Что ж ты будешь делать? Будешь драться с немцами?

— Нет, я поеду домой.

— Тебя возьмут там и расстреляют как дезертира.

— Ничего, все равно я поеду домой,— упрямо повторял он. — Я не хочу тут быть. Я хочу домой.

На все вопросы он отвечал злобно, грубо, так, что казалось, вот сейчас возьмет и укусит тебя. Его лицо и сейчас стоит у меня перед глазами, и я уверен, что мое ощущение было правильным. Он был одновременно и обозлен и ненормален.

По обеим сторонам шоссе между столбами все телефонные и телеграфные провода были порваны. Возле дороги лежали трупы. По большей части — гражданских беженцев. Воронки от бомб чаще всего были в стороне от дороги, за телеграфными столбами. Люди пробирались там, стороной, и немцы, быстро приспосовившись к этому, бомбили как раз там, по сторонам от дороги. На самой дороге воронок было сравнительно мало, всего несколько на всем пути от Борисова до поворота на Оршу.

Как я уже потом понял, немцы рассчитывали пройти этот участок быстро и беспрепятственно и сознательно не портили дорогу.

Вдоль дороги шли с запада на восток женщины, дети, старики, девушки с маленькими узелками, девочки, молодые женщины, большей частью еврейки, судя по одежде, из Западной Белоруссии, в жалких, превратившихся сразу в пыльные тряпки заграничных пальто с высоко поднятыми плечами. Это было странное зрелище — эти пальто, узелки в руках, модные, сбившиеся набок прически.

А с востока на запад вдоль дороги шли навстречу гражданские парни. Они шли на свои призывные пункты, к месту сбора частей, мобилизованные, не желавшие опоздать, не хотевшие, чтобы их сочли дезертирами, и в то же время ничего толком не знавшие, не понимавшие, куда они идут. Их вели вперед чувство долга, полная неизвестность и неверие в то, что немцы могут быть здесь, так близко. Это была одна из трагедий тех дней.

Этих людей расстреливали с воздуха немцы, и они внезапно для себя попадали в плен.

Во время одного из лежаний под бомбежкой полковник-пограничник вдруг сказал, что сегодня убили одного писателя. Я спросил где.

— А там, в лесочке, где мы стояли. Это наш писатель-пограничник.

Он назвал фамилию — Шаповалов, и я вспомнил батальонного комиссара-пограничника, заходившего иногда в Москве к нам в клуб писателей. Полковник сказал, что этот писатель-пограничник во время бомбежки залез под свою машину и там его и убило. Я вспомнил машину, пограничника рядом с ней и понял, что был свидетелем этой смерти.

У полковника-пограничника был замученный вид. Мы опять лежали и ждали, пока немцы отбомбятся, и он сказал мне усталым голосом:

— Имею сведения, что все мои на заставах погибли. Дрались до последнего человека и погибли все, кто там был. А семья у меня там, около Граева. Жена, двое детей, мать и сестренка. Все, что есть на свете, все там.

У него было такое безысходное и безнадежно спокойное горе в словах, в голосе, в движениях, что было страшно на него смотреть.

Когда мы доехали до поворота на Оршу и повернули, то впервые увидели войска, стоявшие на позициях тут же, около дороги, в придорожных лесах. Тут были пулеметы, орудия, люди в касках и с оружием, походные кухни, вообще все то, что мне наконец напомнило армию такой, какой я ее раньше привык видеть. Впервые стало темного легче на душе.

В Оршу мы въехали уже часов в девять-десять вечера. Город был пустой, хотя слухи о том, что его разбомбили и сожгли, оказались неправдой. Упало несколько бомб, вылетели все стекла на нескольких центральных улицах, а все остальное было в этот день еще цело. Но в городе все было закрыто, и людей в нем я почти не видел.

Мы сначала пошли к железнодорожному коменданту узнать, есть ли поезда на Смоленск, потому что считали, что если штаб Западного фронта ушел из Минска, то он теперь, наверное, в Смоленске.

Оказалось, что поезда на Смоленск нет и неизвестно, когда он будет, хотя рано или поздно он должен быть.

Кто-то обратил внимание военюриста на ходившего по платформе пожилого капитана, высокого, аккуратно одетого и в желтых крагах. Кто-то сказал о нем, что этот капитан тут толчется

уже второй день и непрерывно заговаривает с гражданскими пассажирами. Сначала военюрист прошел несколько раз мимо капитана, намереваясь его задержать, но потом, видимо, понял, что, задержав сейчас тут этого человека, с ним можно сделать только одно из двух: или расстрелять, или отпустить. Ничего третьего не сделаешь. Он плюнул на эту историю и отошел от капитана.

Я еще раз посмотрел на капитана, продолжавшего ходить по платформе, и мне показалось, что, в сущности, подозревать его было не в чем, что это просто немолодой, замученный и оглушенный бестолковщиной этих дней, только что призванный из запаса командир, сидевший тут в ожидании какого-то поезда и ничего, так же как и мы, не знавший.

Мы продолжали топтаться на станции. Кто-то сказал, что скоро уйдет поезд на Витебск. Но нам туда ехать было ни к чему.

Станция была забита эшелонами с самым разным народом. Было много военных, но еще больше беженцев. И никто ровно ничего не знал. Все толпились, суетились, нетерпеливо спрашивали, куда и когда пойдут поезда. Но некоторые, видимо, уже притерпелись и отупело сидели на лавках, ожидая, что кто-то их подберет и увезет.

Полковник-пограничник отделился от нас. Кто-то сказал ему, что штаб пограничных войск в Витебске, и он побескал выяснять, ушел уже поезд на Витебск или еще не ушел. А мы с военюристом пошли к коменданту города.

По дороге с вокзала к коменданту мы наткнулись на какой-то склад около вокзала. Бородатый человек вытащил нам из темноты две буханки хлеба, банку килек и несколько пачек папирос. Судя по тому, как он привычно это делал, очевидно, он весь день занимался этим — раздавал понемногу всем, кто к нему подходил, все, что у него было.

Мы взяли поесть себе и, вернувшись, дали поесть арестованным. Я считал, что этого сумасшедшего парня, которого мы привезли, наверно, расстреляют, и у меня было страшное чувство, когда я смотрел на него и видел, с какой жадностью жует он хлеб и как он чуть не ударил другого арестованного, не поделив с ним пачку папирос.

Раздав продукты задержанным, мы все-таки пошли к коменданту города. Комендантура находилась в подвале школы. Там стояло несколько телефонов, сидели военный диспетчер и два майора-железнодорожника. В подвале стоял сплошной хриплый крик по телефону. Наконец, на минуту оторвав одного из майоров, мы спросили у него, будет ли поезд на Смоленск.

— Сейчас скажу, — ответил он и бросился к телефону, к которому его вызвали. Он слушал то, что ему говорили, и лицо его

все больше искажалось. Потом раздалась длинная пятиэтажная ругань. — Не будет поезда, — сказал он нам, оторвавшись от телефона. — Не будет. Вот мне только что сообщили: по дороге на Смоленск немцы разбомбили поезд с боеприпасами. Оба пути заняты. Вагоны рвутся. В двадцати шести километрах отсюда. Не будет никакого поезда на Смоленск.

Мы начали спрашивать коменданта, что нам делать с задержанными. Комендант не знал. В городе не было никаких властей, которые могли бы этим заняться.

Мы с военюристом вышли во двор. Уже совсем темнело. По улице под командой лейтенанта шла группа человек в пятьдесят бойцов, отбившихся от своих частей. Мы остановили лейтенанта и узнали, что он ведет их в расположение какой-то части, чтобы присоединиться к ней. Тогда, не видя другого выхода да и не ища его, мы взяли четырех из пяти задержанных — всех, кроме сумасшедшего парня — и, поговорив с лейтенантом, присоединили их к этой колонне. Их должны были теперь доставить в часть и выдать им оружие.

Тогда мы колебались. Но теперь я думаю, что это был самый правильный выход. Это были просто растерянные люди, никакие не преступники. Им нужно было только одно — найти часть и взять в руки винтовки.

Через минуту колонна скрылась из виду. А на сумасшедшего парня мы написали сопроводительную записку и все-таки заставили коменданта принять его и посадить в одну из подвальных комнат с часовым впредь до выяснения того, где же все-таки находится в Орше трибунал, НКВД или хоть что-нибудь.

Пока мы были в комендатуре, к коменданту явились три мальчика лет по пятнадцати — шестнадцати, воспитанники авиационной спецшколы. Они просили сказать, по-прежнему ли находится их спецшкола там, где она находилась, и назвали место. Еще накануне в Борисове мне говорили, что там, в этом месте, шел бой с немцами.

Комендант сказал мальчикам, что они могут идти к себе в спецшколу, потому что там, несомненно, наши. Я промолчал, но, когда ребята вышли во двор, я подозвал их и спросил, откуда они и как сюда попали. Выяснилось, что они от своей школы ездили в Москву, кажется, для подготовки к какому-то параду, и теперь не знают, что же делать. У них нет ни командировочных предписаний, ни денег, ничего.

Они, наверно, давно ничего не ели. У них были похудевшие лица и отчаянные глаза. Стояли худые и несчастные, как галчата, в своих аккуратненьких шинельках. И было их жаль почти до слез. Не объясняя подробностей, я сказал им, что разыскивать

школу сейчас нет смысла, что им надо искать какой-нибудь штаб и вступать добровольцами в армию. Один из них с радостью стал говорить мне, что он хорошо знает бодо и может работать военным телеграфистом.

Я посоветовал им, если они успеют, сесть в тот поезд, который должен отойти на Витебск, потому что в Витебске есть какой-то штаб. У меня была острая жалость к ним. Я боялся, что эти три мальчика пойдут вперед и ни за что ни про что попадут к немцам, разыскивая свою школу.

Потом я сообразил, что у них нет денег и им не на что будет покупать еду, пока они доберутся до Витебска и попадут в какую-нибудь часть. Я спросил, сколько у них денег. Они ответили, что у них шестнадцать рублей на троих, и я отдал им половину своих денег. Ребята сначала гордо отказывались, но я приказал им, и они взяли, сказав, что непременно когда-нибудь вернут мне эти деньги и поэтому хотят знать мою фамилию. Я назвался и пошутил, что после войны они могут зайти в Москве в клуб писателей и спросить там меня.

Оказалось, ребята читали мои стихи, и у нас возник странный пятиминутный разговор о стихах в этой пустой, разбитой Орше. Ребята почему-то обрадовались, что я писатель. Может быть, им стало спокойнее оттого, что вдруг оказалось, что эта Орша настолько тыловой город, что в нем есть даже писатели. Не знаю, так ли, но, когда я стал с ними прощаться, они немножко приободрились.

Они пошли, а я их провожал глазами. Бог его знает, почему мне было так грустно. Почему-то показалось, что ребята эти непременно пропадут.

Ночью мы опять пришли на станцию. К этому времени выяснилось, что, может быть, отсюда пойдет поезд на Могилев.

Свет нигде не горел. Отправление составов было связано с полной тайной и полной неизвестностью. Наконец нам шепотом сказали, что где-то за водокачкой, налево, стоит состав, который, может быть, пойдет на Могилев.

Нас набралось человек десять командиров. Старшим был высокий артиллерийский полковник с орденом Красного Знамени. Мы пошли по путям мимо паровозов и бесконечных составов. По всем путям бродили люди — военные и беженцы. Увидев нашу группу, они сейчас же бросались к нам, спрашивали, куда мы едем, куда хотим садиться, в какой поезд. Но мы и сами толком еще не знали этого и молчали.

Потом началась воздушная тревога. Заревели все паровозы, стоявшие на путях, а их тут было, наверно, около сотни. Весь день, когда нас бомбили, не было так страшно, как было страшно

сейчас, когда кругом нас на путях, выпуская белый пар, ревели паровозы. Рев их был чудовищный, тоскливый, бесконечный. Он продолжался несколько минут, а нам показалось, что целый час.

Наконец мы добрались до засыпанного углем откоса и там легли рядом, чтобы обсудить положение. Посоветовавшись, решили во что бы то ни стало искать поезд, уходящий на Могилев. Большинство считало, что если там и не было фронта, то хотя бы штаб одной из армий там должен быть.

Все командиры были расстроены и подавлены тем, что где-то идут бои, где-то дерутся их части, а они никак не могут попасть туда из отпусков и не могут даже попить, как это сделать. Во всяком случае, в такой обстановке единственным способом попасть в свои части было найти сначала хоть какой-нибудь штаб — фронта или армии. На том и порешили.

Особенно волновался артиллерийский полковник. Он ехал с назначением — начальником артиллерии дивизии. Как мне показалось, это был деловой и решительный командир, и он невыносимо страдал от своей бездеятельности, оттого, что ничего нельзя понять.

Прождав с час, пошли опять по путям в поисках состава на Могилев. Наконец стрелочник показал нам на темневшие вдали вагоны и сказал, что вот эти вагоны потом пойдут на Могилев. Не в силах больше бродить и решив — будь что будет, мы залезли на этот состав.

На платформах стояло два новеньких автобуса. Мы влезли в один из этих автобусов. Я присел на холодное сиденье, прислонился к окну и моментально заснул.

Не забуду своего первого утреннего ощущения; я открыл глаза и увидел, что еду на автобусе, а в автобусе, рядом со мной и впереди меня, сидят военные, а по обеим сторонам от нас бежит зеленая равнина. В первые секунды, спросонок, у меня было полное ощущение, что я еду по шоссе. Только потом, вспомнив все, что было ночью, я понял, что движется наш поезд.

Было восемь утра. Светло. Ясная, свежая погода после дождя. Кто-то сзади меня сказал, что мы подъезжаем к Могилеву...

Так кончились для меня первые двое суток, проведенных между Борисовом и Могилевом, в сумятице всего того неожиданного, неизвестного, непонятного, что обрушилось на головы многих тысяч людей, в том числе и на мою.

Как я уже упоминал в предисловии, кое в чем из пережитого на войне мне пришлось дополнительно разбираться уже задним числом, сейчас, готовя дневники к печати и заглядывая в архивы для уточнения некоторых фактов того времени и некоторых своих тогдашних суждений.

Первое из уточнений относится к тому месту дневника, где идет речь о немецких десантах и о том, что 26 июня немцы уже обошли Минск и вышли на железную дорогу между ним и Борисовом.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» указывается, что немцы достигли автостреды Минск — Москва своими подвижными частями только 28 июня. Сведения, видимо, запоздалые; на захваченной нами впоследствии карте немецкого генерального штаба обозначено, что 7-я танковая дивизия немцев перерезала Минское шоссе в районе Смолевичей, на полдороге между Минском и Борисовом, уже к вечеру 27 июня.

Слухи, о которых я говорю в дневнике, опередили действительные события на сутки, и, когда мы 26 июня ездили заправляться бензином из Борисова по направлению к Минску, тревога, что мы можем заехать к немцам, была неоправданной.

Со страшным чувством разглядывал я в нашем военном архиве захваченные нами в Цессене, под Берлином, в 1945 году пожелтевшие трофейные карты германского генерального штаба. Смотрел на уверенные, все глубже врезавшиеся в пашу землю стрелы и думал о немецких генштабистах, когда-то, в июне сорок первого, наносивших на эти отчетные карты обстановку по первым торжествующим донесениям с Восточного фронта.

Мне довелось побывать в Польской Народной Республике, в районе так называемого Вольфшанце — Волчьего логова, где перед началом войны размещалась ставка Гитлера. В глухом сыром лесу циклопическое нагромождение взорванных и опрокинутых многометровых бетонных плит. Все это немцы взорвали своими руками осенью 1944 года, накануне нашего вторжения в Восточную Пруссию. Но именно отсюда, из этих нынешних развалин, Гитлер тогда, в начале войны, руководил войной на востоке. Именно здесь клали перед ним тогда на стол эти карты с последней, казалось, наилучшим образом складывавшейся обстановкой. А теперь эти же самые карты, одну за другой, приносила мне для ознакомления тихая девушка-архивариус в подмосковном городе Подольске, до которого в конце сорок первого немцам, казалось, было рукой подать...

Приведенный мною в дневнике рассказ о вытащенном из кабины нашего истребителя полусгоревшем трупе немецкого летчика сейчас кажется мне маловероятным, хотя сообщения о схожих случаях можно разыскать в архивных документах того времени, например в приказе начальника штаба 21-й армии от 13 июля 1941 года: «Противник использует захваченные у нас самолеты для действия по нашим частям, бомбардируя и обстреливая с бреющего полета».

Тогда я думал, что немцы могли захватить эту тройку наших И-15 и наскоро научить летать на них своих летчиков. Но вряд ли это правда. Немецкие истребители в те дни хозяйничали в воздухе, и посылать немецких летчиков в воздух на самом устарелом типе наших истребителей И-15 — значило подвергать их совершенно реальной опасности быть сбитыми собственными «мессершмиттами».

То, что рассказывали мне люди, вытащившие из кабины полуобгорелый труп якобы немецкого летчика, наверно, просто-напросто отвечало их душевной потребности. Они не могли примириться с тем, что первые увиденные ими за день наши самолеты по ошибке нас же и обстреляли с воздуха. Поверить в это было нестерпимо тяжело, отсюда и родилась версия о трупе немецкого летчика.

Что касается истребителей И-15, то они по своим данным считались устарелыми машинами еще в 1939 году на Халхин-Голе. В начале халхин-гольского конфликта их особенно часто сбивали японцы, и вскоре был отдан специальный приказ выпускать их в воздушные бои только вместе с другими, по тому времени более совершенными нашими истребителями.

Когда на Халхин-Гол прибыла группа наших летчиков — «испанцев» — на новых истребителях И-153, похожих очертаниями на И-15, но с убирающимися шасси и с большей скоростью, то в первом же воздушном бою было сразу сбито больше десятка японских истребителей, ошибочно посчитавших, что они встретились один на один с И-15, и наравшихся на неожиданный для себя отпор.

Понстине надо преклониться перед мужеством тех наших летчиков, которые в сорок первом году, не колеблясь, вступили на этих И-15 в бой с «мессершмиттами».

И-15, взятый нами на вооружение в 1935 году, располагал скоростью 367 километров, а «Мессершмитт-109», принятый немцами на вооружение в 1938—1939 годах, скоростью 540 километров; потолок был соответственно — 9000 и 11 700 метров; мощность моторов — 750 и 1050 лошадиных сил; калибр пулеметов — 7,62 миллиметра и 20 миллиметров.

По другим типам наших истребителей — И-16, И-153, который был на Халхин-Голе еще повинкой, — соотношение технических данных по сравнению с «мессершмиттами» к 1941 году складывалось не столько разительное, но тоже достаточно тяжелое для нас: разница в потолке около двух тысяч метров и в скорости около ста километров. А все эти вместе взятые — одни более, другие менее устарелые — машины, к несчастью, все еще составляли к началу войны подавляющую часть нашей истребительной авиации.

А теперь несколько дополняющих дневник страниц о двух людях, встреченных мною тогда, в первые дни войны, — полковнике А. И. Лизюкове и корпусном комиссаре И. З. Сусайкове.

Архивные документы рассказали мне, что полковник Лизюков, ехавший вместе с сыном в одном вагоне со мной и на моих глазах наводивший порядок под Борисовом, воевал там еще двенадцать дней — до 8 июля 1941 года. О том, что он делал, пожалуй, точней всего повествует выписка из наградного листа.

«Фамилия — Лизюков Александр Ильич.

Звание — полковник.

Год рождения — 1900.

Краткое содержание подвига. С 26 июня по 8 июля 1941 года работал начальником штаба группы войск по обороне города Борисова. Несмотря на то, что штаб пришлось сформировать из командиров, отставших от своих частей, в момент беспорядочного отхода подразделений от города Минска, товарищ Лизюков проявил максимум энергии, настойчивости, инициативы. Буквально под непрерывной бомбежкой со стороны противника, не имея средств управления, товарищ Лизюков своей настойчивой работой обеспечил управление частями, лично проявил мужество и храбрость. Достоин представления к правительственной награде орденом Красного Знамени».

Деятельность Александра Ильича Лизюкова была тогда оценена по достоинству. Он оказался одним из первых наших командиров, награжденных в начале войны на Западном фронте и получивших звание Героя Советского Союза.

Под Москвой он командовал 1-й мотострелковой дивизией, а весной 1942 года был назначен командиром 2-го танкового корпуса.

В эти дни, когда он приехал в Москву за назначением, я видел его во второй и последний раз.

В личном деле А. И. Лизюкова, касающемся довоенных времен, указано, что осенью 1935 года он около месяца был во Франции членом нашей военной делегации на маневрах французской армии. Потом командовал танковым полком и бригадой, а перед самой войной был заместителем командира 36-й танковой дивизии, в которую, видимо, и ехал, когда мы встретились с ним в вагоне.

Там, где я пишу в дневнике о своей встрече с Сусайковым, наряду с недоумением перед всем, что делалось кругом, присутствует надежда, что все это случайность, что все это вот-вот, не сегодня-завтра будет поправлено. Это чувство мне и теперь, издали, хорошо понятно. Основанная на всем нашем воспитании страстная вера, что так не может, не имеет права быть, толкала

нас в первые дни на поиски более легких объяснений происходящего на наших глазах, чем те, которые содержала в себе действительность.

Корпусной комиссар Сусайков, у которого я имел наивность спрашивать посреди леса, где мне искать редакцию газеты, не мог знать, где находятся штаб и политуправление фронта, которые как раз в тот день перемещались — были в пути от Минска к Могилеву. Он узнал об этом лишь на следующий день из приказа, направленного ему штабом фронта уже из Могилева.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за 28 июня есть текст этого распоряжения корпусному комиссару Сусайкову, согласно которому на него, как на начальника Борисовского танкового училища, была возложена оборона района Борисова.

Иван Захарович Сусайков, прежде чем стать политработником, был начальником штаба отдельного танкового батальона московской Пролетарской дивизии и в 1937 году в звании капитана окончил Бронетанковую академию.

Группе войск, которую сколотили два танкиста — Сусайков и Лизюков, — и частям воевавшего под Борисовом 44-го корпуса удержать город не удалось, но, оставив Борисов, они в последующие дни продолжали вести в этом районе тяжелые бои с немцами.

После ранения под Борисовом Сусайков вернулся на политработу и кончил войну генерал-полковником танковых войск, членом Военного совета Второго Украинского фронта и председателем Союзной контрольной комиссии в Румынии.

В дневнике сказано о том чувстве облегчения, которое я испытал, увидев 27 июня наши войска, стоявшие вдоль рокады. К этому надо добавить то, чего я тогда не знал: у поворота на Оршу я увидел в тот день одну из дивизий, входивших в группу резервных армий, созданных по решению Ставки еще 25 июня.

К 28 июня эти войска должны были полностью занять тыловой рубеж Витебск — Орша — Могилев.

Создание группы резервных армий было результатом того, что в Ставке уже пришли к выводу, что наш Западный фронт не сможет один остановить продвижение немцев. Надо было выиграть время, и, в частности, именно ради этого приказывалось действовавшей там, впереди на Минском шоссе, борисовской группе возможно дольше задерживать немцев на Березине.

Лишь через двадцать пять лет, готовя том стихов для собрания сочинений, я наткнулся на листки из блокнота, очевидно, самого первого из всех, что сохранились со времен войны. На

одном из этих листков оказались неоконченные и совершенно забытые мною стихи. Я так и не вспомнил, в какой именно день и при каких обстоятельствах я спасен нацарапал их в блокноте. Но одно было для меня несомненно — стихи были написаны на Западном фронте в первые дни войны и именно об этих первых днях:

Июнь. Интендантство. Шинель с непривычки — длинна.
Мать застыла в дверях. Что это значит?
Нет, она не заплачет. Что же делать — война!
— А во сколько твой поезд? —
И все же заплачет.
Синий свет на платформах. Белорусский вокзал,
Кто-то долго целует.
— Как ты сказал?
Милый, потише... —
И мельканье подножек,
И ответа уже не услышать,
Из объятий,
Из слез,
Из недоговоренных слов —
Сразу в пекло, на землю,
В заиканье пулеметных стволов,
Только пыль на зубах
И с убитого каска: бери!
И его же винтовка: бери!
И бомбежка.
Весь день.
И всю ночь, до рассвета.
Ненужные, круглые, желтые, как фонари,
Над твоей головою — ракеты.
Да, война не такая, какой мы писали ее, —
Это горькая штука...

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Было утро 28 июня. До Могилева мы добрались часам к десяти утра. Поезд остановился на каких-то дальних путях. Мы слезли и только тут почувствовали, как проголодались. Пошли скопом в железнодорожную столовую, где всем приходящим военным бесплатно давали похлебку и мясо.

Из столовой двинулись через город к военному коменданту. Там, на другом конце города, недалеко от моста через Днепр, на широкой площади, где стояли какие-то старые пушки, толпу вернувшихся из отпусков командиров человек в двести стали делить по специальностям. В одном месте строились пехотинцы, в другом — артиллеристы, в третьем — связисты, в четвертом — политсостав. После этого деления я и военюрист оказались совсем отдельно, вдвоем.

Я добрался до начальника Могилевского гарнизона, полковника, который после того, как мы с военюристом предъявили свои бумаги, сказал нам, что штаб Западного фронта находится недалеко от Могилева. Надо вернуться обратно на ту сторону через мост и идти налево по шоссе на Оршу.

Мы перешли мост и вскоре по дороге встали «эмку» с командиром-связистом. Вся «эмка» была завалена гранатами и капсюлями. Он посадил нас, и мы, трясясь в ней среди гранат, добрались до леса, в который уходили недавно наезженные дороги.

Было уже часа два дня. Погода испортилась, день стоял туманный и дождливый, было мокро, сыро и серо. Пройдя метров шестьсот, мы добрались до гущи леса. Там, на склонах холмов, устраивался, очевидно, только что приехавший сюда штаб. Красноармейцы торопливо вкапывали в землю автобусы и машины, маскировали их срубленными ветками.

На дороге, под дождем, стояли дивизионный комиссар в кожаном пальто и рядом с ним несколько политработников. Я обратился к дивизионному комиссару, который оказался начальником политуправления Лестевым, и представился. Рядом с Лестевым, как выяснилось, стояли редактор фронтовой газеты Западного фронта Устинов и редактор армейской газеты 10-й армии Лещинер.

Как только я представился, между обоими редакторами начался сдержанный спор вполголоса о том, куда меня взять, потому что ни где 3-я армия, ни где газета 3-й армии, в которую я был командирован, здесь никто не знал. В конце концов было решено, что я пока останусь работать во фронтовой газете.

Сидя под дождем на крыле «эмки», Устинов и я закусили сухарями с кильками. Я совершенно забыл об этой банке килек, которая лежала у меня в кармане шинели. В те дни всем нам вообще казалось, что еда — это случайность.

В дальнейших разговорах с редактором выяснилось, что газета печатается в Могилеве, что сегодняшнюю газету сюда еще не привезли, что из работников почти никого нет, еще не приехали, что редактор будет их встречать, а я — он сунул при этом мне в руку кипу заметок — должен сейчас же ехать в могилевскую типографию, обработать эти заметки и сдать в полосу.

Начинало темнеть. Я уже собрался ехать, когда вдруг из лесу выскочило несколько машин, впереди длинный черный «паккард». Из него вылезли двое. Все это происходило в нескольких шагах от меня. Лестев вытянулся и начал рапортовать:

— Товарищ маршал...

Вглядевшись, я узнал Ворошилова и Шапошникова. Меня обрадовало, что они оба здесь. Казалось, что наконец все должно

стать более понятным. Я обошел стороной стоявшее на дороге начальство, сел в редакционную полуторку и поехал назад, в Могилев.

Все кругом было полно слухов о диверсантах, парашютистах, останавливавших машины под предлогом контроля. Шофер нервно спросил, есть ли у меня оружие.

Пока мы ехали, стало уже совсем темно. Я вынул паган и положил на колени. Когда по дороге проверяли документы или просто спрашивали, кто едет, остановив машину, я левой рукой показывал документы, а правой держал паган. Потом у меня это вошло в привычку.

Мы приехали в типографию ночью. Там же, в типографии, помещалась редакция фронтовой газеты на немецком языке. Из нашей редакции мы застали там машинистку и выпускающего, больше никого не было. Я сел готовить материал и к ночи, отдирав все, что мог, сдал в набор.

Никто ничего не ел, и как-то даже не хотелось. Часа в два ночи я лег спать на полу, положив под голову шинель. Меня разбудил дневальный:

— Товарищ батальонный комиссар, к телефону.

Еще толком не проснувшись, я подошел к телефону. По телефону спросили:

— Товарищ Симонов?

— Да.

— Это говорит Курганов. Сейчас приеду к вам.

Мне было совершенно все равно, придет ко мне кто-нибудь или не придет, только бы поскорее снова уснуть. Не вдаваясь в расспросы, я сказал звонившему человеку, чтобы он приезжал, и снова лег спать. Проснулся я оттого, что меня тряс за плечо Оскар Эстеркин, в газете подписывавшийся Кургановым. Я давно его знал, но мне просто не пришло в голову, когда он говорил по телефону, что это тот самый Курганов. Точно так же, как и ему, когда он дозволился до типографии «Красноармейской правды», не пришло в голову, что батальонный комиссар Симонов, который спит и которого он велел разбудить, это именно я.

Оскар был точно такой же, каким я привык его видеть в Москве в редакции «Правды», у Кружкова, или в театрах, на премьерах. Казалось, он все еще пишет свои театральные рецензии. На нем были кепка, измятый полосатый штатский пиджачок с орденом «Знак Почета» за полярные экспедиции, измятые брюки и стоптанные полуботики.

Как выяснилось, именно в таком вот виде он попал 24 июня ночью в горящий Минск, а потом шел оттуда до Могилева — без малого двести километров — пешком и видел все творившееся

на дорогах. Видел еще больше, чем я. Его приютили у себя секретари ЦК Белоруссии, которые приехали сюда и жили в каком-то доме под Могилевом. Оттуда он и дозвонился, обрадовавшись, что нашел газету.

Мы проговорили два часа и заснули под утро.

Утром нас разбудил Устинов, предложивший ехать вместе с ним в штаб. В буфете оказались тульские пряники и свежее могилевское пиво. Мы пили его, закусывая пряниками. Вечером этого же дня в первую бомбежку Могилева пивоваренный завод был разбит.

Приехав в штаб, пошли информироваться в оперативный и в разведотдел. В лес, где он размещался, в общем, можно было пройти. Зато, попав туда, никто не мог найти, где какой отдел. Получалась конспирация шиворот-навыворот. Все это уладилось только потом, когда штаб стоял уже в Смоленске. А здесь надо было бродить часами в поисках того, что тебе нужно. Отделы штаба стояли в лесу, в палатках, а некоторые размещались прямо на машинах и около машин.

Первые бомбежки и обстрелы дорог приучили к маскировке, и маскировались в эти дни быстро и ловко. Нам рассказали, что сбиты два немецких бомбардировщика и захвачен летчик. Насколько я понял из разговоров, здесь это был первый пленный летчик.

Летчика привезли в штаб только к ночи. Это был фельдфебель с Железным крестом — первый немец, которого я видел на войне. Я шел вместе с несколькими работниками политотдела и четырьмя конвоирами, которые вели этого немца, раненного в спину.

Мы никак не могли в темноте найти разведотдел. Пока другие пошли искать его, я с конвоирами и одним политработником остался с немцем. Немца положили на траву. Он лежал с завязанными глазами и стонал. Я перекинулся с ним несколькими словами на своем убогом немецком языке. Он сказал, что ему больно, холодно, и попросил разрешения сесть. Мы его посадили.

Этот первый немец был событием. Все толпились вокруг него. Кто-то сказал, что его уже допрашивал сам маршал. Какой из маршалов, я не понял.

Накрывшись шинелью, я закурил. Огонек под шинелью сдвигался, но какое-то проходившее мимо начальство страшно закричало: «Кто курит?!»

Наконец разведотдел нашли. Немца привели в маленькую палатку, где при свете ручного фонаря, придерживая и оттягивая к земле полы палатки, чтобы не просвечивало, скорчившись, долго его допрашивали.

Это был первый увиденный мною представитель касты гитлеровских мальчишек, храбрых, воспитанных в духе по-своему твердо понимаемого воинского долга и до предела нахальных. Очевидно, именно потому, что он был воспитан в полном пренебрежении к нам и вере в молниеносную победу, он был ошарашен тем, что его сбили. Ему это казалось невероятным.

В остальном это был довольно убогий, малокультурный парень, приученный только к войне и больше ни к чему. Ландскнехт и по воспитанию и по образованию. Самое интересное было то, что, будучи сбит у Могилева и имея компас, он пошел не на запад, а на восток. Из его объяснений мы поняли, что по немецкому плану на шестой день войны немцы должны были взять Смоленск. И он, твердо веруя в этот план, шел к Смоленску.

Вернулся я в редакцию ночью. Опять на грузовике. Опять нагап на коленях. И бесконечные контроли па дорогах.

Могилев бомбили. Немецкие и наши самолеты кружились над домами. Наборщик типографии, старый еврей, во время бомбежек несколько раз лазил на крышу. Он говорил, что бомба непременно пройдет через такую слабую крышу и разорвется внизу. Мы над ним смеялись, хотя он был не так далек от истины.

Днем, в пять часов, была сильная бомбежка. Стоял рев моторов. Дрожали стекла, бухали взрывы. Но мне было все до такой степени безразлично, что я не мог заставить себя подняться с пола типографии, где мы лежали во время бомбежки, и посмотреть в окно. Хотя по звукам казалось, что самолеты летают буквально над нашим домом.

Ночью мы с Кургановым тоже сидели в типографии. Остальные работники редакции съехались, но почевали где-то в палатках. Что до меня, то я предпочитал ночевать в типографии — по крайней мере, здесь был сухой пол. А к бомбежкам после первых трех суток войны я был почти равнодушен.

Настроение у меня было отчаянное. С одной стороны, газеты и радио сообщали об ожесточенных танковых боях, о сдаче каких-то небольших городков на границе — о Минске не упоминалось, сообщалось только о взятии Ковно и, кажется, Белостока. А между тем тут, в Могилеве, уже ходили слухи, что бои идут под Бобруйском и под Рогачевом. А что Борисов взят немцами, это я точно знал сам. Создавалось такое ощущение, что там, впереди, дерутся наши армии, а между нами и ними находятся немцы. Так потом в действительности здесь, на Западном фронте, и оказалось. Только с той разницей, что большинство этих наших армий было окружено и выходили они частями. Но, сидя здесь, в Могилеве, ничего нельзя было понять.

По утрам через Могилев тянулись войска. Шло много артил-

лерии и пехоты, но, к своему удивлению, я совсем не видел танков. Вообще на Западном фронте до 27 июля я своими глазами так и не увидел ни одного нашего среднего или тяжелого танка. А легких видел довольно много, особенно 4—5 июля на линии обороны у Орши, о которой тогда говорили как о месте будущего второго Бородина.

Поражало, что в Могилеве по-прежнему работали парикмахерские и что вообще какие-то вещи в сознании людей не изменились. А у меня было такое смятенное состояние, что казалось, все бытовые привычки людей, все мелочи жизни тоже должны быть как-то нарушены, сдвинуты, смещены...

Первую дневник для того, чтобы сделать несколько примечаний к сказанному в нем.

Встреченный мною в лесу около штаба дивизионный комиссар Дмитрий Александрович Лестев, начальник политуправления Западного фронта, решивший мою судьбу своим приказом — работать в газете Западного фронта «Красноармейская правда», был одним из тех людей, о которых в противоречивой обстановке войны самые разные люди неизменно вспоминали как о справедливом, храбром и прямом человеке и, характеризуя при этом его качества политработника, часто употребляли слова: «Это был настоящий комиссар». В строгом смысле слова, он по своей должности не был комиссаром, и эти слова были просто данью его высоким политическим и человеческим качествам.

Лестев был убит осенью 1941 года, в дни боев за Москву, осколком бомбы.

Слухи о диверсантах и парашютистах, опасения, которые я испытывал, возвращаясь из штаба фронта в Могилев, не были такими уж неосновательными, а готовность в случае чего стрелять первым в той обстановке, пожалуй, была благоразумной.

Приведу несколько выдержек из документов того времени:

«Неизвестный командир остановил машину с командным составом штаба, заявив им, что они шпионы, и пытаясь расстрелять...»

«26 июня 1941 г. в 23 ч. 15 мин. по дороге в Борисов на автомашину, следовавшую с мобилизационными документами Слуцкого и Стародорожского райвоенкоматов, напала диверсионная банда. Имеются убитые...»

В документе, составленном начальником разведотдела штаба 21-й армии и озаглавленном «Краткие сведения по тактике германской армии. Из опыта войны», дается первая попытка обобщения складывавшегося опыта:

«Отдельные диверсионно-десантные группы одеваются в красноармейскую форму командиров Красной Армии и НКВД... проникая в районы расположения наших частей. Они имеют задачу создавать панику и вести разведку».

Сказанное подтверждается немецкими данными о действиях подразделений особого полка «Бранденбург»; в частности, мост у Даугавпилса был захвачен диверсантами из этого полка, переодетыми в красноармейскую форму.

А в общем, оглядываясь на те дни, можно прийти к выводу: было и то и другое. В одних случаях действовали немецкие диверсанты, а в других — в обстановке тяжелого отступления и распространившихся слухов об обилии немецких диверсантов — свои задерживали своих.

Но в одной и той же неразберихе разные люди вели себя по-разному. Порой диаметрально противоположно.

В одном из политдонесений того времени рассказывается, как заместитель начальника воинского склада № 846 батальонный комиссар Фаустов, добравшийся после объявления войны с курорта в горящий Минск, увидев, что его склад покинут, организовал вокруг себя командиров-отпускников и отставших от разных частей красноармейцев, вооружил их и с боями вывел из окружения отряд общим числом ни много ни мало — 2757 человек.

И такое тоже было.

Несколько слов в связи с допросом немецкого летчика, о котором я пишу в дневнике. Я так и не нашел документального подтверждения, что с ним действительно разговаривал один из маршалов. Но протокол его допроса в разведотделе фронта я обнаружил. И пожалуй, стоит сопоставить выдержки из этого документа с непосредственным впечатлением, сложившимся у меня тогда, потому что речь, видимо, идет об одном и том же человеке:

«Опрашиваемый — Хартле, служил четыре года в германских ВВС, в последней должности — в качестве радиста на борту бомбардировщика и дальнего разведчика «Хейнкель-111», который был подбит 23.VI.41 зенитной артиллерией под Слонимом во время первого полета над советской территорией».

Экипаж самолета, состоявший из командира машины капитана Хиршауэра, старшего фельдфебеля Потта, старшего фельдфебеля Ипрдеса, фельдфебеля Функе и самого опрашиваемого Хартле — пять человек, — выполнял задачу по разрушению коммуникаций в тылу за линией фронта.

Самолет получил серьезное повреждение мотора от огня зенитной артиллерии при первом полете над территорией СССР,

имея полную бомбовую нагрузку. Не выполнив задачи, самолет сбросил бомбы в открытое поле и совершил посадку с катастрофой, при которой легко раненым оказался допрашиваемый Хартле...

Экипаж самолета принадлежал эскадрилье, прибывшей из Франции...

О летных и других качествах прочих германских самолетов ничего не знает, так как летал только на «Хейнкеле-111». Участвовал в боях в Польше, Франции и Англии. За боевые заслуги во Франции награжден орденом Железного креста...

На вопрос о политико-моральном состоянии германской армии ответил, что настроение солдат и офицеров хорошее, боевое...

Перспективы войны с СССР рассматривает как полную победу Германии и что такого же мнения все солдаты в армии Германии. Офицеры разъясняют солдатам, что Германия не имела территориальных претензий к России, что все в Германии встретили с неожиданностью и даже с ошеломлением войну между Германией и Россией. Солдатам и офицерам разъяснили только одно, что отражено в приказе Гитлера, это факт сосредоточения Россией 160 дивизий против Германии с целью напасть на нее сзади.

На вопрос, как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию, отвечает, что народ Германии хорошо встретит народ России, так как из опыта войны в Польше и во Франции ему известно, что после поражения этих стран народы быстро сдружились, дружат и солдаты. Если воюют между собой государства и правительства, то, по его мнению, это не дает оснований к вражде между народами...

На вопрос, что ему известно о рассуждениях Гитлера в книге «Майн кампф» об Украине, ответил, что он такой книги не читал...

Опрашивал: военный переводчик разведотдела штаба Западного фронта интендант 2-го ранга (подпись неразборчива), младший лейтенант (подпись неразборчива)».

Прочитав сейчас этот протокол, я задумался над неожиданным вопросом наших разведчиков: как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию?

На вопрос, который, наверно, показался ему просто-напросто нелепым, пленный ответил ни к чему не обязывающей риторической ложью. В его голове в те дни вообще вряд ли умещалось, что Советская Армия через какое бы то ни было время может действительно вступить на их германскую территорию!

И не приходилось осуждать его за недалекость. Не только он, но и наступавшие тогда по сорок — шестьдесят километров в сутки Гудериан и Гот, и уже вышедший передовыми частями к Березине командующий 4-й армией Клюге, и главнокомандующий сухопутных войск Браухич, и начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер — что бы там некоторые из них ни писали потом, после войны, — никто из них тогда не допускал, разумеется, и мысли, что эта «полностью разгромленная» ими на Восточном фронте Советская Армия когда-нибудь вступит на территорию Германии.

О Гитлере не приходилось и говорить. Всего через неделю после того, как пленный разговаривал с нами под Могилевом, Гитлер в одной из своих неофициальных бесед, записанных с его разрешения Борманом, думал уже не о Могилеве, и не о Смоленске, и даже не о Москве — Москва уже стала в его мыслях лишь промежуточным пунктом, который, «как центр доктрины, должен исчезнуть с лица земли». На четырнадцатый день войны Гитлер претендовал на гораздо большее: «Когда я говорю: «По ту сторону Урала», — то я имею в виду линию двести—триста километров восточнее Урала... Мы сможем держать это восточное пространство под контролем».

Что уж тут спрашивать с пленного фельдфебеля!

Но почему же все-таки наши разведчики задали немцу этот сохранившийся в протоколе и показавшийся ему таким нелепым вопрос: что будет, если через некоторое время Советская Армия вступит на территорию Германии?.. Каким представлялось им тогда, в той обстановке, это «некоторое время»? Видимо, молодые офицеры разведотдела, несмотря на все неудачи, обрушившиеся на наш Западный фронт, все-таки верили, что через некоторое, не столь уж продолжительное, время дела повернутся к лучшему. Если бы они этого не думали, у них не было бы ни внутренней потребности, ни нравственной силы задать этот странно прозвучавший тогда вопрос.

И второе, что меня заинтересовало, когда я сравнивал этот документ со своим дневником: откуда появилась в дневнике подробность, что немец, будучи сбит и имея компас, пошел не на запад, а на восток? Действительно ли он говорил, что немцы по плану должны были к 28 июня взять Смоленск, а если говорил, то почему это не попало в протокол допроса? Сейчас, задним числом, думаю, что вряд ли он говорил это. Просто был факт: от места катастрофы немец несколько дней шел по компасу не на запад, а на восток. И очевидно, после допроса, обсуждая этот факт, кто-то из нас сам предположил, что летчик шел на

восток, потому что немцы, по их плану, уже должны были захватить Смоленск.

В те дни, после первых неудач, потрясших душу своей неожиданностью, очень хотелось верить, что, несмотря на всю быстроту продвижения немцев, они рассчитывали на еще большее и у них не все выходит так, как они запланировали.

И эта вера вскоре начала оправдываться; чем дальше, тем чаще немцы встречались с не запланированной ими силой сопротивления, вносившей все большие изменения в их планы.

Но в те дни, о которых идет речь в дневнике, как раз на Западном фронте, где немцы, сосредоточив наибольшие силы, наносили свой главный удар, им сопутствовали наибольшие успехи. И надо отдать должное нашим военным, они поняли: для того чтобы строить реальные планы дальнейших действий, необходимо было, как это ни горько, трезво оценить масштабы всего происшедшего на Западном фронте.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» можно познакомиться с теми выводами, которые сделал штаб фронта по первым десяти дням боев.

Вот как выглядит этот документ, подписанный генерал-лейтенантом Г. К. Маладиным:

«В итоге девятидневных упорных боев противнику удалось вторгнуться на нашу территорию на глубину 350—400 километров и достигнуть рубежа реки Березина. Главные и лучшие войска Западного фронта, понеся большие потери в личном составе и материальной части, оказались в окружении в районе Гродно, Гайновка, бывшая госграница...

Характерной особенностью немецких ударов было стремительное продвижение вперед, не обращая внимания на свои фланги и тылы. Танковые и моторизованные соединения двигались до полного расхода горючего.

Непосредственное окружение наших частей создавалось противником сравнительно небольшими силами, выделяемыми от главных сил, наносивших удар в направлениях Алитус — Вильно — Минск и Брест — Слуцк — Бобруйск.

Второй характерной особенностью являются активные и ожесточенные действия авиации, небольших десантных отрядов по глубоким тылам и коммуникациям с целью парализации управления и снабжения наших войск... На направлениях главных ударов противник сосредоточил почти все свои имеющиеся силы, ограничиваясь на остальных направлениях незначительными частями или даже вовсе не имея там сил, а лишь ведя разведку».

Я привел лишь один документ, по решимости сказать суровую правду проходит через множество документов того времени

и дивизионного, и корпусного, и армейского масштаба. К чести людей, о которых я говорю, тревога за судьбу своей страны оказалась для них выше всех привходящих соображений.

История, а точнее — люди, делавшие эту историю, вскоре внесли в дальнейший ход войны ряд поправок в нашу пользу. Непредвиденно для немцев сквозь все их окружения в последующие недели и месяцы пробились с оружием в руках или просочились мелкими группами десятки тысяч военных людей, считавшихся погибшими, и некоторым из этих людей потом еще довелось брать и Кенигсберг и Берлин. А другие десятки тысяч тоже оказались не в плену у немцев, а три года воевали в партизанских отрядах Белоруссии и в 1944 году сказали свое последнее слово, содействуя разгрому в Минском и Бобруйском котлах той самой немецкой группы армий «Центр», которая в июне 1941 года брала Минск и Бобруйск.

Думая об этих поправках, внесенных историей, можно лишь гордиться мужеством своих соотечественников.

Когда-то, за три года до войны, в 1938 году, я написал стихотворение «Однополчане», кончавшееся такими строками:

Под Кенигсбергом на рассвете
Мы будем ранены вдвоем,
Отбудем месяц в лазарете,
И выживем, и в бой пойдем.
Святая ярость наступления,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколение
В железный узел, навсегда.

В конце концов именно так оно и вышло. Но в июне сорок первого дистанция до этого упомянутого в стихах Кенигсберга пока что с каждым днем все увеличивалась. Реальность, отраженная в моем военном дневнике, была куда суровей моих предвоенных поэтических прогнозов.

...Наша газета работала в пустоту. Ни о какой полевой почте, ни о какой регулярной рассылке газет не было и помину. Печаталось тысяч сорок экземпляров, и их развозили повсюду, куда удавалось, на собственных двух-трех грузовиках. И попадали они в одну, две, три дивизии. А о том, чтобы газета расходилась по всему фронту, в те дни не могло быть и речи.

Я вызвался ехать под Бобруйск с газетами, которые мы должны были развезти на грузовике во все встреченные нами части. С газетами поехали шофер-красноармеец, я и младший поллитрук Котов — высокий, казачьего вида парень в синей кавале-

рийской фуражке и в скрипучих ремнях. Он меня называл строго официально «товарищ батальонный комиссар» и настоял на том, чтобы я ехал в кабине.

Едва мы выехали из Могилева на Бобруйск, как увидели, что вокруг повсюду роют. Это же самое я видел потом ежедневно весь июль. Меня до сих пор не оставляет ощущение, что вся Могилевщина и вся Смоленщина изрыты окопами и рвами. Наверное, так это и есть, потому что тогда рыли повсюду. Представляли себе войну еще часто как нечто линейное, как какой-то сплошной фронт. А потом часто так и не защищали всех этих нарытых перед немцами препятствий. А там, где их защищали, немцы, как правило, в тот период обходили нас.

Вокруг Могилева рыли, и на душе возникало тяжелое чувство, хотя, казалось, пора бы уже привыкнуть, что надо быть готовым ко всему.

Примерно после сорокового или пятидесятого километра нам навстречу стали попадаться по одному, по два грязные, оборванные, потерявшие военный вид люди — окруженцы.

Мы долго не встречали никаких войск. Только в одном месте, в лесу при дороге, стоял отряд НКВД. На дороге размахивал руками и распоряжался полковник, но порядка от этого все равно не получалось.

Мы раздавали свои газеты. У нас их было в кузове десять тысяч экземпляров. Раздавали их всем вооруженным людям, которых встречали — одиночкам или группам, — потому что не было никакой уверенности и никаких сведений о том, что мы встретим впереди организованные части.

Километров за двадцать до Бобруйска мы встретили штабную машину, поворачивавшую с дороги налево. Оказалось, что это едет адъютант начальника штаба какого-то корпуса, забыл его номер. Мы попросились поехать вслед за ним, чтобы раздать газеты в их корпусе, но он ответил, что корпус их переместился и он сам не знает, где сейчас стоит их корпус, сам ищет начальство. Тогда по его просьбе мы отвалили в его «эмку» половину наших газет.

Над дорогой несколько раз проходили низко немецкие самолеты. Лес стоял сплошной стеной с двух сторон. Самолеты выскакивали так мгновенно, что слезать с машины и бежать куда-то было бесполезно и поздно. Но немцы нас не обстреливали.

Километров за восемь до Березины нас остановил стоявший на посту красноармеец. Он был без винтовки, с одной гранатой у пояса. Ему было приказано направлять шедших от Бобруйска людей куда-то направо, где что-то формировалось. Он стоял со вчерашнего дня, и его никто не сменял. Он был голоден, и мы дали ему сухарей.

Еще через два километра нас остановил милиционер. Он спросил у меня, что ему делать с идущими со стороны Бобруйска одиночками: отправлять их куда-нибудь или сопроводить вокруг себя? Я не знал, куда их отправлять, и ответил ему, чтобы он собирал вокруг себя людей до тех пор, пока не попадется какой-нибудь командир, с которым можно будет направить их назад группой под командой к развилке дорог, туда, где стоит красноармеец.

Над нашими головами прошло десятка полтора ТБ-3 без сопровождения истребителей. Машины шли тихо, медленно, и при одном воспоминании, что здесь кругом шныряют «мессершмиты», мне стало не по себе.

Проехали еще два километра. Впереди слышались сильные разрывы бомб. Когда мы уже были примерно в километре от Березины и рассчитывали, что проседем в Бобруйск и встретим там войска или встретим их на берегу Березины, из лесу вдруг выскочили несколько человек и стали отчаянно махать нам руками. Сначала мы не остановились, но потом они начали еще отчаяннее кричать и еще сильнее махать руками, и я остановил машину.

К нам подбежал совершенно побелевший сержант и спросил, куда мы едем. Я ответил, что в Бобруйск. Он сказал, что немцы переправились уже на этот берег Березины.

— Какие немцы?

— Танки и пехота.

— Где?

— В четырехстах метрах отсюда. Вот сейчас там у нас был с ними бой. Убиты лейтенант и десять человек. Нас осталось всего семь, — сказал сержант.

Мы заглушили мотор машины и услышали отчетливую пулеметную стрельбу слева и справа от дороги — совсем близко, несомненно, уже на этой стороне.

Мы сказали, чтобы сержант с бойцами подождал нас здесь, на опушке, мы все-таки попробуем немножко просесть вперед. Проехали метров триста и вдруг увидели, что прямо на шоссе на брюхе лежит совершенно целый «мессершмит». Трое мальчишек конались в нем, разбирая пулемет и растаскивая из лент патроны. Мы спросили, не видели ли они летчика. Они сказали, что нет, по каких-то трое военных пошли в лес искать летчика. Рядом с самолетом лежал окровавленный шлем. Очевидно, летчик был ранен и ушел в лес.

Пулеметная стрельба была теперь совсем близко. Мы повернули и доехали до ждавших нас на опушке красноармейцев. Теперь их стало больше, набралось уже человек пятнадцать.

Я посадил их всех на грузовик, и мы поехали назад, километра за полтора, где влево уходила проселочная дорога.

На нашу машину подсели еще несколько человек. Мы свернули налево, думая, что, может быть, хоть там, на этом проселке, есть какие-нибудь части.

На просейке нам встретился еще десяток красноармейцев. Мы с Котовым собрали их всех вместе — теперь уже человек сорок, — назначили над ними командиром старшего лейтенанта и приказали расположиться здесь, в леске, выслав в стороны по два человека искать какую-нибудь часть, к которой могла бы присоединиться вся их группа.

Потом мы развернулись и выехали обратно на шоссе. Из здесь я стал свидетелем картины, которой никогда не забуду. На протяжении десяти минут я видел, как «мессершмитты» один за другим сбили шесть наших ТБ-3. «Мессершмитт» заходил ТБ-3 в хвост, тот начинал дымиться и шел книзу. «Мессершмитт» заходил в хвост следующему ТБ-3, слышалась трескотня, потом ТБ-3 начинал гореть и падать. Падая, они уходили очень далеко, и черные высокие столбы дыма стояли в лесу по обеим сторонам дороги.

Мы доехали до красноармейца, по-прежнему стоявшего на развилке дорог. Он остановил машину и спросил меня:

— Товарищ батальонный комиссар, меня вторые сутки не сменяют. Что мне делать?

Видимо, тот, кто приказал ему стоять, забыл про него. Я не знал, что делать с ним, и, подумав, сказал, что, как только подойдет первая группа бойцов с командиром, пусть он присоединится к ней.

Через два километра нам попалась машина, стоявшая на дороге из-за того, что у нее кончился бензин. Мы перелили им часть своего бензина, чтобы они могли доехать до какой-то деревни поблизости, куда им приказано было ехать. А они перегрузили к нам в кузов двух летчиков с одного из сбитых ТБ-3.

Один из летчиков был капитан с орденом Красного Знамени за финскую войну. Он не был ранен, но при падении разбился так, что еле двигался. Другой был старший лейтенант с раздробленной, кое-как перевязанной ногой. Мы забрали их, чтобы отвезти в Могилев. Когда сажали их в машину, капитан сказал мне, что этот старший лейтенант — известный летчик, специалист по слепым полетам. Кажется, его фамилия была Ищенко. Мы подняли его на руки, положили в машину и поехали.

Не проехали еще и километра, как совсем близко, прямо над нами, «мессершмитт» сбил еще один — седьмой ТБ-3. Во время этого боя летчик-капитан вскочил в кузове машины на ноги

и ругался страшными словами, махал руками, и слезы текли у него по лицу. Я плакал до этого, когда видел, как горели те первые шесть самолетов. А сейчас плакать уже не мог и просто отвернулся, чтобы не видеть, как немец будет кончать этот седьмой самолет.

— Готов, — сказал капитан, тоже отвернулся и сел в кузов.

Я обернулся. Черный столб дыма стоял, казалось, совсем близко от нас. Я спросил старшего лейтенанта, может ли он терпеть боль, потому что я хочу свернуть с дороги и поехать по целине к месту падения самолета — может быть, там кто-нибудь спасся. Летчику было очень больно, но он сказал, что потерпит.

Мы свернули с дороги и по ухабам поехали направо. Проехали уже километров пять, но столб дыма, казавшийся таким близким, оставался все на том же расстоянии.

На развилке двух проселков нас встретили мальчишки, которые сказали, что туда, к самолету, уже поехали милиционеры. Тогда, видя, что раненый летчик на этих ухабах еле сдерживает стоны и терпит страшную боль, я решил вернуться обратно на шоссе.

Едва мы выехали на шоссе, как над нами произошел еще один воздушный бой. Два «мессершмитта» атаковали ТБ-3, на этот раз шедший к Бобруйску совершенно в одиночку. Началась сильная стрельба в воздухе. Один из «мессершмиттов» подошел совсем близко к хвосту ТБ-3 и зажег его.

Самолет, дымя, пошел вниз. «Мессершмитт» шел за ним, но вдруг, кувырнувшись, стал падать. Один парашют отделился от «мессершмитта» и пять от ТБ-3. Был сильный ветер, и парашюты понесло в сторону. Там, где упал ТБ-3 — километра дватри в сторону Бобруйска, — раздались оглушительные взрывы. Один, другой, потом еще один.

Я остановил машину и, посоветовавшись с Котовым, сказал летчикам, что нам придется их выгрузить, вернуться к тому месту, где опустились наши сбросившиеся с самолета летчики, и, взяв их, потом ехать всем вместе в Могилев. Раненый летчик только молча кивнул головой. Мы вынесли его из машины на руках и положили под деревом. Там, вместе с ним под деревом, остались Котов, второй летчик, капитан и два раненых красноармейца, которых мы подобрали по дороге.

Я сказал капитану, чтобы он до моего возвращения был здесь старшим, а сам вдвоем с шофером поехал назад.

Мы проехали обратно по шоссе три километра. Столб дыма и пламени стоял вправо от шоссе. По страшным кочкам и ухабам мы поехали туда, взяв по дороге на подножку машины двух мальчишек, чтобы они показали нам путь.

Наконец мы добрались до места падения самолета, но подъехать к этому месту вплотную было невозможно. Самолет упал посреди деревни с полной боевой нагрузкой и с полными баками горючего. Деревня горела, а бомбы и патроны продолжали рваться. Когда мы подошли поближе, то нам даже пришлось лечь, потому что при одном из взрывов над головой просвистели осколки.

Несколько растерянных милиционеров бродили кругом по высоким хлебам в поисках спустившихся на парашютах летчиков. Я вышел из машины и тоже пошел искать летчиков. Вскоре мы встретили одного из них. Он сбросил с себя обгоревший комбинезон и шел только в бриджах и фуфайке. Он показался мне довольно спокойным. Встретив нас, он, морщась, выковырял через дыру в фуфайке пулю, засевшую в мякоти ниже плеча.

Он остался там, у деревни, а милиционеры, водитель и я, разойдясь цепочкой, пошли дальше по полю. Рожь стояла почти в человеческий рост. Долго шли, пока наконец я не увидел двух человек, двигавшихся мне навстречу. Мы все шли на розыск с оружием в руках, потому что сбросились не только наши летчики, но и немец. Но, когда я увидел двоих вместе, я понял, что это наши, и начал им махать рукой. Они сначала стояли, а потом пошли мне навстречу с пистолетами в руках.

Еще не предвидя того, что произойдет потом, но понимая, что эти двое не могут быть немцами, я спрятал наган в кобуру. Летчики подходили ко мне все ближе и, когда подошли шагов на пять-шесть, направили на меня пистолеты.

— Кто? Ты кто?

Я сказал:

— Свои!

— Свои или не свои! — крикнул один из летчиков. — Я не знаю, свои или не свои! Я ничего не знаю!

Я повторил, что тут все свои, и добавил:

— Видишь, у меня даже наган в кобуре.

Это его убедило, и он, все еще продолжая держать перед моим носом пистолет, сказал уже спокойнее:

— Где мы? На нашей территории?

Я сказал, что на нашей. Подошли милиционеры, и летчики окончательно успокоились. Один из них был ранен, другой сильно обожжен. Мы вернулись вместе с ними к третьему, оставшемуся у деревни. Туда же за это время пришел и четвертый. Пятого отнесло куда-то в лес, и его продолжали искать. Куда отнесло на парашюте немца, никто толком не видел.

Летчики матерно ругались, что их послали на бомбежку без сопровождения, рассказывали о том, как их подожгли, и радо-

вались, что все-таки сбили хоть одного «мессершмитта». Но меня, видевшего только что всю картину гибели восьми бомбардировщиков, этот один сбитый «мессер» не мог утешить. Слишком дорогая цена.

Мы не стали ждать, пока найдут пятого летчика, — на это могло уйти несколько часов, а у меня оставались на дороге раненые. Я забрал с собой этих четырех летчиков, из которых двое тоже были легко ранены, а третий обожжен, посадил их в кузов и поехал обратно.

На шоссе, в полукилометре от того места, где я оставил своих спутников, меня встретил стоявший прямо посреди дороги бледный Котов. Рядом с ним стоял какой-то немолодой гражданский с велосипедом. Я остановил машину.

— Почему вы здесь? — спросил я Котова.

— Случилось несчастье, — сказал он трясущимися губами. — Несчастье.

— Какое несчастье?

— Я убил человека.

Стоявший рядом с ним гражданский молчал.

— Кого вы убили?

— Вот его сына. — Котов показал на гражданского.

И вдруг гражданский рыдающим голосом закричал:

— Четырнадцать лет! Какой человек? Мальчик! Мальчик!

— Как это случилось? — спросил я.

Котов стал объяснять что-то путаное, что кто-то побежал через дорогу по полю и он принял этих бежавших за немецких летчиков, потому что упал немецкий бомбардировщик, и он выстрелил и убил.

— Как он мог принять за летчика мальчика четырнадцати лет? Просто убил, и все! — снова закричал гражданский и заплакал.

Я ничего не понимал и не знал, что делать.

— Садитесь в машину оба. Поедем! — сказал я.

Котов и гражданский сели в кузов, и мы поехали туда, где под большим деревом ждали нас остальные. Остававшийся за старшего летчик-капитан растерянно рассказал мне, что недалеко в лесу упал сбитый немецкий бомбардировщик и были видны два спускавшихся парашюта. Котов, взяв с собой двух легко раненных красноармейцев, пошел туда, поближе к опушке, и увидел, что от опушки метрах в шестистах от него перебежали двое в черных комбинезонах. Он стал кричать им «стой!», но они побежали еще быстрее. Тогда он приложился и выстрелил. С первого же выстрела один из бежавших упал, а второй убежал в лес. Когда Котов вместе с красноармейцами дошли до упавше-

го, то увидели, что это лежит убитый наповал мальчик в черной форме ремесленного училища. Вскоре туда же прибежал его отец — этот человек с велосипедом, бухгалтер колхоза.

Что было делать? Отец плакал и кричал, что Котова надо расстрелять, что Котов убил его сына, единственного сына, что мать еще не знает об этом и он сам даже не знает, как ей об этом сказать. Он требовал от меня, чтобы я оставил Котова здесь, в их деревне, в километре отсюда, пока он не вызовет кого-нибудь из местного НКВД.

Слушая его отчаянный, ожесточенный голос, я вдруг понял: если оставить здесь Котова, то вполне возможно, что отец убитого и соседи, даже тот местный участковый милиционер, да и всякий другой, кто тут окажется, в том первом, отчаянном состоянии, которое сегодня здесь у всех, просто устроят самосуд и вместо одного убитого будут двое.

Я сказал, что не могу оставить здесь Котова и что сдам его в военную прокуратуру в Могилеве, куда я возвращаюсь. Отец мальчика стал кричать, что я хочу скрыть все это дело и что нет, он не отпустит Котова, что так нельзя. Тогда я сказал Котову, что он арестован, отобрал у него оружие и патроны, посадил его в кузов грузовика и в присутствии отца убитого приказал одному из красноармейцев охранять Котова и, если Котов попытается бежать, стрелять по нему. Потом записал на бумажку свою фамилию и место службы — редакцию, отдал бумажку отцу убитого и твердо обещал, что это дело будет разобрано.

Времени терять было нельзя. Я сел в машину, и мы рванулись с места. Отец убитого стоял на дороге — раздавленный горем человек, к тому же еще угнетенный, наверно, мыслью, что я скрою случившееся.

Спустя километр мы пронеслись через деревню. Стояла толпа, слышались вопли и крики. Наверно, только что узнали о случившемся. Я еще раз подумал, что действительно здесь могли бы устроить самосуд над Котовым.

Всю обратную дорогу мы ехали молча. Сначала сзади еще доносилась артиллерийская стрельба, потом стало тихо. Как я позже узнал, немцы в этот день с утра действительно форсировали Березину около Бобруйска. Их отбивало в пешем строю растянутое на двенадцать километров Бобруйское танковое училище, которое на следующий день, когда немцы окончательно переправились, полегло там, в лесах, в неравном бою.

В Могилев мы вернулись только к ночи. Я отвез всех раненых в госпиталь. В темноте их долго не принимали, шла какая-

то канитель. У меня еще было наивное штатское представление, что к каждому привезенному раненому должны сразу выскочить все врачи и сестры. Меня удивило, с каким спокойствием в ту ночь принимали у меня раненых — так показалось мне, — хотя, в сущности, это была нормальная жизнь госпиталя, круглые сутки принимающего раненых. К этому я привык только потом.

Сдав раненых, я вместе с Котовым и летчиком-капитаном вернулся в редакцию. Там, попросив редактора, чтобы из комнаты ушли посторонние, я положил ему на стол пистолет и патроны, отобранные у Котова, и доложил о происшедшем. Летчик, со своей стороны, как свидетель, тоже рассказал об этом. Он был удручен, так как оставался в мое отсутствие старшим и чувствовал себя в какой-то степени ответственным за эту дикую историю.

Устинов неожиданно для меня отнесся ко всему происшедшему спокойней, чем я думал, и сказал, что доложит об этом члену Военного совета фронта, а пока что потребовал, чтобы Котов сдал ему свои документы. Оказалось, что у Котова никаких документов нет, что он в растерянности, уговаривая отца убитого подождать, пока я вернусь, отдал ему в залог свои документы и потом так и не взял их.

Я написал короткую объяснительную записку. То же самое сделал летчик, и мы, смертельно усталые, повалились спать на полу рядом все трое.

Так кончился этот день.

Засыпая, я думал о Котове. Мне казалось, что его признают виновным и, может быть, расстреляют. Хотя сделал все, что мог, чтобы спасти его от самосуда, но мне казалось, что за гибель мальчика, которая могла произойти только в обстановке общей нервозности этого дня, Котова будут судить и, возможно, расстреляют. Другие меры наказания в те дни не приходили в голову. Казалось, что с человеком можно сделать только одно из двух — или расстрелять, или простить.

Потом, на следующий день, я узнал, что когда о случившемся доложили члену Военного совета, то он, расспросив, как до этого вел себя Котов, и узнав, что хорошо, сказал:

— Ну что же, пусть загладит свою вину на войне.

В те дни мне еще казалось, что даже совершенно печальное убийство человека п-за своей непоправимости все равно такое деяние, за которое нельзя не понести наказания... И все-таки, в общем, наверно, все это было правильно тогда — и то, что не оставил Котова одного там, на дороге, когда ему грозил самосуд, и то, что его потом простили. Мальчика не вернешь все равно, а в живых остался все-таки лишний солдат...

В дневнике нет точной даты нашей поездки под Бобруйск. Сейчас, после проверки, могу назвать ее — это было 30 июня. Но, чтобы объяснить картину, которую мы увидели в этот день на шоссе Могилев — Бобруйск и над ним, надо, обратившись к документам, вернуться еще на несколько дней назад.

Захват Бобруйска и переправа через Березину были связаны с быстрым продвижением правого фланга группы Гудериана. Переправившись через Березину у Бобруйска, немецкие танковые и механизированные части не пошли на северо-восток, на Могилев, а рванулись в обход его, прямо на восток, к Днепру, на Рогачев, и захватили его.

В дневном сообщении Информбюро за 1 июля впервые упоминается о Бобруйском направлении, где « всю ночь наши войска вели бои с подвижными частями противника, противодействуя их попыткам прорваться на восток. В бою участвовали пехота, артиллерия, танки и авиация ». Сводки Информбюро в тот период, как правило, отставали от молниеносно развертывающихся событий. Но в данном случае Бобруйское направление появилось в сводке почти сразу после того, как оно действительно возникло. Скажу попутно, что сам термин «направление», по поводу неопределенности которого мы тогда, случалось, говорили между собой с маскировавшей душевную боль горькой иронией, сейчас, по зрелому размышлению, мне кажется для того времени оправданным не только с чисто военной точки зрения, но и психологически.

Слова «Бобруйское направление», к примеру, давали общее географическое представление о глубине нанесенного нам удара, в то же время уводя от конкретного перечисления всех отданных немцам пунктов. Все случившееся в начале войны было такой огромной силы психологическим ударом, что можно понять тогдашнее нежелание вдаваться в устрашающую детализацию и без того грозных сообщений.

Что же касается армейских и фронтовых сводок, то происходившие на Бобруйском направлении события с самого начала излагались, как правило, точно, если не считать пробелов, связанных с обрывами связи и недостаточной информацией.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» слово «Бобруйск» упоминается впервые 26 июня: «4-я армия продолжала отходить за Бобруйск».

Следующее упоминание о Бобруйске в «Журнале» появляется 28 июня: «Противник, развивая наступление передовыми подвижными частями... на левом фланге овладел Бобруйском и готовил форсирование Березины».

В «Журнале» приводится сводка штаба 4-й армии: «Сводный отряд... под командованием командира 47-го стрелкового

корпуса успешно отражал попытки противника форсировать Березину в районе Бобруйска».

Что представлял из себя этот сводный отряд, которому была поставлена задача не допустить переправы немецких танков через Березину, дает представление донесение его командира генерала Поветкина. Вечером 28 июня отряд состоял из сводного полка — 900 человек, автотракторного училища — 440 человек, 246-го стрелкового батальона — 300 человек, 273-го батальона связи — 300 человек и 21-го дорожно-эксплуатационного полка — 800 человек. А всего около двух с половиной тысяч человек из пяти разных частей. Кстати сказать, сам генерал Поветкин, дважды раненный и контуженный в бою еще 29 июня, продолжал командовать сводным отрядом до конца его действий — до 3 июля.

О входившем в сводный отряд Бобруйском тракторном училище (которое я в дневнике по ошибке назвал танковым) упоминается в том же донесении политуправления Западного фронта, где впервые сообщается о подвиге Гастелло. В нем говорится, что курсанты училища ведут разведку в уже захваченном немцами Бобруйске и о том, как в одной из таких разведок курсант Иванов, получив четыре ранения, истекая кровью, все-таки переплыл обратно реку и доложил полученные им данные.

О дальнейших событиях, происходивших 30 июня, дают представление оперативные сводки и «журналы боевых действий». В сводке за 30 июня говорится, что ночью с 29-го на 30-е немцам не удалось переправиться через Березину, их попытки переправиться были отбиты.

Утром 30-го немцы продолжают попытки форсировать Березину, и в 8 часов утра их первые три танка оказываются на этом берегу.

В «Журнале боевых действий 4-й армии» появляются драматические слова: «Нечем поддерживать пехоту. Осталось три противотанковых орудия ПТО и две 76-мм пушки. Части сводного отряда начали отход».

После этого рассказывается о том, как командующий 4-й армией генерал-майор Коробков, выбросив на помощь отряду один батальон 42-й стрелковой дивизии, сам с группой командиров выехал на передовую.

Дальше в «Журнале» записано, что под руководством командарма был организован сводный батальон из отходящих людей, расставлены противотанковые орудия и приостановлено отступление.

В 7 часов вечера, как указывается в «Журнале», атака противника была отбита на рубеже реки Олы.

«После ожесточенного боя к 19.30 30 июня противнику удалось переправить до 93 танков и бронемашин и несколько десятков мотоциклистов. Большое количество переправившихся танков направилось в северном направлении на Могилев». Так выглядел этот день — 30 июня — в «Журнале боевых действий войск Западного фронта».

Березину форсировал 24-й немецкий танковый корпус. В авангарде его шла 3-я танковая дивизия генерал-лейтенанта Моделя.

По иронии судьбы ровно три года спустя, 28 июня 1944 года, именно этот генерал Модель, уже в чине фельдмаршала, вновь прибыл именно сюда, сменив на посту командующего группой армий «Центр» фельдмаршала Буша, в тот момент, когда главные силы 9-й германской армии были окружены нами как раз в районе Бобруйска.

Повествуя о событиях, происходивших ровно через три года в этих же самых местах, немецкий военный историк Типпельскирх выразительно назвал эту главу своей книги: «Крах немецкой группы армий «Центр»».

Но тогда, 30 июня 1941 года, до всего этого было еще безмерно далеко.

В дневнике сказано, что мы были уже почти у Березины, когда нашу машину остановили выскочившие из лесу бойцы. Теперь, после войны, заново проехав эту дорогу, я понял, что все было не совсем так, как мне тогда сторяча показалось. В середине дня 30 июня мы не могли оказаться в километре от Березины — там в это время были уже немцы. В действительности мы совсем немного не доехали до реки, но не до Березины, а, как я теперь понимаю, до той маленькой речки Олы, где как раз в это время пытался задержать немцев генерал Коробков. Очевидно, именно через эту речку Олу переправилось несколько немецких танков с десантами. С ними и вела бой та группа бойцов, остатки которой остановили нас на шоссе.

Кто знает, сами ли они спугали Березину с Олой или просто кричали нам о немецких танках и пехоте, только что переправившихся через реку, а мы, держа в уме Березину, решили, что речь идет о ней?

А теперь о самом главном, о чем мне хочется рассказать в связи с этими страницами дневника, — о том сплаве героического и трагического, который характерен был в эти дни для действий нашей авиации.

Вполне понятно, что первое же известие о том, что немцы начали переправу у Бобруйска, грозившую тяжкими последствиями для всего южного крыла нашего Западного фронта, вызвало

в штабе фронта острую тревогу. Очевидно, этим и продиктована телеграмма, которую я нашел среди других документов тех дней.

«Ответственного дежурного зовите! Всем соединениям ВВС Западного фронта. Немедленно. Всеми силами эшелонированно группами уничтожить танки и переправы в районе Бобруйска».

Телеграмма подписана командующим фронтом Павловым и Таюрским, вступившим в командование воздушными силами Западного фронта после гибели застрелившегося в первые дни войны генерала Копец.

Есть все основания предполагать, что по этой категорической телеграмме штаба фронта было поднято в воздух и в течение дня брошено на Бобруйск все или почти все, чем располагали к тому моменту бомбардировочная авиация Западного фронта и приданный ей Ставкой 3-й дальний бомбардировочный корпус.

Мощные, с большим радиусом действия тяжелые бомбардировщики ТБ-3, которые когда-то успешно высаживали на Северный полюс Папанина, а уже в 1939 году на Халхин-Голе из-за своей тихоходности использовались исключительно ночью, здесь, на Западном фронте, входили главным образом в состав 3-го дальнего бомбардировочного авиакорпуса.

В сводке о потерях материальной части авиации Западного фронта говорится, что за 30 июня 3-м авиакорпусом, в составе которого действовали полки ТБ-3, была потеряна 21 машина. Из них 5 сбиты в воздушных боях и 16 не вернулись с боевых заданий.

В число этих потерь за 30-е, очевидно, входят и те восемь ТБ-3, гибель которых я своими глазами видел над шоссе Могилев — Бобруйск.

Целый ряд документов говорит о том, что 30 июня наша авиация, в том числе ТБ-3, нанесла немцам под Бобруйском чувствительные удары и, по крайней мере частично, выполнила свою задачу. В донесениях летчиков говорится о бомбежке скоплений немецких танковых частей на переправе и в лесу севернее Бобруйска, о бомбежке Бобруйского аэродрома, о том, что выполнено задание зажечь лес в районе другой переправы, южнее Бобруйска, говорится о том, что в Бобруйске пожары, а мост через Березину взорван, о бомбежке механизированных частей немцев юго-западнее Бобруйска и немецких тылов на дороге Глуша — Бобруйск.

Донесения летчиков подтверждаются донесениями с земли. В одном из них указывается, что начатая немцами через Березину переправа прервана налетом нашей авиации, в другом сообщается, что семь наших бомбардировщиков бомбят переправу противника... Есть и другие донесения такого же характера,

Таким образом, летчики сделали все, чтобы выполнить задачу, поставленную перед ними категорической телеграммой штаба фронта. Другой вопрос, чего это стоило среди бела дня, когда немецкая истребительная авиация господствовала в воздухе.

Летчики один за другим сообщают, что во время выполнения заданий непрерывно подвергаются атакам немецких истребителей, что на Бобруйском аэродроме находится около двадцати «Мессершмиттов-109», что немцы посадили на других ближайших аэродромах много «Мессершмиттов-109». И все это дополняется донесениями об ожесточенном огне немецкой зенитной артиллерии, действия которой в дневных условиях были особенно сокрушительны по тихоходным ТБ-3.

В донесениях бомбардировочных авиационных полков, действовавших над районом Бобруйска, встречается несколько упоминаний о сбитых «мессершмиттах». Как ни велико было неравенство в силах между «мессершмиттами» и ТБ-3, все-таки не все немецкие истребители оставались безнаказанными. Очевидно, это следует объяснить мужеством хвостовых стрелков на наших бомбардировщиках: даже в безнадежном положении, с горящих самолетов, они продолжали вести огонь и иногда сбивали тех немцев, которые, рассчитывая на безнаказанность, приближались вплотную к подбитым, дымящимся бомбардировщикам.

В некоторых донесениях указывается, что часть экипажей самолетов выбросилась и вернулась на аэродромы, а стрелки этих же самолетов были убиты в воздухе. Во всяком случае, я своими глазами видел два сбитых «мессершмитта». Да и тот немецкий бомбардировщик, из которого, по словам моего спутника Котова, выбросились на парашютах два человека, скорей всего был тоже не бомбардировщик, а двухместный истребитель «Мессершмитт-110».

Трагедия, которая произошла в районе Бобруйска 30 июня с нашими пошедшими на дневную бомбежку ТБ-3, обратила на себя внимание даже на общем тяжелом фоне всего происходившего в те дни. Об этом свидетельствует телеграмма, посланная на следующий день, 1 июля, командиром 3-го дальнего бомбардировочного корпуса полковником Н. С. Скрипко (впоследствии — маршал авиации).

«Вручить немедленно командующему ВВС Зап. фронта. Могилев... Чрезмерно большое количество потерь 30 июня 41 г. дальней бомбардировочной авиации происходило из-за отсутствия наших истребителей над целью и неподавления огня зенитной артиллерии... Для действий дальней бомбардировочной авиации прошу указать, когда можно иметь обеспечение истребителями и штурмовые действия по зенитной артиллерии... Полковник Скрипко».

На этой телеграмме стоит карандашная резолюция командующего ВВС: «Все истребители летают в районе цели. А. Таюрский».

Наверно, резолюция отвечала действительности. Другой вопрос, что это значило — «все истребители». Сколько их было в наличии и какие?

Я не разыскал цифр наличия авиации на Западном фронте к началу июля, но думаю, что об этом может дать известное представление более поздняя сводка ВВС Западного фронта — за 21 июля 1941 года. Судя по ней, на тридцатый день войны на всем Западном фронте у нас осталось (очевидно, с учетом поступивших за эти дни пополнений) всего семьдесят восемь истребителей. Причем только пятнадцать из них были современными: двенадцать МиГов и три ЛаГа. А все остальные были устарелые И-16, И-153 и И-15.

В этом и состояло главное объяснение многого происходившего тогда и в воздухе и на земле, в том числе и упомянутой в дневнике бобруйской трагедии.

Человеку, думающему об ее истоках, прежде всего, конечно, приходит в голову обратиться к первому утру войны, когда только на одном Западном фронте и только на земле было уничтожено пятьсот двадцать восемь наших самолетов, в том числе почти все современные истребители, которые в связи с переоборудованием ряда аэродромов были скучены на нескольких площадках, расположенных впритык к границе и досконально разведанных немцами.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» стоят комментирующие этот факт строки:

«Командующий ВВС Западного фронта генерал-майор авиации Копец, главный виновник гибели самолетов, по-видимому, желая избежать кары, получив еще неполные данные о потерях, в тот же вечер 22 июня застрелился. Остальные виновники получили по заслугам позднее».

То, что один из блестящих летчиков, герой испанской войны Копец, в тридцать два года ставший командующим авиацией крупнейшего округа, мог застрелиться, наверное, не столько из боязни кары, сколько под гнетом легшей на его плечи ответственности, психологически понятно.

Но думается все же, что по справедливости начало всей этой трагедии, происшедшей в первые дни войны с нашей авиацией, следовало бы отнести не к 22 июня 1941 года, а на несколько лет раньше, и главная ответственность за нее лежит все же не на капитанах и лейтенантах, в неправдоподобно короткий срок сделавшихся генералами... Я написал об этом

своей книге «Живые и мертвые», размышляя над судьбой одного из героев, генерала Козырева, и впоследствии включил этот эпизод в фильм того же названия.

Готовя дневник к печати, я вдруг получил письмо от работника Высшей партийной школы в Москве, полковника в отставке Андрея Ивановича Квасова. Это письмо подтвердило, что память не изменила мне, когда я писал в дневнике, что раненого в ногу летчика, которого мы вывезли на своей полуторке из-под Бобруйска в Могилев, «кажется, звали Ищенко». Его действительно звали Ищенко, только он был не старший лейтенант, а просто лейтенант, командир того сбитого над Бобруйском дальнего бомбардировщика, на котором впоследствии полковник, а тогда капитан Квасов летал штурманом.

Вот что написал мне Квасов в своем письме после того, как увидел фильм «Живые и мертвые», напомнивший ему через много лет о событиях 30 июня 1941 года под Бобруйском:

«Наш 212-й отдельный дальний бомбардировочный авиационный полк, которым командовал тогда полковник, а ныне главный маршал авиации товарищ Голованов А. Е., получил боевой приказ: разрушить наведенные фашистами переправы через реку Березину, по которым они должны были переправлять свои наступающие танковые части с западного на восточный берег. 30 июня 1941 года в 17 часов 04 минуты мы на высоте 800 метров звеньями без прикрытия наших истребителей появились над переправами у г. Бобруйска и обрушили бомбовый груз на скопление фашистских танков у переправ. Небо было ясное. Я успел посмотреть на результаты своего бомбардирования. Отчетливо были видны сильные взрывы на самой переправе и в местах скопления вражеской техники. Наш самолет, пилотируемый лейтенантом Ищенко Николаем, был ведомым в звене командира эскадрильи лейтенанта Вдовина Виктора. Вдруг от взрывной волны наш самолет сильно бросило влево, в моей штурманской кабине повыскакивали все стекла, стрелок-радист, младший сержант Кузьмин, крикнул по самолетному переговорному устройству: «Самолет командира эскадрильи взорвался от прямого попадания зенитного снаряда».

Но и нам недолго пришлось продержаться в воздухе. Наш самолет был подожжен фашистским истребителем Ме-109. Стрелок-радист был убит в воздухе. Левая и правая плоскости были в пламени. Меня сильно придавило к сиденью. С большим трудом я повернул голову вправо и назад. Самолет пикировал и был неуправляем. В кабине командира экипажа не было. Как потом оказалось, его выбросило. Все это происходило в какие-то доли секунды. Я потянул на себя ручку нижнего люка и провалился

вниз, под самолет. Неподалеку от земли я повис на парашюте. Мимо меня проносились трассы фашистских истребителей. Правая лапа кожаного пальто у меня была пробита в трех местах — они расстреливали в воздухе тех, кто чудом остался жив. Я упал с парашютом на болото около мелиоративной канавы. Невдалеке от меня закричал мой командир — Ищенко. Он лежал, был ранен. Место, где мы приземлились, простреливалось автоматными выстрелами. Я взял Ищенко на спину, и мы поползли с ним по мелиоративной канаве. Долго ползти мы не могли. У меня в левом боку было поломано ребро и шла изо рта кровь. Невдалеке от сарая, в который мы ползли, нас заметили два мальчика. Они принесли свернутый купол моего парашюта и помогли мне завернуть раненую ногу Ищенко. Ему было очень мучительно, так как в рану попали волосы от унтов».

После этого Андрей Иванович Квасов рассказал в своем письме о том, как мы с Котовым погрузили его и Ищенко в свою машину, повезли в Могилев и как по дороге туда собрали еще четырех или пятирех летчиков с других сбитых самолетов и тоже отвезли их в Могилев.

Заключая письмо, Квасов вспомнил о том, как, доставив Ищенко в госпиталь, мы поужинали консервами и хлебом и заночевали у нас в редакции, и сообщал о дальнейшей судьбе своего командира Николая Ищенко.

«Потом он попал на Урал, где восемь месяцев был на излечении, впоследствии продолжал воевать, был удостоен звания Героя Советского Союза и погиб на аэродроме в 1945 году, уже в мирное время».

Вскоре после получения этого письма я встретился с Андреем Ивановичем Квасовым, тем самым «капитаном с орденом Красного Знамени за финскую войну», о котором упоминается в моем дневнике.

Надо ли говорить, что мы оба были рады этой встрече и долго сидели и вспоминали тот давно минувший тяжелый день под Бобруйском.

Как водится, при таких воспоминаниях не обошлось без расхождений в подробностях.

Квасову помнилось, что именно мы с младшим политруком Котовым встретили его и Ищенко там, куда они доползли. А я, взяв в руки свой продиктованный весной 1942 года, по еще горячим следам, дневник, пытался доказать ему, что оттуда, с места приземления, их вытащили не мы, а какие-то другие военные люди, а мы только перегрузили их позже на свою полуторку. В данном случае истина была на моей стороне. Но Квасов никак не соглашался, ему все это запомнилось по-другому.

Видимо, в том возбужденном состоянии, в котором он был тогда, сразу после гибели самолета, какие-то первые подробности собственного спасения выпали у него из памяти.

Однако в других подробностях оказался не прав я.

Поздней осенью 1945 года, когда меня направили в капитулировавшую Японию корреспондентом «Красной звезды» при штабе генерала Макатура, в поезде между Читой и Владивостоком я встретился с авиационным полковником, который остановил меня и спросил: не выдались ли мы с ним под Бобруйском? Из дальнейшего разговора выяснилось, что полковник был одним из тех раненых летчиков, которых мы вывели на своей полуторке в Могилев. И в моей памяти осталось, что этот встреченный мною в поезде полковник как раз и был Ищенко. Однако, как выяснилось из разговора с Квасовым, Герой Советского Союза Ищенко к тому времени уже погиб и, значит, мой собеседник в поезде был не Ищенко, а другой летчик, тоже вывезенный нами из-под Бобруйска. Лишний пример того, как нуждается в проверке наша память.

Остается добавить несколько данных, почерпнутых мною из архивных документов 212-го отдельного дальнего бомбардировочного авиационного полка уже после встречи с А. И. Квасовым. В тот драматический день, 30 июня 1941 года, самоотверженно выполняя приказ командования и нанося удар за ударом по немецким переправам у Бобруйска, полк, летавший в бой во главе со своим командиром Головановым, потерял одиннадцать машин. По документам полка, среди не вернувшихся с задания сначала числился весь экипаж самолета № 654, командир — лейтенант Ищенко Н. А., штурман — капитан Квасов А. И., стрелок-радист — младший сержант Кузьмин Е. С. и стрелок-бомбардир — лейтенант Фейгейльштейн А. М. Потом Квасов был помечен в документах как возвратившийся в полк, Ищенко — как находящийся на излечении в госпитале, а остальные два члена экипажа — как погибшие.

Есть в делах полка и еще один документ — о представлении Ищенко и Квасова за проявленное 30.VI.1941 мужество к орденам боевого Красного Знамени.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В Могилеве стало тревожно. Сообщали, что около ста немецких танков с пехотой, прорвавшись у Бобруйска, форсировало Березину. Через город весь вечер и ночь проходили эвакуировавшиеся тыловые части. Из дома типографии, стоявшего над

крутым берегом Днепра, было слышно, как повозки и грузовики грохочут по деревянному мосту.

Я приехал из типографии в лесок, где стояла редакция, и там узнал, что мы вместе со штабом фронта должны переезжать куда-то под Смоленск.

Здесь же, в леске, собрались только что приехавшие из Москвы Сурков, Кригер, Трошкин, Склезнев, Белявский и, кажется, Федор Левин.

К середине дня редакция погрузилась на машины и мы целой колонной двинулись на Смоленск. Большую часть пути ехали проселками. По дороге узнали, что накануне был убит один из наших редакционных водителей и смертельно ранен заместитель редактора батальонный комиссар Лихачев. Было это под Могилевом, ночью. Их остановили на дороге и, пока Лихачев давал документы для проверки, разрядили в них в упор маузер. Водитель был убит наповал, Лихачев — смертельно ранен. Как это произошло, он рассказал уже в госпитале.

Оказывается, были не только слухи о диверсантах, но и сами диверсанты, и держать наизготовку наган при проверке документов было не так уж смешно.

Но все равно грустное часто сочетается со смешным. Так вышло и здесь. После того как узнали о нашем редакционном несчастье, вскоре наша полуторка отстала на несколько километров от колонны, и вдруг перед нами на дорогу выскочил какой-то старик. При проверке документов оказалось, что это секретарь парторганизации здешнего колхоза. Остановив нас, он стал уверять, что впереди на дороге высадилась немецкая диверсионная группа и что она сейчас обстреляла его.

Мы вылезли из машины, разобрали винтовки, и машина тихо двинулась по дороге, а мы пошли цепочкой слева и справа. Было нас на машине человек шесть, не помню кто, помню только Шустера, шумного, смешливого человека, потом пропавшего без вести во время вяземского окружения. Немцев мы не встретили, но километра через три на дороге обнаружили стоявший грузовик. Оказывается, у него одна за другой почти разом лопнули две покрышки — они и были теми немецкими диверсантами, которые обстреляли бдительного старика. Посмеявшись, мы залезли в свою полуторку и поехали дальше.

Было очень грустно на душе. Мы проезжали проселками через места, где еще почти не ходили военные машины, через самые мирные деревеньки и городишки. Мы ехали на северо-восток, в тыл. И надо было видеть, с какой тревогой провожали глазами наши машины люди, выходившие из домов. Особенно встревоженно вели себя жители Шклова. Городок был малень-

кий, грязноватый, но оттого, что светило солнце, он казался все-таки веселым. Мы проезжали через город, а у дверей стояли испуганные еврейские женщины и глазами спрашивали нас: трогаться им с места или нет?

У одного из домов мы остановились, чтобы попить воды, и тут нам сказали вслух сказанное до этого только глазами. Спрашивали: «Где немцы? Придут ли они сюда? Может быть, пора уходить, скажите нам правду». И мы им сказали то, что в тот день считали правдой: что немцы далеко и что их сюда не пустят. Не могли же мы знать, что именно около этого самого Шклова всего через несколько дней немцы прорвут нашу линию обороны, шедшую от Орши на Могилев.

Через Смоленск мы проезжали уже поздно вечером. Ходили слухи, что от Смоленска после немецких бомбардировок не осталось камня на камне. В действительности было не так. В тот вечер я почти не увидел в Смоленске разбитых бомбами зданий. Но несколько центральных кварталов было выжжено почти целиком. И вообще город был на четверть сожжен. Очевидно, немцы бомбили здесь главным образом зажигалками.

Это был первый город, который я видел еще дымящимся. Здесь я в первый раз услышал запах гари, горелого железа и дерева, к которому потом пришлось привыкнуть.

В небе высоко гудели самолеты. Мы спускались к железной дороге, когда увидели, что на другой окраине Смоленска взлетают ракеты. Значит, диверсанты были и здесь.

Мы проехали еще километров пятнадцать за Смоленск, свернув с дороги, приехали в сырой низкорослый лесок и, разостлав на траве плащ-палатки, немедленно заснули.

На следующий день я прочел в политотделе записанную на слух радистами речь Сталина. Отчетливо помню свои ощущения в те минуты. Первое — этой речью, в которой говорилось о развертывании партизанского движения на занятой территории и об организации ополчения, клался предел тому колоссальному разрыву, который существовал между официальными сообщениями газет и действительной величиной территории, уже захваченной немцами.

Это было тяжело читать, но нам, которые это знали и так, все-таки было легче оттого, что это было сказано вслух.

Второе чувство — мы поняли, что бродившие у нас в головах соображения о том, что разбиты только наши части прикрытия, что где-то готовится могучий удар, что немцев откуда-то ударят и погонят на запад не сегодня, так завтра, что все эти слухи о том, что Южный фронт тем временем наступает, что уже взят Краков и так далее, мы поняли, что все это не более

чем плоды фантазии, рожденной несоответствием того начала войны, к которому мы годами готовились, с тем, как оно вышло в действительности.

Это тоже было тягостно. И все-таки в этом была какая-то определенность. Становилось ясно, что придется воевать с немцами тем, что есть под руками, не обольщаясь никакими химерами и надеждами на воображаемые успехи Южного или Северо-Западного фронтов. Всюду было так же, как у нас, здесь немного хуже или немного лучше. Оставалось надеяться только на собственные силы.

Но над этими чувствами было еще одно — самое главное. Вспоминались время перед войной и речь Шверника о введении восьмичасового рабочего дня. В ней не говорилось, что восьмичасовой рабочий день введен по просьбе трудящихся, которым надоело работать семь часов; говорилось, что на носу война и есть тяжелая государственная необходимость перейти на восьмичасовой рабочий день. То есть говорилась полная правда, без всякого закрывания глаз на нее. Мне всегда казалось, что именно так и нужно разговаривать, что так все мы лучше понимаем.

Когда я прочел речь Сталина 3 июля, я почувствовал, что это речь, не скрывающая ничего, не прячущая ничего, говорящая народу правду до конца, и говорящая ее так, как только и можно было говорить в таких обстоятельствах. Это радовало. Казалось, что в таких тягостных обстоятельствах сказать такую жестокую правду — значит засвидетельствовать свою силу.

И еще одно ощущение. Понравилось, очень дошло до сердца обращение: «Друзья мои!» Так у нас давно не говорилось в речах.

Мы сидели в лесу. Над головой изредка гудели самолеты. Конечно, мы не знали, как все дальше повернется. И я не знал, что в апреле сорок второго буду сидеть в Москве и диктовать свой дневник. Но тогда, после этой речи, были мысли, что пойдешь и будешь драться, и умрешь, если нужно, и будешь отходить до Белого моря или до Урала, но, пока жив, не сдашься. Такое было тогда чувство...

Сейчас, спустя тридцать с лишним лет, Алексей Сурков и другие мои товарищи по фронту, когда я показал им эти страницы дневника, разошлись в воспоминаниях: где мы с ними тогда встретились — не то в лесу под Могилевом, не то уже под Смоленском.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» указано, что оба эшелона штаба фронта убыли в район Смоленска, в санаторий Гнездово, 2 июля. Сопоставляя факты, думаю, что я в числе других работников «Красноармейской правды», очевид-

но, выехал из Могилева 2 или 3 июля и речь Сталина в записи радистов политуправления фронта прочел уже в лесу под Смоленском.

Перечитывая сейчас то место в дневнике, где говорится о речи Сталина, я не испытываю желания спорить с самим собой. Мне и сейчас кажется, что мое тогдашнее восприятие этой речи, в общем, соответствовало ее действительному значению в тот трудный исторический момент.

В последние годы мне приходилось и слышать и читать в литературе и журналистике разные объяснения того факта, что Сталин выступил с речью лишь на двенадцатый день войны, в первый день возложив это на Молотова. Среди этих объяснений приводилось и такое, что Сталин в первые дни войны совершенно растерялся, отошел от дел и не принимал участия в руководстве войной.

Не берусь судить о фактах, которых не знаю, но психологически такое объяснение не вызывает у меня чувство доверия. Думается, что в применении к Сталину верней было бы говорить об огромности испытанного им потрясения. Это потрясение испытывали все. Но огромность потрясения, испытанного им, усугублялась тем, что на его плечах лежала наибольшая доля ответственности за все случившееся. В том, что он сознавал это, у меня нет сомнений, но представить себе Сталина в первую неделю войны совершенно растерявшимся и выпустившим из рук управление страной я просто-напросто не могу.

И то, что он свою речь произнес лишь на двенадцатый день войны, я объясняю не тем, что он до этого не мог собраться с духом, чтобы произнести ее, а совершенно другим. Сознывая всю силу своего, несмотря ни на что, и в эти дни сохранившегося авторитета, Сталин не желал рисковать им. Он не желал сам выступать по радио, обращаясь ко всей стране и к миру, раньше, чем полная страшных ежемесячных неожиданностей обстановка не прояснится хотя бы в такой мере, чтобы, оценив ее и определив перспективы на будущее, не оказаться вынужденным потом брать свои слова обратно.

Присутствовал ли в этом личный момент? Очевидно, присутствовал. Но убежден, что главным была государственная целесообразность этого решения.

Чтобы в какой-то мере восстановить ту обстановку, в которой мы услышали или прочли речь Сталина, приведу несколько выдержек из разных армейских документов тех дней.

В политдонесении отступившей от Бреста 4-й армии Западного фронта, датированном 4 июля, говорится, что части армии «вышли в новые районы формирования для пополнения личным

составом и материальной частью. 6-я стрелковая дивизия. Налицо... 910 человек, некомплект — 12 781 человек. 55-я стрелковая дивизия. Налицо 2623 человека, некомплект — 11 068 человек». Даже если учесть, что потом в районе формирования армии вышли из окружения еще тысячи и тысячи людей, все же эти цифры на 4 июля говорят о тяжести положения.

Предыдущим числом, 3 июля, датирована найденная мною в архиве записка командира 75-й стрелковой дивизии этой же армии генерал-майора С. И. Недвигина командующему армией генералу А. А. Коробкову. В воспоминаниях бывшего начальника штаба 4-й армии генерала Л. М. Сапдалова несколько раз с похвалой говорится о действиях этой упорно сражавшейся в ходе отступления дивизии. Из документов видно, что к первым числам июля она сохранила в своем составе около четырех тысяч бойцов и командиров. Записка Недвигина дает представление о душевном состоянии, в котором был на двенадцатый день войны командир одной из дивизий, отступавших с боями от самой границы.

«Товарищ генерал-майор, наконец имею возможность черкнуть пару слов о делах прошедших и настоящих. Красный пакет¹ опоздал, а отсюда и вся трагедия! Части попали под удар разрозненными группами. Лично с 22-го по 27-е вел бой с преобладающим по силе противником. Отсутствие горючего и боеприпасов вынудило оставить все в болотах и привести для противника в негодность.

Сейчас с горсточкой людей занял и обороняю город Пинск, пока без нажима противника. Что получится из этого, сказать трудно.

Сегодня получил приказание о подчинении меня 21-й армии. Пока никого не видел и не говорил, но жду представителей.

Настроение бодрое и веселое. Сейчас занимаюсь приведением в порядок некоторых из частей. За эти бои в штабе осталось 50—60 процентов работников, а остальные перебиты.

Желаю полного успеха в работе. Вашего представителя информировал подробно.

С комприветом

генерал-майор *Недвигин*».

Несомненно, что в этой носящей отчасти официальный, отчасти личный характер записке сквозит глубокая горечь. Но, с другой стороны, читая эту записку, нельзя не согласиться и с

¹ Имеется в виду пакет, в котором содержался приказ, связанный с началом военных действий. (Примеч. К. Симонова.)

Гудерианом, писавшим в своей работе «Опыт войны с Россией» о русских генералах и солдатах, что «они не теряли присутствия духа даже в труднейшей обстановке 1941 года».

В сообщении Информбюро, в котором рассказывалось о первой реакции на речь Сталина, одновременно подчеркивалась сила нашего сопротивления немцам: «Повсюду противник встречается с упорным сопротивлением наших войск, губительным огнем артиллерии и сокрушительными ударами советской авиации. На поле боя остаются тысячи немецких трупов, пылающие танки и сбитые самолеты противника».

Слово «повсюду» не отражало всей сложности положения. Немцы встречали упорное сопротивление наших войск, но не повсюду.

Однако не следует забывать и другого. Из немецких документов о людских потерях вермахта во второй мировой войне явствует, что за первые шестьдесят дней войны на Восточном фронте немецкая армия лишилась стольких солдат, сколько она потеряла за предыдущие шестьсот шестьдесят дней на всех фронтах, то есть за время захвата Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии, Дании, Югославии, Греции, включая бои за Дюнкерк и в Северной Африке. Соотношение потерь разительное — один к одиннадцати.

Говоря об этом, я не забываю о тяжести наших собственных потерь; просто хочу напомнить, что, хотя начальник германского генерального штаба генерал Гальдер поспешил записать 3 июля 1941 года: «Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна», — эта кампания все-таки началась с потерь, которых фашистские армии еще никогда не несли до этого в продолжавшейся уже почти два года второй мировой войне.

Гальдер считал в этот день, что кампания выиграна.

Сталин, как свидетельствует его речь, в этот же день, 3 июля, считал, что борьба не на жизнь, а на смерть только начинается.

Возвращаюсь к дневнику.

...На следующий день началось устройство лагеря редакции. Устанавливали палатки, и Алеша Сурков впервые показал всем нам свои незаурядные хозяйственные способности старого солдата. С едой по-прежнему было скверно и бестолково. Вроде даже и было что есть, а ели все-таки кое-как.

По заданию редакции я поехал через Смоленск в стоящую за ним где-то на окружавших его лесистых холмах танковую дивизию. Ехали мимо станционных путей и пакгаузов, видели, как

выгружалось много пушек; тащили вверх, на холмы, тяжелую артиллерию.

Когда приехали, увидели танк БТ-7, который с трудом карабкался в гору, и по этому танку поняли, что отыскиали местопребывание танковой дивизии. На Халхин-Голе я привык к тому, что танковая бригада или батальон — это прежде всего танки. Но здесь пришлось отвыкать от этого представления. В дивизии были только люди, а танков не было. Тот танк, который полз наверх, оказывается, был единственным в дивизии. Все остальные погибли в боях или взорваны после израсходования горючего. А этот пришел своим ходом сюда — кажется, от самого Бреста, — единственный.

Я много говорил в дивизии с людьми; из этих рассказов понял, что дрались они хорошо, больше того, — отчаянно, но материальная часть, которую вот-вот должны были сменить на современную, была истреблена во время весенних учений. К первому дню войны половина танков была в ремонте, а оставшиеся в строю были в не готовом к войне состоянии.

Не знаю, как было вообще, но в этой дивизии обстояло именно так. Оказавшись в таком положении, люди все-таки приняли бой с немцами. Сначала один, потом другой, третий. И так ежедневно десять суток, пока у них не осталось больше машин. Тогда они пешком добрались до Смоленска. Судя по рассказам людей, несмотря на превосходство немцев и в количестве и в качестве машин — в дивизии были только БТ-7 и БТ-5, — мы все-таки заставили немцев понести тяжелые потери. В дивизии не чувствовалось подавленного настроения, а была отчаянная злость на то, что все так нелепо вышло, и желание получить немедленно новую материальную часть, переформироваться и отомстить.

Один из танкистов, майор, рассказал мне, как во время выхода из окружения его и нескольких бойцов нагнал на ржаном поле «мессершмитт». Расстреляв по ним все патроны, немец стал пытаться раздавить их колесами. Майор залег в канаву на поле. Три раза «мессершмитт» проходил над ним, стараясь задеть его выпущенными колесами. Один раз это ему удалось.

Майор, задрав гимнастерку, показал мне широкую, в ладонь, синюю полосу через всю спину.

Мы вернулись в лагерь редакции, и я весь вечер сидел и думал: как же мне писать? Хотелось на что-то опереться, на каких-то людей, которые среди всех этих неудач своими подвигами вселяли надежду на то, что все повернется к лучшему.

Именно с таким чувством на рассвете следующего дня я и написал для «Известий» свой первый в жизни очерк о танкистах...

Упомянутая мною в дневнике танковая дивизия, как мне теперь ясно из документов, была 30-я танковая. Ею с первых дней войны командовал полковник С. И. Богданов. Впоследствии под командованием именно этого человека — маршала бронетанковых войск Богданова — 2-я танковая армия Первого Белорусского фронта 22 апреля 1945 года, обойдя Берлин, первой ворвалась на его северо-западную окраину.

А тогда, в начале июля 1941 года, в дивизию, которой командовал полковник Богданов, было в наличии 1090 человек, из них 300 танкистов; 90 грузовиков, 3 трактора и 2 танка Т-26, один из них, как указано в документах, «неисправный». Я неверно указал в своем дневнике: единственный в дивизии исправный танк был не БТ-7, а Т-26.

Я пишу в дневнике со слов танкистов, что к первому дню войны половина их танков была в ремонте.

Я не нашел в архивах цифр именно по этой танковой дивизии, но встретил данные о состоянии некоторых других механизированных соединений.

В докладе генерал-майора Мостовенко, командира 11-го механизированного корпуса, также воевавшего на Западном фронте, рассказывается, что к 22 июня в корпусе было 3 КВ и 24 тридцатьчетверки, то есть 27 средних и тяжелых танков, и 300 легких танков Т-26 и БТ. Легкие танки для укомплектования корпуса были получены с уже сильно изношенными моторами и ходовой частью. Около пятнадцати процентов танков к первому дню войны было вообще неисправно. Когда корпусу на второй день войны была поставлена наступательная задача, то половина его личного состава не была взята в поход, так как не была обеспечена материальной частью и вооружением.

По плану корпус должна была прикрыть 11-я смешанная авиационная дивизия, но, когда в дивизию был послан делегат связи, оказалось, что все самолеты уничтожены противником на аэродромах.

Тем не менее, как свидетельствуют военные историки, 11-й мехкорпус, только наполовину укомплектованный и вооруженный почти исключительно легкими танками, принял участие в активных действиях наших войск в районе Гродно, где главный контрудар нанесли вооруженный тридцатьчетверками 6-й мехкорпус генерала Хацкилевича. Действия этих корпусов и некоторых других наших частей в первые дни войны в районе Гродно приковали к этому району шесть немецких дивизий и крупные силы авиации и существенно нарушили планы немцев.

Я упоминаю в дневнике, что в танковой дивизии, где я был, не чувствовалось подавленного настроения, но были отчаянная

злость и желание получить новую материальную часть и отомстить.

«Журнал боевых действий 11-го механизированного корпуса» подтверждает, что и там после таких же тяжелых боев было такое же настроение. В своем докладе генерал Мостовенко писал:

«Мне известно, что вышедшие из окружения бойцы и командиры корпуса оставлены в частях 21-й армии. Полагаю, что такое же положение имеет место и в других армиях. Считаю, что нам придется не только задерживать наступление фашистов, но и наступать и добивать их на их территории. Поэтому кадры таджиков необходимо не распылять, а изъять из стрелковых частей и приступить к формированию танковых частей... Есть опасение скоропалительных выводов о громоздкости и нецелесообразности иметь такие соединения, как механизированные корпуса. Я считаю эти выводы неверными, преждевременными. Опыт войны этого не показал. Противник против нас применяет свои танковые корпуса и танковые группы в своих обычных оперативных формах, применявшихся в Польше, Франции, и применяет их без успеха. Почему же нам, готовящимся к разгрому противника, его преследованию и уничтожению... следует отказаться от крупных подвижных соединений?..»

Так люди, потерпевшие первые тяжелые поражения, все-таки находили в себе силу верить, что придет время и наши механизированные корпуса еще вторгнутся на территорию врага. История показала, что они не ошибались в своей вере в будущее.

...Написав очерк, я оставил его ребятам, чтобы передали в «Известия», а сам в то же утро поехал вместе с Сурковым, Трошкиным и Кургановым по направлению к Борису. По слухам, где-то там, под Борисовом, дралась Пролетарская дивизия.

Высхали на стареньком «пикапчике» «Известий». Его вел шофер Павел Иванович Боровков — мужчина лет тридцати пяти, веселый, хитроватый и до невозможности говорливый. В течение часа он укладывал в лежку всякого, кто садился с ним в кабину, заговаривал до смерти. Когда к нему пересаживался следующий, он заговаривал и следующего. Кроме того, у него была своя точка зрения на опасность. А именно — он считал, что опасно ехать только с востока на запад, а с запада на восток можно ехать совершенно безопасно. Поэтому когда он ехал вперед, то опасался самолетов и двигался со скоростью двадцать километров, приоткрыв дверцу, в ежеминутной готовности выскочить. Но зато когда ехал обратно, почему-то считая, что машину, идущую

с запада на восток, бомбить не станут, выжимал из своего «пи-капа» чуть ли не восемьдесят километров.

Мы сначала двигались по проселку, а потом, за Смоленском, выехали на Минское шоссе. Само полотно шоссе было по-прежнему сравнительно мало разрушено немецкой бомбежкой. Немцы, несомненно, берегли шоссе как путь своего будущего продвижения. И эта их самоуверенность удручала.

Мы без особых происшествий доехали до развилки, где одна из дорог поворачивает на Оршу и дальше идет на Шклов — Могилев. По этой рокадной дороге шло бешеное движение. Двигались целые колонны грузовиков и очень много легких танков. Мы переехали дорогу и попали на опушку леса. Там стояло несколько штабных танкеток и размещался штаб 73-й дивизии.

Это была еще не принимавшая участия в боях, необстрелянная, но полностью укомплектованная и хорошо вооруженная кадровая дивизия.

Я вспомнил, что именно тут, когда ехал из-под Борисова, впервые увидел наши стоявшие на позициях войска. И, спросив, с какого числа стоит здесь дивизия, услышал, что с двадцать седьмого. Значит, ее я и видел.

Пока мы сюда добрались, была уже середина дня. Трошкин пошел фотографировать оборонительные работы. Перед лесом, на открытом месте, тысячи крестьян рыли огромный противотанковый ров. Вернувшись оттуда, Трошкин стал снимать бойцов в лесу за чтением газет, которые мы привезли из редакции. Я впервые с удивлением видел, как работает фотокорреспондент. До сих пор я наивно представлял себе, что фотокорреспондент просто-напросто ловит разные моменты жизни и снимает. Но Трошкин по десять раз пересаживал бойцов так и эдак, переодевал каски с одного на другого и заставлял их брать в руки винтовки. В общем, мучил их целых полчаса. Меня поразили и удивительная любовь людей сниматься, и такое же удивительное их терпение. Тогда я к этому еще не привык.

Здесь же, в лесу, стояла и дивизионная газета. Среди сотрудников редакции оказался мальчик, хорошо знавший стихи и, должно быть, сам писавший их. Мы разговорились с ним о стихах и о том, кто из поэтов где сейчас оказался и что пишет. Весь этот разговор был каким-то странным, ни к чему.

Довольно долго провозившись со съемками, стали выяснять, что стоит там, впереди, ближе к Борисову, и где, в частности, находится Пролетарская дивизия. Нам ответили, что дивизия входит в состав другой армии, а где эта армия, здесь никто не знает. Знают только, что впереди. А дивизия, в которой находимся сейчас мы, входит в состав армии, стоящей вдоль дороги, влево и

вправо от Минского шоссе, и должна здесь ждать немцев и встречать их прорвавшиеся части.

В дивизии говорили, что высшим командованием решено дать здесь немцам новое Бородинское сражение и остановить их здесь. Не знаю, говорило ли так высшее командование или самим людям хотелось так говорить, чтобы успокоить себя, по, во всяком случае, как мы в течение этого дня убедились, здесь было много техники, все, что положено, кроме тяжелых и средних танков. Было много противотанковой артиллерии, пушки торчали за каждым пригорком и кустиком. Были отрыты окопы полного профиля, подготовлены противотанковые рвы. Мосты впереди были минированы, дороги тоже. Здесь немцы действительно должны были наткнуться на ожесточенное сопротивление.

Очевидно, именно поэтому они потом, в десятых числах июля, и не пошли сюда, а, прорвавшись южнее, у Шклова, обошли эту линию обороны. И частям, находившимся здесь, пришлось выходить из окружения.

Перед заходом солнца штаб той дивизии, где мы остановились, стал перебираться в другое место, неподалеку. Вместе с ним двинулись и мы. Сначала проехали километра три по шоссе по направлению к Борисову, потом свернули в лес налево и выбрались на маленькую лесную полянку.

Когда ехали к лесу, к его опушке, справа была видна незабываемая картина. Низкие холмы, облитые красным светом заката, темно-зеленые купы деревьев около маленькой деревни. По гребню холма мальчишки гнали лошадей. Над крышами курился тонкий дым. Мирная картина срединной русской природы. Даже трудно представить себе, до какой степени все это было далеко от войны.

В лесу, куда перебрался на новое место штаб дивизии, было темно и сыро. Лес был густой и старый. Что-то пожевав наспех, мы наломали еловых веток, накрыли их плащ-палатками и легли рядом со своим «пикапом», решив заночевать в дивизии, а дальше к Борисову ехать утром. Хотя там, впереди, обстановка была неясна, но не хотелось возвращаться назад и искать штаб армии, в котором, впрочем, нам тоже могли не сказать всего того, что нам было нужно.

Утром проснулись рано и сейчас же выехали на шоссе. Сначала справа и слева по шоссе были видны артиллерийские позиции, потом мы увидели артиллеристов, очевидно занимавшихся разметкой будущих площадей обстрела. Они ходили со своим артиллерийским инструментом и были очень похожи на каких-нибудь студентов-геодезистов. Дальше было пусто. Кое-где возле шоссе воронки, следы крови. Но трупов не было, их уже убрали.

Проехали шестьдесят, шестьдесят пять, семьдесят километров. В одном месте, налево от шоссе, около церковки, увидели три тяжелых орудия, стоявших не на позициях, а прямо у церковной ограды вместе со своими тягачами. Остановили машину и, пошли туда, чтобы хоть что-нибудь узнать, но артиллеристы знали не больше нас. Им приказали стоять здесь, и они стояли. Они сказали нам, что впереди только что была сильная бомбежка. Вдребезги разбита зенитная батарея.

В самом деле, когда мы проехали еще немножко вперед, увидели эту разбитую батарею. У одной из пушек длинный хобот ее был разорван так, что трудно было представить, как это могло случиться с железом.

Проехали еще километров десять. Вдруг в редком лесу налево увидели каких-то военных. Съехали с дороги и свернули в лес, из которого нам стали отчаянно кричать, чтобы мы поскорей замаскировали машину.

В лесу был хаос. Деревья кругом вывернуты или сломаны. Весь лес в воронках после только что кончившейся чудовищной бомбежки.

Наконец нашли какого-то капитана. Он сказал, что там, впереди, отступают, а у него во время бомбежки погибло много людей, что они сами только что сюда отступили и попали под бомбежку, что они не знают, где командир полка. Мы спросили его, есть ли впереди какие-нибудь части, хотя бы отступающие. Он сказал, что да, впереди есть части Пролетарской дивизии.

Мы снова выехали на шоссе. Сурков благоразумно советовал не ехать дальше, не выяснив, что происходит там, впереди. Я и Трошкин спорили с ним. Не потому, что мы были такие храбрые: очень уж тошно было возвращаться назад без всякого материала. Кроме того, мы с Трошкиным еще питали тогда наивное представление, что раз мы едем вперед, значит, видимо, впереди штаб дивизии, потом штаб полка, а потом уже передовые позиции. Нам казалось, что все это представляет собой несколько линий — первую, вторую, третью, — которые нам нужно все проехать, прежде чем мы столкнемся с немцами.

Сурков в ответ на наши возражения промолчал, а мы с Трошкиным вслед за этим, смеясь, стали говорить про Боровкова, который едет на запад со скоростью двадцать километров, а на восток — со скоростью восемьдесят. Как потом оказалось, Сурков, не расслышав сначала нашего разговора, принял эту шутку на свой счет и закурил удила — решил назло нам не останавливаться, пока мы сами не запросим.

Поехали дальше. В воздухе крутились немецкие самолеты. Пришлось несколько раз выскакивать из нашего «пикапа» и

бросаться на землю. При одном из приземлений я расцарапал себе все лицо. Злые, ничего не понимающие, мы наконец добрались до моста через какую-то реку. Кажется, это была река Бобр.

На мосту к каждому его устою были уже привязаны здоровенные ящики со взрывчаткой. Около них наготове стояли саперы. А поодаль, в стороне, саперные командиры пробовали, очевидно, проверяя по времени, как горит запальный шнур.

Мы на минуточку остановились. Я и Трошкин предложили: не выяснить ли все-таки, что происходит, прежде чем ехать дальше? Но теперь уж Сурков сказал, что надо ехать дальше: поедem посмотрим сами. Что касается Курганова, то он относился к нашим спорам довольно пассивно. Его больше всего интересовала встреча с кем-нибудь, кто бы хоть что-нибудь знал и мог дать ему беседу для «Правды».

Мы проскочили через мост. Кажется, саперы что-то хотели сказать нам, но не сказали или не успели. Переехав мост, мы сделали еще три-четыре километра. Где-то впереди и слева и справа была слышна артиллерийская стрельба. Вдруг справа у дороги что-то блеснуло на солнце. Мы остановились и увидели шагах в двадцати от дороги мотоцикл с коляской, а рядом с мотоциклом с картой в руках высокого комдива. Золотые галуны на рукаве у него горели на солнце. Их блеск мы и заметили. Рядом с комдивом стоял полковник.

Мы выскочили из машины и подошли к ним. Сурков, как старший, представился, сказал, что мы являемся представителями центральных газет — «Известий» и «Правды» — и хотели бы поговорить. Комдив как-то странно посмотрел на нас, сказал: «Здравствуйте, дорогие товарищи, — крепко пожал нам всем руки, а потом после паузы добавил: — Убирайтесь-ка отсюда поскорей к...»

Курганов, не смутившись и профессионально вынув записную книжку, спросил:

— А может быть, вы все-таки сможете посвятить нам пять минут для беседы?

— Что? — переспросил комдив. — Я же вам сказал: поезжайте, ради бога, отсюда! Уедете отсюда километров за двадцать назад, там штаб у меня будет. Вот там завтра и поговорим. Мост пересажали?

— Да.

— Так вот, поскорее обратно его пересажайте.

Мы сели в машину, повернули, проскочили через мост под удивленными взглядами тех же саперов и остановились километрах в трех за мостом, у колодца.

Когда мы сворачивали на дорогу, простившись с комдивом, то видели, что он тоже садится в свой мотоцикл с коляской. То-

гда мы так ничего толком и не поняли, кроме того, что вляпались куда-то. Все выяснилось впоследствии. Пролетарская дивизия после ожесточенного боя отступила и, оторвавшись от немцев, отошла за реку Бобр, по которой должна была идти ее новая линия обороны. Мост, через который мы проезжали, находился уже перед передним краем. Его должны были взорвать тотчас, как только вернется начальство, поехавшее вперед на рекогносцировку, проверить в последний раз сектора обстрела артиллерии. За этим занятием мы и застали торопившегося комдива.

Вопреки нашим корреспондентским представлениям о стратегии и тактике дивизия отступала не по дороге, а слева и справа от нее по лесам. Там же наступали немцы, может быть, не предполагая, что дорога свободна и на том отрезке ее, который мы проехали, никого нет. Налево и направо к тому времени, когда нас завернул комдив, немцы были уже сзади нас, подходили к реке.

Все это мы выяснили потом. А тогда, добравшись до колодца, только безотчетно почувствовали, что выбрались из какой-то беды, и, спустив на веревке в колодец котелок, стали пить воду. Вода была родниковая, холодная, и мы пили ее жадно досыта...

Сопоставляя время нашей описанной в дневнике поездки в сторону Борисова с донесением о боях на этом направлении, я почти убежден, что мы оказались в этом районе 6 июля.

Сурков был впоследствии твердо уверен, что мы встретили там, у реки Бобр, Л. Г. Петровского, который находился в начале войны в старом звании комкора, потому что незадолго перед этим вернулся из заключения и уехал воевать, еще не успев получить нового звания. Я и сам привык к этой мысли о нашей встрече с Петровским. Но, заново перечитав дневник, усомнился. Во-первых, там стоит все-таки не «комкор», а «комдив», а во-вторых, 63-й корпус Петровского действовал тогда гораздо южнее, в районе Рогачева и Жлобина.

Как мне теперь ясно из архивных материалов, 6 июля там, на Минском шоссе, у реки Бобр, мы могли встретить только одного человека в звании комдива — командира 44-го стрелкового корпуса В. А. Юшкевича, в прошлом одного из наших советских добровольцев в Испании. Так же, как и Петровский, и по тем же причинам он не успел получить генеральского звания и уехал на фронт комдивом. В этом старом звании мы его и встретили на Минском шоссе. Через месяц, в августе, он получил звание генерал-майора, а еще через четыре месяца армия, которой он к тому времени командовал, освобождала один из первых отобранных нами у немцев городов — Калинин. Об этом можно прочесть в сообщении Информбюро за 16 декабря 1941 года.

Генерал армии Я. Г. Крейзер, который в 1941 году в звании полковника командовал входившей в те дни в подчинение Юшкевича 1-й мотострелковой (до мая 1940 года она называлась московской Пролетарской) дивизией, вынесшей на себе главную тяжесть боев на Борисовском направлении, писал впоследствии в воспоминаниях, что 6 июля его дивизия занимала оборону на реке Бобр.

Не берусь утверждать, что полковник, которого мы встретили тогда, 6 июля, за переправой вместе с Юшкевичем, был именно Я. Г. Крейзер, но могло быть и так.

...Напившись у колодца воды, мы двинулись к Смоленску. По дороге, устав и окончательно пропылившись, заехали в какую-то деревеньку возле дороги и заглянули в избу. Изба была оклеена старыми газетами; на стенах висели какие-то рамочки и цветные вырезки из журналов. В правом углу была божница, а на широкой лавке сидел старик, одетый во все белое — в белую рубаху и белые порты, — с седою бородой и кирпичной морщинистой шеей.

Бабка, маленькая старушка с быстрыми движениями, усадила нас рядом со стариком на лавку и стала поить молоком. Сначала вытащила одну крынку, потом другую.

Зашла соседка. Бабка спросила:

— А Дунька все голосит?

— Голосит, — сказала соседка.

— У ней парня убили, — объяснила нам старуха.

Потом вдруг открылась дверь в сени, и мы слышали, как близко, должно быть в соседнем дворе, пронзительно кричит женщина. Бабка, сев рядом с нами на лавку, спокойно следила, как мы жадно пьем молоко.

— Все у нас на войне, — сказала она. — Все сыны на войне, и внуки на войне. А сюда скоро немец придет, а?

— Не знаем, — сказали мы, хотя чувствовали, что скоро.

— Должно, скоро, — сказала бабка. — Уж стада все прогнали. Молочко последнее пьем. Корову-то с колхозным стадом тоже отдали, пусть гонят. Даст бог, когда и обратно пригонят. Народу мало в деревне. Все уходят.

— А вы? — спросил один из нас.

— А мы куда ж пойдем? Мы тут будем. И немцы придут, тут будем, и наши вsepять придут, тут будем. Дождемся со стариком, коли живы будем.

Она говорила, а старик сидел и молчал. И мне казалось, что ему было все равно. Все все равно. Что он очень стар и если бы он мог, то он умер бы вот сейчас, глядя на нас, людей, одетых в красноармейскую форму, и не дожидаясь, пока в его избу при-

дут немцы. А что они придут сюда, мне по его лицу казалось, что он уверен.

Он так молча сидел на лавке и все качал своей столетней седой головой, как будто твердил: «Да, да, придут, придут».

Было нам тогда очень плохо в этой хате, хотелось плакать, потому что ничего не могли мы сказать этим старикам, ровно ничего утешительного.

Дальше, на обратном пути, не было ничего примечательного. Трясаясь в «пикапе», я по дороге в Смоленск писал стихи о том, чтобы ничего не оставлять немцам, все жесть, чтобы сама сожженная, изуродованная природа повернулась против них. Стихи были, кажется, ничего, лучше обычных газетных. Но именно из-за этих сильных выражений они так и не попали в «Красноармейскую правду»...

Я перечел теперь, спустя много лет, эти стихи, записанные чудовищным, прыгающим почерком на ходу в машине в сохранившемся у меня фронтовом блокноте. То, что я смог разобрать, не подтверждает моего тогдашнего мнения, что стихи, «кажется, ничего, лучше обычных газетных».

На самом деле стихи были плохие. Душа была переполнена и горечью и гневом, а стихи — именно в тот день, впритык ко всему только что пережитому — не вышли, не получились.

И дело не в сильных выражениях, из-за которых, как я тогда считал, их не напечатала наша «Красноармейская правда», а в том, что за этими сильными выражениями, за криком боли не накопилось еще той внутренней силы, которая делает стихи стихами.

Стихи об этом же самом написались потом и совсем по-другому. Был ноябрь сорок первого года, возвращаясь с Мурманского участка фронта, мы по дороге в Архангельск застряли во льдах.

Там-то и вспомнились первые недели войны, все пережитое тогда и отстоявшееся в душе, именно все, а не только одна наша поездка под Борисов, хотя, как самая точная и близкая к жизни подробность, в стихах присутствовали тот самый день и та самая деревня:

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седал старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: — Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем...

...В редакцию мы приехали к вечеру, а на следующее утро снова уехали, на этот раз в район Краснополя.

Эта поездка, во время которой мы не слышали ни одного выстрела, за исключением далекого грохота канонады где-то на Днестре, у Рогачева, все-таки врезалась в память. Мы ехали через Рославль, Кричев, Чериков, Пропойск — через маленькие города, в которых я никогда в жизни, наверно, не побывал бы, если бы не война.

В Рославле мы с фотокорреспондентом «Правды» Мишей Калашниковым зашли в буфет, и нам налили там оставшиеся на дне бутылки последние капли какого-то ликера.

Дороги были пыльные, а от Кричева до Краснополя неизменно ухабистые. В маленьком районном городке Краснополе мы остановились у книжного магазинчика и купили несколько карт Могилевской области и Белоруссии. Это были детские карты, наведенные тонкими синими линиями, те самые карты, которые мы когда-то в школе раскрашивали зеленым, синим и красным. Могло ли мне когда-нибудь прийти в голову, что вот по такой карте я буду во время войны разыскивать какие-то чуждые мне города и села? Задание редакции было найти в районе Краснополя находившиеся где-то там дивизии, которые перестроивались после выхода из окружения. Говорили, что у них большой боевой опыт и что мы можем взять в этих дивизиях нужный для газеты материал.

Одну дивизию мы действительно нашли около Краснополя. Трое из нас остались в этой дивизии, а мы с Алешей Сурковым поехали дальше, в другую. Во время этой поездки мы подружись с ним.

Дорога шла через какие-то глухие, совершенно неведомые деревни. Они были еще далеко от фронта, и я думаю, что даже потом, уже заняв Смоленск, немцы, наверное, целыми педелями не добрались до этих, оставшихся у них в тылу, глухих мест. Но, хотя фронт был еще далеко, по всем дорогам, шедшим с запада на восток, по всем проселкам и тропинкам двигались бесчисленные беженцы. Население окрестных сел пока еще не трогалось с мест, хотя многие уже готовились к уходу.

А по дорогам шли беженцы из-под Белостока, из-под Лиды... Они ехали на невообразимых арбах, повозках. Ехали и шли старики, каких я никогда не видел, с пейсами и бородами, в картузах прошлого века. Шли усталые, рано постаревшие женщины. И дети, дети, дети... Детишки без конца. На каждой подводе шесть — восемь — десять грязных, черпوماзых, голодных детей. И тут же на такой же подводе торчал самым нелепым образом наспех прихваченный скарб: сломанные велосипеды, разбитые

цветочные горшки с погнувшимися или поломанными фикусами, скалки, гладильные доски и какое-то тряпье.

Все это кричало, скрипело и ехало, ехало без конца, ломаясь по дороге, чинясь и снова двигаясь на восток.

Наконец мы заехали в такую глушь, где даже не было беженцев. По проселкам шли только мобилизованные. В деревнях оставались женщины. Они выходили на дорогу, останавливали машину, выносили из погребов крынки с холодным молоком, поили нас, крестили и вдруг, как-то сразу перестав стесняться того, что мы военные и партийные, говорили нам: «Спаси вас господи. Пусть вам бог поможет», — и долго смотрели нам вслед. Просьбы взять деньги за молоко отвергались без обиды, но бесповоротно.

Деревни были маленькие, и около них, обычно на косогорах, рядом с покосившейся церквушкой, а иногда и без церквушки, виднелись большие кладбища с одинаковыми, похожими друг на друга старыми деревянными крестами. Несоответствие между количеством изб в деревне и количеством этих крестов потрясло меня. Я понял, насколько сильно во мне чувство родины, насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко корнями ушли в нее все эти люди, которые живут на ней. Горести первых двух недель войны убедили меня в том, что и сюда могут прийти немцы, но представить себе эту землю немецкой было невозможно. Что бы там ни было, она была и останется русской. На этих кладбищах было похоронено столько безвестных предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь, на много саженей.

До дивизии, которую мы с Сурковым искали, мы добрались под вечер. Было абсолютно тихо. Так тихо, что, хотя до Днепра еще было далеко, все-таки мгновениями слышалось, как там бьет тяжелая артиллерия.

Дивизия стояла на отдыхе. Сейчас в ней оставалось в строю две с половиной тысячи человек. Но подполковник-армянин, который командовал ею сейчас, потому что командир еще был где-то в окружении, спокойно сказал нам, что через два-три дня у него будет восемь тысяч человек. Когда я спросил его, из чего складывается такая арифметика, он ответил, что три тысячи мобилизованных уже собраны в окрестных деревнях, а три тысячи наверняка еще подойдут за эти дни из окружения.

Он говорил об этом так уверенно, словно речь шла о лыжном переходе, когда одни участники уже пришли на финиш, а другие еще в пути. Тогда мне это показалось странным, но потом — и очень скоро — я понял, что он был прав. В окружении оставались пушки, пулеметы, а люди выходили оттуда. Они просачивались

через немецкие мотоциклы, как вода через гребенку. Окружение танками в этих густых минских и смоленских лесах было в большей степени окружением материальной части, чем окружением людей. И люди каждый день проходили через густые леса тысячами. Некоторые из них — ни разу не встретившись с немцами.

Из штаба дивизии мы поехали в полк уже на следующее утро. На опушке леса нас встретил только что назначенный командир полка, капитан, совсем молодой обаятельный парень.

У него в полку оставалось всего двести человек. Но, несмотря на это, чувствовался полный порядок и дисциплина. Он и его начальник штаба подробно рассказывали нам о тяжелых боях, с которыми дивизия отходила от границы, о том, как жестоко и кровопролитно дрался их полк, словом, рассказывали все то, о чем я потом, вернувшись из поездки, написал в своей статье «Части прикрытия». Она по чистой случайности не была тогда напечатана в «Известиях», и мне жаль, что так вышло, потому что я считаю ее у себя единственным описанием первых боев, хоть сколько-нибудь приближающимся к объяснению правды тех дней.

Лицо лейтенанта — начальника штаба полка показалось мне очень знакомым. Он был очень похож на кого-то, только я не мог вспомнить, на кого. Потом, когда мы уже закончили разговор, он вдруг спросил меня, не бывал ли я в издательстве «Советский писатель». Я ответил, что не только бывал, но и работал там до войны редактором в отделе поэзии. Тогда он сказал, что я, наверно, знаю его брата. Только тут я сообразил, на кого он так похож. Начальник штаба был братом заведующего художественным отделом издательства художника Морозова-Ласса.

Странно было, сидя здесь, в лесу, под сосной, вдруг вспомнить, как я совсем недавно препирался с братом этого лейтенанта в издательстве по поводу обложки и иллюстраций к моей поэме «Первая любовь».

На прощанье командир полка в порыве добрых чувств обменял Суркову его винтовку на автомат. Я, еще не преодолев штатской страсти к оружию, завидовал Суркову черной завистью.

Мы ехали обратно по тем же самым дорогам. В одном лесочке встретили ребятнишек — мальчика лет шести и двух девочек постарше. Они шли с полными кружками земляники. Мы остановили машину и попросили продать нам ягоды. Мальчик был готов продать ягоды, но его старшая сестра быстро отвела его в сторону, что-то сердито сказала ему, а потом протянула землянику, отказавшись от денег. Нам не хотелось брать у ребят землянику, не заплатив, но девочка сказала:

— Колька хочет взять деньги, но это нельзя.

— Почему? — спросил я.

— Мать узнает, откуда у него деньги, он ей расскажет, что у вас взял. Мать рассердится и плакать будет, а Кольку выпорет. Вы так берите, мы еще соберем.

Пришлось взять так. Было трогательно, а еще больше грустно. Я думал о том, что будет с этими ребятишками через неделю.

Когда мы ехали обратно через Краснополье, то увидели двух женщин, державших на руках ребятишек. Детишки махали руками вслед машинам. Не знаю, почему именно в тот момент меня прошибла слеза и я чуть не заревел. Конечно, детей научили махать руками при виде едущих на машинах военных, а все-таки было в этом что-то такое, отчего хотелось зареветь.

Заехали на обратном пути за товарищами, оставшимися делать материал о другой дивизии. Здесь, в дивизии, устроили привал на полтора часа. Выяснилось, что эта дивизия отступала через Рогачев, где был взорван нами самый большой в стране завод сгущенного молока, и мы запаслись этим молоком, заполнив им всю имеющуюся тару. Нам налили по котелку, и мы тронулись в дорогу, макая черные сухари в сладкое сгущенное молоко. Мне казалось, что я давно не ел ничего вкуснее. Вдруг вспомнилась Монголия, где мы с Колей Кружковым вот так, открыв каждый по банке сгущенного молока, купленного в Монценкоопе, за один присест приканчивали их, макая в молоко черные сухари или хлеб.

К вечеру добрались до Рославля. Возник спор. Я и Сурков хотели остановиться в гостинице, но ребята из фронтовой газеты решили пойти к коменданту. Мы с Сурковым уже расположились в номере на десять кроватей и заварили кипяток с молоком, когда явились ребята и сказали, что, по словам коменданта, положение тревожное и он не рекомендует нам ночевать в городе.

Потом выяснилось, что комендант считал положение тревожным потому, что сегодня днем немцы сбросили две бомбы на станцию. Вот и все причины для тревоги. Мы, конечно, решили наплевать на это и завалились спать.

Среди ночи началась пулеметная трескотня. Стреляли счетверенные установки по невидимым самолетам. Более дисциплинированные товарищи пошли в сквер напротив гостиницы и просидели там на холоде в щелях, по крайней мере, два часа. Мы трое — менее дисциплинированные Сурков, Калашников и я — остались валяться на кроватях в гостинице и не прогадали. Тревога оказалась напрасной.

Вернулись в редакцию под Смоленск во второй половине следующего дня, сделав в обе стороны, наверно, километров восемьсот, если считать все петли. Я рано лег спать, а на самом

рассвете, высунувшись из палатки, лежа на животе, написал статью «Части прикрытия». Кроме статьи, написал письмо домой. Мне вдруг захотелось описать эти две недели войны, которые были так непохожи на все, о чем мы думали раньше. Настолько непохожи, что мне казалось: я и сам уже теперь не такой, каким уезжал 24 июня из Москвы.

После всего виденного и пережитого за две недели — не в смысле физической опасности для меня самого, а в смысле моего душевного состояния — у меня было такое чувство, что уже ничего тяжелее в жизни я не увижу.

Уже не помню, что я писал в этом письме, помню, что, конечно, не сообщая подробностей, давал понять, что тяжело и что хотя не надо отчаиваться, однако надо готовить себя к самым тяжелым вещам.

Когда написал и уже упаковал письмо вместе с корреспонденцией, чтобы отправить в Москву, вдруг заколебался. Так и не послал письма, порвал. Было такое чувство, что, пока письмо идет, может так много произойти, что стоит ли вообще посылать его.

Утром приехал Борис Громов из «Известий», я передал ему статью «Части прикрытия». Он обещал мне отправить ее в Москву, в редакцию. Только потом выяснилось, что статья так и не попала туда: он забыл ее у нас в «Красноармейской правде», и, когда я вернулся из поездки, ребята отдали мне пакет со статьей, которую уже поздно было печатать...

Как я теперь вижу по документам, поехав в район Краснополя в переформировывавшуюся после выхода из окружения дивизию, мы оказались в 55-й стрелковой дивизии 4-й армии.

Я пишу в дневнике, что командира дивизии не было, потому что он еще выходил из окружения. На самом деле первый командир дивизии полковник Д. И. Иванов к тому времени, когда мы приехали, уже погиб, но, очевидно, в штабе дивизии тогда еще не были уверены в этом. Фамилия командовавшего дивизией в день нашего приезда «подполковника-армянина» была Тер-Гаспарьян. Потом в ходе войны Геворк Андреевич Тер-Гаспарьян командовал другой, 227-й дивизией, а позже был начальником штаба в 60-й армии у генерала Черняховского. Я был в этой армии, когда она весной 1944 года штурмовала Тарнополь, и видел пачальника штаба. Но, как видно, та первая встреча с ним в начале войны в сорок четвертом году мне не вспомнилась; генерал, пачальник штаба армии, штурмовавшей Тарнополь, должно быть, не ассоциировался в моих мыслях с тем подполковником, который в июле 1941 года с боями вывел остатки своей дивизии от Щары за Днепр.

Может быть, это происходило еще и потому, что во второй половине войны люди, форсировавшие Днепр и Днестр, Неман и Вислу, Одер и Нейсе, сами неохотно обращались в своих воспоминаниях к сорок первому году.

И в нашей корреспондентской памяти часто как бы порознь существуют люди первых месяцев сорок первого года и люди конца войны — люди Висло-Одерской, Силезской, Померанской, Берлинской, Пражской операций. А между тем гораздо чаще, чем на это можно было надеяться, на поверку оказывалось, что и те и другие — одни и те же люди!

В статье «Части прикрытия», о которой я упоминаю в дневнике, описывались действия 228-го полка 55-й дивизии «на реке Щ.». Географические названия тогда зашифровывались — имела в виду река Щара. Бой этот происходил с середины дня 24 июня до утра 25-го. В воспоминаниях начальника штаба 4-й армии генерала Саудалова именно об этом бое сказано, что немцы были остановлены вторым эшеломом 55-й стрелковой дивизии на реке Щара и к исходу 24 июня им так и не удалось перешагнуть ее.

Я писал, что на рубеже Щ. полку (вместе с двумя дивизионами 141-го артиллерийского полка — это я добавляю уже теперь) удалось задержать немецкую дивизию на двенадцать часов и вывести у немцев из строя тридцать танков и восемнадцать орудий. Судя по документам, это близко к действительности.

228-м стрелковым полком в этом бою командовал Г. К. Чаганова. Известно, что он был ранен в этом бою. Дальнейшее неизвестно. Я нашел его личное дело, в котором сказано, что подполковник Григорий Константинович Чаганова пропал без вести в 1941 году.

В конце статьи было сказано о том, в чем я видел тогда главный смысл происходивших событий: «К рассвету полк оставил этот лес, изрешеченный снарядами, изрытый воронками... Мы тоже понесли серьезные потери, но, как ни были они тяжелы, бойцы в эту ночь чувствовали себя победителями... Бойцы знали: там, сзади, разворачиваются главные силы, используя эти 12 часов, выигранные ими в кровавом бою».

Слова эти отражали страстную веру отходивших от границы и гибнувших в боях людей в то, что все жертвы не даром, что каждый выигранный ими час поможет нашим главным силам подготовиться наконец, нанести тот встречный удар, неотступное ожидание которого, несмотря ни на что, не покидало нас.

И каждый выигранный час был действительно бесконечно дорог пусть не для нанесения ответного сокрушительного удара, на который мы тогда еще не были способны, а для более реаль-

ной цели — создания прочной линии обороны в тылу у отступавших армий нашего Западного фронта.

Армий, а не «частей прикрытия» — заголовок моей статьи был утешительной неправдой, в которую мне очень хотелось верить, но которая от этого не переставала быть неправдой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Возвращаюсь к дневнику.

...Едва я отдал статью Громову, как новый редактор «Красноармейской правды» Миронов сказал нам, что неплохо было бы съездить в 13-ю армию под Могилев; по сведениям штаба фронта, где-то там высадился немецкий десант, который сейчас успешно уничтожают. Как я уже потом понял, это были первые слухи о немецком прорыве у Шклова.

Для тех дней вообще было характерно, что немецкие прорывы из-за их неожиданности и глубины мы часто принимали за десанты. Так было потом и под Ельней.

В «Красноармейской правде» несколько машин уже вышло из строя. У корреспондентов центральных газет с машинами тоже было негусто. На всю бригаду «Известий» из шести человек имелся один «пикап». Перед тем, как поехать под Могилев, я, посоветовавшись с ребятами, зашел к Миронову и предложил, что, когда мы вернемся из-под Могилева, я могу съездить на одни сутки в Москву на «пикапе» и пригнать сюда, в редакцию, свой «фордик», хотя и старенький, но надежный, купленный наполовину в долг перед самой войной. Это предложение, к моей радости, было принято. Конечно, машин для разездов по фронту нам действительно не хватало, но моя идея — пригнать сюда машину, — что греха таить, была вызвана еще и отчаянным желанием хотя бы на несколько часов повидать в Москве близких.

Мы двинулись через Смоленск на Могилев, считая, что это займет у нас двое-трое суток.

По дороге заехали в типографию за газетами. Типография помещалась в огромном сером доме, одиноко, как свеча, стоявшем на площади среди непелища. Было непонятно, как его еще до сих пор не разбомбили. Пока ребята забирали внизу газету, я по какому-то наитию снял телефонную трубку и попросил междугородную дать мне Москву. Мне ответили: «Сейчас».

Это было так неожиданно, что я растерялся и спросил: «Что сейчас?» Мне сказали: «Сейчас дадим Москву». Я ждал минут пятнадцать и наконец услышал в трубке: «Москва, Москва! Говорит Смоленск. Дайте три-шесть-ноль восемь-четыре».

Потом длинный звонок, знакомый голос: «Алло», — потом грохот и одновременно голос телефонистки: «Я вас разъединила. В Смоленске воздушная тревога».

Оказалось, что налетел какой-то самолет и сбросил несколько бомб. К городу шли еще немецкие самолеты. Тревога затягивалась, ребята торопили меня ехать, а я, решив, что раз так, значит, не судьба, сел вместе с ними в «пикап».

Мы поехали на Могилев через Рославль, а когда, остановившись в Рославле, узнали, что, по слухам, под Рогачевом идут удачные для нас бои, свернули на Пропойск — Рогачев. В темноте доехали до Пропойска и там заночевали. Там в церкви стояла редакция газеты 4-й армии. В Пропойске было спокойно, по улицам ходило еще довольно много народу. Мы заночевали на полу в церкви и утром поехали дальше.

В середине дня подъехали близко к Днепру. Дорога была довольно пустынная, но на развилках стояли «маяки». В гуще прибрежных лесов чувствовалось присутствие частей, спрятанных от немецкой авиации, которая весь день одиночными самолетами шныряла над дорогой.

Мы добрались до штаба дивизии, входившей в 63-й корпус, которым командовал комкор Петровский, бывший командир Пролетарской дивизии, сын Г. И. Петровского.

Корпус стоял передовыми частями по берегу Днепра слева и справа от занятого немцами Рогачева.

Из штаба дивизии поехали в один из полков. На опушке натолкнулись на охранение. Красноармеец вызвал лейтенанта. Лейтенант долго и дотошно разглядывал наши документы, сверял один с другим, в общем, проявляя бдительность, может быть, и лишнюю, но порадовавшую нас. Потом мы замаскировали машину и пошли вслед за лейтенантом.

В эту поездку мы отправились без Суркова — Трошкин, Кригер, Белявский и я. Сурков засел после краснопольской поездки за стихи и остался пока в редакции, отдав нам в дорогу свой автомат. Мы прошли за лейтенантом шагов двести и вдруг услышали крик:

— Куда идете? Под деревья! Сейчас же под деревья!

На опушке под развесистой сосной на раскладном стуле сидел большой полный человек в галифе и белоснежной рубашке. Рядом на сучке висел его китель. Этот человек нам и кричал. Он оказался командиром полка и первоначально встретил нас не слишком ласково, ворчал с сильным грузинским акцентом, что вот ходят тут и демаскируют! И мало ли что корреспонденты! И напрасно мы думаем, что для нас не существует правил мас-

кировки! Напрасно! У него в полку порядок и он никому не позволит нарушать этот порядок!

В полку у него, как мы вскоре потом убедились, был действительно прочный порядок. Потом, через несколько минут, сменив гнев на милость, полковник приказал дать ему китель, надел его, застегнулся на все пуговицы, приказал расстелить плащ-палатку и, выйдя из роли командира полка и став хозяином, угостил нас завтраком.

Он оказался хозяином не только гостеприимным, но и запасливым. Кроме консервов и жареного мяса, нам была даже предложена коробка шоколадного набора, что показалось уж совсем странным в этом лесу. За завтраком мы разговорились. Полковник сказал, что действительно позавчера у него был интересный бой, в котором принимал участие один из его батальонов. Он рассказал подробности боя, во время которого на том берегу была уничтожена группа немцев.

— Но сейчас, — добавил он, — на фронте полка все тихо и, наверно, будет тихо. Немцы сейчас стягивают силы куда-то в другое место. А здесь только персправляются разведывательные партии то с их берега на наш, то с нашего на их.

Потом он рассказал о способах борьбы с немецкими ракетчиками, которые применялись у него в полку. Ракетчиков было трудно ловить в лесу, поэтому делали просто: на болота и в разные самые глухие места засылали по ночам десятков наших ракетчиков, которые одновременно с немцами пускали такие же самые ракеты, и немецкие самолеты не знали, где им бомбить.

Потом полковник рассказал, что его бойцы сбили неподалеку немецкий самолет.

Трошкин снял полковника и комиссара полка. Полковник — в кителе, с автоматом, в новенькой каске, огромный, монументоподобный — сидел на складном стуле и держал на коленях большую карту.

Кто знает, где он теперь, этот гостеприимный картаинен, грозный с виду, а на самом деле веселый и шумный человек, полковник Кипиапп.

От полковника мы поехали к самолету. Он стоял километрах в десяти от штаба полка на открытом месте, на опушке леса. Самолет был совершенно цел. Кажется, в нем были перебиты только рулевые тяги да было несколько пробоин в плоскостях. Летчики, очевидно, убежали в лес. Их до сих пор так и не смогли найти. В самолете все было на месте: часы, фотоаппараты. И то, что самолет был в таком состоянии, было тоже одним из элементов порядка в полку, ибо у самолета дежурили часовые.

Трошкин сделал несколько снимков, и мы поехали обратно. Пропойск, с тем чтобы, переночевав там, двинуться дальше на Могилев.

В Пропойске редакции армейской газеты мы уже не застали. Она куда-то уехала. В городе было тревожно. Днем его бомбили. Все окна в домах были тщательно затемнены. Не зная, где заночевать, мы решили попробовать подъехать к городской гостинице. Оказалось, что там не только есть свободные комнаты, но вся эта маленькая полудеревенская гостиница вообще совершенно свободна. В ней были только две молодые женщины: одна — заведующая гостиницей Аня и вторая — ее помощница, эвакуировавшаяся сюда из Белостока, Роза.

Мы решили выспаться и все четверо легли в одной комнате, положив под подушки оружие. А Боровков устроился на «пикапе» под деревьями у наших окон.

Я лежал у самого окна. Оно было открыто. На крылечке сидел Боровков с Аней и Розой и по своей привычке бесконечно говорил, мимоходом покаяя их сердца.

— Скажите, — мечтательно спрашивала Аня, — почему звезды бывают то белые-белые, а то, наоборот, совсем голубые?

— Отдаленность, — после короткой паузы отвечал Боровков голосом все знающего и все понимающего человека.

Мне не спалось, и я вышел на крыльцо и целый час сидел рядом с ними и молчал, пока они говорили все втроем. А вернее, говорил Боровков, а они слушали. Потом вдруг подошел какой-то человек, очевидно дежурный, и стал требовать, чтобы все ушли в дом, потому что не положено ночью в военное время сидеть на улице. Почему не положено, он и сам, наверное, не знал, но в голосе его чувствовалась убежденность.

Мы пошли в комнату. Боровков сидел на диване рядом с Розой и продолжал с ней разговаривать, а я присел на окно. Аня подошла ко мне и тихим, задышающимся шепотом стала шептать мне об этой Розе, что она приехала к ним сюда из Белостока и, наверно, шпионит, что она не верит ей, что она говорила начальству, чтобы Розу забрали из гостиницы, но что ее никто не слушает, никто в это не верит, а вот увидят, что она была права!

И вдруг я почувствовал, что всю свою тоску оттого, что война и что муж ее сейчас где-то в армии, неизвестно где, и что в городе темно и страшно, все это по какой-то странной логике она готова была сейчас валить на ни в чем не повинную девушку из Белостока, которую в этот момент считала чуть ли не причиной всех своих несчастий, и разуверять ее было бы бесполезно.

Мне надоело ее слушать, я пошел к ребятам и завалился спать.

Рано утром мы уехали из Пропойска. В городе ходили тревожные слухи, население покидало его. Люди уже были готовы ко всяким неожиданностям.

Нам предстояло ехать в Могилев, где, по нашим сведениям, стоял штаб 13-й армии. В Могилев можно было ехать в объезд через Чаусы или лесами, мимо Быхова, вдоль Днепра. Это был путь покороче, и мы выбрали его.

Дорога была абсолютно пустынная, мы так и не встретили на ней ни одного красноармейца. Очевидно, там, впереди, были наши части, но здесь не было никого. Как потом оказалось, мы проскочили эту дорогу за несколько часов до того, как немцы переправились через Днепр у Быхова и перерезали ее. Но тогда мы этого не знали; дорога была спокойная, и мы ехали по ней, довольные тишиной леса и неожиданно — не по-летнему — прохладным утром.

В Могилев мы приехали около часу дня. Город был совсем не похож на тот, каким мы его оставили. В нем было уже пусто. На перекрестках стояли орудия, рядом с ними расчеты. У начальника гарнизона, все того же полковника Воеводина, который когда-то мне сообщил, где находится штаб фронта, мы узнали, что штаба 13-й армии в Могилеве нет, что он переехал в Чаусы, назад, за семьдесят километров отсюда. Как раз в те самые Чаусы, через которые мы утром решили не ехать.

Но нам уже показалось нелепым ехать обратно в тыл, чтобы искать штаб армии и там снова выяснять, куда и в какую дивизию нам ехать.

Пересхав обратно через Днепр и свернув на Оршу, мы поехали прямо в штаб ближайшей дивизии, которая, по сведениям начальника гарнизона, стояла в том самом лесу, где еще недавно располагался штаб фронта. Мы свернули в этот лес. В нем было пусто, остались лишь следы машин, засохшие ямы в глинистой земле, увядшие ветви разбросанной маскировки. Мы вновь выбрались на шоссе и решили ехать по нему еще дальше на север, к Орше, надеясь наткнуться вблизи шоссе на какой-нибудь из штабов дивизий.

Мы проехали уже километров тридцать пять или сорок, когда нам все чаще и чаще стали попадаться навстречу машины, летевшие с бешеной скоростью. Потом из кабины одной из встречных машин высунулся человек и ошалелым голосом крикнул:

— Там немецкие танки! — и понесся дальше.

Мы продолжали ехать. Нам было непонятно, как могут оказаться здесь, на этом шоссе, немецкие танки, в то время как мы знали, что вдоль всего Днепра стоят наши войска с приказом во что бы то ни стало задержать немцев.

Мы ехали с порядочной скоростью — шоссе было прекрасное, гудронированное, — как вдруг впереди начали рваться снаряды. Разрывы накрыли дорогу очень точно. Машины, которые шли впереди нас, стали разворачиваться; на шоссе возникла суматоха. Боровков, увидев разрывы, ни слова не говоря, выскочил из кабины. Я не успел удержать его, но Трошкин уже выскочил из машины и вернул его. Боровков объяснял, что он бросился к лесу, потому что подумал, что всем нам нужно спрятаться.

— Все сидят в машине, — упрекал его Трошкин, — а ты? Ты знаешь, что за это полагается?

Мы развернулись и поехали по шоссе назад мимо поставленных вдоль шоссе в кюветах противотанковых орудий, которые издали казались кустами, так хорошо они были замаскированы.

Когда мы ехали вперед, то не совсем поняли, даже удивились, зачем стоят здесь эти орудия. А теперь, когда возвращались, нам казалось уже более вероятным, что немцы действительно переправились на этот берег Днепра. Во всяком случае, нам надо было узнать, что происходит. Километра через полтора прямо на дороге мы встретили седого полковника, очень спокойного и, казалось, ничему не удивляющегося. Когда мы сказали ему, что впереди по шоссе бьет немецкая артиллерия, он пожал плечами и лениво ответил:

— Очень может быть.

Мы попросили его сказать, где штаб хоть какой-нибудь дивизии. Он внимательно посмотрел на нас и после паузы сказал:

— Штаб хоть какой-нибудь дивизии? Ну так поедem в нашу.

Проехав назад еще километра четыре и свернув с шоссе налево, мы въехали в редкий сосновый лес. Там за раскладным столиком на раскладном стуле сидел грузный, обливавшийся потом от жары полковник с орденами на груди. Он поднялся нам навстречу и спросил, кто мы. Мы ответили, что мы корреспонденты.

— А счастье было так возможно! — сказал полковник.

Он был очень взволнован. Мы в первую секунду подумали, что он ждал вместо нас кого-то другого и разочарован, что мы оказались корреспондентами. Но, как выяснилось, его восклицание относилось совсем не к нам.

Полковник с горечью рассказал, как только что у него на правом фланге батальон, окруживший немецкий десант в какой-то деревушке, уже готов был добить этих немцев, но немцы подняли сразу несколько белых флагов. Обрадованный командир батальона поднялся вместе со своими бойцами во весь рост и пошел брать немцев в плен по открытому полю. И в это время неожиданный огонь немецких минометов и пулеметов за несколь-

ко секунд скосил три четверти батальона. Остаткам батальона пришлось отступить.

Даже и здесь тогда еще не понимали, что шкловский прорыв немцев — это прорыв, а не десант, и поэтому принимали разведывательные части немцев, двигавшиеся в разных направлениях впереди их главных сил, за десантные группы.

Всех подробностей этого дня не помню, но некоторые помню отчетливо. До этого за первые дни войны мне все как-то не приходилось попадать в воюющие части. То мы не могли добраться до них, то это были части, уже вышедшие из боя. А тут впервые после Халхин-Гола я видел работу штаба в боевой обстановке.

Привезший нас полковник оказался начальником оперативного отделения штаба дивизии. Я редко встречал таких спокойных людей. Он разговаривал со своими подчиненными, что-то отмечал на карте и неторопливо скрипучим голосом отдавал приказания.

Позади нас, метрах в трехстах, стояла батарея тяжелой корпусной артиллерии и с небольшими промежутками через наши головы гвоздила куда-то на ту сторону Днепра.

Не совсем зная, о чем во всей этой горячке можно разговаривать с людьми, мы просто толкались между ними, прислушивались к разговорам, ходили от одного к другому. Вскоре с небольшим перелетом сзади нас разорвался первый немецкий снаряд. В лесу были открыты маленькие щели, в которых можно было или сидеть на корточках, или стоять, согнувшись в три погибели. Но щель все-таки щель, и, когда вслед за первым между деревьев разорвалось еще три или четыре снаряда, мы все полезли в эти щели.

Немцы, очевидно, били не по штабу, который они вряд ли могли тут обнаружить, а по неудачно поставленной в трехстах метрах от штаба тяжелой батарее. Били тоже тяжелыми снарядами. Продолжалось это около двух часов без больших пауз. Иногда мы вылезали из окопчиков, закуривали, но почти сразу же начинался новый налет, и приходилось опять ссыпаться в щели. За два часа я насчитал пятнадцать таких налетов.

Двухфюзеляжный «фокке-вульф», плавая над лесом, корректировал огонь. То ли помогли окопчики, то ли просто повезло, но во всем набитом людьми лесу после двухчасового обстрела оказалось всего несколько раненых.

Когда обстрел окончился, нас познакомили с работником дивизионной газеты. Дело шло к вечеру, и он предложил нам поехать ночевать к ним во второй эшелон, где стоит их газета, а утром снова вернуться и поехать вместе в один из полков. Мы согласились, уже собрались ехать, Боровков даже развернул ме-

жду деревьями «пикап», но задержались, чтобы поговорить об обстановке с начальником оперативного отделения. Командир дивизии незадолго до этого приказал подать себе кося и куда-то уехал. Но едва мы подошли к начальнику оперативного отделения, как вдруг началась близкая и частая стрельба из малокалиберных орудий, а вслед за этим пришло телефонное донесение: немецкие танки в четырех километрах от штаба на шоссе и преследуют его.

Тут уже было не до того, чтобы расспрашивать об оперативной обстановке. Но и уезжать было как-то стыдно. Донесения шли все тревожнее. В трех километрах. В двух. В полутора.

Седой полковник приказал всем нам, находившимся в штабе, разобрать гранаты и приготовить бутылки с бензином. Неожиданно выяснилось, что ни у кого не осталось спичек. Во время обстрела нервничали, курили и извели все спички.

Несколько минут, забыв о танках, все занимались мобилизацией внутренних ресурсов — искали коробки и делили спички, чтобы были у каждого. Потом сидели и ждали. Стрельба все приближалась. Потом стал слышен далекий грохот моторов. Последнее сообщение было, что танки в восьмистах метрах от штаба. Но вдруг стрельба начала стихать, и в штаб сообщили, что танки отбиты и повернули обратно.

После этого мы с работником дивизионной газеты решили, что ехать уже не стыдно, хотя в душе мне хотелось уехать раньше, и двинулись из лесу по проселку в другой лес, лежавший километров за десять отсюда.

Не успели мы остановиться там, в лесу, в редакции, как низко, над самым лесом, прошло несколько троек немецких бомбардировщиков. Они шли очень низко. Но лес был таким густым, что, очевидно, стоявшие под елками машины редакции сверху были совершенно не видны.

Мы устроили себе под одной из слок шалаш из наломанных веток и, растянувшись, задремали. Через час приехал начальник политотдела дивизии, старший батальонный комиссар, маленький черный южанин не то из Херсона, не то из Николаева. Он много и горячо рассказывал нам о последних боях.

Переночевав в лесу, мы утром вместе с начальником политотдела вернулись в штаб дивизии, который стоял по-прежнему в том же лесочке.

Белявский и Кригер вместе с «пикапом» остались в штабе, чтобы собрать материал, а мы с Пашей Трошкиным и старшим батальонным комиссаром на его машине двинулись в глубь леса, в лесистым высоткам, по которым вдоль берега Днепра проходила линия обороны дивизии.

С того берега Днепра по-прежнему была немецкая артиллерия, но сегодня с утра она уже не делала огневых палетов, а вела только беспокоящий огонь по лесу и дороге. Сначала несколько разрывов далеко на шоссе, потом один снаряд разорвался сзади нас на лесной дороге, потом было еще несколько разрывов в разных местах в лесу.

Доехав до крутого подъема на лесистый холм, мы вылезли из машины и пошли пешком. По гребню холмов были открыты окопы полного профиля. Тут же, чуть поодаль, находился командный пункт батальона в большой, благоустроенной, крытой в два наката землянке. Что происходило правей, в батальоне не знали. Он должен был оборонять только свой кусок берега.

Я, правда, не совсем понял, как он мог это делать. Хотя старший батальонный комиссар раньше говорил нам, что оборона идет по самому берегу, но на самом деле все обстояло не так. С холма была видна только лесистая ложина впереди. В поле зрения — густой лес, и сам берег Днепра отсюда совершенно не виден. Как, занимая эти позиции, батальон мог помешать переправе немцев через Днепр, я не понял.

Из этого батальона мы пошли в соседний. Но когда добрались до места его прежнего расположения, там его не оказалось. Нам сказали, что батальон поднят и переброшен правей, к шоссе. Тогда мы предложили старшему батальонному комиссару, который, по его словам, знал всю эту местность, найти этот батальон и вообще пойти направо, туда, где, очевидно, что-то происходит. Но он сказал, что переместившийся батальон трудно будет разыскать, что у него еще есть дела в том батальоне, из которого мы только что ушли, а нам лучше всего вернуться в штаб дивизии, нас там проинформируют, и мы пойдем туда, куда нам будет нужно. На этом мы с ним расстались и больше не виделись.

В штабе дивизии нам сказали, что за два километра отсюда находится штаб корпуса. Самые интересные операции происходят сейчас не здесь, а на фронте других дивизий, входящих в корпус, и нам лучше всего поехать туда. А вернее, пойти, чтобы не гонять лишний раз машину и не демаскировать этим расположение штаба.

Мы уже собрались идти, как вдруг в лесу появилась группа вернувшихся разведчиков и еще два десятка человек, присоединившихся к ним из другой дивизии, с боями выходившей из окружения. Командовал ими начальник АХО полка. Его маленький отряд состоял из врача, санитаров, хлебопек, сапожников и всяких других тыловых людей.

Врач, который шел с ними, оказался крошечной худенькой

женщиной. Все в отряде относились к ней с уважением и нежностью, говорили о ней захлебываясь. Она была из Саратова, из города моей юности, и посреди разговора мы вместе с ней вдруг стали вспоминать разные саратовские улицы. Потом она очень просто рассказала, какой у них был бой и как она убила из нагана немца. В ее устах все это было до такой степени просто, что нельзя было не поверить каждому ее слову. Она говорила обо всем происшедшем с нею как о цене таких вещей, каждую из которых было совершенно необходимо сделать. Вот она окончила свой зубоврачебный техникум, стали брать комсомолок в армию, и она пошла. А потом началась война. Она тоже со всеми пошла. А потом оказалось, что зубов никто на войне не лечит, и она стала вместо медсестры — нельзя же было ничего не делать. А потом убили врача, и она стала врачом, потому что больше ведь некому было. А потом раненные впереди кричали, а санитар был убит, и некому было их вытащить, и она полезла вытаскивать. А потом, когда на нее пошел немец, то она выстрелила в него из нагана и убила его, потому что если бы она не выстрелила, то он бы выстрелил, вот она его и убила.

Все это перемежалось в ее рассказе с воспоминаниями о муже, о котором она стыдливо говорила, что он еще не на военной службе, как будто она в этом была виновата, и о ребенке, которого она называла «лялька».

Было странно, что у нее был ребенок, такая она сама была маленькая. Потом, когда я кончил мучить ее расспросами, за нее взялся Паша Трошкин. Он усадил ее на пенек и стал снимать. Сначала в каске, потом без каски, с санитарной сумкой, без санитарной сумки. Перед тем как он начал ее снимать, она улыбнулась, вытащила из своей санитарной сумки маленькую сумочку, а оттуда совершенно черную от летней пыли губную помаду и обломок зеркальца и, прежде чем дать себя снять, очистила эту помаду от пыли и покрасила губы.

Все это вместе взятое — помада и наган, из которого она стреляла, держа его двумя руками, потому что он тяжелый, и она сама с ее крохотной фигуркой, и огромная санитарная сумка, — все это было странно, и трогательно, и незабываемо.

Едва Трошкин кончил ее снимать, как по лесу снова, как вчера, стала бить артиллерия. Я попал в один окопчик с полковником, командиром дивизии. После каждого нового разрыва полковник, приподнявшись из окопа, кричал всякие нелестные слова сидевшему в десяти метрах от нас, в другом окопчике, начальнику артиллерии.

— Зачем вы ее здесь поставили? — кричал он про батарею. — Нашли место!

— Разрешите доложить, я ее поставил потому... — начинал отвечать начальник артиллерии, но в это время разрывался следующий снаряд, и оба присаживались в своих окопчиках. А через полминуты снова поднимались.

— Я вас не спрашиваю, как и почему! — кричал полковник. — Я просто приказываю вам...

Следующий разрыв. Оба снова прятались в свои щели. И хотя артиллерийский обстрел не располагал к веселому настроению, было во всем этом что-то смешное.

Насмешил нас на этот раз и Петр Иванович Белявский. Самый старший среди нас и человек чрезвычайно, щепетильно аккуратный, он во время обстрела почти после каждого разрыва вылезал из щели и отряхивался от земли и глины. И все это для того, чтобы через минуту снова кинуться в щель и, переждав там, опять вылезти и опять отряхнуться. Смешливый Кригер называл это: «Петя чистит свою курточку».

Когда налет кончился, Кригер и Трошкин остались здесь, в лесу, с «пиканом», а мы с Белявским пошли в штаб корпуса. Там, в штабе, мы встретили комиссара корпуса, немолодого спокойного бригадного комиссара, и начальника политотдела, огромного мужчину с орлиным носом, в каске.

Поговорив с ними, мы узнали, что самые интересные дела происходят в их левофланговой дивизии, обороняющей Могилев. Мы не стали терять времени, простились, обещав приехать потом, когда побываем в дивизии, и пошли обратно, за Кригером и Трошкиным.

Как нам сказали, штаб этой 172-й дивизии стоял здесь, на восточной стороне Днепра, километрах в трех от Могилева. Захватив ребят, мы поехали туда. Утром, когда мы ехали по шоссе, оно было еще совершенно цело. А сейчас было разбомблено немцами, на обочине валялись искореженные обломки грузовика. На кустах висели внутри лошадей. Но все семь немецких бомб, разорвавшихся здесь, на шоссе, легли в строгом порядке, только небольшими секторами воронок захватывая шоссе по краям. Машины продолжали идти по шоссе зигзагами, петляя между этими воронками. В дивизию мы добрались уже к самому вечеру...

Прежде чем перейти к следующим страницам дневника, прерву себя тогдашнего, и на этот раз довольно надолго. Мне пришлось задним числом многое объяснять самому себе, идти по следам людей и событий, и я хочу поделиться результатами этого поиска.

Сейчас, глядя на трофейные отчетные карты немецкого генерального штаба сухопутных войск, я имею возможность реально представить себе обстановку, которая складывалась в районе Могилева в те дни, когда мы туда поехали.

Редактор «Красноармейской правды», направляя нас под Могилев, имел сведения, что «где-то там высадился немецкий десант, который сейчас удачно уничтожают». На самом же деле, судя по нанесенным на карту допесениям действовавших в этом районе немецких частей, их 29-я моторизованная и 10-я танковая дивизии к 11 июля не только уже переправились через Днепр в районе Шклова, северней Могилева, но и продвинулись после переправы на 10—20 километров к востоку.

А южнее Могилева, в районе Быхова, судя по той же карте, немецкие 10-я моторизованная и 4-я танковая дивизии, переправившись через Днепр, уже контролировали к этому утру на его восточном берегу целый плацдарм — около 40 километров в ширину.

Сами того не ведая, мы въехали в уже создавшийся к тому времени вокруг Могилева мешок.

Полковник Шалва Григорьевич Кипиани, у которого мы оказались в начале этой поездки, днем 11 июля, был командиром 467-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии. В дневнике есть неточность. Эта дивизия не входила в 63-й корпус Петровского, а была его соседом справа. Оперативная сводка 467-го полка за этот день вполне соответствует той обстановке затишья, которую мы застали: «...полк занял район обороны по левому берегу реки Днепр... Погода солнечная, ветер в сторону противника. Дороги полевые доступны для танков».

События в полку и в дивизии развернулись через двое суток после нашего отъезда. Корпус Петровского 13 июля, действуя на главном направлении удара нашей 21-й армии, форсировал Днепр, освободил города Рогачев и Жлобин и продолжал наступать в направлении Бобруйска. Обеспечивая это наступление с севера, в ночь с 13 на 14 июля между Ново-Быховом и Годиловичами форсировала Днепр и 102-я стрелковая дивизия, в том числе и полк, которым командовал Кипиани.

Захват Рогачева и Жлобина был одним из первых за войну наших успешных контрударов на Западном фронте. Впоследствии немцы, подбросив силы, остановили наступление нашей 21-й армии и окружили корпус Петровского. Петровский, ставший к тому времени генерал-лейтенантом, был убит в бою 17 августа 1941 года, а его корпус частью погиб, частью вырвался из окружения обратно за Днепр.

Я прочитал сейчас личное дело Петровского и целый ряд его приказов за июль, дающих представление об обстановке и о стиле его руководства корпусом. За этими приказами стоит человек строгий и справедливый, трезво оценивающий обстановку и в моменты успеха, и в моменты тяжелого положения. Из его приказов видно, какое значение он придавал взаимодействию пехоты и артиллерии, вопросам четкой организации управления и связи, работе тыла, эвакуации раненых.

В одном из его приказов говорится: «Полностью использовать все возможности... для борьбы с танками, для чего 45-мм пушки и полковые 76-мм орудия выдвигать вперед в качестве отдельных противотанковых орудий с задачей активной борьбы с танками. В отдельных случаях выдвигать 122- и 152-мм пушки». Петровский уже в июле 1941 года делал то, чему многие научились гораздо позже.

В приказе, отданном уже в тяжелой обстановке, сказано: «В результате прошедших боев части корпуса понесли потери и, кроме того, значительная часть бойцов застряла в тылах. Приказываю: в течение ночи на 20.7.41 г. из всех обозов изъять лишний рядовой и младший начсостав. Обратить его на укомплектование стрелковых рот. Ездовых оставить из расчета одного человека на две подводы. Пулеметы и винтовки передать на вооружение стрелковых рот, оставив в обозе винтовки из расчета одна на пять подвод».

А в общем, несмотря на обусловленный неравенством сил драматический исход этих боев, начавшихся взятием Жлобина и Рогачева, написанная когда-то, в феврале 1925 года, характеристика на Петровского, в то время еще командира полка, была зоркой и соответствовала действительности. «Обладает сильной волей, большой энергией, решительностью. В оперативной обстановке умело разбирается. Военное дело знает и любит его. Вполне соответствует должности».

В сохранившемся «Журнале боевых действий 102-й дивизии» есть данные о судьбе 467-го полка и его командира Киппани.

В донесении за 21 июля сказано, что полк перешел в наступление и взял пленных 17-го пехотного немецкого полка.

В донесении за 22 июля в штаб корпуса сообщается, что связь с полком отсутствует, что полк продолжает вести борьбу в окружении, и содержится просьба о помощи танками.

23 июля командир дивизии посылает в штаб корпуса донесение, что 467-й полк, ведя бой в окружении и уничтожив до полутора батальонов противника, частично вышел из окружения, сосредоточился и приводит себя в порядок.

Судя по тому, что в этом же донесении сказано, что в командование полком вступил капитан Матвеев, полковник Кипиани, очевидно, к этому дню был уже или убит, или ранен. Последняя запись в его личном деле — предвоенная: «Вышел полк на первое место в дивизии». Никаких других записей нет.

После журнальной публикации моего дневника я получил письмо из Грузии:

«...Я не умею выразить словами, что я чувствую. Журнал «Дружба народов», Ваши «Разные дни войны». Через 34 года после гибели мужа узнать о последних днях его жизни на фронте!

20 июня 1941 г. мы радостно отпраздновали 14-летие нашей свадьбы, а 22-го...

24-го, отоблизовав свой полк (муж был командиром 467-го стр. полка и начальником гарнизона в Хороле Полтавской области), он уехал со своим полком на фронт. В последние минуты расставая, потихоньку от мужа, чтобы хоть чем-то напомнить ему о себе в тяжелой фронтовой обстановке, я высыпала в чемодан все оставшиеся после нашего праздника конфеты и положила шоколадный набор, которым он и угощал Вас за завтраком 11.7.41 г.

Я с детьми уехала из Хорола уже тогда, когда в городе были немецкие танки. Все ждала известий о нем с фронта и не дождалась.

Через несколько дней, в тяжелых боях на Днепре, прикрывая отход наших частей, он был несколько раз ранен и умер, истекая кровью. Он не совершал геройских подвигов, не освобождал наших городов, но он защищал каждую пядь нашей земли и жизни тысяч отступавших людей. А вспомнить о нем некому. Полк его разбит. И я никого из полка не могла найти. Даже место его гибели указано не точно. Знаете, чего хочется? Найти его могилу, припасть к ней и остаться навсегда, как верный пес на могиле своего хозяина. Не могу! Не затихает острая боль утраты! Ненавижу немцев и буду их ненавидеть до конца.

Уважающая Вас вдова полковника Ш. Г. Кипиани Л. Кипиани».

Что-то дрогнуло во мне, когда я прочел это письмо, за которым стояли тридцать четыре года неугасшего женского горя.

Вот, стало быть, откуда, с четырнадцатой годовщины свадьбы, попала туда, в приднепровский лес, эта коробка шоколадного набора, которым с истинно грузинским радушием полковник Кипиани угощал нас, оказавшихся первыми и, должно быть, последними его гостями на войне. Есть что-то щемящее душу в этой маленькой горькой подробности.

Письмо это я получил в марте 1975 года и, в начале лета попав в Грузию, еще успел повидаться с прекрасной женщиной, которая его прислала, с Любовью Федоровной Кипиани. Говорю «успел», потому что сейчас и ее уже нет в живых. Вернувшись после долгого отсутствия в Москву, я увидел на столе телеграмму о ее смерти.

А рядом с этой телеграммой лежало давно ожидавшееся меня письмо из Красnojска от инвалида войны Федора Павловича Животова, одного из офицеров 102-й стрелковой дивизии, в состав которой входил полк Кипиани:

«...Командир 467 с. п. полковник Кипиани умер на моих глазах. Будучи тяжело раненым (без обеих ног), он, пока был в памяти, отдавал боевые приказы капитану Матвеец. Держал и вел себя как истинный Герой Родины. Таких людей в бою встречаешь на редкость, и память о нем не умрет никогда. Спасти его жизнь было невозможно из-за большой потери крови, и его боевое сердце биться перестало. Погиб он в разгаре боя. Что характерно, это то, что, будучи без ног, он ни от кого не требовал его эвакуации в тыл, а требовал выполнения своих боевых приказов и не трогать его никуда! Вся эта трагедия проходила несколько минут, он никого к себе не допускал и говорил: я должен умереть на месте, но враг должен быть разгромлен. Мне довелось его захватить живым за несколько минут до смерти...»

Переслать это письмо вдове Кипиани я уже не мог. Было поздно...

Я пишу в дневнике, что утром 12-го нам посчастливилось проскочить по кратчайшей дороге Пропойск — Могилев за несколько часов до того, как немцы переправились через Днепр у Быхова и перерезали ее. На самом деле немцы переправились через Днепр у Быхова еще 10-го, двумя днями раньше. Но на дорогу Пропойск — Могилев, судя по их отчетным картам, они действительно вышли только 12-го.

Кстати, современный читатель, сколько бы он ни искал, не найдет на послевоенных картах Пропойска. В 1941 году город Пропойск Могилевской области существовал на картах и не раз фигурировал в донесениях, по летом 1944 года, во время разгрома в Белоруссии немецкой группы армий «Центр», освобожденный Пропойск был переименован в Славгород.

Наверно, в этом сыграли роль установившаяся к тому времени традиция называть отличившиеся части именами освобожденных ими городов и возникшая вдруг проблема: как наименовать дивизию, освободившую Пропойск?..

В дневнике я пишу, как меня удивило, что на шоссе Могилев — Орша, по эту сторону Днепра, оказались немецкие

танки. На самом деле 12-го числа днем, когда мы оказались там, немецкие 10-я танковая и 29-я моторизованная дивизии своими передовыми частями прорвались уже на 50 километров к востоку от Днепра и перерезали железную дорогу Орша — Кричев. Развивая главный удар на северо-восток, к Смоленску, немцы в тот день, очевидно, еще не проявляли особого стремления поворачивать на юг, к Могилеву. Эпизод с немецкими танками, подходившими вдоль Оршанского шоссе к штабу дивизии, где мы оказались, носил, видимо, частный характер. Немцы просто прощупывали силу нашей обороны на этом направлении и, потеряв от огня артиллерии несколько танков, отошли.

Дивизия, к штабу которой подходили эти танки, была 110-я стрелковая дивизия 13-й армии. Она входила в оборонявшийся Могилев 61-й стрелковый корпус генерала Бакунина, сражалась в этом районе до 26 июля, а потом прорывалась из окружения.

Встреченный нами в лесу на своем командном пункте командир 110-й дивизии Василий Андреевич Хлебцов за свои боевые действия получил два ордена еще в 41-м году, что бывало тогда не часто; в 1942 году после выхода из окружения вновь командовал дивизией, затем был заместителем командира кавалерийского корпуса. 7 мая 1942 года получил звание генерал-майора, а 25 мая погиб на Изюм-Барвенковском направлении Юго-Западного фронта.

Ничему не удивлявшийся полковник, которого мы встретили на шоссе, был Федор Трофимович Ковтунов, начальник оперативного отделения штаба 110-й дивизии. В последующие дни под Могилевом он командовал полком, был награжден орденом, до ноября оставался в окружении, вышел из него и воевал дальше, закончив войну в Восточной Пруссии генерал-майором, командиром 88-й стрелковой Витебской дивизии.

Воспоминания о мимолетной встрече в лесу под Могилевом оказались для меня впоследствии первым толчком к тому, чтобы написать «маленькую докторшу» Таю Овсянникову — одно из главных действующих лиц всех трех книг моего романа «Живые и мертвые».

Тогда, в июле 1941 года, вернувшись из-под Могилева, я написал очерк о встрече с этой женщиной-военврачом «Валя Тимофеева». Он был напечатан во фронтовой газете под моей фамилией, а в «Известиях» — под псевдонимом С. Константинов, потому что рядом шел другой мой фронтовой материал за собственной подписью.

Я считал, что эта женщина погибла. Может быть, это шло от общего ощущения тяжести обстановки под Могилевом, а может, оттого, что из всех людей, с которыми я столкнулся в ту

поездку, мне потом за долгие годы довелось встретить лишь двух человек.

Готовя дневник к печати, я обнаружил, казалось, безнадежно потерянный старый блокнот, бывший со мной в могилевской поездке, и в нем свою тогдашнюю запись о встрече с женщиной-врачом. В виде исключения я полностью приведу ее. Она даст известное представление о том, как вообще первоначально во фронтовой обстановке велись записи, на основе которых — в тех случаях, когда они сохранились, — я диктовал весной 1942 года свой дневник. Вот эта запись:

«443-й с. п. 53-й дивизии.

Начали нас бомбить в роще. Наши тылы полка. Справа и слева от нас были батареи.

Женщина, зубной врач, Валентина Владимировна Тимофеева, 23 года, вылезала из укрытия и доставала и перетаскивала раненых.

— У нас не было комплекта врачей, мне самому приходилось перевязывать, и я попросил: дайте хоть зубного. Вот и дали. Я сам, когда была сильная бомбежка, полз в щель, а она перевязывает на открытом месте. Говорю: «Убьют!» — «Нет, — говорит, — пока не убили, надо работать», — а сама перевязывает.

— Они осветили нас ракетой. Потом ракета потухла. Я поползла, кричу: «Где вы?» Но поползла неверно, раненый кричит: «Я здесь, здесь!»

Я подползла, говорю: «Милый, как же вас?..» А он говорит: «Я поднялся, а тут ракета — и скосили». Шесть ран. Вижу, что безнадежный, но, чтобы ему легче было, перевязала грудь полотенцем. Он чувствует, что безнадежное положение, спрашивает: «Насмерть?» Я говорю: «Нет, что вы...» Тут и подполз немец. Я вынула наган и выстрелила. Он упал. Наверное, убила, потому что он потом бы меня сам застрелил. Я была на месте, и мелькали белые бинты... А потом раненого лежал тащу и прошу его: «Милый, ну как-нибудь, ну еще шаг...» Он говорит: «Не могу». А я все же прошу. Тяжело, сумка тяжелая, но разве мне ее бросить? Все-таки дотащила.

Кружку 9-го осколком выбило из рук.

— Как приехали, всего раза три и пришлось открывать свой кабинет. Ни у кого зубы не болели. Я спрашиваю: «Что же буду делать?» Говорит начальник штаба: «Найдется». И правда, нашлось.

Рукава у гимнастерки завернуты. Правая рука натерта в кровь.

— Почему же вам форму не дали лучшую?

— А у меня есть своя, по росту, да разве на меня напа-
сешься? Вся в крови была.

С 8 марта 1940 года в армии.

— У меня лялька была, год десять месяцев, она сейчас
умерла. Только жив сын четырех месяцев. С мамой сейчас.
Мама говорит: «Воспитаю сына, только прогоните немцев».
В военкомате спрашивают: «Ничего, что лялька?» Говорю: «Ни-
чего», — ну и пошла в армию.

Кончила Саратовскую зубоврачебную школу в 1936 году.

— Теперь уже едва ли придется зубы лечить, буду работать
по новой профессии.

Ее дразнит капитан: «Приказано вас при наступлении не
братъ». — «Это почему же?» — «Во-первых, женщина, да, во-
вторых, такая маленькая».

Детское курносое лицо как у мальчишки. Сама уроженка
Аткарска, жила в Саратове.

— Я в Берлине сама хочу быть. А то что же это, вы
уедете, а меня оставите?

Сначала перевязывала тех, что были в тылу, а потом стали
присылать по три машины из батальонов, ни одного раненого
не оставила без перевязки.

Когда фотограф начинает снимать, просыпаются женские
инстинкты: «Погодите, я же в беспорядке». — «Вам не надо зер-
кальца?» — «Ну, конечно же, надо!» Очень обрадовалась.

Ласковая, спокойная, а главное, никогда не падала духом».

В блокноте оказались сведения, о которых я забыл и ко-
торые могли бы помочь мне найти Тимофееву, если она жива:
возраст, место рождения, название учебного заведения, дата
ухода в армию.

В архиве среди сотен тысяч личных дел личного дела воен-
врача Валентины Владимировны Тимофеевой не оказалось. То-
гда я обратился к своим товарищам по профессии — саратовским
журналистам. Сообщил все имевшиеся у меня данные, и в не-
правдоподобно быстрый срок, буквально через три дня, Вален-
тина Владимировна Тимофеева нашлась. Оказалось, что она
живет в Риге со своим мужем, подполковником запаса, и тремя
детьми. Старший из них, сын Лев, которого она, уходя на вой-
ну, оставила четырехмесячным «лялькой», уже успел вернуться
с действительной службой в армии.

Хочу привести часть письма, которое В. В. Тимофеева при-
слала в ответ на мое. Письмо лучше, чем мои слова, даст пред-
ставление о последующей военной судьбе этой женщины, да, по-
жалуй, и о других схожих с нею судьбах многих других замеча-
тельных женщин, надевших в сорок первом году военную форму.

«...Отвечу на Ваши вопросы. Вы правы: в 41-м году о существовании очерка я, конечно, ничего не знала, да и не могла знать, так как шесть месяцев не имела связи с Большой землей (так мы называли ее тогда). Да и когда прочла, то интересовалась, жив ли С. Константинов, но так ничего и не пришлось узнать.

Теперь о себе. После встречи с Вами наша группа соединилась с остатками 110-й стрелковой дивизии. Командовал этой дивизией полковник Хлебцов В. А. В общем, Вы правы, когда называли это кашей, там действительно была каша.

В составе 110-й стрелковой дивизии пробовали прорвать кольцо окружения, но безуспешно. Полковник Хлебцов организовал около себя партизанский отряд и возглавил его. В составе этого отряда была и я в качестве врача-бойца. Отряд рос из остатков разрозненных частей и местных работников. У нас была задача простая и в то же время важная: не давать спокойно жить врагу на нашей земле и продвигаться на восток, что мы и делали. Трудно вспомнить мне те места, где были бои или стычки у нас с врагом.

Снабжались мы за счет местного населения и в основном за счет немцев. То отобьем обоз немецкий, то машину подобьем. Вот так и жили. Однажды огнем из пулеметов ребята подбили низко летевший самолет. Немецкий летчик приземлился на парашюте, его расстреляли, так как тыла у нас не было. А из парашюта я пошла ребятам рубашки, и они этим были очень довольны, ведь у нас не было смены белья, приходилось и об этом думать. В отряде больных не было, так как за этим я строго следила, при первой возможности старалась просушить, постирать белье и верхнюю одежду, следила, чтобы в отряде не было паразитов, для этого часто ребят осматривала и обязательно устраивала банные дни.

Местное население ненавидело врага и во всем нам помогало, и мы не чувствовали себя, что мы в тылу врага, мы были дома.

Люди рисковали своей жизнью, помогая нам, но, как говорят, в семье не без урода, так и у нас были случаи, когда староста пытался предупредить немцев и навести их на наш след. Расправа была одна: собака собачья смерть.

В одном таком бою меня ранило — пулевое ранение правой ноги. Я выпущена была жить в деревне, как будто бы Князевка Смоленской области, у крестьянина. Очень хорошая семья, не помню даже, как их звать, но им сердечно благодарна. Ребята из отряда меня навещали, а когда я поправилась, меня взяли в отряд. Продвигался наш отряд ночью и редко днем ле-

сом. Вооружены были немецкими автоматами, были немецкие ручные пулеметы и даже был один наш пулемет «максим».

Однажды я пошла на связь в село, зашла к жене партизана, местного учителя (он был у нас в отряде и принес радиоприемник с питанием, что дало возможность слушать Москву). В это время в село въехали две машины с карателями. Всех жителей выгнали на улицу, в том числе и меня. Построили в один ряд, и немец отсчитывал каждого десятого и убивал. Десятыми были не только взрослые, но и дети... Я была шестая.

Наши, узнав о таком зверстве, перекрыли дороги из деревни и всех немцев уничтожили, не дали возможности даже слезть с машин.

7 ноября мы слушали речь Сталина на Красной площади, а позже нам население передало сброшенную с самолета газету, где была речь т. Сталина. Да, велика была вера у советских людей в этого человека!

Сплошной линии фронта не было, и наш отряд удачно вышел в район г. Тулы с небольшой разведывательной перестрелкой на соединение с нашими частями.

Нас так же построили, как Вы описываете в книге «Живые и мертвые», разоружили, сказали нам красивые слова и отправили в тыл, но вот как наши добрались, я не знаю. Меня как медработника направили в резерв медсостава в г. Тулу.

Я впервые за шесть месяцев увидела электрический свет, и это так на меня подействовало, что это была для меня самая счастливая минута — я жива, все опять по-прежнему, жизнь идет...»

Валентина Владимировна Тимофеева вспоминает в своем письме о командире 110-й дивизии полковнике Хлебцове. О его дальнейшей судьбе я уже сказал. Но, дополнительно роюсь в архиве, я обнаружил, что и полковник Хлебцов, в свою очередь, вспоминал о враче Тимофеевой в своей записке «О действиях в тылу фашистских оккупантов», написанной после соединения его отряда с нашими частями.

В записке Хлебцова перечисляется, что было сделано его отрядом: произведено крушение четырех эшелонов в районах Орши, Кричева и Рославля, взорван железнодорожный мост на 34-м километре линии Рославль — Орша, пятьдесят девять раз обрезана связь, в селе Кузьмичи сожжен самолет, захвачено три орудия с расчетами, уничтожены одна дрезина, 37 автомашин и 13 мотоциклов.

Хлебцов считает, что его отрядом за три месяца действий было убито 208 немцев, не считая погибших при крушении эшелонов.

Из окружения Хлебцов вывел 161 человека, из них — 102

рядовых и младших командиров, 47 средних и старших командиров и политработников и 13 гражданских лиц.

Судя по списку сданного вооружения, отряд Хлебцова вышел хорошо вооруженным: только пулеметов в отряде было 18.

Я привожу эти данные из записки Хлебцова, составленной в присущем строевому командиру лаконичном стиле, чтобы на этом частном примере напомнить, какой урон наносили немцам в их тылу люди из тех окруженных дивизий, которые по немецким штабным документам считались уже несуществующими.

Заговорив о судьбе Вали Тимофеевой, хочу остановиться на некоторых чертах истории той 53-й дивизии, в которой она сначала служила. В этой истории были разные страницы, в том числе тяжелые, и о них тоже необходимо сказать.

Я встретил Тимофееву в момент, когда их группа вышла из окружения в расположение другой дивизии. К этому времени 53-я дивизия оказалась как раз на острие удара, нанесенного немцами через Днепр на город Горки, который на немецкой карте за 12 июля показан уже захваченным частями 10-й танковой и 29-й моторизованной немецких дивизий.

Имевшая меньше половины штата военного времени, не располагавшая танками и не прикрытая авиацией, дивизия попала под сильный удар авиации, артиллерии и танков и была разбита. Такое случалось в 1941 году, и случалось с хорошо дравшимся впоследствии частями, хотя об этом в них, конечно, не любили потом вспоминать.

53-я дивизия прошла после этого большой боевой путь, дралась, защищая Москву, во время нашего контрнаступления брала Тарутино, участвовала во взятии Малоярославца и Медыни, потом, переброшенная на юг, форсировала Днепр и Буг, воевала в Румынии в период ликвидации ясско-кишиневской группировки немцев, потом форсировала Тису и Дунай и, взяв город Дьер, пошла дальше, на Вену. Один из полков дивизии к концу войны был наименован Венским, а сама она была награждена орденами Красного Знамени и Суворова.

Так выглядит история дивизии, если брать ее целиком, от начала до конца. От первых дней, когда в отчаянном положении были мы, и до последних, когда в безнадежном положении оказалась вся сражавшаяся на Восточном фронте германская армия.

Если же проявить некоторую долю злопамятности, то следует добавить, что 10-я танковая и 29-я моторизованная дивизии немцев, нанешие тогда, в июле сорок первого года, на Днепре такой тяжкий удар нашей 53-й дивизии, закончили свое существование при следующих обстоятельствах: 29-я моторизованная дивизия была разбита и взята нами в плен под Сталинградом

зимой 1943 года, 10-я танковая воевала на Восточном фронте до 1942 года, после тяжелых потерь была выведена на переформирование в Южную Францию, потом переброшена в Африку и в мае 1943 года сложила оружие перед англичанами.

Комиссаром 61-го стрелкового корпуса, о встрече с которым я упомянул в дневнике, был бригадный комиссар Иван Васильевич Воронов. Он погиб в бою между Могилевом и Чаусами, около деревни Мошок, во время одной из попыток прорваться из окружения. О его смерти впоследствии доложил в Москву командир корпуса генерал-майор Бакунин, которому удалось прорваться к своим во главе группы в сто сорок человек только в конце ноября.

А место гибели Воронова, похороненного в братской могиле местными жителями, через много лет установили школьники-следопыты из Горбовичской средней школы Чаусского района.

Погиб при выходе из окружения под Могилевом и заместитель Воронова полковой комиссар Турбинин, о котором я упоминал, не называя его фамилии.

Смотрю на фотографию Воронова в его личном деле, спокойное лицо кажется знакомым. Тогда, во время войны, я написал об этом человеке «немолодой». Так мне казалось в мои двадцать пять лет. Сейчас мне это уже не кажется: бригадному комиссару Воронову, когда он дрался под Могилевом и погиб там, было всего-навсего тридцать девять лет.

Командир 61-го корпуса генерал-майор Федор Алексеевич Бакунин в дневнике не упоминается. Я с ним не встречался. Но считаю своим долгом хотя бы здесь, в примечаниях, сказать об этом человеке.

Ф. А. Бакунин — в молодости шахтер, в первую мировую войну унтер-офицер лейб-гвардии Семеповского полка, участник Октябрьской революции и гражданской войны — до 1938 года семь лет прослужил командиром полка, был потом стремительно выдвинут и в течение года стал командиром корпуса.

К началу войны Бакунин командовал своим 61-м корпусом уже больше двух лет и в первое лето войны вместе со своими подчиненными до дна испил горькую чашу боев в окружении. Выйдя из него, был назначен начальником курса Академии имени Фрунзе, но выпросился снова на фронт, воевал в Крыму, освобождал Севастополь и закончил войну, командуя корпусом в Прибалтике.

Вот как сам Бакунин в письме, присланном в ответ на мою просьбу, говорит о боях под Могилевом:

«15 и 16 июля войска 61-го стрелкового корпуса остались в окружении. 16 июля наши войска оставили Кричев, Смоленск. Таким образом, корпус оказался в глубоком тылу врага.»

16 июля я получил короткую радиogramму, содержание которой: «Бакуппиу. Приказ Верховного Главнокомандующего — Могилев сделать неприступной крепостью!»

Бой в окружении — самый тяжелый бой. Окруженные войска должны или сдаваться на милость победителя, или драться до последнего.

Я понял приказ так: надо возможно дольше на этом рубеже сдерживать вражеские войска, с тем чтобы дать возможность нашим войскам сосредоточить свои силы для решительного перехода в наступление».

К тому, как в свете именно такого понимания приказа ожесточенно, до последней возможности сражались под Могилевом части 61-го корпуса, я буду еще не раз возвращаться в связи с различными людскими судьбами.

ГЛАВА ПЯТАЯ

...Приехав в штаб 172-й дивизии, мы познакомились с ее комиссаром, полковым комиссаром Черниченко, довольно угрюмым, неразговорчивым, но деловым человеком. Таким он, по крайней мере, мне показался тогда. Он рассказал нам, что лучше всего у них в дивизии дерется полк Кутепова, занимающий вместе с другим полком позиции на том берегу Днепра и обороняющий Могилев. Кроме того, у них происходили разные интересные события в разведбате, в который можно будет добратся утром. Мы, посоветовавшись, решили разделиться. Одним остаться здесь и утром пойти поговорить с разведчиками, другим ехать в полк — тоже утром.

— Утром? — переспросил Черниченко. — Утром в этот полк не проедете. Надо ехать сейчас, ночью. В светлое время вы до него не доберетесь.

Мы уже разделились до этого, и теперь ехать в полк ночью выпало мне и Трошкину. Пока Боровков, не любивший ночной езды, со скорбным видом заливал в машину бензин, мы стали свидетелями разговора комиссара дивизии с начальником местного партизанского отряда. Это был иппеер какого-то из здешних заводов, белокурый красивый парень в перепоясанной ремнем кожанке, с гранатами и винтовкой. Ему предстояло оставаться здесь в случае прихода немцев, а пока что он сидел на торфяных болотах и вылавливал там немецких ракетчиков. Он говорил комиссару дивизии, что в то время, как население уходит и угоняет скот, в нескольких окрестных деревнях кулаки, вернувшиеся недавно из ссылки после раскулачивания, воруют с лесопилки лес, по его мнению, явно ожидая прихода немцев.

— Ну, а вы что с ними делаете? — жестко спросил комиссар. Меня поразило холодное и беспощадное выражение его лица.

— Мы пока ничего, — сказал инженер.

— Пока? Что пока? Пока немцы не придут? Немцы придут, вы уже ничего не сделаете. Надо сейчас забрать эту заведомую сволочь и выслать ее в тыл. Это же наши явные и заклятые враги. Они это даже сами перестали скрывать. Какие вам еще нужны законные основания?

Конца разговора я не дослушал. Трошкин, узнавший, что в полку Кутепова подбито и захвачено много немецких танков, торопил меня. Он еще в самом начале поездки сказал, что не вернется, пока не спишет разбитые немецкие танки. По газетным сообщениям, число их давно перешло за тысячу, а снимков пока не было. Жгли и подбивали их много, по при отступлении они неизменно оставались на территории, занятой немцами.

Мы переехали через могилевский мост и проехали ночной, пустынный, молчаливый Могилев. У одного из домов стоял грузовик, из которого тихо одни за другими выносили посылки с ранеными. В городе чувствовался железный порядок. Не болталось никого лишнего; на перекрестках у орудий, не отходя от них, накрывшись плащ-палатками, дремали орудийные расчеты. Все делалось тихо. Тихо проверяли пропуска. Тихо показывали дорогу.

С нами ехал проводник из политотдела, без которого мы, конечно, никогда не нашли бы ночью полковника Кутепова. Сначала мы остановились на окраине Могилева у каких-то темных домов, в одном из которых расположилась оперативная группа дивизии. Наш провожатый зашел туда, узнал, на прежнем ли месте находится штаб полковника Кутепова, и мы поехали дальше за Могилев.

На несчастье, наш проводник предупредил Боровкова, что кругом минировано и надо ехать как можно осторожней, точно придерживаясь его указаний. Но у Боровкова были собственные понятия об опасности мин. Как потом выяснилось, он в каком-то сборнике о финской войне прочел рассказ, где тапк спасся от мины, проскочив через нее на большой скорости, так что она разорвалась сзади. Руководствуясь этими соображениями, он, к испугу нашего провожатого, гнал вольно и то и дело, не успевая повернуть там, где следовало, давал задом и разворачивался. Словом, если там кругом было действительно минировано, то нам в эту ночь сильно повезло.

На пятом или шестом километре за Могилевом мы свернули и въехали в какие-то заросли, где нас сейчас же задержали. Обрадовал порядок в Могилеве, обрадовало и то, что, как только мы свернули с дороги, нас задержали. Очевидно, в этом полку

ночью никуда нельзя было пробраться, не наткнувшись на патрульных.

Всех троих нас под конвоем доставили в штаб полка. Из окопа поднялся очень высокий человек и спросил, кто мы такие. Мы сказали, что корреспонденты. Было так темно, что лиц невозможно было разглядеть.

— Какие корреспонденты? — закричал он. — Какие корреспонденты могут быть здесь в два часа ночи? Кто ездит ко мне в два часа ночи? Кто вас послал? Вот я вас сейчас положу на землю, и будете лежать до рассвета. Я не знаю ваших личностей.

Мы сказали, что нас послал к нему комиссар дивизии.

— А я вот положу вас до рассвета и доложу утром комиссару, чтобы он не присылал мне по ночам незнакомых людей в расположение полка.

Оробевший поначалу провожатый наконец подал голос:

— Товарищ полковник, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы ж меня знаете.

— Да, вас я знаю, — сказал полковник. — Знаю. Только поэтому и не положу их до рассвета. Вы сами посудите, — вдруг смягчившись, обратился он к нам. — Сами посудите, товарищи корреспонденты. Знаете, какое положение? Приходится быть строгим. Мне уже надоело, что кругом все диверсанты, диверсанты. Я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Не признаю я их. Если охранение несется правильно, никаких диверсантов быть не может. Пожалуйте в землянку, там ваши документы проверят, а потом поговорим.

После того как в землянке проверили наши документы, мы снова вышли на воздух. Ночь была холодная. Даже когда полковник говорил с нами сердитым голосом, в манере его говорить было что-то привлекательное. А сейчас он окончательно сменил гнев на милость и стал рассказывать нам о только что закончившемся бое, в котором он со своим полком уничтожил тридцать девять немецких танков. Он рассказывал об этом с мальчишеским задором:

— Вот говорят: танки, танки. А мы их бьем. Да! И будем бить. Утром сами посмотрите. У меня тут двадцать километров окопов и ходов сообщения нарыто. Это точно. Если пехота решила не уходить и закопалась, то никакие танки с ней ничего не смогут сделать, можете мне поверить. Вот завтра, наверное, они повторяют то же самое. И мы то же самое повторим. Сами увидите. Вот один стоит, пожалуйста. — Он показал на темное пятно, видневшееся метрах в двухстах от его командного пункта. — Вот там их танк стоит. Вот куда дошел, а все-таки ничего у них не вышло.

Около часа он рассказывал о том, как трудно было сохранить боевой дух в полку, не дать прийти в расхлябанное состояние, когда его полк оседлал это шоссе и в течение десяти дней мимо полка проходили с запада на восток сотни и тысячи окруженцев — кто с оружием, кто без оружия. Пропуская их в тыл, надо было не дать упасть боевому духу полка, на глазах у которого шли эти тысячи людей.

— Ничего, не дали, — заключил он. — Вчерашний бой служит тому доказательством. Ложитесь спать здесь, прямо возле окопа. Если пулеметный огонь будет, спите. А если артиллерия начнет бить, тогда милости прошу вниз, в окопы. Или ко мне в землянку. А я обойду посты. Извините.

Мы с Трошкиным легли и сразу заснули. Спали, паверное, минут пятнадцать. Потом с одной стороны началась ожесточенная ружейно-пулеметная трескотня. Мы продолжали лежать. Так устали за день, что лень было двигаться. Трескотня то утихла, то снова усиливалась, потом стала сплошной и слышалась уже не слева, там, где началась, а справа.

Трошкин толкнул меня в бок.

— Костя!

— Да?

— Странно. Стрельба началась у ног, а сейчас слышится у головы.

Потом стрельба стихла. Понемногу начало светать. Как потом выяснилось, немцы пробовали ночью прощупать наше расположение и производили разведку боем.

При утреннем свете мы наконец увидели нашего ночного знакомого — полковника Кутепова. Это был высокий худой человек с усталым лицом, с ласковыми не то голубыми, не то серыми глазами и доброй улыбкой. Старый служака, прапорщик военного времени в первую мировую войну, настоящий солдат, полковник Кутепов как-то сразу стал дорог моему сердцу.

Мы рассказали ему, что когда пролезали через мост, то не заметили там ни одной счетверенной установки и ни одной зенитки. Кутепов усмехнулся.

— Во-первых, если бы вы, проезжая через мост, сразу заметили пулеметы и зенитки, то это значило бы, что они плохо поставлены. А во-вторых... — Тон, которым он сказал это свое «во-вторых», я, наверное, запомню на всю жизнь. — Во-вторых, они действительно там не стоят. Зачем нам этот мост?

— Как «зачем»? А если придется через него обратно?

— Не придется, — сказал Кутепов. — Мы так уж решили тут между собой: что бы там кругом ни было, кто бы там ни отступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять, пока

живы. Вы походите, посмотрите, сколько накопано. Какие окопы, блиндажи какие! Разве их можно оставить? Не для того солдаты роют укрепления, чтобы оставлять их. Истина-то простая, старая, а вот забывают ее у нас. Роют, роют. А мы вот парыли и не оставим. А до других нам дела нет.

Как я потом понял, Кутепов, очевидно, уже знал то, чего мы еще не знали: что слева и справа от Могилева немцы форсировали Днепр и что ему со своим полком придется остаться в окружении. Но у него была гордость солдата, не желавшего знать и не желавшего верить, что рядом с ним какие-то другие части плохо дерутся. Он хорошо закопался, его полк хорошо дрался и будет хорошо драться. Он знал это и считал, что и другие должны делать так же. А если они не делают так же, как он, то он с этим не желает считаться. Он желает думать, что вся армия дерется так же, как его полк. А если это не так, то он готов погибнуть. И из-за того, что другие плохо дерутся, меняя своего поведения не будет.

И слова Кутепова, а еще больше то настроение, которое я почувствовал за его словами, мне много раз вспоминались в последующие месяцы, когда то в одном, то в другом месте фронта я слышал, как люди, рассказывая о своих неудачах, говорили: «Мы бы стояли, да вот сосед справа...», «Мы бы не отошли, да вот сосед слева...» Может быть, формально они и были правы, но какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что правы не они, а полковник Кутепов.

— Как вы думаете,— спросил я у полковника,— что сегодня будет происходить перед фронтом вашего полка?

Он пожал плечами.

— Одно из двух: или, разозлившись на вчерашнюю неудачу, немцы повторят свои атаки и будет такая же горячка, как вчера, или решат попробовать там, где послабее. И тогда у нас будет полная тишина. А в общем, советую: если хотите снять эти подбитые танки, пока можно, идите к ним.

Кутепов познакомил нас с комиссаром полка Зобниным, и мы пошли в батальон. По дороге туда видели всю систему обороны полка. Вроде ничего особенного, и все же прекрасные окопы полного профиля, много ходов сообщения, столько, что никаким артиллерийским огнем пельзя было полностью прервать управление полком и оторвать батальоны один от другого. Командные пункты батальонов и даже рот были размещены в таких блиндажах, что вчера немецкий танк выпустил по одному из них полсотни снарядов и все-таки не смог разбить его.

Вся система обороны давала почувствовать, что люди не поленились, закопались так, чтобы не уходить отсюда, несмотря

ни на что. Так зарывалась японская пехота на Халхин-Голе, трудолюбиво, упорно, с твердым решением умереть, но не уйти.

Передний край обороны полка там, где мы вышли к нему, тянулся вдоль лесной опушки; лес был низкорослый, но зато густой. Вперед расстилалось ржаное поле, а за ним шел большой лес. Там были немцы, и оттуда они вчера вели атаки. Слева железнодорожное полотно, за ним пустошь, за ней шоссе и дорога. И железная дорога, и шоссе шли перпендикулярно позиции полка. Впереди, на ржаном поле, виднелись окопчики боевого охранения.

Мы зашли на командный пункт батальона. Командир батальона капитан Гаврюшин был человек лет тридцати, уже два или три дня не бритый, с усталыми глазами и свалившимися под фуражкой волосами. На лице его было странное выражение одинаковой готовности еще сутки вести бой, говорить и действовать и в то же время готовность уснуть в любую секунду.

Перед тем как заснять Гаврюшина, Трошкин заставил его перепоясаться портупеей, надеть через плечо автомат, а вместо фуражки каску. Вся эта амуниция удивительно не шла капитану, как она обычно не идет людям, сидящим на передовой и каждый день глядящим в глаза смерти... Мы сказали Гаврюшину, что, пока затишье, хотим заснять танки, видневшиеся недалеке перед передним краем батальона. Отсюда была видна только часть сожженных танков. Еще несколько танков, как сказал нам Гаврюшин, было пониже, в ложине, метрах в пятидесяти — ста от остальных; отсюда их не было видно.

— Затишье? — с сомнением переспросил нас Гаврюшин. — Ах, да, да, затишье. Но ведь они стоят за нашим боевым охранением. Там, во ржи, могут немцы сидеть, автоматчики. Могут из лесу стрелять, а могут отсюда, из ржи.

Но Трошкин повторил ему, что приехал снять танки и есть ли во ржи автоматчики или нет — его не интересует. Он горячился, потому что в эту поездку с самого начала был просто одержим идеей во что бы то ни стало снять разбитые немецкие танки.

— Ну что же, — сказал Гаврюшин, — тогда я сейчас пошлю вперед людей, пусть заползут в рожь и залягут впереди танков на всякий случай. А вы пойдете потом, минут через десять.

Он вызвал лейтенанта, который должен был проводить Трошкина к танкам.

— А вы? — спросил он меня — Вам тоже нужно снимать?

Я ответил, что нет, мне нужно только поговорить с людьми.

— Тогда пойдем с вами в роту Хоршева, — сказал Гаврюшин. — А ваш товарищ потом тоже подойдет туда к нам.

Я был в душе рад этому предложению, потому что сначала у меня не возникло никакого желания идти вперед и присутствовать при том, как Трошкин будет на виду у немцев снимать танки. Но когда Трошкин с лейтенантом уже ушли, мне тоже вдруг захотелось посмотреть поближе на эти танки. Я сказал об этом Гаврюшину, и мы пошли с ним вместе по ходу сообщения вслед за Трошкиным. Ход сообщения кончился у окопчиков боевого охранения, танки теперь были невдалеке — метрах в двухстах. Здесь, в этом месте, их было семь, и они стояли очень близко один от другого.

Мы вылезли из хода сообщения и пошли по полю. Сначала все низко пригибались, и когда подошли к танкам, то Трошкин их тоже сначала снимал, сидя на корточках. Но потом он нашел в одном из танков немецкий флаг и, заставив красноармейцев залезть на танк, снимал их на танке, рядом с танком, с флагом и без флага, вообще окончательно обнаглев.

Немцы не стреляли. Я не жалел, что пошел. У меня было мстительное чувство. Я был рад видеть наконец эти разбитые, развороченные немецкие машины, чувствовать, что вот здесь в них попадали наши снаряды...

Чтобы немцы не утащили ночью танки, они были подорваны толком, и часть содержимого машин была разбросана кругом по полю. В числе прочего барахла во ржи валялась целая штука коричневого сукна. А рядом с нею дамские туфли-лакирашки и белье.

Трошкин снял это, а я потом описал. Кажется, это был один из первых документов о мародерстве немцев.

Закончив съемку, Трошкин отправился в лощинку к другой группе танков. Он хотел заснять еще и их. А я пошел с капитаном Гаврюшиным в роту Хоршева.

Хоршев был еще совсем молодой, в сбитой пабок пилотке, такой молодой, что было странно, что вчера он тут дрался до последнего патрона и потерял половину роты. Чтобы добраться до него, пришлось перейти через разрушенное железнодорожное полотно, мимо наполовину снесенной железнодорожной будки. В пристройке к этой будке продолжал жить старик сторож. Хоршев вчера после боя подарил ему мундир немецкого лейтенанта; старик спорил с него погончики и сегодня щеголял в этом мундире.

Сидя на траве и спустив ноги в окопчик, мы с Хоршевым жевали хлеб и разговаривали о вчерашнем бое. Через полчаса пришли разведчики, таща несколько немецких велосипедов. Два часа назад эти велосипеды бросила на шоссе немецкая разведка. Ее обстреляли, и она, оставив двух убитых, бежала в лес, бросив велосипеды.

Было по-прежнему тихо. Вдруг раздалось несколько пулеметных очередей. Впереди над полем крутился «мессершмитт». Когда вернулся Трошкин, то оказалось, что эта стрельба имела к нему прямое отношение. Он начал снимать вторую группу танков, и над ним появился этот «мессершмитт» и начал пулеметный обстрел с бреющего полета. Трошкин залез под немецкий танк и отсиживался там, пока немецкому летчику не надоело и он не улетел.

Весь день с самого утра мы ходили по позициям. По-прежнему было тихо. Вернулись на командный пункт полка. Трошкин заснял командира, комиссара и пачальника штаба. Все они просили его отпечатать снимки и послать их не сюда, к ним, а в военный городок их женам, кажется, в Тулу. Не знаю, сделал ли это Трошкин, но, помню, у меня было тогда такое чувство, что этих людей, остающихся здесь, под Могилевом, я никогда больше не увижу и что они, не говоря об этом ни слова, даже не намекая, в сущности, просят нас послать их женам последние фотографии.

Когда мы прощались с Кутеповым, у меня было грустное чувство, хотя внешне он держался весело, прощаясь, устало шутил и, пожимая мне руку, говорил: «До следующей встречи».

Из штаба полка мы заехали к артиллеристам. Начальник штаба артиллерийского полка оказался халхингольцем. Он служил там в дивизионе знаменитого на Халхин-Голе капитана Рыбкина. Неожиданно угостив пивом, он повел нас на наблюдательный пункт, который размещался у него на башне элеватора. Вчера немцы вцепили в башню снаряд, один из пролетов был разрушен, но оглушенный вчера наблюдатель сегодня залез еще выше и наблюдал с самого верхнего пролета.

Немцы больше не били по элеватору. Наверно, после прямого попадания считали, что там никого нет.

Мы вернулись из полка, так и не услышав за весь день ни одного орудийного выстрела. Такая тишина начинала даже путать. Теперь, когда мы проезжали через Могилев обратно при свете, было особенно заметно, как он пуст. Лишь иногда по улицам проходил патруль. Кроме этих патрулей и орудийных расчетов на перекрестках, в городе, казалось, никого нет.

Вечером, заехав в штаб дивизии за Кригером и Белявским, мы вместе тронулись в штаб корпуса, имея намерение заехать потом, по дороге, в штаб 13-й армии в Чаусы, а оттуда возвращаться с материалом в редакцию...

А теперь несколько дополнений и размышлений, связанных с этими могилевскими страницами моего дневника.

Входившая в 61-й корпус 172-я стрелковая дивизия, в шта-

бе которой мы были, прежде чем поехать в полк Кутепова, обороняла непосредственно Могилев и вынесла на себе главную тяжесть боев за город.

Комиссар дивизии Леонтий Константинович Черниченко, о котором идет речь в моем дневнике, находился в Могилеве до последних дней его обороны, был ранен, попал в плен и прошел там через много тяжелых испытаний.

Командира дивизии Михаила Тимофеевича Романова, непосредственно руководившего обороной Могилева в те дни, мне встретить не удалось. Судя по его личному делу, сохранившемуся в архиве, это был превосходно подготовленный командир дивизии, медленно, но верно поднимавшийся к этой должности по долгой служебной лестнице и имевший отличные аттестации за все годы своей службы. В боях за Могилев он с лихвой подтвердил все довоенные аттестации. Об этом можно судить буквально по всем воспоминаниям о нем. В личном деле генерала Романова написано, что он пропал без вести. А все воспоминания сходятся на двух несомненных фактах, что Романов во главе своей дивизии до конца оборонял Могилев и что во время попытки прорыва из окружения он был тяжело ранен и после этого погиб.

С годами к воспоминаниям прибавлялись документы.

Еще давно, лет десять назад, Черниченко в беседе с маршалом Еременко вспоминал, что в фашистском плену, зимой сорок первого — сорок второго года, видел какой-то немецкий журнал со снимком генерала Романова в гражданской одежде и с надписью: «Генерал-майор Романов, командир 172-й стрелковой дивизии, как руководитель партизанского движения, задержан в городе Борисове и повешен».

Журнал этот в конце концов был разыскан, и взятый из него снимок был воспроизведен белорусскими кинематографистами в документальном фильме «Могилев. Дни и ночи мужества».

Текст к этому снимку в немецком журнале в русском переводе звучит так:

«...В одной из советских деревень удалось захватить в плен большевистского генерал-майора Романова. Он был командиром 172-й советской дивизии, но в конце концов, сняв военную форму и переодевшись в гражданское платье, занялся организацией партизанской войны...»

Так погиб генерал Романов.

Когда я был в Могилеве и видел там в центре города в сквере памятник генералу Лазаренко, погибшему при освобождении Могилева в 1944 году, я подумал, что рядом с этим памятником

не хватает другого — генералу Романову, в 1941 году сделавшему все, что было в человеческих силах, чтобы не отдать город в руки немцев. Не сомневаюсь, что в конце концов так оно и будет. В последнем письме, полученном мною от могилевских журналистов, говорится, что решение поставить этот памятник уже принято.

К командиру 388-го стрелкового полка 172-й дивизии полковнику Кутепову мы приехали вечером 13 июля и уехали из его полка на следующий день, 14-го. Срок небольшой, меньше суток. Но это пребывание в полку Кутепова по многим причинам запомнилось мне на всю жизнь, и мне хочется здесь рассказать и о Кутепове, и о других людях его полка то небольшое, что удалось дополнительно узнать.

Пишу это, а передо мной лежат переснятые из личных дел старые, предвоенные фотографии командира полка Семена Федоровича Кутепова, комиссара Василия Николаевича Зобнина, начальника штаба Сергея Евгеньевича Плотникова, командира батальона Дмитрия Степановича Гаврюшина, командира роты Михаила Васильевича Хоршева...

Самому старшему из них — Кутепову — было тогда, в сорок первом году, сорок пять лет, а всем остальным гораздо меньше. Гаврюшину — тридцать шесть, Плотникову — тридцать один, Зобнину — двадцать восемь, Хоршеву — двадцать три.

Места, где ты был тридцать лет назад, иногда совершенно не узнаешь, а иногда узнаешь сразу. Приехав в Могилев и бродя по местам боев сорок первого года, я совершенно точно вспоминал, где что было. Узнал участок обороны между железной дорогой и шоссе, который занимал батальон Гаврюшина, узнал поле, на котором стояли разбитые немецкие танки, узнал и то место, где мы сидели с Хоршевым и где теперь стоит у полотна не та, прежняя, разбитая снарядами, а другая и уже тоже не новая железнодорожная будка.

Неподалеку при дороге стоит теперь обелиск с надписью, говорящей о том, как 388-й стрелковый полк в июле 1941 года «с беспримерной стойкостью» отбивал здесь атаки немецких танков. Имен погибших на обелиске нет, да в данном случае вряд ли и возможно было написать их все; 388-й полк лег здесь, в боях за Могилев, почти целиком.

Но я хочу, больше того, считаю своим долгом назвать хотя бы некоторые имена из 388-го и сражавшегося вместе с ним 340-го артиллерийского полков, не упомянутые в дневнике, но сохранившиеся в моем фронтовом блокноте.

Вот их фамилии и должности, а в некоторых случаях и имена:

388-й стрелковый полк
Смирнов — сержант
Иван Дмитриевич Грошев — красноармеец
Семенов — красноармеец
Бондарь — связист, красноармеец
Громов — связист
Медников — старший лейтенант,
адъютант батальона
Орешин — младший политрук
Степанов — младший сержант
Сушков — младший сержант
Тарасевич Савва Михайлович —
сержант
Давыдов — капитан

340-й артиллерийский полк
Пашуп — заместитель политрука
Прохоров — младший политрук
Аксенов — лейтенант, командир 45-мм орудия
Капустин — младший лейтенант
Орлов Борис Михайлович — капитан, начальник связи
полка
Котов, Котиков — связисты
Козловский — сержант, радист
Слепков — радист
Антонович Петр Сергеевич — капитан,
начальник штаба полка
Возгрин М. Г. — лейтенант,
командир батареи
Гришин И. Г. — старший сержант,
командир орудия.

Само упоминание в блокноте всех этих фамилий говорит, что каждый из этих людей совершил тогда в боях под Могилевом нечто такое, что, по мнению их прямых начальников, заслуживало быть отмеченным в печати.

Я не упоминаю в дневнике о встрече с командиром 340-го артиллерийского полка полковником Иваном Сергеевичем Мазаловым, по в блокноте есть короткая запись разговора с ним.

«Пока есть снаряды, немцам в Могилеве не быть. Пехота довольна. Заявки пехоты выполняем за редким исключением, как, например, вчера: идут два танка и два взвода пехоты. Я говорю: по двум танкам портить снаряды не буду. Если я прорвусь, не будет беды, бутылками забросаем. А по пехоте дадим. И дали шрапнель!»

Я разыскал личное дело полковника Мазалова, но в нем, как и во многих других личных делах, лишь довоенные записи. Видимо, он погиб. Обращает на себя внимание фраза, записан-

ная в одной из аттестаций: «К службе относится с исключительной добросовестностью, обладает огромной силой воли».

Только одного из людей 388-го стрелкового полка, чьи лица я вижу сейчас перед собой на старых фотографиях, я встретил еще раз после Могилева.

В июне 1945 года, вернувшись из армии в Москву, я нашел пришедшее без меня еще зимой, во время войны, письмо:

«...Ответ хочу получить для того, чтобы после, если останусь в живых, увидиться с вами и дать материал как писателю и вспомнить тех героев тяжелых польских дней, которые всю тяжесть первых ударов выносили на своих плечах. Это ваши слова. А их надо вспомнить, они это перед Родиной заслужили! Пишет вам тот командир батальона, у которого вы с Трошкиным были в гостях на поле боя у Могилева — июль 1941 года. Я за это время участников этих боев не встречал никого. Да и я случайно остался в живых. Пришлось много пережить. Когда встретимся, то расскажу. Все же я не теряю надежды с вами увидиться. В настоящее время я на фронте, но состояние здоровья не дает возможности быть здесь. Хотят откомандировать, так что ответ на это письмо пришлите домой, и при первой возможности я вас проведаю. Привет Трошкину, если он в живых.

17.1—45.

С комприветом

капитан *Гаврюшин*».

Передавать привет Трошкину было поздно — он к тому времени погиб, я написал об этом Гаврюшину, приглашая его приехать. Но увидиться нам удалось не сразу: вернувшись с войны, он долго лежал по госпиталям, и я встретил его только в 1947 году тяжело больным человеком.

Гаврюшин горько переживал свою безнадежную инвалидность, думая при этом не столько о себе, сколько о тех, кому приходилось о нем заботиться. Именно об этом он писал мне в своем последнем письме:

«...Жалею, почему меня не убило. Лежал бы спокойно, не заставлял бы людей думать обо мне. А лежал бы под словами:

Не плачьте над трупами павших бойцов,
Не скверните их доблесть слезами,
А встаньте и произнесите:
«Тихе, листья, не шумите,
Наших товарищей не будите.
Спите спокойным сном —
Мы за вас отомстим...»

Больше писем не было. Не было ответа и на мои письма...

Я после долгого перерыва еще раз написал по сохранившемуся у меня старому адресу, но письмо снова осталось без ответа. Пришлось обратиться к розыскам в архиве, и там, найдя личное дело Гаврюшина, я увидел в нем последнюю запись: «Умер 7 мая 1953 года».

В личном деле есть много подробностей, рисующих и облик и судьбу этого человека. Москвич, сын рабочего, Гаврюшин рос без отца, убитого в 1905 году во время стачки. Тринадцатилетним мальчиком, оказавшись вместе с матерью в Бессарабии, он вступил в отряд Котовского и был контужен во время боев под Бендерами. В 1924 году вступил в комсомол, в 1930-м — в партию. В 1928 году пошел в армию. Кончил Киевскую пехотную школу и с октября 1939 года находился в той должности, в какой я его застал на фронте, командиром батальона 388-го стрелкового полка. «В обстановке разбирается быстро и верно. Волевой, требовательный командир», — писал в своей аттестации о нем в октябре 1940 года командир полка Кутепов и добавлял: «Физически здоров, но нуждается в лечении по поводу невроза». Очевидно, невроз был последствием той давней контузии в детстве, она напоминала о себе.

В деле подшита записка Гаврюшина, рассказывающая о том, как он воевал и выходил из окружения. Приведу некоторые места из нее:

«...Ведя 14 суток непрерывного боя, я был контужен, но остался в строю, после чего был рапен в руку и ногу. 24 июля положен в госпиталь в Могилев. 26 июля город был взят фашистами и госпиталь не эвакуирован, потому что были в окружении. 28 июля я с бойцами своего батальона из госпиталя бежал. Переодевшись у одной из жительниц города, мы тронулись в путь к нашим войскам. Шли мы под видом заключенных — якобы работали на аэродроме и при бомбежке нас поранило. На пятые сутки на линии фронта фашисты нас задержали. Продержав трое суток, отправили в Смоленск в один из госпиталей... Пробыв там трое суток, сделав соответствующую разведку, бежали из этого госпиталя и дней через 15 опять достигли линии фронта в районе Шмакова, где нас опять задержали. Продержав 5 суток голодными, посадили на машины и повезли в направлении Смоленска. Догнав группу наших пленных, сбросили нас с машин, присоединили к колонне и погнали. Голод и боли в ранах не давали мне возможности идти паравне со здоровыми, и я отставал, фашистский патруль все время подгонял меня прикладами в спину... Перепочевав, собравшись с силами, под утро мы бежали. Прошло несколько суток. Пришли в поселок Стодолище и наткнулись на нашего врача. Попросили его сде-

лать перевязки. Он вскрыл наши раны — раны уже загноились и черви завелись...» Далее Гаврюшин рассказывает о том, как он лечился, скрываясь в этом поселке Стодолище, и как один из жителей, «некто Жуков», подал на него заявление в фашистскую комендатуру, что он коммунист и командир. Но Гаврюшина успели предупредить. «При помощи местных жителей я оделся, потому что был наг, а на дворе октябрь, и решил попытаться еще раз пройти к своим, что мне и удалось. 6 октября 41 г. я пришел в город Ефремов Тульской области на фронт 3-й армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-лейтенант Крейзер, мой бывший командир дивизии. Из Ефремова меня направили на лечение...»

К этому надо добавить, что, получив вторую степень годности, капитан Гаврюшин все же добился отправки на фронт и служил там офицером связи в 63-м стрелковом корпусе. Но довоевать до конца войны ему не удалось. Сказались ранения и контузия, он тяжело нервно заболел и был отправлен в резерв по состоянию здоровья.

Так сложилась судьба капитана Гаврюшина.

Во всех других разысканных мною личных делах, кроме дела Гаврюшина, все записи одинаково обрываются на 1941 год, на последних довоенных служебных характеристиках...

Довоенная служебная характеристика начальника штаба 388-го полка капитана Сергея Евгеньевича Плотникова: «Работает начальником штаба батальона. С работой справляется хорошо. Штабную работу знает хорошо и любит ее. Командир полка полковник Крейзер».

Документ, подписанный 6 июня 1941 года: «Направляется в Ваше распоряжение батальонный комиссар Зобнин Василий Николаевич на должность заместителя командира 388-го стрелкового полка по политической части. К месту нового назначения прибыть 10 июня сего года. Об исполнении донести».

Личное дело лейтенанта Хоршева. На фотографии бритоголовый молоденький курсантик. Коротенькое личное дело, в котором только и указывается «нет», «нет», «не был», «не состоял», «не проживал»... 23 февраля 1939 года приносил военную присягу. И дальше одна-единственная характеристика: «Требователен, дисциплинирован, по тактической подготовке «хорошо», по огневой подготовке «хорошо». Может быть использован командиром взвода с присвоением военного звания лейтенант». Вот и все, что есть в деле лейтенанта Хоршева Михаила Васильевича. А дальше были война, Могилев, бои, в которых он, как и другие его сослуживцы, оправдал свою предвоенную аттестацию. Оправдал и погиб. Очевидно, так.

Личное дело командира 388-го стрелкового полка Семена Федоровича Кутепова большое, на многих листах...

Недолгая встреча с Кутеповым для меня была одной из самых значительных за годы войны. В моей памяти Кутепов — человек, который, останься он жив там, под Могилевом, был бы способен потом на очень многое.

Семен Федорович Кутепов, происходивший из крестьян Тульской губернии, окончил в 1915 году коммерческое училище, был призван в царскую армию, окончил Александровское военное училище, воевал с немцами на Юго-Западном фронте в чине подпоручика (а не прапорщика, как записано у меня в дневнике). В 1918 году добровольно вступил в Красную Армию, воевал с белополяками и с различными бандами, командовал взводом и ротой, был ранен. Окончил курсы усовершенствования штабных командиров и с отличием заочный факультет Академии Фрунзе. Изучил немецкий язык. Четыре года прослужил начальником строевого отдела штаба дивизии, два года командиром батальона, три года начальником штаба полка, четыре года помощником командира полка и два года командиром полка. В этой должности встретил войну. В аттестациях Кутепова за самые разные годы его службы единодушны в самых высоких оценках. 1928-й — «Способный штабной работник», «Хорошо знает дело», «Точен. Аккуратен. Дисциплинирован», «В намеченной идее упорен до конца. В трудные минуты умеет провести свою волю... Подлежит продвижению во внеочередном порядке». 1932-й — «Энергичен, инициативен, с твердой волей командира. Военное дело любит и знает». 1936-й — «В обстановке разбирается быстро и умело принимает решения». 1937-й — «Энергичен, работоспособный командир. Развита во всех отношениях». 1941-й — «Командуя полком, показал себя энергичным, волевым, культурным командиром. Личным примером показывает образцы настойчивости, дисциплинированности. Полк по боевой и политической подготовке занимает первое место среди частей корпуса, что неоднократно отмечалось при проверках».

Эта последняя характеристика подписана Ф. А. Бакуниным, командиром корпуса, в составе которого Кутепову предстояло подвергнуться той самой строгой из всех проверок, которая называется войной.

Читая личные дела полковника Кутепова, генерала Ромашова, да и некоторых других военных, превосходным образом проявивших себя в самые тяжелые дни 1941 года, я иногда испытывал чувство недоумения: почему многие из этих людей так медленно по сравнению с другими продвигались перед войной по служебной лестнице? Задним числом, с точки зрения всего

совершенного ими на войне, мне даже падало казаться, что в их медленном предвоенном продвижении было что-то неправильное. Но потом, поразмыслив, я пришел к обратному выводу: это медленное продвижение с полным и всесторонним освоением, или, как говорят военные, «отработкой» каждой ступеньки как раз и было правильным. Именно такое продвижение, видимо, и привело к тому, что эти люди в тягчайшей обстановке первого периода войны все-таки оказались на высоте занимаемого ими к началу боев положения. Именно такое продвижение и должно быть в армии нормой. И такой нормой оно и было до 1936 года. А перестало быть начиная с 1937 года. И это привело в период войны к тяжелым последствиям.

Когда в 1937—1938 годах было изъято из армии подавляющее большинство высшего и половина старшего командного состава, за этим неизбежно последовало характерное для тех лет массовое перепрыгивание через одну, две, а то и три важнейшие ступени военной лестницы.

Нелепо было бы ставить это в вину людям, которых так стремительно повышали. Это было не их виной, а их бедой. А от тех из них, кто не погиб в начале войны, потребовалось очень много труда и воли, огромные нравственные усилия для того, чтобы в условиях войны оказаться на своем месте, восполнив в себе все те неизбежные пробелы, которые образуются у человека при перепрыгивании через необходимые ступеньки военной службы.

Надо ли еще раз повторять, что, не будь у нас 1937—1938 годов, в армии с первых же дней войны на своих местах оказались бы куда больше таких людей, как командир полка Кутепов или командир дивизии Романов.

Тогда, в 1941 году, на меня произвела сильное впечатление решимость Кутепова стоять насмерть на тех позициях, которые он занял и укрепил, стоять, что бы там ни происходило слева и справа от него. Прав ли я был в своем глубоком внутреннем одобрении такого взгляда на вещи?

Вопрос сложнее, чем кажется с первого взгляда. Речь идет не о том — выполнить или не выполнить приказ. Это не являлось для Кутепова предметом размышлений. Речь о другом — о сложившемся у меня чувстве, что этот человек внутренне не желал получить никакого иного приказа, кроме приказа насмерть стоять здесь, у Могилева, где он хорошо укрепился, уже нанес немцам и, если не сдвинется с места, снова нанесет им тяжелые потери при любых новых попытках наступать на его полк.

Немецкие генералы в своих исторических трудах очень настойчиво пишут о том, что, оставаясь в устраиваемых ими «клетках» и «мешках», не выводя с достаточной поспешностью свои

войска из-под угрозы намечавшихся окружений, мы в 1941 году часто шли навстречу их желаниям: не выпустить наши войска, нанести нам невозполнимые людские потери.

В тех же трудах те же генералы самокритично по отношению к себе и одобрительно по отношению к нашему командованию отзываются о тех случаях, когда нам удавалось в 1941 году «своевременно», по их мнению, вывести свои войска из намечавшихся окружений и тем сохранить живую силу для последующих сражений.

В этих суждениях, конечно, есть своя логика. И все-таки, если брать конкретную обстановку начала войны, мне думается, что немецкие генералы не всегда в ладу с диалектикой.

Следовало ли нам стремиться в начале войны поспешно вывести свои войска из всех намечавшихся окружений? С одной стороны, как будто да. Но если так, то можно ли было в первые же дни войны отдать приказ о немедленном общем отступлении всех трех стоявших в приграничье армий Западного фронта? На мой взгляд, такой приказ в эти первые дни было бы невозможно отдать не только технически, из-за отсутствия связи, но и психологически.

Лев Толстой в своем дневнике 1854 года писал: «Необстрелянные войска не могут отступать, они бегут». Замечание глубоко верное; организованное отступление — самый трудный вид боевых действий, тем более для необстрелянных войск, какими в своем подавляющем большинстве были наши войска к началу войны. Такое всеобщее отступление на практике в той заранее не предусмотренной нашими предвоенными планами обстановке могло превратиться под ударами немцев в бегство.

Да, в 1941 году случалось и так, что мы бежали. Причем случалось это с теми самыми еще не обстрелянными тогда частями, которые впоследствии научились и стойко обороняться, и решительно наступать.

Но в том же сорок первом году многие наши части, перед которыми с первых дней была поставлена задача контратаковать и жестко обороняться, выполняли эту задачу в самых тяжелых условиях и именно в этих боях, а потом, при прорывах из окружения, приобретали первый, хотя и дорого обошедшийся им боевой опыт.

Если бы мы в первые дни и недели войны, избегая угрозы окружений, повсюду лишь поспешно отступали и нигде не контратаковывали и не стояли насмерть, то, очевидно, темп отступления немцев, и без того высокий, был бы еще выше. И еще вопрос, где бы нам удалось в таком случае остановиться.

Нет нужды оправдывать сейчас все решения, принимавшиеся у нас в то время, в том числе и ряд запоздалых решений на отход или, в других случаях, противную здравому смыслу боязнь сократить, спрямить фронт обороны только из-за буквально понятого предвоенного лозунга «Не отдать ни пяди», который при всей его внешней притягательности в своем буквальном толковании на поле боя бывал и опасен и неверен с военной точки зрения. Однако думается, что реальный ход войны в первый ее период сложился как равнодействующая нескольких факторов. Сочетание наших отступлений, своевременных и запоздалых, с нашими оборонами, подвижными и жесткими, кровавыми и героическими, в том числе и длительными, уже в окружениях, предопределило и замедление темпа наступления немцев, и неожиданную для них несломленность духа нашей армии после первых недель боев.

И у меня, например, как у военного писателя, не возникает соблазна соглашаться с прямолинейно логическими концепциями в конце концов проигравших войну немецких генералов, которые задним числом считают, что в начале этой войны наилучшим для нас выходом было везде и всюду как можно поспешней отступать перед ними.

При самой трезвой оценке всего, что происходило в тот драматический период, мы должны снять шапки перед памятью тех, кто до конца стоял в жестких оборонах и насмерть дрался в окружениях, обеспечивая тем самым возможность отрыва от немцев, выхода из «мешков» и «котлов» другим армиям, частям и соединениям и огромной массе людей, группами и в одиночку прорывавшихся через немцев к своим.

Героизм тех, кто стоял насмерть, вне сомнений. Несомненны и его плоды.

Другой вопрос, что при иной мере внезапности войны и при иной мере нашей готовности к ней та же мера героизма принесла бы еще большие результаты.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вернувшись в штаб корпуса, мы увидели там только начальника политотдела, который сказал нам, что торопится и не может уделить нам много времени. Мы спросили его, куда он едет. «Вперед», — сказал он и добавил, что, пожалуй, мог бы взять нас с собой.

Мы спросили: куда именно вперед? Он сказал, что едет в опергруппу дивизии на тот берег Днепра. Мы сказали ему,

что только вернулись оттуда, из-за Днепра. Тогда он порекомендовал нам остаться еще на два-три дня у них в корпусе, так как, по его словам, их корпус будет проводить интересную операцию — завершать окружение немецкого десанта. Мы сказали, что подумаем, как поступить, и, простившись, пошли к машине посоветоваться.

По дороге к машине встретили комиссара корпуса. Он поздоровался с нами и спросил, что мы собираемся делать. Мы рассказали ему о том, что говорил нам начальник политотдела, и спросили совета.

— Да? Он вам так сказал? Ну что ж... — Бригадный комиссар задумался. — А вы что, собрали уже какой-нибудь материал?

Мы сказали, что собрали, и довольно много.

— Тогда я вам советую — поезжайте в Чаусы и в Смоленск. Впрочем, как хотите. Но я советую. Раз есть материал, надо ехать.

У него был вид человека, чем-то удрученного, может быть, и хотевшего сказать нам то, что он знал, но не имевшего права и оттого принужденного говорить совсем другие, не относящиеся к сути дела слова. Но говорил он их так, словно хотел, чтобы мы все-таки поняли то, чего он не имел права нам сказать.

Мы решили послушать его совета и свернули с шоссе на дорогу, которая шла на Чаусы. Проехав по ней километров двенадцать, услышали впереди стрельбу, оружейную и пулеметную. Проехали еще немного, и нас на дороге остановили двое командиров в форме НКВД со шпалами на петлицах. Они сказали нам, что немцы высадили впереди десант с двумя танкетками, что ехать по этой дороге нельзя, что там дерутся с немцами на люди и что мы должны помочь. Надо высадиться здесь из машины, собрать людей и идти вперед.

Мы вылезли из машины. В это время сюда же подъехал и остановился грузовик с двумя десятками красноармейцев. Командиры из НКВД подошли к грузовику и потребовали, чтобы красноармейцы тоже высадились и шли с ними вперед. Лейтенант, командовавший красноармейцами, отказался это сделать, заявив, что ему приказали расположиться здесь и охранять дорогу. Пошли препирательства. Один из тех двух, что остановили нас, вытащил револьвер и наставил на лейтенанта.

Не знаю, кто из них был прав. Лейтенант был спокоен и бледен. Он сказал, что у него есть приказ быть здесь и он никуда отсюда не пойдет. Мне показалось в тот момент, что он не боится идти вперед, а действительно считает, что, раз у него есть приказ, он должен выполнить его в точности. И под дулом

пистолета он продолжал упорно твердить, что не боится, если его застрелят, но нарушать приказа не будет.

Мы вмешались и прекратили эту сцену. Потом подъехал еще один грузовик с несколькими военными. К нам подскочил какой-то сержант, сказавший, что недалеко отсюда стоит их часть и в ней есть легкие противотанковые орудия. Мы посадили его вместе с Женей Кригером на наш «пикап» и отправили, чтобы они притащили сюда, на дорогу, одно орудие на тот случай, если действительно немецкие танки пойдут сюда; а сами депочкой пошли вперед.

К этому времени нас осталось всего человек пятнадцать, потому что не успели мы оглянуться, как машина с красноармейцами и лейтенантом вдруг куда-то исчезла.

Пройдя с километр, мы дошли до опушки леса. Вдали справа была деревня, слева открытое поле и снова лес. Прямо на нас скакал всадник. Соскочив с лошади, он долго не мог отдышаться. Приехавший на коне был майор в форме НКВД. В машину, на которой ехал этот майор, попал снаряд с немецкого танка. Это были не танкетки, а два танка. Шофер был убит наповал, а майор, отлежавшись, выполз из-под огня и, схватив чью-то бегавшую по лугу лошадь, прискакал на ней сюда.

Гранат на всех у нас было только три штуки. Был один ручной пулемет, один «максим» и десяток винтовок. Посоветовавшись, решили, что с таким вооружением против двух танков, стоявших на открытом месте, идти бессмысленно, и стали ждать, когда вернется Кригер с противотанковой пушкой. Пока что залегли по обе стороны дороги на опушке векового соснового леса. Здесь можно было чувствовать себя увереннее. Даже если бы танки появились на дороге, их можно было бы пропустить, а автоматчиков и мотоциклистов, которые, по словам майора, шли вместе с танками, задержать огнем.

Ждали около часа. Петр Иванович Белявский за это время устроил себе позицию для стрельбы. Насыпал бруствер, сделал в нем ложбинку и удобно приспособился с винтовкой. Только тут неожиданно для меня выяснилось, что он участник еще первой мировой войны.

Над дорогой прошел немецкий самолет и обстрелял нас. Кригер вернулся через два часа. Было уже девять вечера. Он сказал, что там, где, по словам сержанта, стояли противотанковые орудия, ничего не было, кроме каких-то грузовиков. Мы стали думать, что теперь делать, и решили вернуться в штаб дивизии к полковому комиссару Черниченко и сообщить ему о том, что здесь происходит, чтобы из дивизии прислали хоть что-нибудь, с чем можно было идти против танков.

Оставив за себя старшего, майор НКВД поехал вместе с нами. Когда мы приехали к Черниченко, он встретил нас холодно, сказал, что сам знает, что здесь бродят немецкие десантные группы с танками, но что у дивизии другие задачи, а борьба с такими группами — это дело начальника Могилевского гарнизона и что мы должны поехать к нему и доложить об этом.

Мы ответили, что пусть начальнику гарнизона докладывает майор НКВД, а мы останемся ночевать в дивизии. Черниченко ответил, что у него нет машины везти в город майора, так что это придется сделать нам.

У него было при этом такое лицо, словно он очень не хотел, чтобы мы оставались у него в штабе дивизии. Кроме того, мне показалось, что он как-то удивительно равнодушно отнесся к нашему сообщению. Я был убежден, что, если бы мы сделали ему такое сообщение вчера, он отнесся бы к нему совсем по-другому. То, как он говорил с нами, вызвало у меня чувство недоумения.

Мы спросили, не знает ли он, как обстоит дело на других дорогах, ведущих в Чаусы, свободны ли они.

Черниченко сказал, что он ничего не знает, что ему известно только то, что происходит в расположении его дивизии, а дороги на Чаусы ему не подведомственны. Связи с армией у него нет, связь идет через корпус, а о дорогах на Чаусы нам лучше всего может рассказать тот же начальник гарнизона, к которому мы едем.

Мы простились и поехали в Могилев.

К начальнику гарнизона мы попали глухой ночью. Снова — в третий раз — все та же комната и тот же усталый от бессонных ночей полковник. Он выслушал майора и нас и сказал:

— Вы что думаете, я подвижные орудия туда пошлю? Так нет у меня никаких подвижных орудий! Я ими не располагаю. Я дивизией не командую. У меня вот стоят на улицах пушки; если ворвутся сюда, то будем стрелять, вот и все.

И, больше не обращая на нас внимания, стал спрашивать кого-то из своих помощников, готовы ли люди на могилевских заставах и у моста к тому, чтобы встречать танки зажигательными бутылками. Ему ответили, что шестьдесят человек подготовлено.

— Хорошо, — сказал он и повернулся к нам. — Ну, что вы стоите?

Мы сказали, что хотим узнать у него, как лучше проехать на Чаусы. Он сказал, что не знает этого. Мы спросили его, где можно заночевать в городе.

— Заходите в какой-нибудь дом и ночуйте.

Майор остался у него, а мы вышли на улицу. Была темная ночь. Город был пуст и утрюм. По улице на руках с грохотом катили куда-то орудия. У меня было единственное желание — поехать обратно в полк к Кутепову и остаться там до конца. Там, по крайней мере, был порядок, и думалось, что если умрешь там, то хоть с толком.

В ту ночь я понял, паверное, раз и навсегда, что в тяжелые дни отступлений, окружений и смертельных опасностей все-таки лучше всего находиться на передовой, в дерущейся части, и нет ничего хуже, чем оказываться в неизвестности, в отступающих тылах. Там в эти дни отвратительно, невыносимо так, что жить не хочется.

После разговора с Черпиченко у нас не было уверенности, что за эти два-три часа, что мы пробыли в Могилеве, штаб дивизии не переместился куда-то из того леса, где он был. В Могилеве почевать не хотелось. Может быть, мы и поехали бы к Кутепову, но почью без проводника не надеялись туда добраться. Сейчас мы окопчательно почувствовали, что и разговор бригадного комиссара в корпусе, и то, как с нами говорил Черпиченко, явно желавший нас спровадить из дивизии, и то, как с нами говорил сейчас начальник гарнизона, — все это звенья одной цепи; произошло что-то, еще неизвестное нам, большое и труднопоправимое, и людям не до нас.

В конце концов мы решили все-таки двинуться обратно в штаб дивизии, дожидаться там рассвета и утром попробовать попасть в Чаусы по проселочным дорогам.

Была темнота хоть глаз выколи. Мы проехали через могилевский мост. Было страшно, что нас никто даже не задержал. Часовые с моста исчезли. Мы свернули на шоссе, потом свернули в лес, туда, где стоял штаб дивизии. И слева и справа, где еще недавно стояли машины штаба, все было пусто. Но в глубине леса копошились люди, стояли машины. Отсюда уехали еще не все.

Мы улеглись на землю рядом с «пиканом» и проспали до утра. Перед сном, после того как мы в отвратительном настроении по пустому мосту, без часовых, выехали из Могилева, я вдруг подумал, что надвигается какая-то катастрофа и мы, вся-ма возможно, отсюда не выберемся, и мне стало не по себе оттого, что какие-то вещи, лежавшие у меня в карманах, могут попасть в руки немцам. Я в темноте положил на колени взятую в штабе корпуса карту, на которой были пометки расположения войск, и на ощупь куском резинки постирал все, что там было. А потом вытащил из кармана гимнастерки не отправленное в Москву письмо и изорвал его на кусочки.

Утром мы выехали из леса на шоссе. Было слышно, как слева и справа, кажется, уже на этой стороне Днепра, неразборчиво бухала артиллерия. Мы свернули на проселки и, руководствуясь картой, поехали по наезженным колеям от деревни к деревне. Дорога была скверная, бензин плохой, «пикап» чихал. Мы продували подачу, ехали очень медленно, но все-таки понемножку приближались к Чаусам. Женщина, у которой мы на перекрестке стали спрашивать дорогу, сказала нам, что «вот туточка проехали на мотоциклах немцы».

— Куда?

— А вот туда, откуда вы едете. Только вы слева выехали, а они вправо поехали. А утром другие вон по той дороге ехали. — Она показала на восток.

То, что она сказала, было похоже на правду, особенно если учесть все происходившее в прошлую ночь. Но нам за вчерашний день так надоели разговоры о немецких десантах, мотоциклистах, парашютистах, танкетках, что мы не обратили внимания на слова женщины. Мотоциклисты так мотоциклисты. Встретимся — значит, не повезло.

Сидя рядом с Боровковым в кабине «пикапа», я все время следил за дорогой и за поворотами. Вдруг неожиданно для себя я заснул, а когда так же вдруг проснулся — может быть, я проспал всего несколько минут, — оказалось, что мы свернули не налево, куда нам надо было по карте, а направо и уткнулись во взорванный мост через какую-то речку. Я со зла сказал Боровкову несколько теплых слов, но не дальше как через двадцать минут выяснилось, что и эта задержка, и тот лишний круг, который мы сделали из-за нее, наверное, нас и спасли.

Мы развернулись, проехали обратно до поворота на другой проселок, который должен был вывести нас, судя по карте, на большак. По этому большаку до Чаус оставалось бы уже всего километров двенадцать. Так, по крайней мере, показывала карта.

Проскочили маленькую деревеньку и стали подниматься по косогору. За косогором проселок выходил на большак. Еще поднимаясь, я заметил, что справа вдаль, на большаке, видны густые клубы пыли. Это было похоже на колонну машин или танков. Я сказал Трошкину, что, по-моему, там идет что-то вроде танков. Он тоже поглядел в ту сторону.

— Нет, это так, вестер пыль завивает.

Завивает так завивает! У нас у всех еще не выветрилась глупая привычка — из боязни, чтобы тебя не сочли трусом, отказываться от споров на такие темы.

Боровков газанул, мы перевалили через бугор и выскочили к большаку. Как раз в эту минуту я сидел, уткнувшись в карту,

проверяя, сколько осталось нам ехать до Чаус, а когда поднял глаза, то увидел, что по дороге, к которой мы выехали, в ста метрах от нас по направлению к Чаусам идут четыре немецких танка.

Боровков тормознул, и мы все молча, не выскакивая из машины, смотрели на то, как проходят мимо нас эти танки. То ли им не было дела до нас, то ли они в этой пылице нас не заметили, но они проскочили мимо нас совсем близко на полном ходу. Через минуту было видно только пыль, клубами крутившуюся за ними.

Мы вылезли из «пикапа», и у нас началась мало подходившая к обстановке дискуссия, куда и как ехать: выждать здесь, попробовать поехать на Чаусы какой-нибудь другой дорогой или возвращаться в Могилев? Было даже предложено ехать по большаку вслед за танками, потому что они, может быть, все-таки не немецкие, а наши. Танки были, совершенно очевидно, немецкие, но их присутствие здесь, около штаба армии, все еще не укладывалось в сознании. Дискуссия, наверно, продолжалась бы еще долго, если бы я, заметив вдалеке новые клубы пыли на дороге, вдруг неожиданно для себя не заорал, что я тут старший по званию, приказываю всем сесть в машину, развернуться и ехать. Мы развернулись, отъехали с километр, до деревеньки, и поставили машину за дом. Трошкин полез на крышу наблюдать за дорогой, а мы остались внизу. Через несколько минут он крикнул мне сверху, что по дороге на Чаусы прошло еще четыре танка.

На проселке, по которому мы только что проехали, показалась женщина. Она шла со стороны большака, должно быть, мы не заметили ее, когда обгоняли. Мы остановили ее, и она сказала нам, что еще раньше по большаку прошло много танков.

— А сколько?

— А кто их знает. Около дюжины. Что же нам делать-то, родные?

Но мы сами готовы были обратиться к ней с тем же вопросом.

Подъехала полупторка. В ней были пять красноармейцев и какой-то артиллерийский капитан, ехавший в Чаусы к начальнику артиллерии армии. Мы остановили полупторку и рассказали капитану о танках. Дальше решили ехать вместе, двумя машинами и, разложив пятисотку, стали смотреть, какая еще есть дорога на Чаусы, кроме того большака, по которому только что прошли танки. Впереди двинулся грузовик, как более проходимая машина, позади «пикап». Карта была моя, и я сел в кабину грузовика, а капитан перелез в кузов.

Мы решили свернуть с проселка, перебраться через наполовину пересохший ручей и по пахотному полю, а потом через

лес выехать сначала на другой проселок, а потом на третий, который должен был нас кружным путем привести к Чаусам. Ехали мы этим кружным путем километров восемь. Справа от нас с большака время от времени слышались выстрелы и появилось несколько дымных столбов. Мы гадали, что это: подожженные танки или подожженные дома?

Потом вдруг уже слева от нас раздалось несколько оружейных выстрелов и пулеметные очереди. В это время, выехав из одного леса, мы пересекли мелкий кустарник, чтобы добраться до следующего леса, за которым, судя по карте, опять начиналась дорога. Едва мы въехали в этот лесок, как навстречу нам показались два молодых парня, поддерживавших третьего. Он был ранен в плечо и в руку. Мы дали ребятам индивидуальный пакет, и, перевязывая товарища, они рассказали нам о только что случившемся с ними.

Они были из истребительного отряда. Им сказали, что по дороге идут два немецких танка, и они с бутылками с зажигательной смесью вчетвером легли в кюветы. Но оказалось, что танков было не два, а, по их словам, около двадцати. И когда ребята увидели эту приближающуюся к ним по проселку колонну немецких танков и, не выдержав этого зрелища, бросились из своих кюветов в лес, передний танк обстрелял их из пулемета. Одного убил, а вот этого, второго, которого они привели сюда, ранил.

Мы спросили, где это было.

— Километрах в полутора отсюда, — сказали ребята. — Теперь одни из них там крутятся на дороге и жгут деревню, а другие дальше пошли.

Они торопились отвести раненого, и мы расстались с ними. То, что теперь оружейная стрельба доносилась и справа и слева, доказывало, что немцы, очевидно, идут к Чаусам с двух сторон. Нам стало еще тревожнее, чем раньше. В крайнем случае, конечно, можно было бы бросить машины и пробираться пешком, но этого не хотелось делать. Мы поставили машины под деревьями. Трошкин с одним красноармейцем из команды артиллерийского капитана пошел в ближайшую деревеньку на разведку, а мы остались ждать.

У капитана оказалось несколько гранат, и он раздал их нам. Ждали мы минут сорок. Вдруг слева от нас в лесу, очевидно, на лесной дороге или просеке, не отмеченной на карте, прогрехотали один за другим два танка.

Невидимые за деревьями танки прошли совсем близко. Капитан разнервничался и стал кричать, что мы отправили разведчиков, дав им срок полчасика, а их нет уже целый час,

что я как хочу, а он поедет, потому что если мы еще будем ждать здесь, то к Чаусам уже не прорвемся и он не выполнит приказаний. Я спросил его: а как же быть с людьми, ушедшими в разведку? Он ответил, что, раз прокашлялись сверх данного им срока, пусть сами и выбирают.

Кто его знает, может быть, по букве закона он был и прав, но у меня что-то подкатило к горлу, и я сказал ему, что он может ехать со своей машиной, а я буду ждать столько, сколько придется, и что о своем красноармейце он может не беспокоиться — мы его возьмем с собой.

Капитан в ответ на это приказал своим бойцам сесть в машину, но машину не трогал, сидел на борту в выжидательной позе. Наверное, его все-таки заела совесть.

Так мы просидели молча еще минут двадцать, пока не вернулись Трошкин и красноармеец. Они сказали, что танки проскочили дальше в лес, а с пригорка видно, как горят вдоль большака деревни.

Решив все-таки проехать на Чаусы, мы сели на машины и поехали дальше так же, как ехали перед этим: я в кабине грузовика. Миновали еще несколько лесочков. В одном из них встретили машину, которая, оказывается, недавно выехала из Чаус. Сидевшие в ней сказали нам, что там, в Чаусах, слышны были только отдаленные выстрелы и, лишь выехав оттуда, они увидели, что кругом стоит над дорогами дым. Но танков они не встретили.

Мы поехали дальше. Наконец, выскочив из лесочка на открытое место, мы увидели впереди речку, мост через нее, а за ним Чаусы. По той слабо наезженной колее, по которой мы выехали, до моста оставалось метров триста, когда, поглядев направо и налево, мы увидели, что по двум дорогам, справа и слева от нас сходящимся к мосту, движутся танки. Мы рванули к мосту, решив проскочить во что бы то ни стало. Влетели на мост с разгона, пронеслись через него, и сразу же сзади начались дикая пулеметная трескотня и разрывы снарядов. Чуть отставший от нашего грузовика «пикап» с ребятами проскочил через мост уже под свист осколков.

Немцы стреляли с ходу, больше для наведения паники, чем прицельно, поэтому все и обошлось для нас благополучно. Мы петляли по улицам Чаус, объезжали загроздившие их подводы и машины. Нам надо было скорее пересечь город и выбраться на другую его сторону, где, как мы знали, где-то в двух или трех километрах, в роще возле Чаус, был расположен штаб армии.

В городе была паника, люди выскакивали из домов. Из окон летели вещи, чемоданы лежали прямо на дороге. И эту па-

пику нетрудно было понять, если представить себе, что за полчаса до этого здесь считали, что фронт еще по ту сторону Днепра, за Могилевом, что город находится в глубоком армейском тылу.

Над городом рвались снаряды. Сзади, у моста, что-то горело.

Петляя по улицам Чаус, мы потеряли шедший за нами «пикап» и на своем грузовике первыми добрались до штабной рощицы. Грузовик пришлось остановить на опушке — дальше не пустили. Встретив какого-то полковника, я сказал ему, что я корреспондент «Известий», что мы видели немецкие танки, идущие от Могилева к Чаусам, и что необходимо об этом как можно скорее доложить. Он сказал, что командный пункт в пятистах метрах отсюда, в глубине рощи, и мы вместе побежали туда.

Я прибежал на командный пункт, задыхаясь от быстрого бега. В кустарнике на скамеечке у стола сидели генерал-лейтенант, еще один генерал — авиационный — и несколько командиров. Как мне потом сказали, этот генерал-лейтенант не то в этот день, не то накануне принял командование армией от ее прежнего раненого командующего.

Я доложил, что видел танки. Очевидно, то, что я так запыхался, не внушало ко мне доверия. Меня слушали иронически. Хотя кругом и чувствовалась некоторая нервозность, но все-таки здесь не представляли себе всего, что происходит. Я настаивал на своем и, развернув карту, показал, где мы видели танки. Тогда генерал-лейтенант спросил у меня:

— Сколько танков?

Я сказал, что своими глазами видел восемь, но что на самом деле, судя по стрельбе и по тому, что говорило население, их гораздо больше.

— А у страха глаза велики? — спросил меня генерал-лейтенант и стал выяснять все-таки, что я видел — танки или танкетки. Кто-то из его окружающих сказал, что это не могут быть танки, что это могут быть только танкетки.

В этом сомнении было неверие в то, что немцы прорвались, и желание считать все это парашютными десантами. Я настаивал на том, что это средние танки и что я в этом твердо уверен, потому что два дня назад под Могилевом разглядывал их во всех подробностях. Меня отпустили и начали принимать меры. В чем они выражались, не знаю. Последующие события показали, что либо серьезных мер так и не было принято, либо под руками не было средств, чтобы принять такие меры.

Со стороны Чаус стало слышно, как там начали стрелять наши орудия. Пока я шел назад по роще к опушке, кругом все уже закопошилось. Кто-то кричал о бутылках с зажигательной смесью, о комендантской роте и еще что-то в том же духе. Выйдя

на опушку, я не нашел там ни грузовика, ни капитана, но зато, к своей большой радости, увидел «пикап» и своих товарищей. Стали решать, что делать дальше. С одной стороны, вроде бы нам надо было немедленно возвращаться в редакцию, ехать на Кричев, Рославль, а оттуда на Смоленск, но, с другой стороны, в сложившейся обстановке это бы походило на бегство, и мы решили зайти к начальству.

Через десять минут здесь же, в роще, в политотделе нас встретил высокий бригадный комиссар с орденом Красного Знамени на груди, который внимательно выслушал нас, посоветовал перекусить перед дорогой и ехать в редакцию не прямо через Кричев, а по кружной дороге на Чериков; по ней еще с утра начал перебираться второй эшелон штаба армии. Он сказал нам, что мы, очевидно, еще нагоним этот второй эшелон в дороге.

Из того, что второй эшелон штаба эвакуировался еще с утра, я понял, что здесь уже имели сведения о переправе немцев через Днепр, но, очевидно, не представляли себе реальной быстроты их движения.

В политотделе мы встретили кинооператора и его помощника, прпехавших сюда, в 13-ю армию, вчера из штаба фронта. Они по секрету сообщили нам, что еще позавчера штаб и политуправление фронта, а стало быть, и редакция «Красноармейской правды» выехали из Смоленска под Вязьму, на станцию Касня.

Мы еще не представляли себе всего, что с этим было связано, но само известие было для нас тяжелым ударом. Такой скачок штаба фронта из Смоленска в Вязьму — целых двести километров! Вязьма в нашем представлении тех дней это была уже почти Москва. Мы совершенно не понимали, что, как и почему. Но от самого факта, что штаб фронта переместился из-под Смоленска под Вязьму, стало скверно на душе.

Мы стали паськоро закусывать тут же, рядом, у палатки политотдела, как вдруг обнаружилось, что Боровков, переезжая в роще с одного места на другое и перекладывая вещи в «пикапе», повесил винтовку на сучок и там се и оставил. Мне пришлось пойти вместе с ним за этой винтовкой, чтобы его одного кто-нибудь не задержал.

Вернувшись, я застал такую сцену: перед бригадным комиссаром у палатки стоял низенький толстеющий человек. Бригадный, не повышая голоса, спокойно и жестко говорил ему:

— В другое время вас бы просто следовало расстрелять, сейчас мне не до этого. Но разговаривать с вами я не хочу. Сначала найдите вашу часть, от которой вы бежали.

— Я не бежал, — лепетал низенький.

— Нет, бежали! Покажите мне, где ваша часть. А в следующий раз, если я увижу вас без вашей части, я вас расстреляю. Вы должны кровью загладить свою вину перед Родиной!

Низенький вытянулся и стал говорить какие-то слова о том, что он клянется, что он загладит, что он понимает, что Родина... и все это заллетающимся языком. Бригадный брезгливо сказал ему:

— Идите.

Уходя, этот человек, видимо поняв, что избавился от непосредственной опасности, уже немного окрепшим напоследок голосом, сказал, что он найдет свою часть, что он оправдает, что он умрет, но сделает и так далее...

Когда он ушел, бригадный повернулся к нам и спросил:

— А вы все еще здесь?

Мы сказали ему, что сейчас уезжаем. Боровков уже крутил заводную ручку, кто-то из нас уже полез в кузов, кто-то открыл дверцу кабины, и вдруг в роще совсем близко одна за другой стали рваться мины. Это было совершенно неожиданно, потому что весь предыдущий час были успокоительные сведения, что немецкие танки задержаны у реки, что им не удалось переправиться через мост в Чаусы и что они стали обходить реку далеко влево и вправо, очевидно, в поисках бродов. Последние полчаса даже не слышалось стрельбы, и паника поемногу начала стихать. И вдруг эти разрывы.

Мы легли на землю. Рощица была небольшая и редкая — кусты да деревца. Поблизости ни окопов, ни щелей. И вот по этой рощице в течение пятнадцати минут непрерывно били мины, как потом нам сказали, установленные немцами патанках, и орудия. Люди лежали, упав плашмя на землю, прижимаясь головами к тонким стволам деревьев, как будто они могли от чего-то защититься.

Потом обстрел прекратился. Роща зашевелилась. Ломая сучья, из-под деревьев выезжали машины. Наш «пикап» был уже заведен. Мотор так и работал с тех пор, как Боровков вместе с нами бросился на землю. Мы сели в «пикап» и выехали по лесной тропке на дорогу, шедшую к Черикову. Дорога сначала шла вдоль рощи, и едва мы вывернулись на опушку, как на повороте за «пикап» ухватился какой-то человек и стал вприпрыжку бежать за нами, держась за борт машины. У него было ошалелое лицо, настолько искаженное страхом, что я с трудом узнал в нем того самого человека, который только что давал клятвы бригадному комиссару. Он кричал, чтобы мы его взяли, что ему не на чем ехать, что он должен ехать, что ему приказали что-то передать во второй эшелон. Не знаю, чем бы

это копчилось, по оп вдруг заметил, что какая-то «эмочка» перегоняет нас, отцепился от «пикапа» и вскочил на ее подножку.

Стрельба не возобновлялась. Мы поехали по опушке, потом вдоль реки к какому-то мосту.

Это был не тот мост, через который мы переправлялись, подвезкая к Чаусам, а другой — с другой стороны города и, кажется, через другую реку.

Мы ехали по верху спускавшихся к реке холмов. Ехали совершенно спокойно, и нам начинало казаться, что все это еще утрясется. Вдруг Трошкин толкнул меня в бок.

— Смотри.

Прямо под нами, между нами и рекой, по отлогим скатам длинного холма, по гребню которого мы ехали, снизу вверх, перпендикулярно к нам, похожие на игрушечные, аккуратные, как на картинке, поднимались десятка полтора немецких танков. Как они оказались здесь, с этой стороны города, почему их раньше никто не заметил, до сих пор не знаю. Может быть, устроив ложную панику с той стороны города, они воспользовались этим и обошли его, кто их знает, но теперь, вечером, поднимаясь вверх от спокойно текущей реки, на холм, по которому мы ехали, в двухстах метрах от нас ползли немецкие танки с аккуратными интервалами, как на параде.

Боровков рванул «пикап», мы полетели по косогорам, срезая углы дороги, и наконец выскочили вниз, к мосту.

Но оказалось, что мост не то взорван, не то разобран и по нему невозможно переехать на машине. Решив, что через эту реку, наверное, есть еще какой-нибудь мост — не может его не быть, — мы теперь, когда танки остались позади, уже помедленнее поехали вдоль реки.

Наконец мост действительно нашелся. Это был какой-то временный мостик, сбитый из бревен, лежащих прямо на воде. Мы проехали по ним, как по ксилофону, окуная колеса в воду, и наконец выбрались на тот берег.

Боровков остановил «пикап» и, сняв с пояса фляжку, долго пил, пока не выпил всю до дна. Потом сзади нас вдруг снова начался грохот. Била артиллерия, стреляли минометы. Над Чаусами поднимались пламя и дым. Что там произошло в эти часы, кто оттуда выбрался, кто нет, так и не знаю.

За нашей спиной горели Чаусы, а нам нужно было ехать не в Смоленск, из которого мы уезжали всего какую-нибудь неделю назад, а уже в Вязьму. Настроение было самое отвратительное. Мы въехали в лес и уже в темноте нагнали на лесной дороге медленно двигавшиеся автомобильные колонны второго эшелона армии. Первый час проталкиванием нашего «пикапа»

занимался Трошкин, потом он сел в кузов и заснул, и остальное время перед машиной шел я. Боровков минутами засыпал от усталости за рулем. Ему досталось за эти дни больше всех.

Хорошо помню эту ночь. Далеко сзади, пад Чаусами, виднелось высокое зарево и слышались глухие артиллерийские выстрелы. Лес был высокий и темный, дорога узкая, машины ехало много, проталкиваться среди них было трудно, а стоять надоедало. Так мы и ехали всю ночь, а вернее, если говорить обо мне, шли.

Многое я в ту ночь перебрал в памяти и передумал. У меня было ощущение усталости и какого-то отупения. За последнее время пришлось пройти через столько неожиданностей и разочарований, что, казалось, уже нечему было удивляться.

В Чериков мы приехали на рассвете, а оттуда немедленно двинулись на Рославль. Рославль был непохож на тот, каким мы его оставили неделю назад. Было тревожно. Чувствовалось, что если тут и не представляют себе всех обстоятельств происходящего, то слухи сюда уже докатываются.

Облегчало душевное состояние воспоминание о полке Кутепова, о том, что у нас люди все-таки умеют драться, и еще, пожалуй, собственное ощущение, что везем с собой нужный материал для газеты, что хотя бы в этом отношении поездка была педаром.

Мы остановились в Рославле, чтобы решить, как ехать дальше. Нам казалось, что происходит отступление, что штаб фронта по каким-то соображениям переехал поглубже в тыл, но представить себе, что немцы в Смоленске, который казался нам еще недавно неприступным городом — мы видели, как его укрепляли, — этого представить себе мы не могли. Поэтому вопрос о том, какой дорогой ехать на Вязьму, был для нас в тот момент чисто житейским. Казалось, что можно ехать и через Юхнов, а можно ехать и через Смоленск.

Смоленск привлекал тем, что хотелось там побриться, а может, даже на скорую руку помыться в бане. Кроме того, мы надеялись, что найдем в Смоленске кого-нибудь из нашей редакции — может быть, в Вязьму уехала только часть штаба и политотдела, только вторые эшелоны.

В общем, мы поехали на Смоленск.

Сначала дорога была довольно пустынная, но потом мы начали встречаться с шедшими нам навстречу грузовиками, с бредущими по шоссе беженцами и многочисленными стадами. Чем ближе мы подъезжали к Смоленску, тем двигавшийся нам навстречу поток становился все гуще. Мы несколько раз останавливались и расспрашивали, что там, в Смоленске, но никто нам не мог толком ответить. Военные были не из самого Смоленска, а из разных пунктов к востоку от него, а гражданские

тоже шли не из Смоленска, а из окрестных районов. Они эвакуировались на восток под влиянием слухов, что немец идет, но откуда он идет и докуда он дошел, было им неизвестно.

Мы проехали еще несколько километров и натолкнулись на огромные стада, заполнившие всю дорогу. Скота гнали столько, что дальше мы уже ехали со скоростью два-три километра в час, ныряя на своем «пикапе» среди голов и рогов. Проехав еще несколько километров, остановились, поставили машину на обочине и стали совещаться.

Хотя мы по-прежнему не верили, что немцы могут быть в Смоленске, и нам казалось обидным возвращаться в Рославль, всего сорок километров не доехав до Смоленска, но двигаться вперед, пробиваясь через эти сплошные стада, тоже было бесполезно. Мы не добрались бы до Смоленска и к ночи.

Наши сомнения окончательно разрешил какой-то саперный капитан, ехавший — а вернее сказать, ползший — на машине среди этих стад со стороны Смоленска. В ответ на наш вопрос он сказал, что двигаться дальше бессмысленно — в двадцати километрах от Смоленска дорога закрыта для движения и спешно минируется. Мы повернули.

У нас ушло еще два часа, чтобы пробиться сквозь стада назад, к Рославлю. Когда мы въехали туда, там была воздушная тревога. Над городом кружили немецкие самолеты. Потом они, облетев город, стали, пикируя, обстреливать что-то невидимое нам за его окраиной. На городской площади, несмотря на воздушную тревогу, продолжали обучаться ружейным приемам мобилизованные. Кучки их, еще без оружия, в гражданском платье, стояли у военного комиссариата и у других зданий, где размещались мобилизационные пункты.

Развернув карту, мы решили ехать по шоссе до Юхнова, а оттуда свернуть проселками на Вязьму. На выезде из Рославля нас задержали и проверили документы.

Был жаркий летний день. За Рославлем дорога на восток была совершенно мирная. По сторонам виднелись деревни, и ровно ничто не напоминало о войне. Известия о прорыве немцев сюда еще не дошли, и никто не мог еще себе представить, что через несколько дней эти места станут ближайшим фронтовым тылом.

Было тягостное ощущение от несоответствия между тем, что мы видели в последние дни, и этой мирной, ничего не подозревающей сельской тишиной.

Несколько последних суток прошло у нас в непрерывном движении, и нам некогда было подумать, сообразить, нам нужно было только ехать, пробиваться, снова ехать, соединяться со своими, двигаться с места на место. Теперь, когда мы ехали по

спокойной шоссе-дороге, когда был летний жаркий тихий день и Трошкин и Кригер по очереди сменяли за рулем засыпавшего от усталости Боровкова, мы вдруг почувствовали и то, как мы устали за эти дни, и через эту усталость самое главное: почувствовали, что произошло какое-то большое несчастье. Только теперь, заново начав думать о том, что значит переход штаба фронта из Смоленска в Вязьму, мы заколебались: может быть, и Смоленск взят? А ведь еще так недавно о Смоленске не было и разговора, говорили только о Минске, считалось, что фронт где-то там.

Все эти мысли одна за другой привели меня в такое тяжелое настроение, в каком я, кажется, еще никогда не был.казалось, что немцы прут, прут и будут переть вперед. И непонятно, когда же их остановят?

Было тревожное чувство: неужели они придут сюда? И чувство острой жалости и любви ко всему, находившемуся здесь: к этим деревенским избам, к женщинам, к детям, играющим около шоссе, к траве, к березам, ко всему русскому, мирному, что нас окружало и чему недолго оставалось быть таким, каким оно было сегодня...

Мы ехали и молчали. Долго-долго молчали. Потом у нас от долгой езды в такую жару перегрелся наш старенький мотор, и мы километров через семьдесят после Рославля вынуждены были остановиться и ждать, когда он остынет.

Мы вылезли из «пикапа», и Паша Трошкин сказал:

— Ребята, а ведь выбрались, а?

Но это было сказано устало и без всякой радости. Нас не радовало то, что мы выбрались. Хотелось только поскорее добраться до Вязьмы и там, в Вязьме, хоть что-то понять. Понять то, чего мы еще не понимали.

Трошкин поставил нас у «пикапа» и несколько раз подряд снял таких, какими мы были в тот день,—усталых, небритых и, как мне тогда казалось, вдруг, всего за несколько дней, постаревших.

Мы снова поехали. По дороге, чтобы хоть как-нибудь на минуту забыть обо всем том, что нас мучило, я стал читать ребятам стихи, сначала чужие, а потом и свои, написанные перед самой войной. Стихи им понравились, но из-за одного, самого последнего, написанного утром 22-го, когда я еще не знал о войне — «Я, верно, был упрямей всех, не слушал клеветы и не считал по пальцам тех, кто звал тебя на «ты», — Петр Иванович Белявский заспорил с Женей Кригером. Белявский говорил, что эти стихи не есть результат внутреннего убеждения, а только попытка как-то для самого себя оправдать то положение, в которое я попал в своей личной жизни. Кригер спорил

с этим, а я молчал. Молчал не потому, что мне не хотелось спорить, а потому, что странным казался самый этот спор о стихах здесь, па этой дороге, после всего, что мы видели. По сравнению со всем, что произошло с нами и происходило кругом, мне казалось таким бесконечно неважным, был ли я упрямей всех и слушал ли я клевету, и вообще казалось, что я никогда не буду писать ни таких, ни вообще никаких стихов.

Потом слева от дороги пошли места, где, оказывается, Петр Иванович Белявский провел свою юность. Он ударился в лирику, стал вспоминать, как он здесь неподалеку учительствовал в школе, какая это была школа, кто здесь жил, с кем он был знаком. Он говорил обо всем этом растроганно, сам немножко умиляясь, но мне за этой настойчивостью воспоминаний, растянувшихся на добрых сорок километров, почудилось не только действительное желание вспомнить все это, сколько необходимость вспомнить сейчас о чем-то другом, давнем, а не о вчерашнем и не о сегодняшнем.

Мы свернули с шоссе и проселками поехали на Вязьму. Дорога сначала шла через лес, потом спустилась к реке. Мы переехали мост и остановились. Было уже часов пять дня. Жара понемногу спадала, река была спокойная, тихая, и вдруг мы поняли, а вернее, вспомнили, что ведь можно искупаться. Эта мысль поразила нас. Влезть в эту тихую воду, купаться... Вода была теплая, речка мелкая, в самых глубоких местах по грудь. Мы долго мылись случайно завалявшимся в «пикапе» кусочком мыла и только теперь увидели, до чего пропылились.

Аккуратный Боровков, идя купаться, накрыл «пикап» брезентом, и когда мы поднялись на берег, то увидели, что наш «пикап» окружило целое стадо коров. Они приподняли брезент и мордами тыкались в наши винтовки и каски. А одна пролезла головой в кабину и интересовалась баранкой.

Мы проехали дальше и слева от дороги увидели снижающийся за лесом ТБ-3. Где-то в этом районе был аэродром полка ночных бомбардировщиков. Еще до отъезда в Могилев мы слышали о нем в штабе фронта. Говорили, что этот полк в последнее время великолепно работал по ночам, почти не имея потерь. Секрет успеха, если верить истребителям, подшучивавшим над «ночниками», заключался в том, что немецкие зенитки с их автоматическим опережением были рассчитаны на более скоростные типы самолетов, а ТБ-3 со своей тихоходностью ночью становился как бы на якорь над целью. Стоял на якоре и плевался бомбами. Отплывает и уйдет. А зенитки все время бьют не по нему, а впереди него.

Увидев над лесом ТБ-3, мы сразу вспомнили об этих раз-

говорах. Разговоры были веселые, но у меня, как и всегда, когда я снова где-нибудь вижу эти большие, тяжелые, очень надежные и очень тихходные машины, мелькнуло щмящее воспоминание о Бобруйском шоссе.

Мы ехали мимо лесных деревень. На улицах было много народу. Женщины провожали уходивших на войну парней. Мы сначала думали сразу же в этот день доехать до Касни, где, по нашим сведениям, стоял штаб фронта, но, пока добирались проселками, уже стемнело, и мы, благоразумно решив, что почью в лесу, тем более без штабного пропуска, все равно ничего не найдем, двинулись прямо на Вязьму.

Наш малешкий опыт уже подсказал нам, что след фронтовой или армейской газеты почти всегда можно найти в ближайшей типографии, и мы разыскали ее на ночных, абсолютно черных вяземских улицах. Действительно, наша «Красноармейская правда» печаталась здесь. Но в типографии ночью был только один человек — дежурный, которого мы почти не знали. Перекинувшись с ним несколькими словами, мы, усталые, повалились там же, в наборном цеху, на пол и проспали как убитые до шести утра...

На этом месте, на приезде в Вязьму, которым закончилась наша командировка под Могилев, остановлюсь, чтобы рассказать, как выглядела в действительности обстановка, в которой нам так трудно было тогда разобраться.

Во второй половине дня 14 июля, когда под Могилевом мы еще раз встретились с комиссаром 61-го корпуса, посоветовавшим нам ехать в Чаусы, 29-я мотодивизия немцев после прорыва северней Могилева уже подошла передовыми частями к Смоленску, а их 10-я танковая дивизия, повернув на юго-восток, была не только в тылу штаба корпуса, но уже глубоко обошла находившийся в Чаусах штаб нашей 13-й армии.

Немецкие части, прорвавшиеся южнее Могилева, тоже продвигались вперед, и дорога Могилев — Чаусы была уже перехвачена частями 3-й танковой дивизии немцев.

Полной ясности, что происходит в этом районе, не было ни у нас, ни у немцев. Во всяком случае, на отчетной карте немецкого генерального штаба с вечерней обстановкой на 13 июля Могилев показан уже захваченным немцами. То есть, когда мы приехали в Могилев в полк Кутепова, в немецкой ставке уже считали, что с Могилевом покончено.

В наших переговорных лентах за тот же день — 13 июля — сохранился текст сообщения, полученного штабом фронта: «...район Могилев. Положение не совсем ясное, делегат еще не прибыл... Могилев в наших руках...»

В сохранившейся оперативной сводке штаба 13-й армии за 14-е число сказано: «Армия продолжала упорные бои на Шкловско-Быховском направлении по уничтожению противника и восстановлению положения на восточном берегу реки Днепр... 61-й корпус продолжает бой...»

В немецкой сводке группы армий «Центр» за то же 14-е число указывается, что в то время, как «29-я дивизия в 10.00 достигла западной окраины Смоленска», «45-й армейский корпус продолжает бои с упорно сопротивляющимся противником в районе Могилев».

Очень показательна одна фраза в этой же сводке: «Упадка боевого духа в русской армии пока еще не наблюдается».

Если местность под Могилевом, где мы были в полку Кутепова, запомнилась мне во всех подробностях и я точно восстановил в памяти, где что было, не могу сказать этого о Чаусах. Попав в эти места теперь, я долго не мог разобраться, откуда мы тогда, в сорок первом, приехали в Чаусы. С той стороны, с какой, мне по памяти казалось, тогда был мост через реку, его теперь не было, а с той стороны Чаус, где теперь стоял мост, мы вроде бы тогда не могли приехать — получался уж слишком кружной путь! Впрочем, возможно, именно так оно и было: по дороге из Могилева мы от деревни к деревне забирали все больше в объезд и в конце концов подъехали к Чаусам совсем с другой стороны.

По архивным данным видно, что немецкие танки неожиданно подошли к Чаусам и к штабу армии 15-го в 5 часов вечера. В документах штаба Западного фронта есть записка, посланная из 13-й армии: «На подступах к Чаусы завязался бой с танками. 17 часов 17.VII с. г. Связь с корпусом прервана. Начальник штаба Петрушевский».

Примерно в это время или чуть раньше я и прибежал, захватившись, на командный пункт 13-й армии и доложил о том, что видел, генерал-лейтенанту Герасименко, который лишь накануне вступил в командование армией.

Надо сказать, что 13-й армии в те дни вообще не везло: 8 июля, возвращаясь к себе из штаба фронта, командующий 13-й армией генерал-лейтенант Филатов был обстрелян на дороге «мессершмиттами» и смертельно ранен. В командование армией вступил генерал-лейтенант Ремезов. Выехав вперед в войска, он по дороге наскочил на прорвавшихся немцев, тоже был тяжело ранен, и 14 июля его сменил Герасименко. В разгар немецкого наступления он оказался третьим командующим за неделю.

Коротко скажу о судьбах некоторых участников событий тех дней под Чаусами.

Генерал-лейтенант Федор Никитович Ремезов, который еще командовал 13-й армией, когда мы ехали в нее, уже был ранен, когда мы приехали. Не успев долечиться после тяжелых ранений, он вышел из госпиталя и принял войска Северо-Кавказского военного округа. С его именем было связано одно из первых в истории войны сообщений: «В последний час» за 28 ноября 1941 года. «Части Ростовского фронта наших войск под командованием генерала Ремезова, переправившись через Дон, ворвались на южную окраину Ростова» — первое известие о нашем первом контрударе под Ростовом.

Интересное совпадение: генерал-лейтенант Василий Филиппович Герасименко, сменивший тогда, в июле сорок первого года, раненого Ремезова на посту командующего 13-й армией, упоминается в сводках Информбюро тоже в связи с освобождением нами Ростова, но уже в 1943 году: «Сегодня, 14 февраля, сломав упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону. В боях за Ростов отличились войска генерал-лейтенанта товарища Герасименко В. Ф.».

Член Военного совета 13-й армии бригадный комиссар Порфирий Сергеевич Фурт, с которым мы встретились в лесу под Чаусами, впоследствии, когда был отменен институт комиссаров, перешел на строевую работу и воевал, командуя сначала 112-й, а затем 4-й стрелковой дивизией.

Александр Васильевич Петрушевский, начальник штаба 13-й армии в июле 1941 года, по-прежнему оставался на этой должности и в июле 1943-го, когда 13-я армия сыграла главную роль в отражении удара немцев на северном участке Курской дуги, под Понырями и Малоархангельском. К тому времени армией командовал генерал-полковник Николай Павлович Пухов. Во главе с ним она и закончила войну 9 мая 1945 года, вслед за танкистами Рыбалко и Лелюшенко ворвавшись в Прагу.

Возвращаюсь к дневнику.

...В шесть утра вместе с отдежурившим выпускающим мы поехали из типографии в редакцию, в Касню. Там нас уже считали в пети, в окружении и тревожились. А в Москве, в «Известиях», как я уже потом узнал, кто-то даже додумался сказать моей матери, пришедшей туда спросить, нет ли чего-нибудь от меня, чтобы она готовилась к худшему.

Вместо двух-трех суток, как мы собиравлись, мы отсутствовали втрое больше, а такая задержка в те времена могла означать что угодно.

Как только мы приехали в Касню, я немедленно сел, а вер-

ней, лег за работу и к шести часам вечера сделал две статьи — для фронтовой газеты и для «Известий».

Наш «пикап» едва дышал после этой поездки и нуждался в ремонте, так что ехать в Москву была двойная причина — и пригнать мою машину, и отремонтировать за сутки «пикап». Трошкин решил тоже поехать со мной, чтобы там, в Москве, самому проявить и напечатать свои снимки.

Редактор подтвердил свое разрешение и приказал выписать документы. Мы с Трошкиным решили, не откладывая в долгий ящик, ехать в Москву немедленно — вечером. До полной темноты выбраться на Минское шоссе, гнать всю ночь, к утру быть в Москве, пробыть там день и ночь и на следующее утро выехать обратно в Вязьму.

Вечером мы с Трошкиным и Боровковым двинулись; наши полевые сумки были набиты несколькими десятками писем...

Из Каспи мы выбрались на шоссе какими-то долгими объездами. Всюду стояли сигнальщики. Во многих местах не пускали, потому что окрестности Вязьмы и подходы к шоссе минировались. По всему было заметно, что здесь считаются с возможностью приближения немцев.

Когда мы выехали на Минское шоссе, я вдруг почувствовал, как близко от фронта, прямо за плечами Москва, как нас крепко и тесно прижало к ней: всего один ночной перегон на старой, разболтанной машине — и мы будем в Москве.

Минское шоссе, широкое и прямое, за этот месяц оказалось уже довольно сильно разбитым и местами было просто в ухабах. Была абсолютно черная, безлунная ночь. Боровков, измучившийся за предыдущую поездку, почти не успел поспать днем — приводил в порядок «пикап», чтобы дотянул до Москвы. А навстречу нам неслись без фар черные, видные только за десять шагов, бесконечные грузовики со снарядами ящиками. То и дело казалось, что они налетят на нас и сшибут. Мы с Трошкиным решили, сменяясь, всю дорогу стоять, открыв дверцу, на крыле «пикапа». Через ветровое стекло совсем ничего не было видно, а так можно было хоть что-то разобрать метров за двадцать.

Еще не так давно мы ночью проезжали по Минскому шоссе с подфарниками и маскировочными сетками на них и считали это вполне нормальным. Но сейчас на шоссе была другая атмосфера, да и у нас самих было другое отношение к этому. Увидев впереди на шоссе слабые отблески света, мы догнали и остановили какую-то машину, ехавшую с подфарниками и сеткой, и, угрожая пистолетами, заставили ехавших в машине людей развинтить фары и вынуть лампочки. В обстановке этой тревожной, совершенно черной дороги нам искренне казалось, что каждый мелькнувший ку-

сочек света может вызвать бомбежку. Это было, конечно, неверно, но и неудивительно — слишком много за этот месяц все хлебнули горя от беспрерывно летавшей над дорогами немецкой авиации.

Так мы и ехали, пока не начало светать, сменяя друг друга на подпошке «пикапа»...

Несколько слов о Павле Ивановиче Боровкове.

Поездка под Могилев была моим последним совместным фронтowym путешествием с водителем нашего «пикапа». Пожалуй, в дневнике я был не совсем справедлив к нему. По молодости лет мне тогда больше бросались в глаза его недостатки — некоторая опасливость при движении по неизвестной дороге, особенно в сторону противника, и порой излишняя быстрота реакций при гуде самолетов. В общем, Павел Иванович, несомненно, был человеком более осмотрительным и осторожным, чем некоторые из нас, и это казалось мне тогда его большим грехом. Но я не написал в дневнике о другой, куда более важной стороне характера нашего водителя. Он нервничал при бомбежках и обстрелах, но был непоколебим в своем отношении к вверенной ему машине. Он считал, что, раз он за рулем, машина должна нас вывезти откуда угодно. И хотя в последние дни машина ломалась, скрипела и корежилась, хотя то одно, то другое выходило из строя и ему пришлось подпирать сосновым колом готовый вывалиться мотор и привязывать на крышку «пикапа» банку с бензином, чтоб он шел самотеком, Боровков ни на минуту не допускал мысли, что можно оставить где-то эту еле дышавшую машину и добираться пешком. Он был великолепным шофером, непоколебимо верившим в себя и в доверенную ему технику, и кто знает, может быть, именно это в конце концов и дало возможность Трошкину сказать: «Ребята, а ведь выбрались, а?»

Не так давно я видел Павла Ивановича Боровкова, сейчас уже немолодого и больного человека — война недешево досталась ему. В разговоре со мной он вспоминал о гибели своего тезки Павла Трошкина, нашего попутчика по могилевской поездке. Трошкин погиб в 1944 году по дороге ко Львову от руки нападавших на машины бандеровцев. Проскочить не удалось — в машине что-то заело; Трошкин вылез из нее и отстреливался из автомата, лежа рядом на шоссе. Об этом потом рассказывал один его спасшийся спутник. И когда Боровков вспоминал о гибели Трошкина и словно искал при этом, что можно было бы сделать, чтобы Трошкин не погиб, я чувствовал за всем этим явно подуманное, хотя и не высказанное словами: «Со мной бы ехал — не заело бы...»

Командировочное удостоверение, которое мне выдал тогда, в июле, для поездки в Москву полковой комиссар Миронов, у меня не сохранилось. Но в старом блокноте, в том же, где все записи о Могилеве, есть написанный моей рукой черновик: «Тов. Симонов К. М. и тов. Трошкин П. А. командированы в Москву для выполнения срочного задания редакции «Красноармейской правды». Срок командировки с 18 по 20 июля 1941 г.». И еще черновик другой бумаги: «Редакция фронтовой газеты «Красноармейская правда» поручает тов. Симонову К. М. доставку поступающей в распоряжение редакции автомашины №... из Москвы в адрес редакции «Красноармейской правды».

В этом же блокноте на последней странице обрывочные записи, свидетельствующие о количестве поручений, которые я должен был выполнить в Москве:

«Все в порядке. Пусть сообщат Нине и передадут мне, как и что».

«Алеша был болен, сейчас здоров».

«Писем пока не будет. Переходит в другую газету».

«Вручить письмо, и чтобы дали адрес семьи. Если есть связь с женой, переслать ей побольше денег».

«Едем в Калугу, а дальше не знаю куда».

«Марк жив. Все в порядке».

«Рассказать происшедшую историю, пусть передадут письма».

«Узнать по всем отделам, нет ли корреспонденции».

Такому-то — папиросы.

Такому-то — табак.

Такому-то — тоже табак.

Такому-то — привезти конверты и марки.

Такому-то — заверить доверенность.

Зайти в партком и сказать о таком-то...

В блокноте фамилии, имена и отчества, адреса, телефоны — десятки телефонов. Может быть, покажется странным, что я вдруг решил напомнить об этих записях, но в них тоже частица времени. Я ведь первым из всех моих товарищей ехал в Москву. Письма на фронт еще не доходили. Полевая почта не то еще не работала, не то мы еще не привыкли ею пользоваться...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Сурков дал нам с Трошкиным поручение: по дороге в Москву заехать на минуту во Внуково, завезти жившим там на даче родителям его жены письмо и сказать, что видели его живым и здоровым.

Как мы ни торопились в Москву, но во Внуково все-таки заехали. Было раннее утро. Тихая дача в лесу. Старики притащили нам таз с крупной клубникой и просили нас, если мы сумеем, заехать на обратном пути и отвезти зятю в Касню плетеночку этой клубники. Посидев у них пять минут, мы поехали дальше, в Москву.

Было раннее утро, и Москва казалась опустевшей. Мы с Трошкиным проехали прямо в редакцию «Известий». Я оставил там статью, пообещав привезти еще одну, а Трошкин пошел про-являть пленки. Едва ли ошибусь, если скажу, что мы с ним, пожалуй, были первыми газетчиками, приехавшими с Западного фронта в Москву.

В эти сутки, что мы пробыли в Москве, нам выпала трудная задача — отвечать на десятки вопросов, на которые мы иногда не знали, что отвечать, а иногда знали, но не имели права, потому что здесь все-таки совсем не представляли себе того, что делалось на фронте. Даже отдаленно не представляли. Нас спрашивали, взят ли Минск, взят ли Борисов, правда ли, что немцы с палета взяли Смоленск и в нескольких местах переправились через Днепр и продолжают наступать. Но, еще подъезжая к Москве, мы дали друг другу слово держать язык за зубами, не говорить лишнего и, кажется, сдержали это слово.

Ответив в редакции на первые поспешные вопросы и пробыв там минут двадцать, я поехал повидаться с близкими.

День был сумасшедший. Я отвечал на бесчисленные вопросы, писал для «Известий» еще одну статью, потом дописывал что-то, сидя в редакции, был у родителей, ездил договариваться насчет машины. В «Известиях» решили, что лучше будет, если я сдам им свой «фордик», а они вместо него в дополнение к «пикапу» дадут в наше пользование редакционную «эмку». К завтрашнему утру она должна была быть подготовлена и выкрашена маскировочные цвета. Кроме того, было решено для пользы дела вырезать у нее середину крыши и вместо нее на барашках закрепить скатывающийся в трубку брезент. Учитывая предыдущий опыт, решили сделать это, чтобы быстрее передвигаться, не чувствовать себя в мышеловке и не выскакивать каждый раз, услышав самолеты, а, скатав этот брезент, на ходу наблюдать за воздуш-

Я узнал, что Ортенберг назначен редактором «Красной звезды». Накануне своего отъезда на фронт я встретил его в коридоре ПУРа, когда шел за командировочным предписанием, сказал ему, что если его назначат в одну из военных газет, чтобы он забрал меня к себе. По старой памяти о Халхин-Голе, где он редактировал нашу «Героическую Красноармейскую», мне хотелось работать с ним и в эту войну.

В «Красную звезду» к нему я попал вечером. Когда я вошел, он встал из-за стола и сказал:

— А, Симонов! — таким тоном, словно он именно меня сейчас и ждал. — Ты получил мои телеграммы?

Я спросил какие.

— Я послал тебе две телеграммы в «Боевое знамя».

Я сказал ему, что хотя и был первоначально назначен в эту армейскую газету, но так и не знаю, где она находится, и никаких его телеграмм не получал.

— А чего ты приехал с фронта?

Я объяснил.

— Хорошо, — сказал он. — А я тебе уже третью телеграмму собирался посылать от имени Мехлиса. Теперь у нас в «Звезде» будешь работать.

Я сказал ему — и вполне искренне, — что был бы рад работать с ним, но я работаю во фронтовой газете и в «Известиях».

— Ничего, — сказал он. — Из фронтовой мы переведем тебя к нам приказом, а «Известия»... Я тебе позвоню ночью. Давай телефон.

Я не дал ему телефона, по которому он мог бы мне позвонить ночью, и сказал, что лучше сам позвоню утром.

Я вышел от него в большом сомнении. Была уже заварена каша с «Известиями», получено от них постоянное корреспондентское удостоверение на Западный фронт, и уходить оттуда было не совсем удобно...

Я так и не решился в тот вечер и в ту ночь рассказать близким мне людям всю правду о пережитом на фронте.

Заснул поздно ночью, и, как мне показалось, всего через несколько минут меня разбудили. Звонил телефон. Оказывается, была уже не ночь, а половина седьмого утра.

— С вами говорит заместитель редактора «Красной звезды» полковой комиссар Шифрин. Выслушайте приказ заместителя народного комиссара: «Интендант второго ранга писатель Симонов К. М. 20.VII.41 назначается специальным корреспондентом газеты «Красная звезда». А теперь, — продолжал Шифрин, — бригадный комиссар Ортенберг приказал вам спать, сегодня никуда не ехать, а завтра, в понедельник, к одиннадцати часам явиться в редакцию.

Я так ничего и не успел сказать, не успел даже удивиться, как меня разыскали, трубка была уже повешена.

Я оделся, сел на трамвай и поехал в «Красную звезду». Оказалось, что Ортенберг еще у Мехлиса. Значит, он приказал разыскивать меня, еще сидя там, в ПУРе.

Вскоре он явился и сказал, что первые две недели я буду сидеть в Москве, что я нужен пока здесь, в редакции, а потом поеду на фронт по его усмотрению. Тщетно я старался объяснить ему всю невозможность для меня остаться сейчас в Москве, несмотря на все мое желание работать в «Красной звезде».

— Ничего,— сказал он,— теперь ты наш работник. С «Известиями» мы уладим, а с «Красноармейской правдой» уже все сделано. Я дал в политуправление фронта телеграмму, что ты работаешь у нас, а не у них.

В общем, я в душе был рад переходу в «Красную звезду», по у меня все равно оставалось чувство, что я не могу сейчас задержаться в Москве и должен возвратиться в Вязьму именно сегодня, как обещал. Зная характер Ортенберга, я использовал единственный козырь: попросту сказал ему, что если я сегодня же не вернусь на фронт, то меня сочтут за труса. Он полминуты подумал и сказал:

— Хорошо, поезжай. И чтобы тебе не было неудобно с «Известиями», в эту поездку можешь так: мне делай стихи, а им прозу. Срок поездки — неделя, а потом целиком наш и никаких поблажек!

Мне оставалось подчиниться. Предписание было выписано немедленно.

Поскольку мне в эту поездку еще дано было право писать в «Известия», я смалодушничал и ничего не сказал там, решив отложить этот неприятный для меня разговор до возвращения.

Машина была готова. В газете был напечатан мой подвал о полке Кутепова «Горячий день» и во всю полосу — панорама разбитых танков, снятых Трошкиным. Это были первые материалы такого типа, и я испытал удовлетворение начинающего газетчика, видя, как у витрин с газетами стояли толпы народа...

Здесь я снова оторвусь от текста дневника.

Судя по нему, выходит, что мы с Трошкиным приехали в Москву 19-го и уехали обратно в Вязьму 20 июля. Всюду, где это возможно, восстанавливая по документам даты, я вижу, что па самом деле наш приезд в Москву и возвращение в Вязьму в точности совпадает с тем черновиком командировочного предписания, который я нашел в своем блокноте: «С 18 по 20 июля». Сэкономив полсуток, мы выехали из Вязьмы с этой командировкой на руках в ночь с 17-го на 18-е. 18-го утром были в Москве и, проведя там два дня, вернулись в Вязьму 20-го.

В дневнике эти двое суток, проведенных в Москве, превратились в одни. Все это было так скоротечно, что, очевидно, уже через полгода показалось всего-навсего одними сутками.

Очевидно, в «Красную звезду» к Ортенбергу я пришел не в первый вечер своего приезда в Москву, а на второй, уже когда в «Известиях» появились две мои первые корреспонденции и первые снимки Трошкина. Наверное, это и подогрело решимость редактора «Красной звезды» забрать меня к себе.

Свою третью корреспонденцию, «Горячий день», я написал уже в Москве 19-го, и она появилась в «Известиях» 20-го, в день нашего возвращения на фронт. Под первыми двумя стояло: «Действующая армия, 18 июля»; под третьей: «Действующая армия, 19 июля», — хотя на самом деле, как это видно из дневника, события, описанные в этих корреспонденциях, происходили 13 и 14 июля. Но в то время такая максимально приближенная к дню публикации датировка была общим явлением. Я проверил это, прочитав номера всех центральных газет за 19 июля 1941 года. Буквально всюду под всеми корреспонденциями из действующей армии стоит дата: 18 июля.

Можно понять положение редакций в те дни: материалы поступали скупо, доставлялись с великим трудом, порой с риском для жизни, а сам характер материалов с пометкой «Действующая армия», как правило, был таков, что смещение дат не играло особой роли. В корреспонденциях с фронта не было попыток изобразить общий ход событий, а рассказы о боях не были связаны с конкретными географическими пунктами. Наоборот, три публикации в целях сохранения военной тайны изымалось все, что хоть ненароком могло бы дать представление о том, где это происходило.

В моей корреспонденции «Горячий день», к примеру, было жазано, что «полк, которым командует полковник Кутепов, уже много дней обороняет город Д.». Перечитывая ее сейчас, я вижу, что ни одна деталь не указывала в пей на то, что речь идет о боях за Могилев.

А в опубликованном в тот же день в «Красной звезде» «Письме с фронта», присланном корреспондентами «Красной звезды» писателями Борисом Лапиным и Захаром Хацревиным, называвшемся «На N-ском направлении», не было и намека на то, что речь идет об одной из наших контратак на дальних подступах к Киеву.

Из корреспонденций, напечатанных в наших газетах 19 июля пометкой «Действующая армия», было видно, что мы на всех фронтах обороняемся, что оборона носит упорный характер и опровергается контратаками. Естественное в ту тяжелую пору стремление каждого из нас не пропустить ни одной попытки контрудара, когда на газетных листах все наши материалы сходились вместе, создавало у читателей ощущение куда большего

числа наносимых нами контрударов, чем было на деле. И все же в этих корреспонденциях содержалась та объективная истина, что активность нашей обороны вопреки ожиданиям немцев не падает, а растет.

Наиболее далекие от реальности выводы могли в те дни свываться у читателей газет с материалами, посвященными нашей авиации. Из всех родов войск наша авиация в начале войны оказалась в наиболее тяжелом положении, и рассказать в Москве о том, что я видел в воздухе над Бобруйским шоссе, я не мог даже самым близким людям, даже матери, сознавая, какой силы душевное потрясение я обрушу на нее, все еще продолжавшую жить довоенными представлениями.

Для того чтобы понять всю трудность нашего с Трошкиным положения первых военных корреспондентов, приехавших в Москву и вынужденных отвечать на сотни вопросов, надо сопоставить некоторые документы того времени.

В сообщении Информбюро, опубликованном 19 июля, было среди прочего сказано о продолжающихся оборонительных боях на Смоленском и Бобруйском направлениях. В общей форме это соответствовало истине, особенно в отношении Смоленска. Наши войска именно в это время пытались отбить город у немцев.

Но в представлении тех, кто расспрашивал нас в Москве, все это выглядело совсем по-другому, чем было в действительности. И я не мог рассказать им ни того, что мы еще два дня назад не попали в Смоленск, потому что в него уже ворвались немцы, ни тем более того, что еще двадцать дней назад немцы переправились у Бобруйска через Березину.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за 19 июля говорилось, что 172-я дивизия, о действиях которой я в этот день писал в Москве свой очерк, продолжает удерживать Могилев и «плацдарм западнее Могилева... ведя бои в окружении». Полковник Кутепов продолжал драться там же, где я был у него пять дней назад. Но я не имел права рассказывать родным и знакомым ни о форсировании немцами верхнего течения Днепра, о котором еще не было сказано в газетах, ни о немецких тапках, прорвавшихся к штабу нашей армии в Чаусах, в пятидесяти километрах восточнее Могилева.

Почти все, чему мы были свидетелями, так или иначе еще считалось к 19 июля военной тайной, и я не берусь теперь судить, где тут в каждом отдельном случае была тогда грань между верными и запоздалыми представлениями о том, что действительно являлось и что уже не являлось тайной.

Если взять для примера Смоленск, то при тех военно-исторических аналогиях, которые были связаны со Смоленском как

ключом к Москве, задним числом можно попятить нежелание широко публиковать сообщение о его потере в те дни, когда мы еще надеялись его вернуть.

А такая надежда и в Ставке, и на Западном фронте продолжала существовать. Как свидетельствуют документы, части 16-й армии, которой тогда командовал генерал М. Ф. Лукин, как раз в эти дни выбили немцев из северной части города и только 28 июля окончательно оставили окраину Смоленска. Известие о потере нами Смоленска было опубликовано в сообщении Информбюро только 13 августа. Но следует помнить, что почти весь этот последующий период был связан с ожесточенными боями в районе Смоленска, конец которых и немецкие военные историки датируют только пятым — восьмым числами августа.

Не только мы, но и немцы называют этот период Смоленским сражением, подчеркивая его важное значение в ходе всей летней кампании 1941 года. «Журнал боевых действий войск Западного фронта» за 19 июля дает полную реальную противоречивую картину того, как в этот день выглядело начавшееся несколькими сутками раньше Смоленское сражение. В записях за этот день мы видим и меру наших неудач, и меру наших упорных и яростных усилий остановить и отбросить немцев — словом, все то, о чем Сталин за день до этого, 18 июля, счел нужным написать в своем первом личном послании Черчиллю: «Может быть, излишне будет сообщить Вам, что положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным».

Из экономии места, не прибегая в данном случае к прямому цитированию «Журнала боевых действий», я попробую дать обзор содержащихся в нем наиболее характерных данных за 19 июля.

В «Журнале» сказано, что в районе Невеля и Великих Лук немцы ведут бои на окружение правофланговых частей нашей 22-й армии и что, успешно обороняясь на своем правом фланге, 22-я армия в центре и на левом фланге уже ведет бои в окружении, прорываясь на Невель.

О 51-м стрелковом корпусе этой армии сказано, что он ведет бои в окружении с превосходящими силами противника.

О 19-й армии сказано, что в течение дня отдельные ее части продолжают вести бои в районе Смоленска и что одновременно продолжается сбор одиночных людей и подразделений армии в районе Дорогобужа и Вязьмы.

О 20-й армии сказано, что она произвела перегруппировку и отход частей на новый оборонительный рубеж.

О 5-м механизированном корпусе, входившем в состав 20-й армии, сказано, что он отошел и сосредоточился на северном берегу Днепра.

О 13-й и 4-й армиях сказано, что они ведут бои на Могилевском направлении отдельными очагами в окружении, стремясь на некоторых участках восстановить положение.

О 45-м стрелковом корпусе 13-й армии сказано, что сохранившееся управление этого корпуса и рота охраны штаба брошены на розыск и формирование отходящих с запада частей.

Так выглядят сгруппированные вместе сведения с разных участков Западного фронта, говорящие о прорывах и выходах из окружений, о розыске, сборе и формировании заново частей и о прочих невеселых вещах.

Но «Журнал боевых действий» за 19 июля состоит отнюдь не только из этого. В нем есть и другие сведения, носящие иной характер.

Остатки 179-й стрелковой дивизии западнее Великих Лук подбили пятнадцать немецких танков.

3-я и 4-я танковые дивизии Гудериана, действующие на Могилевском направлении, приостановили свое продвижение вследствие сопротивления наших войск.

73-я немецкая танковая дивизия, понеся большие потери во время боя под Ярцевом, перешла к обороне.

18-я немецкая танковая дивизия приостановила свое продвижение, наткнувшись в районе Ельни на противотанковый район.

129-я дивизия 16-й армии в течение ночи вела бой за Смоленск и к 8 часам утра овладела северо-западной частью города и аэродрома.

Была отбита атака противника в районе Кричева.

Была отбита контратака немцев в районе Рогачева и Жлобина.

21-я армия, хотя и медленно, продолжала наступать на Бобруйск.

144-я стрелковая дивизия 20-й армии с боем овладела Рудней, но под давлением противника отошла в исходное положение.

Группа генерал-майора Рокоссовского после артподготовки атаковала немцев, занимавших сильный противотанковый район северо-западнее Ярцева.

4-й воздушно-десантный корпус наступал с целью восстановить положение на реке Сож.

Так группируются в том же «Журнале боевых действий» за тот же день сведения, говорящие о наших и немецких атаках и контратаках, а главное, о том упорстве, с которым мы дрались на Западном фронте после стремительного прорыва немцев к Смоленску.

Наши оперативные документы даже при тех неточностях, ко-

которые в них проникали из-за неясностей в обстановке и обрывов связи, в общем, рисовали истинное положение на фронте.

И именно этот драматический, но честный самоотчет теперь, спустя много лет, вызывает глубокое уважение к стойкости нашей армии и к ее упорным усилиям остановить немцев.

Признание и этой стойкости, и масштаба этих усилий так или иначе содержится и во многих послевоенных работах наших противников. Говоря о первых разногласиях среди высшего военного руководства германской армии, Типпельскирх пишет, что «от танковых клингов на основании опыта войны в Европе ожидали гораздо больших результатов. Русские держались с неожиданной твердостью и упорством, даже когда их обходили и окружали. Этим они выигрывали время и стягивали для контрударов из глубины страны все новые резервы, которые к тому же были сильнее, чем это предполагалось».

В этом и многих других послевоенных признаниях немецких генералов, конечно, играет роль и такой психологический фактор, как последующий разгром германской армии на том же Восточном фронте. Генералы армии, которая в начале войны имела основания считать себя сильнейшей армией мира, а потом была все-таки разгромлена нами, поставили бы себя в ложное положение, не признав в той или иной форме силу своего будущего победителя даже в период его первых поражений.

Однако не следует объяснять эти оценки лишь психологическим фактором, появившимся после поражения германской армии. Первые такие оценки, носящие на себе отпечаток объективной истины, относятся уже к июлю 1941 года. Если еще 8 июля Браухич и Гальдер докладывали Гитлеру, что из 164 известных им русских стрелковых соединений 89 уничтожены и только 46 боеспособны, то уже 23 июля Гитлер заявил Браухичу, что «в условиях упорного сопротивления противника и решительности его руководства от операций с постановкой отдельных целей следует отказаться до тех пор, пока противник располагает достаточными силами для контрудара».

Между двумя этими цитатами, датированными одна восьмым, другая двадцать третьим июля, как раз и лежит первый этап ожесточенного Смоленского сражения, ход и итоги которого породили первые разногласия в германском верховном командовании.

Если посмотреть, как в этот взятый мною для обозрения день 19 июля 1941 года писали о сражениях на Восточном фронте американские и английские газеты, мы увидим, что наиболее серьезные из них оценивали происходящие события довольно объективно.

«Нью-Йорк таймс» от 19 июля 1941 года вышла с заголовком на половину первой страницы: «Русские признают, что их вооруженные силы отступили у Смоленска, но контратакуют противника».

В том же номере в сообщении своего корреспондента из Берлина (мы иногда невольно смещаем события во времени и забываем, что тогда, в июле сорок первого, Америка еще не воевала с Германией) «Нью-Йорк таймс» писала, что «ввиду преобладающей силы германских резервов, брошенных с целью обеспечения захвата Смоленска, русские войска в северной части треугольника Витебск — Смоленск — Орша осуществляют упорядоченное отступление, ведя арьергардные бои...», и добавляла, что «германские колонны, движущиеся в направлении Ленинграда, остановлены».

Лондонская «Таймс» за 19 июля вышла с заголовком: «Немцы претендуют на захват Смоленска».

В тексте корреспонденции указывалось, что «германские силы на главных направлениях к Ленинграду и Москве не дошли дальше секторов Псков и Смоленск, откуда сообщают о тяжелых боях... Во вчерашнем специальном сообщении германского командования утверждается, что Смоленск был захвачен в пятницу и что русские попытки отбить город не имели успеха».

Военный корреспондент «Таймс» писал об «уменьшающейся скорости немецкого наступления» и подчеркивал при этом, что «с русской стороны не видно недостатка в уверенности».

Эта же мысль проходила и через редакционную статью «Таймс». В ней говорилось, что «русские армии повсеместно оказывают сопротивление» и что в России «нет никаких признаков краха на военном или политическом фронте, на что, должно быть, рассчитывал Гитлер».

А теперь об ощущении, которое возникает у меня сейчас при чтении материалов о работе нашего тыла, напечатанных у нас в газетах в тот же день, 19 июля.

Их общий тон — деловой и твердый, за ним стоит сознание тяжести сложившейся на фронте обстановки.

Передовая «Известий» начинается со слов Ленина о том, что «побеждает на войне тот, у кого больше резервов, больше источников силы, больше выдержки в народной толще». В том же номере печатается заметка из Красноярска: женщины начинают совмещать профессии.

«Правда» печатает заметку о том, что жены металлургов осваивают эту тяжелую, неженскую профессию, и другую заметку — о рабочих, по полутора суток не выходивших из цеха, чтоб сдать срочный заказ, третью — о первых группах школьни-

ков, пошедших изучать трактор, чтобы работать в поле вместо ушедших на фронт трактористов. Из Тбилиси пишут, что жены командиров пришли на производство. Заметка из Свердловска озаглавлена: «Экономить каждую крупицу металла». Заметка из Харькова: «С максимальным результатом расходовать сырье».

В нескольких газетах помещены статьи об использовании местных ресурсов и о работе местной промышленности. Эти статьи, так же как и статья об уборке хлеба на Украине, свидетельствуют о стремлении всеми ресурсами, которые остались у нас в руках, возместить то, что мы уже потеряли в результате наступления немцев.

Читая все это сейчас, я невольно вспомнил строки из песни, которая, едва появившись, сразу стала в нашем сознании как бы вторым гимном военного времени: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Так, в сущности, оно и было: вся огромная страна, постепенно осознавая всю меру нависшей над ней опасности, вставала на этот действительно смертный бой.

И, несмотря на порой неприемлемые для нас сейчас оттенки фразеологии тех лет, связанные с понятием культа личности, а точнее говоря — культа непогрешимости этой личности, на страницах газет проступало величие того времени, полную меру которого, может быть, до конца ощущаешь лишь теперь.

Это величие присутствовало и в тех телеграммах из-за границы, которые были опубликованы на страницах наших газет за один только день — 19 июля.

«От имени всеобщего рабочего союза. Прими привет от испанского пролетариата. Ваше дело является нашим делом. Да здравствует Красная Армия!» — писали испанцы.

«Строительные рабочие Лондона выражают восхищение храбростью Красной Армии. Обязуемся оказать всевозможную поддержку. Настаиваем на полнейшем выполнении обещаний, сделанных нашим правительством. Уверены в полной победе над фашизмом».

Сообщение о митинге народов Британской империи, на котором выступали представители Индии и Западной Африки, Кипра, Бирмы, Вест-Индии: «Мы убеждены в победе советского народа, которая будет общей победой народов всего мира».

Резолюция собрания словаков, чехов и сербов, проживающих в США в районе Питсбурга: «Дело освобождения Югославии, Чехословакии зависит от успехов Красной Армии».

Манифест Конфедерации рабочих Мексики: «В связи со зверским нападением фашистов на СССР Конфедерация призывает мексиканский народ создать общенациональный фронт для достижения полного поражения режимов Германии и Муссолини».

Конечно, к этому дню мы имели в мире не только друзей, но и врагов. Немало оставалось и людей, просто-напросто равнодушных к тому, что происходило в тот день на окровавленных полях России. И в разных газетах мира публиковались и мнения наших врагов, и мнения равнодушных, и было бы паивно думать иначе только потому, что все это не попадало и не могло попасть в тот день на страницы наших газет, газет воюющей страны.

Но то, что печаталось в них, говорило о масштабах потрясения, вызванного во всем мире небывалой по размаху и беспощадности войной между фашистской Германией и Советским Союзом. И потрясение это было не только взрывом сочувствия к нам, но и вспышкой веры в то, что, несмотря на неудачное для нас начало войны, отныне вопрос стоит не только о жизни и смерти Советского Союза, но и о жизни и смерти фашистской империи Гитлера.

Так выглядели наши газеты за 19 июля 1941 года.

Вернусь к дневнику.

...К двенадцати часам дня закончился ремонт «пикапа», и мы выехали. «Пикап» до Вязьмы вел Боровков, а «эмку» — второй известинский водитель, Михаил Панков, впоследствии раненный на Западном фронте.

На дороге были пробки, объезды, и мы добрались до Вязьмы только к ночи. Встретив там в типографии дозванивавшихся до Москвы Кригера и Белявского, в Касню уже не поехали, а все четверо остались ночевать в Вязьме, в маленьком домике рядом с типографией, у работников газеты 24-й армии.

Прежде чем лечь спать, мы просидели полночи. Кроме нас, были милый умный человек — редактор газеты полковой комиссар Ильин, еще один работник из их редакции и корректорша — славная, хорошенькая девушка Женя. Выпили все, что привезли с собой из Москвы. Потом я долго читал стихи. Вязьму в эту ночь довольно сильно бомбили, но мы не вылезали из комнаты. Потом шумел самовар и мы пили чай. Остаток ночи мы с Пашей Трошкиным проспали вдвоем на койке и в восемь часов утра поехали в Касню, в редакцию...

Первую себя, чтобы вспомнить стихи, написанные два года спустя под впечатлением этой ночи:

Я помню в Вязьме старый дом.
Одну лишь ночь мы жили в нем.
Мы ели то, что бог послал,
И пили, что шофер достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.
Кто был в ту ночь, иных уж нет.
Но знаю я, что в смертный час
За тем столом он вспомнил пас...

В бой чуть свет мы тогда, в тот день, не уезжали, по почти вся война была еще впереди и не все из сидевших в ту ночь за тем столом дожили до конца ее.

„Приехав в Каспю, мы не застали там Суркова. Он уехал под Великие Луки, и, как потом оказалось, ему там повезло — удалось побывать в одном из первых городов, сначала попавших в руки немцев, а потом, через два дня, отбитых нами. В редакции были заняты тем, что на всякий случай устраивали круговую оборону, копали окопы и щели.

Следующий день мы ездили вокруг Вязьмы, были на окрестных аэродромах и в небольшом лагере для военнопленных в трех километрах за городом, в старых бараках, обнесенных колючей проволокой. Немцев там было человек полтора. Тех, с кем мне надо было разговаривать, выпускали на улицу, и мы там беседовали с ними, сидя за врытым в землю столом.

Большинство пленных — около ста человек — было взято разом во время рейда какой-то нашей части по немецким тылам. Это была большая автомобильная колонна, шедшая позади первых эшелонов танков и пехоты и слабо вооруженная. Половину ее в течение нескольких минут перебили, а половину взяли в плен.

У этих пленных первых месяцев войны главным чувством было непритворное удивление, что они попали к нам в плен. Им это казалось чем-то невероятным, какой-то обидной случайностью. И они удивлялись этому до нахальства. Во всем этом чувствовалась долгая предварительная обработка. Они воспитывались в сознании, что если война с Россией произойдет, то произойдет молниеносно и победно.

Легкие успехи, с которыми были связаны все предыдущие победы Германии в этой войне, сами по себе уже развращали людей. А вдобавок именно на описании и подчеркивании всех этих успехов строилось все воспитание немецких солдат. Сейчас, на десятый месяц войны, даже не читая ни немецкой прессы, ни немецкой пропагандистской литературы, лишь на основании простых сопоставлений собственных разговоров с пленными теперь и тогда, в начале войны, можно понять, какой огромный и вынужденный перелом в системе воспитания солдат произошел в немецкой пропаганде. Теперь ей приходится переучивать их и отношению к врагу, и отношению к срокам войны, и — это самое

главное — отношению к смерти; в первое время русской кампании смерть объявлялась случайной возможностью, а сейчас о ней говорится как о вероятности.

Хорошо помню тот свой разговор с немцами в лагере под Вязьмой. Вот они сидят передо мной за столом, эти тыловики. Среди них несколько ветеранов первой мировой войны, а несколько совсем мальчишек. Я спрашиваю их, хотели ли они этой войны. Говорят, что не хотели. Этому я легко могу поверить. Спрашиваю, почему же они начали войну. Отвечают: потому, что русские сначала обещали пропустить немецкие войска в Иран, когда немецкие войска вошли на русскую территорию, то русские на них напали. Другие просто говорят, что Советский Союз первый напал на Германию. В этом, видимо, звучат отголоски ранних приемов пропаганды.

Один из пленных вызвал у меня острый приступ ненависти. У меня было какое-то мальчишеское чувство сожаления, что его допрашиваю, а он мне отвечает и что все это происходит здесь и сейчас, в лагере военнопленных, а не десять лет назад где-нибудь на перемене на школьном дворе. С каким наслаждением услышав тогда то, что он мне говорил сейчас, я расквасил б его наглуую физиономию!

Это был нахальный голубоглазый парень, фельдфебель сбитого самолета. Он не показался мне ни глупым, ни ничтожным, но он был человеком, чьи суждения, мнения, представления, размышления раз навсегда замкнуты в один навсегда установившийся круг, из которого наружу не вылезает ничего — ни одна мысль, ни одно чувство. В пределах этого круга он размышлял. То есть был даже изворотлив. Он не говорил, что Россия напала на Германию. Он говорил, что Германия сама напала. Но напала потому, что она точно знала — Россия через десять дней нападет на нее. В пределах этого круга он был образован. То есть читал несколько стихотворений Гете и Шиллера, читал «Майн кампф» и был вполне грамотен. В пределах этого круга он был не лишен чувств. То есть чувства патриотизма, товарищества и так далее.

Но все, что выходило за пределы этого круга, его не интересовало. Он не знал этого. Не хотел и не умел знать. Словом, это была отличная машина, приспособленная для того, чтобы наилучшим образом убивать людей.

А больше всего меня бесило в нем то, что он явно принимал наше мягкое обращение с ним за признак нашей слабости и трусости. В его мозгу не умещалось, как можно быть мягкосердечным не от слабости, человеколюбивым не от трусости и доброты не по расчету. В системе воспитания, через которую он прошел об этом ничего не было сказано.

Из разговора с этим фельдфебелем, да и с другими пленными чувствовалось, что, во-первых, они твердо рассчитывают на то, что война кончится через месяц, и считают себя здесь, в плену, недолгими гостями, и что, во-вторых, они думают, что их кормят, поят, не расстреливают и вообще по-человечески обращаются с ними только потому, что боятся мести немцев после того, как они через месяц выиграют войну и возьмут Москву.

Трошкин снял панораму выстроившихся во дворе пленных. В это время представитель 7-го отдела внутри барака разговаривал с бывшими участниками первой мировой войны, пятидесятилетними людьми. Он предложил им написать листовку, и они согласились на это без особых препирательств.

Мы уже заканчивали свои дела, когда над лагерем появились немецкие самолеты. Находившихся на дворе пленных стали загонять в помещение. Они шли туда охотно и поспешно, опасливо косясь на небо.

Вечером я сидел в Вязьме и писал очерк для «Известий». Я закончил его и вышел на улицу. Была темная ночь. Высоко в небе эшелон за эшелонам шли немецкие самолеты на Москву. Мы уже знали, что накануне ночью была бомбежка Москвы. Она казалась отсюда, из Вязьмы, чем-то гораздо более грозным и страшным, чем была на самом деле. Потом среди ночи Вязьму тоже стали бомбить. Возникло два пожара. Одна из бомб плюхнулась недалеко от типографии. Стекла тряслись. Над головой с небольшими интервалами все шли и шли самолеты на Москву.

Пятого августа 1941 года, уже после возвращения с Западного фронта, в «Красной звезде» была напечатана моя баллада «Секрет победы» с подзаголовком: «Посвящается истребителю Николаю Терехину». В балладе описывался воздушный бой нашего истребителя с тремя «юнкерсами», в котором, насколько я помню, впервые за войну был осуществлен двойной таран. В дневнике никаких подробностей об этом, кроме упоминания о поездках по аэродромам вокруг Вязьмы, не осталось, и, когда ко мне в 1965 году, в двадцатую годовщину Победы, обратились земляки Терехина с просьбой сообщить сохранившиеся у меня в памяти подробности о встрече с ним, я не смог этого сделать. За долгие годы подробности настолько изгладились из памяти, что я даже не был до конца уверен, видел ли я Терехина; быть может, я услышал о его подвиге из вторых уст.

И только теперь, разыскав блокнот, связанный с поездкой на Западный фронт между 20 и 27 июля 1941 года, я все-таки нашел там запись о Терехине:

«Старший лейтенант Терехин. Сначала сбил одного. Вышли все патроны. Таранил второго плоскостью по хвосту. Поломал только копсоль. В третьего ударил мотором в хвост. У него, когда выбрасывался, рваная рана на ноге, разбил сильно лицо. Ссадины, запухшие глаза. Ему не давали летать. Семь дней отдохнул и в первый же день после болезни, отлежавшись на аэродроме, сбил еще бомбардировщик. Когда болел, не лежал, работал помощником командира полка и летал на У-2. Случилось ему было по земле ходить. Терехин Николай Васильевич, 1916 года, из Саратовской области».

Я пишу в дневнике, что первая бомбежка Москвы казалась нам из Вязьмы чем-то гораздо более грозным и страшным, чем была на самом деле.

В одном из документов верховного главнокомандования вермахта есть запись, датированная 14 июля 1941 года, то есть перед первой бомбежкой: «Фюрер говорит о необходимости бомбардировки Москвы, чтобы нанести удар по центру большевистского сопротивления и воспрепятствовать организованной эвакуации русского правительственного аппарата». Как видно из этой записи, планы у Гитлера были далеко идущие. Само предположение, что бомбежками Москвы удастся воспрепятствовать организованной эвакуации из нее правительственного аппарата, означало надежду на такие сокрушительные удары с воздуха, которые способны парализовать жизнь огромного города и железнодорожного узла.

На деле первый налет немцев на Москву так же, как и последующие налеты в июле и августе, оказался малоуспешным. Вот что говорится в боевом донесении командования нацистского Военно-Воздушных Сил о первом налете:

«С 22 часов 25 минут 21.VII до 3.25 22.VII — 41 авиация противника совершила налет на город Москву. Налет производился четырьмя последовательными эшелонами. Всего около 200 самолетов.

Первый эшелон на подступах к Москве расчленился для бомбометания, но, будучи встречен истребительной авиацией и зенитной артиллерией, был рассеян. Только одиночными самолетами удалось прорваться к городу.

Последующие — второй и третий — эшелоны налет производили одиночными самолетами и мелкими группами, производили бомбардировку с пикирования, с горизонтального полета, с высоты 1000—3000 метров зажигательными и фугасными бомбами. Бомбометание некоторых объектов производилось при помощи световых сигналов, поданных с земли.

В районе Звенигорода и Кубинки противник сбрасывал листовки.

Истребительная авиация сделала 173 самолето-вылета. По докладам летчиков, сбито два самолета противника. По докладу частей зенитной артиллерии, сбито 17 самолетов противника. Требуется дополнительное уточнение».

Немецкие сводки и газетные сообщения, да и выпуски немецкой кинохроники, которую мне через тридцать лет после событий довелось видеть, содержавшие попытку изобразить этот первый налет на Москву как нечто в высшей степени устрашающее, были в значительной мере сфальсифицированы.

«Фелькишер беобахтер» за 23 июля 1941 года вышла с броскими заголовками: «Первый большой налет на Москву», «Мощные налеты бомбардировщиков», «У врага больше нет никакого единого руководства». Желаемое выдавалось за действительное.

Неудачи немцев во время первого и последующих налетов объяснялись тремя причинами: во-первых, недостаточностью сил, которые ими были брошены на такой огромный объект, как Москва, во-вторых, силой противовоздушной обороны Москвы, которая оказалась тем более эффективной, что немцы не представляли себе ее масштабов, и, наконец, в-третьих, тем спокойствием и решимостью, с которой население Москвы боролось с зажигательными бомбами. Эффект зажигательных бомб был рассчитан прежде всего на панику. Но эта запланированная немцами паника не состоялась.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

...Написав стихи для «Красной звезды», я передал их по телефону стенографистке в редакцию, и в середине дня мы выехали на двух машинах, «пикапе» и «эмочке», под Ельню, где действовала оперативная группа частей 24-й армии, которой командовал генерал-майор Ракутин. По дороге, в штабе 24-й армии, нам сообщили пункт, где должна была находиться оперативная группа. И мы двинулись туда.

На развилке дорог, одна из которых шла на Дорогобуж, а другая на Ельню, мы встретили в лесу штаб недавно вышедшей из окружения и пополнявшейся здесь 100-й дивизии — той самой, которая до первого июля все еще дралась в районе Минска, а потом с тяжелыми боями выходила оттуда.

Мы поговорили там в лесу с полковником, которого приняли за командира дивизии. Он сказал нам, что некоторые ее части еще продолжают выходить из окружения.

Мы решили заехать в дивизию на обратном пути и расположились на почь в лесу, чтобы завтра с утра добираться до Ракутина. Ночевали под открытым небом около своих машин. Припесли колодезной воды и устроили обычную свою трапезу из черных сухарей, масла, сахара и этой воды. Утром тронулись дальше. Вскоре после того, как тронулись, в одной из деревень купили крынку молока и стали распивать ее, стоя у машины. Вдруг оказался быстро ехавший через деревню грузовик. Грузовик остановился около нас, и сидевший в кабине военный крикнул:

— Товарищ командир, прошу сюда!

Я подошел к нему. Он спросил:

— Вы не видели частей Сотой дивизии?

Это был грузноватый, усталый, сильно небритый человек в накиннутой на плечи красноармейской шинели. Он сидел рядом с водителем. В кабине стояли винтовки. А в кузове сидело еще человек двенадцать, по-разному одетых, но все с винтовками и гранатами. Они были похожи на людей, только что вышедших из окружения.

Прежде чем ответить, где находится 100-я дивизия, я попросил у сидевшего в кабине документы. Он вытащил какой-то документ; в это время шинель его распахнулась, и я увидел под ней выгоревшие красные генеральские петлицы.

— Так вы видели или не видели Сотую дивизию? — нетерпеливо спросил он меня.

Я сказал, что да, километрах в семи отсюда в леске, у дороги, стоит штаб дивизии и мы вчера были у ее командира.

— У какого командира? — закричал генерал. — Я ее командир.

Я ответил, что мы были у полковника, который, как мы поняли, командир дивизии.

— Какой он из себя? Большой, плотный?

Я подтвердил, что действительно большой, плотный.

— Так это же мой начальник штаба. Где он? А?

Я показал направление, в котором нужно было ехать. Генерал в страшном нетерпении велел сейчас же развернуть машину и не простившись, погнал ее во всю мочь.

Как после выяснилось, это был командир 100-й дивизии генерал-майор Руссиянов, в последние дни окружения вместе с одной из групп оторвавшийся от штаба дивизии и вышедший отдельно от него и позже. По странной случайности мы оказались первыми, от кого он после выхода из окружения узнал о местопребывании своей дивизии...

Во время поездки под Ельню судьба трижды сводила нас с людьми из 100-й дивизии. Сначала мы попали в ее штаб, приняв там за командира дивизии начальника штаба полковника Груздева, затем встретили командира дивизии генерала Руссиянова, а потом, под Ельней, оказались в ее 355-м стрелковом полку. В моем дневнике обо всем этом упоминается мельком, но, работая потом в архивах, я испытал потребность привести некоторые подробности, связанные с историей дивизии.

Командир 100-й дивизии генерал-майор Руссиянов окончательно выбрался из окружения только 24 июля, в то утро, когда мы его встретили.

В «Дневнике боевых действий дивизии» записано: «24.VII—41... Прибыли генерал-майор Руссиянов и старший батальонный комиссар Фляшкин...»

Читая в архиве автобиографию генерал-лейтенанта Ивана Никитича Руссиянова, написанную после войны, которую он окончил, командуя корпусом, я наткнулся на такие строки:

«В окружении с войсками был шесть раз, в боях при отходе от Минска — 1941 г., в боях при отходе от города Лебедина — 1942 г., в боях под Павлоградом — Кировоградом. Выходил с войсками, группами, с документами и в полной генеральской форме».

Из автобиографии видно, что Руссиянов родился в 1900 году в деревне Шупки Кошинской волости Смоленского уезда, с 1916 года работал поденным рабочим, в 1919 году был призван в Красную Армию, по окончании гражданской войны в Неделю красного курсанта поступил в пехотную школу комсостава, а в мае 1941 года, перед самой войной, окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии Генерального штаба.

В этом же деле я увидел две фотографии Руссиянова. Одна парадная, предвоенная, может быть, сделанная по случаю присвоения генеральского звания: новенькие генеральские петлицы, новенький китель, аккуратный пробор, щеголеватый, подтянутый, моложавый, еще моложе своих лет.

И вторая фотография, сразу со всей остротой напомнившая мне того человека в грузовике: пыльный китель, выцветшие генеральские петлицы, постаревшее не на год, а на целых десять лет, усталое, но сильное лицо. Кто его знает, может, эта фотография была сделана сразу же тогда, после выхода из окружения, первого из шести. На этой фотографии не только лицо человека, но и лицо самой войны, такой, какой она была и какой я ее помню в июле 1941 года.

Две фотографии, одна и та же форма — и два разных человека: один — только еще готовящийся восвать, а другой — про-

шедший сквозь горнило первых дней войны, пахлебавшийся всяческого горя, сделавший все, что от него зависело... Другой... совсем другой человек...

Хочу остановиться на судьбе 100-й дивизии, потому что история ее типична для целого ряда наших воинских частей, достойно вышедших из того тяжелейшего положения, в котором они оказались.

Перед войной дивизия дислоцировалась в Минске и на третий день войны, когда ей пришлось вступить в бой, начала боевые действия далеко не в полном составе. До комплекта ее не хватало трех тысяч человек и сорока процентов транспорта, а ее разведывательный батальон не имел ни одного танка и всего несколько бронемашин. Несмотря на это, в боях в районе Минска дивизия сначала разбила 25-й немецкий танковый полк 7-й танковой дивизии, причем командир этого полка полковник Ротенбург был убит, а штабные документы полка захвачены. Потом дивизия сильно растрепала части 82-го мотострелкового полка немцев, кстати, в этих боях впервые использовав против немецких танков бутылки и стеклянные солдатские фляжки бензином.

В течение первых четырех суток боев упорно контратакуя немцев и даже продвинувшись вперед, дивизия начала отходить только на пятый день по приказу. Расчищая себе путь в двенадцатидневных боях, дивизия упорно вырывалась из кольца. Ее поредевшие части были сведены в полк и именно в таком качестве с боем вышли из окружения.

Но этим история не кончилась. Другие части дивизии, отрезанные друг от друга немцами, в последующие дни тоже с боями вырывались из кольца на разных участках фронта. В итоге к утру 21 июля, на вторые сутки после того, как дивизия вышла на отдых и стала формироваться, в ее частях было, судя по документам, уже около сорока процентов рядового, около шестидесяти процентов начальствующего состава и тридцать процентов материальной части. Уже на третий день отдыха и переформирования, как это явствует из приказа командующего 24-й армией, один из полков дивизии — 355-й — был вновь брошен в бой, а вскоре в бой вступила и вся дивизия.

В «Журнале боевых действий» 100-й дивизии за 20 июля есть любопытная запись: «Маршал Советского Союза тов. Тимошенко... в районе Дорогобужа встретил лейтенанта тов. Хаборова. Узнав от него, из какой части... сказал, что «100-я дивизия хорошо дралась, толково воюет и, если будет время, заедем посмотреть, как она сейчас устроилась. Передайте бойцам и командирам привет». Отзыв Тимошенко отражал общее мнение о

действиях 100-й дивизии, которое уже успело сложиться к тому времени на Западном фронте. Вскоре после этого она была отмечена в приказе Ставки и переименована в 1-ю гвардейскую.

Дивизия, а потом сформированный на ее базе 1-й гвардейский мехкорпус был в боях до самого конца войны. Дрались у Сталинграда, отвоевывали Допбасс, воевали под Будапештом, Секешфехерваром, Шопроном...

Уже давно так или иначе занимаясь историей войны, я, однако, раньше всерьез не соприкасался с архивными материалами и лишь теперь понял, какая бездонная глубина, еще никем до конца не изведенная, ожидает тех из нас, кто решается заглянуть в эти архивы войны.

Архивы, архивы... Начинаешь искать подтверждение какой-то своей догадки и незаметно для себя погружаешься в атмосферу того времени. Одна за другой начинают выясняться связанные с началом войны подробности; картина шаг за шагом складывается все более и более тяжелая, наконец делается совсем тяжелой, почти невыносимой... Но потом вдруг попадают первые неожиданные радости: оказывается, кто-то, кого ты уже считал давно погибшим, вышел, вернулся, прорвался или пробился через немцев... Среди горестных начинают попадаться утешительные донесения: подбили немецкие танки, захватили пленных, взяли штабные документы, убили командира немецкого полка, сожгли немецкий самолет на аэродроме... Нет, далеко не так безнаказанно они шли, далеко не так безнадежно для нас все это выглядело, как они тогда старались изобразить...

Телеграфные ленты, запросы, нагоняи, требования уточнить обстановку; после многих неудач сообщения о первых успехах, сведения о потерях врага, порой преувеличенные, и о своих потерях, порой преуменьшенные, и рядом с этим правдивейшие доклады, свидетельствующие о безбоязненной решимости во имя интересов дела рассказать все как есть, назвать вещи своими именами. Рядом с лентами телеграфных переговоров листки написанных карандашом донесений — крупным поспешным почерком, но тем не менее коротко и внятно, по-военному излагающих происходящее... И все это вместе взятое во всех своих иногда поражающих контрастах начинает воссоздавать перед твоими глазами живую картину тех дней.

Однако вернусь к дневнику.

...После встречи с генералом Руссияновым мы проехали еще через несколько деревень, через какое-то очень живописное место с заброшенной мельницей и полуразвалившимся мостом, с

вацетшей позеленевшей водой, в которую уходили сваи, тоже зеленые от старости и сырости. Казалось, что едва ли нам удастся проехать по этому мостику, но мы все-таки проехали.

В следующей деревне мы встретили части одной из московских ополченческих дивизий, кажется, 6-й. Это были по большей части немолодые люди — по сорок, по пятьдесят лет. Они шли без полковых и дивизионных тылов. Обмундирование — гимнастерки третьего срока, причем часть этих гимнастерок была какая-то синяя, крашеная. Командиры их были тоже немолодые люди, запасники, уже давно не служившие в кадрах. Эти части надо было еще учить, доформировывать, приводить в воинский вид.

Потом я был очень удивлен, когда узнал, что эта ополченческая дивизия буквально через два дня была брошена на помощь 100-й и участвовала в боях под Ельней...

Несколько слов по поводу выраженного мною в дневнике недоумения, на поверку не вполне справедливого.

Разминувшись с частями ополченцев, двигавшимися навстречу нам от Ельни к Вязьме, мы скорее всего встретили тогда действительно части 6-й ополченческой дивизии, которую за два дня до этого было приказано отвести в район Вязьмы.

Об этом было сказано в той же сводке штаба армий Резервного фронта, в которой говорилось о прорыве немцев к Ельне и Ярцеву: «6-я дивизия народного ополчения отводится в район Вязьмы, а 4-я дивизия народного ополчения отводится... в район Сычевки». Очевидно, отвод дивизий народного ополчения, которые должны были заниматься работами по укреплению оборонительного рубежа, как раз и был вызван неожиданным выходом немцев к этому рубежу. Из текста оперативной сводки следует, что командование Резервного фронта поначалу старалось вывести из-под немецкого удара эти еще не обученные части и лишь потом в связи с дальнейшим резким ухудшением обстановки все-таки бросило их в бой.

...Разминувшись с частями ополченцев, мы поехали дальше. Местность становилась все более открытой. Из последней деревеньки, через которую проехали, мы увидели поднимающиеся вдалеке холмы. В той стороне часто и монотонно била артиллерия и вставали далекие столбы разрывов.

Наконец мы доехали до того пункта, где должен был находиться Ракутин. Это был старый барский дом со службами, маленький зеленый пруд, маленькая густая рощица. Дом стоял на

открытом месте на горушке и, как единственный заметный пункт по всей окрестности, систематически подвергался огневым налетам немцев.

Едва мы подъехали, как произошел очередной такой налет. Но немцы стреляли плохо, и снаряды ложились метрах в двухстах — трехстах левее дома. Потом прошла девятка немецких самолетов; мы думали, что она будет бомбить, но она не бомбила, ушла дальше, куда-то в наш тыл.

Был жаркий летний день. Ни Ракутина, ни его опергруппы здесь не было. Распоряжался какой-то подполковник, который сказал нам, что план действий переменяли, что главный удар теперь наносится не отсюда, а по прямой дороге на Ельню, что там стоят наши КВ, что скоро, во второй половине дня, во взаимодействии с ними пойдет в атаку пехота и Ракутин час-полтора назад уехал туда. Ждали оттуда делегата связи. Считалось, что нам есть смысл поехать с ним, чтобы не плутать.

Прождали его примерно час; он так и не явился, и мы решили ехать самостоятельно.

Во время еще одного огневого налета осколки все-таки долетели до дома, и двумя осколками был ранен в спину и в ноги один из часовых. Нас попросили довести его на своей машине до медсанбата или до какого-то медпункта, о местопребывании которых, надо сказать, в те дни мало кто толком знал.

Раненый стонал, ему было худо, и мы взяли его с собой. Мы поехали к Ракутину кружным путем. Сзади виднелись ельнинские высоты в круглых дымах разрывов. Проехали одну деревню, потом вторую, но никаких признаков медсанбата не было. На одном из попавшихся нам медпунктов ни фельдшер, ни санитары не захотели взять раненого на свое попечение, говоря, что его нужно везти дальше, что мы скоро доедем до медсанбата.

Но медсанбата не было и не было, раненому делалось все хуже, и наконец мы, озлившись, насильно заставили принять его от нас на следующем медпункте. По нашим наблюдениям тех дней, когда раненые уже попадали в медсанбаты и в госпитали, медики работали там хорошо и даже героически. Но еще очень мало делалось для того, чтобы раненые могли нормально, в кратчайший срок попадать туда, в медсанбаты и в госпитали. Создавалось ощущение, что служба эвакуации не работает. По крайней мере, это было именно так там, где мы проезжали.

Часам к трем дня мы вернулись на ту самую развилку дорог, недалеко от которой ночевали. Следов пребывания 100-й дивизии там уже не было, она, очевидно, куда-то двинулась отсюда.

Мы свернули на другую дорогу, которая должна была нас вывести к предполагаемому местонахождению Ракутина, и по-

ехали по ней. Слева и справа стеной стоял лес. Через несколько километров мы проехали мимо остановившихся в пути легких танков БТ-7. Было их штук шесть. Танкисты возились, устраняя какие-то неисправности. Потом мы обогнали некоторое количество пехоты, двигавшейся в том же направлении, что и мы. Наконец, по нашим расчетам, километрах в восьми или семи от Ельни, когда впереди слышалась уже не только артиллерийская стрельба, но и далекая пулеметная, мы увидели у самой дороги две машины и группу военных.

Загнав свои машины под деревья, мы подошли к военным. Их было всего пять человек. Генерал Ракутин, дивизионный комиссар — член Военного совета и трое пограничников — капитан и два сержанта. Это и составляло собой весь полевой штаб Ракутина, который мы искали.

Я хорошо запомнил генерала. Он мне понравился. Он был совсем еще молод, на вид лет тридцати — на самом деле ему, кажется, было значительно больше, — белобрый, высокий, хорошо скроенный, в генеральском френче, с маузером через плечо и без фуражки. Фуражка и генеральская никелированная сабля лежали у него в машине.

Узнав, что мы корреспонденты, он сказал нам несколько слов об обстановке. По его мнению, так же как и по мнению всех, с кем мы говорили в те дни, Ельню захватил крупный немецкий десант — считали, что там примерно до дивизии немцев или около этого — и вокруг этого десанта сейчас смыкалось кольцо наших войск.

Ракутин предполагал, что через день-два, максимум через три десант этот удастся уничтожить. Из его слов я понял, что немецкий десант сидит в Ельне, что наши войска уже сжимают вокруг него кольцо и что все это вместе взятое — операция в ближайшем армейском тылу по ликвидации крупной десантной группы. А где-то дальше, западнее, предполагалось наличие сплошного фронта стоявших друг против друга наших и немецких войск. Видимо, тогда еще никто не знал, что Ельня занята не одной дивизией, а несколькими, и что это не десант, а прорвавшиеся части, и что они уже имеют коммуникации с основными немецкими силами.

Уже в сентябре в Севастополе, вернувшись из плавания на подводной лодке и читая накопившиеся за это время газеты, я увидел статью Ставского о занятии нами Ельни. Вот когда она была действительно взята нами, а я в июле оказался свидетелем еще самых первых боев за нее.

Ознакомив нас с обстановкой и заочно обругав усталым матом радистов, из-за которых немцы в течение сегодняшнего дня

дважды свирепо бомбили его оперативную группу, запеленговав ее местонахождение, Ракутин спросил нас: что мы думаем делать? Мы сказали, что думаем поехать в его части, а потом в части 100-й дивизии.

— Сотой дивизии? — переспросил оп. — Да, она у меня на подходе. У них большой боевой опыт, есть о чем рассказать. Ну а если в мои части, так что же, на машине вас вперед пустить не могу — разбомбят и расстреляют, придется идти пешком.

Идти отсюда несколько километров пешком и оставлять здесь машину не хотелось. Хотелось подъехать поближе. Не знаю, как бы это решилось, но вдруг Ракутин, словно что-то вспомнив, сказал нам:

— Вот капитан, — он кивнул на пограничника, — должен у меня ехать к комбригу... — Ракутин назвал какую-то странную фамилию, которую я забыл. — Плохо воюет старик. Не жмет так, как надо. Капитан к нему доверенным лицом от меня поедет. У него там самая горячка происходит — по дорогобужской дороге, на правом фланге. У меня машину разбили, так что вы даже и помочь можете. Давайте так: одна ваша машина пусть в Сотую едет, а на второй кто-нибудь из вас вместе с капитаном — к комбригу. Посмотрите, сделаете то, что вам надо, и обратно.

Мы согласились. Ракутин начал давать капитану инструкции.

А мы тем временем стали накоротке совещаться, кому ехать в 100-ю и кому в полк, к комбригу. Решили, что Кривгер и Белявский поедут на «пикапе» в 100-ю, а мы с Трошкиным — в полк. А завтра все вместе съедемся в 107-й Сибирской дивизии, о которой, рассказывая нам об обстановке, хорошо отзывался Ракутин. Она недавно провела удачный бой недалеко от Дорогобужа. Одним словом, о ней было что написать. Если же мы не встретимся в 107-й, то через два дня встретимся в Вязьме. На том и порешили.

Мы с Трошкиным посадили в свою «эмочку» капитана и тронулись. Я оглянулся. Ракутин стоял на дороге и передавал какой-то пакет сержанту. Потом сержант побежал с этим пакетом к У-2, только что прилетевшему и севшему рядом с дорогой на поле.

По контрасту со штабом 13-й армии, находившимся за много километров от фронта, в Чаусах, и, как мне показалось, имевшим слабое представление о том, где и как дерутся части армии, мне понравились этот полевой штаб Ракутина и сам он, подвижной молодой генерал-пограничник, которому, видимо, не сиделось на месте.

Проехав километра четыре, мы разминулись с Кривгером и

Белявским. Помахали друг другу и разъехались. Они двинулись дальше по дороге на Вязьму, в 100-ю, а мы с капитаном и Трошкиным свернули налево, на север, на проселок. Мы двигались по очень плохим проселочным дорогам через леса и топи. Несколько раз пришлось вытаскивать машину на руках. Но капитан хотел непременно ехать кратчайшим путем, и этот кратчайший путь, как говорится, обошелся нам в копеечку. Мы выбрались на ельнинский большак, уже когда смеркалось, километра за три от переднего края частей, осаждавших Ельню.

Трошкин ехал хмурый, как туча. Сперва по своему легкомыслию я не понял, что с ним, и стал дразнить его, что он так обленился, что даже до полка не хочет доехать. Он разозлился и вдруг стал кричать на меня: хорошо мне! Написал, и все! Хорошо, когда можно наплевать на метеорологию, на время дня и на погоду, а ему же снимать надо! А что он будет снимать, если через час будет темно, хоть глаз выколи? Ну что он будет снимать? Немного покричав на меня, он успокоился.

Выбравшись на большак, мы проехали мимо артиллерийских позиций, и километра через два нас встретил «маяк», который указал нам путь в штаб полка. Штаб этот был слева от ельнинской дороги. Проехав еще километра два полем и кустами, въехали в рощу. Там раздавалась сильная пулеметная и ружейная трескотня. Впереди, метров за восемьсот, на выходах из леса, у деревеньки — не помню, как она называлась, — атаки сменялись контратаками.

Наши минометы, расставленные в роще, таякали у нас за спиной, а немецкие минометы лупили по роще. Мы поговорили с комиссаром полка. Оказалось, что деревня на опушке леса была сначала захвачена нами, потом отбита немцами, потом опять захвачена нами, сейчас опять отбита немцами.

Настроение в полку было хорошее, бодрое. Все несчастье, как я уже потом понял, заключалось в том, что людям дана была неверная установка — на уничтожение небольшого, высадившегося здесь немецкого десанта. Поэтому люди, встречая отчаянное сопротивление немцев, отбивая их крупные контратаки, никак не могли понять, почему и как все это происходит, и злились на своих соседей, считая, что те ничего не делают и из-за этого немцы сумели сосредоточить все свои силы именно здесь, на этом участке.

Словом, насколько я понимаю, разведка была поставлена плохо. Никто, начиная от Ракутина и кончая командирами батальонов, не знал истинного положения под Ельней. Так, по крайней мере — берусь это утверждать, — было в тот день, когда мы там находились.

Передав приказание командующего и с удивлением узнав при этом, что полк от времени до времени подвергается ураганному артиллерийскому огню с той стороны, где должны были находиться наши части, капитан, встревоженный этим, заторопился назад с докладом командующему. Когда мы уже сидели с ним в машине, кто-то прибежал с донесением, что немцы обогнали полк с правого фланга и, выйдя на дорогу, ведущую от Ельни к Дорогобужу, перехватили ее.

С той стороны действительно слышалась стрельба.

Не знаю, действительно ли немцы перехватывали эту дорогу или там, на дороге, появлялась только их разведка. Во всяком случае, нам сказали, что тем проселком, которым мы сворачивали с дороги сюда, нам выезжать на дорогу нельзя, придется ехать лесом с километр назад и дальше делать объезд и выезжать на дорогу километров на шесть восточнее.

При мысли о том, что предстоит в полной тьме двигаться по совершенно неизвестной нам дороге, мы задумались и решили, что все же вряд ли там, где мы так недавно сворачивали с дороги, могут уже оказаться немцы. Решили рискнуть и ехать назад тем же путем, тем более что капитан спешил с докладом к командующему. Комиссар полка только пожал плечами.

Мы сели в машину и через двадцать пять минут благополучно выехали на большак. Стрельба слышалась слева и справа, но никаких немцев не было, и если они и перерезали дорогу, то, очевидно, где-то в другом месте.

Мы ехали беспрерывно до двух часов ночи. Как выяснилось потом, утром мы, свернув с большака, в общем взяли верное направление к той деревеньке, куда должна была переместиться оперативная группа Ракутина. Но к двум часам ночи нам показалось, что мы потеряли всякую ориентировку, и, увидев справа и слева от проселка темные пятна домов, мы подъехали к тем, что поближе, слева. Это были брошенные жителями выселки. Там оставался только хромой старик сторож, он показал нам сарай, куда можно было под навес загнать машину, и мы легли там же под навесом рядом с нею.

Мы удачно сделали, что заночевали именно в этих выселках, слева от проселка, а не справа — в деревне. Одна из немецких подвижных групп, произведя поиск из Ельни, как раз в ту ночь заняла эту деревню вместе с двумя другими.

В четыре утра, едва рассвело, мы были уже на ногах и поехали дальше. Теперь мы ориентировались по карте и двигались не плутая. В шесть утра мы оказались в той деревеньке на дороге из Вязмы в Ельню, где теперь располагался полевой штаб Ракутина. В конце деревни у двух домов, которые занимал штаб,

стояли часовые-пограничники. Мы вошли в низкую избу. За столом над картой дремал дивизионный комиссар, а на русской печке, одетый, только без кителя, спал генерал. На столе стояла наполовину съеденная яичница с колбасой, которую нам с дороги предложили доесть.

Капитан доложил дивизионному об обстановке. Потом дивизионный спросил о том же самом меня. И я сказал о своем впечатлении, что люди, видимо, дерутся хорошо, но нервничают из-за того, что, как мне кажется, недостаточно ясно представляют себе происходящее.

Стали будить генерала, который, оказывается, лег всего полчаса назад. Он долго не просыпался, потом наконец проснулся, сел за стол и сразу уткнулся в карту. Выслушав доклад капитана, он спросил меня, куда я теперь поеду, не в 107-ю ли, как он вчера совещивал. Я сказал, что да, поеду в 107-ю.

— Тогда я с вами пошлю им приказание, — сказал он. — Но только срочно доставьте.

Я сказал: будет сделано. Он тут же написал приказание, вложил его в пакет и передал мне. Если мне не изменяет память, это было приказание о том, чтобы 107-я дивизия одним из своих полков поддержала тот полк, в котором мы были, и обеспечила его от обхода немцев по шоссе...

Как это видно из дневника, нашего брата корреспондента чаще всего имели обыкновение направлять туда, где, по сведениям редактора, предполагался успех. Наша поездка в 24-ю армию к генералу Ракутину, куда нас направил редактор «Красноармейской правды», была связана именно с такими сведениями.

В утренней сводке штаба Резервного фронта за 22 июля сказано, что противник «продолжает удерживать район Ельни» и что командующий фронтом принял решение «окружить и уничтожить противника в Ельне». Непосредственное руководство операцией возлагалось на командарма 24-й генерал-майора Ракутина.

Двадцать четвертого и двадцать пятого июля мы с Трошкиным неожиданно для себя оказались свидетелями начала боев за так называемый Ельнинский выступ, которые закончились только через полтора месяца, 6 сентября, взятием нашими войсками Ельни.

Сама по себе Ельня — всего-навсего районный городок. Но Ельнинский выступ был в глазах немцев важным узлом дорог, плацдармом для будущего наступления на Москву.

И хотя немцы в последний момент успели вытащить оттуда большую часть своих сильно пострадавших в боях войск и избежали окружения с той методичностью и искусством, которые потом проявляли еще не раз, вплоть до опрокинувшей все их прежние представления оглушительной сталинградской катастрофы, факт остается фактом: мы заставили их сделать то, чему они всеми силами противились,— оставить Ельню. И было бы антиисторично сопоставлять масштабы тогдашнего нашего успеха в ельнинских боях, скажем, с такими последующими событиями здесь же, на Западном фронте, как окружение и крах всей немецкой группы армий «Центр» в 1944 году. Масштабы того и другого несравнимы, но и время тоже несравнимо. Ликвидация Ельнинского выступа в сентябре 1941 года была первой нашей успешной наступательной операцией, имевшей тогда большое принципиальное значение.

В вечернем боевом донесении штаба Резервного фронта за 20 июля впервые говорится о боях под Ельней, в районе Косьюково. Упоминается, что там появилось около двадцати немецких танков и около полка пехоты, и сообщается, что командир 107-й стрелковой дивизии для ликвидации прорыва выделил два стрелковых батальона под командованием полковника Некрасова.

В донесении политотдела 107-й дивизии об этом бое, про который нам с похвалой говорил Ракутин, сообщается, что у противника был «один батальон мотопехоты, вооруженный артиллерией, минометами, автоматическим оружием». В бой против этого немецкого батальона был брошен батальон 586-го стрелкового полка. В результате «противнику было нанесено сильное поражение. Фашисты в беспорядке бежали. На поле боя... оставили убитыми: 3 офицера, 8 солдат. Раненых и убитых очень большое количество успели подобрать. Взято в плен три солдата». Наш батальон потерял убитыми 4 и ранеными 47 человек.

Дальше рассказано о том, что роту в наступление вел сам командир полка полковник Некрасов, что он проявил мужество и упорство, «шел в наступление впереди бойцов... Своей собственной рукой в упор из пистолета застрелил двух офицеров и захватил в плен одного солдата».

Документ любопытен тем, что он отражает некоторые особенности того первого, оказавшегося успешным боя, в который вступили части только что прибывшей на фронт дивизии. И не замеченное автором противоречие между тем, что, по его словам, фашисты в беспорядке бежали, и тем, что они при этом успели подобрать большое количество раненых и убитых, и то обстоятельство, что в наступление впереди бойцов пошел сам командир

полка, лично застреливший двух немецких офицеров и взявший в плен солдата,— все это очень характерно.

Дивизия была хорошая, кадровая, командир полка был старый опытный военный. Но бой для него в эту войну был первым, и результат боя был нравственно необыкновенно важен для последующих действий не только полка, но и всей дивизии. Особенно если учесть, что эта дивизия впервые встречалась с немцами уже после того, как они успели за двадцать девять дней войны пройти по прямой с запада на восток 650 километров. После такого огромного и длительного отступления трудно переоценить значение, которое имела в глазах впервые вступавших в бой людей эта их первая увенчавшаяся успехом контратака, во время которой они убили трех немецких офицеров и взяли пленных. Соотнеся этот бой с тем временем, когда он произошел, надо понимать, что тогда, в июле, для батальона и даже полка это событие было их крошечным Сталинградом.

Впоследствии, в сентябре, именно этот полк Некрасова в числе первых ворвался в Ельню и захватил большие, по понятиям того времени, трофеи.

Генерал Ракутин, говоря с нами, корреспондентами, был полон оптимизма и веры, что через день-два мы уничтожим немецкий десант и возьмем обратно Ельню.

Оценивая то, что он говорил нам тогда, надо держать в памяти, что эти первые дни боев были боевым крещением не только для командира полка, но и для командующего армией. А кроме того, надо разобраться, что имелося тогда в виду под словом «десант».

Стремительно прорвавшись от Шклова к Смоленску и от Быхова в тылы наших 13-й и 4-й армий, немцы совершенно внезапно для армий Резервного фронта в ряде пунктов выскочили туда, где эти армии еще только-только заканчивали занятие оборонительных рубежей. Обстановка была полна неожиданностей, и в этой обстановке прорывы мелких и даже крупных немецких танковых и моторизованных групп часто воспринимались именно как десанты.

«Десант», «десант», «десант»... В те дни это слово буквально сидело в ушах. Причем приставка «авиа» постепенно исчезала, говорили просто «десант», и чем дальше, тем чаще под этим словом понималось нечто не установленное по своему первоначальному происхождению. Сверху спрашивали: «Как там с ликвидацией десанта, о котором вы докладывали?» А снизу, уже не вдаваясь в объяснения того, десант это или не десант, сообщали о принятых мерах.

Вполне допускаю, что ко времени встречи с нами генерал

Ракутин уже понимал, что речь шла не о десанте (тем более что он упоминал о целой немецкой дивизии), но в разговоре еще продолжал употреблять это вьедливое слово.

В дневнике сказано, что я запомнил фамилию того комбрига, к которому послал нас Ракутин. Я теперь восстановил по документам эту показавшуюся мне тогда странной фамилию. Комбрига звали Николай Иванович Кончиц. Ракутин называл его стариком; с точки зрения гораздо более молодого Ракутина он и правда был уже немолод — ему шел тогда пятьдесят второй год.

В личном деле Кончица, которое я нашел в архиве, есть весьма любопытные черты. Он был кадровым офицером царской армии, в начале первой мировой войны в чине поручика командовал батальоном; под Лодзью был коптужен и взят в плен немцами. В лагере военнопленных заболел туберкулезом и прямо из лазарета был взят в тюрьму за протест против того, что немецкое лазаретное начальство, стаскивая с постелей, строило больных на поверку. Вернувшись в 1919 году из плена, Кончиц добровольно вступил в Красную Армию и воевал в Туркестане против басмачей начальником штаба и командиром бригады. С 1925 до 1927 года был военным советником в китайской Красной армии, получил орден Красного Знамени и несколько лет работал в Москве военным руководителем Коммунистического университета трудящихся китайцев.

Во время боев под Ельней, когда меня послал к нему Ракутин, он командовал наспех созданной оперативной группой из 355-го полка 100-й дивизии и нескольких отдельных батальонов.

Ракутин был недоволен тем, что «старик не жмет, как падо». Однако, судя по документам 100-й дивизии, дело обстояло не совсем так. В этих документах записано, что с 24 по 30 июля 355-й стрелковый полк действовал в составе группы под командованием комбрига Кончица в направлении Ушаково; Ушаково несколько раз переходило из рук в руки, и действиями 355-го стрелкового полка было уничтожено до трех рот пехоты, шесть танков и четыре миномета противника.

В моем старом блокноте среди других записей, сделанных под этой самой деревней Ушаково, есть запись, совпадающая с этими документами: «355-й стрелковый полк. Полковник Шварев Н. А., комиссар Гутник Г. А. 2-й батальон получил задачу взять деревню Ушаково... Сегодня в 11.00 началось наступление. Второй батальон бил в лоб, первый обходил слева. Продвижение противника было приостановлено. Южная окраина деревни к 17 часам была занята нашими бойцами... В деревне остались склад боеприпасов, до сотни трупов. Застигли врасплох. Много оружия. Их ППД (то есть, видимо, немецкие автоматы. — К. С.),

противотанковые орудия, броневики. В 18.30 появилась вражеская авиация. Через 30 минут появились «ястребки». Всех разогнали, одного сбили».

Дальше в этом же блокноте запись о том, что «прибывший коммунистический батальон ленинградцев дерется здорово. Продвинулись за день километров на пять».

Надо думать, что и этот батальон входил в группу комбрига Кончица. Иначе запись о нем не появилась бы на той же странице блокнота.

Недавно я получил письмо от бывшего солдата того 355-го стрелкового полка, в котором мы были, Виктора Михайловича Догадаева. Вспоминая те дни, он называет фамилию своего комиссара: «Вскоре явился усталый, небритый, запыленный комиссар нашего полка Гутник и, обращаясь к нам, сказал: «Товарищи, вы последний резерв полка. Если немцы прорвут наш передний край, вы последняя сила, которая может задержать их здесь». Через месяц он погиб...»

Что касается комбрига Кончица, то он в дальнейшем стал генералом, заместителем командира корпуса и закончил войну в Прибалтике, ликвидируя земляндскую группировку немцев.

Командарм Ракутин был недоволен действиями комбрига Кончица, а в штабе Резервного фронта были недовольны действиями Ракутина.

Донесения штаба Резервного фронта в Генштаб имели противоречивый характер: 24-го туда доносили, что, по докладу прибывшего раненым в штаб армии полковника Бочкарева, наши части с утра повели решительное наступление и наши танки ворвались на северную и северо-восточную окраины Ельни и ведут там бой. В связи с этим командующий фронтом приказывал Ракутину выделить отряд преследования. А 25-го в Генштаб сообщалось, что 24-я армия отражает попытки противника продвигаться на восток в районе Ельни.

Генштаб снова и снова запрашивал командующего Резервным фронтом: что происходит под Ельней? Вот как выглядит одна из лент переговоров по этому поводу:

«— У аппарата генерал-лейтенант Богданов...»

— Слушаю вас.

— Про Ельню ничего не знаю. Из штарма 24 никаких данных до сего времени не получил, несмотря на попытки получить их. Продолжаю добиваться сведений... Точное местоположение Ракутина доложить не могу. Товарищ Ракутин сегодня менял свой командный пункт, и, куда переехал, штарма 24 доложить не может. Сейчас еще раз запрошу штарма 24, где находится Ракутин».

Читая эти телеграфные ленты, я вспоминал то место дневника, где меня так умилило, что при командующем армией в его полевом штабе всего три человека и что ему не сидится на месте. Личная храбрость и стремление побольше увидеть своими глазами, разумеется, привлекательные человеческие черты. Но, если говорить серьезно, стиль руководства армией, с которым я столкнулся тогда у Ракутина, был, очевидно, палкой о двух концах.

В ту ночь с 24 на 25 июля, когда мы возвращались из 355-го полка к Ракутину и искали его, из штаба фронта пришли начальнику штаба армии и Ракутину сразу две гневные телеграммы с требованием «уничтожить противника районе Ельни».

Появление немцев было внезапным, а оценка их сил неточной.

Все это усугублялось общей запутанностью обстановки: немецкие танковые и моторизованные дивизии прорвались в район, еще совсем недавно считавшийся тыловым районом Западного фронта. Еще несколько дней назад и штаб Резервного фронта, и штабы его армий целиком ориентировались на разведывательные данные стоявшего впереди Западного фронта и привыкли получать от него все сведения о противнике. Поэтому-то, очевидно, собственная разведка частей Резервного фронта в те дни, о которых идет речь в дневнике, и работала плохо.

На телеграфной ленте сохранился ответ начальника оперативного отдела штаба Резервного фронта полковника Боголюбова, данный им на запрос Генштаба: что же все-таки происходит под Ельней? «Отвечаю... У Ельни силы противника до полка и около ста танков. Два часа тому назад в этот район командирован мой помощник подполковник Виноградов...» А вслед за этим ответом идет дополнение: «Только сейчас вот доложили, что противник загнан в Ельню и в ближайшие часы с ним будет покончено».

На одной из телеграфных лент сохранился неполный текст телеграфных переговоров того самого подполковника Виноградова, о котором шла речь в предыдущей телеграфной ленте, с кем-то из работников штаба фронта, видимо, с полковником Боголюбовым: «Товарищ Виноградов, теперь вам понятно, что произошло?» В ответ на этот вопрос Виноградов отвечает, очевидно ссылаясь на свой предыдущий правдивый доклад начальству: «Я первое время боялся этого слова, когда его выпустил (остается догадываться, что это было за слово. — К. С.). Ну, меня и ругнули! Это разговор между нами. За три четверти (очевидно, правды. — К. С.) тоже немного поругали. Как вы посоветуете? Что делать в таких случаях? Говорить о «бескровном» или говорить, что есть?..»

На этот вопрос его собеседник из штаба фронта отвечает: «Ты был прав. Хорошо. Вранье ни к чему не ведет. Лучше говорить правду. Если вас за это поругали, доложи... члену Военного совета».

Я привел обрывок этого носившего товарищеский оттенок разговора по военному проводу, потому что он, кажется мне, отражает всю силу противоречий между обстановкой, какой ее хотелось видеть, и обстановкой, складывавшейся на деле, между ожидаемыми докладами и тем, что порой приходилось докладывать, не желая уклоняться от истины.

Чтобы действительно прогнать немцев с Ельнинского выступа, оказалось необходимым серьезно подготовиться к этому, организовать наступление силами двух армий и несколько недель ожесточенно драться.

Весной 1942 года, когда я диктовал дневник, до меня дошли слухи, что Ракутин, раненный, застрелился в дни вяземского окружения. Но, сколько я потом ни рылся в архивах, мне так и не удалось найти точных сведений о том, как именно погиб командующий 24-й армией Константин Иванович Ракутин. Известно только, что он погиб в октябре 1941 года. Ему было к этому времени тридцать девять лет, из них двадцать два года прошло на военной службе. Перед войной Ракутин был начальником пограничных войск Прибалтийского округа и в командование армией вступил уже в дни войны.

Последнее донесение от Ракутина было получено в штабе Резервного фронта 9 октября 1941 года: «Противник силой 5 танковых дивизий... продолжал развивать наступление, стремясь к полному окружению войск 24-й армии... Части 24-й армии, ведя ожесточенные бои в полосе обороны, окружены, атакованы с фронта и с флангов... Ракутин, Иванов, Кондратьев».

Донесение поступило только 9 октября, а было отправлено Ракутиным еще 7-го. Видимо, положение армии было тяжелое и ее старались выручить. За 8 октября есть такая телеграмма штаба Резервного фронта в Генштаб: «Немедленно по прямому проводу. Шапошникову. Подать автотранспортом Ракутину снарядов, горючего, продовольствия не могу. Прошу срочного распоряжения сбросить с самолетов... Время выброски предположительно 4 часа ночи 9 октября. Буденный».

Вслед за этим в Генштаб идет телеграмма от начальника штаба Резервного фронта: «Высланные Ракутину самолетом офицеры связи установленных сигналов по прибытии не дали и самолет не вернулся. Сигналов, обозначающих место выброски

огнеприпасов, горючего и продуктов, поэтому не установлено. Командующий просит намечавшуюся на 4.00 9.X выгрузку Ракутина грузов не производить, а перенести на 10-е. С утра 9-го планируется посылка новых командиров на самолетах. Анисов».

Следующий документ: «О Ракутине никаких донесений не получили. Его радиостанция на вызов... с 14.00 8.X не отвечает. Высланные сегодня в район нахождения Ракутина на самолете У-2 радист и шифровальщик до сих пор сигнала о своем прибытии не дали».

И наконец, последний документ: «19.00 вернулся капитан Бурцев, летавший на поиски Ракутина. В районе юго-восточнее Вязьмы самолет Бурцева был обстрелян... Бурцев ранен. Самолет поврежден... Остальные делегаты (то есть, очевидно, офицеры связи, тоже вылетевшие на самолетах. — К. С.) к 21 часу не вернулись».

Читая все это, невольно снова и снова думаешь о том, какие нечеловеческие усилия потребовались нам, чтобы все-таки сначала остановить, а потом разгромить немцев под Москвой.

Штабные документы так ничего и не сказали мне о судьбе Ракутина. Тогда я обратился к докладным запискам его вышедших из окружения сослуживцев.

Вывезенный из партизанского отряда самолетом в Москву в январе 1942 года член Военного совета 24-й армии Николай Иванович Иванов видел Ракутина в последний раз 7 октября и писал об этом так: «...24-я армия попала в крайне тяжелую обстановку. Штаб, в том числе и я, и командующий генерал-майор Ракутин, отходил с ополченческой дивизией... 7.X мы вышли в район Семлева. Части дивизии, будучи уже к тому времени потрепаны, видя, что кольцо окружения замкнуто, залегли и приостановили движение вперед. Учтя такое положение, я и командующий армией тов. Ракутин пошли непосредственно в части, чтобы оказать непосредственную помощь командованию дивизией... Во второй половине дня я был ранен...»

Больше упоминаний о судьбе Ракутина в этой докладной записке нет. В дальнейшем Иванов повествует о том, как его, тяжело раненного, тащили через леса его товарищи и как, сделав все, что было в человеческих силах, они все-таки в конце концов спасли его и доставили в партизанский отряд.

Начальник штаба 24-й армии генерал-майор Кондратьев, 18 октября с боями вышедший из окружения вместе с группой в сто восемьдесят бойцов и командиров, так же, как Иванов, упоминает, что он в последний раз видел Ракутина 7 октября утром.

Начальник политотдела 24-й армии дивизионный комиссар Абрамов последний раз видел Ракутина еще раньше — 4 октября.

Константин Кирикович Абрамов — впоследствии Герой Советского Союза — тогда, осенью сорок пятого, с группой в шесть человек выбирался из вяземского окружения больше месяца и все-таки выбрался, чтобы воевать дальше. Всего через год с небольшим в Сталинграде войска 64-й армии, где он был к тому времени членом Военного совета, взяли в плен фельдмаршала Паулюса.

Но Ракутину, как и многим другим, не довелось дожить до этого времени.

Уже после журнальной публикации дневника мне написал о Ракутине минский журналист А. Сулов, человек, хлебнувший войны по горло, тяжело раненный и много раз награжденный.

Под Ельней он служил солдатом в батальоне охраны штаба 24-й армии и видел Ракутина, очевидно, в последний день, а может, и в последний час его жизни: «...Рядом с ним, в 10—15 метрах, мне довелось ходить в атаку на прорыв, видимо, в районе Семлево. Он шел в полный рост, в генеральской форме, в фуражке, с пистолетом в руках.

Мы не прорвались и по приказу командования в больших, специально вырытых ямах сжигали штабные документы, предварительно облив их мазутом и бензином.

После атаки я не видел больше генерала Ракутина. В окружении, а потом в плену о нем говорили разное. Одни, что он был убит в той атаке, и после этого начался наш отход; другие, что он был смертельно ранен и застрелился; третьи, что он улетел на самолете в Москву. Третья версия сама собой отпадает, потому что самолеты наши в ту «кашу» сесть не могли...»

Я надолго оставил дневник для того, чтобы привести все эти архивные документы, прежде чем вернуться к тому утру 25 июля 1941 года, на котором я прервал повествование.

...Простившись с Ракутиным, мы к девяти утра, свернув с ельнинской на дорогобужскую дорогу, подъехали к Дорогобужу. До него оставался всего километр. Впереди был хороший, утопавший в зелени городок с несколькими церквями и каменными домами, а в остальном почти весь деревянный. На стеклах играло солнце. Я хорошо запомнил это, может быть, еще и потому, что это была последняя возможность увидеть Дорогобуж таким, каким он был. К вечеру следующего дня его уже не существовало...

Штаб 107-й дивизии был удачно расположен в глубоких оврагах, перерезавших холмы перед Дорогобужем.

Мы оставили машину наверху в кустарнике, а сами спустились в овраг. Всюду стояли часовые. Чувствовались полный по-

рядок и строгая дисциплина с тем оттенком некоторой аффектации и особой придирчивости, которая бывает в кадровых частях, только что попавших в военную обстановку... Два полка дивизии еще не были в боях, но третий уже участвовал в первом удачном бою два дня назад.

Я сдал пакет начальнику штаба дивизии, и мы стали дожидаться командира дивизии, он брился. Через несколько минут явился он сам. Это был подтянутый, невысокий, голубоглазый, спокойный сорокалетний полковник. Он мне понравился, и я потом рад был узнать, что его дивизия стала гвардейской.

А вообще-то это сложное чувство. Берешь газеты, читаешь их, ищешь знакомые имена, находишь или не находишь. Откуда я мог знать, например, тогда, прощаясь с Ракутиным там, в избе, принимая от него пакет в 107-ю дивизию, что я его больше никогда не увижу и что во время вяземского окружения он будет ранен и, по слухам, застрелится?

Командир 107-й дивизии полковник Миронов встретил нас очень хорошо, рассказал о положении в дивизии и посоветовал поехать сначала в его головной отряд, а затем в разведывательный батальон, стоявший километрах в сорока отсюда, у переправы через Днепр.

— Когда вернетесь, посмотрите у нас здесь богатые трофеи, захваченные полком Некрасова. А сейчас, если сразу поедете, попрошу взять с собой пакет с приказанием командиру разведывательного батальона.

Мы ответили, что готовы ехать и вручить пакет. Полковник приказал накормить нас перед дорогой. Ординарец неожиданно для нас раскинул на откосе холма ковер, должно быть привезенный с собой из дома, из Сибири, и от этого ковра вдруг так и пахло маневрами мирного времени...

У меня в блокноте сохранилась запись, сделанная чьим-то чужим почерком: «Приказание от 25.VII.41 8.00 командующего армией получил 10. 20 25.VII Н. О. — Капитан Лисин. 25.VII.41». Эта запись не может быть ничем другим, как распиской работника оперативного отделения штаба 107-й дивизии в том, что я вручил ему пакет от генерала Ракутина. Если добавить к этому, что в один и тот же день те же самые корреспонденты сперва отвозили приказание командующего армией в дивизию, а потом отвозили приказание командира дивизии в его разведывательный батальон, это даст известное представление о том, как обстояло в те дни дело со средствами связи и с доставкой приказаний. Во всяком случае, там, где мы были.

Не хочу, чтобы это прозвучало упреком. Тогда мы были горды доверием и командарма, и командира дивизии. Просто хочу напомнить, как было дело, как тогда, в июле, еще случалось то, что уже спустя несколько месяцев стало просто-напросто невозможным,

...Выпив чаю и поев консервов, мы поехали вперед, к Соловьевской переправе. Нас предупредили, что там, где разместился головной отряд, нас встретит на дороге «маяк», и у нас не было сомнений, что он нас действительно встретит. В дивизии чувствовался полный порядок, была отличная маскировка, землянки и блиндажи были надежно врыты в скаты холмов, по расположению штаба не слонялось ни одного лишнего человека.

Как потом оказалось, это сыграло свою роль: немцы так и не узнали местоположения штаба. По данным своей разведки, они считали, что он находится непосредственно в Дорогобуже.

Первые пятнадцать километров мы ехали без всяких приключений, если не считать того, что вдруг встретили на дороге первую увиденную нами на ходу немецкую трофейную штабную машину. На ней ехали какие-то товарищи из политуправления фронта, видимо, отчаянные люди, потому что ездить в тесной в нашем расположении на трофейной немецкой машине — значило рисковать быть обстрелянным и погибнуть ни за что ни про что.

«Маяк» стоял там, где ему и полагалось стоять. Мы заехали в головной отряд, поговорили там и двинулись дальше, в разведывательный батальон.

Следующие пятнадцать километров дело шло уже не так гладко. Немецкая авиация бомбила дорогу, нам несколько раз пришлось соскакивать с машины.

Самолеты шли вдоль шоссе, бомбили и обстреливали его. В одном месте впереди нас несколько бомб разорвалось прямо на дороге и на обочинах, завалив дорогу деревьями. Пришлось, продираясь через кусты, объезжать это место по лесу. Потом еще два раза бомбили дорогу.

Наконец мы доехали до опушки леса, за которым было 3 километр совершенно открытого места, а за ним виднелся еще лесок на той стороне дороги. Немцы беспрерывно бомбили переправу. И этот лесок вдали, за которым опять до самой переправы шло открытое место, служил местом сосредоточения вторых эшелонов частей, стоявших на том берегу за переправой. И дорога и все поле впереди были в воронках. Отсюда, с опушки, мы видели, как над леском на наших глазах появилась шестерка «юнкерсов»; они по очереди заходили, пикировали и снова под-

нимались, набирая высоту. Потом тройка «юнкерсов» ушла, три оставшихся спикировали еще по одному разу, развернулись и пошли назад. А навстречу им уже подошла следующая тройка, и продолжалась все та же карусель.

Стоявший на дороге контролер предложил нам оставить здесь машину и идти дальше пешком. Но мы с Трошкиным и Панковым решили все-таки проскочить на машине и благополучно проскочили, добравшись до опушки как раз в ту минуту, когда на середину роши была сброшена очередная серия бомб.

Оказалось, что штаб разведбата как раз там, в центре роши. Во время этого последнего налета у землянки штаба был убит красноармеец-посыльный. Во время разрыва бомб, вместо того чтобы кинуться в щель или лечь на землю, он по детскому инстинкту спрятался за дерево, и его пересекло осколком выше пояса вместе со стволом дерева.

Но штабная земляночка, буквально в трех метрах от воронки, хотя и обсыпалась, осталась цела. Лес кругом был изрыт щелями и воронками от мелких, пятидесятикилограммовых бомб. Очевидно, бомбежки здорово насолили всем, потому что щели были вырыты глубокие и в достаточном количестве. Этим и объяснялось то, что, по словам комбата, потерь за последние двое суток было совсем мало.

Мы поговорили с двумя разведчиками, которые накануне нахально проехали по немецким тылам на «газике» и благополучно вернулись. Трошкин сфотографировал их тут же в лесу, а я потом написал о них свою последнюю корреспонденцию в «Известия».

На протяжении того часа, что я разговаривал с разведчиками, пришлось три или четыре раза лазить в щели. Поблизости разорвалось еще несколько пятидесятикилограммовок, но ни одного человека даже не ранило.

Поговорив с разведчиками, мы поехали обратно в Дорогобуж, в штаб дивизии. Проехав несколько километров, увидели возвращавшиеся со стороны Дорогобужа «юнкеры», а на горизонте — дым, разраставшийся все сильнее и сильнее. «Юнкеры» возвращались тройками и сбрасывали на дорогу остатки мелких бомб. Сначала далеко от нас, а потом один раз все-таки пришлось выскочить из машины и залечь.

Проехали еще километра два. Впереди показалась еще тройка «юнкерсов». Эти шли совсем нагло на высоте двухсот метров и поливали дорогу из пулеметов. Мы выскочили из машины. В это время еще один «юнкерс», четвертый, шедший повыше, метров на четыреста, вдруг задымил и резко пошел на снижение. Очевидно, его подбили с земли пулеметным огнем. Из него

вылетело четыре комка, раскрылось четыре парашюта. Все это было очень близко и ясно видно. Один из трех других «юнкерсов» пошел дальше, а два развернулись и стали делать круги над местом гибели самолета. Там, в километре или полутора от нас, поднимался столб черного дыма. «Юнкерсы» спустились совсем низко и ходили над этим местом широкими кругами на высоте пятьдесят — семьдесят метров.

В воздухе стояла сплошной гул моторов и яростная трескотня пулеметов. «Юнкерсы» стреляли вниз, а все пулеметные точки, все бойцы стреляли вверх по «юнкерсам».

Так они сделали несколько кругов. Может быть, не представляя себе, насколько насыщена войсками эта местность, они думали, что один из самолетов под прикрытием огня второго сядет на поле и заберет спустившихся на парашютах летчиков? Скорей всего так. Мне даже издала показалось, что один из «юнкерсов» сделал попытку сесть и снова поднялся. Потом он задымил и на бреющем полете ушел куда-то за холмы. После говорили, что за несколько километров отсюда он тоже разбился.

Второй немец продолжал крутиться над местом катастрофы. Наш шофер Панков, обычно очень спокойный, выдержанный, вытащил из машины винтовку и стал стрелять по «юнкерсу».

Трошкин побежал вперед — в стороне от дороги, ближе к месту катастрофы, стояло какое-то каменное строение с паружной лестницей, которая шла вдоль стены на чердак. Трошкин взбежал по лестнице. Я за ним. Он лихорадочно стал вставлять в аппарат телеобъектив, и в эту секунду самолет, разворачиваясь, прошел как раз над нами. Мы здесь, на крыше, были метрах в десяти от земли, и он прошел над нами на высоте каких-нибудь тридцати метров. Прошел со страшным ревом, так, что была видна каждая деталь, какие-то тросики, кабина летчиков, огромные свастики на крыльях.

Трошкин приложился, но запоздал на секунду и успел снять только хвост уходящего по кругу самолета. Он стал ждать следующего круга, но самолет, недовернув и продолжая ползвать огнем землю, видимо, решив, что спасти летчиков не удастся, пошел к Днепру. Кажется, потом сбили и его. Всего в тот день над дорогой между Днепром и Дорогобужем было сбито три «юнкерса».

Трошкин рвал и метал, что ему не удалось снять самолет так, как ему хотелось. Мы кинулись к машине и, свернув с дороги, поехали по полю туда, где в пшенице горел самолет и было заметно движение людей, наверно, искавших летчиков. Остановились на меже. Трошкин выскочил первым и бегом понесся вперед. Он ходил в ту поездку в кожаной куртке на «молнии»

Поверх гимнастерки, с немецкой «лейкой» на груди и в спешей авиационной пилотке.

Даже не тревога, а какая-то тень тревоги мелькнула у меня, и я крикнул ему: «Подожди меня!» — но он уже побежал не оглядываясь. Я влез на капот, осмотрелся, увидел, в какой стороне на поле происходит самая большая толкотня, и приказал Панкову ехать туда. Там слышались выстрелы и крики, проскакало несколько всадников. Потом они сгрудились в кучу и туда подъехал грузовик.

Я остановил машину и пошел через поле пешком. К грузовику я подошел в тот момент, когда туда сажали трех пойманных летчиков. Руки их были скручены ремнями. Трошкин тоже сидел в кузове машины. Не поняв, в чем дело, я подошел к грузовику и сказал Трошкину, чтобы он пересаживался в нашу машину, я подогнал ее.

— Костя, выручай, — сказал он. — Меня забрали.

— Как забрали?

— Да вот, — кивнул Трошкин на какого-то человека в каске с совершенно ошалелым лицом и тремя кубиками на петлицах. Кругом нас было человек пятнадцать.

— В чем дело, товарищ политрук? — спросил я. — Почему вы его задержали?

Политрук, оказавшийся уполномоченным особого отдела стоявшего здесь полка, посмотрел на меня диким, ничего не соображающим взглядом:

— Арестовать и его! Арестовать и его! Скорей арестовать и его!

В руках он держал пистолет, вокруг него тоже размахивали оружием. Все были так взвинчены, словно тут высадился, по крайней мере, целый парашютный десант. Я сказал уполномоченному, что он с ума сошел, что я сейчас предъявлю ему документы.

— Руки вверх! — заорал он. — Руки вверх! Стреляйте в него без предупреждения, если он не будет держать руки вверх! — крикнул он стоявшим возле него двум или трем младшим командирам. — Отберите у него наган! Это диверсант!

О нагане я как раз и забыл.

Я повторил ему, чтобы он не валял дурака. Тогда, тыча в меня пистолетом, он заорал:

— Поднимите сейчас же руки, или я вас застрелю!

Пытаться оказать сопротивление, стоя в толпе людей, принимавших меня за диверсанта, было делом бесполезным и опасным. Я всегда особенно остро боялся именно такой вот глупой смерти. Пришлось поднять руки. После этого у меня вынули из кобуры наган. Пока я не поднял руки, никому это в голову не

пришло. Очевидно, им казалось, что я сначала должен поднять руки, а потом уже надо меня обезоруживать.

Последний раз взывая к остаткам здравого смысла, я опустил руку и полез в карман гимнастерки, чтобы достать документы, среди них, кстати, был и пустой пакет от командира дивизии с распиской командира разведбата, что содержимое ему вручено.

— Сейчас я вам покажу,— сказал я, стараясь быть спокойным и думая, что это спокойствие мне поможет.

— Застрелю! — закричал уполномоченный. — Руки вверх!

Я снова поднял руки. Было совершенно идиотское чувство: одновременно и глупо, и смешно, и страшно. Потом уже, когда я смог спокойно вспомнить об этом, я, кажется, понял, в чем было дело. Этот уполномоченный был, может быть, и неплохим, но неразумным парнем. Полк прибыл на место только три дня назад, не участвовал еще ни в одном бою, и вдруг они огнем с земли сбили «юнкере», да к тому же «юнкерс», который возвращался из только что сожженного Дорогобужа, и из этого самолета выпрыгнули живые немцы. А полк еще всего неделю назад проезжал Горький. Они окружили этих немцев и взяли их в плен. А тут вдобавок ко всему на поле прибежал неизвестный человек в кожаной, непохожей на нашу куртке, в синей авиационной пилотке, с какими-то иностранными аппаратами на груди и начал фотографировать немцев. Странно одетый человек снимает немцев! А потом подъезжает машина странного вида — на верное, тут сыграло горькую роль и то, что у нашей «эмочки» был непривычный закатывающийся брезентовый верх,— и из этой машины вылезает не известный никому батальонный комиссар и хочет освободить этого подозрительного человека, забрать его к себе в машину. То есть, несомненно, хочет увезти его. В общем, душу уполномоченного охватили подозрения, и мы были арестованы. И если бы мы тогда не сохранили некоторого хладнокровия и вздумали сопротивляться, то, наверно, я сейчас не диктовал бы этот дневник, а уполномоченный доложил бы, что, кроме трех захваченных немецких летчиков, им уничтожены на месте двое оказавших сопротивление диверсантов.

Немцам на машине еще раз для надежности закручивали руки за спиной, а я, как дурак, стоял около — руки вверх. Так продолжалось минуты две. Я спросил уполномоченного, что же мы будем делать дальше, раз он не хочет смотреть мои документы.

— Я вас доставлю в штаб дивизии! Там с вами поговорят!

Это меня несколько успокоило, и я сказал ему, что доставка в штаб дивизии как раз и является моим единственным желанием, что я был там несколько часов назад. Но предварительно я

все же хотел бы, чтобы он посмотрел мои документы и обращался со мной и с моим товарищем не как с диверсантами, а в крайнем случае как с людьми, взятыми им под подозрение.

— Я не подозреваю! — крикнул он. — Я знаю, знаю! Ишь, орден надели, так уже думаете, что мы не узнаем, что вы диверсанты! Шпалы надели! В машину! Сейчас же в машину!

Я предложил: пусть он даст нам какую-нибудь охрану и мы поедем следом за ним на своей машине.

— Нет! — И он приказал какому-то лейтенанту вести нашу машину вслед за грузовиком. — А шофера тоже сюда, чтобы не убежал!

Приволокли ровно ничего не понимающего Панкова и всех нас посадили в кузов машины.

Наверно, запомню навсегда: по правому борту сидят трое немцев, рядом с ними Трошкин, по левому борту — двое красноармейцев с винтовками и между ними Панков, у заднего борта — я и плохо понимающий по-русски сержант-среднеазиатец с автоматом в руках. А напротив меня, прислонясь спиной к кабине, скрестив руки на груди, стоит в наполеоновской позе уполномоченный. Впереди — зарево горящего Дорогобужа. Над дорогой — возвращающиеся с бомбежки немецкие самолеты. На земле и в воздухе — дикая пулеметная стрекотня. Сзади грузовика — наша «эмка» с ее подозрительным тентом. За рулем в «эмке» — лейтенант, а кругом грузовика и «эмки» — человек пятьдесят красноармейцев и младших командиров, упоенных и разгоряченных своей первой удачной встречей с немцами.

И на нас, и на снегших только что Дорогобуж немецких летчиков они смотрят одинаково ненавидящими глазами, и если бы дело дошло до самосуда, то, наверное, и от нас и от немцев — одинаково — остались бы только клочья.

Шофер высовывается из кабины и спрашивает уполномоченного, можно ли ехать.

— Погоди, — говорит уполномоченный и приказывает красноармейцам, сидящим в кузове: — Снимите ремни, свяжите руки этим тентом!

То есть нам. Первому связывают руки Трошкину. Как потом оказалось, он был в этот день болен. Вечером в санчасти дивизии ему смерили температуру, оказалось — сорок, гнойная ангина. Наверно, этим объяснялось его особенно лихорадочное состояние в течение всего этого дня. Трошкин протягивает руки и срывающимся от злости голосом говорит уполномоченному:

— Ты дурак! Ты мальчишка! Нате, связывайте. Ты дурак. Я третью войну воюю, а ты первых немцев видишь. Панику устроил, дурак.

— Молчать! — кричит уполномоченный.

— Хорошо, я молчу, — говорит Трошкин. — Вяжите. Только отсадите меня от фашистов. Не хочу рядом с этой сволочью сидеть.

Следующий — Панков. Молча пожав плечами, он протягивает руки, и ему их связывают. Теперь дело доходит до меня. И вдруг вместо того, чтобы подчиниться этому дурню уже до конца, доехав до штаба дивизии и там показать ему кузькину мать, вместо этого я чувствую, что, прежде чем мне свяжут руки, я сейчас ударю его, а потом меня убьют. Я чувствую, что будет именно так — и то и другое. И, оттолкнув уже протянувшиеся ко мне с ремнем руки красноармейца, говорю уполномоченному:

— Прежде чем начнете вязать мне руки, я дам вам в морду. А потом вы меня расстреляете и будете отвечать. Потому что я прибыл сюда по приказанию Мехлиса.

Не знаю, почему у меня вырвалась эта фраза, наверно, потому, что приказ о моем назначении в «Красную звезду» был подписан Мехлисом. Не знаю, что из двух больше действовало на уполномоченного — что я здесь по приказу Мехлиса или что я успею дать ему по морде, — но он вдруг сказал:

— Хорошо, не вяжите ему руки. Но теперь ты, — крикнул он сержанту, — уставишь ему в живот ППШ, раз он не хочет, чтобы вязали руки! Вы руки держите вверх! А если опустит (это уже снова сержанту), стреляй сразу!

Машина рванулась с места и на предельной для грузовика скорости поехала по ухабистой, с выбоинами дороге на Дорогобуж. Только тут я понял, что отказ дать связать себе руки может мне дорого обойтись. Я сидел в кузове грузовика у задней стенки, за спиной у меня лежали пулеметные диски. Машину дико дергало, я колотился спиной о диски — потом у меня недели две болели почки, так я их отбил. Руки у меня были подняты, я то и дело валился с боку на бок, не имея возможности опустить руки, боясь получить в живот порцию свинца. Сержант, вдавивший мне в живот дуло ППШ, все время держал палец на спуске. Машину трясло, и он мог в любую минуту случайно нажать на спуск.

— Поставьте хоть на предохранитель, — сказал я.

Сержант молча продолжал смотреть на меня.

— Скажите ему, чтобы он поставил на предохранитель, — обратился я к уполномоченному.

Уполномоченный подозрительно посмотрел на меня и кивнул сержанту.

— Не ставь на предохранитель! У тебя на сколько стоит?

— На один, — сказал сержант.

— Поставь на семьдесят один.

Теперь я был обеспечен в случае какого-нибудь особенно неожиданного толчка всей очередью в живот. Ехали мы, наверное, минут сорок или пятьдесят. Они показались бы бесконечными, если бы мы с Трошкиным не утешались тем, что всю дорогу ругали уполномоченного, что он мальчишка, что он еще войны не видел и что напрасно надеется получить Героя Советского Союза за этот подвиг.

Нужно отдать должное этому человеку. Уже решившись доставить нас в штаб как опасных диверсантов, он стойко сносил все эти личные оскорбления и не предпринял попытки разделиться с нами, хотя, судя по выражению его лица, ему этого очень хотелось. Он только время от времени повторял:

— Молчать! Стрелять буду!

Или, обращаясь сразу ко всем нам вместе — и к фашистам, и к нам троицам, — кричал, показывая на горевший впереди Дорогобуж:

— Смотрите, мерзавцы, что вы наделали! Смотрите, что вы наделали, негодяи!

Чем ближе мы подъезжали, тем зарево становилось все огромнее, и у меня, когда я слушал эти крики уполномоченного, было какое-то нелепое чувство. С одной стороны, я, казалось, был готов своими руками разделиться с любым из этих трех фашистов, только что сжегших этот зеленый мирный городок, который мы еще несколько часов назад видели совершенно целым. А с другой стороны, вся та искренняя ненависть, которая слышалась в голосе уполномоченного, адресовалась наравне с фашистами мне, Трошкину и Панкову. А в общем, это была совершенно бредовая поездка. Несмотря на всю опасность их собственного положения, как мне показалось, немецкие летчики смотрели на нас не только с удивлением, но даже с сочувствием. Наверное, они решили, что мы и правда диверсанты или что-то в этом роде, и от этого было еще нелепее и противнее на душе.

Больше всего я боялся, что по дороге какой-нибудь из возвращавшихся со стороны Дорогобужа немецких самолетов вдруг спикирует на нашу машину и наши конвоиры — кто их знает! — прежде чем кинуться в кюветы, могут пострелять немцев, а затем и нас.

Наконец мы подъехали к самому Дорогобужу. Дорогобуж горел. Горел весь город. Весь целиком. Многие дома уже сгорели, торчали только одни трубы, другие догорали. Местами, где не обрушились еще стены, казалось, за пустыми окнами сзади подложена сплошная красная материя. Через эти дыры горящих окон, через обвалившиеся дома город был виден весь насквозь.

Стояли невероятный треск и грохот. Когда горят и коробятся одновременно сотни железных крыш, это похоже на залпы.

К штабу дивизии ближе всего было проехать прямо через город, но ехать через такое сплошное море огня было невозможно. Грузовик двинулся в объезд, мимо маленьких домов окраины, тоже горевших и слева и справа от дороги. Отсюда, с окраины, слегка поднимавшейся по склону над городом, горящий город был виден чуть-чуть сверху, и это было еще страшней. На наших глазах покачнулась и упала верхушка колокольни.

Наконец мы добрались до спуска в ту балку, где размещался штаб дивизии, и вылезли из машины. Взяв себя в руки, я как можно спокойнее сказал уполномоченному:

— Сейчас вы поведете нас к начальству через все расположение штаба, мимо бойцов. Я требую, чтобы вы, во-первых, вели нас отдельно от фашистов, и, во-вторых, вели так, чтобы бойцам не бросалось в глаза, что вы ведете задержанных командиров. Это лишнее.

Близость штаба, кажется, отрезвляюще подействовала на уполномоченного, и он ответил, что так и будет сделано.

Трошкину и Панкову развязали руки. Трошкин едва шел, еле-еле передвигая ногами.

Немцев вели впереди нас и, проведя мимо особого отдела дивизии, положили их на землю и поставили к ним часовых. А нам пришлось сесть у блиндажа особого отдела в ожидании, пока с нами разберутся.

Не везет так не везет. Командир дивизии полковник Мионов уехал куда-то в полк и должен был вернуться только под утро. После проверки документов и получасового ожидания наконец пришел начальник политотдела дивизии полковой комиссар Поляков. Он долго и придирчиво проверял наши документы, а потом, когда все стало совершенно ясно, вдруг начал нам же делать внушение: мы сами виноваты, зачем мы снимали немцев? Кто нас звал туда, к сбитому самолету? Это не наше дело. И так далее и тому подобное.

Уполномоченный не то для того, чтобы выпутаться из этой истории, а может быть, просто в силу воспаленного воображения стал городить при начальнике политотдела, что там, в поле, был еще какой-то полковник с двумя орденами, тоже диверсант, которому удалось бежать, что я и Трошкин хотели освободить немцев, в общем, нес уже совершенно несусветную ересь.

Назревал скандал, но, к счастью, наконец пришел комиссар дивизии и разрядил атмосферу.

В довершение ко всем нашим бедам неизвестно куда делась

наша «эмка». Лейтенант, севший за руль там, на поле, угнал ее в неизвестном направлении.

Трошкин не мог стоять. Он сидел на земле, его лихорадило и колотило. Начинало темнеть. Курносая девчушка-санитарка, увидевшая его состояние, принесла ему свою шинель, а потом котелок супа. На улице было холодно. Ночь обещала быть студеной. А о нашей машине все еще не было ни слуху ни духу. Трошкину сунули подмышку термометр, дали проглотить несколько порошков, и мы все трое, решив, что не миновать заночевать здесь, полезли в узкий закоулок одного из блиндажей политотдела.

Спали, как сельди в бочке, на земляном полу один на другом. Я втиснулся последним, перед этим постояв еще полчаса у входа в блиндаж. Отсюда, из глубокой балки, Дорогобуж не был виден, но небо, сколько хватало глаз — и налево, и направо, и впереди, — всюду было багровое. Пожар продолжался.

Когда рассвело, Трошкин, которому так и не стало легче от порошков, с трудом вылез из землянки, лег и задремал на откосе, пригравшись на солнышке.

Мне сказали, что командир дивизии приехал, и я пошел к нему. Оказывается, ему еще не доложили о происшедшем. Он был удивлен и рассержен. Я сказал ему, что, вернувшись в редакцию, доложу о поведении уполномоченного и об отношении начальника политотдела к корреспондентам.

Крайне разозленный всем происшедшим, полковник сказал, что он будет только рад этому.

Тогда там, в то утро, я был убежден, что именно так и сделаю. Но потом, когда приехал в Москву и первая острота всего происшедшего сгладилась, наша русская привычка — ладно, сойдет — взяла свое, и я никому ничего не докладывал.

Командир дивизии приказал немедленно вызвать уполномоченного и разыскать нашу машину. Нас покормили. Я сразу полюбил и стал относиться к происшедшему уже с некоторой прощай. Но Трошкин был по-прежнему расстроен до крайности. Ему не только помешали снять нужные газете до зарезу кадры немецких летчиков у горящего самолета, но и засветили всю его пленку, и снятую и неснятую. Абсолютно все, что у него было. У него не оставалось теперь ни одного кадра пленки, и нужно было ехать за ней в Москву.

Машины нашей по-прежнему не было, ее разыскивали по разным частям дивизии. Я пошел в политотдел. Там со мной вдруг поздоровался какой-то человек и сразу начал извиняться. Я его не узнал и в первую минуту не мог понять, в чем он извиняется. Оказалось, что это тот самый уполномоченный, который вчера нас арестовал. Но вчера он был в каске и лицо у него было до того

искажено волнением, что сейчас, когда он оказался в пилотке, а на его лицо вернулось нормальное выражение, я просто-напросто не узнал его.

Разговор наш был прерван тем, что меня вызвали к командиру дивизии. Оказывается, нашу машину пригнали и мы могли трогаться в обратный путь...

Корреспонденция, которую я упоминаю в дневнике, была напечатана в «Известиях» 29 июля под заголовком «Разведчики». Проверив ее текст по записям в блокноте, хочу на всякий случай уточнить— вдруг эти люди еще разыщутся,— что одного из разведчиков, заместителя политрука Палаженко, звали Василием Емельяповичем, а второго, младшего лейтенанта Гришанова, Леопидом.

Добавлю сейчас, что это уточнение, сделанное мной, когда я печатал дневник в журнале, было тем более необходимо, что в 1941 году в «Известиях» машинистка, видимо, не осилила моего почерка и на газетной полосе Гришанов был превращен в Гришакова, а Палаженко — в Полаженко.

Вскоре после выхода журнала с дневником я получил первое письмо с известием, что оба разведчика живы. Вслед за ним «Учительскую газету» со статьей «Разведчик жив», в которой описывалась военная судьба гвардии капитана Леонида Васильевича Гришанова, выбывшего из строя в 1942 году по тяжелому, почти смертельному ранению и ставшего после войны заслуженным учителем РСФСР. И наконец, письмо от полковника в отставке, кандидата военных наук Василия Емельяновича Палаженко.

Начавший войну под Ельней и дошедший до Кенигсберга заместителем командира гвардейского стрелкового полка, награжденный восемью орденами, и в их числе тремя — боевого Красного Знамени, этот чего только не перевидавший человек безусловно один из тех, про кого верно говорят, что они не только обожжены, но и закалены войной.

О нескольких собственных осколочных ранениях он упоминает как о легких, мельком в одной строке письма. Но лето сорок первого года, как наша общая незажившая рана войны, еще и сегодня заставляет содрогаться его закаленную душу:

«...Бои в районе Ельни были тяжелыми и своеобразными. Для нашего разведбата они были особенными не только тем, что мы практически познавали науку разведки противника и ведения боя, но и получили предметный урок воспитания ненависти к врагу. Бесконечные потоки беженцев, гражданского населения с запада на восток стекались с широкого фронта к Соловьевской

переправе. Это были старики, подростки, женщины с котомками на плечах и детьми на руках. Переправа никакого прикрытия с воздуха не имела. Поэтому фашистские летчики с бреющего полета расстреливали людские потоки, а переправу непрерывно бомбили. На переправе из человеческих тел, повозок и лошадей образовалась плотина. А народ все шел и шел на переправу, не хотел оставаться, бежал от кабалы. Ведь фашистские летчики видели, что это беженцы, мирное население, и все же продолжали расстреливать беззащитных. Жутко и обидно было смотреть на это человеческое горе. Жутко — от варварства немецких летчиков, а обидно — как же мы смели это допустить, почему же мы не можем защитить свой народ. Мне и сейчас еще видятся: окровавленная умирающая женщина, чуть вылезшая из воды на берег, а по ней ползает грудной ребенок, тоже окровавленный, а рядом с оторванной ногой истекает кровью 3—4-летний ребенок...

В тот же день, когда мы невдалеке от Соловьевской переправы встречались с Гришаповым и Палаженко, начальник политотдела 107-й стрелковой дивизии полковой комиссар Поляков доносил наверх о бомбежке Дорогобужа: «Авиация противника в течение 25 июля на участке обороны дивизии проявляла активные действия. Днем был произведен сильный налет... участвовало 22 фашистских самолета... В результате бомбардировки центральная часть горда разрушена и сожжена. Из красноармейцев 630-го стрелкового полка, стоявших на охране моста, 6 человек ранено... Есть много убитых граждан».

Дальше в донесении говорилось, что зенитчики 107-й дивизии сбили два фашистских бомбардировщика. «Один вражеский самолет упал в городе и сгорел вместе с экипажем. Экипаж второго фашистского самолета — 3 человека — взят в плен со всеми документами и картами, и один фашист застрелился. Пленные со всеми документами направлены под коновое в штаб армии».

О пленении двух военных корреспондентов и их водителя в донесении, разумеется, не упоминалось.

Просматривая документы за эти дни, нетрудно заметить ту вполне понятную нервозность, которая проявлялась в только что прибывших на фронт частях, вдруг увидевших, что в воздухе господствуют немцы. Понятней становится и мера возбуждения, которая могла охватить людей, впервые своими глазами увидевших, как падают сбитые немецкие самолеты.

Дурацкая история, приключившаяся с нами под Дорогобужем и рассказанная в дневнике, вспоминается как дурной сон.

А между тем сами военные события, происходившие в те дни на участке 107-й дивизии, приобретали все более серьезный характер и стали началом ее долгого и славного боевого пути.

Именно эта 107-я, впоследствии 5-я гвардейская Краснознаменная Городокская стрелковая дивизия, которой командовал полковник Павел Васильевич Миронов, потом, в сентябре, особенно отличилась при освобождении Ельни. Во время октябрьского наступления немцев на Москву она оборонялась под Калугой и вышла из окружения к Серпухову. Во время нашего контрнаступления под Москвой с тяжелыми боями прошла свои первые двести километров на запад, а через три с лишним года закончила войну на косе Фриш-Нерунг в Восточной Пруссии.

Однако в данном случае я хочу не только обратить внимание на эту географию событий, которая типична для многих частей Западного, а впоследствии Третьего Белорусского фронта, боевой путь которых пролегал из Подмоскovie в Восточную Пруссию. История боевых действий 107-й дивизии позволяет попутно проанализировать некоторые контрасты войны, посмотреть, чем была война для нас и для немцев в начале и чем стала для нас и для них в конце.

В боях за Ельню с 8 августа по 6 сентября 1941 года дивизия уничтожила 28 танков, 65 орудий и минометов и около 750 солдат и офицеров противника и, захватив довольно большие по тому времени трофеи, сама потеряла в этих боях 4200 человек убитыми и ранеными, то есть взятие Ельни стоило ей тяжелых потерь. Немалые потери она понесла и потом, во время боев под Калугой и выхода из окружения.

В дальнейшем дивизия больше не отступала, но в своих наступательных боях продолжала нести чувствительные потери.

В зимнем наступлении под Москвой, захватив большие трофеи — около 60 танков и 200 немецких пушек и минометов, — дивизия потеряла в боях 2260 человек убитыми и ранеными. А потом, зимой и весной, в наступательных боях под Юхновом, предпринимавшихся с целью облегчить положение нашей попавшей в окружение 33-й армии, потеряла еще 2700 человек убитыми и ранеными.

Последующие наступательные операции 1943 года, наступление на Гомель и взятие города Городок тоже обошлись дивизии недешево.

Резкий перелом в соотношении между потерями и результатами боев для дивизии наступает летом 1944 года. Участвуя в разгроме немецкой группы армий «Центр», она продвигается на 525 километров, освобождает 600 населенных пунктов и одной из первых переходит границу Восточной Пруссии. В ходе этой операции дивизия захватывает 96 танков и 18 самолетов и берет в общей сложности в плен 9320 немецких солдат и офицеров. Сама за весь этот период боев потеряв 1500 человек,

В 1945 году начинается уничтожение восточнопрусской группировки немцев. При штурме Кенигсберга, заняв 55 его кварталов, дивизия захватывает в плен 15 100 немецких солдат и офицеров, сама потеряв во время штурма 186 человек убитыми и 571 человека ранеными. После этого дивизия ведет бои за порт Пиляу и на косе Фриш-Нерунг и в этих последних боях захватывает огромные трофеи и берет в плен в общей сложности 8350 солдат и офицеров, сама понесла потери убитыми 122 человека и ранеными 726.

Цифры, которые я привожу, требуют душевной осторожности в обращении с ними. Ибо любая, самая малая в общей статистике войны цифра потерь все равно означает осиротевшие семьи.

И, однако, при всем том, вспоминая историю войны, необходимо сравнивать усилия и жертвы с результатами. Дорого заплатив в 1941 году за освобождение маленькой Ельни, та же самая дивизия в 1945 году при взятии главной немецкой цитадели в Восточной Пруссии — Кенигсберга — отдала всего 186 жизней.

В процессе четырехлетней войны в соотношении сил между нами и немцами происходили изменения огромного масштаба и значения. Вся очевидность их зафиксирована не только на картах, где сначала синие немецкие стрелы подходили к Москве и втыкались в Волгу и Кавказский хребет, а потом наши красные стрелы пересекли Одер и Нейсе. Огромность перемен очевидна и при чтении списков потерь за разные годы войны. Соотношение масштабов продвижения, количества захваченного оружия и пленных с масштабами понесенных потерь свидетельствует и об уровне технического оснащения обеих армий, и об уровне их военного опыта и воинского мастерства.

В период первых стычек 107-й дивизии с немцами под Ельней ее практический опыт ведения современной войны был равен нулю. Все испытания были впереди. И тот уровень воинского мастерства, который вместе с выросшим во много раз уровнем техники позволил ей с минимальными потерями захватить штурмом 55 кварталов Кенигсберга, взяв в нем 15 100 пленных, мог быть приобретен лишь в жестокой школе войны. Другого пути для этого не было. Хотя в ходе этой жестокой, но неизбежной учебы совершались оплаченные кровью ошибки и их, очевидно, могло быть меньше, чем было.

Возвращаясь к дневнику.

...На обратном пути мы, сделав крюк, проехали через Дорогобуж. Странное и страшное зрелище представлял собой этот город, через который мы тем же маршрутом, в том же направле-

нии, по тем же улицам ехали сутки назад. Улиц не было. Были только трубы, трубы. Немцы сбросили на город не так много фугасок, он сторел главным образом от зажигалок.

Возможно, немцы бомбили Дорогобуж, имея ложные сведения, что там находится какой-то из наших штабов. Хотя, вообще говоря, они часто ради папики сжигали с воздуха, а иногда и с земли маленькие деревянные города, в которых не было никаких войск.

С полуразбитых бомбежкой каменных домов свисали полотнища перегоревших железных крыш, железо колыхалось и шумело на ветру.

Я обратил внимание на то, что Дорогобуж был довольно сильно укреплен. Вокруг него было много противотанковых рвов, блиндажей, укрытий, отсечных позиций. Местами было пять-шесть рядов колючей проволоки. Очевидно, тут был подготовлен один из узлов второй линии обороны. Но если мне потом правильно говорили, то тут, под самым Дорогобужем, сильных боев с немцами не было. Они, как и во многих других случаях, обошли этот узел сопротивления.

Объезжая Дорогобуж, чтобы выбраться на вяземскую дорогу, мы попали под небольшую бомбежку. Два немецких самолета, неизвестно почему, бомбили именно этот участок дороги, совершенно пустой. Мы легли в канаву, переждали и поехали дальше.

Дорога от Дорогобужа на Вязьму во многих местах минировалась. По ней шло довольно много машин. Трошкин совсем разболелся и лежал на заднем сиденье «эмки». Я, открыв брезентовый верх, сидел на спинке переднего сиденья и, высунув голову через крышу, наблюдал за воздухом.

Должно быть, немцы пытались вывести из строя всю эту коммуникацию от Вязьмы на Дорогобуж. В течение трех часов мы только и делали, что вылезали из машины, ложились в кюветы, переждали там очередную бомбежку, опять лезли в машину, опять ехали, опять лезли в кюветы. За три часа вся эта процедура повторялась раз двенадцать. Самолеты так и крутились над дорогой, гоняясь за машинами. Многие машины, дожидаясь темпоты, стояли по сторонам дороги в лесу. Кое-где стояли целые колонны. Но мы все-таки продолжали ехать и потому, что нам все это осточертело, и потому, что мы надеялись благодаря нашей крыше, а верней, благодаря отсутствию ее своевременно замечать самолеты и лезть в канавы. А кроме того, был уже вечер 26-го, а утром 27-го я должен был явиться в Москву.

Когда до Вязьмы оставалось около часу пути, немецкие самолеты тройками, одна за другой, пошли над дорогой со стороны

Вязьмы павстrecу пaм. За некоторыми из них гнались наши истребители. Как потом оказалось, немцы после сожжения Дорогобужа решили таким же образом спалить Вязьму, но их налет был отбит нашими истребителями; сбросить бомбы на Вязьму им не удалось, и они, возвращаясь, сбрасывали их куда попало — на дороги, на автомобильные колонны и даже на одиночные машины. Снова раз за разом пришлось вылезать и ложиться.

Трошкин выглядел так, что краше в гроб кладут. Пошел дождь. Мы раскатали брезент на крыше, застегнули его на ба­рашки и уселись. Панков нажал на стартер, а Трошкин, глянув в заднее стекло, сказал мне:

— Смотри, какая туча. Теперь уж больше не будут бомбить.

Но едва он успел это договорить, как мы услышали даже не гул, а свист уже пикирующего самолета и, открыв дверцы, бросились на дорогу прямо у машины. Бомба разорвалась сзади нас, скосив несколько деревьев и завалив ими дорогу. Трошкин поднялся и хрипло сказал, что наше счастье, что это сзади, а не впереди, а то бы пришлось растаскивать с дороги деревья. Мы снова влезли в машину и решили больше не вылезать из нее, что бы там ни было.

Недалеко от поворота на Минское шоссе мы встретили втягивающуюся на дорогобужскую дорогу дивизию. Машин было сравнительно мало; повозки, лошади, растянувшаяся, сколько видит глаз, пехота. Нам, недавно пережившим прорыв немцев к Чаусам, показалось тогда при виде этой дивизии, что такая «пешеходная» пехота — уж очень несовершенный вид войска в нынешней маневренной войне. Но я не мог представить себе тогда, в июле, что всего через пять месяцев, в декабре, когда я окажусь в только что отбитом у немцев Одоеве, меня охватит противоположное, такое же острое ощущение при виде брошенной в снегах, застрявшей немецкой техники и идущей мимо нее конницы Белова, у которой все с собой, все на лошадях и на санях, а не на машинах, и которая вдруг в условиях зимней распутицы стала более маневренным войском, чем немецкие механизированные части.

В вяземской типографии у телефона мы встретили Белявского и Кригера, которые, оказалось, вернулись еще накануне. Было уже десять вечера. Они дожидались разговора с редакцией «Известий». Папков заправил машину, мы обнялись с Кригером и Петром Ивановичем и поехали. И того и другого я увидел потом только в начале декабря, вернувшись в Москву с Карельского фронта.

Проехав через почную, темную Вязьму, мы выбрались на Минское шоссе. Трошкин, совершенно больной, тяжело дыша,

спал сзади в машине. Панков, который последние несколько суток не слезал с машины, все время тер глаза — ему тоже хотелось спать от усталости. А мне не спалось. Тревожное чувство, как и много раз потом при возвращении с фронта в Москву, охватывало меня. До какой степени моя жизнь связана с Москвой и как я люблю Москву, я понял только в эти дни, когда узнал, что Москву бомбят немцы.

Я ехал с тревогой. Мне хотелось как можно скорее увидеть Москву. Я не представлял себе, в каких масштабах происходят бомбежки. В течение всех этих ночей над нами через фронт высоко, с гудением проходили эшелоны немецких самолетов па Москву, и каждую ночь я думал о том, что, раньше чем я вернусь в Москву, будет еще, и еще, и еще одна бомбежка, и еще какие-то новые разрушения и новые опасности для всех живущих в ней, в том числе самых близких мне людей.

Ночь была черная, как сажа. Как и в прошлый раз, педеляю назад, нам навстречу летели гудящие грузовики без фар, груженные снарядами. И опять почти всю дорогу до утра я стоял на подножке, чтобы мы могли быстрее ехать, видя хотя бы край дороги. К утру от этого напряженного взглядывания в темноту у меня заболели глаза.

Ехали без приключений. Только в двух местах немцы недавно сбросили на шоссе бомбы; были огромные воронки и рядом с одной из них обломки грузовика и оттащенные в стороны, на обочины, тела убитых.

На шоссе было куда больше порядка, чем педеляю назад. Патрули проверяли документы и указывали путь на объездах. На последнем контрольно-пропускном пункте нам сказали, что сегодняшней ночью бомбежка была незначительной и без крупных пожаров.

Мы подъехали к Москве на рассвете 27 июля. Впереди в двух местах, догорая, еще дымились развалины домов. Мы въехали через Дорогомиловскую заставу и с тревогой глядели направо и налево, ища разрушения. У самой заставы был разрушен дом. Потом на берегу Москвы-реки еще один. Дальше все было цело. На Садовой справа была разрушена Книжная палата.

Трошкин остался лежать в машине, а я поднялся в редакцию «Красной звезды». Там еще не спали, и я наскоро доложил Ортенбергу о поездке. Он сказал, что ближайшие дни я должен буду оставаться в Москве, а сегодня могу отдыхать.

Из «Звезды» поехали в «Известия», где нас, как и в прошлый приезд, тепло, по-дружески встретил помощник редактора Семен Ляндрес. В «Известия», оказывается, попала бомба — в главный вестибюль и в кабинет редактора. Но, по счастью, ш-

кого не убило, потому что в редакции в этот момент уже никого не было.

Обещав к следующему дню написать в «Известия» и позволив матери, я поехал к ней. Трошкин остался в редакции; к нему вызвали врача. А я, выпив у матери кофе, заснул, что называется, без задних ног.

На следующий день я приехал в «Известия», чтобы сдать туда свой последний, шестой по счету подвал. После этого был трудный разговор с Ровинским, который не хотел отпускать меня в «Красную звезду».

Трошкина увидеть не удалось — оказалось, его уже положили в больницу.

За время войны, вплоть до гибели Трошкина в 1944 году, мы не раз еще встречались с ним на разных участках фронта, но таких совместных поездок, бок о бок в одной машине, о которых помнишь всю жизнь, потом уже не было. И читатель в дальнейшем только мельком столкнется с его именем в моих дневниках.

Но это был человек редкой душевной чистоты и мужества, и мне хочется вдобавок к уже высказанному моему собственному взгляду на него привести здесь несколько отрывков из письма водителя нашей машины во время поездки под Ельню Михаила Панкова. Письмо это я получил после того, как коротко написал о Трошкине в одной из своих статей.

Вот как выглядит Трошкин, увиденный глазами много ездившего с ним фронтового шофера:

«...Мне очень дорога память о Паше Трошкине, с которым я отъездил всю финскую войну и которого уважаю за умную храбрость, правильное отношение к окружающим и мастерство.

Мне, например, было стыдно за корреспондента, когда, пряча глаза, он объяснял, что дальше ехать опасно, что он отвечает за машину и меня, и, сделав в штабе дивизии или на аэродроме бледненькую корреспонденцию или фото, спешил в редакцию. Туда он приезжал фронтовиком, понюхавшим порошу. Были и такие. Имен не надо.

В кругу журналистов (на почевках или в редакциях) обычно собирались около вот такого краснбая, а Паша делал свое дело без афиш. Мне хочется поблагодарить Вас за несколько теплых строк о Павле и сказать, что их мало. Павел Трошкин мог быть показан Вами и пошире. Хороший солдат и товарищ, семьянин и художник (в своей сфере), далекий от нездоровой репортерской конкуренции, он частенько опережал фотосоплеменников, и

именно там, где было «жарко». Я не помню его усталым, измотанным, безразличным, а ведь приходилось часто и несладко. Не было случая, чтобы он забыл о шофере, садясь за солдатский котелок.

Паша Трошкин! Сестрорецк, Териоки, линия Маппергейма, Випури, Можайск, Вязьма, Черная Речка, Днепр, Соловьевская переправа. Ночевка в сарае в тылу у немцев, куда мы заехали ночью...

Еще о Паше. Ведь это он разыскал меня после тяжелого ранения в многотысячной массе раненых в бесчисленных санбатах и госпиталях. Эвакуировал самолетом в Москву. Передал в руки профессора, спасшего мне висевшую на волоске жизнь — после пяти дней без перевязки у меня началась газовая гангрена.

Павлу я обязан жизнью.

Давно это было, но это было, и память до могилы сохранит хоршее...»

Так кончается та часть письма Панкова, которая посвящена Трошкину.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Предыдущей главой заканчивается мой июньский и июльский дневник сорок первого года, связанный с Западным фронтом, на который я снова попал только в декабре, в совсем другие и для нас, и для немцев времена.

Почти весь этот промежуток — в четыре месяца длиной — я провел сначала на крайнем южном, а потом на крайнем северном участке фронта. Но, прежде чем перейти к дальнейшим главам дневника, я еще раз вернусь к событиям, связанным с обороной Могилева, и расскажу все, что мне дополнительно удалось узнать о последних днях могилевской обороны из документов и писем.

Я уже упоминал о том, лишь с годами до конца осознанном нравственном значении, которое для меня, как для писателя, приобрела короткая поездка в Могилев в 172-ю дивизию, и в особенности в 388-й полк Кутепова. Двадцать шестого июля, в тот самый день, когда мы с Трошкиным возвращались из-под Ельни в Вязьму, а затем в Москву, в штабе Западного фронта были получены последние сведения о действиях 61-го корпуса входившей в него 172-й дивизии. Там, в двухстах километрах к западу от Ельни, теперь уже в глубоком тылу у немцев, все еще воевали люди, которых тринадцать дней назад снимал в Могилеве Трошкин.

Двадцать шестого июля в 5.50 утра начальник штаба 13-й армии Петрушевский в ответ на запрос о положении под Могилевом

левом отвечал: «От Бакунина имеем следующие данные: 25-го утром он запросил о возможности отхода ввиду тяжелого положения на фронте. Товарищ Герасименко приказал ему, невзирая на окружение, оборонять Могилев. Около 20 часов 25.VII получено было донесение об отходе его на рубеж Большое Бушково — Рыжи. Ночью было получено еще донесение, подтверждающее его отход... Можно думать, что он ведет уличные бои в Могилеве. Посланный самолет в связь с Бакуниным не вошел. Также не могли войти в связь по радио».

В описании боевых действий 13-й армии о последних боях за Могилев сказано так:

«61-й стрелковый корпус продолжал бой в окружении, до 26.VII прочно удерживая Могилевский плацдарм, где на протяжении всего времени шли весьма ожесточенные бои. Противнику нанесены были большие потери, но, не имея боеприпасов и продовольствия, 26.VII части 61-го стрелкового корпуса и 20-го мехкорпуса начали отход. При чем 172-я дивизия осталась оборонять Могилев. Судьба ее неизвестна. Попытки наладить транспортную перевозку боеприпасов воздушным путем успеха не имели, ибо противник сумел занять аэродром... и захватил мост через реку Днепр».

Добавлю от себя, что эти попытки нашли свое отражение и в других документах. В частности, я обнаружил в архиве документ, датированный четырьмя днями раньше: «Командиру 1-го тяжелого авиаполка полковнику Филиппову. В ночь с 22 на 23 июля произвести выброску грузов на военном аэродроме Могилев. Высота выброски 400 метров... Время появления над аэродромом от часу до двух... выброску произвести всеми кораблями...»

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» 172-я дивизия в последний раз упомянута в записи от 26 июля 1941 года: «172-я стрелковая дивизия предположительно ведет бой в Могилеве».

Ровно десятью днями раньше, 16 июля, выслушав личный доклад представителя штаба 13-й армии об обстановке под Могилевом, командующий Западным фронтом маршал Тимошенко приказал: «Могилев оборонять во что бы то ни стало!» И, судя по сохранившимся документам и опубликованным в печати материалам, 172-я дивизия, и в ее составе 388-й полк Кутепова, на протяжении последующих десяти дней выполняла этот категорический приказ до последней возможности.

Капитан Гаврюшин во время нашего единственного свидания с ним после войны рассказал мне со слов кого-то из бойцов их полка, что тот видел, как полковника Кутепова, раненного

в обе поги, вытащили из окружения из самого Могилева, по потом, уже где-то в лесу там же, под Могилевом, он умер от потери крови. Не могу поручиться за точность этого переданного из вторых рук рассказа, но все-таки привожу его. Очень уж хочется верить, что при дополнительном изучении всех этих могилевских событий мы еще узнаем какие-то подробности о последних днях и минутах жизни таких людей, как Кутепов, до своего смертного часа выполнявших приказ: «Могилев оборонять во что бы то ни стало!»

В 1966 году, в двадцатипятилетнюю годовщину боев за Могилев, в газете было опубликовано несколько страниц из моей еще не завершенной тогда книги. Эти же страницы были потом напечатаны в двух изданиях вышедшего в Могилеве сборника воспоминаний «Солдатами были все». И я после этих публикаций получил несколько писем — откликов от участников боев за Могилев. Моя надежда узнать новые подробности о Кутепове, Мазалове и других, чьи имена, сохранившиеся в моем фронтовом блокноте, приведены в книге, в известной мере оправдалась.

Первое письмо с упоминанием имени Кутепова пришло из Донецка от Николая Максимовича Андриянова...

«Точно не помню, какого числа, — писал Андриянов, — я уходил с группой в 11 человек, из которых четверо было ранено. На Пуховичи — Осиповичи — Могилев. Пробираясь лесными дорогами и тропами, мы встретили санитарную машину и попросили ее остановиться с целью отправить раненых. С машины сошло шесть человек старшего командного состава, в том числе и полковник Кутепов. Он мне сказал, что меня со здоровыми солдатами оставляет у себя. Полк развертывается и будет занимать оборону в районе Могилева. А сейчас они выехали для изучения местности».

Рассказав об этой своей встрече с Кутеповым, по времени предшествовавшей началу боев за Могилев, и о характерном для Кутепова решении, которое тот принял, Андриянов дальше писал:

«Я думаю, что материал о боевых действиях 388-го стрелкового полка можно разыскать через старшину, оружейного мастера, у которого были записаны некоторые эпизоды боевой жизни. Этот старшина показывал мне свои записи, когда мы были в госпитале в 1944 году на станции Правда, недалеко от Москвы. Здесь я потерял его следы, но он жив».

Андриянов не назвал имени старшины, но вскоре я получил письмо из Минска от Василия Александровича Смирнова. Письмо это начиналось словами: «Я был начальником оружейной мастерской 388-го стрелкового полка, которым командовал полков-

ник Кутепов, и участвовал в составе этого полка в обороне Могилева. В последний раз я встречался с полковником Кутеповым в 19—20 часов на командном пункте полка, когда линия обороны была уже перенесена в предместье Могилева, около костеобрабатывающего завода».

Кратко упомянув в письме о себе, о том, как он, бежав из лагеря военнопленных, пошел в партизанский отряд и до дня соединения с частями Красной Армии командовал батальоном, В. А. Смирнов вернулся к рассказу о своем командире полка.

«И сейчас, спустя много лет, я представляю себе все перипетии того времени. Закрою глаза и вижу командира полка Кутепова. До войны мне доводилось играть с ним в клубе за бильярдным столом. Хорошо помню, как я пристреливал ему пистолет во дворе нашей казармы. Как однажды он перочинным ножиком на спине моей шинели сделал разрез, так как шинель моя была сшита не по форме. Командиром он был строгим и уважаемым, в полку его боялись и уважали. Неутомимый был он человек. Когда мы ехали на фронт, у нас у всех была большая вера в победу, так как мы сильно были убеждены в его — нашего командира полка — способностях. Во время боев он вселял в нас силу и уверенность. Хотя от начала боев и до последнего дня я встречался с ним всего три-четыре раза, но всякий раз встречи с ним снимали уныние и прибавляли силы к победе. Победа в полном смысле нам тогда не удалась. Но то, что делали воины 388-го стрелкового полка при обороне города Могилева, есть заслуга его стойкого командира полковника Кутепова».

Затем пришло письмо из Загорска от Гавриила Ивановича Сухова:

«Работая при штабе полка на радиостанции, я ежедневно видел Кутепова и начштаба Плотникова. Наш штаб полка располагался как раз в тех кустарниках, где вы были. После этого штаб перешел ближе к кирпичному заводу, в овраг, где завод брал глину. Противник нас теснил. И тогда штаб полка перешел в город Могилев, в сад. Не знаю точно, сколько дней мы там сражались с фашистами, но припоминаю одно: из нашего полка оставалось личного состава мало. Мы были окружены, и фашисты, окружив нас, пошли на Смоленск. Тогда командир полка полковник Кутепов, имевший в те годы знаки различия, как мы их называли «четыре шпалы», собрал оставшийся состав полка — это было примерно 25—26 июля — и сказал: «Братцы, нам предстоит тяжелый путь сегодня ночью. Мы должны подойти к линии обороны противника, обрушиться на его позиции и прорваться к своим». Пройти к своим нам не удалось. Противник обнаружил нас, и из ночи был сделан белый день. Вот в этом

бою, как я полагаю, и погибли наш командир полка Кутепов и начальник штаба Плотников. Нам чудом удалось остаться в живых, и в эту огненную почь мы оказались в лесу, т. е. в тылу врага».

Следующее упоминание о полковнике Кутепове и его судьбе пришло из самого Могилева от Василия Афанасьевича Пяткова, служившего перед войной старшим сержантом в 388-м стрелковом полку:

«Месяца за два, за три до войны был я назначен командиром зенитной установки спаренных 4-х стволов «максима». С этим оружием и воевал на могилевском рубеже. Кутепова Семена Федоровича последний раз видел, а вернее, он подходил ко мне с 25-го на 26-е, часа в 2 ночи, минут за 30 до взрыва моста. Он давал мне указание, чтобы я не открывал огонь без команды, потому что в это время подтягивали силы, чтобы подготовиться к прорыву бесшумно.

Часов в 5 утра меня ранило во второй раз, и я уже не мог бороться. Ранен был в обе руки. Попал в госпиталь, когда немцы еще не заняли полностью города. На третий день бежал из госпиталя; меня вывели из города девушки в лес. Начал работать подпольно. Три года партизанщины. Соединился с регулярными войсками 28 июля 44-го года. И снова на фронт...»

И наконец, пришло еще одно письмо, в котором упоминалась фамилия Кутепова. Его прислал из Минска Леонид Иванович Серафимович, которому в конце войны довелось дойти до Берлина, а в 1941 году, когда он пошел в партизаны, было всего шестнадцать лет:

«...Я пишу Вам это письмо потому, что, прочитав Вашу статью, вспомнил эпизод, свидетелем которого мне пришлось быть и решил кратко о нем сообщить.

Наш партизанский отряд в 1941 году состоял из 6—7 человек. В конце ноября месяца 1941 года вечером, когда я стоял на посту, увидел, как по глубокому снегу, падая и поднимая друг друга, через поле идут два человека по направлению к станции Рагмировичи. Дав им приблизиться, я их задержал. Оба были очень истощены. Один из них был более высокого роста, чем другой, с головой, обмотанной грязным бинтом. На обоих фуражек не было, хотя и стоял свирепый мороз. На высоком был одета шипель прямо поверх нижней рубахи, на ногах деревянные колодки, а на втором была одета одна нижняя рубаха и брюки, а ноги обмотаны тряпьем. Обоих задержанных я доставил в дом нашего партизана тов. Косолапова, в котором находился штаб. Командир отряда тов. Балахонов начал с ними беседу, а возвратился обратно на пост. А когда меня сменили, то я узнал, что задержанные долго не признавались, откуда и куда идут, и

убедившись, что попали к партизанам, назвали свои фамилии. Одного из них была фамилия Кутенов, а другого Шашуро. Кутенов сообщил, что был тяжело ранен в боях под Могилевом и в бессознательном состоянии взят в плен, где впоследствии познакомился с тов. Шашуро. Оба в дальнейшем попали в Бобруйскую крепость, в которой в то время находилось более 18 тысяч советских военнопленных. Обстоятельств их побега в настоящее время я хорошо не помню. О их воинских званиях при мне никаких разговоров не было.

Вы пишете, что в Вашей памяти Кутенов — «человек, который, останься он жив, был бы способен потом на очень многое». В дополнение я хочу отметить, что Кутенов и Шашуро были настоящими руководителями, хорошо знающими военное дело.

Мне пришлось присутствовать при разговоре Кутенова и Шашуро с командиром отряда Балахоновым. Они ему сказали, что не пужно ожидать, когда у него в отряде будет 200—300 партизан, а бить немцев можно и небольшими силами.

Более двух недель Кутенов и Шашуро отдыхали, набирались сил. Врача у нас не было, а Кутенов был ранен. У него на голове был рубец, проходивший возле лба через висок и медленно заживавший. Рану Кутенова перевязывала Полина — жена Косолапова, впоследствии погибшая от рук фашистов.

Когда Кутенов и Шашуро немного окрепли, меня вызвал Балахонов и приказал сопровождать их в сторону Бобруйска.

В 1941 году немцы фактически железные дороги не охраняли, и мы без происшествий взорвали недалеко от Бобруйска эшелон с цистернами авиабензина, а потом, когда мы возвратились в отряд, приняли участие в штурме немецко-полицейского гарнизона, находившегося на станции Брожа.

В конце декабря 1941 года меня направили для связи в отряд, находившийся в деревне Вулково, которым руководил тов. Ливенцев (ныне Герой Советского Союза). Вскоре, возвратившись с задания, я узнал, что в мое отсутствие немцы и полицейские напали на наш отряд. На станции Ратмировичи никого из партизан не было, дом Косолапова, в котором находился партизанский штаб, был сожжен, на окраине станции я увидел изуродованный труп Кутенова. Из рассказов местных жителей выяснилось, что к Кутенову, который стоял на посту, подошли несколько переодетых в гражданскую одежду полицейских и выстрелами в упор убили его наповал, а немцы, прятавшиеся в кустах в небольшом лесу, примыкавшем к станции Ратмировичи, бросились в атаку, стреляя из пулеметов и автоматов. Балахонов и остальные партизаны, видя перевес сил, вынуждены были отступить в деревню Зеленковичи.

Шашуро, знавший более подробно о Кутепове, погиб весной 1944 года. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Командир отряда тов. Балахонов трагически погиб в начале 1942 года...»

Это полное сдержанного драматизма письмо глубоко взволновало меня. Хотя я трезво отдаю себе отчет, что фамилия Кутепов не столь уж редка и вполне возможно, и даже вероятно, что в письме идет речь не о командире 388-го стрелкового полка, а о его однофамильце. И все-таки, все-таки... Сорок первый год связан с такими неожиданностями в людских судьбах, с такими их поворотами, что, положив руку на сердце, я не могу исключить и такой возможности, что в этом драматическом письме речь идет о том самом Кутепове...

Пришли письма и о командире поддерживавшего полк Кутепова 340-го артиллерийского полка полковнике Иване Сергеевиче Мазалове.

О нем написали двое его сослуживцев, участники могилевской обороны: начальник штаба дивизиона, тогда лейтенант, а ныне подполковник запаса А. Ф. Виттер и помощник начальника штаба полка А. Г. Кураков.

«На мой взгляд,— писал Кураков,— в могилевской обороне исключительно большую роль сыграла артиллерия. Ведь у нас не было ни танков, ни авиации, а дело нам пришлось иметь с ударными танковыми дивизиями. Были, конечно, использованы и бутылки с жидкостью КС, и противотанковые гранаты, были и огромный патриотизм и массовый героизм в стрелковых подразделениях. Но все же основная тяжесть борьбы с танками легла на плечи артиллеристов. Я очень хорошо помню цифру из оперативной сводки на 20 июля 1941 года, которую представлял в штаб дивизии. Нашей артиллерийской группой с начала боя и по 20 июля включительно было уничтожено 179 бронетанковых единиц противника, в том числе 54 танка, остальное — танкетки, бронеавтомобили, бронетранспортеры и самоходные орудия. И вы справедливо поступили, когда рядом с 388-м стрелковым полком поставили номер нашего 340-го артиллерийского полка. Его командир полковник Мазалов достоин не меньшей благодарности советского народа, чем командир 388-го стрелкового полка полковник Кутепов».

О том же самом писал и А. Ф. Виттер:

«Под Могилевом основная тяжесть борьбы с танками легла на плечи артиллерии, и кто знает, может быть, из этих 39 танков, которые фотографировал ваш друг Трошкин, большая доля была уничтожена артиллеристами 340-го артиллерийского полка».

и 174-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона. Свидетельством этого может быть героическая смерть командиров батарей только нашего первого дивизиона лейтенанта Василия Лобкова, лейтенанта Роберта Рихтера, лейтенанта Дмитрия Патлаха.

А теперь о Мазалове. О нем мы вспоминаем всегда как о самом дорогом человеке. Можно смело сказать, что под Могилевом на самом ответственном, танкоопасном направлении, на участке 388-го стрелкового полка, перекрывавшем Бобруйское и Быховское шоссе, душой противотанковой обороны был полковник Мазалов, грамотный, умудренный опытом и заслуженный артиллерист».

Тяжело раненный в разгар боев и эвакуированный в госпиталь Виттер и тоже тяжело раненный в момент прорыва, в ночь с 25 на 26 июля, Кураков сообщил мне в своих письмах все, что они знали о судьбе тех из своих товарищей по полку, фамилии которых, сохранившиеся в моем фронтовом блокноте, я опубликовал в статье.

По их сведениям, полковник Иван Сергеевич Мазалов, начальник штаба полка капитан Федор Сергеевич Аптопевич и начальник связи капитан Борис Михайлович Орлов, все трое, погибли в одну и ту же ночь на 26 июля при попытке прорваться из окружения.

Виттер добавил в своем письме, что на несколько дней раньше погиб младший политрук Прохоров и, очевидно, по его мнению, погиб и заместитель политрука Пашун.

Кураков, наоборот, написал о своей встрече с Дмитрием Пашуном уже после могилевских боев. Тяжело раненного в ночь прорыва Куракова перевязали бойцы и десять суток помогали ему, раненному, идти на восток, к линии фронта, до тех пор, пока, как пишет Кураков, они «не попали под Кричевом в лапы к немцам».

В лагере смерти «Остров Мазовецкий» Кураков встретил Пашуна.

«В ночь с 17 на 18 ноября 1941 года нас погрузили в вагоны и под усиленной охраной повезли по железной дороге. Со мной в одном вагоне находился и Пашун. Нам удалось открыть верхний люк товарного вагона, в котором мы находились, и мы начали прыгать на ходу поезда. Я прыгал третьим. Среди товарищей, которые помогали мне вылезти в люк, был и Пашун. Я прыгнул, разбился, но остался живой. Было это в тридцати километрах от Варшавы, около станции Остров. Меня подобрала поляка, вылечили, поставили на ноги. Что стало дальше с Дмитрием Пашуном, я не знаю...»

Мера мужества людей, защищавших Могилев, была оценена еще в 1941 году. Тогда очень скупо награждали орденами, но в одном из первых же указов о наградах, 10 августа 1941 года, можно встретить имена многих участников могилевских боев.

Я сличил этот указ с именами, сохранившимися в моих записях только по двум полкам — 388-му стрелковому и 340-му артиллерийскому.

И командир стрелкового полка Кутепов, и его комиссар Зобнин, и командир артиллерийского полка Мазалов, и капитан Гаврюшин, и лейтенант Возгриц, и младший политрук Прохоров, и замполитрука Пашун, и красноармеец Семин — все они были награждены за могилевские бои орденами Красного Знамени, так же как и командир их 172-й дивизии Романов, и комиссар дивизии Черниченко.

За три недели, между представлением к наградам и выходом указа в Москве, почти все, кого я упомянул, погибли в боях, так и не успев узнать о том, как высоко был оценен их подвиг.

Но сейчас, спустя три с лишним десятилетия, уместно подчеркнуть, что их подвиг впервые был оценен уже тогда, в сорок первом году.

Хочу закончить эту, наверное, самую короткую в книге главу еще двумя выдержками из уже процитированных мною писем старшего сержанта Пяткова и подполковника Виттера.

«Участвовал в боях во всей Западной Пруссии, во взятии Кенигсберга; после Кенигсберга был переброшен на Берлинское направление, участвовал во взятии Берлина, где и закончил войну. Почему Вам пишу обо всем этом? Чтоб Вы знали, что хотя в 41-м году фашисты считали, что полностью уничтожили нашу дивизию, — но нет! Все-таки пусть нас мало осталось, но мы сами их добивали в ихнем логове!»

Так написал мне старший сержант Пятков.

Подполковник Виттер написал, в сущности, то же самое, только выразился еще короче:

«Войну начал в Могилеве, кончил, как и должно было быть, в Берлине».

И те и другие слова сказаны этими людьми, конечно, не только о своей личной судьбе. Судьбы у защитников Могилева были разные, и лишь немногим из них довелось дойти до Кенигсберга и Берлина. Но та война, первые страшные удары которой обрушились на них под Могилевом, в конце концов кончилась в Берлине. И так оно и должно было быть! И тому, чтобы это в конце концов именно так и случилось, немало помогли люди, в начале войны насмерть дравшиеся под Могилевом и на целые полмесяца задержавшие там немцев,

...Выспавшись разом за всю поездку под Ельню, я на следующее утро явился к редактору «Красной звезды» и выдвинул перед ним план командировки вдоль всего фронта, от Черного до Баренцева моря. Я попросил, чтобы мне для такой поездки подготовили надежную машину и чтобы вместе с мной послали фотокорреспондента. Мы начнем с крайней точки Южного фронта и будем постепенно двигаться на север с тем, чтобы все наши статьи и фото шли в «Красной звезде» под одной постоянной рубрикой: «От Черного до Баренцева моря».

Редактору эта идея понравилась. Он сказал, что доложит о ней Мехлису и постарается, чтобы сопроводительный документ был подписан самим начальником ПУРа для большого удобства работы.

Оказалось, чтобы капитально отремонтировать «эмку», выделенную для этой поездки, требуется шесть-семь дней. За эти семь дней, кроме фронтовых баллад для газеты, я вдруг за один присест написал «Жди меня», «Майор привез мальчишку на лафете» и «Не сердитесь, к лучшему».

Я почевал на даче у Льва Кассиля в Переделкине и утром остался там, никуда не поехал.

Сидел весь день на даче один и писал стихи. Кругом были высокие сосны, много земляники, зеленая трава. Был жаркий летний день. И тишина. Так тихо, что я вдруг почувствовал усталость. На несколько часов даже захотелось забыть, что на свете есть война...

Так сказано в дневнике, но все три стихотворения, написанные в тот день, свидетельствуют, что, как бы ни хотелось забыть о войне даже на несколько часов, все равно это было невозможно. Только, поверно, в тот день больше, чем в другие, я думал не столько о войне, сколько о своей собственной судьбе на пей. Об усталости пережитом, но еще больше о предстоящем.

Если б это было не так, то, наверно, не писалось бы ни строчки:

...Ты знаешь это горе понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.

Ни строчки:

...Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет...

Ни строчки:

...Коль вернусь, так суженых
Некогда отчитывать,
А убьют, так хуже нет —
Письма перечитывать...

Все три написанные в тот день стихотворения, хотя и по-разному, в сущности, продолжали друг друга и были попыткой совладать с той душевной тревогой, которая — хочешь не хочешь — давала о себе знать перед повой и, как тогда думалось, долгой поездкой на фронт.

И вообще война, когда писался эти стихи, уже предчувствовалась долгой. «...Жди, когда снега метут...» — в тот жаркий июльский день было написано не для рифмы. Рифма, наверно бы, нашлась и другая...

...Первым слушателем «Жди меня» был вернувшийся из Москвы Кассиль. Он сказал мне, что стихотворение, в общем, хорошее, хотя немного похоже на заклинание. Накануне, вечером, перед тем как я остался ночевать у Кассиля, мы были вместе с ним у Афиногенова. Афиногенов безвыездно жил на даче с женой и дочкой, и все у них было по-прежнему, как зимой сорокового года, во время финской кампании. И я невольно вспомнил вечера, проведенные у него в ту трескучую зиму за игрой в маджонг и слушанием английского радио, говорившего о еще чужой и далекой тогда от нас европейской войне с немцами.

В тот вечер, когда мы были с Кассилем, я видел Афиногенова в последний раз. Он погиб во время бомбежки Москвы.

Отъезд затянулся еще на несколько дней из-за неготовности машины, но как раз в эти дни работы оказалось непротиворечивым. Пока я был на Западном фронте, Саша Столпер написал сценарий по пьесе «Парень из нашего города». Написал, в общем, наспех, а военную часть — теперь уже не японскую, как у меня было раньше, а немецкую, — не зная фронта, написал и вовсе вчерне.

Пришлось, прежде чем сдавать этот сценарий в комитет, многое и переделывать и переписывать в нем. Не могу сказать, чтобы эта срочная работа доставила мне особенно большую радость между двумя поездками на фронт.

В один из этих дней позвонил Евгений Петров и сказал, что он хочет организовать американскому писателю Колдуэллу встречу со мной как с человеком, недавно вернувшимся с Западного фронта. Встреча состоялась на квартире Николая Вирты. Американец был большой, крепко сшитый, одетый в широкий мешковатый костюм. Он занимался во время бомбежек Москвы перед

чами по радио в Америку и вообще, по мнению Петрова, вел себя в Москве очень хорошо. Он показался мне довольно дотошным человеком. Но по понятным причинам я многого не мог ему рассказывать.

В разговоре была одна смешная деталь. Он спросил, видел ли я близко немецкие танки. Я сказал, что да, видел. Тогда он, должно быть, интересуясь, в каком состоянии у немцев техника, спросил, какой вид имели немецкие танки — новый или потрепанный? Меня этот вопрос рассмешил, и я пошутил, что когда танки идут на вас, то вам, очевидно, трудно разобрать, какой они имеют вид, новый или потрепанный. Но если эти танки уже удалось остановить, то они неизменно имеют потрепанный вид.

Яша Халип, с которым мне как с фотокорреспондентом предстояло делить судьбу в будущей поездке, показался мне добрым товарищем.

Девятого августа, в день, когда мы с ним должны были выезжать, меня прихватил приступ аппендицита. Я заехал к матери, и меня так скрутило, что пришлось вызывать врача прямо туда. Он и объяснил мне, что это приступ аппендицита, что, может быть, на первый раз обойдется и без операции, успокоится, но надо несколько дней полежать здесь, у них под рукой.

Я лежал у матери. В эти ночи были бомбежки, и все в квартире, кроме нас с матерью, уходило в убежище. Комната у матери не была затемнена, и я из-за более ночью подолгу читал. Мы вытаскивали с матерью тюфяк в закрытый, без окон, коридор в их большой коммунальной квартире, зажигали в нем свет и проводили там всю ночь, пока к утру после отбоя не возвращались жильцы.

Тринадцатого, почувствовав себя немного лучше, я решил, что оттягивать больше нельзя, надо ехать. Мать приготовила мне с собой на первые дни на дорогу кое-какой диетический провиант. Выезд предстоял наутро следующего дня — четырнадцатого.

Накануне вечером я поехал в Ортепбергу. Было решено, что я выеду сначала в штаб Южного фронта, а оттуда на самую крайнюю точку, к Черному морю. По сведениям редакции, штаб фронта помещался уже не в Одессе, как я думал, а в Николаеве. Значит, нам нужно было ехать сперва до Николаева, а потом уже добираться в Одессу.

В редакции я встретил только что приехавших из-под Киева Бориса Лапина и Захара Хацревина и, не помню уже, откуда приехавшего Льва Славина. Я договорился с Захаром попозже вечером зайти к нему в «Националь», где он остановился. Не хотелось в последний вечер расставаться с матерью, и я потащил ее с собой в «Националь». Хацревин, который неважно чувство-

вал себя еще в редакции, сейчас лежал у себя в номере совсем большой, но тем не менее собирался в ближайшие дни возвратиться в Киев.

Мы долго разговаривали с ним, вспоминали Халхин-Гол, читали стихи. Потом началась бомбежка, и всю гостиницу погнали в бомбоубежище. Там сидели польская миссия и несколько ипострапных корреспондентов. Немножко поспав в бомбоубежище, я после отбоя простился с Захаром и Борисом. Наверно, я видел их тогда в последний раз.

Мы с матерью шли пешком домой через ночную Москву. А в семь утра, простившись со своими стариками, я сел в машину и, заехав за Халипом, двинулся по шоссе на Тулу.

Первую остановку сделали в Туле и, перекусив в какой-то столовой, поехали дальше. В животе срава, там, где аппендикс, все еще не проходила боль, и я попросил нашего водителя Демьянова, чтобы он дал мне сесть за руль и поучил меня вести машину. Мне казалось, что за этим занятием, требующим внимания и напряжения, боль будет легче переносить. Так оно и оказалось. Демьянов, как только я сел за руль, сейчас же из подчиненного превратился в начальство и уже не звал меня батальонным комиссаром, а вопил:

— Ты куда едешь?! Смотри же! Глаза у тебя на что? Поедешь же, черт!

Были и более сильные выражения по моему адресу, которые я безропотно сносил, чувствуя, что блестящими шоферскими способностями не отличаюсь.

Стояла жара. Хорошо еще, что я, как и на предыдущей «эмке», заставил вырезать крышу и сделать вместо нее брезентовый тент на баракаках. Мы его отворачивали, и на встречном ветру было сравнительно прохладно.

Я взял с собой здоровенный томиче «Тихого Дона» — все в одной книге. И когда не вел машину, читал. Читал и дочитал в самом конце нашего сухопутного путешествия, между Симферополем и Севастополем.

В Курске започевали в гостинице. Номер был в стиле ампир, с клонами, кровать с какими-то завитушками, которые и впрочем, обнаружил на ощупь. Было затемнение, а окна гостиницы без штор. Вошли мы в номер уже в темноте, а вышли и него еще до рассвета — спешили.

В Харьков приехали к полудню. В городе все было спокойнее, шла нормальная жизнь, и, казалось, ничто не напоминало о том, что у Киева уже идут кровавые бои. За Харьковом погода испортилась. Как только полил дождь, сразу дал себя знать черная земля. Под колесами все вязло и липло.

К вечеру мы добрались не до Диспропетровска, как рассчитывали, а только до Краснограда — маленького городка в тенистых деревьях. На подъезде к городу виднелся большой аэродром, на нем стояли бомбардировщики. По улицам города ходили, сбив набочок пилотки, brave ребята с голубыми петлицами. Стайки девушек щбетали на городском бульваре. На углу, там, где начинался бульвар, стояли двое пожилых военных и, разговаривая о чем-то своем, серьезном, одобрительно поглядывали на дефилирующую мимо молодежь.

Возникло ощущение маленького мирного гарнизонного городка; неясно вспоминалось даже что-то из литературы, связанное с этим ощущением.

Появление нашей «эмки» вызвало некоторое оживление. Очевидно, здесь, в глубоком тылу, никто еще не видел так роскошно закамуфлированной машины. Демьянов раскрасил ее под зеленого леопарда. А кроме того, теит вместо крыши вообще сильно менял вид «эмки» и придавал ей известную необычность, от которой мы чем дальше в тыл, тем больше страдали.

Отыскав место в маленькой гостинице, больше похожей на чистенькую мазанку, только двухэтажную, мы вдруг услышали вопрос провожавшего нас и почему-то задержавшегося уже после того, как мы простились, лейтенанта:

— Вы только вчера из Москвы?

Мы сказали, что да.

— Как вы считаете, неужели они сюда дойдут, а?

— Почему сюда? — удивились мы.

Именно в этом городке, каким мы его увидели в тот вечер, мысль, что сюда дойдут немцы, и притом высказанная не обывателем, а военным, была особенно странной.

— Но вот Первомайск же взяли. И Кировоград взяли, — сказал лейтенант.

— Кто вам сказал?

— По радио было.

Мы не слышали радио и были огорочены этим известием. Первомайск и Кировоград — это уже Кривой Рог. Еще немного, и немцы у нижнего течения Днепра! А мы-то считали, что едем в штаб фронта в Николаев. Теперь Николаев оставался уже в тылу у немцев, в мешке. Мы ничего не понимали и были удручены.

Потом пришлось привыкать к еще худшим неожиданностям, но в ту ночь, проводив лейтенанта, мы долго не могли заснуть. Сидели, разговаривали и не верили — неужели правда? Еще перед отъездом из Москвы я слышал, что на Южном фронте дела идут неважно. Свидетельством этого было и то, что в последнюю минуту нам сказали про переезд штаба Южного фронта из Одес-

сы в Николаев. И все-таки мы даже отдаленно не представляли себе масштабов того, что произошло как раз в эти дни на Южном фронте.

Кроме всего прочего, теперь было неизвестно, куда ехать. По здравому смыслу казалось, что раз немцы уже взяли Первомайск и Кировоград, то, очевидно, штаб Южного фронта переместился куда-то к самому Днепру. И если мы поедem на Днепропетровск, то штаб, наверно, окажется там или где-нибудь в том районе.

Неожиданно для нас первый этап нашей поездки до штаба фронта сокращался. И как сокращался.

Мы выехали из Краснограда рано утром. Потом, когда я прочел в сводке, что немцы взяли Красноград, то, хотя он и не был важным стратегическим пунктом, я с особенной болью воспринял это сообщение. Каким мирным и каким далеким от фронта городком показался нам Красноград, когда мы в него въехали, и в какой тревоге мы его покидали!

Дорога на Днепропетровск была плохая. Мы двигались еле-еле, со скоростью двадцать — двадцать пять километров в час. В середине дня мы, по нашим расчетам, подъехали близко к Днепропетровску. До него оставалось, наверно, километров пятнадцать. Мы проехали еще два или три километра, как вдруг нам навстречу стали попадаться беженцы. Глаза не могли нас обмануть: из города уходили люди, город эвакуировался. Я видел слишком много беженцев на Западном фронте, чтобы не отличить их повозку от всякой другой, даже если она одна на дороге. Чем ближе к городу, тем поток беженцев становился все гуще. Ехали на машинах, на телегах, шли пешком. Двигались тракторы, комбайны — бесконечное количество тракторов и комбайнов.

Впереди были видны днепропетровские заводы, огромные машины со стоявшими над ними облаками дыма. Не прошло и десяти дней после того, как мы, отходя, взорвали их. Какое-то проклятье почти со всеми приднепровскими городами от Могилева и до Херсона! Почти все они целиком или главной своей частью, как Днепропетровск, расположены на том, правом, на западном берегу!

Мы проехали мимо вокзала, вокруг которого толпились тысячи людей. Чувствовалось нервное настроение. У магазинчика с надписью «Галантерея и дорожные вещи» стояла очередь. Наверно, здесь покупали чемоданы и рюкзаки.

Солнца не было, но в городе было душно и пыльно. Чтобы выяснить, где штаб фронта, мы поехали к коменданту города. А может быть, это был не комендант, а начальник гарнизона, не помню. Помню только небольшой серый дом на одной из центральных улиц с бульваром. Оставив машину у подъезда, мы под-

нялись на второй этаж, и дальше произошла следующая сцена: большой кабинет с большим венецианским окном, большой стол. За ним сидит пожилой полный комбриг. Он встает к нам из-за стола навстречу, пожимает руки, просит предъявить документы, я вынимаю удостоверение, даю ему в руки. Вдруг он бросает удостоверение на стол и, крикнув: «За мной!» — выскакивает из комнаты.

В ту секунду, когда он бросил на стол мое удостоверение, за окном послышался знакомый страшный свист. А когда комбриг выскочил из-за стола, бомба уже разорвалась где-то неподалеку. Мы выскочили вслед за комбригом во двор и залезли в щель, перекрытую одним накатом бревен. Простояв там вместе с нами несколько минут и отдышавшись, комбриг сказал:

— Это они здесь первый раз днем. А ночью уже два раза побывали.

В городе раздалось еще несколько взрывов, но теперь уже далеких. Потом все стихло. Мы вернулись в кабинет комбрига, он прочел наши бумаги и сказал, что, по его сведениям, штаб фронта находится в Запорожье.

— Хорошая ли туда дорога? — спросили мы.

Он замялся на несколько секунд, потом сказал:

— Смотря как ехать. Если левобережьем, плохая, но зато... — Он снова замялся. — А если правобережьем, то прекрасное шоссе, но я не могу поручиться... В общем, решайте сами, как хотите.

Кажется, он намекал на то, что ехать правобережьем не стоит потому, что немцы где-то близко к Днепру. Мы сели в машину и, прежде чем двигаться, втроем, с Демьяновым, обсудили положение. Если сейчас опять выбирать на левобережье через мост, то там сейчас, наверное, все уже так забито сельскохозяйственными машинами, тракторами и беженцами, что нам придется тащиться до ночи. А по хорошему правобережному шоссе мы, наверно, доберемся до Запорожья часа за полтора. Что касается немцев и риска, то, несмотря на недомолвки комбрига, не укладывалось в голову, что немцы уже здесь, около Днепра. Я этому в тот день не поверил, и, как выяснилось, правильно сделал.

Мы свернули к выезду на Запорожское шоссе. У больницы выгружали из полуприцепа раненных во время бомбежки. Бомбы, разорвавшиеся на бульваре вблизи комендатуры, кажется, никого не убили и не ранили. Но вторая серия разорвалась как раз на вокзальной площади. Я вспомнил, какую толпу мы только что видели там, и понял, в какую мясорубку попали там люди.

Мы выехали из Днепропетровска и за час с небольшим по великолепному шоссе проскочили почти до самого Запорожья.

Оставалось повернуть, сделать несколько километров до моста через Днепр, и мы в Запорожье. Но эти несколько последних километров мы ехали больше пяти часов.

Шоссе, подходившее к мосту, было совершенно разворочено. По сторонам шоссе был песок, тоже развороченный гусеницами тракторов. Казалось, что тут вообще невозможно проехать. С запада на восток к мосту двигались беженцы, шли колонны тракторов и колонны комбайнов, машины грузовые и легковые, телеги с наваленным на них эвакуированным имуществом и какой-то рухлядью, непонятно зачем в последнюю минуту взятыми с собой вещами. Люди ехали уже издалека. Лошади были замороженные, тех, которые падали, оттаскивали в сторону от дороги, и они издыхали там. Телеги и машины — все смешалось и почти не двигалось. Люди шумели, волновались, кричали. Все спешили скорей перебраться на ту сторону Днепра...

Готовя дневник к печати, я давал его читать нескольким моим товарищам по фронтовым поездкам.

— А ты помнишь,— прочитав дневник, вдруг сказал мне Яков Николаевич Халип,— у переправы через Днепр того старика? Почему ты о нем не написал?

— Какого старика?

— Ну, того, которого я хотел тогда снять, а ты мне не дал. А потом я все-таки снял его через окно машины. Того старика, который тащил телегу, впрягшись в нее вместо лошади, а на телеге у него сидели дети? Ты вообще почти ничего не написал о том, как было там, под Днепропетровском и у переправ через Днепр. Помнишь, я стал снимать беженцев, а ты вырвал аппарат и затолкал меня в машину? И орал на меня, что разве можно снимать такое горе?

Я не помнил этого. Но когда Халип заговорил, вспомнил, как все было, а было именно так, как он говорил. Вспомнил и подумал, что тогда мы были оба по-своему правы. Фотокорреспондент мог запечатлеть это горе, только сняв его, и он был прав. А я не мог видеть, как стоит на обочине дороги вылезший из военной машины военный человек и снимает этот страшный исход беженцев, снимает старика, волокущего на себе телегу с детьми. Мне показалось стыдным, безразличным, невозможным снимать все это, я бы не смог объяснить тогда этим шедшим мимо нас людям, зачем мы снимаем их страшное горе. И я тоже по-своему был прав.

А все это вместе взятое — еще один пример того, как сдвигаются во времени понятия.

Сейчас, через много лет, глядя старую кинохронику и выставки военных фотографий того времени, как часто мы, и я в том числе, злимся на наших товарищей — фотокорреспондентов и фронтовых кинооператоров за то, что они почти не снимали тогда, в тот год, страшный быт войны, картины отступлений, убитых бомбами женщин и детей, лежавших на дорогах, эвакуацию, беженцев... Словом, почти не снимали всего того, что под Днепротровском и Запорожьем я сам мешал снять Халину.

Да, поистине очень осторожно следует сейчас, задним числом, подходить к оценке своих тогдашних мыслей и поступков, не упрощая того сложного переплета чувств, который был у нас в душе.

...Наконец, пересехав через мост, мы оказались в Новом Запорожье. Я только тут узнал, что, оказывается, есть два Запорожья — Старое и Новое.

Машина наша, еле-еле проехавшая по вывороченным булыжникам, скрежетала теперь на каждом шагу, а потом и совсем остановилась. Демьянов стал ее чинить прямо посреди улицы. А мы с Халином пошли в горком партии. Там мы нашли одного из секретарей, от которого узнали, что штаб фронта разместили не здесь, а в Старом Запорожье, и туда надо проехать еще километров двенадцать.

Здесь, в Новом Запорожье, было сравнительно спокойно. В те дни Днепр по старой памяти считался трудно форсируемой, а может быть, даже и недоступной преградой. Кроме того, в сознании людей еще не умещалось, что немцы могут уже находиться в считанных километрах от города.

Демьянов долго возился с машиной, наконец починил ее, и она, продолжая скрежетать, поехала дальше.

В Старом Запорожье нам повезло почти сразу же наткнуться на редакцию фронтовой газеты Южного фронта. Эта многострадальная редакция, кажется, уже в девятый раз за войну меняла местопребывание.

Я знал, что здесь, на Южном фронте, во фронтовой и армейской газетах работают из числа моих старых знакомых Горбатов, Алтаузен, Крымов, Долматовский, Аврущенко, Кружков, Френкель. Но здесь, в Запорожье, палицо оказались только двое последних. Про остальных нам сказали, что они где-то в войсках, не то вышли, не то еще выходят из окружения.

Коля Кружков встретил меня тепло, по-дружески, и мы стали вспоминать Монголию, где война складывалась совсем иначе. Сравнение было горьким. Кружков произвел на меня впечатление ошарашенного всем происходившим человека. Да и

трудно было здесь, на Южном фронте, в то время не оказаться в таком состоянии. Я тоже был ошарашен. Я чувствовал, что произошла какая-то катастрофа с далеко идущими последствиями. Из четырех армий, которые были на фронте, две, по слухам, попали в полное окружение, и люди в них либо погибли, либо сдались в плен, либо ушли в партизаны. Две армии — 9-я и 18-я — с тяжелыми потерями выбрались, а частично еще выбрались из окружения. И в ту минуту это считалось удачей.

История когда-нибудь рассудит наших современников и скажет свое слово об этих днях. Но тогда трудно было что-нибудь понять. В частности, 9-я армия, воссавшая южнее других — южнее ее была только Приморская группа, — здесь, в штабе фронта, считалась самой удачливой и достойной похвал армией, потому что она, отойдя от Одессы, быстро проскочила через Николаев и теперь собирала свои вышедшие из окружения части. А между тем не прошло и недели — и как только при мне не чихвостили в Одессе ту же самую 9-ю армию, которая, по словам людей, оставшихся в окружении в Одессе, не только с ходу проскочила двести километров, но и утащила за собой еще одну дивизию Приморской армии.

Кроме того, в Одессе, задыхаясь от ярости, говорили, что 9-я армия сдала в два дня Николаев, в то время как Одесса держится по сей день и будет еще долго держаться, а между тем Николаев было нисколько не трудней оборонять, чем Одессу.

Не берусь сам судить об этом, но так тогда говорили.

Мы долго разговаривали с Колей Кружковым на все эти темы. Он спрашивал меня, как дела на Западном фронте, и я под впечатлением последних дней поездки под Дорогобуж и Ельню сказал, что там стало значительно лучше, гораздо больше порядка и уверенности, чем было вначале, и что уже появилось ощущение прочности.

— А у нас... — сказал он и махнул рукой. — Не стоит об этом говорить. В общем, воюем.

Потом Кружков куда-то ушел, а Френкель, тоже участвовавший в нашем разговоре, потащил меня в садик и стал спрашивать о делах на Западном фронте. Я, в свою очередь, стал спрашивать у него о знакомых. Горбатов был где-то в частях. Про Алтаузена говорили, что он чуть не попал в плен к немцам, оставшись ночевать в какой-то деревне, в которую они уже вошли, и только случайно оттуда выбрался. Про Долматовского — что он был в армии, не могу сейчас вспомнить, не то в 6-й, не то в 12-й. Долматовского видели в последний раз 4 августа, то есть тринадцать дней назад, и с тех пор от него не было ни слуху ни духу. Ничего не знали и о Крымове и об Аврущенко...

Я пишу в дневнике, что мне трудно было что-нибудь понять в положении, сложившемся тогда на Южном фронте. Это недоумение относилось ко многому, но в данном случае оно было прежде всего связано с обстановкой на левом крыле Южного фронта, где действовали 9-я армия и Приморская группа войск.

С одной стороны, можно понять, как радовались в штабе Южного фронта тому, что 9-я и ее сосед справа — 18-я армия — вырвались из приготовленного немцами мешка и, приведя себя в порядок, будут и дальше воевать в составе войск фронта.

Но и то, что в продолжавшей упорно обороняться Одессе с осуждением говорили о 9-й армии, что она сдала за два дня Николаев, тоже по-человечески понятно. Хотя никак нельзя считать справедливым рассуждения о том, что Николаев было несколько не труднее оборонять, чем Одессу. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть: Николаев стоит в пятидесяти километрах от моря, на берегу узкого, глубоко врезавшегося в сушу Бугского лимана и его неизмеримо труднее было и защищать и снабжать с моря, чем стоящую на берегу широкого и открытого залива Одессу.

Кроме того, 11-я немецкая армия, острием своего прорыва отрезая и оставляя у себя в тылу Одессу, шла как раз на Николаев и Херсон. И этот прорыв на Николаев, где еще за несколько дней до этого находился штаб Южного фронта, был настолько стремительным, что наши войска были там куда менее готовы к обороне, чем в Одессе, подступы к которой обороняла постепенно приближавшаяся в боях все ближе к городу Приморская группа войск.

Наконец, хотя именно моряки Николаевской военно-морской базы вели последние отчаянные скоротечные бои за Николаев, надо сказать, что, судя по документам, оборона Николаева силами Черноморского флота не была в достаточной степени предусмотрена заранее. План действий флота в резко изменившейся обстановке еще не был увязан с планом действий Южного фронта, и при общем ходе событий дерзкие попытки моряков удерживать Николаев уже не могли иметь успеха.

Насчет дивизии, которую «утащила» с собой при отступлении 9-я армия, тоже вопрос спорный. Приморская группа войск (впоследствии Приморская армия) была сформирована из частей 9-й армии и первоначально находилась в ее оперативном подчинении. Название — Приморская армия — скорее отражало ее роль в защите Одессы, чем ее штатный состав. Первоначально в ней числилось три дивизии, а к началу обороны Одессы осталось еще меньше. Та из этих трех дивизий, про которую говорили в Одессе, что она утащена с собой 9-й армией, на самом деле

была разъединена в ходе нашего отступления. Один полк остался в Одессе, а два полка и управление дивизией были отсечены и отброшены на Николаев и в итоге действительно ушли вместе с 9-й армией. И можно предполагать, что в те дни в штабе 9-й армии отнюдь не были огорчены этим обстоятельством.

Что касается точки зрения командования Приморской армией, вполне естественно, что, когда Одесса вдруг оказалась в окружении с суши, ее защитникам трудно было примириться с тем, что у них осталось в руках только две дивизии из трех, первоначально входивших в Приморскую группу.

Так выглядят некоторые спорные для тех дней военные вопросы, с которыми я столкнулся тогда сначала в штабе Южного фронта, а потом в Одессе.

Редакция фронтовой газеты Южного фронта, про которую я пишу в дневнике, что она меняла свое местопребывание в девятый раз, на самом деле меняла его только в шестой. Однако шесть передислокаций за пятьдесят пять дней войны для редакции фронтовой газеты тоже немало, и в этом, как в кашле воды, отражалось общее положение, сложившееся на Южном фронте.

Судьбы писателей, о которых я расспрашивал тогда, в августе 1941 года, в редакции фронтовой газеты, оказались очень разными.

Борис Горбатов в период июльских и августовских боев в окружение не попал, продолжал всю войну работать военным корреспондентом сначала газеты Южного фронта, а потом «Правды» и ночью 9 мая 1945 года в моем присутствии написал из Карлсхорста свою последнюю корреспонденцию о безоговорочной капитуляции германской армии.

Долматовский в 1945 году тоже оказался в Берлине и присутствовал при том, как последний начальник германского генерального штаба генерал Кребс перед тем, как застрелиться, пришел с белым флагом и пытался вести переговоры с командующим 8-й гвардейской армией генералом Чуйковым. А тогда, в 1941 году, работая в армейской газете 6-й армии, Долматовский пережил вместе с другими трагедию этой армии, был ранен, попал в плен под Умапью, бежал из плена, долго пробирался через немцев и вышел к своим только осенью 1941 года, когда его уже считали погибшим.

Крымов и Аврущенко остались в окружении и погибли.

Джек Алтаузен тогда, летом сорок первого, благополучно выбрался и погиб почти годом позже, во время харьковского окружения.

Но почти ничего этого, диктуя свои дневники во время весеннего затишья 1942 года, я еще не знал...

...Поужинав в военной столовке, мы пошли спать в Дом пионеров, где жили редакционные работники. За домом был сад, и в нем круглая, с земляным полом беседка. В ней мы улеглись.

Ночью над городом появились немцы. Начали стрелять зенитки и пулеметы. Мы проснулись, но, наверно, все остальные так же привыкли ко всему этому, как и я, и, как только прекратилась стрельба, все снова заснули.

Наутро мы поехали искать Лилына — начальника корреспондентской группы «Красной звезды» на Южном фронте, а найдя его, вместе с ним пошли к комиссару штаба фронта Маслову, у которого он жил. Получив от Маслова подтверждение, что Одесса пока в наших руках, и не желая отказываться от своего первоначального плана проехать от Черного до Баренцева моря, я решил добраться до Одессы во что бы то ни стало.

Лилын советовал мне сначала поехать в ближайшие части и сделать первый материал отсюда, но я отказался. Уже по опыту зная, что такое откатывающиеся или только что откатившиеся войска, я просто внутренне, психологически не мог ехать и приставать с вопросами к людям сразу после двухсоткилометрового отступления. Что касается Одессы, то у меня было какое-то чутье, подсказывавшее мне, что она должна держаться.

Я вспомнил Могилев, Кутепова и подумал, что лучше поехать в окруженный город, в части, решившие драться до конца, чем искать какой-то материал в только что отступившей армии. Ничего тяжелее душевно, ничего труднее и невыносимее не бывает, чем писать в газету в такие дни, в такой обстановке. Я уже испытал это и независимо ни от каких обстоятельств хотел ехать в Одессу.

Халип на минуту замялся. Я его понял. Человеку, который впервые ехал на фронт и в первые же дни увидел то, что он увидел, было жутковато ехать в полную неизвестность. Но, когда я твердо сказал ему, что поеду в Одессу, и предложил, если он хочет, разделить — я поеду туда, он пока останется здесь, а потом мы объединимся, — он ни секунды не колебался и сказал: раз поехали вместе, всюду и будем вместе.

Маслов обещал выяснить, каким образом можно добраться до Одессы, и ушел, посоветовав нам пока отдохнуть. Я растянулся под яблонями и стал читать «Тихий Дон». Вернувшись, Маслов сказал, что в Одессу ходят суда Азовской военной флотилии, штаб которой базируется сейчас в Мариуполе. Туда эвакуируются из Одессы раненые, а оттуда везут в Одессу боеприпасы, и нам, чтобы добраться до Одессы, придется поехать сперва в Мариуполь. Это был крюк километров на полтора-два на

юго-восток, но делать было нечего. Других путей мы не знали и решили ехать в Мариуполь.

Демьянов менял в автороте вышедшее из строя сцепление, и нам пришлось заночевать у Маслова в сенах с тем, чтобы ехать наутро.

Запасшись из штаба фронта бумагой с приказанием перебросить нас в Одессу, мы двинулись в штаб флотилии.

По дороге на Мариуполь мы стали свидетелями довольно скверной истории. Сначала мимо нас проехало несколько подводов с красноармейцами, потом издали, с поля, заметив нашу машину, нам стали махать руками какие-то люди. Мы остановились. К нам подбежали двое, оба немолодые, и стали совать нам документы в таком волнении, что ничего невозможно было понять. Наконец выяснилось, что это председатель и бухгалтер здешнего колхоза. Они дали с бахчи много арбузов красноармейцам, приехавшим на подводах, но потом последняя подвода отстала и с нее соскочил красноармеец, который стал требовать еще арбузов, ругался и даже пригрозил гранатой. Старики арбузов так и не дали, а нас остановили на предмет наказания виновного. Посадив обоих стариков на машину, мы развернулись и догнали уходившие подводы. На задпой сидел тот самый красноармеец, который угрожал старикам гранатой.

Происшествие было отвратительное, и надо было как-то успокоить стариков. Я выругал виновника, а старшему по команде, сержанту, ехавшему на передней подводе, приказал довести до сведения командира части о случившемся. Подводы поехали дальше, а старики немножко успокоились.

— Мы что, нам не жаль арбузов. Вот смотрите, гора арбузов у них на подводах навалена. Так он захотел еще те, которые не снятые. Мы не против дать арбузы, мы даем. Но если он на нас с гранатой!.. У меня у самого три сына в армии,— снова начал сердиться один из стариков.

Еще раз успокоив его, мы тронулись дальше.

До Мариуполя оказалось больше, чем мы думали,— двести с чем-то километров. Часть пути я сидел за баранкой сам — живот по-прежнему болел. На полпути остановились в какой-то колхозной столовой. Это было большое украинское село. В столовой, в которую мы поднялись на второй этаж по дощатой наружной лестнице, продавали виноградное вино, молоко, огромные оладьи, жирный борщ. Что-то веселое и доброе было в этих деревянных струганых столах, в обильной еде, в приветливых, здоровых, красивых девушках-подавальницах. У меня было горькое чувство оттого, что мы в прошлом иногда раньше, чем это происходило в действительности, начинали писать, что люди стали жить в до-

статке, по-человечески, а теперь, когда они, как здесь, например, действительно стали жить по-человечески, все это летело к черту. Горе, смерть, отчаяние — все это находилось отсюда уже в пределах всего нескольких часов пути на машине по хорошей дороге.

Наша «эмка» с ее пятнистой серо-зеленой маскировкой, с закатанным брезентовым верхом здесь, где люди еще не расстались с представлением, что они живут в глубоком тылу, производила подозрительное впечатление. В столовой ко мне подошел милиционер и осведомился, откуда мы и куда. Я показал ему свое удостоверение, но на дальнейшие вопросы отвечать отказался, считая их проявлением излишнего любопытства местной власти.

В следующей деревне следующий милиционер уже пытался нас задержать. Я предъявил ему документы и, считая это вполне достаточным, поехал дальше. Это ему не понравилось. Он кричал нам вслед и даже пытался бежать за машиной. На дороге перед следующей деревней нас встретила целая толпа людей с охотничьими ружьями. Они тоже желали проверить наши документы. Я обозлился, но командир этого отряда, симпатичный розовощекий парень, отвел меня в сторонку и тихо и доверительно сказал мне, что милицией прислано сообщение, что мимо них должны будут проехать подозрительные люди, «вроде как бы налетчики». Вот почему они и бросили все в поле и прибежали сюда со своими охотничьими ружьями, так как они являются отрядом местной самообороны.

— Я, конечно, не сомневаюсь, товарищ командир, что вы есть действительно вы, но волнуется народ.

Чтобы народ не волновался, я показал ему все имевшиеся у меня бумаги, и он, успокоившись, отковырял вслед машине, приложив руку к кепке.

Я считал, что этим все и кончилось. Но в следующей деревне нам опять стал махать руками милиционер. Я сказал Демьянову, чтобы на этот раз он дул мимо милиционера полным ходом, как бы тот ни кричал и ни махал. Мы проскочили милиционера и деревню и через несколько километров подъехали к районному центру. Здесь у самого въезда нас дождалась уже целая группа милиционеров. Чувствуя, что с этим надо как-то покончить, мы остановили машину и спросили, чего они от нас хотят. Они хотели, чтобы мы заехали в местное отделение НКВД. Я посадил двух милиционеров на подножки, и мы поехали прямо в отделение.

Местный уполномоченный сидел в маленькой комнате за столом лицом к двери и поначалу, когда я зашел, был суров и за-

явил, что должен нас задержать. Забавно было то, что как раз над головой этого сурового мужчины висел портрет не кого иного, как Льва Захаровича Мехлиса, чья подпись стояла на бумаге об оказании мне содействия при выполнении задания «Красной звезды».

Бумага эта, извлеченная из кармана гимнастерки, ускорила наши переговоры с уполномоченным, и мы двинулись к Мариуполю. Когда подъезжали к городу, уже темнело. На фоне потемневшего неба были видны багровые отсветы домашних печей Мариупольского завода.

Случайно встреченный моряк взялся показать нам, где находится штаб Азовской флотилии. Он помещался в каком-то большом здании в нескольких километрах от города. Командующего флотилией не было, и мы попали к начальнику штаба. И сразу же смогли оценить точность информации, полученной нами от комиссара штаба фронта. Оказалось, что ни суда Азовской флотилии и никакие другие суда отсюда в Одессу не ходят по причине полной бессмысленности этого занятия; все, что ходит в Одессу, ходит туда из Севастополя, в крайнем случае — из Новороссийска.

До сих пор не понимаю, как отправлявшим нас в Мариуполь товарищам из штаба Южного фронта, да и нам самим не пришла в голову простая мысль, что ближайший морской путь в Одессу все-таки лежит из Севастополя, а до Севастополя в то время можно было добраться сухим путем...

Выраженное в дневнике недоумение, как мог комиссар штаба Южного фронта по неосведомленности послать нас в Мариуполь, в штаб Азовской флотилии, чтобы мы оттуда добирались в Одессу, не вполне оправдано. Штаб фронта отделяло от Одессы триста пятьдесят километров; от Херсона, через который отступали последние левофланговые части Южного фронта, до Одессы было тоже без малого двести километров. Оставшаяся оборонять Одессу Приморская армия к 18 августа, когда мы уезжали из штаба Южного фронта, в сущности, уже была для него отрезанным ломтем. Из штаба фронта уже не могли ни управлять оставшимися в Одессе войсками, ни снабжать их и, видимо, не имели точного представления ни о том, что там происходит, ни о том, как туда теперь практически добираться.

А на следующий день, 19 августа, пока мы ехали из Мариуполя к Генцеску, Приморская армия уже и официально перестала подчиняться Южному фронту.

В этот день приказом И. В. Сталина был создан Одесский

оборонительный район, в состав которого вошли части Приморской армии. Командующим районом был назначен контр-адмирал Жуков, в свою очередь непосредственно подчиненный командованию Черноморским флотом.

Входившие раньше в состав Южного фронта части Приморской армии продолжали играть в обороне Одессы огромную роль, но отныне Одесса со всеми оборонявшими ее войсками становилась, если можно так выразиться, сухопутным бастионом Черноморского флота. Это подчеркивалось тем, что во главе оборонительного района был поставлен морской начальник, и, оглядываясь назад, стоит напомнить, что именно это как нельзя более своевременное решение — возложить общую ответственность за оборону Одессы на Черноморский флот — сыграло большую роль и в длительности ее обороны, и в успешной, а точнее сказать, самой образцовой за всю историю войны эвакуации войск морем.

...Обратно в Марнуполь мы поехали другой дорогой, через гору, с которой город был виден сверху. Отсюда, сверху, он представлял странное зрелище. Все дома в городе были наглухо затемнены, а огромные протуберанцы от доменных печей стояли в небе над городом.

Заночевали в Доме крестьянина. Дом был построен четырехугольником; внутри четырехугольника, во дворе, стояли телеги. Мы поднялись по лестнице паверх под дощатый навес. Дежурная, милая ласковая девушка, посетовав, что нет ни одного места в комнатах, устроила нас под этим навесом, дала подушки, одеяла и простыни.

Утром мы решили немедленно ехать в Севастополь вдоль побережья через Бердянск, Генчеськ и Чонгарский полуостров. Дорога вдоль побережья оказалась прекрасной, кое-где асфальт, кое-где плотная грунтовка. Вдоль дороги колосились тучные хлеба. Убирали и вывозили урожай. Работало много тракторов и комбайнов. На полях повсюду виднелись люди. И снова, как это уже часто бывало, казалось, что никакой войны нет.

До Генчеська добрались за час до темноты. Сверху нашим глазам открылось море, и нам невероятно, отчаянно захотелось сейчас же купаться. Не заезжая к коменданту, мы поехали прямо к пристаням, мимо рыбацких лодок и баркасов. В море купались летчики и девушки в купальных костюмах и шапочках. Это было как-то странно, и казалось совсем давним и забытым, что вот можно так приехать на юг, купаться в море, видеть этих девушек в купальных шапочках.

Азовское море оказалось таким мелким, что мы добрых полкилометра трудились, шагая по песку, пока добрались до глублины, на которой можно было кое-как плавать.

В Геническе, видимо, прибывали новые части. Город был полон военными. Командант, молоденький лейтенант, миляга парень, устроил нас ночевать у себя и угощал чаем с леденцами всех цветов радуги. Машина наша стояла тут же во дворе. С моря дул теплый ветер. Парило.

Мог ли я думать, что через месяц из этого тихого и милого приморского городка, где мы купались около рыбацких баркасов, немцы будут лупить по мне, ползущему по земле, из пулеметов и минометов, и что мы тоже будем бить по этому городку из дальнобойной морской артиллерии, и что мне придется присутствовать при обсуждении плана, как потопить здесь, в Геническе, оставшиеся не угнанными в Крым рыбацьи баркасы...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

...Утром, проехав через Чонгарский мост, на котором часовой проверил наши документы, мы были в Крыму и часам к десяти добрались уже до Джанкоя. Повсюду были расклеены приказы командующего войсками Крыма генерал-лейтенанта Батова. У Чонгарского моста, на перешейке, по дороге на Джанкой что-то возводили, строили, укрепляли. Двигались войска. Чувствовалось, что Крым готовится к обороне. И хотя, с одной стороны, пора бы уже привыкнуть к тому, что многое нужно готовить заранее, и надо было радоваться, что это делается здесь, и делается своевременно, но, с другой стороны, было тяжелое чувство: неужели мы не надеемся удержаться на Днепре? Днепр казался мне той крайней границей, где на Украине должны оставаться немцы, через которую мы их не пустим...

Сказанное в дневнике нуждается в уточнении. Отдельная 51-я армия была создана приказом Ставки 14 августа, за шесть дней до нашего приезда в Крым. Видимо, приказы, которые мы увидели расклеенными в Крыму за подписью генерал-лейтенанта Батова как командующего войсками Крыма, были уже недельной давности. 19 августа в командование 51-й отдельной армией, на которую была возложена оборона Крыма, вступил генерал-полковник Кузнецов, командовавший в первые дни войны Северо-Западным фронтом, а Батов стал его заместителем,

Возвращаюсь к дневнику.

...Перед Джанкоем у нас окончательно доломалось правое крыло. Я во время своей езды за рулем принял в этом посильное участие. Мы остановились на окраине города возле какого-то заводика и попросили директора. Навстречу нам вышел прихрамывающий молодой парень, в прошлом главный механик, а сейчас по совместительству и главный механик, и главный инженер, и директор завода. Один за всех, взятых в армию. С завода в армию взяли много людей, но оставшиеся работали воевсю. Все было как-то здорово по-хорошему. Слесари взялись заклепать наше сломанное крыло. Сварщика не было, он ушел в армию. В столовой нас напоили молоком. Потом мы разговаривали с директором. Он был болен костным туберкулезом. Процесс развивался, ему все труднее становилось ходить. Он, видимо, понимал, что остановить болезнь уже нельзя, но говорил об этом без торечи, считая, что раз тут ничего не сделаешь, то нечего и жаловаться, надо работать, пока можешь.

Вообще во всей атмосфере на этом заводике, в том, как люди работали, как разговаривали с нами, какое у них было настроение, почувствовалось что-то очень хорошее, теплое, свое. Есть такие места в занятых теперь немцами областях, где ты был до этого и о которых вспоминаешь с особенной тревогой: что стало с этими людьми? Где все это? Где этот хромоу главный механик, где старики слесари, чинившие нашу машину, где девушки, поившие нас молоком? Где все эти люди? Что теперь стало с ними?

Из Джанкоя поехали в Симферополь. Дорога была хорошая. Демьянов разрешил мне сесть за баранку и отобрал ее у меня только тогда, когда я за один крутой поворот сломал две изгороди с двух сторон дороги. Он потом язвительно говорил мне, что это редкий случай, почти трюк.

Через Симферополь мы проскочили не останавливаясь, хотели пораньше добраться до Севастополя.

Вот и знакомые места. Скоро откроется бухта и будет виден Севастополь. Все кажется прежним. Только не видно больше туристских ЗИСов и «линкольников» и иногда спуют по дороге зеленые военные «эмки».

В Севастополе поехали прямо в штаб флота, к начальнику политуправления. Нас припал его заместитель бригадный комиссар Ткаченко. Там же у него сидел еще один бригадный комиссар, Азаров, который сказал, что только вчера сюда прибыл. Он понравился мне какой-то особенно хорошей улыбкой, мягкостью. Мне показалось, что он внешне чем-то очень похож на покойного Щукина, игравшего до войны Ленина.

Бригадные комиссары сказали, что военных судов на Одессу пока не предвидится, но завтра утром туда, очевидно, пойдет один тральщик, и послали нас к комиссару штаба Штейнбергу, который обещал все сделать.

Мы пошли из штаба в Дом флота, в котором расположился театр Черноморского флота. С актерами этого театра у меня было старое знакомство. Когда-то до войны они репетировали мою «Обыкновенную историю» и сейчас узнали меня и радостно встретили. Начальник Дома флота батальонный комиссар Шпилевой обещал устроить нас переночевать.

После этого, не теряя времени, пошли на Графскую пристань посмотреть на Севастопольскую бухту. Наглядевшись, решили искупаться. Купались около знаменитого севастопольского орла. Недалеко от него в край набережной ударила бомба, осколками побило постамент колонны. А вообще слухи о бомбежках Севастополя, верней об их результатах, оказались сильно преувеличенными. В городе все было цело. Немцам почти ничего не удалось разбомбить, кроме нескольких домов на окраине, куда попала одна из торпед. Правда, в порту суда двигались осторожно — там были набросаны немцами магнитные мины, и их вылавливали по новому английскому способу.

Выкупавшись, пошли в редакцию «Красного черноморца». Там оказалось много знакомого народу. Павел Папченко, Гайдовский, Лева Длигач — толстый, веселый; полосатая тельняшка, заправленная в широченные клешы, болтающийся сзади наган делали из него настоящего боцмана. Здесь же был и Ян Сашин. Как сильно война меняет людей. Он всегда был милым парнем, но, когда мы учились с ним в институте, я его почему-то не очень любил. Может быть, за излишнюю любовь к остроумам, за эстрадные повадки, за какую-то подчеркнутую инфантильную непригодность к жизни. Вот уж кого трудно было представить себе на войне! И вдруг я увидел здесь, в Севастополе, симпатичного подтянутого морячка, который, по общим отзывам, отлично, весело, безотказно работал в газете и только что вернулся из каких-то тяжелых мест, кажется, из-под Очакова.

Халип был расстроен, что у него, так же как у меня, какие-то не такие противогазы, какие носят здесь, в Севастополе. Наши противогазы были тонкие, чехлы, а здесь у ребят из морской редакции это были солидные, плотно набитые парусиновые сумки. Приглядевшись к этим сумкам, он наконец обратился к Лева Длигачу с просьбой, чтобы тот показал, какой системы у них в Севастополе противогазы. Длигач расстегнул свой противогаз и выяснилось, что устройство его весьма простое. Так как в Севастополе ношение противогазов было строго обязательно, то

догадливые морячки из редакции превратили их в склад необходимого имущества. В «новую систему» противогазов входили, кроме их основного содержимого, еще одна-две книжки для чтения, мыло, полотенце и некоторые другие предметы мужского обихода — бритвы, кисточки для бритья, а у некоторых очечники. Мы посмеялись над этим и еще долго сидели с ребятами и пили крепкий и душистый чай.

Утром комиссар штаба, как и обещал, устроил нас на тральщик, стоявший у одного из севастопольских причалов. Там мы временно распрощались с Демьяновым, пристроив его в гараж Дома морского флота. Демьянов бушевал, не хотел оставаться, требовал, чтобы мы взяли его с собой в Одессу. Он еще долго маячил с машиной на причале, прежде чем уехать.

Насчет Одессы слухи были туманные. Говорили, что там положение серьезное, но подробностей объяснять нам не стали. Тральщик был только что превращен в судно Военно-Морского Флота, и на нем еще была целиком гражданская команда, в том числе произведенный в младшие лейтенанты флота капитан — симпатичный парень, в свое время ходивший на наших торговых судах в Испанию и державший себя теперь, получив военное звание, довольно сурово. На судне еще оставались гражданские порядки, но оно считалось уже военным.

Когда Демьянов ушел, нам сказали, что тральщик снимется через полчаса, потом — через час, потом — через два часа. Так тянулось до вечера.

Услышав о тревожном положении в Одессе, мы беспокоились: уж не из-за того ли задерживают нас и не пускают никаких других судов в Одессу, что решается вопрос о ее судьбе? Не знаю, как это было в действительности, но простояли мы до утра следующего дня сначала у одной стенки, потом у другой, где нас заливали пресной водой. Капитан сказал, что вода есть на полный поход до Одессы, но нужно залить воду на обратный путь. Кто-то ответил ему, что на обратный путь можно было бы и там залиться. Он ничего не сказал, промолчал.

Этот разговор мне стал понятен только потом, в Одессе. Беляеву, из которой шел к Одессе водопровод, заняли румыны и немцы, и в городе не было воды. Ее выдавали по карточкам, и за нею выстаивались длинные очереди...

В дневнике сказано, что нас беспокоили слухи о тревожном положении в Одессе.

Тревога эта, как я вижу сейчас из документов, имела основания.

В «Отчете Черноморского флота по обороне Одессы» говорится, что в предшествующие дни «в настроениях и действиях

армейского командования проглядывала тенденция эвакуации Одессы... Несмотря на приказ Буденного Одессу не сдавать ни при каких условиях, командование частично начало эвакуацию войск и вооружения».

В мемуарах вице-адмирала И. Азарова «Осажденная Одесса» говорится, что еще 17 августа «Военный совет Приморской армии спланировал эвакуацию 2563 военнослужащих. В ответ на сообщение об этом командование Черноморского флота запретило вывозить из Одессы военнослужащих и гражданских лиц, способных носить оружие».

Вряд ли есть нужда спорить сейчас о том, кто в те дни в Одессе проявил больше, а кто меньше мужества. Как показали последующие события, незаурядную стойкость при обороне Одессы проявили все — и Приморская армия, и моряки. И причина тех столкновений, о которых упоминает Азаров, как мне кажется, не столько в недостатке у кого-то мужества, сколько в том, что, оказавшись в те дни совершенно оторванным от Южного фронта и еще не войдя в подчинение Черноморскому флоту, командование Приморской армии имело достаточно серьезные причины беспокоиться за судьбу вверенных ему войск. Если бы Приморская армия еще на несколько дней раньше была оперативно подчинена флоту и почувствовала у себя за спиной всю его мощь, то, наверно, никакой «тенденции эвакуации» вообще не возникло бы.

Нескольким дням неопределенности был положен конец 19 августа приказом Ставки о создании Одесского оборонительного района с подчинением его флоту. Приказ был получен в разгар нового ожесточенного наступления немцев и румын на Одессу. Когда мы сидели на борту тральщика, это наступление продолжалось и его все еще не удавалось остановить. Соотношение сил под Одессой было примерно четыре к одному в пользу румын и немцев. Буквально все документы тех дней свидетельствуют об остроте положения.

В боевом донесении штаба Одесского оборонительного района за 20 августа (день нашего приезда в Севастополь) сказано: «Войска Одесского оборонительного района 18 и 19.VIII.41 г. вели особенно напряженные бои с значительно превосходящими силами противника... Введя в бой до шести пехотных, одной кавалерийской дивизии, одной бронетанковой, противник к исходу 19.VIII.41, прорвав фронт... продолжает развивать наступление... Наши части... понесли в боях значительные потери... (свыше 2000 раненых), задерживаясь на промежуточных рубежах, отходят».

В этот же день командиры оборонявших Одессу дивизий получили приказ — к утру 21 августа «расформировать все дивизии».

зионные тыловые части, весь личный состав обратить на доукомплектование боевых частей».

В тот же день, 20 августа, командиром 25-й стрелковой Чапаевской дивизии, находившейся на направлении главного удара противника, был назначен генерал-майор Иван Ефимович Петров. Прежние командир и комиссар дивизии были сняты, а Петрову было приказано восстановить положение, объединив под своим командованием 25-ю стрелковую и 1-ю кавалерийскую дивизии, которой он командовал до этого. Во всех донесениях за этот день говорится о тяжелых потерях. 287-й полк 25-й стрелковой дивизии зацепился 20 августа за тот самый рубеж у хутора Красный Переселенец, где мы потом его и застали, но это дорого ему стоило — к вечеру в ротах осталось по 15—20 человек.

Немцы стремились к захвату Одессы уже давно. В служебном дневнике Гальдера за 18 июля, то есть больше чем за месяц до событий, о которых идет речь в дневнике, записано: «Согласно указанию фюрера теперь следует овладеть Одессой. Для выполнения задачи можно использовать только корпус Ганзена в составе двух германских и большого количества румынских дивизий».

В листовке румын, подписанной «командиром военного участка города Одессы» корпусным генералом А. Соном и сброшенной самолетами еще 13 августа, перед началом наступления на Одессу, говорилось: «Всем бойцам. Многочисленная румынская армия окружила город Одессу. Для того чтобы избавиться от жидов и коммунистов, еще до начала штурма советую вам сдаться в плен».

Штурм, о котором шла речь в листовке, имел своей наивысшей точкой 20—21 августа. 22-го, когда мы ушли на тральщике в Одессу, и в следующие дни, когда мы были там, штурм еще продолжался, но, несмотря на ожесточенные бои, положение начинало стабилизироваться. Самая критическая точка развития событий осталась уже позади.

...Ночью по пеху шарили прожекторы. Мы устроились спать на плоской крыше рубки радиста. Когда прожекторы погасли и небо стало совсем черным, почувствовался юг и снова — в который раз — показалось, что нет никакой войны.

Утром к тральщику подошел большой баркас с работниками одесской милиции. Насколько я понял, это была та часть работников, которая после окружения Одессы самовольно эвакуировалась оттуда и теперь возвращалась. Их было человек тридцать, и я никогда еще не видел людей, до такой степени обвешанных оружием. Разве что некоторых фотокорреспондентов. У них были

ППШ, полуавтоматы, карабины, по одному или по два револьвера, гранаты РГД, гранаты-«лимонки». Кроме всего этого, имелось еще и несколько ручных пулеметов. Как и всякие излишние вооруженные люди, они своим видом вызывали улыбку. Они привезли с собой на тральщик двух девушек, которые тоже возвращались в Одессу. Капитан походил вокруг них с недовольным видом, потом долго говорил о чем-то с комиссаром тральщика и, вызвав к себе радиста, кудрявого разговорчивого паренька, который вчера оказал нам гостеприимство на крыше своей рубки, отдал ему какое-то приказание.

Через час к борту подошел катер портовой службы, и двух бедных девушек списали с тральщика так же быстро, как и привезли на него, при пегодующих возгласах тридцати вооруженных до зубов мужчин.

Кто-то из ехавших объяснил капитану, что это хорошие жепщины, товарищи в полном смысле этого слова и что совершенно напрасно он не захотел взять их. Но капитан был неумолим.

Наконец наш тральщик стал выходить из Севастопольской бухты. Перед нами открыли боновую сеть, потом закрыли ее за нами, открыли вторую боновую сеть, снова закрыли, и мы вышли в открытое море. За нами следовал еще один транспорт, нас сопровождали три морских охотника. Однако после двух часов хода два охотника отстали, и с нами остался только один, шпырявший в море, то обгоняя нас, то возвращаясь назад ко второму транспорту, то снова выскакивая вперед.

Мы дошли до Тендеровой косы и стали поворачивать от нее в открытое море к Одессе. Теперь, когда мы оказались вне зон действия наших, стоявших на крымских аэродромах истребителей, на тральщике одна за другой начали объявляться боевые тревоги. Сначала появился один немецкий разведчик. Он долго крутился над нами. Долго и высоко. Он не пытался снижаться, а из тех пушек, которые были установлены на тральщике, стрельба по самолету на такой высоте была переальным делом. Потом пришла тройка самолетов. Самолеты долго кружили над нами, не сбрасывая бомб. По ним стрелял из пушек наш тральщик, стрелял шедший сзади транспорт, стрелял охотник, стремившийся во время их заходов выйти навстречу и бивший из стоявшей на носу сорокапятимиллиметровой пушечки.

Целый час прокрутившись над нами, самолеты снизились и начали бомбить. Первая серпя бомб упала довольно далеко. Сама бомбежка поначалу не показалась мне страшной. Я больше боялся результатов того ожесточенного ружейно-пулеметного огня, который со всех сторон открыли ехавшие с нами работники одесской милиции. Должно быть, этих ребят крепко накачали за то,

что они преждевременно покинули Одессу, и они возвращались после этой качки в воинственном настроении и душили из винтовок и пулеметов так, что по пароходу было опасно передвигаться. Бомбардировщики сделали второй заход и на этот раз положили бомбы между нами и шедшим за нами транспортом, ближе к нему, чем к нам, потом развернулись и улетели.

На душе стало легче. Кроме нас, грешных, тральщик вез полный трюм снарядов, часть этого груза, не поместившаяся в трюме, была наверху, на палубе, под брезентом.

Шедший за нами транспорт повернул и на всех парах, сильно дымя, пошел в сторону от нас, к берегу. Бомбы упали сравнительно далеко от него, и не думаю, чтобы он мог быть поврежден. Скорее всего у него было другое задание, чем у нас, и он шел не на Одессу.

Охотник отстал, потом снова нагнал нас. Мы продолжали двигаться к Одессе. Вскоре в небе появилось еще два самолета незнакомого мне вида, должно быть, итальянские. Они крутились над нами, но бомб не сбрасывали. Еще через час пришла тройка бомбардировщиков и начала бомбить с большой высоты. Бомбы ложились далеко от нас. И мы и охотник били из пушек по самолетам. Потом один из самолетов спикировал ниже других, охотник выскочил ему наперерез на встречном курсе и, видимо, попал в него из пушки. Самолет начал быстро вкось спускаться куда-то за горизонт. За ним тянулась струя дыма, и он исчез из вида.

У нас на тральщике было обычное в таких случаях ликование. Появились неизвестно откуда взятые подробности, вроде того, что «он ему аккурат врезал посередине крыла — левого, нет, правого». Остальные два бомбардировщика, сбросив еще несколько бомб, ушли.

Поглядев на часы, я сообразил, что вся эта история в общей сложности продолжалась больше пяти часов.

Уже в полутьме в море курсом с запада на восток показались пять низких белых бурунов. Стало ясно, что это торпедные катера. Но чьи? Скорей всего наши, но на тральщике на всякий случай объявили боевую тревогу. Катер проскочил мимо нас. Это были наши катера, возвращавшиеся на свою базу.

Наступила темная ночь. Начало покачивать. По палубе проходил капитан. Я сказал ему, что нам везет — ночь очень темная,

— Темная? — переспросил он. — А вы пойдите на корму, посмотрите назад!

Я пошел на корму и увидел там за винтом на абсолютно черной воде длинную белую фосфоресцирующую полосу, хорошо заметную с воздуха. В небе что-то гудело, потом перестало. Потом

опять загудело. Потом высоко наперерез нам прошел самолет с одним зажженным бортовым огнем.

Я пристроился на койке в каюте второго помощника, а Яша устало присел на диванчике. Мы оба тревожились, как сойдет этот переход до Одессы, но тревожились по-разному. Он даже не мог себе представить, как это можно сейчас спать, а я, наоборот, хотел во что бы то ни стало заснуть. Как и в других случаях, когда я отчего-нибудь трусил, мне хотелось, если удастся, переспать опасность.

Я уснул и вдруг услышал, как меня трясут за плечо.

— Что?

— Сейчас по борту прошла торпеда.

— Уже прошла?

— Да.

Задним числом страха из-за этой уже прошедшей торпеды я не испытал. Наверно, потому, что проспал тот момент, когда на корабле кричали: «Торпеда!» Но Яша слышал этот крик, был еще полон переживаний и почему-то тащил меня на палубу. Мне было лень туда идти, и я снова заснул.

Но он через некоторое время снова меня разбудил:

— Костя, тебя к капитану.

Я вскочил.

— Что случилось?

Он стал шепотом рассказывать мне, что сейчас к нему на палубе подошел радист, обходивший всех стоявших там людей и спрашивавший: «Вы кто?» Они в темноте отвечали ему, кто они. Так он наткнулся на Яшу. «А вы кто?» — «Корреспондент». — «Вот вас нам и нужно. Где ваш товарищ? Идите и срочно приведите его к капитану».

Все последующее можно понять лишь с учетом того, что тральщик был сугубо гражданским судном и шел в свой первый военный рейс и что я со своими двумя шпалами представлялся капитану старшим военным начальником на корабле.

Я оделся, взял револьвер и в непролазной темноте вскарабкался на капитанский мостик. Капитан стоял в мокрой от брызг кожанке. На море сильно качало.

— Симонов? — спросил капитан.

— Да.

— У вас оружие есть?

— Да.

— Выньте его.

Я вынул револьвер.

— Идите за мной.

Мы спустились с ним с капитанского мостика куда-то вниз.

потом свернули и остановились у маленькой двери. Капитан сказал шепотом:

— Там!!! — и указал рукой на дверь. — Кто-то там сигнализирует самолетам. Или человек, или специально оставленный аппарат.

— Человек? — удивленно спросил я. — Но ведь он потонет вместе с нами, если что-нибудь случится.

Капитан пожал плечами.

— Все равно кто-то сигнализирует, — сказал он. — Пошли.

Он толкнул дверь и втащил вместе с собой куда-то в тесноту меня и комиссара. По полному своему незнанию корабельной анатомии я предполагал, что мы спустимся сейчас в какие-то тартарары, в трюм. Так я читал в юности в разных романах, что негодяи прячутся обязательно в трюмах и их там разыскивают с фонарем в одной руке и револьвером в другой.

Я втиснулся вместе с капитаном через маленькую дверцу, осторожно нащупывая впереди себя ногой, чтобы не провалиться в какой-нибудь люк.

— Закрыл? — спросил капитан комиссара.

— Закрыл.

Капитан пошарил по стене и щелкнул выключателем. Я был удивлен. Оказалось, что это совсем не трюм и не тартарары, а маленькая штурманская каюта с двумя стульями, столом и большим диваном. Единственным местом, где в этой каюте мог спрятаться сигнальщик, был диван. И когда капитан решительно взялся за этот диван, чтобы открыть его, у меня мелькнула глупая мысль, что оттуда, из-под дивана, ведет вниз какой-то люк. Но это был просто-напросто диван. И когда было приподнято сиденье, там не оказалось ничего, кроме каких-то мелочей.

Я пристыженно спрятал свой револьвер. Но капитан оставался крайне серьезным. Он отодвинул лежавшие внутри дивана тряпки, и там внутри действительно обнаружили ввинченные в переборку две электрические лампочки. Мы с полминуты постояли в молчании. Лампы зажглись и потухли. Потом снова зажглись и снова потухли. Они зажигались и гасли через одинаковые интервалы.

Капитан приказал вызвать в каюту корабельного электрика. Пока за ним ходили, между капитаном и комиссаром шло обсуждение: как лучше взяться за электрика? Решено было сразу огорчить его прямым вопросом: для чего он включает здесь эти лампы? А лампы все продолжали включаться и выключаться.

Через несколько минут пришел корабельный электрик, спокойный пожилой человек. Когда его спросили — резко, как на допросе, — он вдруг засмеялся.

— Что же, вы меня диверсантом решили сделать? Это же когда лаг одну десятую кабельтова делает, то лампы дают контакты и вспыхивают, отмечая, что десятая пройдена. Сейчас они опять загорятся.

Оказалось, что в штурманской рубке, где мы сейчас стояла часть крыши была стеклянной, а в диване около валика была деревянная щель. И так как в каюте был выключен всякий свет, а часть крыши до середины почти оставалась не закрытой брезентом, лучик света от этих ламп был замечен с капитанского мостика.

Всём стало стыдно. Немножко меньше мне, немножко больше капитану и комиссару. А причиной всей этой истории было конечно, нервное состояние. Первый военный рейс, бомбежки, непрерывное гудение самолетов, прошедшая по борту торпеда... Капитан, словно оправдываясь перед электриком, стал говорить, что торпеда прошла совсем близко и вообще черт знает какая беспокойная ночь!

Я вернулся в каюту и проснулся только на рассвете. На горизонте виднелась Одесса. Было холодное утро. Знакомый город казался более серым и строгим, чем обычно. Когда мы подошли поближе, стали видны сильно разрушенные здания на спускавшихся к порту улицах...

Несколько слов в дополнение к тому, что сказано в дневнике о нашем путешествии.

Тральщик, на котором мы шли в Одессу, назывался «Делегат». Это была грузовая моторная шхуна водоизмещением 2 тысячи тонн, с ходом в 9,1 узла, старая и потрепанная. Комиссия мобилизационного отделения штаба флота в июле 1941 года даже отказалась было принять «Делегат» от Азовского пароходства, но, видимо, обстоятельства вынудили переменить решение и «Делегат», числясь тральщиком, пробыв в составе Военно-Морского Флота до 27 октября 1941 года. В этот день он потонул в Керчи «во время бомбежки порта в результате близких взрывов и прямого попадания бомбы».

За полтора месяца до своей гибели, 15 сентября 1941 года «Делегату», как свидетельствуют документы, удалось отразить атаку шести пикирующих самолетов, которые сбросили на корабль двадцать две бомбы. Бомбы упали вокруг корабля, осколками ранены четыре человека. Личный состав тральщика мужественно отражал налет вражеских самолетов». Вот и все, что я смог узнать о судьбе этого маленького, мобилизованного в флот гражданского судна, которое три месяца, вплоть до своей гибели, исправно несло военно-морскую службу.

О капитане «Делегата» документы позволяют сказать больше.

Во время рейса, которым мы шли, и вплоть до гибели «Делегата» тральщиком командовал Валерий Николаевич Ушаков. Призванный из запаса в звании младшего лейтенанта, он был, как же как и его отец, потомственным моряком и плавал до войны на торговых судах третьим, вторым и старшим помощником капитана. В его автобиографии сказано, что он «был во всех странах света, кроме Австралии». «В 37—38-м сидел в тюрьме в Испании на острове Майорка в числе экипажа парохода «Зырянин». За время войны имел контузию, 27 октября 41 г. Был ранен в колено левой ноги 19 апреля 42 г. и в голову 24 сентября 42 г.».

После гибели «Делегата», в момент которой Ушаков был контужен, его назначили командиром плавбазы «Львов». На этом санитарном транспорте Ушаков совершил сто двадцать один рейс и перевез на нем 34 тысячи человек, из них 23 тысячи вывез из Крыма. В своей автобиографии Ушаков после упоминания о ранениях и контузии написал: «Имею диплом капитана дальнего плавания». Но ходить после войны в дальние плавания ему не пришлось. Как свидетельствует личное дело Ушакова, став в 1945 году командиром отряда учебных кораблей, он умер 3 ноября 1946 года, тридцати четырех лет от роду, находясь в звании капитана 3-го ранга. Медицинского заключения в личном деле не оказалось, и лишь недавно от капитана дальнего плавания Сергея Мироновича Шапошникова, одного из друзей Ушакова, я узнал, что причиной ранней смерти этого блестящего моряка, на самые превосходные аттестации которого не скупились его начальники, была трагическая случайность — самопроизвольный выстрел во время охоты.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

...Мы сошли в Одесском порту и, закинув за спину рюкзаки, потихоньку двинулись наверх, в город. Улицы были совершенно пустынные, особенно в портовой части. Дома были одинаково молчаливые — и целые, и разрушенные. Поначалу казалось, что город вымер. Но чем выше и ближе к центру, тем нам все чаще стали попадаться люди. Потом мы увидели несколько не особенно многолюдных очередей около магазинов. Потом прошел один, другой, третий трамвай. Все улицы были перегорожены баррикадами. Некоторые из них были сложены на совесть из камней, мешков с песком в несколько рядов, с дере-

вянными амбразурами для винтовок и пулеметов, с противотанковыми рогатками, сваренными из двутавровых балок. У некоторых баррикад торчали врытые в землю у их подножия, вкось, поставленные толстые водопроводные и канализационные трубы. Они напоминали стволы орудий и имели угрожающий вид.

К девяти утра мы добрались до штаба Приморской группы. Он помещался на противоположном конце города. После довольно длинной возни с пропусками и переговоров по телефону мы попали в здание штаба. В политотделе нам сказали, что член Военного совета Кузнецов скоро вернется. Мы положили вещи и сходили позавтракать.

В подвале здания штаба было пескостолко маленьких комнат, в них стояли накрытые скатертями столики, на столиках цветы. Бойко бегали девушки-офицантки. Нас хорошо накормили и взяли за все удовольствие рубль на двоих.

Бригадный комиссар Кузнецов по первому впечатлению показался мне недавним штатским человеком. Так оно и было. До войны он был секретарем Измайловского обкома партии и отступал сюда вместе с армией с Дуная. В разговоре с нами он ругал 9-ю армию, которая при отходе на Николаев утащила у них одну из трех дивизий и без того немногочисленной Приморской группы войск.

Одессу защищало значительно меньше войск, чем это думали и до сих пор думают те, кто там не был. В день нашего приезда оборону вокруг города занимали сильно потрепанные беспрерывными шестидесятидневными боями 25-я и 95-я кадровые стрелковые дивизии, только что организованный полк морской пехоты, полк НКВД и несколько наспех созданных небольших отдельных частей, в том числе так называемая 1-я кавалерийская дивизия, состоявшая из бывших котовцев и буденновцев. Ее организовал генерал-майор Петров, ко дню нашего приезда ставший уже командиром 25-й дивизии.

Обе кадровые дивизии, входившие в Приморскую группу, так хорошо держались в боях под Одессой отчасти еще и потому, что обе ни разу за время войны не отступали под натиском врага, а отходили только по приказу, чтобы не оказаться обойденными, когда немцы прорывали фронт севернее. Отходили, каждый раз резко отрываясь от противника и выводя всю материальную часть.

Кузнецов посоветовал нам поехать к Петрову. 25-я дивизия занимала оборону на левом фланге у Дальника. Потом Кузнецов рассказал нам, что оставшиеся после эвакуации подсобные цехи одесских заводов и мастерских палатили за эти дни производство минометов, а кроме того, чинят танки.

Нам выделили полуторку, и мы остаток дня ездили по городу, решив отправиться к Петрову завтра с утра. Со стороны лиманов по городу была тяжелая артиллерия. Была нечасто. В городе к этому уже успели привыкнуть.

Яша снимал одесские баррикады. Это было не так-то просто. Работавшие на строительстве баррикад одесситы, в особенности девушки, завидев человека с фотоаппаратом, поворачивались и пристально, не сводя глаз, смотрели на него.

Ближе к вечеру мы с одним из работников 7-го отдела поехали в бараки, где жили военнопленные немцы и румыны. Немцев под Одессой было мало, они попадали одиночками, а румын, взятых за последние два дня и еще не отправленных морем в Крым, накопилось человек двести.

В помещение комендатуры привели румынского майора — командира танкового батальона. Привели и почти сразу же увели на допрос. Потом появился румынский капитан, который отрекомендовался мне убежденным англофилом и германофобом и высказал свои соображения о губительности этой войны для Румынии. Трудно было решить, где копчались его истинные убеждения и где начинался страх за жизнь. Мне показалось, что в его словах было и то и другое.

Халип решил снять во дворе всех находившихся в лагере пленных. Румынский капитан энергично стал помогать ему в организации съемки. Он командовал, строя пленных то в две, то в четыре шеренги.

Когда пленных отвели обратно в помещение, то двух человек оставили для разговора со мной и рассказали мне их историю: эти два крестьянина, подносчики снарядов в расчете румынского полевого орудия, когда командир орудия и все остальные бежали, дождались около орудия наших, подняли руки, а когда их взяли в плен, попросили разрешения ударить из своей пушки по расположению немецкой батареи, которая была в полутора километрах оттуда и местонахождение которой они знали. Им разрешили, и они выпустили по немецкой батарее весь боекомплект.

Я поговорил с ними. Оба они были люди уже не первой молодости, лет под сорок, с хорошими простыми крестьянскими лицами, с вполне очевидным и явным нежеланием воевать. Мне показалось, что, если разобраться психологически, они, очевидно, стреляли из своей пушки не столько из ненависти к немцам, сколько просто из желания хоть чем-то отблагодарить наших бойцов, которые взяли их в плен, не убили и раз навсегда избавили от этой войны.

Вернувшись в Одессу, мы забрались на верхний этаж в отведенную нам комнату. Это была небольшая классная комната

с четырьмя койками, учительским столом и сваленным в углу оружием. До войны в этом доме был какой-то институт. Мы сели с Халипом за стол, по-студенчески накрыли его газетой, вытащили еще оставшиеся у нас харчи и недопитую бутылку коньяка.

Ночь была тихая. Лишь изредка то здесь, то там с интервалом в 10—15 минут рвался дальнобойный снаряд. Выпили за Одессу и за Москву, заснули поздно, а на рассвете выехали на полutorке по направлению к Дальнику, в 25-ю дивизию...

В одном из моих написанных в сорок первом году стихотворений есть отзвуки этой первой проведенной в Одессе ночи:

...Ночью бьют орудья корпусные...
Снова мимо. Значит, в добрый час.
Значит, Вы и в эту ночь в России —
Что Вам стоит — вспомнили о нас...

Но стихи эти были написаны позже и не в Одессе. А там, когда мы через два дня вернулись из 25-й дивизии, написались совсем другие стихи, в которых ни Одесса, ни все происходившее в ней не упоминались ни единым словом.

Вдруг почему-то, может быть, после того, как мы с Халипом потерпелись некоторого страху, у нас зашел разговор на темы жизни и смерти.

Не особенный любитель серьезных разговоров на этот счет, я сказал, что сейчас сяду и напишу смешные стихи о собственной смерти. И если, когда я их прочту, Халип будет смеяться, то с него причитается после нашего возвращения из Одессы первая же бутылка коньяку или вина, которую ему повезет добыть.

Стихи написались с маху, без поправок, за полчаса или час. И начинались прямо со смерти:

Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным имуществом,
Если скажет он: выбирай?..

Халип, слушая их, рассмеялся и признал, что после возвращения из Одессы проигранная бутылка за ним.

Когда я диктовал дневник, стихи эти еще не были напечатаны, да и вообще все это было еще слишком близко и недавно для того, чтобы вспоминать, когда, что и почему писалось.

Над такими вещами в большинстве случаев если и задумаешься, то много лет спустя.

...Расстояния до передовой в Одессе были мизерные, и мы, не учтя этого обстоятельства, проскочили по дороге невольно далеко вперед, никак не предполагая, что оставшаяся сзади нас слева от дороги большая деревня и есть тот самый Дальник, где стоит штаб 25-й дивизии. Мы ехали вперед до тех пор, пока не уперлись в огневые позиции полковой артиллерии. Командовавший там лейтенант на заданный нами между двумя залпами вопрос, где штаб дивизии, только пожал плечами и махнул рукой назад. Здесь, на передовой, ему, наверно, казалось, что Дальник и расположенный там штаб дивизии где-то черт знает как далеко, в глубоком тылу.

Мы развернули машину, поехали обратно к Одессе и, свернув на проселок, въехали в Дальник.

Дальник оказался большим южным селом. Часть домов в нем была совершенно цела, они стояли чистенькие, беленькие, как ни в чем не бывало, а другие дома тут же, рядом, были безраздельно разбиты.

Штаб помещался на краю села. Ни командира, ни комиссара дивизии мы не застали. Нам сказали, что они уехали в полк, и порекомендовали, если мы сами тоже хотим ехать туда, поехать в полк к комиссару Балашову и командиру с татарской фамилией, которая выскочила у меня из памяти. Этот командир был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, но про полк еще говорили как про его полк.

Перед отъездом нам предложили посмотреть политдонесения. Я не любил заниматься этой работой, и в нескольких случаях, когда все-таки пробовал что-то написать по политдонесениям и другим документам, у меня это плохо получалось. Видимо, для того, чтобы что-нибудь понять, мне нужно или увидеть это самому, или, по крайней мере, хоть слышать рассказ живого свидетеля, который я сначала записываю таким, какой он есть, а потом уж начинаю думать, как написать об этом в газете.

Я сказал, что политдонесения мы посмотрим на обратном пути, а сейчас поедem. Халин был недоволен. Он здесь, в Одессе, впервые влезал в войну и, видимо, хотел влезть в нее, как в горячую воду, постепенно: сначала опустить одну ногу, потом вторую. Вспоминаю это не в упрек ему, это было так естественно для первой поездки на фронт. Но у меня было другое желание — сначала сделать более трудное, а потом, уже на обратном пути, заниматься более легким.

Яша снял около штаба нескольких только что приведенных с передовой пленных, мы сели в полторку и поехали в штаб полка. Он находился в поселке Красный Переселенец, лежащем слева от шоссе, шедшего, по-моему, на Беляевку.

Едва мы отъехали километр от штаба дивизии, как за нами, там, где мы только что были, раздался сильный грохот и поднялись хорошо знакомые, похожие на черные рощи купы взрывов. Немцы опять бомбили Дальник. Я пошутил над Яшей: если бы мы задержались, как он хотел, то как раз попали бы под бомбежку, а теперь едем, и все в порядке.

Проехали еще два километра. Над дорогой прошло несколько звеньев немецких бомбардировщиков. Впереди виднелась полоса посадок. Где-то там, за этой полосой, был Красный Переселенец. Пока над дорогой летели бомбардировщики, мы пережидали, укрывшись с машиной в тени нескольких росших при дороге деревьев. Яша хотел еще переждать под этими деревьями и дальше идти пешком, потому что дорога до посадок простреливалась редким артиллерийским огнем. Но я сказал, что мы быстрее проскочим на машине и у нас будет даже меньше шансов попасть под снаряд, чем если мы пойдем пешком.

Так и вышло. Мы преспокойно доехали до посадок, и, пока мы ехали, не разорвалось ни одного снаряда. Укрыли в посадках машину и, оглянувшись назад, увидели, что как раз там, где мы только что останавливались, в той купе деревьев, пачали рваться бомбы. Должно быть, немцы заподозрили, что под этой купой укрывается что-то существенное. Поверив в нашу звезду, Халип уже не спорил.

От посадок шел спуск в небольшую лощину. Метрах в семистах впереди на другом скате стояло десятка три домиков. Это и был Красный Переселенец. В посадках, где мы остановились, был полковой персвязочный пункт. Впереди над Красным Переселенцем виднелись дымки минных разрывов и слышалась частая пулеметная трескотня. Мы оставили в посадках шофера с полуторкой и, забрав виптовки, двинулись к Красному Переселенцу.

Метров через триста нас догнал шарабан. Бойкая рыжая лошадь храбро трусила по дороге, а в шарабане ехала девушка в ловко затянутой гимнастике, в сапогах, в сбитой на ухо пилотке, курпосая, с абсолютно синими глазами, — словом, все отдай — и мало. Из-под нее из соломы торчали стволы ручных пулеметов.

Девушка оказалась военфельдшером, она ехала к себе, во второй батальон, который — «он там!» — показала она прямо по дороге, и заодно везла своим ребятам из Одессы починенные там пулеметы.

Яша выпнул «лейку» и щелкнул девушку, а заодно и меня. Зная пуританский нрав нашего редактора, я на всякий случай повернулся к аппарату спиной и потом имел удовольствие видеть свою спину на страницах «Красной звезды».

Девушка встряхнула челкой и поехала на своем шарабане дальше, прямо, а мы свернули влево по лошине, чтобы сократить путь к хутору. Едва свернули, как рядом свистнуло несколько пуль. Я впредь до выяснения обстоятельств сразу же благоразумно приземлился и огляделся. Откуда стреляли, было совершенно непонятно. Очевидно, это все-таки были долетавшие откуда-то случайные пули. Мы поднялись и пошли. Свистнуло еще несколько пуль, должно быть, таких же случайных, как и первые. На этот раз мы удержали себя в вертикальном положении и через несколько минут добрались до хутора и отыскивали штаб полка.

На хуторе было мало людей. Капитан, который только что приехал из дивизии заменить раненого командира полка, сказал, что он тут вообще остался сам-пятый; все остальные, в том числе и комиссар, ушли отбивать контратаку. Мы накоротке поговорили с капитаном и решили подождать комиссара. Тот пришел минут через тридцать. Он был без фуражки, в совершенно выгоревшей гимнастерке и пыльных рваных сапогах. Первые три минуты от него ничего нельзя было услышать, кроме силошной ругани. Было даже непонятно, кого он ругал. Кажется, кто-то в чем-то провинился и он кого-то задним числом распекал, прерывая ругань смехом.

Это был веселый и задорный человек, только что выбравшийся из многочасового боя. Немпожко успокоившись и выяснив, что мы корреспонденты, он грустно вздохнул. По этому вздоху я почувствовал, что у него уже был кто-то из нашего брата. Был и, кажется, не понравился. Если так, значит, нам предстояла дополнительная задача — преодолеть заведомое душевное перасположение.

Мы представились, и я сказал ему, что мой товарищ — фотокорреспондент — кое-что снимет у них в полку, а я должен написать для «Красной звезды» об их боевых операциях за шестьдесят дней войны.

— Хорошо, — сказал комиссар. — Сейчас я вам расскажу.

Он отрекомендовался старшим политруком Балашовым, сел за стол и стал рассказывать мне в подчеркнуто быстром темпе; такого-то числа то-то, такого-то числа то-то, такого-то числа то-то. Послушав минут пять, я остановил его и сказал, что мне интересно не это, я просил бы его рассказать мне, как все это происходило, о чем он думал во время боев, что чувствовал, все подробности.

— Так это же долго, — сказал он.

Я сказал, что ничего.

— Да я же буду занят.

Я сказал, что мы подождем.

— Да я, может быть, весь день буду занят.

Я сказал ему, что тогда мы здесь переночуем и он расскажет нам завтра. Его лицо прояснилось, и он сказал:

— Приезжали тут два корреспондента, говорили: давай-давай, быстрее расскажи. Я им быстро все рассказал, и они через пятнадцать минут уехали. Очень торопились.

Все это было сказано с долей горечи, и я еще раз понял ту простую истину, что мы неверно поступаем, когда даже не из трусости, а порою из-за газетной торопливости приезжаем, берем то, что нам нужно, вскакиваем на машину и едем обратно, и все это за десять минут. А люди, которые месяцами не вылезают с передовой, не упрекая нас вслух, в душе бесконечно обижаются на это.

После того как Балашов выяснил, что я не тороплюсь, оказалось, что у него есть время, и он целых полтора часа рассказывал обо всем происходившем с их полком за два месяца войны.

На исходе второго часа на столе появились бутылка виноградной водки и помидоры. Мы выпили по стопке и продолжали разговор, собираясь выпить по второй, как вдруг грохот разрывов, который до этого все время слышался вдали и к которому мы уже привыкли, стал приближаться и мины начали рваться совсем близко. Балашов подошел к окну, посмотрел, снова сел и налил водки. Мы выпили. Он продолжал рассказывать. Разрывы были совсем близко. Вошел кто-то из командиров и доложил, что немцы накрыли командный пункт. Какие будут распоряжения?

— Да никаких,— сказал Балашов и продолжал рассказывать.

Командир стоял в дверях.

— Ну? — повернулся к нему Балашов.

— Может, в укрытие? — спросил командир.

— Идите, идите,— сказал ему Балашов и, обратившись ко мне, добавил: — Мы вот доедим и тогда подумаем. Может, они к тому времени и перестанут.

Он рассказывал мне еще четверть часа, а когда кончил, обстрел действительно прекратился.

— Ну вот и переждали,— сказал Балашов. — Как я говорил, так и есть.

Пока шел обстрел, он сидел очень спокойно, не подчеркивая своего спокойствия. Видно, то, что происходило, было для него привычным и, по его понятиям, не составляло особенной опасности. У каждого человека на фронте есть в его представлениях какая-то особенная опасность, которой надо бояться. По

для разных людей она разная. Для меня этот близкий обстрел был особенной опасностью, а для Балашова нет. Для него особенной опасностью было ходить сегодня в атаку. И он этого не скрывал и говорил об этом именно как о пережитой им опасности. Что до меня, то хотя я боялся этого обстрела, но и у меня не было желания прерывать разговор и выбежать куда-нибудь из избы. Не потому, что не хотелось показать своего страха перед Балашовым, а потому, что к этому времени у меня уже образовалось чувство, что чем меньше на войне суется и перемещается с места на место, тем это правильнее. А вдобавок ко всему во мне еще жил остаток абсолютно гражданского ощущения относительной безопасности от присутствия крыши над головой.

Когда кончился обстрел, к Балашову явились с докладом какие-то его подчиненные, а потом пришел и долго разговаривал с ним новый командир полка, бывший пачальник разведки дивизии капитан Ковтун, немолодой, грузный, немножко неуклюжего вида, а на самом деле умница и культурный человек.

Халип улегся на полу. Меня пристроили спать на какой-то похилившейся койке. Я задремал. Потом проснулся. Балашов подсел ко мне. И вдруг этот заглубевший на войне человек неожиданно для меня заговорил о литературе. Он знал по встречам в Академии имени Ленина многих литераторов, встречался с ними, помнил их стихи, интересовался их судьбой. Вдобавок ко всему оказалось, что он еще по финскому фронту хорошо знаком с Долматовским.

Мне уже доводилось встречать и командиров и политработников, которые вдруг в разговоре с тобой спешили показать и свой интерес к литературе, и свои познания в ней. Иногда им хотелось блеснуть этим в разговоре с писателем точно так же, как мне иногда хотелось блеснуть в разговоре с военными своими познаниями, полученными на курсах при Академии Фрунзе и Академии Ленина. Все это естественно. Но в Балашове не было и тени этого. Просто он с такой же горячностью, с какой, очевидно, делал все в своей жизни, жадно интересовался литературой и литературными делами. Ему казалось срочно необходимым вот тут же, сейчас же, на этом хуторе под Одессой, узнать, что там с Долматовским, Вишневским, Уткиным, Вашенцевым и еще и еще с кем-то, уже не помню с кем.

Мы говорили с ним до поздней ночи, а потом я все-таки заснул, условившись, что с утра мы вместе пойдем в мипометную роту.

Мы проснулись очень рано. Было серое, сырое, дождливое утро. Балашов сказал, что сейчас приготовят его танк и мы па

передний край, в минометную роту, не пойдем, а поедем. Слово «танк» обрадовало нас, но Халину портило настроение то, что утро было такое серое. Он ныл, что в такое утро он скорее всего ничего путного не снимет, а если даже и снимет этих минометчиков на их огневой позиции, то получится обыкновенный скучный снимок и ни одна душа на божьем свете не узнает по такому снимку, снято ли это на переднем крае или где-нибудь в Сталинграде при тренировке в запасном полку.

Впоследствии выяснилось, что он был прав. Снимок получился серый и скучный, и, по-моему, напечатали его в «Красной звезде» только потому, что он был сделан на переднем крае с риском для жизни.

Мы вышли на улицу вместе с Балашовым и у ступи соседней хаты обнаружили то, что он гордо именовавал своим танком. Это был маленький тягач «Комсомолец» с двумя слегка бронированными местами для водителя и стрелка и с открытой линейкой сзади для всех прочих. Но Балашов без улыбки называл эту штуку танком, и мы сели на его «танк» и поехали.

Когда мы ехали к переднему краю, на правый фланг батальона, Балашов посадил нас с Халипом на правую сторону линейки, дальнюю от противника, а двух своих командиров — на левую сторону. Потом, когда мы ехали обратно, пересадил нас наоборот. Он, разумеется, знал, что мины могут разорваться с одинаковым успехом как слева, так и справа от нашего «Комсомольца», но, очевидно, рассадил нас так ради большего спокойствия штатских людей, которым, наверно, в глубине души все-таки хочется быть на полметра подальше от неприятеля. Что касается самого Балашова, то он ехал на месте стрелка, но не сидя, а стоя, по грудь высунувшись из-за броневого прикрытия.

Мы пересекли длинное поле и свернули к посадкам. Там были нарыты щели, а кое-где и маленькие блиндажики с символическим покрытием в одну доску и на вершок земли сверху. Здесь мы познакомились с командиром батальона и, оставив наш «танк», пошли вперед уже пешком.

Полоса посадок поворачивала к позициям. Мы сначала шли вдоль них, а потом выбрались на совершенно открытое место. Впереди лежало боевое охранение, а сзади него в ямках стояло четыре легких миномета. Это и считалось минометной ротой.

Когда мы подошли, румыны дали несколько минометных залпов. Явно не по нас — один куда-то влево, другой вправо, — но все-таки довольно близко.

Халип, посмотрев в абсолютно серое дождливое небо, довольно спокойно сказал, что из снимка все равно ничего хорошего не выйдет, но раз это непременно надо к моей корреспонденции,

ну что ж, он будет снимать, недаром же, в конце концов, мы шли сюда. Он вынул под дождем свой аппарат и стал примериваться к минометчикам. Они в это время вели ответный огонь по немцам. То один, то другой миномет хлопал в нескольких шагах от нас с таким же точно глухим треском, с каким это происходило три месяца назад, в начале июня, под Москвой, на полигоне в Кубинке, где я тогда обучался на курсах военных корреспондентов.

Румыны снова начали бить из минометов. Наше положение было довольно глупое. Минометчики сидели в окопах, а снимать их приходилось сверху, стоя в чистом поле. Однако делать было нечего, и Яша, ворча, стал снимать их, переходя с места на место.

Мне хотелось или лечь на землю, или забраться в окоп к минометчикам. Думаю, что в эти минуты такое желание было и у Балашова, несмотря на весь его боевой опыт. Но сделать это, оставив на поверхности одного занятого своей работой Халипа, ни Балашов, ни я не могли. В ответ на ворчание Яши, что при такой погоде вообще неизвестно, какая нужна выдержка, я довольно нервно, потому что мне было не по себе, сказал ему, чтобы он снимал на тик-так.

— Я на тик-так не могу, у меня руки дрожат, — сказал Халип.

Но и после этого откровенного признания продолжал отвратительно долго и тщательно, с разных позиций, снимать минометчиков, несмотря на свои дрожащие руки.

— Молодец, — сказал мне Балашов, слышавший этот разговор.

Я сначала думал, что он пропизгивает, но оказалось, что это не так.

— Молодец, — повторил он. — Вот ведь как боится, а все-таки снимает. Так и все мы. В этом все дело на войне. А больше ничего особенного на войне и нет.

Наконец Халип сфотографировал все, что требовалось, и мы вернулись к посадкам. Едва мы дошли до них, как румыны стали кругом гвоздить из минометов. Поневоле настоявшись под огнем там, у минометчиков, во время фотографирования, здесь я немедленно лег на землю при первом же близком разрыве. Халип последовал моему примеру. Балашов не ложился. Только, когда мина свистела близко, приседал, готовый тоже лечь, если это будет необходимо.

Учитывая свой последующий опыт, думаю, что, будь у меня этот опыт тогда, я бы тоже не ложился. Нам казалось, что вот-вот мины разорвутся рядом, а на самом деле они рвались довольно далеко и ложиться, в сущности, не было пужды. Бала-

шов не ложился потому, что у него был опыт, а не потому, что он бравировал перед нами.

Командир минометной роты вернулся вместе с нами на командный пункт батальона. В окопе я записал несколько его соображений об использовании минометов. Он говорил о необходимости сдвигать их и быстро перевозить с места на место на закрепленном за каждым минометным взводом грузовике и утверждал, что именно так и делают немцы, поэтому и создается впечатление об их преимуществе в минометах даже тогда, когда у них нет реального превосходства. Потом, вернувшись из Одессы, я изложил это в маленькой статье, напечатанной в «Красной звезде» без моей подписи.

Пока мы разговаривали с командиром роты, румыны продолжали минометный обстрел. Кладли мины аккуратно, в шахматном порядке, но все они, пройдя над нашими головами, ложились за посадками, в поле, на пустынном месте.

Переждав обстрел, мы снова сели на «танк» Балашова и вернулись на командный пункт полка. Там мы простились с Ковтупом и Балашовым и пешком добрались от Красного Переселенца до нашей машины. Шофер был жив и здоров, а машина в полном порядке, хотя кругом в посадках и в этот день, и накануне немецким артиллерийским огнем убило и ранило много людей и лошадей и изуродовало несколько машин.

Мы поехали в Дальник в надежде хотя бы на обратном пути застать генерала Петрова.

Долго сидели там, в Дальнике, около маленькой белой мазанки и, сокрушая один за другим мелкие незрелые арбузы, ждали Петрова. А он все не возвращался, был где-то на передовой.

Потом я ненадолго зашел в особый отдел дивизии, а когда вернулся, взволнованный Халип сказал мне, что только что передали по радио: наши и английские войска перешли иранскую границу и вступили в Иран. Не успел он мне это сказать, как началась бомбежка. Мы вместе с несколькими штабными спустились по крутой каменной лестнице в какой-то прохладный и глубокий подвал, очевидно служивший раньше винным погребом.

На улице к этому времени погода уже разгулялась, стало жарко, а в подвале было так хорошо и прохладно, что оттуда не хотелось выходить даже после того, как немцы отбомбились. Сидя там, в подвале, Яша предложил мне немедленно возвратиться в Севастополь, оттуда морем в Батум и таким образом первыми из всех военных корреспондентов оказаться в Иране.

Идея мне понравилась, но было еще неясно, происходят ли в Иране военные действия или, может быть, все это сводится к мирному продвижению войск. А если так, то отъезд туда

с фронта мог оказаться, мягко говоря, неправильным. Я предложил добраться до Севастополя и оттуда соединиться с редакцией, как она решит.

Мы вылезли из подвала и еще с полчаса прождали Петрова. Наконец он приехал. Одна рука у него после ранения плохо действовала и была в перчатке. В другой он держал хлыстик. На нем была солдатская бумажная летняя гимнастерка с неаккуратно пришитыми прямо на ворот зелеными полевыми генеральскими звездочками и замызганная зеленая фуражка. Это был высокий рыжеватый человек с умным усталым лицом и резкими, быстрыми движениями.

Он выслушал нас, постукивая хлыстиком по сапогу.

— Не могу говорить с вами.

— Почему, товарищ генерал?

— Не могу. Должен для пользы дела поспать.

— А через сколько же вы сможете с нами поговорить?

— Через сорок минут.

Такое начало не обещало ничего хорошего, и мы приготовились сидеть и ждать, пока генерал выспится.

Петров ушел в свою мазанку, а мы стали ждать. Ровно через сорок минут нас позвал адъютант Петрова. Петров уже сидел за столом одетый, видимо, готовый куда-то ехать. Там же с ним за столом сидел бригадный комиссар, которого Петров представил нам как комиссара дивизии. В самом же начале разговора Петров сказал, что он может уделить нам двадцать минут, так как потом должен ехать в полк. Я объяснил ему, что меня интересуют история организации 1-й Одесской кавалерийской дивизии ветеранов и бои, в которых он с ней участвовал.

Петров быстро, четко, почти не упоминая о себе, но в пределах отведенного времени, давал краткие характеристики своим подчиненным, рассказал нам все, что считал нужным, об этой сформированной им дивизии, потом встал и спросил: есть ли вопросы? Мы сказали, что нет. Он пожал нам руки и сказал комиссару, назвав его по имени и отчеству:

— Надеюсь, с товарищами все будет в порядке.

С этими словами он уехал.

Он был четок, немногословен, корректен, умен. Мне показалось тогда по первому впечатлению, что это, наверно, хороший генерал. Так оно впоследствии и оказалось. И во время командования 25-й дивизией, и потом, когда Петров командовал обороной Одессы, и теперь, когда он командует обороной Севастополя.

Что касается того «порядка», о котором Петров сказал, прощаясь с нами, то выяснилось, что имелся в виду обед. Во время этого обеда за нас взялся бригадный. По каким-то почти

неуловимым признакам во время краткого обмена репликами между ним и генералом я почувствовал, что Петров относится к нему неуважительно, а может быть, даже неприязненно. Во всяком случае, между ними был холодок.

Из дальнейшего разговора мне стало понятно, откуда этот холодок. Наш собеседник за обедом долго рассказывал о себе, хотя мы его отнюдь не расспрашивали. Рассказывал самодовольно и со многими никому не нужными подробностями. Насколько я понял, он до своего недавнего назначения сюда сидел на тыловой работе. Может быть, это было и не так, но все его рассказы о боевых делах почему-то сводились к тому, как он принимал пополнение. Он рассказывал нам о своей системе приема пополнения. Что он говорит пополнению, как он это говорит, при каких обстоятельствах, какую при этом стремится создать обстановку, какие проникновенные слова находит и как это неотразимо действует.

По его словам выходило, что пополнение, принятое им лично, могло сразу же идти в бой и с успехом выполнять все поставленные задачи независимо от предварительной выучки.

Я, может быть, несколько утрирую, вспоминая сейчас об этом, но, по сути дела, разговор был именно таким. Я ничего не прибавил к нему. Я никогда больше не видел этого человека и не помню его фамилии; не стал ее записывать, хотя ему совершенно явно хотелось, чтобы я сочинил в «Красную звезду» статью о том, как он великолепно принимает пополнение.

В Одессу мы вернулись вечером. Я пошел на узел связи узнать, не появилась ли возможность для передачи материалов в Москву. У меня было твердое ощущение — и впоследствии выяснилось, что я не ошибся, — что большинство читателей газеты после известий о сдаче Кировограда и Первомайска думало, что Одесса тоже сдана; в сводках она не фигурировала, ни в одной корреспонденции не упоминалась. И это толкало меня на то, чтобы любыми средствами немедленно отправить в Москву материал об Одессе, хотя бы тот первый, что мы только что получили в дивизии...

Троих из тех людей, первые мои встречи с которыми в 25-й Чапаевской дивизии иногда коротко, иногда подробнее записаны в дневнике, я встречал и потом, во время войны и после нее. И мне хочется, оторвавшись на время от дневника, посвятить несколько страниц их биографиям и дальнейшим судьбам.

Только что назначенному перед нашим приездом в полк его командиру, немолодому, по моим словам, капитану Андрею Игнатьевичу Ковтуну-Станкевичу шел тогда сорок второй год. Казак по происхождению, он вступил в Красную Армию в 1918 го-

ду и прослужил до 1927-го. Демобилизовавшись, работал директором совхоза, директором МТС, секретарем райкома партии и снова был призван в армию уже перед войной, в 1940 году. В Одессе командовал полком, в Севастополе исполнял обязанности начальника оперативного отдела Приморской армии. Впоследствии под Будапештом командовал 297-й дивизией и закончил войну 11 мая 1945 года возле города Ческе-Будеёвице боем с частями 2-й власовской дивизии, пытавшимися прорваться за демаркационную линию к американцам. После этого Ковтун успел побывать на Дальнем Востоке и уже в генеральском звании был назначен первым комендантом Мукдена. Вот куда ровно через четыре года, в августе 1945 года, забросила судьба того капитана, который в августе 1941 года вступил в должность командира 287-го полка в Одессе.

Комиссар полка Никита Алексеевич Балашов еще один раз появится на страницах моих дневников. Но наше второе и последнее свидание с ним оказалось таким мимолетным, что мне хочется не там, а именно здесь, в связи с нашей встречей в Одессе, рассказать все, что я знаю об этом человеке.

Начну с нескольких выдержек из оперативных документов тех августовских дней, дающих представление о том, как и в какой обстановке воевал под Одессой тот 287-й стрелковый полк, в котором Балашов был комиссаром.

23 августа 1941 года.

«На участке 287-го полка... противник ввел в действие до батальона, но, потерпев неудачу, ввел... резервы до полка. Атака была отбита с большими потерями для противника... Противник частями 21-й пехотной дивизии и 1-й гвардейской дивизии в течение дня продолжал атаковать 287-й стрелковый полк, но, встретив упорное сопротивление 287-го стрелкового полка, перенес свои атаки по флангам. К исходу дня противник, введя свежие силы, овладел северной окраиной Петерсталь... В бою тяжело ранен командир 287-го стрелкового полка подполковник Султан-Галиев. На его место назначен капитан Ковтун-Станкевич. 287-й стрелковый полк в 21.00 контратакой уничтожил до батальона пехоты, прорвавшего передний край, в направлении хутора Красный Переселенец, восстановил передний край и продолжает удерживать прежний рубеж».

24 августа 1941 года.

«Противник с 8.00, имея перед собой обнаженный левый фланг 287-го стрелкового полка, повел наступление... по под воздействием контратак полка бежал... Части 21-й пехотной дивизии и 1-й гвардейской дивизии (румынских. — К. С.), неся большие потери, продолжают атаковать передний край оборо-

ны, но, встретив упорное сопротивление, откатываются назад». «287-й стрелковый полк, отразив четыре атаки противника, частично... восстановил передний край... Не восстановлено до пяти сот метров».

25 августа 1941 года.

«287-й стрелковый полк, отразив в 10.00 атаку противника и нанеся ему поражение, вновь перешел сам в 14.30 в контратаку на высоте 63/3 и занял ее...» «287-й стрелковый полк храбро и мужественно отражает многочисленные атаки врага... В бою были брошены все резервы: разведвзвод, саперная рота и химвзвод».

26 августа 1941 года.

«С утра... противник вновь начал непрерывные атаки переднего края обороны, особенно на левом фланге 287-го стрелкового полка... 287-й стрелковый полк в течение всего дня отражал атаку за атакой, переходя сам в контратаки... Всего в течение дня отбито четыре атаки, каждая силой до полутора полков».

Таковыми были эти дни под Одессой, когда 25-я Чапаевская дивизия, и в ее составе 287-й стрелковый полк, дралась у хуторов Вакаржаны и Красный Переселепец, как раз там, где противник, ведя наступление по всему фронту, нанесил свой главный удар.

А теперь о самом Балашове. Судя по сохранившимся документам, связанным с его именем, это был человек замечательных личных качеств. Несмотря на краткость нашей встречи, потом, в ходе войны, я, случалось, справедливо или несправедливо внутренне сопоставлял запомнившийся мне облик Балашова с обликом других встреченных мною людей, и люди, казавшиеся мне похожими на него, были для меня хороши уже одним этим.

Балашов родился в 1907 году в Егорьевском районе Московской области. Его отец был плотником, мать — крестьянкой. Пойдя в 1932 году в армию по партийной мобилизации, Балашов сначала был политруком эскадрона, а потом учился на курсах усовершенствования командно-политического состава в Москве. Оттуда, видно, и пошли те литературные знакомства, о которых он мне говорил ночью под Одессой.

В 1940 году Балашов участвовал в финской кампании, служил в политотделе 51-й стрелковой дивизии. В одном из написанных о Балашове партийных отзывов сказано так: «Неоднократно сам лично видел его в бою, увлекающего подразделение вперед за Родину, за Сталина, где он проявил мужество, смелость, отвагу и награжден за это орденом Красной Звезды».

Вскоре после нашей встречи в Одессе 28 августа 1941 года в политдонесении, направленном из дивизии в армию, говори-

лось: «За последние дни особенно отличился 287-й стрелковый полк, где командиром капитан Ковтун и военком старший политрук Балашов. Полк отразил много ожесточенных атак в несколько раз превосходящего по численности противника. Мужественный и храбрый военный комиссар 287-го стрелкового полка старший политрук Балашов в самые критические минуты появлялся на самых опасных участках и личным примером воодушевлял бойцов и командиров». А еще через неделю в политдонесении, отправленном в штаб армии 6 сентября, снова упоминается Балашов: «Сегодня ранен вторично военком 287-го стрелкового полка старший политрук Балашов. Прошу прислать из резерва политсостава двух человек для работы в частях военкомата до возвращения товарища Балашова из госпиталя».

Балашов вернулся из госпиталя в свой полк, воевал с ним до конца под Одессой, потом в Севастополе. И только следующее ранение и очередной госпиталь забросили его с Южного фронта на Западный, под Москву, где я встретил его в декабре сорок первого в должности комиссара штаба 323-й стрелковой дивизии.

Пройдя невредимым через тяжелые зимние и весенние бои под Москвой, Балашов в апреле 1942 года, получив наконец звание батальонного комиссара, стал комиссаром 324-й стрелковой дивизии, а потом заместителем 11-й гвардейской дивизии.

11-я гвардейская дивизия, последняя, в которой служил Балашов, закончила войну в Восточной Пруссии, но гвардии полковник Никита Алексеевич Балашов, не дожив до этого, скончался от ран в 16 часов 55 минут 13 мая 1943 года.

Война — и это случается куда чаще, чем может показаться тем, кто не знает всех подробностей ее кровавой бухгалтерии, — порой так пелено и горько шутит с людьми, что только руками разводиться. Несколько раз раненный и возвращавшийся с недолеченными ранами на передовую, ходивший много раз в атаки и контратаки и под Одессой, и под Севастополем, и под Москвой, Балашов погиб не на поле боя, а во время затишья, во втором эшелоне, на тактических занятиях. Невозможно без горечи читать, как все это произошло:

«13 мая в 10.00 я и гвардии полковник Балашов выехали в 33-й полк для выдачи партийных документов. По окончании выдачи партдокументов мы направились на тактические занятия во 2-й стрелковый батальон. Занятия проходили с боевыми стрельбами...

Гвардии полковник Балашов и сопровождавшие его командиры находились несколько сзади пехотных подразделений и двигались вслед за ними. В это время в 8—10 метрах от них разорвалась мина, в результате чего был тяжело ранен гвардии

полковник Балашов и получил легкое ранение командир полка подполковник Куренков.

Огонь был прекращен.

Гвардии полковнику Балашову была немедленно сделана перевязка, и в 14.30 на автомашине я доставил его в медсанбат, расположенный в лесу. Здесь ему было сделано переливание крови, произведена операция. Во время операции в 16 часов 55 минут в моем присутствии гвардии полковник Балашов умер».

Дальше в допесении следует рассказ о том, как именно произошел этот недолет мины: о том, как командир минометного расчета делал замечание одному из своих подчиненных и отвлекся, а в это время другой его подчиненный, не ко времени проявив старательность, в спешке опустил в ствол мину без дополнительного заряда. Из-за отсутствия этого заряда мина разорвалась с недолетом и смертельно ранила Балашова.

Дальше в допесении излагаются сведения о людях, которые без всякого умысла с их стороны стали причиной гибели Балашова, все хорошие солдаты, до этого уже по одному и по два раза раненные и опять вернувшиеся на фронт.... Произойди этот выстрел на несколько секунд раньше или позже, ничего бы не случилось. Иди Балашов в этот момент на несколько шагов левее, чем он шел, не оказался он именно в эту секунду именно на этом месте, тоже ничего не случилось бы.

Тем не менее наводчик, который, ревностно относясь к своим обязанностям, стремясь не снизить темпа огня, самовольно, без приказа командира расчета, произвел роковой выстрел, был предан суду военного трибунала.

Читая эти строчки допесения, я почему-то подумал, что Балашов, будь он ранен легко, а не смертельно, наверное, воспротивился бы этому. Но он был ранен смертельно, и на следующий день, 14 мая, в районе командного пункта дивизии у лесничества состоялся траурный митинг, посвященный памяти гвардии полковника Балашова.

«Выступавшие на митинге генерал-лейтенант Баграмян, командир дивизии гвардии генерал-майор Федюшкин, представители от частей и спецподразделений отметили, что дивизия потеряла пламенного большевика, мужественного и смелого воина, человека, который беззаветно любил Родину и беспредельно ненавидел врага. На митинге присутствовало около двух тысяч бойцов и командиров. Гроб с телом на машине отправили в город Сухиничи. Бойцы и командиры впереди машины несли венки и орден гвардии полковника Балашова».

На следующее утро в Сухиничах на площади Ленина состоялись похороны. От Военного совета с надгробной речью вы-

ступил командующий 16-й армией генерал-лейтенант Баграмян.

В это же утро, когда хоронили Балашова, в частях дивизии, как об этом свидетельствует «Журнал боевых действий», «продолжались батальонные учения... с боевой стрельбой, с танками и с артиллерией». Дивизия готовилась к предстоящим боям за Орел. Война продолжалась...

Встреченного мною впервые под Одессой в должности командира 25-й Чапаявской дивизии Ивана Ефимовича Петрова я знал потом на протяжении многих лет, и знал, как мне кажется, хорошо, хотя, быть может, и недостаточно всесторонне. Петров был человеком во многих отношениях незаурядным. Огромный военный опыт и профессиональные знания сочетались у него с большой общей культурой, широчайшей начитанностью и преданной любовью к искусству, прежде всего к живописи. Среди его близких друзей были такие превосходные живописцы, как Павел Корин и Урал Тансыкбаев. Относясь с долей застенчивой иронии к собственным дилетантским занятиям живописью, Петров обладал при этом своеобразным и точным вкусом. И пожалуй, к сказанному стоит добавить, что в заботах по розыску и сохранению Дрезденской галереи весьма существенная роль принадлежала Петрову, ставшему в конце войны начальником штаба Первого Украинского фронта. Он сам не особенно распространялся на эту тему, тем более хочется упомянуть об этом.

Петров был по характеру человеком решительным, а в критические минуты умел быть жестоким. Однако при всей своей, если так можно выразиться, абсолютной военности и привычке к субординации он не жаловал тех, кого приводила в раж именно эта субординационная сторона военной службы. Он любил умных и дисциплинированных и не любил вытаращенных от рвения и давал тем и другим чувствовать это.

В его поведении и внешности были некоторые странности, или, вернее, непривычности. Он имел обыкновение подписывать приказы своим полным именем «Иван Петров» или «Ив. Петров», любил ездить по передовой на «пикапе» или на полуторке, причем для лучшего обзора частенько стоя при этом на подножке.

Контузия, полученная им еще в гражданскую войну, заставляла его, когда он волновался и особенно когда сердился, вдруг быстро и часто кивать головой так, словно он подтверждал слова собеседника, хотя обычно в такие минуты все бывало как раз наоборот.

Петров мог вспылить и, уж если это случалось, бывал резок до бешенства. Но, к его чести, надо добавить, что эти вспышки были в нем не начальнической, а человеческой чертой. Он был способен вспылить, разговаривая не только с подчиненными, но и с начальством.

Однако гораздо чаще он умел оставаться спокойным перед лицом обстоятельств. О его личном мужестве не уставали повторять все, кто с ним служил, особенно в Одессе, в Севастополе и на Кавказе, там, где для проявления этого мужества было особенно много поводов. Храбрость его была какая-то мешковатая, неторопливая, такая, какую особенно ценил Толстой.

Такой сорт храбрости обычно создается долгой и постоянной привычкой к опасностям, именно так оно и было с Петровым. Кончив в 1916 году учительскую семинарию и вслед за ней военное училище, он командовал в царской армии полуротой, добровольно вступив весной 1918 года в Красную Армию, воевал всю гражданскую войну, а после окончания боев на польском фронте еще два года занимался в западных пограничных районах ликвидацией различных банд. Но и на этом не кончилось его участие в военных действиях. В 1922 году его перебросили в Туркестан, где он до осени 1925 года участвовал в различных походах против басмачей в составе 11-й кавалерийской дивизии. Осенью 1927 года снова бои против басмаческих банд. Весной и летом 1928 года опять бои.

В промежутках между этими боями в личном деле Петрова записано еще несколько месяцев какой-то оперативной командировки. Не берусь расшифровывать эту запись, но, судя по моим давним разговорам с самим Петровым, командировка эта, помнится, тоже была связана с военными действиями.

Весной и летом 1931 года Петров участвовал в разгроме Ибрагим-Бека в Таджикистане. Осенью того же года воевал с басмачами в Туркмении. И наконец, зимой и весной 1932 года там же, в Туркмении, участвовал в ликвидации последних крупных басмаческих банд.

Был один раз контужен, три раза рапен и награжден тремя орденами Красного Знамени: РСФСР, Узбекской ССР и Туркменской ССР.

В этих растянувшихся на пятнадцать лет боях, наверно, и сложился тот облик привычного ко всему и чуждого всякой рисовки военного человека, который отличал Петрова.

5 октября 1941 года, за одиннадцать суток до эвакуации Одессы, Петров был назначен командующим сухопутными войсками в Одессе.

Передо мной лежит документ, извещающий об этом коман-

дивров и комиссаров дивизии. «С сего числа в командование войсками Приморской группы вступил генерал-майор Петров. Генерал-лейтенант Софронов по болезни направлен на лечение. Жуков. Азаров».

В сохранившихся у меня стенограммах бесед с Петровым, записанных в 1950 году, он с большим уважением отзывался о командующем Одесским оборонительным районом контр-адмирале Жукове, который еще в бытность Петрова командиром дивизии неоднократно приезжал к нему на передовую в самые тяжелые дни боев.

Петров принял командование Приморской группой, когда вопрос об эвакуации Одессы был не только принципиально решен, но и одна из дивизий, находившихся в Одессе, уже закончила свою эвакуацию. Вопрос стоял лишь о том, в какие сроки и как именно эвакуировать оставшиеся в городе войска.

В «Отчете Черноморского флота по обороне Одессы» говорится, что план отхода войск из Одессы имел два варианта. В документе, отправленном в штаб Черноморского флота 4 октября, накануне назначения Петрова, предполагалась перевозка тылов и техники к 12—13 октября, перевозка остальных частей оборонительного района — к 17—18 октября и уход частей прикрытия — к 19—20 октября.

Идея эвакуации Одессы по второму варианту, заключавшемуся, как написано в «Отчете по обороне Одессы», в том, чтобы эвакуировать войска «скрытно и внезапно для противника с непосредственно занимаемых рубежей обороны и одновременно в ночь с 15 на 16 октября», была выдвинута позже, уже после того, как Петров вступил в командование войсками Приморской группы.

Существуют и опубликованы в печати разные мнения относительно того, кто именно выдвинул эту идею — командование Одесского оборонительного района или командование Приморской группой. На мой взгляд, основанный на изучении ряда документов, это правильное и увенчавшееся блестящим успехом решение было принято потому, что в конце концов на нем сошлись все. Но при этом факт остается фактом: до вступления Петрова в должность командующего Приморской группой продолжал еще выдвигаться первый, отвергнутый впоследствии вариант, а после его вступления в эту должность был утвержден второй, окончательный. Никак не преуменьшая роли всех других лиц, принимавших участие в выработке этого решения, я думаю, однако, что Петров, как вновь назначенный командующий войсками, которым предстояло эвакуироваться, сыграл в принятии этого дерзкого решения на эвакуацию отнюдь не последнюю

роль. Тем более что именно такое решение соответствовало духу этого человека.

Хочу привести одно место из своих бесед с Петровым, записанных после войны, в 1950 году, в бытность его командующим Среднеазиатским военным округом. Это не выправленная Петровым стенограмма, и в ней возможны неточности, но, на мой взгляд, она передает запах времени и дает представление об атмосфере, в которой проходила внезапная, скрытная эвакуация Одессы.

«Стояла темнота. Все уже были готовы. Только солнце село, полки сразу по сигналу снялись и пошли. Оставили на участках каждого батальона по взводу от роты. Им было приказано три часа сидеть, а спустя три часа уходить в порт. В величайшем порядке и спокойствии части вошли в порт. Каждая пришла к своему кораблю, к своей пристани. Морской частью эвакуации командовал адмирал Кулешов. Штаб Одесского оборонительного района переехал на крейсер «Червона Украина», штаб армии перебрался туда же. Остались Крылов, Кулешов и я. В последний момент пришло двенадцать немецких самолетов и бомбили порт. Пакгаузы горят, в гавани полусвет. Погрузка идет при мерцающем зареве пожара. Самолеты кладут бомбы по этим пожарам, по порту, по сооружениям, а не по кораблям. Мы засахи на КП моряков в самом порту. Адмирал Кулешов подошел к нам и сказал: «Товарищ командующий, разрешите пригласить вас и сопровождающих вас лиц поужинать». Входим на КП к Кулешову. У него накрыт стол человек на двадцать пять, стоят вино и закуска. Мы накоротке выпили, закусили вместе со всеми офицерами и нашими шоферами. В половине четвертого Крылов, Кулешов и я проехали вдоль причалов. На пристанях оставалось только несколько подрывных команд. Кораблям было уже приказано отойти на рейд. Мы сели на катера. Была подана команда взорвать мол. И вот рвануло Воронцовский мол. Туда было заложено шесть тонн тола. Пристань взлетела в воздух. Стало совсем светло. Мы проходили на катере мимо подорванного Воронцовского мола. Эскадра стояла на рейде и уже трогалась в путь. Корабли были видны до самого горизонта. В этот момент началась бомбежка эскадры, головная часть которой уже ушла на семьдесят километров от Одессы. Бомбили, но не попадали. Им удалось потопить только одно небольшое судно, а все остальные благополучно пришли в Севастополь...»

А вот документ, как бы завершающий эту страницу воспоминаний Петрова:

«Командующему Одесским оборонительным районом контр-адмиралу товарищу Жукову. Доношу: в ночь с 15 на 16 сего

октября произведена эвакуация войск Приморской армии. Вывод войск с фронта и посадка на суда проведены в последовательности и в сроки, предусмотренные планом вывода и эвакуации войск. Войсковые части, производившие посадку в Одесском порту, личный состав погрузил полностью, за исключением случайно оставших людей. Матерьяльная часть артиллерии эвакуирована в количестве, превышающем предварительно намеченное по плану. 17.X.41. Петров. Кузнецов».

Впереди были Крым и девятимесячные бои за Севастополь. Там, в Крыму, в критическом положении, в котором оказались части Приморской армии, не успевшие подойти на помощь нашим войскам, оборонявшимся на Перекопе, и атакованные прорвавшимися немцами посреди голых Крымских степей, Петров на свой страх и риск принял решение, сыгравшее большую роль в последующей обороне Севастополя. Не имея в тот момент ни приказов сверху, ни связи, он вынужден был сам решать как быть: уходить ли частям Приморской армии на Керчь и оттуда на Кавказ или идти к Севастополю? И после короткого военного совета, на котором большинство голосов было подано за Севастополь, пошел с армией к Севастополю, где и командовал всеми сухопутными войсками до последних дней Севастопольской эпопеи.

Возвращаясь к надолго на этот раз прерванному дневнику.

...На узле связи мне, к сожалению, и теперь снова подтвердили то, о чем еще вначале, предварительно говорил нам бригадный комиссар Кузнецов, а именно — что передавать из Одессы материал можно только по радио и только шифром, не свыше тридцати групп, то есть не больше самой короткой заметки.

Это никак не устраивало меня. Оставалась другая возможность — отправить материал с попутным кораблем до Севастополя с тем, чтобы кто-то брал его в Севастополе, вез в Симферополь и оттуда отправлял с попутным самолетом в Москву, а там его с аэродрома доставляли бы в редакцию. Теоретически это было возможно, но практически я знал, что ни одна корреспонденция таким сложным способом своевременно не дойдет. Тем более что ни в Севастополе, ни в Симферополе не было ни одного корреспондента «Красной звезды». Оставался один выход: если мы хотим быстро передать в Москву материалы, значит, мы сами должны отправить их из Симферополя.

Это было вторым соображением после мысли об Иране, которое окончательно толкнуло меня на то, чтобы, собрав первые материалы, выехать из Одессы в Крым.

С этим решением мы пошли к Кузнецову, а когда его не оказалось — к начальнику политотдела армии Бочарову.

Когда я объяснил ему, что нам придется поехать в Крым, чтобы передать оттуда материалы, а кроме того, согласовать по телефону с редакцией вопрос об Иране, он сразу поглядел на нас с заметной неприязнью. И я понял, что он считает нас людьми, испугавшимися тяжелого положения в Одессе и решившими «отдать концы».

Спорить было бесполезно, тем более что Бочаров прямо этого не сказал, а только стал говорить об Иране, что едва ли там будет что-нибудь интересное, и отдаленно намекал, что наш отъезд туда из Одессы будет некрасиво выглядеть.

Я сказал, что мы подумаем, но независимо от Ирана нам все равно нужно будет ехать с материалами в Севастополь, а потом мы непременно вернемся в Одессу. Он сказал, что мы совершенно свободно можем пересылать отсюда свои материалы кобร้าми. Наверно, он искренне считал так.

Я был убежден в обратном.

В итоге мы условились, что займемся еще некоторыми делами в Одессе, а через сутки зайдем к нему со своим решением.

Я вышел от него злым. Видимо, это был толковый и стоящий человек, но меня разозлило, что он подозревает нас в трусости.

Полчаса спустя я встретил одного из моряков, который сказал, что по части отправки в Севастополь следует обратиться члену Военного совета обороны Одессы бригадному комиссару Азарову. Я спросил, давно ли он здесь. Оказалось, всего три дня. И я понял, что это, наверное, тот Азаров, с которым мы виделись недавно в штабе Черноморского флота.

Перед тем как идти к Азарову, мы наскоро поужинали в штабной столовой в подвале. За ужином вместе с нами за одним большим столом оказалось несколько молодых ребят. Некоторые из них были в гимнастерках без знаков различия, другие в форме НКВД. Ребята, вытащив из-под стола бутылку с сухим вином, стали радушно угощать нас.

Видимо, это были хорошие парни, участвовавшие в смелых операциях, но, познакомившись с нами, они наскоро стали выговаривать мне и Яше, несмотря на полное наше нежелание, различные тайны: что они оттуда-то и оттуда-то, что они на секретной работе и делают то-то и то-то, чтобы мы к ним заходили, они расскажут нам то, чего еще никто не знает. Через полчаса, перенесенные этими государственными тайнами, мы расстались с ними и отправились к Азарову.

Азаров оказался именно тем самым бригадным комиссаром, с которым я встречался в Севастополе.

Он выслушал наши севастопольские и пранские планы и, сказав, что послезавтра, наверно, что-нибудь пойдёт, написал нам записку контр-адмиралу, начальнику Одесской военно-морской базы. Потом он начал рассказывать нам о том, что успел увидеть в Одессе: как перевели население на военное снабжение и как все, кто остался в неэвакуированных цехах заводов, работают теперь на оборону. Он советовал нам съездить в Январские мастерские, а в заключение сказал, что завтра утром будет встречать теплоход, который доставит сюда два батальона моряков.

Ночь мы провели все в той же классной комнате. По-прежнему из-за лиманов изредка была дальнотойная немецкая артиллерия и где-то далеко ухали разрывы.

Утром, когда мы подъехали к причалам, моряки уже начали выгрузку. Борт теплохода был черен от морских бушлатов. Моряки с гранатами у пояса, с полуавтоматическими винтовками через плечо, с пулеметами, дисками, иногда с пулеметными лентами, в бушлатах и в касках молча спускались по трапам. Кое-где среди этого вооружения вдруг бросались в глаза сунутая под мышку гитара или повешенный на плечо баян.

Халип закричал и начал кому-то махать пилоткой. Среди людей, находившихся там на борту, оказались кинооператоры Коган и Трояновский.

Моряки построились на причалах и двинулись в город. Это зрелище идущих через город моряков напоминало мне гражданскую войну — такую, какой она была по моим представлениям.

Из разговора на причалах я понял, что положение настолько тяжелое, что моряков через два или три часа уже бросят на фронт. И сейчас главной заботой было как можно быстрее переобмундировать их. Хотя их черные бушлаты производили заметное моральное впечатление на противника, но в смысле демаскировки они были, конечно, безумием.

Мы поднялись в город. В одно из зданий уже втягивалась рота моряков. Там, внутри, ее должны были переобмундировать. Другие моряки в ожидании толпились на улице. Из домов выбегали женщины, были и слезы и поцелуи. Какой-то морячок отпрашивался у командира сбегать домой, говоря, что он живет на соседней улице. Но тем временем уже действовала «одесская почта» и, пока он отпросился, его мать уже прибежала сюда и целовала его посреди улицы. Все это было очень трогательно. Моряки, как это всегда бывает с мужчинами, когда они собираются толпой и когда у них свободная минутка, возлились с детьми, цапкали с ними, поднимали их на руки. Играла гармошка, и кто-то плясал «Яблочко», и все, став в круг, подпевали. И надо

всем этим было чувство, что через два часа эти моряки, только что сошедшие с теплохода, уйдут в бой.

Они приехали спасать Одессу — это было написано на их лицах. Они хотели быть героями, и женщины верили в то, что они будут героями, и от этого на улице было такое нервное, скоротечное, щемящее душу веселье.

Мы подвезли Трояновского и Когана в штаб и устроили в своей комнате, а сами поехали в Январские мастерские, где ремонтировались танки.

Основное оборудование, как и на других одесских предприятиях, было эвакуировано, но довольно много рабочих осталось. В большинстве это были старики, коренные одесситы, не желавшие до конца расставаться со своей Одессой. В цехах оставалось кое-какое оборудование — старые горны, маленькие паровые молоты, старые станки в механических цехах.

Мы обошли цехи вместе с начальником производства. Рабочей силы не хватало, и танки чинили все вместе — и рабочие, и танковые экипажи, два-три дня назад вышедшие из боя. Танки в основном были БТ-5 и БТ-7. У них, как обнаружилось на этой войне, была слишком легко пробиваемая броня, и в мастерских решили, раз чинить, так чинить, и наклепывали на башни танков дополнительные листы брони. Это несколько утяжеляло танки, не соответствовало техническим расчетам, но в бою, как говорили, оправдывало себя.

Цехи были старые, прокопченные и напоминали мне цехи заводов «Универсаль» и «Двигатель революции» в Саратове, где я когда-то проходил практику мальчишкой. Люди в цехах работали по несколько суток подряд, не выходя. Рабочее время определялось не количеством часов и не числом бессонных ночей, а единственно тем, когда будет готов танк: «Вот как кончим, так и пойду спать».

Мы познакомились с тремя братьями, стариками Зайцевыми. Они работали здесь, в мастерских, с 1899 года. И каждому из них было уже за шестьдесят. Это были крепко сложенные угрюмые люди с сильными руками, изборозженными трещинами. Халип снял их втроем.

Не обошлось без глупостей. К нам привязался военный уполномоченный; пристал, что БТ-7 снимать можно, а танк Т-26 нельзя. Этот старый танк представлялся ему чуть ли не секретной машиной последней конструкции. Напрасно я пытался ему объяснить, что этому танку уже много лет, что множество таких разбитых танков Т-26 осталось на территории, занятой немцами. Ничто не действовало, и он мешал Халипу снимать. Разозлившись, я поговорил с ним на басах, и оказалось, что это нужно

было сделать с самого начала. Он сразу стал обходителен, завел меня в заводскую контору и стал мне плести какую-то длинную кляузу насчет начальника цеха и еще кого-то, что кто-то там соответствует, а кто-то не соответствует, и так далее и тому подобное. Чувствовалось, что этот нудный человек даже сейчас здесь, на заводе, где люди не спали ночей и работали как дай бог всем, все-таки ухитрялся держать в памяти какие-то старые предрассудки и клевету мирного времени. Я отвязался от него, и мы уехали.

С завода мы решили заехать в госпиталь, где, как нам говорили, лежал татарин — подполковник, командир балашовского полка. Оставив машину у госпитального двора, мы вошли внутрь. У въезда во двор в больших воротах было прорезано окошечко, через которое выдавали пропуска. Перед воротами толпилось много народу. В Одессе одни части формировались, а другие пополнялись за счет местного населения, и родственники узнавали о том, что ранен муж или брат, обычно в тот же день, когда это происходило, или, в крайнем случае, на следующий день. Фронт был так близко, что раненых привозили в Одессу через час-два после ранения. Словом, все было так наглядно, как нигде.

Шли жестокие бон. Во двор один за другим въезжали грузовики; их разгружали и тут же нагружали ранеными, которых надо было эвакуировать дальше морем. В ожидании погрузки на госпитальном дворе, в скверике, лежали носилки с ранеными.

Мы долго искали подполковника по разным палатам. Всюду было битком набито. Сестры и санитары сбивались с ног. Все койки до одной были заняты, и между ними на полу лежали тюфяки или носилки. Каждый метр в госпитале был накрыт чем-то белым, на чем стонали, а иногда кричали.

Подполковника так и не нашли. Его уже эвакуировали.

Из госпиталя заехали к себе. Выяснилось, что поздно вечером должен уйти в Севастополь эсминец, и я пошел на морскую базу с запиской Азарова, а Халп тем временем взял нашу полуторку и поехал на станцию Раздельная спать построенный одесскими рабочими бронепоезд.

На базе меня встретил контр-адмирал, высокий, бородатый, в морских брюках, заправленных в сапоги. Он написал резолюцию на записке Азарова. И в ту же минуту все кругом зазвонило и загудело. Началась очередная воздушная тревога, которую здесь с одесским юмором успели прозвать «Уб» — «уже бомбили».

Я вышел от адмирала и пошел обратно в штаб пешком. Надо было идти километра четыре. Была тревога, трамваи не ходили. Я шел пешком через раскаленный за день жарой южный город.

На улицах, через которые я проходил, было мало следов бомбежки, только безлюдье да погромыхивающие выстрелы зениток.

Добрался уже незадолго до того, как нам пора было отправляться на эсминце. Бочарова не было на месте, и я оставил ему в политотделе записку, что мы уезжаем в Севастополь, чтобы передать оттуда первые материалы, и, очевидно, через несколько дней снова будем в Одессе.

Халип вернулся из Раздельной в последнюю минуту, и мы поехали в порт.

Последнее воспоминание об Одессе. По трапу эсминца ведут под руки двух людей с мешками на головах. Как потом оказалось, это были наши старые знакомые — румынский майор и румынский капитан, которых мы видели в лагере военнопленных и которых теперь отправляли на Большую землю...

Перед концом этой главы одно самокритичное примечание.

Со странным чувством я перечитывал сейчас строки, связанные в дневнике с моим внезапным намерением попасть в наши войска, вступившие в Иран. У меня даже возник соблазн вычеркнуть из дневника эту историю, свидетельствующую о некоторой легкости в мыслях.

Высказанные там соображения, что мы не могли отправлять свои материалы из Одессы в Москву на перекладных, через третьи руки, были верны и впоследствии оправдались. Но, чтобы быть честным до конца, надо сказать и другое: если бы не эта вдруг возникшая идея командировки в Иран, мы, очевидно, пробыли бы в Одессе еще несколько дней, собрали больше материала, и, вернувшись из Одессы, я послал бы в Москву что-то более серьезное, чем мои наспех написанные одесские очерки, появившиеся в «Красной звезде».

Видимо, меня подвело тогда самолюбивое мальчишеское желание еще где-то оказаться самым первым, да и просто-напросто любопытство.

Словом, на мой нынешний взгляд, укоризненно говоривший с нами на эту тему полковой комиссар Бочаров тогда был прав, а мы, уехавшие из Одессы на несколько дней раньше из-за своей никому не пужливой иранской затеи, были не правы. Больше того, Бочаров имел все основания быть недовольным нами. Присутствующий в записках оттенок несправедливой досады на него был результатом того, что, наверно, где-то в глубине души я и тогда ощущал свою неправоту. Как известно, люди в таких случаях сердятся не на себя, а на других. И я не был исключением из этого правила.

...Наш эсминец отшвартовался уже в темноте, и через несколько минут Одесса скрылась из виду.

Ночью мы сидели в кают-компании. Моряки расспрашивали о Западном фронте. Я начал рассказывать и вдруг почувствовал усталость — еще только что продолжал говорить, а потом вдруг ничего не помню. Проснулся, сидя за столом. Кругом пикого, а за иллюминатором уже светло.

В одиннадцать часов дня мы без всяких происшествий оказались в Севастополе. Надо было связаться с Москвой, и я решил, что, поскольку транспортные самолеты все равно идут из Симферополя, есть смысл ехать прямо туда и оттуда звонить в Москву.

Мы быстро нашли Демьянова, сели в машину и, не заходя в штаб, махнули в Симферополь. Во второй половине дня мы были уже там и, по газетной традиции, заехали первым делом на несколько минут в редакцию «Красного Крыма». Заведующий военным отделом газеты Муцит — милый и расторопный парень — обещал, что, если никакое начальство не поможет мне связаться с «Красной звездой», он попробует устроить это сам.

Из редакции мы пошли в штаб недавно сформированной в Крыму на правах фронта 51-й особой армии. В коридорах штаба меня поразило обилие генералов. Мимо нас прошел по коридору высокий генерал-полковник, которого мы почему-то приняли за Апанасенко, но оказалось, что это был командующий армией Ф. И. Кузнецов.

В Военном совете армии мы познакомились с его секретарем Василием Васильевичем Роциным — большим умницей; я потом не раз имел случай убедиться в этом. Это был спокойный, деловой, точный, проницательный человек, немножко грустноватый от сознания, что слишком многое делается не так, как нужно.

Роцин представил нас бригадному комиссару Малышеву. Если не ошибаюсь, это был один из только что посланных в армию работников ЦК. Мы спросили Малышева об обстановке, которая складывалась вокруг Крыма. Мы уже слышали, что немцы в эти дни упорно пытались форсировать Днепр у Каховки. Малышев подтвердил нам это и обещал помочь связаться по телефону с редакцией. Но через час оказалось, что по армейской линии это не выходит, телефонной связи нет.

Мы пошли в Крымский обком партии, попытались связаться оттуда. Оказалось, что и там нет связи. Говорили о каком-то повреждении на линии. Тогда я зашел за Муцитом, и мы двинулись с ним прямо на телефонную станцию. На мое счастье, здесь,

в Симферополе, только что прошла премьера «Парня из нашего города», и, когда Муцит вызвал из недр телефонной станции старшую и познакомил меня с ней, сказав, что я автор «Парня», девушка, дай бог ей счастья, обещала помочь.

Мы отправились в какой-то санпропускник. Муцит устроил нас спать в кабинете директора, где стоял телефон. Часа в три ночи девушка, очевидно, с невероятными мытарствами — прямая линия через Харьков действительно не работала — соединила меня с Москвой через Керчь — Краснодар — Воронеж. Я услышал далекий голос Ортенберга. Он спросил, откуда я звоню. Я сказал, что из Симферополя и что мы только сегодня вернулись из Одессы.

— Есть ли материалы?

— Есть па четыре или па пять подвалов.

— А снимки?

— Есть и снимки.

Я сказал ему, что послезавтра первым самолетом отправим ему и то и другое. Потом спросил его об Иране. Он ответил, что я поздно об этом говорю. Если бы я раньше имел возможность махнуть туда прямо из Одессы, это еще имело бы смысл. А сегодня там уже кончились всякие военные действия, и он будет отзывать даже тех, кого послал.

В заключение разговора он сказал, чтобы я зашел к его старому знакомому, корпусному комиссару Николаеву, члену Военного совета 51-й армии.

На рассвете Халип сел проявлять пленки. У него набралось их шестнадцать штук. А я пошел в редакцию и с десяти утра до двух часов ночи диктовал, замучив трех машинисток. Я продиктовал один за другим пять очерков, и, пожалуй, за исключением одного, это были самые плохие очерки из всех, до сих пор мною написанных. Но что было делать? Самолет в Москву уходил завтра, а первые материалы об Одессе надо было дать во что бы то ни стало. Из этих материалов один был напечатан «Красной звездой» целиком, три в изрезанном виде, а один так и не пошел.

Кроме всего прочего, я вложил в пакет с очерками великолепный дневник одного румынского офицера, человека культурного, видного, неглупого, еще очень молодого и по-человечески потрясенного ужасами войны.

«Дуглас», с экипажем которого мы должны были отправить в Москву свои материалы, должен был лететь завтра в час дня. Мы заснули глубокой ночью, а утром, когда я стал перечитывать и поправлять очерки, а Халип возился со своей еще не досушенной пленкой и собирался разрезать ее и делать к ней текстов-

ки, вдруг позвонили из ВВС, что «дуглас» летит не в час дня, а сию минуту.

Я позвонил на аэродром. Мне сказали оттуда, что действительно «дуглас» летит сейчас, что на аэродроме гости и самолет не может ждать. «Что значит гости? — подумал я. — Может, это условное обозначение налета немецкой авиации?» Но все-таки упрямил, чтобы нас подождали десять минут.

Что было делать? Пленки были не готовы, но я уговорил Халипа завернуть все, что у него было, в газетные листы, пихнул его в машину, сунул ему за пазуху пакет с моими корреспонденциями, и мы понеслись на аэродром. Свой план я объяснил Халипу только по дороге. Делать нечего, текстовки сочинять некогда, он должен сам садиться на этот самолет и лететь в Москву.

Неожиданность решения так ошеломила его, что он сначала заспорил, а потом взял с меня клятву, что я никуда не уеду без него. Через два дня он вернется обратно!

На аэродроме на нас наорал дежурный. Самолет ждал вылета, а гости, о которых он говорил по телефону, были не условным обозначением немецких самолетов, а действительно гостями. С этим «дугласом» летели из Севастополя обратно в Москву полтора десятка английских офицеров, кажется, специалистов по обезвреживанию новых немецких магнитных мин. Вдобавок ко всему выяснилось, что у меня нет разрешения на полет Халипа. Но я все-таки уломал дежурного, обещав, что завезу разрешение от Военного совета потом, после отправки самолета.

Ожидавшие отлета англичане и наши военные с любопытством смотрели на нас, когда мы с Халипом вылезали из машины: вот кого, оказывается, ждал самолет! Я еще имел более или менее приличный вид и мог сойти за какого-нибудь порученца, но Халип выглядел достаточно странно. Он вообще имел привычку носить ремешь ниже живота, как беременная женщина, и подвешенный к поясу паган болтался у него сейчас как раз посередине. Пилотка, которую он несколько раз ронял то в проявитель, то в закрепитель, была покрыта тигровыми пятнами, а кроме того, в спешке падета звездой назад. Он шел к самолету, прижимая к груди огромный ком старых газет. На глазах удивленного экипажа и пассажиров я впихнул Халипа в самолет, он ошалелыми глазами посмотрел на меня через окно, слабо помахал рукой, и самолет улетел.

Вернувшись в Симферополь, я узнал, что сегодня утром корреспонденты «Известий» Виленский и Зельма поехали в Севастополь с намерением добраться до Одессы и сделать о ней полосу. Я поехал к Роцину и дал по военному проводу телеграмму в «Красную звезду»: «Выслал... самолетом пять материалов,

И Халипа со снимками. Не замедлите печатанием. «Известия» выехали Одессу делать полосу».

Вечером самолетом пришел вчерашний номер «Красной звезды». Взяв его в руки, я с удивлением обнаружил на первой полосе шестьдесят строчек с заголовком «В Одессе» и с подписью: «От нашего спец. корреспондента К. Симолова». В первые минуты я ничего не понял. Я не передавал ни строчки и всего несколько часов назад проводил Халипа. Только потом я сообразил, как это было сделано. Узнав позавчера глубокой ночью, что я вернулся из Одессы, Ортенберг, очевидно, в последний момент тиснул мою подпись под заметкой, составленной по материалам сводок. Подкопаться под это было нельзя: в Одессе я был, то, о чем писалось в заметке, видел, а на следующий день в редакции должны были появиться мои собственные материалы...

В дневнике ни слова не сказано об одном хорошо запомнившемся мне эпизоде, который произошел после того, как Халип улетел в Москву.

Я узнал в штабе 51-й армии о налетах наших ночных бомбардировщиков на Плоешти и о том, что они базируются здесь, в Крыму. Бомбардировщиками командовал полковник В. А. Судец, впоследствии маршал авиации.

Явившись к нему, я попросил взять меня, как корреспондента «Красной звезды», на один из ночных бомбардировщиков, чтобы я, вернувшись, смог написать об их действиях.

Судец отказал мне, и довольно строго. Я стал настаивать. Тогда он заявил, что в этих полетах рассчитан каждый килограмм загрузки и брать лишних людей вместо бомб и бензина он не будет. А если я все-таки желаю лететь, он даст мне возможность окончить шестинедельные курсы и после этого летать бортстрелком.

Я понял, что это предложение — ироническая форма отказа, и, не желая отступать, вытащил имевшуюся у меня на крайние случаи бумагу за подписью Мехлиса о необходимости оказывать мне содействие.

Однако, к моему удивлению, эта бумага не только не произвела на упрямого полковника ожидаемого мною впечатления, а, наоборот, разозлила его.

Он сердито вернул мне ее, сказав нечто по тому времени уж и вовсе для меня неожиданное, вроде того, чтобы я шел вместе со своей бумагой куда подальше, бомбардировщиками здесь командует он, и я могу ехать и жаловаться на него хоть самому Мехлису... Закончив разговор вполне официальной фразой «вы

свободны», полковник, в сущности, предложил мне убираться, что я и сделал.

Лишь много лет спустя при встрече В. А. Судец объяснил мне истинную причину его тогдашнего отказа: как раз в те ночи полеты на Плоешти сопровождались для нас особенно большими потерями, о которых, разумеется, тогда не распространялись, и полковник Судец, несмотря на разозлившее его размахивание бумажкой Мехлиса, пожалел меня, считая, что незачем рисковать лишней головой.

Когда весной 1942 года я передиктовывал свои дневники с блокнотов, я не оставил в них и следа этого эпизода. Наверное, сделал это из молодого самолюбия — не хотел вспоминать о неудавшейся затее с полетом на Плоешти.

...Я прождал Халипа в Симферополе два лишних дня. Написал для газеты стихотворение «Слово моряка» и передал его по телеграфу. А потом одно за другим написал несколько лирических стихотворений. На исходе четвертых суток, оставив редакции «Красного Крыма» записку, что уезжаю, я в последний раз отправился встречать Халипа, решив: если он не прилетит и сегодня, прямо с аэродрома ехать в Севастополь, а оттуда в Одессу. Пусть догоняет. В Крыму было абсолютно печего делать. Казалось стыдным сидеть здесь. Но Халип прилетел этим самолетом, и мы отправились в Севастополь вдвоем.

По дороге Халип рассказал мне, что в Москве уже напечатано два моих материала и поили его снимки. Ортенберг считает, что мы правильно сделали, что быстро съездили и вернулись, теперь нам нужно снова ехать в Одессу, но перед этим есть еще одно задание — побывать в Севастополе на одной из отличившихся подводных лодок и сделать о ней статью со снимками.

Боясь, что с чужих слов у меня ничего путного не получится, я решил, что надо попробовать сходить на подводной лодке самому. Вечером, приехав в Севастополь, мы с Халипом пошли к начальнику штаба флота контр-адмиралу Елисееву.

Выслушав меня, он ответил, что один не может это решить, должен доложить командующему флотом вице-адмиралу Октябрьскому. Вышел на пять минут и, вернувшись, сказал, что вице-адмирал разрешает. И что я должен завтра с утра еще раз явиться сюда один для дальнейшего уточнения. При этом заранее помня, что подводное плавание будет длиться суток двадцать пять.

Халип яростно пихнул меня под стол попой, но отступить было уже некуда, хотя я, честно говоря, когда затевал это, по-

чему-то думал, что плавание будет длиться суток двое, от силы трое. Но взялся за гуж — не говори, что не дюж. И я с некоторой запинкой сказал: «Ну что же, двадцать пять так двадцать пять».

Мы вышли от Елисеева и до поздней ночи сидели и пили чай вместе с братьями писателями из «Красного черноморца» Сашиным, Длигачем, Ивичем, Гайдовским в круглом садике Севастопольского Дома флота. Потом к нам присоединился еще один наш коллега и, сидя с нами на скамейке под звездами в эту прекрасную южную ночь, начал шумно рассказывать свои бесконечные боевые эпизоды. Как он воевал, как его обстреливали, как он обстреливал, как падали бомбы, как ему показалось, что его бросили, но как потом оказалось, что все в порядке, как они отступали, как стреляли пулеметы и били пушки. Все это было бесконечно длинно и ужасно. Я ненавидел его лютой ненавистью. Ночь была такая чудная; было так тепло и здорово, а он тут все жужжал и жужжал над ухом про свои боевые эпизоды, выедавая всем нам печенку.

Отцепившись от него, мы ушли, и тут, оставшись наедине со мной, Халип устроил мне истерику за то, что я хочу пойти на двадцать пять суток в море, что это безобразие, что нас послали вместе и я не имею права от него отделяться. Если бы на пять дней, ладно, но на двадцать пять! Газета будет целых двадцать пять дней сидеть без материала с этого фронта.

Последнее было справедливо, и я в конце концов сказал, что когда завтра пойду к Елисееву, то попрошу его, если возможно, устроить меня в более короткое плавание.

Утром, собравшись с духом, я сказал адмиралу, что у нас на этом участке фронта больше нет ни одного корреспондента, что в крайнем случае я пойду на подводной лодке и на двадцать пять суток, но нет ли у них в виду какого-нибудь более короткого похода.

— Более короткого? — переспросил Елисеев. — Есть более короткий. Но...

Была длинная пауза, из которой я понял, что более короткий поход есть, но адмирал по каким-то своим соображениям не особенно склонен отправлять меня именно в этот поход. Он попросил меня подождать, куда-то вышел и, вернувшись, сказал, что есть поход на шесть-семь дней, но он бы все-таки советовал мне, если у меня есть возможность, пойти в двадцатипятидневное плавание.

Я ответил, что рад бы, но газета...

— Хорошо, — сказал он. — Пойдете на семь дней.

И послал меня к одному из своих помощников, который называет мне час и место, куда я должен явиться,

— Рекомендую вам даже в вашей среде не сообщать, что вы идете на подводной лодке. И когда — тем более, — прощаясь, сказал мне Елисеев.

Я зашел к комиссару штаба и договорился с ним, что Халипа возьмут на первое же судно, уходящее завтра в Одессу. Мы договорились с Яшей, что он отправится в Одессу дней на шесть и вернется примерно к тому же времени, что и я. А потом, когда мы передадим материалы, мы снова поедем вместе, смотря по обстановке — или еще раз в Одессу, или на Южный фронт, под Каховку.

Я просил его вести в Одессе кое-какие записки, чтобы, когда он вернется, вместе сделать по этим запискам один-два очерка, используя, таким образом, все свои возможности, дав в газету материал и из Одессы, и с подводной лодки. Условились также никому не говорить, что я пойду на подводной лодке, сделал вид, что мы оба завтра отправляемся в Одессу.

Оставалось ждать завтрашнего дня. Вместе с ребятами из флотского театра мы пошли купаться. Море было теплое, с небольшой волной. Художественный руководитель театра Лифшиц, большой, красивый, еще молодой парень, сидя на берегу, развивал мне свои идеи о синтетическом театре, с которыми он носился уже много лет и где-то в провинции проводил в жизнь. Кажется, он был одним из учеников Охлопкова, а идея заключалась в том, что публика должна активно участвовать в зрелище, действовать вместе с актерами и что вообще все это должно быть своего рода тонкой, умно подготовленной народной игрой. Лифшиц говорил, что театр в тех трех измерениях, в которых он был, отмирает, что его так или иначе все равно заменит кино и единственная форма театра, которая останется, это синтетический театр — зрелище.

Меня в тот вечер раздражал этот разговор. Отчасти потому, что я сам любил честную актерскую игру в честных трех театральных стенах, но главное все же было не в этом, а в том, что мне казались пелеными все эти разговоры о синтетическом театре, об отмирании или выживании театра и вообще споры об искусстве. Он говорил обо всем этом искренне, увлеченно, почти как одержимый, и я чувствовал, что все его интересы, помыслы, чаяния — все осталось там, за пределами войны. До войны ему, в сущности, нет никакого дела. У него только одна мысль — чтобы война поскорее кончилась и он мог опять заниматься своим синтетическим театром. Он еще не ощутил войну как бедствие, ему она просто мешала. Спорить с ним мне казалось бесполезным. Даже не хотелось возражать ему. Я молчал, а он еще долго говорил на эту тему...

Перечитав в дневнике сердитое место о режиссере Лифшице с его показавшимися мне тогда нелепыми разговорами о синтетическом театре будущего, я попробовал разыскать в Морском архиве следы этого человека, и то, что я узнал о нем, вступило в психологический контраст с моими записями.

Александр Соломонович Лифшиц продолжал оставаться руководителем Театра Черноморского флота до декабря 1943 года. Кто знает, может быть, и тогда, в разгар войны, мысли о синтетическом театре будущего продолжали волновать его? Однако вопреки несправедливо сказанному о нем в моем дневнике эти мысли не мешали Лифшицу думать о войне. В политдонесении начальника политотдела Азовской военной флотилии, датированном декабрем 1943 года, рассказывается об операции, во время которой погибло несколько мелких кораблей — мотобаза, понтоны, мотобот и два катера:

«С 7 по 10 декабря 1943 года сторожевой корабль МО-04 выполнял боевую задачу по снятию десантных войск Приморской армии из города Керчь, район Митридат...

10 декабря сего года, продолжая выполнять поставленные командованием флотилии задачи, катер находился в Керченской бухте. Действуя в этом районе, катер подорвался на mine.

Личный состав во время катастрофы находился на палубе, за исключением радиста и режиссера политуправления Черноморского флота капитана Лифшица, которые погибли, а остальной личный состав был подобран нашими катерами.

Во время взрыва и после него на катере паники не было. Командир катера капитан-лейтенант Аксиментьев Степан Михайлович, начальник штаба операции капитан-лейтенант Деметьев Михаил Владимирович вели себя исключительно мужественно и смело...»

Прочтя это, я написал С. М. Аксиментьеву.

Вот выдержка из его ответного письма:

«...9 декабря, перед новым заданием, ко мне подошел начальник политотдела бригады кораблей тов. Денисенко (он погиб под Керчью) и представил мне тов. Лифшица А. С., последний попросил рассказать ему о том, как прошла высадка десанта. Честно говоря, я более двух суток не спал, к тому же предстояла и третья бессонная ночь. Тогда я сказал: «Тов. Лифшиц, у нас нет времени, да и рассказчик я неважный. Пойдемте со мной в операцию, и вы увидите своими глазами». Он охотно согласился...»

Думается, что вся эта история имеет прямое отношение к существовавшей тогда, так же как и сейчас, проблеме: художник и время.

Время было военное, и капитан-лейтенант Аксиментьев был прав, пригласив режиссера флотского театра посмотреть своими глазами, что такое высадка десанта. И режиссер правильно поступил, согласившись. А все остальное — дело случая, на этот раз трагического.

...На следующий день после моей второй встречи с контр-адмиралом Елисеевым мы в девять утра переправились через Севастопольскую бухту и высадились на базе подплава. У пирса рядом с другими стояла и та лодка, на которой я должен был идти в поход. Это была большая лодка крейсерского типа. Командир дивизиона подводных лодок представил меня командиру лодки капитан-лейтенанту Полякову и его помощнику старшему лейтенанту Стрельническому, под опеку которого я поступил.

Мы прибыли на базу в девять утра, а отплыли лишь в середине дня. Все это время было занято последними приготовлениями к походу. Лодку тщательно подготавливали, ибо плавание предстояло серьезное и дальнее.

— Пойдем к румынам, — не уточняя подробностей, сказал мне Стрельницкий.

Яша за два часа успел сфотографировать всех, кого ему было нужно, начиная от командира и кончая наводчиком зенитного пулемета. А я тем временем тихо сидел на мостике, наслаждаясь дневным светом, и смотрел на Севастопольскую бухту, необычайно оживленную, с беспрерывно сновавшими по ней катерами и кораблями. В тот день, помню, Севастополь показался мне красивым, как никогда, быть может, потому, что меня охватывала тревога перед предстоящим походом и с непривычки было страшно.

Наконец часа через три нас обоих пригласили спуститься в лодку, зазвонил колокол, означавший сигнал срочного погружения, и лодка примерно на полчаса погрузилась в воду. Как нам объяснили, ее проверяли. Через полчаса мы снова всплыли.

До окончательного отплытия оставались считанные минуты.

К борту причалил катер с командиром бригады подводных лодок. Командир принял рапорт от Полякова о готовности лодки выйти в поход, пожал ему руку, пожелал доброго пути и спустился по трапу на катер. Яша, обняв меня, тоже слез по трапу, еще долго махал мне с катера рукой. В последнюю минуту он все-таки спросил у командира бригады, нельзя ли и ему отправиться в поход. Но тот быстро и категорически отказал, заявив, что и одного лишнего человека не полагается брать на лодку, а о двух не приходится и говорить.

Едва успел скрыться катер, как мы тоже двинулись. Как и в прошлый раз, когда мы уходили на тральщике в Одессу, буксир открыл перед нами первую боновую сеть, преграждавшую ход в бухту вражеским подводным лодкам, потом закрыл ее за нами и только после этого открыл вторую боновую сеть. Вскоре Севастополь стал скрываться из виду.

В первые же два часа моего плавания на подводной лодке выяснилось, что у подводников своя система ознакомления вновь прибывшего с устройством лодки. Хотя мы шли на большой лодке типа «Л», мне казалось, что на ней очень тесно. Бесконечное количество приборов, труб, каких-то медных шлангов, клапанов, рычагов. Наконец, узкие люки, ведущие из отсека в отсек. Все это без привычки делало лодку почти непроходимой.

Система моего знакомства с ней заключалась в следующем простом способе. Когда я ударялся обо что-нибудь головой, плечом, ногой или какой-нибудь другой частью тела, ближайший подводник с невозмутимым лицом говорил: «А это, товарищ Симонов, привод вертикального руля глубины», «А это клапан вентиляции». А когда я, не заметив, что люк открыт, шагнул и провалился до пояса в аккумуляторное отделение, старший помощник Стрешельницкий сначала сказал: «А это аккумуляторное отделение», — и только потом протянул мне руку, чтобы я мог вылезти из этого отныне знакомого мне отделения.

Явился я на лодку в полном морском обмундировании — в кителе и суконных штанах. Эти штаны продержались на мне до обеда. Лодка шла полным ходом, и в ней было дико жарко. Дисциплина на лодке строжайшая. Но это дисциплина по существу. А формальной дисциплины в плавании не придерживаются. На вахте почти все стоят в штанах на голое тело, в майках или в холщовых комбинезонах. Сесть за командирский стол в расстегнутом френче, или без френча, или в комбинезоне за грех не считается. И в самом деле, застегиваться на все пуговицы и крахмалиться здесь просто невозможно физически.

Я сначала снял ботинки, потом брюки и, наконец, китель и проводил большую часть времени в трусах. Стрешельницкий смеясь, советовал мне нашить на них соответствующие моему званию нашивки.

На лодке все наоборот: самые рабочие часы — почные, когда она всплывает на поверхность и оказывается наиболее уязвимой. Часы зарядки аккумуляторов. Поэтому в распорядке дня во время плавания все перевернуто: завтрак — в шесть часов вечера, обед — в полночь, ужин — в шесть утра.

Я пошел на лодке, потому что мне было интересно принять участие в плавании. Но когда я уже оказался на ней, мне сразу

же захотелось, чтобы плавание поскорее кончилось. Я готов был пройти через все, что положено проходить в таких случаях, пережить все то, что переживают люди, идущие в поход, но при этом непременно хотелось остаться в живых и чтобы все положенное на поход время миновало как можно скорее.

Некоторые книги о подводниках вызывают специфический страх перед этой профессией. У меня этого специфического страха не было. Мне не казалось, что погибнуть, задохнувшись в подводной лодке, — это как-то особенно страшно, страшнее всего другого. Мне лично самой страшной казалась одинокая смерть пехотинца на поле боя. Тут, на лодке, похожего на этот страха одинокой смерти у меня не было. Наоборот, кругом были люди, которых связывало между собой чувство общности — уже хотя бы по одному тому, что всем им предстояло или вместе выжить, или вместе погибнуть, и никаких других «или». Только здесь, уже в пути, я узнал от Стршельницкого, что мы идем не на дежурство в квадрат, а на значительно более опасную операцию. Нам предстояло минирование одной из румынских военных гаваней. Как мне популярно объяснили, опасность этой операции состояла в том, что нам нужно было войти в самую бухту и поставить мины почти на виду у немцев.

Насколько я понял, это была одна из тех невидимых, по опасным и важных работ, которую на суше, наверное, можно сравнить с работой саперов, идущих впереди танков. Когда Стршельницкий рассказал мне об этом их боевом задании, я подумал, что, в сущности, это еще интереснее, чем дежурство в квадрате, хотя внешне и менее эффектно, чем то, о чем мы обычно читаем, — чем потопление какого-нибудь корабля. Кроме того, мне стало ясно, что в данный момент это задание сугубо секретное и, даже если лодка выполнит его самым блестящим образом, я не смогу написать об этом в «Красной звезде». С точки зрения редакции, мой поход на лодке окажется почти бесцельным, если нам не повезет и мы похода не поткнемся на какой-нибудь корабль и не потопим его.

Я захватил с собой на лодку несколько книжек, но читал мало. Лодку покачивало, а качка усыпляет меня. Кроме того, как видно, все первые месяцы войны я незаметно для себя здорово недосыпал и устал. На лодке меня все время клошило ко сну. К концу суток, когда нужно было подниматься на поверхность заряжать аккумуляторы, воздух в лодке становился тяжелым, сдавленным. Было не только душно, но чувствовалась какая-то тяжесть в движениях, в разговорах, даже, я бы сказал, в мыслях. Наверно, это было у меня с непривычки.

На вторые сутки похода меня подбили рассказать экипажу

о событиях на Западном фронте. В одном из отсеков собралась, в это самое спокойное время дневного подводного хода свободная от вахты часть команды. Моряки лежали и сидели на подвесных брезентовых койках. Мне дали тоже брезентовый раскладной табурет. Из двух соседних отсеков высовывались головы еще нескольких человек. Но входить сюда они не имели права. На случай боевой тревоги ни в одном отсеке не должно находиться больше людей, чем положено.

Я, когда приходится что-нибудь рассказывать, обычно рассказываю спокойно. Но тут я почему-то вдруг стал говорить непохоже на себя — прерывисто, задыхаясь. Оттого, что я начал задышаться, я стал волноваться, а оттого, что разволновался, стал еще сильнее задышаться. В общем, говорить было очень трудно, и я даже не мог понять, в чем дело. Только потом сообразил, что мне было просто-напросто физически трудно говорить: не хватало воздуха — мы были под водой уже двадцать часов.

Я рассказывал подводникам о Западном фронте, конечно о многом умалчивая и приводя те примеры мужества, которые я видел и на которые мы опирались в своей газетной работе. Рассказывая, я заметил одну интересную психологическую подробность. Подводники были боевые люди, уже не раз рисковавшие жизнью, но, когда я говорил им о других людях и других условиях, у слушавших было чувство, что самое настоящее не тут, где они, а там, где воевали те люди, о которых рассказывал я. У них было ощущение, что они сами как-то в стороне от самого главного, самого опасного и самого героического.

И позже, когда судьба забрасывала меня на разные фронты и мне приходилось рассказывать людям на одном фронте о том, что происходит на другом, люди слушали, и им всегда казалось, что самое настоящее и сильное происходит не там, где они. Это, видимо, свойственно русскому человеку вообще.

Когда Стрельницкий был свободен от вахты, мы подолгу разговаривали с ним. До войны он работал в нашем военном представительстве в Соединенных Штатах и много рассказывал мне об этой стране. С командиром лодки Поляковым мы говорили реже, и в первую половину плавания, пока мы не выполнили задания и не пошли обратно, он показался мне человеком неразговорчивым и даже угрюмым. Роль командира на подводной лодке напоминает роль пилота, только здесь, на лодке, власть еще безграничнее, чем на самолете. Командир — это единственный зрячий на лодке. Только он в решительные секунды смотрит в перископ, следовательно, только он может принять в эти секунды решение, и зачастую никто не может помочь ему советом, если бы он даже этого и хотел. Даже в момент плавания

него напряжения боя, когда, скажем, торпедирруется неприятельское судно, цель видит только он, командир. Но даже и он не видит результата, самого мгновения потопления. Этого на подводной лодке не видят, а слышат, потому что, торпедировав, она тотчас же уходит под воду на большую глубину, чем перископная. Это та корректива, которую в современной войне внесли в работу подводных лодок авиация и глубинные бомбы.

В конце третьих суток мне дали в центральном посту посмотреть в перископ, и я увидел очень близко берег, каменистые горы, похожие на Крымские, маленькие домики на горах. Все это было очень ясно видно. Но когда я стал поворачивать перископ, чтобы посмотреть, что находится слева и справа, то мне по-прежнему все время был виден берег. И лишь когда я повернул его почти на 180 градусов, в перископе показалась полоса воды. Мне объяснили, что мы находимся в одной из румынских военных гаваней. Очевидно, наступало время выполнять наше главное задание. Это было заметно по настроению на лодке. Все были напряжены.

Не желая задавать никчемные вопросы и вообще путаться под ногами, я улегся на свой диван в кают-компанию, чувствуя, что лодка стопорит ход и производит какие-то эволюции. Потом в каюту ввалился усталый Поляков, сел, положил руки на стол, а голову на руки, потом залпом выпил два стакана компота, потом стакан чаю, потом расстегнул китель, с облегчением сказал: «Готово, заминировали» — и, чуть не задремав тут же, за столом, пошел спать.

Штурман лодки Быков, совсем молодой парень с круглым краснощеким лицом, сидя в своей штурманской кабине, вычислял обратный курс. Я с облегчением думал о том, что теперь нам остается только вернуться в Севастополь. Но вскоре подошел Стрельницкий и сказал мне, что неожиданно получена шифрованная радиограмма, чтобы мы задержались еще на сутки у этих берегов. Грешным делом, меня это не особенно обрадовало.

Я могу вспомнить по дням почти всю свою жизнь на фронте, но когда я мысленно возвращаюсь к плаванью на подводной лодке, то дни и ночи были там так перепутаны, что вспоминается все вместе. Я ел, спал, получал информацию о ходе нашего плаванья и в один из дней сочинил для боевого листка стихи о нашей Л-4.

Стрельницкий в свободное от вахты время написал мне ответные шуточные стихи, в которых проезжался на мой счет. Дело в том, что я во время плаванья как-то сварил на камбузе огромную кастрюлю кофе по собственному рецепту, бухнув туда, кроме большого количества сахара, еще почти целую бутылку

коньяка, прихваченного мной па лодку. Я уверял при этом, основываясь на собственном опыте, что от черного кофе с коньяком вылетает из головы сон. После этого, в одну из ночей, разрешив мне подняться наверх, па мостик, Поляков показал мне па круглое стекло телеграфа, наклоняясь над которым стоят командиры на вахте. Это стекло все полопалось — в него ударил осколок снаряда во время предыдущего плавания. Но Поляков с абсолютной серьезностью уверял меня, что трещины на стекле образовались оттого, что оп после моего кофе всю вахту клевал носом. Над этой историей и подтрунивал Стршельницкий в своих стихах.

Прошли еще сутки. Не знаю, где точно мы находились в это время. Шли, кажется, каким-то ломаным курсом и теперь были в открытом море. Было ясное утро, прекрасная видимость. Лодка всплыла и шла в надводном положении. Вдруг матрос, стоявший у зенитного пулемета, повернулся к Полякову и сказал:

— Корабль!

Поляков взял бинокль и долго смотрел. Потом крикнул резким голосом:

— Срочное погружение! — и щелкнул ручкой телеграфа.

Я, скользя по поручням, ссыпался вниз, в люк, а вслед за мной и другие. Через пятьдесят секунд лодки уже не было на поверхности.

Мне разрешили остаться па центральном посту, рядом с перископом, к которому буквально прилип Поляков. Закинув руку за поручень перископа так, как закидывают ее, когда плывут кролем, и наваливаясь плечом, он поворачивал перископ то влево, то вправо. Одна за другой следовали команды: «Прибавить ход! Еще! Еще!» Корабль еще оставался в пределах видимости, но, как вскоре выяснилось, то ли заметив нас, то ли по случайному совпадению оп шел не встречным и не пересекающим курсом, а прямо от нас. И постепенно его становилось все хуже и хуже видно в перископ. Должно быть, его надводный ход был больше нашего подводного.

— Товарищ командир! — вдруг азартно сказал Стршельницкий Полякову. — Я ведь все-таки бывший флагманский артиллерист бригады. Давайте всплывем. Немножко поднагоним их и распатроним из артиллерии.

Поляков кивнул и отдал приказ к всплытию.

Когда лодка всплыла и мы поднялись па мостик, кругом была только вода. Неприятельский корабль исчез. Было только известно, каким курсом идти. Лодка стала развивать предельную скорость. Наконец в бинокль снова стал виден дымок на горизонте. Я спросил Стршельницкого, какая между нами дистанция. Он сказал, что миль семь.

Мы продолжали идти вслед за кораблем, но нагоняли его очень медленно. Погоня продолжалась уже около двух часов, а мы сблизились всего на полторы мили.

— Мы его так и до Румынии не догоним, — сказал Стрельницкий. — Товарищ командир, может, стрельнем, а?

— Далеко, — сказал Поляков. — Не попадем. Но давайте попробуем, все равно не догоним.

Стрельницкий звонким голосом подал расчету команду:

— К орудию!

Расчет занял свои места.

На горизонте теперь был виден уже не только дымок, но и удлиненная вверх черная точка — возвышавшийся над водой корпус судна. Стрельницкий произвел расчеты и каким-то особенным, торжественным, мальчишески задорным голосом крикнул:

— Прицел четыре! По вражескому судну — огонь!

Раздался выстрел, и впереди мостика все заволкло дымом. Когда дым рассеялся, на горизонте по-прежнему была видна дымящаяся черная точка. Потом, примерно через полминуты, немного левее нее над морем поднялся высокий водяной столб.

— Два вправо. Огонь! — скомандовал Стрельницкий.

Снова выстрел, снова рассеивающийся перед мостиком дым. Но проходит пять секунд, десять, пятнадцать, тридцать, сорок, а на горизонте нет ничего, кроме все той же дымящейся черной точки. Неужели снаряд не разорвался? Стрельницкий смущенно смотрит в бинокль и теперь уже злым голосом командует:

— Прицел тот же. Огонь!

Третий выстрел. Когда дым рассеивается в третий раз, мы все с удивлением видим, что на горизонте ничего нет. Ровным счетом ничего: ни дыма, ни черной точки. Это похоже на колдовство. Третий снаряд еще не мог долететь, не мог произвести никакого действия, а преследуемого нами судно уже не было.

Прошло еще несколько секунд, и впереди, примерно там же, где был первый водяной столб, появился новый — от третьего выстрела. Вдруг Стрельницкого осенила догадка:

— Не может же, в самом деле, исчезнуть судно. Очевидно, наш второй снаряд попал прямо в него и вызвал взрыв, который совпал с моментом нашего третьего выстрела.

Хотя это объяснение Стрельницкого казалось неожиданным, по какому-нибудь другому трудно было найти. Конечно, попасть на таком расстоянии в движущееся судно почти без пристрелки, со второго снаряда — артиллерийский фепомеп, почти чудо. Но исчезновение корабля, если в него не попал наш снаряд, было бы еще большим чудом. Все, кто был на мостике, останавливались на объяснении Стрельницкого. Однако добро-

совестный Поляков решил, что все-таки надо проверить, и отдал приказание идти полным ходом к месту, где, по нашим предположениям, должны были находиться обломки корабля, а может быть, и люди. Мы шли туда примерно три четверти часа, но, когда дошли, не обнаружили на воде ничего — ни людей, ни обломков, — ничего, кроме огромных стай чаек, кружившихся над водой. Если наш снаряд попал в цель, то, очевидно, на судне был взрыв такой силы, что корабль буквально разнесло. Других объяснений случившемуся никто из нас не находил.

Впоследствии, когда мы уже вернулись на базу, выяснилось, что в этот день в этом квадрате моря был потоплен, как это установила агентурная разведка, военный вспомогательный корабль малого тоннажа, груженный боеприпасами.

Мы немного порыскали кругом, все еще надеясь найти хоть какое-нибудь доказательство потопления, потом Поляков приказал развернуться и идти обратным курсом. И погоня, и поиски обломков — все это было рискованно в том случае, если с погибшего судна успели дать радио, что их преследует подводная лодка.

Мы уже минут двадцать шли обратным курсом, когда краснофлотец, дежуривший у зенитного пулемета, повернулся к капитану и тихо сказал:

— Самолеты.

Поляков вскинул к глазам бинокль и дал сигнал срочного погружения. Мы посыпались в люк один на другого. Лодка скрылась под водой. На этот раз нам грозили глубинные бомбы, и мы продолжали погружение. Стрелка глубиномера показывала все больше и больше — пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять метров. На глубине тридцати метров мы прекратили дальнейшее погружение и пошли продольным подводным ходом.

В принципе считается, что на глубине свыше тридцати метров даже в прозрачной воде самолет с трудом обнаруживает лодку. Так или иначе мы прислушивались, задержав дыхание. Очевидно, самолеты были вызваны по радио и теперь будут крутиться над нами, поджидая, не попробуем ли мы всплыть, и бросаая вокруг нас наугад по площади глубинные бомбы.

Все напряженно ждали. Глубинная бомба, сброшенная даже на некотором расстоянии от лодки, все равно может исцелить ее страшной силой удара распыряемой взрывом воды.

Примерно через четверть часа до нас донесли глухие взрывы.

— Бросает,— сказал Стрельницкий. — Бросает глубинные но далеко. Очевидно, уйдем.

Мы шли под водой еще два часа. Потом Поляков, рассчитав примерно запас горючего, которым могли располагать кружившиеся

над нами самолеты, решил всплыть. Когда мы поднялись на поверхность, уже вечерело, и вскоре наступила черная южная ночь.

Люк, выводящий из лодки наружу, наверх, проходит через маленькую, расположенную в ее верхней части рубку. При этом люк устроен не как прямой колодец, проходящий насквозь через два отделения, а эксцентрически, на манер коленчатого вала. В рубке специально для курильщиков лежат на полу каски, люди сидят на них и курят, видя над головой небо. Курят вдвоем, по две, по три минуты. У них есть время только на то, чтобы несколько раз затянуться и уйти, потому что внизу ждут своей очереди другие, а больше, чем по двое, здесь, в рубке, находиться нельзя. Я, как и другие, тоже сидел на каске и через люк смотрел на черное южное небо со звездами. Потом по предложению Полякова выбрался наверх, на мостик.

Море было гладкое и слегка фосфоресцирующее. Небо темнее моря, на нем много звезд. Мы вместе со Стршельницким бегом оглядели ночной небосвод и заметили блестящую отдельно от всех других звезд зеленую Венеру. Полунутя-полусерьезно я начал здесь же, на мостике, писать о ней стихи: «Над черным носом пашей субмарины взошла Венера — страшная звезда». И кончил их уже на следующее утро, когда мы подходили к своим берегам.

Проторчал на мостике всю ночь, так там было хорошо. После недельного плавания я чувствовал пехватку свежего воздуха и глотал его, как человек с пересохшим горлом пьет воду.

Обратно мы шли довольно долго, сложным маршрутом, минувая минные поля и всякие другие каверзы.

В Севастополь входили со стороны Ялты.

Как-то странно было видеть впервые с моря, с подводной лодки этот знакомый город, в котором я так много времени провел за последние три года перед войной.

Перед Севастополем появились встречавшие нас катера, а потом мимо нас прошла другая лодка для выполнения такого же задания, с которого мы возвращались. Сигнальщики с мостиков обменялись приветствиями.

— С благополучным возвращением, — просигналили нам.

— Желаем счастливого похода, — ответили мы.

К вечеру мы были в Севастополе. Пришвартовались у стейки подпола, последний раз пообедали на лодке, выпили по паре стопок водки, которую на время плавания Поляков распорядился заменить вином, и я отправился в город.

Халип еще не вернулся из Одессы. Демьянов не захотел еще раз оставаться тут, в Севастополе, один с машиной и по собственному желанию тоже отправился с Халипом в Одессу.

Я немного побродил один по Приморскому бульвару и заснул в Доме Морского флота, в кабинете начальника на жестком канцелярском диване.

Сведения из Одессы в эти дни снова были тревожные, и я беспокоился за товарищей. Впрочем, на то, чтобы особенно много думать, не было времени. Два дня я писал очерк о походе на подводной лодке. Он вышел довольно длинным и появился в «Красной звезде» в сокращенном виде под заголовком «У берегов Румынии». Закончив очерк, я отнес его на согласование в штаб флота, а со вторым экземпляром пошел к ребятам на подплав. Мы купались там со штурманом Быковым — прямо с подводной лодки ныряли в глубокую черную воду. Был уже вечер, и сплзу, из воды, пагромождения серых прибрежных скал и таких же серых корабельных башен казались какой-то величественной путаницей.

После купания я прочел Полякову и Стрельницкому свой очерк. Кажется, он им понравился. Обнаружились всего две технические погрешности. Я уже уходил, когда произошла забавная история. Поляков, видимо, недолюбливал корреспондентов и с моим присутствием на лодке примирился только к середине плавания. А когда я уже прощался с ним и со Стрельницким, вдруг подошли два корреспондента «Красного флота» и «Красного черноморца» и стали просить Полякова рассказать им подробности похода.

— Рассказывать трудно. Надо своими глазами видеть, — сказал Поляков и чуть заметно подмигнул мне.

Ребята ответили, что ничего, они по его рассказу представят себе всю картину.

Поляков продолжал отпекиваться:

— Лучше вот спросите Симонова. Он с нами ходил. Он вам все очень интересно расскажет, может быть, даже интереснее, чем на самом деле было. Все-таки писатель.

На следующий день мне вернули из штаба флота очерк с одной или двумя пометками и я отправил его в Москву..

На страницах дневника, связанных с походом на подлодку Л-4, оказалось несколько неточностей, допущенных по моей скупотной необразованности: кое-где я именовал флотские киты френчами, ревун — колоколом, а вместо «подошел» писал «причалил».

Была и еще одна неточность. Я упомянул, что Л-4 была лодкой крейсерского типа. На самом деле Л-4, хотя и принадлежала к одному из двух наиболее крупных типов наших подвод-

ных лодок, была не крейсерской лодкой, а минным заградителем типа «Ленинец», отсюда и ее название Л-4. Впрочем, Л-4 действовала во время разных походов не только как минный заградитель, она выполняла и другие задания.

Двадцать второго октября 1942 года лодка была награждена орденом Красного Знамени. Справка, составленная штабом Черноморского флота в связи с представлением лодки к ордену, дает понятие о том, чем занималась лодка в первый период войны. Она выполнила за это время семь минных постановок у берегов и баз противника, на которых подрывались пять транспортов общим водоизмещением 23 тысячи тонн и один торпедный катер. Во время боев за Севастополь лодка совершила семь походов, доставив в осажденный город 156 тонн боеприпасов, 290 тонн продовольствия, 27 тонн бензина и эвакуировав оттуда 250 раненых.

Я с некоторой долей тревоги искал в Военно-морском архиве документы о нашем походе. Поход проходил в обстановке вполне понятной секретности, и я опасался, что у меня могут оказаться ошибки, вызванные просто-напросто моим незнанием всех действительных обстоятельств того дела, в котором я принимал участие.

Однако, к моей сухопутной гордости, оказалось, что мои записки ни в чем существенном не расходятся с хранящимся в архиве вахтенным журналом этого похода. Только в вахтенном журнале с его морской терминологией все это записано короче, точнее, суше и, пожалуй, чуть многозначительней. Вот как выглядят выдержки из этого журнала за 7—8 сентября — третий и четвертый дни нашего похода:

«7 сентября, воскресенье.

- 5.35. Закончена зарядка аккумуляторной батареи. Погрузились на глубину 20 м.
- 8.10. Всплыли на перископную глубину, горизонт чист.
- 15.33. Прибыли в район выполнения боевой задачи. Боевая тревога.
- 16.33. Легли на курс минной постановки.
- 16.52. Выставлено минное заграждение в заданном районе. Всего выставлено 20 мин.
- 16.57. Легли на курс отхода. Продолжаем находиться на позиции у вражеского побережья.
- 20.27. Зашло солнце. Всплыли в надводное положение. Торпедные аппараты приготовлены к выстрелу, лодка готова к погружению.
- Начата зарядка аккумуляторов.

8 сентября, понедельник.

- 2.00. За кормой, на берегу периодически появляются белые огни. Курс переменный, маневрируем в районе позиции.
- 24.00. В течение суток встреч с кораблями и самолетами не было».

Как объяснил мне бывший штурман Л-4 капитан 1-го ранга Борис Христофорович Быков, паше тогдашнее положение осложнялось тем, что лодка была вынуждена маневрировать возле берега, на очень малых глубинах, буквально проползая «на брюхе» по грунту и оставляя за кормой мутный шлейф поднятого ила. И все это делалось в непосредственной близости от наблюдательных постов противника.

Но история того, как мы догоняли надводным ходом и обстреливали какой-то небольшой корабль, вдруг исчезнувший после нашего второго выстрела, не стала для меня окончательно ясной и теперь, через много лет.

Вот как она записана в вахтенном журнале за 9 сентября 1941 года. Пожалуй, это будет интересно тем, кто прочел соответствующее место в моем дневнике.

«9 сентября, вторник.

- 6.00. Оставили район позиции. Легли на курс возвращения на базу. Идем в надводном положении.
- 13.05. По пеленгу 35° обнаружен силуэт корабля. Боевая тревога! Срочное погружение!
- 13.07. Погрузились на перископную глубину, начали маневрирование для выхода в торпедную атаку. Полный ход.
- 13.36. Обнаруженный корабль — двухмачтовое парусное судно.
- 14.19. Дистанция до цели увеличивается. Ввиду невозможности занять позицию для торпедного залпа принято решение атаковать парусник артиллерией.
- 14.23. Всплыли в надводное положение. Полный ход под двумя дизелями. Артиллерийская тревога! Пусковое орудие готово к стрельбе.
- 14.55. Открыт артогонь с предельной дистанции.
- 15.10. Цель исчезла. Артстрельба окончена.
- 15.47. Прибыли в район, где находилась цель, ничего не обнаружено. Отбой артиллерийской тревоги.
- 17.23. По пеленгу 35° самолет. Срочное погружение! Погрузились на глубину 30 м. Начали маневрирование по уклонению от атаки самолета.
- 18.43. Всплыли на перископную глубину, горизонт и воздух чист».

Документального подтверждения данных нашей агентурной разведки о потоплении корабля противника я в архиве не нашел. Очевидно, какие-то сведения на этот счет в Севастополе были, иначе бы они не попали в дневник, но достоверность их остается под вопросом.

Несколько слов о людях, с которыми меня свела тогда судьба.

Командир Л-4 капитан-лейтенант Евгений Петрович Поляков плавал на лодке до конца военных действий на Черном море и был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени. А в мае 1945 года, командуя к тому времени дивизионом подводных лодок и находясь в звании капитана 2-го ранга, был награжден орденом Ушакова 2-й степени. В 1941 году, когда мы встретились, Полякову был всего тридцать один год.

Старший лейтенант Юрий Александрович Стрельницкий, под чью опеку я был отдан, ходил в тот поход на Л-4 старшим помощником в качестве стажера перед тем, как получить под свое командование другую лодку. На него, как на человека, находившегося на лодке сверх комплекта, и была взвалена дополнительная обуза — возня с корреспондентом.

Стрельницкому в 1941 году было двадцать восемь лет. За пять лет до войны он закончил Высшее военно-морское училище, владел двумя языками, английским и немецким, и 1937 год провел в США в качестве секретаря нашего военно-морского атташе. Как указано в его личном деле, после возвращения из Соединенных Штатов он с 1938 по 1939 год был «вне флота». Уволенный по болезни, он служил в каком-то гражданском учреждении радистом. К счастью для Стрельницкого, в 1939 году он смог вернуться во флот и накануне войны, в мае 1941 года, вступил в партию.

Перейдя с лодки Л-4 на лодку Д-6 командиром, Стрельницкий совершил на ней несколько походов; кстати, именно он высаживал со своей лодки в январе 1942 года десант в Коктебеле.

В апреле 1942 года Стрельницкий в звании капитан-лейтенанта был назначен начальником штаба 1-го дивизиона подводных лодок.

Аттестации, хранящиеся в личном деле Стрельницкого, рисуют привлекательный характер этого человека:

«...Как моряк вынослив, морской болезни не подвержен. В сложной обстановке разбирается хорошо. Обладает чувством долга. Для пользы службы пренебрегает личными выгодами и удовольствиями. Морально устойчив, работоспособен, вынослив. Абсолютно здоров. Быстро осваивает каждую новую отрасль зна-

ний. Сообразитель, находчив, хладнокровен. Отлично ориентируется в простой и сложной обстановке. Обладает силой воли. Энергичен, решителен, смел...»

Последняя аттестация датирована февралем 1942 года.

А в конце личного дела неожиданная, как шальная пуля, фраза: «12 мая 1943 года исключен из списков флота, как умерший после операции».

Мои попытки найти историю болезни ни к чему не привели. Да и что бы это изменило? Сами попытки эти были вызваны ощущением неожиданности и чуждости такой смерти во время войны. Никогда не можешь привыкнуть, что, кроме всех остальных смертей, людей на войне иногда подстерегала и та смерть, о которой отвыкли думать, просто-напросто смерть от болезни, от неудачной операции, от того, от чего умирает большинство из нас, когда не бывает войны.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

...Я уже третьи сутки сидел в Севастополе, когда Халип с Демьяновым вернулись из Одессы. Яша оказался молодцом и, кроме снимков, привез в блокноте материал для одной или двух корреспонденций, чтобы мое плавание на подводной лодке не лишило газету информации об Одессе.

Привез он из Одессы и одну тяжелую для меня новость. Вскоре после того, как в «Красной звезде» появился мой очерк «Все на защиту Одессы», в котором я рассказывал, как одессыты своими руками ремонтируют танки, а «Известия» напечатали корреспонденцию о том, что в Одессе производят минометы и гранаты, немцы усиленно бомбили различные городские предприятия. Потом, здраво рассуждая, я пришел к выводу, что это было простое совпадение. Ни в моей, ни в другой статье не было указано, где именно все это делается, а немцы, как раз в эти дни начав ожесточенно бомбить город, естественно, прежде всего обрушились на промышленные предприятия. Так подсказывал здравый смысл. Я не нес моральной ответственности за эту статью, хотя бы потому, что на завод, где ремонтировались танки, меня направил член Военного совета именно для того, чтобы я написал об этом корреспонденцию. Но в напряженной, первой обстановке осады, очевидно, все это воспринималось иначе, и Яша, рассказывая об этом, говорил, что в политотделе армии были сердиты и на меня, и на корреспондента «Известий» Вилепского, и просто не хотят слышать наших имен. Было тяжело на душе оттого, что пусть несправедливо, но все-таки впервые за войну какие-то люди, оказывается, проклинали твою работу.

Утром мы поехали в Симферополь. Первый день целиком ушел на то, чтобы разобраться в записях Халппа и сделать по ним две небольшие корреспонденции из Одессы. Одна из них не пошла, а вторая — «Батарея под Одессой» — была напечатана в «Красной звезде» за двумя подписями — Халппа и моей. В этой корреспонденции среди прочего шла речь о командире морской батареи майоре Денненбурге, который с первого дня войны ничего не знал о своей семье, оставшейся в Николаеве, и я втиснул в корреспонденцию несколько слов майора, обращенных к жене Таисии Федоровне и сыну Александру. Это было сделано с таким расчетом, чтобы его семья, если она успела эвакуироваться из Николаева, прочла в газете, что майор жив и здоров. Тогда я сделал это впервые, а потом несколько раз повторял этот прием, стараясь хотя бы через газету связать героев моих очерков с их семьями, о которых они с начала войны ничего не знали.

Майор А. И. Денненбург, о котором мы писали, остался жив, остались живы и его жена, и сын, о чьей судьбе он тогда ничего не знал.

На том месте, где стояли орудия одной из батарей его дивизиона, сейчас создан мемориальный Музей одесской обороны, с большой силой достоверности напоминающий о сорок первом годе.

«...Во время отхода из Одессы 42-й дивизион береговой артиллерии, где я был командиром, прикрывал отход войск. Батареи вели огонь до 3.30 16 октября 1941, т. е. до тех пор, пока последний солдат Приморской армии не оставил Одессу и пока корабли с войсками не оставили порт. Затем мы побатарейно взорвали материальную часть и на рассвете различными средствами, на сейнерах, буксирах и боевых кораблях, ушли в Севастополь. Можете себе представить, как тяжело было уничтожать орудия, которые так добросовестно, безотказно служили всю оборону. Но такой был приказ...»

Так написал мне теперь полковник береговой артиллерии в отставке Денненбург, вспоминая об этом, наверное, самом трудном часе своей военной жизни.

...На другой день утром я пошел к члену Военного совета 51-й армии корпусному комиссару Андрею Семеновичу Николаеву.

Николаев был невысокий, плотный, я бы даже сказал, грузноватый мужчина, на вид лет сорока — сорока пяти. Узнав, что

я явился к нему по приказанию Ортенберга, он встретил меня радушно и стал рассказывать, что хорошо знает Ортенберга, что они вместе участвовали в боях в Финляндии. Когда я сказал ему, что мне бы надо поговорить с Ортенбергом, но я пока не могу добиться этого, он ответил, что попробует связаться с «Красной звездой» и вызовет меня.

Едва я вышел, как меня снова позвали к Николаеву. Он уже разговаривал по телефону с Ортенбергом. Смысл их разговора, кроме дружеских восклицаний, кажется, сводился к тому, чтобы я остался здесь, у Николаева в армии, на длительное время. Видно, Ортенберг отвечал утвердительно. Потом трубку взял я. Ортенберг откуда-то очень издалека кричал, чтобы я держал тесную связь с Николаевым и бывал попеременно то здесь, в Крыму, то в Одессе.

— Но когда будешь ездить с Николаевым, осторожнее! — кричал он. — Он тебя утрюбит, имей в виду!

После этого разговора по телефону Николаев обратился ко мне уже как к своему человеку и сказал, что мы с ним тут все объездим.

— Отведем вам жилье, телефон поставим, чтобы была с вами связь, и будем вместе ездить.

Кажется, у него сложилось впечатление, что меня к нему прикомандировали на веки вечные, и я понял, что он хотя и воювал вместе с моим редактором, но не знает до конца его бесспорного характера.

Я спросил у Николаева, какое положение в Крыму. Он сказал, что пока все спокойно, но немцы уже почти всюду, начиная с Гепическа и кончая Перекопом, подошли вплотную к нашим укрепленным позициям и со дня на день можно ожидать столкновений. Это было для меня новостью. Я уже знал, что наш фронт по Днепру четвертого числа прорван у Каховки, но не предполагал, что немцы так быстро преодолеют большое расстояние и выйдут непосредственно к Перекопу.

Для нас, военных корреспондентов, в этой обстановке возникли дополнительные сложности. По сводкам, немцами еще не был взят Херсон, ничего не сообщалось о форсировании ими Днепра, а нам отсюда уже не сегодня-завтра придется печатно писать о боях на подступах к Крыму. Как это можно будет делать, оставалось совершенно неясным.

Николаев убежденно сказал, что ему приказано удерживать Крым во что бы то ни стало и лично он, пока жив, будет выполнять этот приказ. Потом Крым был все-таки отдан, а Николаев остался жив. Но в этом его трудно винить. То, что человек этого не погуб, на мой взгляд, чистое чудо.

Разговор с Николаевым кончился на том, что он завтра едет осматривать позиции и берет меня с собой.

Вечером нам была отведена чья-то квартира, пустая, большая, неизвестно было, что с ней делать. Но, застелив откуда-то доставленные койки выданными нам простынями и подставив к столу вместо стульев два чемодана, мы все-таки почувствовали себя домохозяевами и договорились с Халипом, что я двинусь завтра с Николаевым, а он пока съездит в Севастополь и снимет там какие-то морские сюжеты, уже не помню какие.

Утром мы выехали с Николаевым на «эмочке» через Джанкой на Чонгарский полуостров. Ехали вчетвером — Николаев, я, его адъютант Мелехов, выглядевший совсем мальчиком — ему и было всего двадцать два года, — и шофер.

К середине дня приехали в штаб дивизии на Чонгар. Штаб был расположен на совершенно открытом месте. Все было довольно глубоко закопано и с точки зрения защиты от бомбежек неплохо продумано, но с точки зрения возможности отражения вражеских атак укрепления вокруг штаба дивизии как-то не внушали мне доверия. Казалось, здесь не предполагали, что немцы могут ворваться на Чонгарский полуостров, хотя, может быть, это было только мое личное восприятие.

В штабе дивизии нас встретил генерал-майор Савинов, человек, лицо которого трудно было запомнить, хотя, кажется, оно было даже красивым. Как мне показалось, он почему-то суетился перед Николаевым. На вопрос Николаева, что делается в дивизии, он ответил, что немцы вышли к станции Сальково и заняли ее, а один из батальонов расположенного в этом районе полка остался там, за станцией. Его не успели отвести, и сегодня вечером будет предпринята операция — мы будем атаковать станцию отсюда, с перешейка, с тем, чтобы застрявший на той стороне батальон мог выйти сюда.

Николаев спросил, где комиссар дивизии. Генерал сказал, что комиссар поехал вперед, в полк. Николаев простился с Савиновым, и мы тоже поехали в полк. По дороге мы остановились перекусить у огромной копы сена. Над стенью крутились немецкие разведчики, и по ним отовсюду стреляли из пулеметов и винтовок.

Мелехов достал чемоданчик с продуктами. Водитель, человек лет сорока, семейный, недавно мобилизованный в армию, шофер первого класса, был, как я сразу почувствовал, на познах с адъютантом. Будучи, в сущности, хорошим парнем, Мелехов никак не мог освоиться с той властью, которая оказалась у него в руках в качестве адъютанта, и невыносимо придирался к шоферу. Николаев сидел в стороне, слушал и морщился. Вдруг Ме-

лехов сказал шоферу что-то обидное. Шофер огрызнулся, но при этом расстроился так, что у него задрожали губы. Я посмотрел на Николаева, мне было интересно, как он поступит.

Николаев сказал:

— Ну что ж, давайте кушать.

Шофер отошел в сторону.

— А вы? — сказал Николаев. — Идите кушать.

— Нет, спасибо, — сказал тот, с трудом сдерживая слезы обиды. — Не хочу кушать, не могу.

— Почему же вы со мной не можете кушать?

— Я с вами могу, я с ним не хочу, — показал шофер на адъютанта.

— Тут я хозяин, — сказал Николаев. — Стол мой, и, раз я вас зову, давайте уж кушать.

Были в его словах какая-то простота, душевность. Видимо, он сразу решил для себя: либо его разговор с человеком есть приказание, есть разговор начальника с подчиненным, либо для него все люди — братья. Именно так, в такой вот терминологии — братья, братки. Если он не приказывал, то все люди были для него одинаковы. Ему не могло быть все равно, станет ли с ним кушать шофер. Если бы тот все-таки отказался, он бы принял это за обиду для себя. Не как начальник, а как человек.

Перекусив, мы поехали дальше и, не заезжая в штаб полка, добрались до переднего края.

Крошечная глиняная деревушка была оставлена жителями. Впереди нее тянулись двойные ряды надолбов, несколько рядов колючей проволоки, были выкопаны противотанковые рвы. За ними, очевидно, шли минные поля. Слева и справа к перешейку подходил Сиваш — Гиплое море. Вперед уходила железнодорожная насыпь. От нее до воды в обе стороны оставалось примерно по километру. Но все это было перерыто окопами и перекрыто заграждениями. Единственным свободным от заграждений и оминных полей местом для нашего предстоящего наступления оставались эта железнодорожная насыпь и непосредственно примыкавшая к ней полоса отчуждения — кусок земли шириной метров в сорок, может быть, даже тридцать. Вдали, километра в двух с половиной, виднелась станция Сальково с высоким белым элеватором. Было хорошо видно, что на станции стоит состав платформ с грузовиками.

Начало наступления на Сальково было назначено на шесть часов. Но в шесть часов никаких признаков наступления не замечалось. И в половине седьмого, и в семь тоже. Мы прикорнули на травке около крайнего домика деревни. Пробуя взятый с собой фотоаппарат, я сделал несколько снимков. Пошел вперед

надолбам и проволочным заграждениям и сфотографировал их в нескольких ракурсах. Выглядели они довольно внушительно.

В четверть восьмого у нас за спиной началась артиллерийская канонада, и сразу же впереди, над Сальковым, вздыбилась земля. В просветах между разрывами в бинокль было видно, как по дороге, которая вела от Салькова в тыл к немцам, шли машины. Они останавливались, с них соскакивали люди. Наша артиллерия продолжала бить. Самым заметным ориентиром была башня элеватора, и вокруг нее ложилось особенно много снарядов. В конце концов снаряд попал прямо в нее. Башня загорелась. Потом в нее попал еще один снаряд, и она рухнула.

После начала артиллерийского огня левой нас, вдоль насыпи, стали двигаться силуэты людей. Их было много, цепочкой. Очевидно, это и был тот батальон, которому предстояло атаковать Сальково.

Начинало заметно темнеть. Николаев ругался, что из-за опоздания с началом наступления совершенно не обстрелянных людей фактически посылают в ночной бой. И мне показалось, что вот сейчас он пойдет и отменит все это, раз он с этим не согласен, потому что отменить это вполне в его власти. Но он вскинул на плечо карабин и, кивнув мне и Мелехову, сказал:

— Пойдем посмотрим, как там батальон будет воевать. А то люди необстрелянные, ночь на носу, как бы чего не вышло.

Мы двинулись к насыпи. Когда мы дошли до нее, почти совсем стемнело. Часть батальона впереди втянулась на насыпь, остальные шли сзади нас. В темноте уже надвигавшейся ночи со стороны Салькова начали бить немецкие пулеметы. Пожалуй, впервые так близко видел ночью полет трассирующих пуль и вообще весь фейерверк ночного боя. Сложность заключалась в том, что у нас почти не было свободного пространства для наступления на Сальково. Кругом, и справа и слева, все было загорожено и заминировано. Правда, с двух сторон насыпи были глубокие кюветы, по которым можно было почти безопасно продвигаться, но беда состояла в том, что и здесь тоже была заранее поставлена система заграждений, рассчитанная на то, чтобы мешать противнику продвигаться в нашу сторону таким же путем, которым сейчас мы продвигались в его сторону. Проволочные заграждения, надолбы и рогатки то с одной, то с другой стороны пересекали кюветы и подходили вплотную к самой насыпи. В этих местах — а их на том отрезке, который я прошел, было четыре — приходилось подниматься из кювета, переваливать через насыпь, спускаться в противоположный кювет и идти по нему до следующего заграждения, потом снова подниматься на насыпь, снова переваливать обратно в этот кювет и так далее,

Пройдя с полкилометра, мы остановились и прилегли в кювете. Было уже почти совсем темно. Нас догнала шедшая сзади рота. Трассы пуль протянулись прямо над головами, сзади гремела артиллерия, впереди все ревели и рвалось. Люди шли, может быть излишне пригибаясь, но, в общем, хорошо, быстро, почти не залегая.

Вместе с мужчинами шли девушки-санинструкторы. Перед глазами так и стоит одна из них — высокая, ловко схваченная ремнем, с висящей на плече сумкой. Она идет впереди пригибающихся санитаров, идет прямо, и мне кажется, что это именно она их ведет. Может быть, их, а может быть, и всю роту.

Здесь мы встретили комиссара дивизии. Николаев спросил у него, есть ли у него связь с командиром дивизии, со штабом и как он оценивает обстановку. Комиссар дивизии сказал, что пункт связи находится метрах в трехстах сзади. Николаев приказал ему связаться со штабом дивизии и передать командиру дивизии или начальнику штаба, что он считает, что из-за опоздания со сроком начала наступления послать сейчас необстрелянных людей в ночной бой нецелесообразно. Получив приказание комиссар пошел обратно, на пункт связи. Он шел как-то странно, как пьяный, подаваясь то влево, то вправо.

— Что с ним? — спросил Николаев, проследив за комиссаром глазами.

Находившийся с нами штабной командир сказал, что у комиссара какая-то болезнь, вроде куриной слепоты. Он ничего не видит в темноте, но не хочет этого показывать и сердится, когда ему об этом говорят.

— Я пойду за ним незаметно, чтобы он не сбился, — сказал командир.

Несколько минут мы лежали под насыпью. У нас на глазах люди перебегали через нее.

— Ну что ж, — сказал Николаев, — пойдем.

Мы тоже перевалили через насыпь. Люди кругом нервничали, волновались. Но у Николаева была какая-то такая повадка, что с ним рядом становилось спокойно. Я только потом сообразил, что мы в тот вечер были в довольно опасном месте. А тогда мне казалось, что мы находимся именно там, где нужно, так вел себя Николаев и такое чувство умел внушить окружающим.

Перевалили через насыпь. Кто-то закричал, кого-то ранено. Потом опять пошли по кювету, теперь уже по левому. Навстречу нам пронесли несколько носилок с ранеными. Потом наткнулись на убитых. Потом опять пришлось переваливать через насыпь обратно в правый кювет. Немцы видели перескакивавшие с лузты. Едва мы успели перескочить, как сразу же красная

доса очередей пролетела над насыпью. Мы снова пошли по правому кювету. Впереди оказалось еще одно сплошное заграждение из железных рогаток. Пришлось снова перелезть и опять идти вперед.

Вскоре рядом с нами оказались командир передовой роты и комбат. Теперь была уже полная тьма. Трудно было разобратся, сколько оставалось до Салькова, но, судя по трассам немецких пулеметов, до первых домов станции теперь было не больше трехсот метров. Из этих домов и отовсюду кругом немцы вели сплошной заградительный огонь из пулеметов и автоматов. Вскоре начали бить немецкие минометы. Но они были не по нас, а куда-то дальше, в тыл, левее и правее насыпи. Должно быть, немцы боялись, что мы будем наступать на станцию через какие-то неизвестные им проходы в заграждениях.

По настроению людей кругом нас чувствовалось, что это их первый бой, что, совсем еще не обстрелянные, они, в сущности, не знают, что делать, хотя готовы сделать все, что им прикажут.

Было очевидно, что идти с ними сейчас на Сальково — значит рисковать батальоном без всякой реальной надежды встретиться в эту глухую ночь с нашим другим батальоном, оставшимся где-то там, позади немцев, и, вообще говоря, неизвестно куда двинувшимся после этого, потому что никакой связи с ним не было: Сальково выходило за пределы нашей системы укреплений на Чонгарском перешейке.

Я почувствовал, что Николаев хорошо понимает всю эту обстановку, но почему-то не хочет принимать решений. Как я уже потом понял из его дальнейшего поведения, он считал неправильным самому непосредственно вмешиваться в решения командования при отсутствии абсолютно критической обстановки. Так он считал с точки зрения комиссарских принципов и комиссарской этики, как он их понимал. А по складу своей души, когда было тяжело и когда ему казалось, что бойцам плохо и что они чего-то не понимают и чего-то боятся, то для себя лично он находил простое решение: быть там, где тяжело, сидеть вместе с этими бойцами или идти вместе с ними. Необходимость поступать так он относил в первую очередь к себе и во вторую — к тем командирам, которые поставили своих бойцов в то или иное трудное положение, и считал, что командира, имеющего привычку совершать пелешести и отдавать неоправданные приказания, лучше всего лечить от этой привычки, поставив его самого в те условия, в которых пахотятся люди, выполняющие это его приказание.

Мы присели на корточки у железных рогаток рядом с командиром батальона и командиром роты. Докладывая Николаеву обстановку, командир батальона, по-моему, бывший в полной

неуверенности насчет того, что происходит и где у него кто находится, однако, с аффектацией отчеканивая каждое слово, говорил, что вот сейчас такая-то его рота повернет туда-то, такой-то взвод развернется там-то, тот-то будет обходить слева, тот-то справа, и так далее и тому подобное. Хотя было совершенно ясно, что в такой темноте все эти заранее расписанные обходы и маневры могут закончиться тем, что свои перестреляют своих, не нанеся ущерба немцам.

Николаев сидел рядом с командиром батальона. Он, видимо, тянул время, ожидая, что командир дивизии вот-вот пришлет приказ отменить не вовремя начатое наступление. Мне казалось, что он ждет именно этого, а если не дожидется, то сам прикажет приостановить действия.

Через несколько минут к нам пришел задохнувшийся штабной командир, принесший приказ командира дивизии отменить атаку на Сальково и отходить. Этот человек, видимо, так долго перебегал под огнем, что и здесь, в кювете, у железных рогаток, где люди спокойно сидели и стояли, он все еще пригибался. Николаев, повернувшись, пошел обратно. Теперь он считал, что ему больше нечего здесь делать.

Бой затихал. Немцы стреляли реже, только кое-где вспыхивали пулеметные трассы. Николаев для скорости, чтобы не перебираться из кювета в кювет, пошел обратно по шпалам. Пришлось идти вслед за ним. Через полкилометра мы перегнали группу людей — четверо бойцов несли на шипели убитого лейтенанта. В этих черных фигурах, идущих по насыпи и несущих на шипели командира, было что-то напомнившее мне «Щорса» Довженко.

Мы добрались до деревеньки, сели в машину и доехали до штаба полка, в который не заезжали по дороге сюда. Там Николаев сделал вид, что он только что приехал и еще не был впереди. Командир полка бодро доложил ему, что наступление на Сальково продолжается. Видимо, командир дивизии передал приказ об отмене атаки, минуя командира полка, непосредственно в батальон, а командир полка еще не удосужился связаться со своим батальоном, не знал, что там происходит, сам не позаботился отправиться туда и поэтому отрапортовал начальству то, что должно было сейчас происходить по его предварительному плану.

Николаев внимательно посмотрел на него и, не повышая голоса, сказал несколько слов со своей обычной — кажется, я наконец подобрал для нее точное выражение — грустной язвительностью, — что он только что был там, под Сальковым, что все, что говорит командир полка, совершенно не соответствует действительности, а для того, чтобы командир полка выяснил, что там

впереди происходит на самом деле, ему надо пойти туда, а не сидеть здесь.

В штаб дивизии мы вернулись уже за полночь. Здесь нас встретил генерал Савинов. Он все признавал: что не вовремя наступали, что опоздали, что не дошли, что теперь отходим обратно, — по все это в его устах звучало так, словно так оно и должно было быть, что ничего другого и не могло произойти. Зато когда он повез Николаева на ночлег в деревню, то здесь проявил величайшую организованность.

Николаев ел нехотя, морщась. Кажется, ему хотелось только одного — поскорее лечь спать, только бы не говорить ни одной лишней минуты с этим не правившимся ему человеком. Наскоро перекусив, перед тем как идти спать, он спросил Савинова, как обстоят дела на Арабатской Стрелке. Тот сказал, что недавно ходили слухи, что на Арабатскую Стрелку якобы переправились немцы, но что, по предварительным сведениям, все эти слухи не соответствуют действительности, хотя в дальнейшем это надо уточнить окончательно.

Мы проспали несколько часов в какой-то халупе, и утром Савинов вторично доложил Николаеву об Арабатской Стрелке, что там все в порядке, что слухи о немцах оказались ложными; туда выехала группа работников политотдела армии, а он отправил полковника, командира своего правофлангового полка. Батальон полка стоит на самой Стрелке, и вообще все в порядке.

Николаев посоветовал командиру дивизии поехать по направлению к Салькову, посмотреть лично, что у него там делается в полку.

— А вы? — спросил Савинов.

— А я, раз у вас все в порядке, поеду на Арабатскую Стрелку, посмотрю, какой у вас там порядок.

Он сказал это с той неуловимой иронией, к которой я уже привык за проведенный с ним день и которая означала, что он лично ни на грош не верит в то, что ему только что докладывали.

Через пятнадцать минут мы выехали и, изрядно поколесив и раза два вытащив машину из солончаков, добрались до переправы. Отсюда на Арабатскую Стрелку, до которой было километров семь, шли парусные и моторные лодки. Сейчас туда переправляли роту. Вода была уже довольно холодная, но генические рыбаки, эвакуировавшиеся сюда, в Крым, причаливали лодки к берегу, стоя по пояс в воде. Погрузкой роты распоряжался пожилой полковник. Помнится, фамилия его была Киладзе.

Когда появился Николаев, полковник, подобрав живот, вытянулся и, почему-то — я только потом понял почему — задыхаясь и волнуясь, доложил Николаеву то же самое, что недавно

докладывал Савинов: что на Арабатской Стрелке все в порядке, что он отправляет сейчас туда две роты и сам едет туда же.

— А правда ли, что туда вчера переправились немцы? — спросил Николаев.

Полковник сказал, что нет, что там все укреплено, что это неправда.

— А зачем вы тогда переправляете туда еще две роты и едете сами?

— А я еду, — отвечал полковник, — для того, чтобы все было обеспечено.

— Так у вас же там и так все обеспечено, — сказал Николаев.

— Да, но я еще хочу обезопасить.

Николаев усмехнулся сердито и недоверчиво и потребовал, чтобы ему дали моторку, он поедет на тот берег сам. Мы оставили машину и влезли в моторку в сопровождении полковника. Минут через сорок мы высадились на другом, таком же пологом, как и этот, берегу.

У переправы грелись на солнышке минометчики. Тут же, чуть поодаль, отдыхал еще какой-то взвод. Обстановка была совершенно мирная. Еще более мирный вид придавали ей рыбаки, перевозившие нас сюда. Здоровые, молодые ребята с закатанными по колено мокрыми штанами. По их разговору, повадкам, обращению казалось, что все это происходит на рыбалке, и трудно было, глядя на них, поверить, что эти люди всего три дня назад угнали свои лодки от немцев, неожиданно ворвавшихся в Геническ, ушли из родного города, оставив там жен и детей.

В этом месте Арабатская Стрелка представляет собою длинную узкую косу шириной где в полтора, а где в два километра, с большим выступом, километров на семь-восемь, к западу, по направлению к Чолгарскому полуострову. На этот выступ мы и переправились. Теперь, если бы мы хотели добраться до конца Стрелки, до места переправы на Геническ, нам предстояло бы сделать километров двенадцать—четырнадцать. Сначала мы пошли пешком, но километра через два появился грузовик, и мы сели на него. Этот грузовик вела чуть не раздавившая нас, выскочив нам навстречу и затормозив перед самым нашим носом, девочка в голубом выцветшем платье и белой косынке.

Было еще довольно рано, но день выдался жаркий, сухой. сильно палило солнце. На Арабатской Стрелке стояла тишина. Ни одного выстрела. Вообще ни одного звука. Места пустынные. По дороге встретился всего один хуторок из трех глинобитных домиков. Говорили, что где-то вправо есть еще деревни, но я их не видел.

Километров через пять, там, где выступ переходил в самую косу, мы обнаружили командный пункт батальона. Здесь и началась та неожиданная катавасия, которая заставила меня, наверно, на всю жизнь запомнить этот день.

Во-первых, выяснилось, к большому удивлению Николаева, да и к моему тоже, что прекрасно зарывшийся в землю штаб батальона, защищавшего Арабатскую Стрелку, расположился в девяти километрах от своей передней роты и в четырех километрах позади позиций тяжелой морской артиллерии. Во-вторых, в штабе творилась какая-то несусветница, и, когда Николаев потребовал к себе командира батальона, его не оказалось. Николаев спросил, где же командир батальона. Ему ответили, что командир батальона впереди.

— Что значит впереди? Где впереди? Дайте его к телефону.

Ему сказали, что связи с командиром батальона нет.

— Когда же он ушел вперед?

— Вчера вечером.

— И с тех пор нет связи?

— Да. То есть нет.

В общем, в конце концов выяснилось, что командир батальона пропал без вести, причем об этом боялись доложить.

— Где же он пропал?

Дальше, несмотря на весь трагизм ситуации, все происходило в точности по песенке «Все хорошо, прекрасная маркиза». Выяснилось, что командир батальона пропал без вести потому, что он пошел вперед, в роту. А в роту он пошел потому, что там ночью открылась стрельба. А стрельбу открыли немцы, которые высадились на косе, и говорят, что со всей первой ротой после этого случилось что-то неладное.

— А что сейчас?

— А сейчас неизвестно что.

Старший лейтенант, исполнявший обязанности начальника штаба батальона, только пожимал плечами: он остался здесь ждать, и он ждет. Он говорил все это с видом человека, которого оставили посторожить квартиру, пока не вернутся хозяева.

Николаев вдруг побледнел и спросил:

— А почему вы выбрали место для командного пункта батальона здесь? Сами выбрали?

Старший лейтенант сказал, что нет, он выбирал это место с командиром полка.

— А почему здесь? — спросил Николаев у Княдзю.

Тот, заикаясь, сказал, что он выбрал это место здесь потому, что отсюда есть видимость, все хорошо видно и вообще это самая ближайшая горка.

— Вот я поеду сейчас вперед, — сказал Николаев, — а когда вернусь и увижу, что ваш штаб батальона по-прежнему находится на этой ближайшей горке, то я вас расстреляю. Понимаете? — Это он сказал старшему лейтенанту. — А вы, — обратился он к Киладзе, — доложите мне, что у вас тут происходило вчера вечером, сегодня ночью и сегодня утром и почему вы до сих пор не сообщили мне о том, что происходит. Вы сами там были?

Киладзе ответил, что он как раз туда собирается. А не сообщил потому, что рассчитывал ликвидировать это своими силами.

— Что ликвидировать? — вдруг закричал Николаев. — Вы даже там не были! Вы даже не знаете, что там ликвидировать! Есть ли там немцы, нет ли, сколько их, живы ли у вас там люди или не живы, ничего не знаете!

Пытаясь сохранить остатки достоинства, Киладзе сказал, что раз есть приказ не пустить врага на крымскую землю, то он этот приказ выполнит и, какие бы там немцы ни оказались впереди, он пойдет и выгонит их.

Николаев смерил его взглядом и, помолчав, сказал:

— Хорошо, потом поговорим. Поедете со мной.

Этот разговор запомнился мне во всех подробностях, показав, что среди командиров, к несчастью, существуют люди, которые боятся начальства больше, чем противника, и совершенно лишены чувства гражданского мужества.

Как потом выяснилось, Савинов знал, что на Арабатской Стрелке не все в порядке, и еще ночью потребовал, чтобы Киладзе к утру исправил там положение. Его волновало, что Николаев может завтра утром поехать туда и узнать об этом.

Киладзе тоже готов был сейчас говорить что угодно, только бы не сказать тяжелой правды, которой, кстати, во всей ее наготе он и сам не знал. Так получилась цепочка, та самая, из-за которой иногда, приезжая в штаб какой-нибудь части, начальство получает ложную информацию и продолжает считать, что все в порядке, когда на самом деле уже случилась беда, вполне поправимая час назад и уже непоправимая часом позже.

В данном случае Киладзе — я еще расскажу об этом — оказался просто-напросто трусом. Но случалось, что такие люди, лишённые гражданского мужества и робеющие перед начальством, бывали в то же время лично безукоризненно храбрыми людьми и не моргнув глазом потом расплачивались своей жизнью только за то, что при встрече с начальством побоялись сказать правду.

Вскоре нам встретилась только что прибывшая группа работников политотдела армии в несколько человек,

Николаев сел в кабину машины вместе с девушкой — Пашей Апощенко, а мы все сели в кузов. Когда мы уже проехали с километр, то вдруг заметили, что Киладзе нет с нами. Адъютант остановил машину и сказал об этом Николаеву.

— Черт с ним, — сказал Николаев. — Поехали. — И поблел так, что я понял: полковнику теперь несдобровать.

Мы проехали еще километра три и, миновав деревню Геническая Горка, выехали на самую косу. Чтобы ясно представить себе дальнейшее, надо понять, что это за место. Панорама такая: прямо впереди, на горке, расположен Геническ: он спускается к морю террасами. Дальше, ближе к нам, метров двести воды, через которую был мост, по тогдашним нашим предположениям, взорванный, а на самом деле только подорванный и опустившийся под воду. Еще ближе к нам шесть километров песчаной косы, вся она гораздо ниже Геническа, так что ближайшие к Геническу три километра ее целиком просматриваются оттуда сверху, почти как с птичьего полета. Примерно в трех километрах от пролива на нашей стороне десяток домов, бывший пионерский лагерь, и от него к нам в тыл идет насыпь узкоколейки. Прямо у этой насыпи в пяти километрах от пролива стоят четыре дальнобойных морских орудия на тумбах. В общем, мы внизу, Геническ наверху, а за пионерским лагерем вся коса как на ладони; открытое место длиной в три и шириной в полтора километра.

Проехав деревню Геническая Горка и не доехав еще с километр до позиции морских орудий, за которыми еще дальше были ряды проволочных заграждений, надолбов, противотанковых рвов, мы увидели странную картину. Вдоль насыпи позади своей дальнобойной батареи наступала рота пехоты. Она наступала по всем правилам, рассредоточившись, люди то залегали, то вставали и перебежками катили за собой пулеметы. Все это имело такой вид, словно делается под огнем противника, до которого осталось несколько сот метров. Между тем кругом не было слышно ни одного выстрела. Впереди стояли свои же морские орудия, а до немцев оставалось пять-шесть километров.

Подозвав к себе командира роты, Николаев спросил:

— Что они делают?

Командир роты ответил, что они наступают.

— Куда?

— Вперед. Там немцы.

— Где немцы?

Командир наугад ткнул пальцем вперед, примерно туда, где стояли наши морские орудия.

— Немцы не там, — сказал Николаев, — там наша морская батарея. А немцы вон где. — Он показал рукой на Геническ. —

Там и немного ближе. Вы вот так до них и будете наступать пять километров, а?

Командир роты сказал, что ему приказано развернуться в боевые порядки и наступать. А где немцы — за пять километров или за километр, — ему не сказали. Ему только сказали, что наших впереди никого нет.

Николаев остановил роту, приказал задержать и собрать все находившиеся поблизости грузовики, посадить туда красноармейцев и вести на грузовиках до тех пор, пока немцы не начнут стрелять из Генического. И тогда уж рассредоточиться и идти в наступление. Он приказал также схавшим с нами политработникам, чтобы они двигались вместе с ротой, а сам опять сел в нашу полторку, в которой были я, Мелехов, какой-то лейтенант из штаба полка и неизвестно откуда к этому времени появившийся комиссар полка. Когда он появился, Николаев повернулся к нему было с угрожающим видом, но потом вдруг махнул рукой и не сказал ни слова. Может быть, решил разговаривать сразу с обоими — и с ним, и с командиром полка.

Николаев я еще не видел зрелища более нелепого, чем эта рота, наступавшая в боевых порядках в тылу, позиции собственной артиллерии. Мне напомнило это лагерь военных корреспондентов в Кубинке, где мы были перед войной. Проводя там двусторонние занятия в поле, мы иногда, наверное, выглядели именно так, но здесь, на войне, это представлялось совершенной несуразностью.

А между тем сами бойцы в этом несколько не были виноваты. Через какой-нибудь час я увидел своими глазами, как они шли под огнем, и шли, в общем, хорошо. Не так уж виноват был и командир роты, которому сказали, что впереди никого нет, и даже не позаботились предупредить его, что там стоит наша артиллерия. Он тоже через час храбро шел впереди своей роты под ластоящим огнем. Словом, вся эта нелепость возникла из-за отсутствия разведки, из-за нежелания командира полка своими глазами увидеть, что делается у него впереди.

Мы двинулись на машине вперед, не дожидаясь, пока красноармейцы погрузятся и догонят нас. Тех, что не поместятся на грузовиках, Николаев велел построить и вести строем, да побыстрей, чередуя шаг с бегом.

У позиции морских артиллеристов мы на несколько минут задержались. Политрук батареи доложил Николаеву — это, кстати сказать, был первый человек за утро, четко и ясно доложивший обстановку, — что вчера вечером, когда стемнело, впереди раздалась беспорядочная ружейная, пулеметная и автоматная стрельба сначала в одном месте, потом в другом, потом часа че-

рез два стрельба затихла. Куда ему бить из орудий, он не знал. Еще два часа спустя, когда уже чуть-чуть рассвело, он увидел, что немцы вошли в пионерский лагерь, заняли его и движутся дальше, к его батарее. Видя, что впереди нет никакого пехотного прикрытия, он отдал распоряжение о подготовке к взрыву орудий, а сам открыл огонь прямой наводкой. Было еще полутемно. Результаты было видно плохо, орудия продолжали бить, часть прислуги залегла в винтовками в руках впереди орудий. Когда рассвело, выяснилось, что немцев в поле видимости батарей нет. Очевидно, они отступили.

Из рассказа политрука стало ясно, что с передовой ротой, очевидно, случилась ночью катастрофа. Есть ли немцы на косе сейчас, утром, было неизвестно, но ночью они были здесь. А рота, находившаяся впереди, после этой ночи не подавала никаких признаков жизни.

Политрук доложил, что немцы перебросили, очевидно, на этот берег артиллерию, потому что они стреляли по батарее из минометов и малокалиберных орудий.

— Переправили артиллерию? — переспросил Николаев и усмехнулся. — У тебя там были впереди орудия? — спросил он у комиссара полка.

— Было два противотанковых орудия, — с готовностью ответил комиссар.

— Вот из них немцы и стреляли, из твоих орудий, — зло и убежденно сказал Николаев. — Печаль было им, немцам, сюда свои орудия переправлять, когда на этой стороне можно наши взять.

И в этих словах его была такая яростная и горькая прощия глубоко страдающего человека, что мне стало не по себе...

Я пишу в дневнике о морской батарее, которая спасла положение и остановила немцев на Арабатской Стрелке в ночь с 16 на 17 сентября.

Теперь я установил по документам, что этой 127-й морской батареей командовал тогда лейтенант Василий Назарович Ковшов, шахтер, потом краснофлотец, командир, к началу войны артиллерийский офицер. Впоследствии, в ноябре 1942 года, он, судя по документам, пропал без вести.

Из донесений о действиях батарей за 16 сентября видно, что минометным огнем немцев на ней было ранено одиннадцать краснофлотцев. В рапорте, написанном «во исполнение личного приказа члена Военного совета 51-й армии корпусного комиссара товарища Николаева» «о награждении отличившихся в этом

бою артиллеристов», упоминается и фамилия комиссара батареи Н. И. Вейцмана, того самого политрука, который первым в тот день ясно и четко доложил Николаеву обстановку.

Дважды раненный и награжденный орденом боевого Красного Знамени за бои в Севастополе, Н. И. Вейцман довоевал войну до конца и сейчас работает директором одного из заводов в Приволжье. И я рад был увидеть его живого и здорового через тридцать четыре года после событий на Арабатской Стрелке.

Возвращаюсь к дневнику.

...Мы доехали до пионерского лагеря и вылезли из машины. По-прежнему тихо, ни одного выстрела. Дальше совершенно открытая местность. Только в километре виднелись две какие-то халупы и несколько деревьев. Пионерлагерь был основательно разрушен огнем нашей морской батареи. Сойдя с полуторки, мы стали осматривать это место, где, по словам политрука батареи, ночью были немцы.

Через несколько минут мы действительно наткнулись на один мотоцикл, потом на другой, потом еще на несколько разбитых мотоциклов с колясками. Тут же лежали трупы немцев, так же, как и мотоциклы, сильно изуродованные крупными осколками тяжелых снарядов. Рядом валялись носильные вещи, безделушки, видимо взятые на память о походе в Россию. Все это было разворочено и рассыпано по земле. Тут же валялось и другое, уже не трофейное, а немецкое барахло, в том числе несколько номеров «Фолькишер беобахтер».

Мы стали осматривать дома пионерлагеря. В одном из них сени были разворочены прямым попаданием снаряда. В углу сеней стояла кадка; в ней солились большие куски свинины. Кадка была тоже разбита, и огромные розовые куски мяса были разбросаны по полу. А рядом, привалясь к обломкам кадки, полусидел мертвый обер-лейтенант. У него было совершенно целое лицо, бледное и красивое, пепельные волосы — и распахнутые настежь живот и грудь, словно они были разрезаны ножом на вскрытии.

Оставив лагерь, мы в полной тишине проехали еще километр, отделявший нас от последней купы деревьев с двумя домиками. Здесь мы окончательно слезли с полуторки. Анощенко просила ехать с ней и дальше, но Николаев, улыбнувшись, потому что не улыбаться, разговаривая с ней, было невозможно, приказал ей ехать обратно в пионерлагерь и ждать там нашего возвращения.

Полуторка уехала, а мы остались.

В двухстах метрах от домиков шла линия окопов, в которых, по словам комиссара полка, сидел один из взводов их передовой роты. Мы пошли к этим окопам. Голая земля с редкой травой, песчаная, осыпающаяся под ногами. Море справа — в ста метрах, слева — километрах в полтора. Хотя солнца не было, день был душный, море казалось серым и слегка шумело.

Через несколько минут мы дошли до окопов, на всякий случай взяв наизготовку винтовки, хотя мне лично казалось, что немцев на косе сейчас нет и что вообще мы идем по какой-то пустыне.

Воспоминание об этих окопах и о том, как мы их увидели, связано у меня с тяжелым чувством. Это чувство страха, которое рождается у человека, когда он попадает куда-то, где все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать о том, что здесь произошло. Все мертвы, все молчат, остается только догадываться.

Очевидно, в этих окопах находилось человек пятьдесят, судя по количеству разбросанных кругом противогазов, гранат и винтовок. Но трупов было гораздо меньше — около десятка. В самих окопах ни одного трупа, все на открытом месте.

Николаев стоял над окопами и внимательно разглядывал все подробности. Должно быть, ему хотелось восстановить картину боя по тому, как лежали винтовки, где лежали убитые, как были брошены противогазы и холщовые мешки с гранатами. Осмотрев все это, он молча походил по краю окопов, потом оглянулся назад. Грузовиков с красноармейцами еще не было.

Он повернулся ко мне и, показывая на мертвых, тихо сказал:

— Не вижу, чтобы дрались. Если бы дрались, были бы в окопах. Побежали! Одних перебили, как кур, а других забрали с собой в плен. Высадились, перебили и забрали,— повторил он и сжал пальцы так, что они побелели. Он был безжалостен к мертвым, и в то же время в нем жила такая горькая обида за ненужную смерть всех этих людей, что, казалось, он готов был заплакать. — А немцев было немного, наверно, меньше, чем их. Высадились, постреляли, а наши побежали. Кого убили, кого в плен, и все в порядке,— говорил Николаев с тем особенным раздражительным самобичеванием, которое есть в нашей русской натуре.

Возле одного из окопов мы нашли старшего лейтенанта. Он лежал навзничь. Карманы у него были вывернуты. Мальчишеское лицо запрокинуто, глаза глядели прямо вверх, в небо.

— Кто это? — спросил Николаев. — Командир роты?

Но ему никто не ответил.

И я лишний раз вспомнил об одной из наших больших бед — о том, как у нас часто даже не знают фамилий убитых.

— Мелехов,— сказал Николаев,— посмотрите, какое у него рапение, пулевое или штыком?

Мелехов нагнулся, приподнял па покойнике заскорузлую от крови рубашку, взглянул и, подняв голову, сказал:

— Штыком.

— Вот этот дрался,— сказал Николаев, еще раз поглядев на мертвого.

Видимо, ему очень хотелось, чтобы кто-то тут прошедшей страшной ночью дрался, чтобы хоть кто-то убивал здесь немцев. Он приказал посмотреть, нет ли где-нибудь в окопах или вокруг них немецких трупов. Их не оказалось.

— Или утащили с собой,— сказал он,— или не было. Может, и так. Папка, папка. Что с нами делает папка! Сами себя люди не узнают.

Мы прошли еще сотню шагов. На песчаной отмели лежало еще три трупа. Вместе лежали двое, их признал комиссар полка, сапиструктор и политрук роты. Должно быть, сапиструктор полз, таща на себе политрука, у которого были перебиты, наверно, автоматной очередью обе ноги. Так их и убили, одного на другом, когда они ползли. А рядом лежал третий труп. На нем остались только красноармейские ботинки. Голый, черный, обугленный, кожа от жары кое-где лопнула, а в других местах натянулась. Первая мысль была, что немцы раздели его и сожгли, но потом, взглядевшись, я понял, что его не раздевали, одежда сгорела на нем.

К этому времени и те бойцы, что доехали до пноперлагеря на грузовиках, и те, что добирались до него пешком, стали группами подходить к нам. Увидев, что рота подходит, Николаев послал налево одного из политработников и лейтенанта, а сам вместе с нами пошел дальше правой стороной косы.

Метров через восемьсот все еще в полной тишине мы обнаружили два сорокапятимиллиметровых орудия, повернутых дулами против нас. Замки у них были разбиты.

— Ваши пушки? — спросил Николаев у комиссара полка и, не дожидаясь ответа, добавил: — Вот из них немцы и стреляли. А потом отошли и взорвали.

Около пушек было открыто несколько окопчиков в четверть человеческого роста.

— Говорили, готовили оборону,— сказал Николаев,— окопчики лишь было вырыть. Ну что, как идут? — оглянулся он назад.

Рота подходила. Слева она была уже на одном уровне с нами, справа приближалась к нам. Когда первые бойцы поравнялись с нами, Николаев сказал:

— Ну, пойдём.

Мы пошли впереди бойцов. Теперь до конца Арабатской Стрелки, до передних наших околов, оставался, наверно, километр с чем-то.

Едва мы двинулись, как немцы сразу открыли по Стрелке миномётный огонь. Это так внезапно нарушило тишину утра, к которой мы уже привыкли, что мы бросились на землю не столько из чувства самосохранения, но и от неожиданности. Этот первый залп был самым страшным. Мины легли совершенно точно перед нами целой полосой, близко так, что нас обдало землей. Должно быть, немцы давно заметили нашу группу и заранее прицелились, тем более что оставшиеся в полусотне метров за нами орудия были прекрасным ориентиром.

Николаев быстро встал, отряхнулся и, не оборачиваясь, пошел вперед. Слева и справа от нас цепь тоже довольно быстро шла вперед. Все следующие восемьсот метров мы шли под миномётным огнем.

Трудно даже восстановить то чувство, которое владело мной тогда. Во-первых, мне было страшно. Во-вторых, я думал, что вечером должен вернуться и я буду уже не здесь, и уже не будет этих мин — я буду в Симферополе. Все мои мысли не шли дальше этого вечера; он казался мне ближайшей целью моего существования. А третьим чувством было желание поскорей дойти до окопов, которые, как я знал, были впереди. Я не знал, есть ли там немцы или нет, но мне казалось: только бы дойти туда, перейти это открытое место! Мысль о том, что там, в окопах, немцы и что нам придется с ними столкнуться лицом к лицу, не вселяла никакого страха. Я боялся только этих рвущихся все время мин.

Рота была первый раз в бою, под огнем, и все больше бойцов ложились и дальше двигались только ползком или просто лежали, не вставая, прижавшись лицом к земле. Мне было так страшно, что, может быть, и я поступил бы так же, если бы не Николаев. Первый раз он лег от неожиданности на землю так же, как и все мы, но теперь безостановочно шел, не пригибаясь даже при сравнительно близких разрывах. Шел с таким видом, такой походкой, что казалось, идти вот так же, как и он, — это единственное, что возможно сейчас делать. Он шёл зигзагами вдоль цепи, то влево, то вправо, мимо упавших и прижавшихся к земле людей.

Он неторопливо нагибался, толкая бойца в плечо, и говорил:

— Землячок, а землячок. Землячок! — и толкал сильнее.

Тот поднимал голову.

— Чего лежишь?

— Убьют.

— Ну что ж, убьют, на то и война. Вставай, вставай.

— Убьют.

— Вот я стою, ну и ты встань, не убьют. А лежать будешь — скорей убьют. На ходу-то трудней в нас попасть.

Примерно так, с разными вариантами, говорил он то одному, то другому. Но главное было, конечно, не в словах, а в том, что рядом с прижавшимся к земле человеком стоял другой — спокойный, неторопливый, стоял во весь рост. И тот, у кого оставалась в душе хоть крупинка самолюбия и чувства стыда, не мог не подняться и не встать рядом с Николаевым. А раз уже поднявшись, теперь он был зол на тех, кто еще продолжал лежать, и, чувствуя, что сам подвергается опасности, а другие рядом лежат, сердито кричал, чтобы они вставали, что они, в самом деле, лежат!

Примерно такое же чувство испытывал и я. Если бы не Николаев, я бы, возможно, тоже лежал, прижавшись к земле, потому что мне было страшно. Но Николаев шел во весь рост, спокойным голосом поднимал людей, и я тоже поднялся и тоже пошел, и у меня была злость на тех, кто еще лежит, и я так же, как другие поднявшиеся бойцы, орал на тех, что еще лежат, чтобы они вставали и шли. И они вставали, и шли, и орали на других. И так понемногу двигалась вся эта цепь необстрелянных людей, на ходу становившихся обстрелянными.

Впереди на косе было что-то вроде гребешка. Она немного сужалась и шла от этого гребешка к морю вправо и влево с заметным уклоном. Мы с Николаевым пошли по правой стороне. Окопы, до которых нам надо было добраться, были теперь уже метрах в двухстах или в ста пятидесяти. Вдруг минометный огонь прекратился и треснули первые пулеметные очереди. Пули прошуршали где-то близко — звук, знакомый еще по Халхин-Голу. Услышав это шуршание, я распластался на земле. Николаев тоже на секунду скорей присел, чем прилег. Я запомнил эту его позу. Он словно прислушивался к чему-то, а потом поднялся и быстро побежал вперед, к окопам. За ним побежали и мы.

Ударило еще несколько пулеметных очередей. Мне показалось, что немцы стреляют из окопов прямо в нас, но, когда мы добежали, оказалось, что те окопы, к которым мы вскочили, были пусты. По нас стреляли откуда-то слева, из-за гребешка, и спереди и сверху — из Генического.

— Нет тут никого, — сказал Николаев, когда мы спрыгнули в окоп, и, сняв фуражку, вытер потный лоб платком. — Посидим, подождем, как там слева.

Большая часть окопов была налево за гребешком, а мы попали в крайний справа окоп, где никого не было. Слева еще стреляли, потом сразу все стихло. Из города тоже больше не били ни минометы, ни пулеметы.

К нам через гребешок, пригибаясь, прибежал и спрыгнул в окоп командир роты. Он сказал, что все окопы взяли и, кто там был, никого теперь нет, так он выразился о немцах.

— А наши убитые с почти там лежат? — спросил Николаев.

— Лежат как будто, — сказал командир роты. — Сейчас разберемся. Что прикажете делать?

— Закрепиться, — сказал Николаев. — Поправьте окопы, закрепитесь и сидите. Будете здесь сидеть, а другая рота подойдет — сзади вас будет. А пока сидите, какой бы ни был огонь. Сидите, и все!

Так я и не узнал ни тогда, ни потом, сколько было немцев в охранении слева от нас, в тех, других окопах, сколько их перебили и как все это произошло. Помню только, было обидное чувство оттого, что вот в этом окопе, в который вскочили мы, немцев не оказалось. Самым страшным казалось добежать до окопа, а встретиться с немцами здесь, в окопе, в последнюю секунду даже хотелось.

Очень хотелось пить. Мы выпили по глотку воды из фляги Мелехова. Было тихо. Немцы не стреляли. Николаев, присев на краю окопа, внимательно смотрел на Генитеск.

— Да, — сказал он, недовольно присвистнув, — отсюда ничего им не сделаешь. А оттуда они все, что хотят, могут сделать. Придется идти назад. Надо распорядиться, чтобы по всей Стрелке все в порядок привели, чтобы к темпоте все в порядке было, а то опять панику устроят, как вчера.

Вдруг сзади по полю пронесся куда-то влево грузовик с прицепленным к нему полковым минометом.

— Вот хорошо, догадались.

Обратно машина проскочила уже порожняком. Немцы пустили по ней несколько мин, но они разорвались в стороне. Как потом выяснилось, миномет отвозила все та же оставленная нами в пионерлагере Паша Анощенко.

— Ну что ж, — сказал Николаев, посидев минут пять, — придется обратно идти, порядок наводить. Вы со мной пойдете, — сказал он комиссару полка, — а вы, — обратился он к старшему политруку из политотдела армии, — останетесь здесь. Сидите до ночи, а к ночи всему начальству придется тут быть. Ну-ка, дай еще глоток воды, — встав, сказал он Мелехову.

Я был рад, что мы возвращаемся. Сейчас, когда мы добрались до окопов, я почувствовал, какого натерпелся страха, и мне

хотелось поскорей вернуться. Но комиссар полка вдруг, к моему удивлению, возразил:

— Товарищ корпусной комиссар, подождем здесь, пока темнеть не начнет.

— Это почему же? — спросил Николаев.

— Сейчас по нас бить начнут, как только пойдём, — ответил комиссар полка.

— Ничего не поделаешь, — сказал Николаев. — Начнут или не начнут, а нам тут сидеть нечего, надо во всем полку порядок наводить. Так что придется идти.

Он отдал последние распоряжения старшему политруку из политотдела армии и командиру роты, потом вылез из окопа, и мы быстрым шагом пошли назад. Едва мы прошли метров тридцать, как засвистели пулеметные очереди. Мы легли. Уже прижавшись к земле, я понял, что по нас стреляет сразу несколько пулеметов. Совсем рядом шуршала трава, срезанная пулями. И так тянулось, как мне показалось, целую минуту. Как только затихло, Николаев поднялся и сказал:

— Пошли.

Мы вскочили вслед за ним и двинулись быстрым шагом. Вероятно, комиссар полка задержался, и, когда мы делали следующую пробежку, он еще продолжал лежать там, сзади. Потом снова ударили пулеметы, мы снова легли, опять переждали, вскочили, пошли, опять слышали пулеметы, опять легли. Комиссар полка отстал от нас, если можно так выразиться, на один перебеж. А когда мы, лежа под следующими пулеметными очередями, обернулись, то увидели, что двое бойцов, выползшие из окопа, тащат полком комиссара полка обратно в окоп. Очевидно, промедлив несколько секунд, он был ранен там, откуда мы успели перебежать. Потом выяснилось, что так оно и было. И ранение оказалось тяжелым — пуля попала в ногу, прошла через все тело и застряла в плече.

Еще несколько перебежек. Снова пулеметные очереди. Падать приходилось быстро, потому что траву кругом буквально рвало, а я бежал с дополнительной нагрузкой: взял для Демьянова брошенный кем-то в окопе карабин; он давно просил достать ему карабин. Теперь, когда я уже взял этот карабин, мне не хотелось его бросать среди поля. Было как-то стыдно это делать после того, как я видел столько брошенных винтовок и осуждал за это людей. Приходилось теперь бежать, держа в левой руке свой полуавтомат, а в правой карабин, и так и плюхаться рыбкой, не выпуская их. Когда я в очередной раз особенно резко бросился на землю, Николаев, легший рядом со мной, повернул ко мне лицо и усмехнулся.

— Ловко падаете, — сказал он и повторил: — Ловко.

— А что?

— Да пет, ничего, правильно. Раз падать, так падать.

А немцы лупили по нас вовсю. Уже позике, на спокойную голову, я понял, что главная опасность была на обратном пути, когда мы пошли вчетвером и немцы били исключительно и специально по нас.

Идти было очень тяжело, перебегать с двумя винтовками — тем более. Вдобавок ко всему я нашел четыре брошенных магазина от полуавтомата и засунул их по два в карманы брюк.

Мы еще раз легли. На этот раз очереди были особенно длинными.

Потом наступила пауза. Метров полтора ста мы шли, и по нас не стреляли. И вдруг треснуло сразу из нескольких пулеметов. Мы упали. Рядом фонтанчиками взлетал песок. Наверно, как я это уже потом, вспоминая, сообразил, немецкие пулеметчики заранее приготовились бить по этому рубежу и открыли огонь, когда мы подошли к нему. На этот раз стреляли долго, то один, то другой пулемет, длинными очередями. Одна из них взрыла песок под самым посом у Мелехова. Он пошарил в песке и вынул лежавшую там пулю.

— К самому носу подлетела, — сказал Мелехов, стараясь улыбнуться.

— Не обожгла? — не то всерьез, не то в шутку спросил Николаев.

— Нет.

— Тогда возьми на память.

Еще одна очередь. Меня сильно ударило в бедро. Я пощупал рукой карман брюк и вытащил обоймы. В штапах была дырка, одна обойма разворочена, а другая поцарапана. Не поднимая головы, я показал лежавшему бок о бок со мной Николаеву обойму.

— А не ранило ли? — спросил он.

Я потрогал ногу, она не болела. Стал смотреть, где же другая дырка в штапах. Раз пуля вошла, она должна была и выйти. Но другой дырки не было.

Наконец пулеметы замолчали. Мы снова поднялись и пошли, что-то мешало в сапоге.

— Мешает ступать, — сказал я. — Может, пуля провалилась?

— Вполне возможно, — сказал Николаев. — Вот дойдем до лагеря, переобуешься и посмотришь.

И в эту секунду — мы даже не услышали ни гула, ни свиста, то было скорей ощущение не звука даже, а самой силы удара — что-то рванулось рядом. Мы упали на землю. До сих пор

не понимаю, как никого из нас не задело, просто повезло. Мина разорвалась на совершенно голом месте в каких-нибудь десяти метрах от нас. И едва она разорвалась, едва мы упали, как Николаев вскочил и крикнул:

— Скорей перебегайте, пока дым!

Мы перебежали метров сорок и легли. И сразу разорвалась следующая мина. На этот раз подальше.

— Левай, — сказал Николаев, — левай, к воде.

Мы добежали до самой воды и пошли по берегу.

— Теперь что слева, то не страшно, — сказал Николаев. — В воду попадет — не убьет.

И, словно торопясь подтвердить его слова, слева от нас, вздымая водяные столбы, у самого берега разорвалось еще две мины. Мы присели, а Николаев даже не пригнулся.

— Это же в воду, что вы пляшете? — сказал он.

Немцы провожали нас минометным огнем еще пятьсот метров. Разорвалось еще с десяток мин, но уже гораздо дальше от нас, чем первые две.

Наконец мы дошли до пионерлагеря. Не забуду чувства, с которым я зашел за первый дом. Из-за него не было видно Генгическа. А значит, оттуда, из Генгическа, не было видно меня. Я и сейчас помню это чувство. Дом был жиденький, мины с одинаковым успехом могли разорваться и перед ним и за ним, но чувство, что ты уже находишься не на голой земле, что тебя не видно сейчас, после всего пережитого, давало ощущение почти полного спокойствия и отдыха. Мне казалось, что я еще никогда не чувствовал себя в такой безопасности, как сейчас, стоя за этой хибаркой.

— Ну что же, где же машина? — спросил Николаев.

Стоявший у хибарки боец сказал:

— Товарищ водитель, которая там была, велела передать вам, если приедете, что она сейчас будет. Она ящик с минами поехала отвезти вот туда, налево, за бугор.

— Ну вот, теперь, значит, будем сидеть ждать ее, — сказал Николаев сердитым голосом, но по глазам его было видно, он очень доволен тем, что «товарищ водитель» повезла мины за бугор, и готов ее подождать.

Мы ждали минут пятнадцать. Напились воды из колоды. Я перебулся. Действительно, пуля ударилась о магазин и, развернувшись против него, проскочила в широкий сапог. Она и мешала мне идти.

— Сохрани, — сказал Николаев. — Это удача. Эту пулю либо жене, либо мамаше, либо еще кому надо подарить.

Через четверть часа подъехала полуторка, и одновременно с ней пришел оттуда же, откуда и мы, уполномоченный особым

отдела полка, рослый красивый парень с серыми глазами. Как я потом узнал, разговорившись с ним в следующую поездку сюда, он проделал финскую кампанию шофером, а после нее перешел в особисты. Он доложил Николаеву, что комиссар полка тяжело ранен и что он думает выпести его оттуда.

— Когда думаешь выпосить? — спросил Николаев.

— Сейчас, — сказал уполномоченный. — Ничего, возьму с собой кого-нибудь еще, вдвоем вынесем. А то до вечера погибнет. Там врача нет.

— Хорошо, делайте, — сказал Николаев. Он ласково посмотрел на этого рослого парня, который только что проделал ту же самую дорогу, что и мы, сейчас снова проделает ее обратно, а потом пойдет в третий раз, вынося раненого.

— Делайте, — повторил Николаев. — Правильно.

Уполномоченный повернулся и пошел. Как я потом узнал, им повезло, они благополучно вытащили комиссара полка.

Мы сели в полторку и поехали. Когда мы проезжали обратно мимо морской батареи, туда уже прибыла рота прикрытия. И вообще как будто на Стрелке начинали наводить порядок. По дороге мы встретили начальника штаба батальона, старшего лейтенанта; он двигался вперед, на новый командный пункт. На его старом командном пункте, когда мы туда добрались, мы нашли заместителя командира дивизии полковника Ульянова. Тут же был и Киладзе. Увидев Николаева, он засуетился и стал поспешно объяснять, что не выехал с нашей машиной, потому что в это время побежал к телефону, а потом, когда он поговорил по телефону, наша машина уже отъехала, он нам кричал и махал руками, но мы не остановились.

Николаев выслушал его, закинул за спину руки, как мне показалось, чтобы удержаться и не ударить, и сказал, не повышая голоса:

— Вы больше не командир полка. Я вас снимаю. Вы временно будете командиром полка, — обратился Николаев к Ульянову. — Позаботьтесь, чтобы его, — он кивнул на бывшего командира полка, — доставили в Симферополь.

Киладзе побагровел и задрожал в буквальном смысле этого слова. И, заикаясь, проговорил какие-то жалкие слова о том, что он виновен, но он не трус, что он готов, что он...

Николаев молча слушал его. Я стоял сзади и видел, с какой силой он сжимал сцепленные за спиной пальцы.

— Вы трус и мерзавец, — еще раз повторил он отдельно. — Я вас буду судить.

И в том, как он медленно во второй раз повторил ту же самую фразу, чувствовалось, с каким трудом он сдерживает себя.

Сидя у стога сена с Ульяновым, Николаев тихо отдавал ему какие-то распоряжения, а я прилег поодаль на траву. Начиная вечереть. Мне вспомнились разные дни, проведенные на войне. За исключением самых первых, этот, пожалуй, был печальнее всех. Вся сумма впечатлений от этой мертвой роты, брошенного оружия, от необстрелянности людей, от общего беспорядка, существовавшего к нашему приезду здесь, на Стрелке, и даже оттого, что Николаев, в человеческое поведение которого я просто влюбился, все-таки, по моему смутному ощущению, делал что-то не то, что нужно было ему делать как члену Военного совета, — все это вместе взятое поразило меня, и у меня впервые мелькнула горькая мысль: неужели все-таки немцы возьмут Крым? И я не нашел тогда в себе твердого ответа: нет, не возьмут.

Мы сели в машину и уже в вечерней дымке добрались до лодки. Здесь мы простились с Пашей Анощенко. Она своим торпливым говорком произнесла какие-то ласковые слова, жалела, что ранен комиссар полка, и просила, если мы опять приедем, чтобы непременно ездили с нею. Потом мы сели в лодку, и моторка взяла ее на буксир. Оба доставлявших нас голических рыбака сидели в моторке, а на лодке остались мы троим — Николаев, Мелехов и я. Николаев был без плаща и без шинели и ни за что не соглашался взять ни то, ни другое ни у меня, ни у Мелехова.

В Сивашах мелкой рябью колыхалась вода. Моторка шла медленно.

— Сам я виноват, — вдруг тихо и угрюмо сказал Николаев. — Сам виноват. Все позиции объездил, все до одной проверил, как укрепили, а вот на Арабатскую не поехал, на Савинова понадеялся. «Все в порядке». Сам виноват, сам виноват, — повторял он.

И по упрямому выражению его лица я понял, что он еще поедет на эту Арабатскую Стрелку, что он внутренне взял на себя ответственность за эту мертвую роту, что он себе этого не простит и не успокоится, пока не облазит тут все, не посмотрит своими глазами каждый окоп.

На том берегу Чонгара нас ждала машина, и мы, сняв с фар маскировочные сетки, на максимальной скорости поехали в Симферополь...

Так закончилась тогда эта двухнедельная поездка, которая не выходила у меня из головы не только весной сорок второго года, когда я диктовал эти страницы дневника, но и потом, в сорок пятом, на улицах Берлина. Вспоминалась уже по контрасту.

Ради справедливости надо сказать, что горькие эпизоды под станцией Сальково и на Арабатской Стрелке носили уже во многом нетипичный для сентября месяца характер. В данном случае немцы, подойдя к Крыму на четвертый месяц войны, столкнулись с еще совершенно необстрелянными и ни разу не принимавшими участия в боях частями. И многое из происшедшего на моих глазах и записанного в дневнике связано именно с этим. Обращусь к документам, которые, думается, в общем, подтверждают точность изложения этих событий в моем дневнике.

Вот как выглядел бой под станцией Сальково в приказе по войскам 51-й отдельной армии:

«15 сентября мелкие части противника появились на участке 276-й стрелковой дивизии. В 10 часов 30 минут двум-трем танкам и несколькими мотоциклистами только потому, что части 276-й стрелковой дивизии по-прежнему имели низкую боевую готовность, беспрепятственно и безнаказанно удалось выскочить к станции Сальково, куда подошел неизвестный эшелон с автомашинами и тракторами. Прямым выстрелом из пушечного танка противника паровоз был пробит, и эшелон остался на месте.

Примерно в это же время до роты мотоциклистов вело наступление с юго-запада на станцию Новоалексеевка, район которой оборонялся 3-м батальоном 876-го стрелкового полка с батареей.

Занятие противником станции Сальково сразу нарушило связь по постоянным проводам со станцией Новоалексеевка, в результате чего командиры 276-й стрелковой дивизии и 876-го стрелкового полка потеряли связь с командиром батальона.

В течение 15-го и до 15 часов 16 сентября командир и штаб 276-й стрелковой дивизии оставались безучастными наблюдателями того, что на их глазах небольшая кучка врага захватила эшелон автомашин и тракторов.

Командир 276-й стрелковой дивизии не выяснил положения батальона 876-го стрелкового полка, а командир 876-го стрелкового полка тоже никаких мер к выводу 3-го батальона не принял. Только по моему требованию командир дивизии предпринял попытку овладеть станцией Сальково, вывести с нее автотранспорт и установить связь с 3-м батальоном 876-го стрелкового полка.

Около 18 вместо 16 часов 30 минут, как предусматривалось командиром дивизии, наступление батальона началось. Но плохо организованный бой не дал успеха. Наша артиллерия дала несколько очередей по своей пехоте.

В 24 часа наступление было прекращено и батальон получил приказание, оставив охранение, вернуться к утру в исходное положение».

Так оно все и было на самом деле, и я думаю, что этот отражавший реальное положение вещей приказ в немалой степени был результатом именно того, что все это своими собственными глазами видел член Военного совета армии Николаев.

Но если бы он не видел этого своими глазами, то допуская, что истинный ход событий под Сальковым мог остаться неизвестным или не до конца известным штабу армии. Почему я так думаю?

А вот почему: 16 сентября в 23.40, то есть за каких-нибудь полчаса до того, как мы с Николаевым после неудачной атаки вернулись в штаб к Савинову, командир дивизии донес в корпус: «Боем батальона к исходу дня 16 сентября станцию Сальково занял. Противник под давлением батальона отошел с боем. Батальон усилил свежей ротой с задачей удерживать станцию Сальково до выгрузки эшелона с автомобилями и выяснения положения с 3-м батальоном в Новоалексеевке. К утру батальон отведет в исходное положение».

Это первоначальное донесение, посланное из дивизии наверняка, не имело ничего общего с действительностью — достаточно сравнить его с уже процитированным мною приказом по войскам 51-й армии.

В этом же приказе сказано и о событиях на Арабатской Стрелке:

«Пример проявления безволия и трусости показал в этот день командир 873-го стрелкового полка полковник Киладзе в северной части Арабатской Стрелки.

4-я рота 873-го стрелкового полка, вместо того чтобы оборонять позицию на северной окраине Генчиска, затем на северной части Арабатской Стрелки, без боя отошла в район Генчиской Горки.

Около 23 часов 16. IX группа фашистов в 30—40 человек, не встретив наших частей, проникла в северную часть Арабатской Стрелки, откуда была выбита огнем артиллерии без всякого участия в бою пехоты.

Факт безнаказанного проникновения на Стрелку группы противника с мотоциклами указывает на то, что командир 2-го батальона 873-го стрелкового полка старший лейтенант Кузнецов проявил нераспорядительность и трусость.

Находившийся 16. IX на Стрелке командир 873-го стрелкового полка полковник Киладзе с завязкой боя позорно, трусливо, самовольно уехал со Стрелки, не приняв никаких мер, чтобы навести порядок и заставить красноармейцев и командиров 2-го батальона выполнить боевой приказ. Причем полковник Киладзе донес командиру дивизии, что на Стрелке все спокойно, а коман-

ир дивизии генерал-майор Савинов не проверил правдивость до-
сесения.

Полковник Киладзе неточно выполнил приказ командира дивизии. Вместо того чтобы немедленно выйти на Стрелку и выяснить положение, полковник Киладзе только в 8.00 17.IX начал движение на Стрелку. Выдвинувшись в район Генгическая Гор-
а, полковник Киладзе ничего не сделал, по-прежнему подло, усливо бездействуя.

События на Арабатской Стрелке выявили отсутствие твердо-
руководства и контроля со стороны командира дивизии гене-
л-майора Савинова, штаба той же дивизии, командиров полков,
гальонов 276-й дивизии и показали преступную трусость в
ведении командира 873-го стрелкового полка полковника Ки-
дзе».

А теперь возьмем этот же эпизод на Арабатской Стрелке, уже
жды изложенный — и в моих записках, и в только что проци-
рованном приказе, — и посмотрим, как он выглядит в третьем
рианте изложения: в жалобе бывшего командира 873-го стрел-
ового полка полковника Киладзе в Управление кадров РККА,
правленной им в июле 1942 года, когда события отодвинулись
прошлое и ему, очевидно, казалось, что о них успели забыть.

«С боевой характеристикой, данной мне оценкой за боевую
боту в годы Отечественной войны я не согласен. В августе
1941 года полк был отправлен на Крымский фронт. В районе со-
едоточения полка был выделен 2-й батальон самостоятельно на
рабатской Стрелке для занятия района. Этим батальоном коман-
овал неопытный командир.

В последних числах августа месяца 1941 года на участке 2-го
атальона противник произвел разведку, ему удалось выявить
асположение батальона. После стычки с противником разведка
атальона отошла с потерями, но не была уничтожена полностью.
вязь со 2-м батальоном была исключительно через посыльных,
ак как управление штаба полка и два батальона находились на
евом берегу Сиваша, 2-й батальон — на правой стороне Сиваша,
ва с половиной километра.

Батальон только впервые получил боевое крещение, коман-
ование не смогло преждевременно оценить противника и не ор-
низовало уничтожения его. Как только стало известно об этом,
с начальником штаба переправился на тот берег и принял все
еры...

О случившемся факте командующий армией назначил рас-
следование на предмет установления причин появления против-
ника на Арабатской Стрелке. Установлено было, что командир
атальона не вел непрерывной разведки и слабо организовал

охранение, благодаря чему и сам командир батальона погиб в этой стычке и мне оставил на всю жизнь незаслуженное обвинение, после чего последовал приказ по армии о моем снятии с командования полка с формулировкой «за проявленную слабость, характерность и безвольность», тогда как материалом расследования подтвердилось, что я и штаб в этот период не могли возглавить батальон, и дело по обвинению меня было прекращено, на что я имею справку прокуратуры Крымского фронта».

Я привел эту написанную через год после событий и — надо добавить — не имевшую успеха жалобу потому, что, если мы лишь опрокинуть ее в прошлое, нетрудно представить себе ее и в виде жалобы, а в виде донесения, которое такой человек мог отправить о событиях, происшедших на Арабатской Стрелке, если бы, на его несчастье, там не оказался Николаев, увидевший все, что произошло, собственными глазами.

В приказе по армии генерал-майору Савинову объявлялся выговор за нетребовательность и нераспорядительность. Киладзе за бездеятельность и трусость устранился от занимаемой должности и предавался суду военного трибунала. В этом же приказе предавался суду и командир находившегося на Арабатской Стрелке батальона, хотя он к тому времени был мертв.

Приказ, видимо, был написан второпях, и на нем не стояла подпись Николаева. В следующем приказе по армии, изданном через пять дней и на этот раз подписанном и Николаевым, вносилась поправка:

«Ввиду выяснившихся обстоятельств, что командир 2-го батальона 873-го стрелкового полка старший лейтенант Кузнецов руководил боем отдельной группы батальона с проникшим на Арабатскую Стрелку противником и героически погиб, призываю:

Пункт 5 приказа войскам армии от 18 сентября 1941 года отменить.

Ответственность за ложные сведения о старшем лейтенанте Кузнецове несет бывший командир 873-го стрелкового полка полковник Киладзе».

Я сказал, что, очевидно, первый приказ по армии писан второпях. Об этом говорит быстрота его появления. Насколько я понимаю, это было результатом запроса начальника Генерального штаба Б. М. Шапошникова, не знаю уж, через какие каналы, но получившего сведения о событиях под Сальковом на Арабатской Стрелке. Из текста видно, что приказ был отправлен Шапошникову в ответ на его запрос.

В чисто военном смысле ничего катастрофического не произошло. Положение на Арабатской Стрелке было без особого труд-

восстановлено. А тот батальон 276-й дивизии, который отрезали немцы под Сальковом, вопреки первым сведениям, не погиб, а, потеряв пятьдесят человек убитыми и ранеными, прорвался через тылы немцев и присоединился к одной из дивизий восставшей на материке 9-й армии. Но смысл событий и содержащийся в них урок были гораздо серьезнее масштаба этих двух частных неудач. Видимо, именно это и обеспокоило Генеральный штаб. То, что приказ, который я цитировал, был все-таки издан и многие вещи названы в нем своими именами, было важно и полезно — у нас оставалось меньше недели до начала генерального немецкого наступления на Крым.

Ну а если бы подлинная картина не стала ясной? Если бы то донесение о бое за стапцию Сальково, которое направил наверх командир 276-й дивизии, или те объяснения, которые выдвигал в свою защиту командир 873-го полка, были приняты за нечто достоверное? Что тогда? Как бы отразилась подобная неправда на наших дальнейших упорных оборонительных действиях в Крыму? Наверно, самым дурным образом. Должно быть, этим чувством и были вызваны мои тогдашние горькие строки о бедах, которые способны принести на войне люди, боящиеся начальства больше, чем противника...

Хочу дополнить сказанное о событиях под Сальковом и на Арабатской Стрелке еще одним свидетельством, взятым из книги воспоминаний бывшего заместителя командующего 51-й отдельной Крымской армией генерала армии П. И. Батова. Вот что он пишет по этому поводу:

«Оборону держала здесь, как я уже говорил, 276-я стрелковая дивизия, сформированная в Чернигове уже после начала войны; больше половины бойцов в ней в возрасте за тридцать лет, не обученных ведению боя. Как-то генерал И. С. Савинов откровенно признался мне, что он просто порой теряется из-за того, что люди еще не умеют по-настоящему с винтовкой обращаться, а большинство командиров — из запаса, без опыта командования. Помочь ему кадрами было невозможно: в это время в офицерах до крайности нуждалась осажденная Одесса и управление 51-й отдельной армии, отрывая от себя, посылало их туда. Самого командива я знал как квалифицированного штабного работника. Позже, в ноябре и декабре сорок первого года, на Тамани, когда я принял в командование 51-ю армию, генерал Савинов служил у нас заместителем начальника армейского штаба, а после гибели генерала Шишенкина возглавил штаб, прекрасно работал при подготовке десантной операции. Это был очень опытный штабной работник, но командовать дивизией ему, видимо, было тяжело. По характеру мягкий, обходительный, привыкший бо-

лее доверять, нежели проверять, он представлял полную противоположность Черняеву и Первушину. И потом одна черта, опасная в боевой обстановке: командир 276-й дивизии больше всего боялся начальства. Окрик лишал его способности работать».

Я с большим интересом нашел в мемуарах Батова и несколько упоминаний об Андрее Семеновиче Николаеве. Приведу два из них:

«Николаев по своему обыкновению облазил весь передний край 156-й дивизии, как раз в этот день немецкие самолеты просто не давали житья. Ну Николаев-то был к опасности боевой обстановки равнодушен, наоборот, его как будто приводило в хорошее настроение сознание, что он вполне делит эти опасности с массами бойцов и офицеров. К сожалению, он не ответил на волнующие нас вопросы: оценка противника, вероятное направление его удара, а самое главное — наши резервы...»

«...Ему, как и многим товарищам, испытавшим чрезвычайное выдвижение в конце тридцатых годов, было туговато... На Хасане он был комиссаром полка. Теперь — член Военного совета армии, действующей на правах фронта. С командующим у них не было взаимного понимания. Не будучи в состоянии поправить командарма в главном, Николаев, исправляя частности, уезжал в полки, в родную для него стихию боя».

Прочитав это, я еще раз заново подумал об Андрее Семеновиче Николаеве, о своей тогдашней, в общем, восторженной оценке его личности и о том, что представлял собой этот человек в действительности. Не с точки зрения восхищенного его храбростью военного корреспондента, а с более существенной точки зрения, высказанной Батовым.

Смотрю личное дело Николаева, разрозненные архивные документы, бросающие свет то на один, то на другой кусочек его биографии, и думаю, что Батов, наверно, прав: там, в Крыму, на такой большой должности Николаеву было туговато.

«14 августа 1936 г. — Присвоено звание старшего политрука.

3 декабря 1937 г. — Назначен начальником политотдела Академии Генерального штаба.

8 декабря 1937 г. — Присвоено звание батальонного комиссара.

8 июля 1938 г. — Назначен исполняющим обязанности начальника политуправления Первой армии Краснознаменного Дальневосточного фронта.

10 июля 1938 г. — Присвоено звание бригадного комиссара.

31 июля 1938 г. — Утвержден начальником политотдела этой же армии,

- 40 сентября 1938 г. — Назначен начальником политуправления 1-й Отдельной Краснознаменной армии.
- 18 ноября 1938 г. — Назначен членом Военного совета Киевского особого военного округа.
- 19 ноября 1938 г. — Присвоено звание дивизионного комиссара.
- 2 февраля 1939 г. — Присвоено звание корпусного комиссара...»

Если все это подытожить, окажется, что человек, бывший еще 2 декабря 1937 года выпускником Военно-политической академии и старшим политруком по званию, ровно через четырнадцать месяцев после этого был уже корпусным комиссаром и членом Военного совета округа.

Что сказать об этом?

Даже самый преданный делу и бесстрашный человек не может силою одних приказов превратиться за год или за два из старшего политрука в корпусного комиссара, как это было с Николаевым, или из старшего лейтенанта стать заместителем наркома обороны и командующим Военно-Воздушными Силами, как это было, скажем, с храбрейшим летчиком Рычаговым...

Да, конечно, думая сейчас о Николаеве, я куда больше, чем тогда, в 1941 году, понимаю, что он, наверно, не был в достаточной мере готов к тому, чтобы стать членом Военного совета армии на правах фронта. Он мог быть, да, в сущности, и был превосходным, храбрым комиссаром полка или дивизии.

И там, в Крыму в 1941 году, я влюбился в него потому, что видел его именно в те моменты, когда он был на своем месте бесстрашного комиссара полка или дивизии. Он делал на моих глазах именно то, что умел делать лучше всего, и в этом и состояла основа моего тогдашнего взгляда на него.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Когда мы вернулись в Симферополь, Николаев прямо пошел к командующему, а Мелехов повел меня в комнату, где располагались адъютанты.

Вскоре туда пришел Василий Васильевич Рошин, и мы с Мелеховым, перебивая друг друга, стали рассказывать ему все, что видели. Он сидел и смотрел на нас своими умными грустными глазами. Про пережитые нами страхи он, кажется, пропустил мимо ушей. Но то, что стояло за всем этим, то, о чем я не говорил вслух, но о чем думал и тревожился, рассказывая об Арабатской Стрелке, видимо, расстроило его. Молча взяв меня за руку,

он повел к себе и уложил спать на диван. Я заснул мгновенно, как в яму провалился.

На следующий день в Симферополе происходили похороны Героя Советского Союза Трубаченко. Я помнил его еще по Халип-Голу. Он погиб во время воздушного боя, и хоронили его торжественно, с оркестром, знаменами и речами.

Когда я сейчас думаю о том, что в Симферополе немцы, перед моими глазами возникают то утро похорон и заботливо украшенная, засыпанная цветами могила Трубаченко. Мысли о разоренной могиле почему-то рождают у меня даже более горькое чувство, чем мысль о разоренном городе.

Вернувшись с похорон, я засел на весь день в нашей пустой квартире, записывал и приводил в порядок всякие свои соображения по поводу виденного вчера.

Халип застрял в Севастополе — снимал там моряков и летчиков. Покончив со своими записями, я на следующий день съезди за ним.

В Симферополь мы вернулись среди ночи. Я на всякий случай заехал в штаб к Николаеву. Оказалось, что он завтра утром поедет на передовые — сначала на Сиваш, а потом еще раз на Арабатскую Стрелку.

Утром Халип поехал на нашей машине, кажется, куда-то к летчикам, а я с Николаевым поехал на Сиваш. Ехал и думаю, как мне быть дальше. С одной стороны, я много увидел и, наверно, еще многое увижу здесь, а с другой стороны, было совершенно непонятно, как все это печатать в газете. То ли писать без обозначения места действий, без пейзажа, без Сивашей? То ли гримировать все это под Одессу? А может быть, уже разрешено писать о боях на подступах к Крыму? Все это надо было выяснить, и я сначала подумал, а потом сказал Николаеву, что после этой нашей поездки или после следующей я на два-три дня съезжаю в Москву, чтобы отвезти материалы и выяснить, как же писать дальше, что можно и чего нельзя.

Весь этот день мы провели на Сивашах, которые были порядочно укреплены. Здесь все было заминировано — и берег, и откосы; проволочные заграждения шли не только по суше, но и над водой; были протянуты через мелководные лиманы. На возвышенностях стояли бетонные точки, железные копаки, и все это соединялось довольно разветвленной системой окопов и ходов сообщения.

Немцы уже начинали активно действовать в воздухе над Крымом, и за день мы попали под две бомбежки. Но на земле все еще было тихо. На том берегу показывались мелкие группы немцев: пехота, мотоциклисты. Наша артиллерия открывала на них огонь. Небольшие группы наших разведчиков, посланные на

от берег, вели там мелкие стычки с немцами. Было очень хорошо простым глазом видно, как наша артиллерия накрыла огнем завод немцев, пробравшихся вдоль отмени, как они падали, бежали, опять падали.

В общем, было предгрозые, тихий день, ничем особенным не примечательный. Халип опять дал мне один из своих фотоаппаратов, и я кое-что снял. Потом эти фотографии появились в «Красной звезде».

Николаев досконально обследовал позиции, ходил по окопам, спрашивал обо всем, начиная от стирки белья и кончая куревом, занимаясь в разные подробности быта, пробовал еду из котелков. Потому, что он был человек простой и умный, все это не выглядело у него показной заботой большого начальства, а было самым настоящим, необходимым и естественным делом.

Сиваша обороняла хорошая дивизия, в основном кадровая, командовал ею полковник Первушин. Впоследствии во время отступления дивизия дралась лучше всех и была выведена из Крыма в порядке после очень тяжелых боев. Первушину дали за это генерала, и он командовал потом 44-й армией.

Здесь, на Сивашах, Первушин в роли командира дивизии мне очень понравился. Это был волевой, сдержанный человек, очень жесткий и строгий; было видно, что он как следует подтянул свою дивизию. Такая же подтянутость и строгость чувствовались и у его командиров полков.

Заехал на позиции дивизии Первушина и командующий 51-й армией Кузнецов. Он так же, как и Николаев, приехал сюда проверять систему обороны. Они были взаимно подчеркнута вежливости, но за этим чувствовался холодок.

Мы ходили вдоль окопов, когда появились над головой немецкие самолеты. Все быстро полезли в окопы, и это, конечно, было совершенно правильно. Только Николаев торчал на бруствере окопа и, поворачивая голову, следил, откуда и как пикируют самолеты. Кузнецов, который был тут же, рядом в окопе, сердито крикнул:

— Андрей Семеныч! Спуститесь! Вы же демаскируете.

Николаев послушно спустился в окоп, недовольно, досадливо крикнув. Мелехов сказал мне, что у корпусного комиссара с командующим прохладные отношения возникли с тех пор, как они несколько дней назад ездили вместе и Николаев обнаружил, что командующий излишне поспешно, по его мнению, выскакивает из машины, едва заслышав гул самолетов. Впрочем, не берусь судить, насколько это соответствовало действительности.

К вечеру мы с Сивашей поехали на Чонгар. Там, как и предыдущий раз, започевали у Савинова, а утром двинулись на Арабат-

скую Стрелку. Николаев хотел сам убедиться, какие там приняты меры. На этот раз он, не скрывая иронии, спросил у Савинова:

— Вы ведь теперь там были?

— Да,— сказал Савинов.

— Вы ведь теперь все знаете?

— Да,— сказал Савинов.

— Так вот вы меня и свезите туда, покажите принятые вами там меры.

Утром на моторной лодке мы снова переправились на Арабатскую Стрелку.

Там, где раньше был командный пункт батальона, теперь располагался со своим штабом Ульянов. Пока Николаев и Савинов разговаривали с ним, я отыскал Пашу Анощенко, которая теперь со своей полуторкой была прикомандирована к штабу полка. Мне хотелось при случае написать о ней. Присев рядом с ней на копне сена, я стал расспрашивать о ее жизни. Это была самая обычная, простая история, рассказанная милой девичьей скороговоркой с южным хаканьем и горячей жестикуляцией. Паша так и не успела переобмундироваться. Ее и без того худое лицо стало совсем худеньким, на нем были видны только огромные глаза.

Рассказав, что происходило у них здесь в последние два дня, она потащила меня за руку к своей полуторке, чтобы показать, в каких местах вчера вечером, когда она вывозила раненых, пробили ее машину осколки мин. Так я ее и снял около пробитой полуторки — в косынке и платице. Этот снимок потом был напечатан в «Красной звезде».

Поговорив с ней, я вернулся к Николаеву. Как раз в эту минуту к нему привели какую-то женщину с мешком за плечами. Она оказалась жительницей Геническа и переехала на Арабатскую Стрелку ночью по мосту, который, как теперь выяснилось, был затоплен настолько неудачно, что через него можно было перебраться по грудь в воде. Она перешла на этот берег и была задержана нашим патрулем. Патрульные, как водится, пожалели ее, отдали ей половину своих харчей, а тот из них, что вел ее в штаб, по дороге сетовал, что не может отпустить ее в деревню Геническая Горка, куда она, по ее словам, шла, потому что такой уж приказ командования, чтобы всех отводить, а то, конечно, они бы с радостью...

Словом, ее доставили в штаб.

По словам особиста, который допросил женщину предварительно, она не представляла особого интереса и не внушала подозрений. Выбралась из Геническа и шла теперь на Геническую

орку, где когда-то работала, а отсюда хотела пройти к своей заужней сестре, жившей в Керчи.

Женщина была невысокая, с темным невыразительным лицом, некрасивая, какая-то вся черная. Все было у нее черное, не только платье, но и лицо.

Николаев поглядел на нее недоверчивым взглядом и, отпустив особиста, стал допрашивать ее сам. Первое подозрение смущало содержание узла этой женщины. Николаев приказал связать его. В узле было совсем не то, что может взять с собой человек, тщательно и обдуманно готовившийся идти в большую дорогу, было напихано не самое необходимое, а все, что попало под руку, все, что можно было сунуть для вида, второпях. А женщина, по ее словам, с самого прихода немцев, уже несколько дней, готовилась к побегу.

Разговор был длинный и тяжелый. Она не обладала ни умом, ни хитростью, не была озлоблена и запугана. Видимо, ее научили, что она должна говорить, и она упорно твердила урок, даже когда это стало явной нелепостью.

Всех подробностей допроса я не запомнил. Он длился около двух часов. Из нее приходилось выматывать слово за словом. Сначала она не признавалась ни в чем, потом призналась, что под угрозой оружия немцы заставили ее перейти сюда, чтобы она принесла им сведения. Но что она этого не хотела делать и что это было для нее только способом бежать от немцев. Потом выяснилось, что у нее был пропуск на обратный переход и что было условлено, как она перейдет обратно. В общем, вся нехитрая картина вербовки случайной шпионки стала полностью ясна. Женщина была одним из тех шпионов, которых немцы в большом количестве с самого начала войны то здесь, то там засылали к нам на авось — вдруг выйдет. В редких случаях они пробирались благополучно, чаще попадались. Но немцам на это было наплевать, пропадут — и ладно. Зато в случае удачи они могли принести кое-какие сведения. Эта должна была узнать, какие у нас противотанковые укрепления здесь, на Арабатской Стрелке, и, придя обратно, сообщить об этом. За это ей обещали десять тысяч рублей. Слова «десять тысяч рублей» она произносила почти благоговением. Видимо, для нее это была такая цена, называя которую она как бы отчасти оправдывала свой поступок. Это были такие деньги, за которые, по ее понятиям, можно было сделать все.

Она была дочерью богатого куркуля, раскулаченного здесь тридцатом году. Она тоже ездила с семьей куда-то в ссылку, потом вернулась. Круг ее знакомых тоже был из бывших ссыльных, убежавших оттуда или вернувшихся. Ее любовник Костю-

ков — я запомнил эту фамилию, — по ее словам, бежал из сыска еще до войны и не только пробрался в армию, но и в «школу командиров». Он пришел в Генгисек вместе с немцами из Николаева. И именно через него она и стала шпионкой.

Ее не расстреляли, потому что была надежда, что через нее удастся выловить этого Костюкова. Она тут же дала понять, что для спасения своей жизни готова продать своего любовника.

И вдруг, когда кончился этот допрос, в блиндаж, где он происходил, вошла Паша Анощенко. Они встретились глазами, еще две женщины, и Паша, повернувшись к Николаеву и дернув его за рукав — она не имела никакого представления о чинах, званиях и тому подобном, — сказала:

— Товарищ начальник, когда же поедем? Машина готова ждет. Только я с вами на самые передовые. Чтобы вы меня теперь не оставляли. А, товарищ начальник?

Я вышел из блиндажа вслед за Пашей.

— Товарищ начальник, — сказала она, теперь дергая за рукав меня так же, как до этого дергала Николаева. — Что вы мне смотрите? Я бы убила ее, и все. Ведь вы не отпустите ее, не дадите.

— Не отпустим, — сказал я.

Через четверть часа мы двинулись на передовую в полутемноте, за рулем которой сидела Паша...

Здесь, где я в последний раз упоминаю в дневнике о Паше, которая возила нас с Николаевым по Арабатской Стрелке, мне радует возможность рассказать о ее дальнейшей судьбе.

В «Красной звезде» был напечатан не только снимок Паша Анощенко, но и мой очерк о ней «Девушка с соляного промысла». Как потом выяснилось, и то и другое тогда, в сорок первом году, могло ей дорого обойтись.

Облик этой дерзкой и самоотверженной «шоферки» врезался мне в память на долгие годы. Через пятнадцать лет после тех событий в Крыму, о которых идет речь в дневнике, я написал маленькую повесть «Паптелеев», в которой были и Арабатская Стрелка, и погибшая рота, и не успевшая переобмундироваться девушка в выцветшем платье и косынке, возившая под огнем минометы, прицелив их к своей пробитой осколками полуторты. Именно эта повесть еще через десять лет помогла мне разыскать Пашу Анощенко.

Однажды я нашел у себя на столе письмо, пришедшее из Керчи. В обратном адресе была указана незнакомая фамилия, и с первых же строк письма стало ясно, что в нем идет речь о хороших знакомых мне событиях. Вот это письмо с некоторыми сокращениями:

«Обращаюсь к Вам с просьбой. Дело касается одной статьи, напечатанной в журнале «Москва» под заголовком «Рассказ Пантелеева». В этом рассказе Вы описали то, что происходило в Крыму, на Арабатской Стрелке, под Геническим. В рассказе упоминается о девушке-шофере, которая подвозила боеприпасы к передовой. Когда я прочитала этот рассказ, я узнала в девушке-шофере себя. Это было в конце сентября 1941 года. Я была вольнонаемная — меня брали на укрепление обороны с машиной. Я возила снаряды на передовую линию из дер. Ген. Горка, где находился штаб, через пионерский лагерь к Геническому. По машине немцы вели обстрел. В машине находились пять бойцов, снаряды, был прицеплен полковой миномет. Осколком снаряда ударило в капот по брызговику, капот отлетел, к счастью, мотор не задело, верх кузова машины был прострелен пулями. Мотор заглох. Бойцы ушли в окоп, а я в это время продула трубку, подающую горючее, завела мотор, собрала бойцов, и мы поехали дальше. Снаряды мы разгрузили на передовой у домика, стоявшего в стороне от пионерлагеря. Обстрел продолжался, было прямое попадание в дом, и это спасло машину и снаряды... Эти события потом были описаны в газете под заголовком «Девушка с соляного промысла», помнится, за 2 октября 1941 года. Прошло много лет. Дни войны стали забываться, и вот однажды одна учительница, которой я раньше рассказывала о днях, проведенных на обороне Геническа, принесла мне журнал с описанием этих событий. Читали рассказ всей семьей, затем я отослала его в Ленинград сыну (он там учился), а он отдал его кому-то почитать, так и затерялся. Больше у меня ничего не осталось, что бы напоминало мне о прожитых годах войны... Очень хотелось бы иметь хоть одну газету военных лет с описанием этого эпизода моей жизни. Но где хранятся такие газеты, я не знаю. Может, Вы сможете в этом мне помочь? До свидания, с уважением к Вам Колупова Прасковья Ник. Фамилия до замужества Апощенко П. И. В газете моя фамилия указывалась правильно, а в журнале нет, там было написано Горобец, правильно Анощенко».

Я написал Прасковье Николаевне и вскоре получил ответ:

«...Вы просите рассказать Вам о том, как сложилась моя жизнь-судьба после сентября 1941 года. Я вам опишу.

2 ноября 1941 года по приказу командования временно отступить мы начали отступать через пролив в Тамань. Я в это время работала на санитарной машине. И я с ранеными переправилась в Тамань. В Тамани меня вызвал полковник Ульянов и сказал, что наш полк расформируется и что я с бойцами на-

правляюсь в Краснодарский край, ст. Роговская, в медсанбат 217. Там я встретила со своим мужем Беспяткиным Георгием Ефимовичем, в то время он был лейтенантом. Замуж я вышла еще до войны, но паспорт заменить не успела, так я и осталась на своей фамилии. Жить нам пришлось недолго, 22 марта нашу 156-ю дивизию направили на поддержку керченского десанта. 9 мая начали отступать. Я возила раненых на сан. машине с д. Михайловки в крепость г. Керчи, а 14 мая мне сказал старш. лейтенант, что мой муж Беспяткин Г. Е. погиб в боях за Керчь.

После отступления с Керчи нас направили опять на фронт под Ростов. Под Ростовом около реки Маныч мы попали в окружение. Мы разбились на маленькие группы по приказу командира и начали ночами выходить из окружения. А днем я переодевалась в гражданскую одежду и добывала продукты для нашей группы. Шли мы Сальскими степями. Когда пробираться стало труднее, мне сказали, что мне, как будущей матери, лучше пробираться одной. И я пошла одна. Идти было очень трудно, шла в основном ночами, выбирала проселочные дороги, ровно месяц и десять дней.

На сольпроме, где жила раньше, я не пошла, так как мне сказали, что меня разыскивают и что у начальника полиции лежит вырезка — фотография и статья из газеты обо мне — на столе под стеклом и он все время узнавал, не вернулась ли я. Итак, мне пришлось жить на другом сольпроме, вблизи Керчи. Но и здесь стало известно, что я служила в армии. Местный полицейский допрашивал меня, с какой целью я вернулась сюда, и бил. В этот период у меня родился сын. Я назвала его в честь погибшего мужа Георгием.

Жена полицейская заступилась за меня, сказала, как женщина, что у меня маленький ребенок. Но все же полицейский сказал одному немецкому офицеру, что я русский солдат и что муж был командиром. Офицер этот пришел к нам домой, бил и сказал, что меня расстреляют. Пригрозил, что если я уйду, то расстреляют всех родственников, а сам поехал за гестаповцами. К счастью для меня, он не доехал, по дороге погиб. А я забрала ребенка и уехала в Исламетровский район, где жила до освобождения Керчи. В этих местах были люди, эвакуированные с сольпрома, они знали обо мне все, но меня никто не выдавал, а когда находили листовки, приносили мне читать.

Когда освободили Крым, меня сразу же райзо направило на работу в Марфовку шофером. Там я работала до 1947 года. В Марфовке я познакомилась с Колуповым Василием Ивановичем. Он был инвалидом второй группы, во время войны был и

Ленинграде, пережил блокаду. Он жил один с двумя ребятишками. И я решила выйти замуж и воспитать своего сына и этих двух ребятишек. Всей семьей мы выехали на Арабатскую Стрелку, где я опять работала шофером».

В конце письма Прасковья Николаевна коротко написала о своей жизни, что работает в колхозе «Рассвет», но свою старую шоферскую специальность оставила. Трое старших сыновей в их семье теперь уже сами взрослые, женатые люди. Один работает начальником связи, другой — горным мастером, третий — шофером. А четверо младших — три дочери и сын — еще учатся, самый младший, Василек, — всего-навсего в первом классе.

Я достал из архива старый номер «Красной звезды» с моим очерком и с фотографией Паши Анощенко.

В очерке были строчки о нашей тогдашней тревоге за ее судьбу: «...Еще издали были слышны частые разрывы мин. Как-то невольно думалось о Папе. Хотелось опять увидеть ее белый платочек и васильковое платье, услышать ее торопливую скороговорку. И в то же время боялись за нее, боялись, потому что война и слишком часто встречаешься для того, чтобы больше не увидеться...»

Опасения такого рода мучительно часто оправдывались на войне. Могли оправдаться и на этот раз — и там, на Арабатской Стрелке, и потом под Керчью, под Ростовом, в окружении, в оккупации...

И все-таки не оправдались. Хотя для того, чтобы узнать об этом, понадобилось много лет.

Возвращаюсь к тому, на чем прервал себя.

...На этот раз с нами на полуторке поехал Савинов.

Сначала мы побывали у артиллеристов, потом поехали дальше, где два дня назад увидели первых наших убитых. Теперь там сидела морская пехота. Моряки тщательно окапывались. Так же основательно окапывались и пехотинцы, стоявшие сзади них и непосредственно прикрывавшие батарею. Батарея была морская, и командир роты моряков попросил Николаева, нельзя ли сделать так, чтобы всех их, моряков, соединить вместе, чтобы они сами прикрывали свою батарею. Такую же просьбу высказывал раньше и командир батареи, когда мы через нее проезжали. Там, на батарее, Николаев согласился, а здесь, к моему удивлению, вдруг сказал:

— Нет, нет. Здесь стоять будете. Здесь и окапывайтесь.

Мы немножко побыли у моряков. Было сравнительно тихо,

немцы вели редкий беспокоящий минометный огонь: каждые пять-шесть минут по одной мине.

От моряков мы возвращались уже в сумерки. Я обратился к Николаеву:

— Товарищ корпусной комиссар, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос.

— Да.

— Почему вы командиру морской батареи сказали, что переведете к нему моряков, а морякам сказали, что оставите их на месте?

Николаев усмехнулся.

— Почему, почему? Конечно, переведем! Пехоту перебросим вперед, а их назад, к батарее. А им не сказал. Если сказать, что перебросим их назад, они для других не будут заканчивать свои окопы. А так они всю ночь будут трудиться, копать. Устроят все для себя по-хорошему, а потом утром мы их перебросим. Поговорят, что, по их мнению, зря потрудились, но окопы уже будут в полный профиль. Вот так! — Он рассмеялся.

На обратном пути я снял батарею, эти снимки потом появились в газете. На берег лимана мы приехали совсем поздно. Была совершенно черная южная ночь. Мы немножко проплутали, ища причал, где стояла моторка. Во время этих поисков Савинов что-то беспрерывно говорил Николаеву. Николаев молчал, он был недоволен. Дело в том, что, как он и ожидал, Савинов без него не ездил никуда дальше командного пункта Ульянова, хотя и говорил ему, что все осмотрел. Как только мы пошли вперед от командного пункта полка, ему сразу же стало ясно, что Савинов нигде впереди не был.

Николаев ничего не сказал ему прямо, но дал почувствовать, что хорошо все понял.

На лодку мы уселись уже ночью. Была холодная вода, вся в барашках от сильного ветра, но главное — было темно. Только на горизонте виднелось зарево Генического.

Два рыбака, как и в прошлый раз, сидели впереди на моторке и тянули нашу лодку на буксире. Темно было так, что я с трудом различал лицо Николаева, сидевшего напротив меня. Мы тихо переговаривались. Рыбаки могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно, если бы они польстились на немецкую награду, которая, наверное, была бы немалой за генерала и корпусного комиссара сразу. Мы лавировали по волнам, причем геническое зарево оказывалось то слева, то справа от нас, и скоро мы потеряли всякую ориентировку по отношению к берегам. Завезти нас куда угодно и посадить не на тот берег не составляло никакого труда.

Переправлялись мы часа полтора. Наконец уткнулись в мелководье и вылезли прямо в воду, набрав ее в сапоги. Оказалось, что, несмотря на полную тьму, рыбаки привезли нас точно на то самое место, откуда мы переправлялись утром...

Откуда они взялись в моем дневнике, эти кажущиеся мне сейчас нелепыми и даже оскорбительными слова о рыбаках, которые «могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно»?

В других случаях я иронизировал в дневнике над подозрительностью других людей. А здесь мне самому пришла в голову мысль, наверно рикошетом долетевшая откуда-то из тридцать седьмого года. Значит, в каких-то обстоятельствах я и сам, очевидно, мог быть несправедлив в своем хотя бы мысленном недоверии к людям, в мысленном допущении того, чего не было оснований допускать. Значит, какой-то частицей это недоверие все-таки сидело во мне тогдашнем...

Пишу это не ради биения себя в грудь, а чтобы подчеркнуть, что возвращение к тем или иным страницам истории того великого и трудного времени не может быть основано ни на отречении от себя тогдашнего, ни на искусственном перенесении туда, в прошлое, себя сегодняшнего.

...Совершенно продрогшие, мы сели в ждавшую на берегу машину и поехали в Симферополь. Николаев спешил; гнали всю с полным светом. Патрули по дороге страшно кричали; когда мы проскакивали мимо них, и я все время ждал, что нам всадят пулю в спину.

Мы добрались до Симферополя глухой ночью 23 сентября. Николаев сказал, чтобы я явился к нему в девять утра, пойдя завтра на Перекоп. Но, когда я на следующий день в девять утра пришел к нему, он сказал, что поездка пока откладывается.

Я спросил его об обстановке. Он сказал, что пока тихо. Тогда, не желая сидеть без дела, я сказал ему, что раз поездка откладывается, то я слетаю в Москву не после этой поездки, как собирался, а перед ней.

Николаев спросил, на сколько дней я полечу.

Я сказал, что на три.

Он рассмеялся и сказал, что раньше первого он меня обратно не ждет, но я должен дать ему слово, что к первому буду.

Я дал слово...

Еще раз прерву себя для маленького, но в данном случае важного уточнения.

Из второй поездки на Арабатскую Стрелку мы с Николаевым приехали обратно в Симферополь не ночью 23 сентября, как это сказано в дневнике, а в ночь на 23 сентября, и, следовательно, наш последний разговор был 23-го. Если бы, как это можно понять из дневника, наш разговор происходил 24-го, то штабу армии, а значит, и Николаеву было бы уже известно, что Манштейн на рассвете начал свое наступление на Перекоп. Ответ «пока тихо» мог быть дан только утром 23-го, это был последний день, когда там, в Крыму, так и считали.

...Простившись с Николаевым, я махнул на аэродром вместе с провожавшим меня Халипом. Я не стал брать с собой ни шинели, ни чемодана, вообще ничего, кроме полевой сумки, — не видел смысла все это таскать с собой, рассчитывая вернуться через три дня. Шинель, винтовка, чемодан — словом, все имущество, все осталось там, в Симферополе, и ничего этого я так уже и не увидел.

На аэродроме пришлось довольно долго ждать. На Ростов должны были идти два ТБ-3, но оба улетали только через несколько часов. Было безразлично, в какой садиться, можно было и в тот и в другой. Я сел в левый. Он вылетел первым. Когда мы поднимались, Яша махал мне с земли пилоткой.

Мы должны были до наступления темноты быть в Ростове, но нам это не удалось: прогорели патрубки, из них начало вытекать сильное, хорошо видимое в темноте пламя. В конце концов сели, не долетев до Ростова шестидесяти километров, заночевали, а утром снова вылетели.

В Ростове оказалось, что самолет на Москву уже улетел, а других не предвидится до завтра или даже до послезавтра. Решив, что так или иначе надо улетать, я засел у диспетчера и стал дожидаться какого-нибудь летчика. Наконец я увидел в окно садящийся СБ. Я спросил, откуда он и куда полетит. Мне сказали, что полетит он в Москву, но это самолет фельдсвязи и на него никого не возьмут. Я дождался летчика и пристал к нему. Это был старый летчик гражданского флота, и он, махнув рукой, сказал, что возьмет меня. Диспетчер, должно быть озлившись на мое упрямство, сказал, что на СБ по инструкции нельзя лететь без парашюта, а для меня нет парашюта. Летчик подмигнул мне и сказал диспетчеру, что у него как раз в Ростове высиделся пассажир и есть лишний парашют. Мы взяли с ним

в буфете по решетку винограда, залезли в самолет и поднялись в воздух.

Через четыре часа СБ сел на аэродроме под Москвой. Я летел в одной гимнастерке, и у меня всю дорогу не попадал зуб на зуб. Какой-то ехавший в Москву полковник подвез меня на своей машине до Москвы.

Я слез на Трубной, рядом с квартирой матери, зашел к ней и позвонил оттуда в редакцию. Оказалось, что редакция уже не на старом месте, а, укрываясь от бомбежек, перебралась в подвальные этажи театра Красной Армии. В семь часов вечера я уже сидел там перед редактором и докладывал ему о поездке.

Он сразу же засадил меня за работу, и я весь этот вечер до ночи и следующие дни писал свои крымские очерки. Два пошли в газету целиком, а третий был разрублен надвое. Половина пошла, а половина нет.

В печати все еще ничего не говорилось ни о том, что взят Херсон, ни о том, что немцы переправились через Днепр, поэтому пришлось, пользуясь тем, что я перед этим побывал в Одессе, подгонять очерки под одесский колорит. Так их многие и восприняли, как написанные в Одессе.

В эти дни мне пришлось пережить несколько неприятных минут. Знакомые спрашивали у меня, где я был последнее время. Я отвечал, что в Крыму. «Сколько там пробыл?» — «Две недели». У них в глазах было удивление и даже неодобрение — чего это я две недели сидел там на курорте? Не осведомленные о действительном положении вещей, они были далеки от мысли, что немцы уже подошли к Перекопу и Чонгару. Но объяснить им это я не имел права. Писать было очень трудно, а рассказывать все, что видел, просто невозможно.

Сдав последний очерк, я зашел к Ортенбергу. Как раз в это время ему принесли сообщение ТАСС о том, что в боях на Мурманском участке фронта принимают участие английские летчики. Он сейчас же загорелся и сказал, что туда надо немедленно послать человека, а поскольку именно я находился в этот момент у него в кабинете, то, естественно, продолжением его мысли оказалось — послать меня. Я сказал, что готов ехать, но Николаев ждет меня в Крыму.

— Ничего, подлетишь в Мурманск на недельку, вернешься и опять поедешь к себе в Крым, — сказал Ортенберг, и сразу начались звонки по телефону, добывание самолета, приказы готовить мне предписание.

Так в самый канун наступления немцев под Москвой я вылетел в Заполярье...

Прерву себя на этом первом дне командировки на север, вопреки моим ожиданиям растянувшейся на два с лишним месяца.

Прежде чем приводить дальнейшие дневниковые записи, мне хочется мысленно еще раз вернуться на юг, в Крым, и в связи с проблемой Крыма вспомнить о тогдашних глобальных нацистских идеях колонизации России, не оккупации, а именно колонизации, запланированной не на годы, а на столетия. Ни у соратников Гитлера, вроде Манштейна, один за другим получавших фельдмаршальские жезлы, ни тем более у него самого просто-напросто не уместалось тогда в голове, что эти, как он любил выражаться, «русские туземцы» сократят и его собственное существование, и существование его «тысячелетнего рейха» всего-навсего до трех лет и восьми месяцев, если считать от сентября 1941 года — начала немецкого вторжения в Крым — до мая 1945-го — падения фашистского Берлина.

О мере нетерпения, с которым нацисты готовились к захвату Крыма, могут дать представление некоторые выписки из опубликованных ныне неофициальных бесед Гитлера с Борманом. В этих беседах, связанных с самым разным кругом проблем, Гитлер почти с маниакальной настойчивостью то там, то тут возвращался к Крыму.

«Красоты Крыма мы сделаем доступными для нас, немцев, при помощи автострад. Крым станет нашей Ривьерой. Крит выжжен солнцем и сух. Кипр был бы неплох, но в Крым мы можем попасть сухим путем» (беседа в ночь с 5 на 6 июля).

«Южную Украину, в частности Крым, мы полностью превратим в германскую колонию» (беседа 27 июля).

«Крым даст нам свои цитрусовые, хлопок и каучук. 100 тысяч акров плантаций будет достаточно, чтобы обеспечить нашу независимость в этом отношении. Мы будем снабжать украинцев стеклянными безделушками и всем тем, что нравится колониальным народам... Мы будем организовывать путешествия в Крым и на Кавказ, потому что есть большая разница — смотрите ли вы географическую карту или сами посещаете эти места» (беседа 18 сентября).

«На восточных землях я заменяю все славянские географические названия германскими. Крым, например, можно было бы назвать Готенланд» (беседа 2 ноября).

Странное, двойственное чувство испытываю я, читая сейчас эту книгу бесед плохо образованного людоеда, любившего, чтобы его стенографировали для истории. Он с абсолютной серьезностью говорил, что, «по мнению русского, главная опора цивилизации — водка», что «мы будем править Россией при помощи горстки-людей», что «было бы большой ошибкой давать образование

ским туземцам», что «наша задача одна: германизовать эту страну при помощи германских переселенцев и обращаться с кореным населением, как с краснокожими». И с уникальной обстоятельностью проектировал будущий образ жизни фашистов на этой территории поверженного ими Советского Союза: «Германские колонисты должны жить в изумительно красивых поселениях. Немецкие учреждения получают чудесные здания, губернаторы — дворцы. Вокруг будет построено все, что нужно для жизни. На расстоянии 30—40 километров от городов мы создадим ряд из красивых деревень, соединенных первоклассными дорогами. Все, что существует за пределами этого пояса, — другой мир, в котором мы разрешим жить русским».

Читая все это, я, однако, не поддаюсь первой реакции — оторвать книгу. Меня удерживает не просто любопытство к личности Гитлера, к тому, что думал тогда о себе и о человечестве тот немец из Браунау, пятидесяти двух лет от роду, ста семидесяти двух сантиметров роста, восьмидесяти трех килограммов веса, считавший, что в нем погиб архитектор, любивший собак, не обивший снега, чувствовавший себя неудобно, когда его машина брызгивала грязью людей, идущих по обочине, и делавший себе вставные зубы у берлинского дантиста Блашке, те самые зубы, по которым в конце концов его труп обнаружили среди других. Впрочем, я сказал не совсем точно. Доля любопытства к этой — хочешь не хочешь — исторической фигуре у меня тоже есть. Но не оно то главное, что занимает меня в этой книге.

Главное другое — острое чувство реальности всего того, что нас ожидало, если бы мы не устояли тогда, в сорок первом году. То ожидало бы в этом случае весь «район по эту сторону Ура-ла», из которого раз в год для демонстрации величия «третьего рейха» должна была привозиться в Берлин «группа киргизов».

Вот что, оказывается, впоследствии ожидало тех людей, которым был адресован немецкий «Пропуск перебежчикам»: «Предъявитель сего переходит линию фронта по собственному желанию. Приказываю с ним хорошо обращаться и немедленно накормить его в сборном пункте. Мы хотим вам помочь вас освободить. Не проливайте зря свою кровь... Бейте комиссаров и жидов где попало, не исполняйте их приказаний» (и здесь и дальше орфография подлинников).

Вот что ожидало то мирное население, которому в листовке с подписью «командующий германскими войсками» сообщалось, что «германская армия ведет войну не против вас, а только против Красной Армии. Не бойтесь больше советской власти, ее дни сочтены, и вы никогда не попадете больше в ее руки. Прогоните бейте ваших комиссаров, которые хотят вас поднять на парти-

ванскую войну против нас, и не исполняйте их сумашшедших распоряжений».

Да, да, именно это! «Район до Урала» — огромное белорусское, русское, украинское гетто, «контролируемое германской администрацией», — вот что ожидало бы всех нас, если бы мы в 1941 году, захлебываясь кровью и на ходу учась воевать, не выполняли бы «сумашшедших распоряжений» Советской власти, а в общем-то, сводившихся к тому, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

И когда теперь некоторые немецкие генералы в своих соображениях сетуют (проигравшие войну генералы вообще любят заниматься сетованиями, это для них нечто вроде вязания на спицах) на то, что во время русской кампании имело место «излишне жестокое» обращение с населением и военнопленными, то эти сетования недорого стоят.

За ними, как правило, стоят не столько доводы запоздалой гуманности, сколько соображения чисто военного порядка. «Излишне жестокое» обращение с населением и военнопленными, как выяснилось, не запугало, а ожесточило противника и неважно отразилось на действиях германской армии на Восточном фронте.

Немецкие генералы сетуют на содержавшийся в июльской речи Сталина призыв воевать не на жизнь, а на смерть, и падают, что, как они пишут: «Этот призыв — и отчасти здесь были виноваты сами немцы — нашел отклик в сердцах людей».

Они, видимо, склонны думать, что «излишняя жестокость» с самого начала проявленная ими на Восточном фронте, была преждевременной и психологически невыгодной; во всяком случае, ее не следовало проявлять в таких крайних формах до тех пор, пока действительно не будет бесповоротно занят весь «район до Урала».

Но Гитлер в 1941 году не памерсн был считаться с этими несущественными в его глазах психологическими тонкостями. Его занимали великие стратегические цели: на первое время — захват всего «восточного пространства» до Урала.

И когда некоторые его генералы, в начале войны преследовавшие, в сущности, те же, что и он, только несколько более ограниченные, более разумно и последовательно спланированные цели, увидев, что дело плохо, попробовали отречься от него, все-таки не они его, а он их отправил на тот свет. И сделал это с помощью других своих генералов, а точнее, большинства других своих генералов, которые, в противоположность некоторым из его генералов, или, точнее, меньшинству его генералов, разделили его цели до конца и в полном объеме.

В качестве иллюстрации к сказанному мне хочется привести несколько выдержек из документа, попавшего мне на глаза в связи с совсем другой темой.

Седьмого марта 1945 года, ровно за два месяца до конца войны в Померании сдался в плен генерал вермахта Райтель.

Вот что сказал на допросе 10 марта этот генерал вермахта со своих взглядах на германскую армию и на национал-социализм: «Я несколько раз встречался с Гиммлером и знаю его как порядочного и корректного человека. Он очень отзывчив к нужде армии, знает солдат, заботится о них. Он, несомненно, любит армию и стремится к ней, но это я не ставлю ему в вину... Назначение Гиммлера командующим группой армий «Висла»... должно было воплотить в жизнь непреклонную волю к сопротивлению. То, что он не имеет военного образования, не беда. Тут решает воля. Эсэ-овские генералы в массе своей обладают, по моему мнению, большей волей и большей личной храбростью, чем, тоже в массе своей, армейские. Это искупает отсутствие у них подлинной военной школы и недостаток военного образования. Они легче находят путь к сердцу солдата... Я отдаю себе отчет в том, что все это ведет к поглощению армии войсками СС. Но считаю, что это соответствует духу национал-социалистической революции и идет на благо военной мощи Германии... Мысль о перспективах поражения Германии меня ужасает. Я верю, что после этого Германия перестанет существовать... Кроме того, Германия лишится нацистской системы управления, а это, я считаю, будет для нее самым большим несчастьем. Это наиболее подходящая для немецкого народа система, выражающая его интересы. Основной заслугой этой системы являются политика поддержания чистоты расы и протекающее отсюда признание прав германской расы на господство... В том факте, что Витцлебен и его группа, с одной стороны, Паулюс и его соратники — с другой, выступают против нацизма, я еще не вижу доказательств того, что существует противоречие между традициями немецкой армии и нацизма. Сейчас традиции немецкой армии, видоизмененные в соответствии с духом времени, все больше и больше переходят к войскам СС. Я считаю это закономерным».

По совести говоря, нельзя отказать такому врагу ни в упорстве, ни в решимости идти до конца. В период уже надвигавшейся на германскую армию окончательной катастрофы этот генерал, пленный, на допросе все-таки упрямо сказал все, что он в действительности думал и о нацизме.

Если бы многие другие немецкие генералы, разделявшие взгляды Гитлера в дни побед, говорили впоследствии с той же откровенностью, как этот Райтель 10 марта 1945 года на до-

просе в Померании, то, думается, многие их мемуары выглядели бы совсем по-другому, чем выглядят сейчас.

Мне не кажется, что я отвлекся от темы, приведя эту длинную цитату из показаний многолетней давности. В сентябре 1941 года рвавшийся овладеть Крымом генерал Манштейн в принципе вряд ли думал иначе, чем генерал Райтель. Он несколько холодно относился персонально к Генриху Гиммлеру и к доктринам эссовских генералов, но вряд ли его душу раздирали противоречия между традициями германской армии и нацизмом. Потом, после поражения, он сделал вид, что думал иначе. Но тогда он и так думал так. И так думало большинство немецкого генералитета, уж во всяком случае тогда, в 1941 году. И как раз это служило одним из важнейших оснований для той уверенности, с которой Гитлер планировал свою тысячелетнюю оккупацию «района Рейна-Урала». Не могу не вспомнить его полное безграничного оптимизма восклицание, относящееся как раз к тем дням, когда Манштейн штурмовал Крым: «Ах, какие великолепные задачи стоят перед нами. Впереди сотни лет наслаждений!» (беседа 17 октября).

Я откладываю эту переведенную на английский язык толстую книгу с Гитлером на обложке. Откладываю и не могу удержаться от мысли, что избранные места из нее стоило бы перевести на русский, украинский, белорусский, грузинский, армянский, татарский, киргизский и иные языки нашей страны. Здесь по разным поводам сказано обо всех нас такое, что всем нам стоило бы прочесть просто для информации — что именно тогда, в 1941 году, планировалось сделать со всеми нами.

Конечно, годы идут, времена меняются, «кто старое помянет, тому глаз вон» — русская поговорка, а способность к забыванию — общечеловеческое свойство, все верно, все так... Но ведь будущее, которое было для нас запроектировано в этой книге, проектировалось на сотни лет вперед. На сотни — вот в чем штука! Может, поэтому сейчас, всего-навсего через три десятилетия, и хочешь все это забыть, а не забывается...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Возвращаюсь к дневнику.

...В предписаниях и у меня, и у летевшего вместе со мной Миши Бернштейна было сказано:

«С получением сего вам надлежит отправиться в действующую Северную армию и Северный морской флот для выполнения заданий редакции».

За какой-нибудь час до того, как редактор решил послать меня на север, я столкнулся у нас в «Красной звезде» с Мишей, которого не видел с Халхин-Гола. Он был недавно ранен, но уже оправился, встретил меня с шумом и объятиями и взял с меня слово в следующий раз ехать на фронт вместе. И когда я стал брать его себе в напарники, редактор сразу согласился.

Из Москвы до Вологды мы долетели на Р-5, а там после четырех суток нелетной погоды и других, не зависевших от нас обстоятельств пересели на двухмоторный ТБ-1, который шел до Архангельска.

Четверо суток в Вологде прошли нудно и бесцельно. Мне хотелось поскорее впрячься в работу, и эта задержка меня очень раздражала.

Вологда в эти дни выглядела тыловым городом. У ресторанов стояли толпы, случались драки, порой пахло поножовщиной. Какие-то люди в военной форме, приехавшие в командировки откуда-то из АХО или продотделов, толкали, брали за грудки других людей и вопили: «Мы, фронтовики...» — чего, судя по моим наблюдениям, действительные фронтовики себе не позволяют.

А сам город был осенний, дождливый, весь в деревянных мостках со скрипящими досками, с низкими серыми домами и с выщелками, похожими на те, какие писал на своих картинах Грих. От самого города у меня осталось хорошее воспоминание. Именно там, в этой поездке, у меня родилось первое ощущение шара, которое потом без изменения повторилось и в Архангельске. Там, в Вологде, я написал первые строфы стихотворения «В деревянном домотканом городке...», которое дописал уже позже.

В один из вечеров я пошел в вологодский театр, где, как я знал, ставили «Парня из нашего города». Художественный руководитель театра, заслуженный артист Ларионов мне очень понравился. Это был большой старый человек с лысеющей головой, обрамленной седыми кудрями, с тяжелой суковатой палкой в руках — в общем, именно тот тип старого благородного провинциального актера, который еще в детстве сложился у меня из книг.

Он был очень милым человеком, но говорил как-то странно — для меня — возвышенно и даже, как мне показалось тогда, высокопарно.

Потом, много месяцев спустя, я получил от него трогательное и грустное письмо: он потерял в Ленинграде почти всех своих близких и писал мне о том, что работает над «Русскими людьми» с чувством горьким и мстительным.

Читая его письмо, я вспомнил весь облик этого старого актера и подумал, что торжественность и даже высокопарность в выражении своих чувств иногда не имеют ничего общего с душев-

ной пустотой и фальшью, а просто являются следствием привычки и воспитания.

Вылетев из Вологды, мы примерпо через два с половиной часа прилетели в Архангельск. Сели на Кег-острове напротив Архангельска, переправляться в город надо было водой. Все кругом было низко и плоско: серое море, серый, широко раскинувшийся северный город. Много простора, много дерева, холодно и красиво.

Сидя у дежурного по аэропорту в надежде перекусить — чем с присущей ему энергией уже хлопотал Мишка, — я прочел в местной газете, что сегодня в Архангельском драматическом театре идет пьеса «Парень из нашего города». Самолет на Мурманск шел утром, ночевать на аэродроме было скучно, мы, выпросив у дежурного катер, переправились в Архангельск.

Архангельск выглядел совершенно мирным городом. На улицах было много народу, кое-где в толпе сновали английские матросы. Глядя на других людей, мы вдруг заметили, насколько небриты и немыты, и, прежде чем являться в театр, зашли в парикмахерскую, почистили сапоги.

В театре мы познакомились с его директором Андреевым, сродатый, уютный, умный русский человеком, и с художественным руководителем Простовым, сибиряком, хитроватым и веселым юмором.

После спектакля пили у него чай, который нам разливал его мама, сибирячка, с гладко зачесанными волосами, икононым, как из камня вырезанным, лицом и спокойно льющим голосом.

После чая нас уложили ночевать на заботливо застеленных театральных диванчиках в задней комнате за директорской комнатой.

На рассвете через еще не проспавшийся город пошли к пристани. Там в ожидании рейсового пароходика я вдруг заметил двух интендантов — одного сухопутного, а другого морского. Лицо сухопутного интенданта мне показалось очень знакомым, и, введенный, я узнал Юрия Германа. Морским интендантом оказался корреспондент «Северной вахты» Коновалов, белобрысый молодой человек ленинградского типа, корректный и язвительный.

Герман жаловался, что он уже пятый день не можетбраться до Мурманска: два раза вылетал и два раза возвращался из-за непогоды.

По дороге Герман рассказал, что здесь, в Архангельске, ожидаясь отправки в Мурманск, сидят еще и Александр Жаров и фотокорреспондент «Известий» Зельма.

Добравшись до аэродрома, мы узнали у дежурного, что места в самолете уже расписаны. Почувствовав, что если я

ету сегодня, то просижу здесь столько же, сколько уже просидел в Вологде, я начал напирать на дежурного, благо, кроме кондировочного предписания «Красной звезды», у меня в кармане по-прежнему была еще подписанная Мехлисом бумага из УРА. В результате в списках пассажиров чьи-то две фамилии были зачеркнуты, а наши две вставлены, и нам было сказано, чтобы мы быстрее шли к самолету.

Все это произошло на глазах у растерявшихся Юрия Германа и Коновалова; они, в свою очередь, нажали на дежурного, но уже ничего не смогли поделать — их оставили до следующего самолета.

На мое несчастье, я оказался без вины виноватым. Как вышло уже потом, в Мурманске, две вычеркнутые дежурными фамилии оказались фамилиями двух других военных корреспондентов, а именно Германа и Коновалова. Боюсь, что они мне так этим и не простили этого, хотя, клянусь богом, я узнал об этом только несколько дней спустя.

Через пять минут мы погрузились в самолет и вылетели.

Было адски холодно. Самолет шел над морем, а потом над безлюдными пространствами восточной оконечности Кольского полуострова. Делалось все холоднее и холоднее.

Над самым Кольским полуостровом мы летели часа полтора. Делать было нечего, и я все время смотрел вниз. Но сколько ни смотрел, не увидел там, под нами, ни одного людского жилья.

В двенадцать часов дня мы приземлились.

Кругом лежал снег — север уже окончательно вступил в свои права: картина, знакомая по 1938 году, когда я в первый раз был в этих краях.

Дожидаюсь машины, которая довезла бы нас до города, мы просидели два часа в штабе авиадивизии. Летчики расспрашивали меня о том, как дела на юге. Почему-то это их интересовало больше всего другого. Может быть, по закону контраста.

Мы доехали до Мурманска на разбитой полуторке. За те три с половиной года, что я в нем не был, город заметно отстроился. Вместо единичных каменных домов в нем уже были две или три сплошь каменные улицы и большой пятиэтажный проект Сталина.

Заехав в редакцию армейской газеты и побывав в этот же вечер на командном пункте 14-й армии, расположившемся за городом, в неприметном глухом месте между сопок, мы к ночи добрались до гостиницы «Арктика», в которой, на наше счастье, оказался свободный номер, да притом еще, как обычно называют провинциальных гостиницах, «правительственный». В номере было целых две комнаты, так называемая «люксовая мебель» и

неработавшая ванна, которую потом мои коллеги-фотокорреспонденты сделали своей лабораторией.

После всех перелетов и переездов этого дня — по морю, и воздуху и по суше — мы заснули как мертвые.

Два следующих дня ушли на знакомство с людьми и выяснение, как, с кем и с чьего разрешения можно съездить к английским летчикам, чтобы сделать о них очерк. Тем временем из Архангельска прилетел Юрий Герман, и мы вместе с ним, с работником политотдела армии Развилоским поехали к англичанам.

Поездка началась с того, что мы направились в Грязное, и командный пункт командующего морской авиацией генерал-майора Кузнецова. Английские летчики находились в его непосредственном подчинении, и от него зависело разрешение посещения англичан.

Командный пункт Кузнецова был устроен под землей, вран в холм и оборудован, я бы сказал, по корабельному принципу — с отсеками, с каютами, с иллюминаторами. Чисто и уютно. Сам генерал Кузнецов был красивый мужчина, из-за своей седины казавшийся по крайней мере сорокалетним, но когда я поближе пригляделся к нему, то понял, что ему едва ли перевалило за тридцать. Он говорил с нами сдержанно, с достоинством и с той, ставшей уже традиционной для всех имеющих отношение к флоту привычкой несколько акцентировать эту свою принадлежность и подчеркивать превосходство всего морского над сухопутным. Хотя, вообще-то говоря, и сам генерал Кузнецов, и все его летчики-истребители были воспитаны на сухопутном, отличались от других здешних летчиков-истребителей главным образом тем, что ходили в морской форме.

Кузнецов рассказывал нам, что в его руках объединили и истребительную авиацию, и зенитную оборону и что благодаря этому он имеет возможность более планомерно отражать воздушные атаки немцев.

От Кузнецова мы поехали к англичанам. Нас встретил и ведущий хозяйством этого английского авиационного крыла — мистер Ходсон. Это был маленький, плотный, краснолицый человек, очень предупредительный и вежливый, но с проскальзывавшими иногда металлическими нотами в голосе. До революции он подолгу жил в России: во время интервенции, как он сам рассказывал, был в Архангельске и Мурманске, а потом, по его словам, в течение последних двадцати лет служил в английском туристском бюро. Два или три раза за это время приезжал в СССР, но главным образом специализировался по Германии и знал ее, как он выразился, досконально.

С начала войны и до поездки к пам в Мурманск он работал в министерстве авиации. Как он нам объяснял, территория Англии разделена на несколько десятков округов, в каждом из которых имеется свой шеф-переводчик, он же, как я понял, контрразведчик, который на территории своего района допрашивает всех сбитых и попавших в плен немецких летчиков. Такая система, по словам мистера Ходсона, обеспечивала плановность этой работы и создавала кадры опытных в своем деле людей.

Судя по пронзительному взгляду мистера Ходсона и по его манере держать себя, он и сам был человеком опытным. Надо думать, за двадцать лет работы в туристском бюро он основательно изучил и Германию и немцев и, наверно, хорошо умел их допрашивать...

Он казался мне похожим на управляющего каким-нибудь крупным именем, а моментами даже чудилось, что это не англичанин, а русский эмигрант. Очевидно, все же это было не так, но он совершенно изумительно говорил по-русски. На груди у мистера Ходсона красовалась целая радужная полоса — ленточки английских и французских орденов, которыми он был награжден за первую мировую войну.

Он любезно взялся сопровождать нас в течение всего времени нашего пребывания у англичан.

Стоявшая под Мурманском английская авиационная часть называлась «крылом». Крыло — это основная единица в британских воздушных силах. Она бывает и меньше и больше по своему составу. В одних случаях почти соответствует нашей дивизии, а в других — немножко превышает по количеству машин наш полнокompлектный авиационный полк.

Что меня удивило и что показалось заслуживающим внимания, так это то, как мало у англичан лишних людей в их штабном аппарате. Весь штаб крыла состоял из подполковника — командира крыла, из офицера Интеллидженс сервис — он же начальник штаба и начальник разведки в чине капитана, из мистера Ходсона — заведующего административной частью и трех унтер-офицеров — клерков штаба. Все остальное — только летный и технический состав.

На знакомство с англичанами у меня ушло два дня. С особой тщательностью и подробностью мистер Ходсон показывал нам хозяйственную сторону дела. Англичане приехали, не собираясь расставаться со своими домашними привычками, и привезли с собой множество отечественных бытовых и хозяйственных предметов. В жилых комнатах летчиков мистер Ходсон показывал нам все то снаряжение, которое возит с собой английский офицер. Оно благоразумно подобрано и при этом относительно порта-

тивно. Разумеется, при условии сидения на одном месте. Всего уже и не упомяну, а в частности каждому офицеру полагается иметь пять одеял, из которых может быть сооружена кровать, а в случае надобности — палатка. Кроме того, с собой возится небольшая брезентовая ванна и ведро, ибо предполагается, что уважающий себя англичанин без ванны не проживет.

Мистер Ходсон водил нас по разным комнатам штаба, и в одной из них произошел забавный разговор.

— А вот это наш шифровальный аппарат, — сказал Ходсон, показывая мне какую-то крутящуюся штуку, перед которой сидел человек. Такой штуки я отродясь не видал, но мы с Германом кивнули головами с понимающим видом. После этого Ходсон небрежно сказал:

— А, хотя вам, наверное, не впервой это видеть. У вас ведь такие же аппараты?

Мы промолчали.

Переждав это молчание, он повторил:

— Какие у вас аппараты, такие же круглые, да?

Юрий Герман сказал, что, очевидно, да. Впрочем, он не знает точно.

— Но у вас же не руками шифруют, — настойчиво сказал Ходсон. — Ведь верно? У вас же все-таки на аппарате шифруется?

На этот раз Юрий Герман промолчал, а я сказал, что, очевидно, не руками, но я лично вижу шифровальный аппарат впервые в своей жизни.

Хотя это была святая правда, по лицу Ходсона я увидел, что он мне не поверил. Счел, что мы осторожничаем с ним и уклоняемся от истины.

После осмотра штабных помещений мы отправились на аэродром. Шел мелкий снежок, и было довольно холодно. Крутом нас сновали английские солдаты. Все они ходили налегке — серые штаны, шерстяная куртка, на голове пилотка, а в руке или у пояса неизменная плоская каска, похожая на перевернутую тарелку.

Когда я спросил Ходсона, зачем они носят с собой эти каски, он сказал, что таков приказ по армии: ни при каких обстоятельствах не расставаться с каской. Офицеры еще иногда позволяют себе в этом смысле вольности, но солдатам это категорически не разрешается, и один из них недавно даже попал за это под суд.

При встрече англичане неизменно козырили, но делалось это как-то небрежно, я бы сказал, слегка. Солдатской выправки, в обычном понимании этого слова, не чувствовалось. А в то же время за этим чувствовалась какая-то иная, своя форма дисциплины,

Как и все здешние северные аэродромы, этот аэродром представлял собой довольно большое зигзагообразное поле, искусственно выровненное, очищенное от валунов и со всех сторон окруженное скалами. Все самолеты, кроме дежурных, стояли по краям поля в небольших, замаскированных сверху укрытиях. Несколько англичан играли в футбол посреди снежного летного поля.

Мы подъехали на машине к командному пункту крыла и взобрались на скалу, на которой он находился.

В помещении командного пункта сидел подполковник Ишервуд, красивый человек небольшого роста, с тяжелой, начинающей сесть головой и умным лицом. Рядом с ним сидел капитан — офицер Интеллидженс сервис, неплохо говоривший по-русски и производивший впечатление совершенно обратное тому, какое производил подполковник. Подполковник был, несомненно, солдат, в то время как капитан был, несомненно, разведчик. Чего он, впрочем, и не скрывал.

Особенно длинного разговора не получилось. Мы немножко поговорили с Ишервудом с помощью нашего представителя при англичанах — капитана морской авиации Андриюшина, потом постояли на наблюдательном пункте, потом Бернштейн снял с терпеливых англичан целую дюжину фотографий, и мы двинулись в блиндажи эскадрильи, расположенные по краям летного поля.

В этих блиндажах сидели и дежурили летчики. Сначала мы заехали в блиндаж эскадрильи майора Рука. Майор Рук был высокий мужчина лет тридцати или тридцати с небольшим, черно-волосый, с веселыми глазами и черными усиками. Если майор Рук был очень высок, то его брат, капитан Рук, отличался и вовсе гигантским ростом. Кстати, это было запечатлено на висевшей в блиндаже карикатуре — капитан Рук летел в бой, сидя верхом на своем «харрикейне» и свесив ноги от неба до земли. По словам Ходсона, Рук и его брат происходили из «хорошей», как он выразился, семьи.

В своем хотя и низком, но довольно просторном блиндаже англичане сделали все, чтобы возможно веселее отбывать время дежурств. В блиндаже стоял патефон с танцевальными пластинками и было несколько игр: бильбоке, китайский бильярд и пробковый круг, в который, как в мишень, бросают металлические стрелки со стабилизаторами из перышек. Эта простая на вид игра требует для успеха довольно длительной тренировки, впрочем, на нее в условиях здешних северных непогод у англичан вполне достаточно времени.

Из досок и набитых сеном матрацев англичане устроили у себя в дежурке низкие самодельные кресла, на которых можно

сидеть развальясь и даже дремать. Меня приятно поразило, по контрасту с тем, что я иногда видел у нас, это отсутствие у англичан серьезности и официальности там, где ни то, ни другое вовсе не требуется. У нас в авиационном полку пришлось бы, пожалуй, сначала убеждать соответствующее командование, что это никого не размагнитит и никого и ни от чего не отвлечет, и что вообще ничего не будет плохого, если в блиндаже, где дежурят летчики, появятся вот такие игры или патефон с пластинками. Есть у нас, у русских, этот грех. Какая-то мрачная отрешенность: на реку — так на реку, воевать — так воевать, дежурить — так дежурить, мрачно сложив руки на животе. А между тем это отнюдь не улучшает настроения, скорее наоборот.

В блиндаже у англичан царил веселая непринужденность, а в быту, в личном общении они обходились друг с другом потоварищески, легко и свободно, в этом смысле очень напоминая наших летчиков.

Миша Бернштейн долго мучил терпеливых англичан. Сначала снимал в блиндаже, потом вытащил на мороз и снимал у самолета, слева и справа, в кабине, в летных шлемах, без шлемов, и основательно проморозил их. Но они крепились, старались не стучать зубами и делали бодрые фотогеничные лица.

Нам представилась возможность убедиться на практике в правильности слухов о том, что англичане и американцы большие любители сувениров. У многих английских летчиков были приколоты к мундирам наши звездочки, у некоторых привинчены шпалы, у других пришиты наши форменные пуговицы. Нам тоже пришлось вывернуть карманы и отдать все, что нашлось.

В эту ночь, перед нашей следующей поездкой к англичанам, Юрий Герман сидел на койке в номере гостиницы и, положив на колени казавшийся ему уже ненужным в силу атмосферных условий плащ, одну за другой терпеливо спарывал с него пуговицы в предвидении новой встречи с союзниками.

В этот и на следующий день мы познакомились с несколькими английскими летчиками, в том числе с маленьким Россом. Это, как нам сказали, был очень хороший летчик, представленный в Англии к высшему авиационному ордену. Он сбил над Лондоном не то двенадцать, не то тринадцать немецких самолетов, но здесь, в Мурманске, ему не везло. Ему за все время еще не удалось сбить ни одного самолета, в то время как длинный капитан Рук сбил уже трех немцев.

А вообще англичане сбивали здесь уже не то шестнадцать, не то семнадцать самолетов. Причем тринадцать или четырнадцать сбивала эскадрилья майора Рука, а вторая эскадрилья — майора Миллера — всего-навсего три.

Майор Миллер, тоже, как и Рук, высокий детина, по несколько постарше его, рыжий, с лысеющей головой и густыми рыжими усами, почему-то напомнил мне портреты рыцарей в латах, но без шлемов, на страницах читанных в детстве «Всеобщих историй». Майор Миллер был похож на предводителя ландскнехтов, а эскадрилья его занималась главным образом передачей нашим летчикам прибывавших из Англии с транспортами истребителей «харрикейн». Этим он и объяснял, что его ребята сбили пока так мало самолетов, но, несмотря на логические объяснения, сам этот факт явно расстраивал Миллера.

Когда англичане пригласили нас, корреспондентов, пообедать, за столом выяснилось, что они тоже не лыком шиты: один из клерков, служивший в штабе крыла, одновременно являлся корреспондентом крупной лондонской газеты, одетым в унтер-офицерскую форму.

Из офицерской столовой мы пошли посмотреть солдатскую. Там рядом с кухней прямо на земле стояли глиняные бутылки с ромом. Рацион рома состоял из одного металлического стаканчика вместимостью граммов в семьдесят, но его разбавляли водой. Неразбавленный ром пить воспрещалось.

Уже вечером, перед отъездом, мы зашли в жилые помещения летного состава. Вернувшиеся с дежурства летчики собрались в большой комнате с самодельными низкими диванами. Там висел такой же пробковый круг, как в дежурке, и несколько летчиков беспрерывно бросали в него стрелы. Двое или трое читали журналы, остальные болтали, развались на диванах.

По комнате ходил унтер-офицер, обносивший всех желающих виски с содовой. У англичан своя система питья, диаметрально противоположная нашей. Они наливают на дно стакана микроскопическое количество виски и по несколько раз доливают его водой. Каждая порция не превышает тридцати граммов, но пьют они целый вечер.

Вдруг обнаружилась смешная для меня подробность. У разносившего виски унтер-офицера была с собой книжечка, в которой расписывался каждый, кому наливалось виски. Когда мы удивленно спросили Ходсона, что это означает, он объяснил, что офицерам, так же как солдатам, в качестве бесплатного рациона полагается ром, а виски — это их личный расход. Поэтому каждый и расписывался за свою порцию.

Вообще-то это понятно, но меня вдруг рассмешило, когда я представил себе на минуту наших собравшихся на отдых летчиков, которых обносят рюмками с налитыми в них тридцатью граммами водки и заставляют каждый раз расписываться за каждые тридцать граммов.

От англичан мы снова вернулись в Грязное и, переночевав там, во второй раз пошли к Кузнецову. После англичан было решено съездить в стоявшие тут же неподалеку наши авиаэскадрильи. Советуя, куда именно поехать, Кузнецов отзывался о своих летчиках с понравившимся мне чувством собственного достоинства и умной сдержанностью, которая не всегда у нас встречается. Слишком часто начальники говорят у нас о своих подчиненных в захлеб, толком не зная всех обстоятельств и подробностей и не слишком дорожа своими словами, не до конца отвечая за каждое из них.

Самого известного здесь, на севере, летчика, капитана Сафонова, нам повидать не удалось. Мы разъехались с ним — оказывается, он поехал к англичанам. Но вместо него мы увидели нескольких других хороших людей, в том числе старшего лейтенанта Коваленко, о котором я написал потом очерк «Истребитель истребителей»...

В дневнике об Александре Андреевиче Коваленко — всего одна эта фраза. Хочется сейчас добавить к ней, что за первый год войны он самолично сбил одиннадцать самолетов, получил звание Героя Советского Союза и, пройдя сквозь все превратности военной судьбы, остался жив и здоров. Несколько лет назад я встретился с ним, постаревшим и погрузневшим, но все еще крепким, в одной из московских школ, собиравшей материалы о боях в Заполярье. А сейчас, листая фронтовые блокноты, нашел в одном из них короткую запись своего разговора с Коваленко тогда, во время нашей первой встречи, в сорок первом году. Запись сжатая, немногословная, без красот и восклицательных знаков, и именно этим, как мне кажется, дающая довольно точное представление и о характере рассказчика, и о его отношении к делу, которым он занимался. Вот эта запись:

«Был беспризорником, потом пастухом, с двадцать пятого до тридцать второго года работал на стекольном заводе стеклотрубом. Кончил авиашколу, прошел все стадии, был разведчиком, штурмовиком, бомбардировщиком. Во время войны в Испании пошел в истребители, надеялся попасть туда. Здесь — с финской войны. Особенность театра — резчайшие смены погоды. Летчику надо знать на память все редкие ориентеры. Редко удается держать прямой курс. Надо обходить снежные заряды, люневые снега, резкие смены температур по высотам, мотор то перегревается, то стывает, приходится летать на бреющем по щелям, между гор; там приходится и скрываться, и искать противника. Когда он идет на бреющем, его тоже трудно обнаружить. Местность до-

пускает возможность воздушных засад, снежные заряды легко прячут противника. Шел со звоном на штурмовку и неожиданно врезался в немцев. Облака, дождь. Бой происходил между гор в щелях, вершин так и не было видно. Сбил двух «мессеров». В тумане еле нашли свой аэродром. В другой раз шли семеркой, заметили сверху взрывы бомб на земле. Стали смотреть, откуда капает. Заметили бомбардировщики и истребители. Пошли на них в атаку. В первой атаке Сафонов и я сбили по одному бомбардировщику. Сафонов атаковал и вышел, а я остался в такой гуще, что и им стрелять нельзя — могут попасть в своего, и мне тоже трудно вести огонь, потому что у меня только и забота, чтобы крутиться, не напороться. Потом наконец заметил дырку внизу и по щели между скалами — к своим. Сначала немцы летали нахально до Мурманска, потом только до залива, потом до дорог, потом выжили их и с линии фронта. Однажды девяткой встретили немецких истребителей. В первой же атаке я избрал себе цель «Мессер-110». Решил сбить его во что бы то ни стало. Подбил. И шел за ним вслед, пока не догнал, до самой земли. И он врезался в сопку. Я стал подниматься, а меня атаковали сразу пятеркой — и сзади и спереди. Думал, что здесь они меня съедят. Но опять спасся в щели между скалами. Только весь самолет продырявили. С англичанами мы дружны, пообрывали друг другу все пуговицы. Очень хорошие ребята, так и горят — в бой. Сидишь у кабины и ждешь целыми днями, когда дадут ракету. А день круглый, светлый, по восемь вылетов в день. Теперь темнеет раньше. Жить стало легче. А то в кабине и спали...»

Запись эта говорит не только о характере человека, но в известной мере и о той обстановке, которая к началу октября сложилась в мурманском небе. Особенность ее состояла в том, что здесь, на крайнем северном участке фронта, на четвертом месяце войны уже нельзя было говорить о превосходстве немцев в воздухе. Они продолжали бомбить и Мурманск, и морские подступы к нему, но это с каждым днем обходилось им все дороже. Добиться этого было не просто. Как свидетельствуют документы, и авиация Карельского фронта, и авиация Северного флота к началу войны имела здесь на вооружении только устарелые истребители И-153, И-16, И-15-бис. Когда наши авиаторы в декабре сорок первого стали подводить итоги первых шести месяцев войны здесь, на севере, то выяснилось, что сорок процентов всех понесенных потерь падает на первый месяц войны, а на все остальные пять месяцев — шестьдесят процентов, то есть в среднем по двенадцать процентов на месяц. Об этом переломе, связанном и с приобретением боевого опыта, и с тем, что большинство наших летчиков на севере к осени уже пересели на совре-

менные истребители — МиГи, ЛаГи и «харрикейны», в сущности, и рассказывал мне тогда Коваленко, вспоминая, как они постепенно отжимали немцев от Мурманска. Для справедливости надо добавить, что немалую роль в этом сыграла и прикрывавшая Мурманск наша зенитная артиллерия. Это было вполне очевидно для нас и тогда из наших собственных наблюдений, а сейчас, разыскав в блокнотах записи своих разговоров с англичанами, я обнаружил, что они без вопросов с моей стороны сами дважды возвращались к этой теме и хвалили мурманских зенитчиков, даже отдавая им предпочтение перед лондонскими. Большинство воевавших у нас на севере английских летчиков было до этого участниками воздушной битвы за Англию, и в их устах такая похвала кое-чего стоила.

С генералом Кузнецовым, в оперативном подчинении которого работали у нас на севере англичане, я больше за войну никогда не встречался. Интересуясь его дальнейшей судьбой, я столкнулся в документах Центрального военно-морского архива с некоторыми неожиданными для меня и привлекательными чертами биографии этого авиационного генерала. Оказалось, что генерал-лейтенант Александр Алексеевич Кузнецов происходил из крестьян Калининской области и что, вопреки моей записи в дневнике, он был, можно сказать, коренным моряком — сначала кончил морское училище, потом стал летчиком-наблюдателем, потом переучился на летчика. Когда мы с ним встретились под Мурманском, ему было 37 лет, и он после этого еще два года командовал авиацией на севере, а потом был переведен оттуда на Дальний Восток. На первой же странице личного дела было указано, что генерал-лейтенант Кузнецов — Герой Советского Союза, но, листая и предвоенные, и военные страницы его документов, я так и не нашел приказа о присвоении ему этого звания. Доискиваясь, смотрел характеристики. Характеристики были все на подбор хорошие: «Скромнен, энергичен, настойчив, вынослив, старателен, способен выполнить любое разведывательное задание, требователен к себе и к подчиненным, на земле и в воздухе, в полете точен, может летать в трудных метеоусловиях, в воздухе дисциплинирован, летное дело любит, всесторонне развит, в работе методичен, аккуратен, точен, в сложных условиях ориентируется быстро».

Язык военных аттестаций — особый язык. Он чужд неопределенности и уклончивости, ибо военная аттестация по самой сути ее обращена не в прошлое, а в будущее, и притом, в конечном итоге, в такое грозное, как война. Оценка былых заслуг дается в ней прежде всего с точки зрения способности к выполнению предстоящих задач. В точности или неточности, в **дальновидно-**

и или недалёковидности каждой из ее формулировок заложена весьма серьезная часть ответственности за будущее. Не только судьбу человека, на которого пишется аттестация, но и за судьбу его будущих подчиненных, и за судьбу того дела, которое будет возложено на его и на их плечи.

Аттестации в деле Александра Алексеевича Кузнецова были именно отличные на всем протяжении службы, им соответствовали боевые дела и награды и повышение в званиях и должностях. Но все-таки, как оказалось, он получил звание Героя Советского Союза не на войне, а после нее, перейдя на мирную работу и проявив незаурядное мужество во имя интересов науки. Должно быть, мне это следовало знать и раньше, но я, к стыду моему, только теперь узнал, что именно Кузнецов был инициатором проведения двух больших арктических высокоширотных воздушных экспедиций Главсевморпути при полярном бассейне Арктики. Не буду дальше говорить своими словами, приведу несколько выдержек из наградного листа:

«Кузнецов А. А. ...умело и мужественно проводил ледовую разведку по изучению районов, пригодных для ледовых аэродромов и организации на них научных станций. Лично проводил посадки на эти аэродромы. В самый критический момент работы экспедиции на Северном полюсе сжатием разломало лед, что поставило под угрозу потери находящихся там самолетов и научного оборудования. Товарищ Кузнецов лично вылетел в этот район и произвел посадку на колесном самолете на неподготовленную льдину... Своим смелым руководством обеспечил вылет самолетов и спасение научного оборудования. В 1949 году товарищ Кузнецов А. А. руководил экспедицией, проводившейся в значительно большем масштабе и в более сложных метеорологических условиях... Лично совершал разведывательные полеты и первый совершал посадку в наиболее трудных ледовых районах для организации на них станции научных работ. По окончании работы экспедиции на тридцати двух ледовых аэродромах последним покинул район работы и совершил беспосадочный перелет Северный полюс — Москва...»

Вот каким образом стал Героем Советского Союза умерший несколько лет тому назад Кузнецов, бывший командующий авиацией Северного флота, человек, о котором, как свидетельствуют записи в моих блокнотах, тогда, в сорок первом году, командир английского крыла, новозеландец, подполковник Невиль Ишеруд, сам профессиональный летчик-испытатель, говорил мне, что ему особенно приятно работать вместе с генералом Кузнецовым, что он очень рад, что именно ему выпал случай работать здесь вместе с этим человеком.

Возвращаюсь к дневнику.

К ночи мы вернулись в Мурманск. В нашем номере прибавился третий жилец — фотокорреспондент «Известий» Гриша Зельман, а Юрий Герман переночевал и утром уехал в Полярное. Мы договорились с ним, что не будем посылать материал об англичанах отсюда, а отправим его, когда вернемся в Архангельск, предварительно согласовав, чтобы не повторять друг друга.

За ночь я написал очерк об англичанах «Общий язык», утром, открыв газеты, с огорчением увидел, что в «Известиях» за 5 октября уже напечатана корреспонденция Склезнева об этих же самых англичанах. Корреспонденция, на мой взгляд, была не такая уж хорошая, но, так или иначе, этот материал в ближайшее время был исчерпан, и я, перечитав свой написанный за ночь очерк, положил его в полевую сумку.

Выходило, что главное, из-за чего мы приехали, с точки зрения материала в газете, не состоялось. Вставал вопрос: что дальше? Настроение было поганое. Из Москвы начали идти тревожные известия о том, что немцы прорвали фронт и наступают. Первое чувство было — бросить все и вернуться!

Но, с другой стороны, нельзя было делать такой огромный конец впустую. Вдобавок меня тревожило, что в период отсутствия — я это уже хорошо знал по своему опыту — ценный для газеты материал получить почти невозможно и, значит, газета сидит голодная. Именно в такие дни, как никогда, пужны материалы с других, устойчивых участков фронта.

А еще, кроме всего прочего, мне очень хотелось после Одысы — самой южной точки фронта — побывать на Рыбачьем полуострове, на самой северной его точке. Но на море были штормы, и на Рыбачий ни сегодня, ни завтра не было надежды выбраться. А газета не ждала!

Поэтому я занялся делом, которое меньше всего люблю — стал собирать с чужих слов материал для того, чтобы немедленно передать какой-нибудь очерк.

Впрочем, на этот раз мне повезло, и я познакомился с рядом людей, которые стали потом моими фронтовыми друзьями.

В морской разведке я познакомился с ее начальником, капитаном Визгиным, плотным, веселым человеком, добродушным, хотя и пекельно резковатым в обращении, и с его заместителем. Один из них был сдержанный, невозмутимый подполковник Добротин. Когда-то он начинал свою судьбу в Конармии, потом много ездил по белу свету, уж не знаю, в качестве кого, хорошо владел языками, был очень вежлив и обязателен — словом, являлся собой тот тип высокообразованного военного-профессионала, которым не каждый день встретишься.

Он довольно подробно рассказал мне о работе морской разведки, прохаживаясь по комнате и слегка волоча ногу, еще не жившую после недавнего ранения во время одной из наших диверсий против немцев в Норвегии.

Познакомился я и со вторым помощником Визгина, с майором Люденем.

Люден был полной противоположностью Добротина. Это был того рода еврейский гусар — среднего роста, толстющий, лысый человек, в толстых очках, блестящих какими-то восьмидесятилетними стеклами. У него были шумные повадки одессита и привычка вечно напевать какие-то арии и ариозо. Судя по всему, и у него, как и у Добротина, был порядочный опыт за спиной и граничные командировки, но при этом страшная любовь ко всему таинственному и романтическому. Говорил он об этом шумно, с азартом, и хотя, по сути, не выбалтывал ничего лишнего, то есть вовсе не был трепачом в отношении действительных секретов, но в его манере обращения и в его разговорах присутствовал оттенок чего-то немножко несерьезного, трепачевого. За ним утвердилась кличка «Диверсант», которая ему самому очень нравилась.

По своим поступкам это был боевой командир, ходивший не шесть или семь раз в глубокие разведки в тыл к немцам, но, видимо, его служебной карьере вредило то, что он такой шумный и веселый — то сыплет анекдотами, то делает таинственный вид. Таким людям, как он, трудновато жить: есть у нас еще такое постыдничество — если человеку присуще внешнее легкомыслие, если он шумит и сыплет анекдотами, подчас это кажется достаточным поводом для того, чтобы не продвигать его по службе.

За день до моего прихода в морскую разведку туда вернулся с диверсии небольшой отряд, которым командовал лейтенант Карпов. Мы с ним долго разговаривали. Это был крепкий, коренастый, серьезный парень. Лицо его производило несколько странное впечатление от того, что он в предпоследней разведке получил редкое ранение — пуля насквозь пробила ему нос, и теперь казалось, что у него по обеим сторонам носа посажены две черные мушки.

Рассказывал он деловито и сдержанно, и то, что он рассказывал, послужило мне главным материалом для первого посланного отсюда, с севера, в газету очерка «Дальние разведки».

По профессии гидрограф, Карпов, когда у него убили брата, попросился в морскую разведку и стал работать в ней. Потом, уже в ноябре, мы отправились одновременно с ним в две разведе-

дивательные операции. Люден меня взял в одну, а Карпов пошел в другую. Из этой операции он уже не вернулся — был убит: напал выстрелом из парабеллума во время ночного боя в цеметном блиндаже...

Бывает так, что уже кажется, навсегда забылась давняя встреча с человеком и твоя память никогда к нему не вернется. Но начинаешь лист за листом смотреть старые документы, вдруг сразу оживает все: и тот человек, и то военное время с его скоротечностью и его трагизмом. Хранящееся в архиве Военно-Морского Флота личное дело лейтенанта Геннадия Владимировича Карпова — не длинное, да и откуда ему было быть длинным! Последняя предвоенная аттестация: «Море, службу и специальность любит, сознание чувства долга и ответственности и порученное дело имеет, решительный, может ориентироваться простой и сложной обстановке, заботу о подчиненных проявляет работоспособен и вынослив. Вывод: занимаемой должности соответствует, продвижению по должности в сорок первом году подлежит». Так казалось перед войной. Потом продвижение все-таки произошло: старший прораб Йоканьгского участка гидротехнической службы по собственному желанию перешел в морскую разведку. За четыре месяца до начала войны, как это отмечено в личном деле, женился, на пятый месяц войны, как это тоже отмечено в личном деле, исключен из списков офицерского состава Военно-Морского Флота как погибший в бою за социалистическую Родину. В конце личного дела подшит наградной лист: «Лейтенант т. Карпов в ночной разведке во главе группы бойцов из шестидесяти человек неожиданно наварвался на группу дзотов... Ручными гранатами разведгруппа разрушила дзоты и огнем автоматов уничтожила до взвода пехоты... Пользуясь замешательством противника, тов. Карпов со своей группой пробился к берегу залива опустившись с крутой скалы в залив, пользуясь отливом, провела свою группу через всю глубину обороны противника без потерь. Только на линии боевого охранения группа была обстреляна и потеряла одного бойца убитым и трех ранеными. В том числе сам Карпов был ранен в лицо, ногу и руку. По приказанию т. Карпова бойцы похоронили в скалах убитого товарища, с ним с него оружие. Выпеса раненых, группа отошла на линию обороны своих частей. Тов. Карпов участвовал в трех операциях в разведке глубокого тыла противника и всегда отличался храбростью и отвагой. Исходя из вышесказанного, считаю возможным представить товарища Карпова к правительственной награде и ходатайствовать о награждении его орденом Красная Звезда».

Начальник первого отделения разведотдела Северного флота Нор Люден».

Заключение вышестоящих начальников: «...имеет три ранения и вновь рвется в операцию в тыл противника. Достоин награждения орденом Красного Знамени. Начальник разведотдела Северного флота капитан 3-го ранга Визгин».

Наверху наградного листа надпись: «Орденом Красного Знамени. Постановление Военного совета Северного флота».

Под этим — карандашом: «убит».

Под этим — снова карандашом, другим почерком: «личное дело выслано на пенсию».

И еще одна подробность, еще одна черточка войны, которую, верное, следует добавить. В 1970 году я получил от родных Карпова письмо, из которого узнал, что его убитый брат, не родной, а двоюродный, но с которым они вместе росли как родные братья, на самом деле остался жив. Карпов, узнав о его мнимой гибели, пошел служить в разведку, а его брата, считавшегося погибшим, вынесли из боя и доставили в госпиталь. Ранение в лавоночник парализовало ему ноги, но у него после войны хватило воли окончить механико-математический факультет МГУ и стать ученым.

Поистине иногда даже трудно себе представить все те неожиданные повороты в людских судьбах, на которые так щедрой судьба.

...Кроме Карпова, я познакомился с разведчиком старшиной Мотовилиным и довольно много записал с его слов. Но для газеты это сделать не успел — все осталось только в блокноте.

Мотовилин представлял собой интересный тип парня, не только-то дисциплинированного в прошлом. Он нашел себя во время войны именно в качестве разведчика — смелого, решительного, великолепного ходока и вообще человека, словно специально приспособленного ко всяким жизненным случайностям, связанным с работой разведчика.

При этом было любопытно, что он, с увлечением отдаваясь своей работе, был совершенно лишен честолюбия. Не думал о командирском звании, не хотел учиться на командира и не собирался оставаться после войны в армии. Его интересовали охота, рыболовство, и в его собственном отношении к работе разведчика было, пожалуй, больше от охотника, чем от солдата...

В дневнике о Мотовилине сказано коротко. Но во фронтовом блокноте сохранилась запись его рассказа, дающая более точное представление и о характере этого человека, и о характере его работы:

«...В начале июля нас перебросили в Западную Лицу, в п. тральщике. Нас провожал майор Добротин. Высадились на берег, распрощались, расцеловались — и пошли. Я и Никитин.

Первый день шли незаметно. На второй день нас искали самолеты — как взберемся на сопку, так они бредущим... Потом нас обстреляли из пулемета. Мы скрылись в скалах, вышли левее. Там нас опять обстреляли. Кругом укрепления, продукты уже уходят. Вернулись на четвертый день. Вышли на берег и подали сигналы. Нас сняли с берега, и мы сразу легли спать, еще пошли в Полярное.

Через несколько дней нам дали новое задание. На этот раз пошли командой в двадцать два человека, во главе со старшим лейтенантом Лебедевым.

Когда высадились, он сказал: «Мотовилин будет моим первым заместителем. А если что — отвечает за отряд».

По дороге была одна подозрительная сопка. Я с двумя товарищами забрался на нее. Там было все тихо, но оттуда мы увидели три телефонные линии. Сделали привал. Заметили дорогу, по ней пошла машина. А на карте дорога нанесена не была.

Лебедев говорит: кто полезет на столб? Я говорю — я. Я взвзврил кинжал и стал перепиливать им провода, как ножовкой.

Потом мы подорвали линию — свалили шесть столбов и пошли дальше...

В третий поход пошли этим же самым отрядом, туда же, высадились в другом месте в сильный туман. Прошли до знаменитой сопки, кругом туман. Сделали привал у озера — сидим. Вдруг видим — на сопке человек. Потом туман опять закрылся, и мы подошли к самой сопке.

В нескольких метрах блиндаж, около него дремлет часовой. Лебедев говорит: «Возьмем, ребята, сопку». — «Возьмем».

Через овраг переползли вплотную к сопке, из палатки бежал ефрейтор. Леонов выстрелил в него. Я кричу: «Забросай палатку гранатами!» Забросали.

Немец тоже кинул в нас гранату — Рябова ранило в плечо, расшибло у него винтовку, а с меня сбило каску.

Нас стали обстреливать из минометов с соседних сопки.

Лебедев говорит: «Мотовилин, руководи отходом, а я буду прикрывать».

Мы стали отходить. Рябова несли на руках. Его рана смертельно, в голову. Мы потеряли трех убитыми, а когда отходили — еще двух.

Отходить было тяжело. Мы вернулись к месту высадки раньше назначенного времени. Пока ждали бот, нашли домик. В нем

нали брошенную соль. Ну что ж, теперь дело за мясом. Застрелили оленя и жарили на палочках шашлык.

Бот подошел и так и забрал нас с недожаренным оленем.

Вернулись в Полярное, оттуда в Мурманск. Отдохнули. Правда, мало, всего двенадцать часов. Переспали — и обратно в четвертый поход.

Пошли отрядом в 80—90 человек, под командованием Добродина. Был в отряде и Лебедев.

Дошли до той сопки, где были в прошлый раз. Пошли дальше...

Обратно из этого похода я, по приказанию майора, вел самый кратчайшим путем. Перевалили через сопку — нашли свежесбитый самолет «юнкерс», кругом горелое место, а вчера был дождь, значит, сегодня сбит.

Вышли к губе, к месту высадки. Слышим, там кукуют кукушки. Сначала было странно — место голое, откуда птицы? Подумали, что скорее всего это финны. Ждали бота целых двенадцать часов.

Пробыли несколько дней в Полярном и пошли в пятый поход. Высадились с мотобота около брошенных домиков. Видим, у берега в рыбачьих сетях запутался олень — скала голая, а он на ней танцует. Я взял нож и разрезал сеть. Олень выскочил на волю, был он голодный и худой.

Я шел в партии из семи человек во главе со старшим лейтенантом Клименко. Мы должны были пройти на тридцать километров вглубь и соединиться с остальным отрядом у мыса Пикшуева. Подходя к берегу, услышали, что там уже начался бой.

Маленькую сопку мы заняли, но главная сопка еще держалась. А мы все лезли вперед на сопку. Мне уже осталось всего несколько шагов, как вдруг меня ударило по ноге. Дальше я пополз. Сопку заняли.

Я доложил, что ранен. Мне приказали перевязаться, я перевязался. Посмотрели захваченные блиндажи, подкрепились их запасом.

У блиндажей сидели семь пленных солдат и один офицер. Солдаты сказали, что сами хотели сдаться, но из-за офицера не могли. Тут же рядом лежал другой офицер, убитый.

Вдруг мне говорят: Лебедев убит. Я даже верить не хотел.

Переночевали в скалах. Утром стали под огнем отходить к логам. Ползли ползком, тащили раненых. Мы, раненые, первыми ели на шлюпки и переправились на морской охотник вместе с пленными.

В шестой поход мы пошли в глубь Финляндии на 175 километров. Шли шесть дней. Все время по ночам, днем почти не

двигались — делали привалы. Шли сплошные дожди, и мы были все мокрые. Костров не разводили, сидели на сухом и холодном пайке. Местность была болотистая и лесная, переходили четыре реки. Сушиться было негде, кругом одни болота. Старшина Дарыгин попал в болото. Ему кричат: «Клади винтовку, становись на нее ногами!» А он говорит: «Винтовка снайперская, нельзя». Так, пока не дали ему другую винтовку, тонул, а винтовку не клал.

Во время седьмого похода нас высадили в районе боевых действий. Мы вывернули шлемы на манер финских шапок и начально ходили по другому берегу речки на виду у немцев, потому что они никак этого не предполагали. Потом, проведя все наблюдения, ночью в дождь пошли на берег, в скалы, сигналить. Слышим, как бот ходит там, сигналим ему, а он не подходит и не подходит.

Наконец услышали, как крикнул нам в мегафон: «На берегу!» — «Есть на берегу!» А до этого мы волновались, ругались. Мокрые, замерзшие. Если еще четверть часа не придет бот, значит, надо уходить опять на сутки в скалы, прятаться до следующей ночи.

Когда шли обратно домой, нам бы побольше темноты. А тут наоборот — северное сияние...»

...После разговора с Карповым и Мотовилиным разведчики неожиданно пригласили меня вниз, в свою кают-компанию. Выяснилось, что я случайно угадал на их маленькое, как они выражались, «семейное торжество». Они устраивали товарищеский ужин после возвращения из разведки одной из своих групп.

За столом было больше двадцати человек: Мотовилин, Карпов, Люден, Добротин, Визгин, военфельдшер отряда Ольга Николаева, крепко скроенная девушка, коротко стриженная, с хорошим русским лицом; она уже ходила в несколько разведок.

За окнами была метель, непогода, а в бревенчатом домике было жарко натоплено. Все выпили и говорили немножко громче, чем это было нужно для того, чтобы их слышали. Были тосты за возвратившихся, и в память погибших, и за тех, кто сейчас находится там, в тылу.

На меня пахнуло романтикой этой работы, и я почувствовал, что мне будет неудобно дальше расспрашивать этих людей, потому что хотя бы один раз не испробую на собственной шкуре то, что переживают они.

Я сказал Визгину, что хотел бы сходить с разведчиками на одну из операций. Он сперва пожал плечами, а потом сказал:

— Ну что ж, я думаю, это можно будет устроить.

Я как-то особенно остро запомнил атмосферу этого вечера, дружескую и чуть-чуть взвинченную — из-за отсутствия людей,шедших в разведку, и из-за присутствия других людей, только что вырвавшихся из смертельной опасности.

На другой день я познакомился с капитаном государственной безопасности Свистуновым. Это был ленинградец, человек твердый, сдержанный и корректный. Он вызвал для разговора со мной недавно бежавшего из немецкого плена красноармейца по фамилии Компанеев, со слов которого я написал потом очерк «Человек, вернувшийся оттуда», который в редакции почему-то переименовали, назвав «В лапах фашистского зверя».

Я выспрашивал его несколько часов подряд, и рассказ его оказался мне страшным. Страшным не потому, что он рассказывал о каких-либо особых зверствах — как раз этого в данном случае не было, — но за его спокойным рассказом вырастала целая система мелкого садизма, гнусного отношения к людской судьбе, спокойного и неторопливого убийства человека, который попадает в плен. Рассказ этот, со всеми его мелкими подробностями — с костями, из-за которых дрались пленные, с мордобоем, с холодом, с голодом, — был страшнее и реальнее в своей типичности, чем рассказы о вырезывании звезд на спине, о выжигании глаз и других зверствах.

В эти же дни я познакомился в политотделе армии с полковым комиссаром Рузовым. Рузов оказался очень интересным человеком. До Папанина он был два года начальником зимовки на мысе Челюскин и написал об этом книгу. Все его товарищи за помощь при спасении челюскинцев получили ордена, а он — нет, потому что, приняв по радио какую-то бюрократическую директиву от своего начальника из Севморпути, радировал ему категоричный ответ — в буквальном смысле этого слова. В Москве, удивившись, затребовали подтверждение. Рузов подтвердил.

В первую мировую войну он был разведчиком из вольноопределяющихся, имел солдатский «Георгий». В гражданскую войну служил в кавалерии, а в эту войну его, по причине знания иностранных языков, закомандировали сюда, в отделение по работе среди войск противника. Хотя, как мне казалось, ему больше бы пришлось по душе работа в разведке. Он был человек смелый в своих суждениях, остроумный, занозистый, любитель и выпить, поухаживать за женщинами, и пошуметь, и рассказать забавную историю. Словом, веселый, шумный человек, у которого есть ум, и сердце, и собственные мысли в голове. Во всем, что казалось непосредственно служебных дел, он был абсолютно деловым и самоотверженным человеком.

Я познакомился с Рузовым в маленькой комнатке, где он допрашивал пленного немецкого летчика, красивого парня, начинавшего обростать бородой. Было холодно. Немец зяб и кутался. Хотя в печке трещали дрова, но ее только что затопили.

Рузов, допрашивая, бегал по комнате, время от времени подбегая к печке и на бегу протягивая к ней руки. Он был маленький, совершенно седой, с острым носом и устремленным вперед лицом. На груди у него были орден и две медали.

Встретил он меня весьма недружелюбно и лишь потом, вечером, сменил гнев на милость. Причиной его первоначального недружелюбия, как потом оказалось, был один мой коллега-журналист, который, взяв у него интересный документальный материал, потом переврал все, как сумел.

Я ходил к Рузову три дня подряд в ожидании, когда улучшится погода и пойдет наконец мотобот на Рыбачий полуостров.

Леонида Владимировича Рузова я еще дважды после этого встречал на войне. В сорок втором году здесь же, под Мурманском, в 14-й армии, в сорок четвертом — очень далеко отсюда, в Бухаресте.

Как свидетельствуют архивные документы, вольноопределяющийся Рузов начал свою солдатскую службу в августе 1914-го в Восточной Пруссии. В пятнадцатом году в Польше, раненный в голову, он попал в немецкий плен. В восемнадцатом году вернулся из плена домой, а в девятнадцатом, когда Мамонтов шел к Туле, вступил в Красную Армию. Под Росошью получил сабельную рану; во время партийной недели вступил в партию и воевал до августа двадцатого года — комиссаром бригады и комиссаром коммунистического отряда, сначала с белыми, потом с белополяками. После еще одного ранения и контузии провел год в госпиталях. Поначалу после этого был зачислен в кремлевские курсанты, но в связи с припадками после контузии был уволен в долгосрочный отпуск на гражданку. Работал уполномоченным по хлебозаготовкам и по коллективизации в Сибири и на Северном Кавказе, снова вернулся в армию, учился в Академии Фрунзе. В тридцать третьем году поехал начальником зимовки на мыс Челюскин, пробыл в Арктике пять лет и после возвращения на Большую землю получил все-таки за свою работу в Арктике орден Красной Звезды, который миновал раньше из-за строптивого характера. Вернувшись из Арктики, снова попросился в кадры. В сороковом году воевал на Карельском перешейке. В сорок первом — под Мурманском, а с сорока третьего года — на юге. На разведывательной и оперативной работе был награжден несколькими орденами и медалями, в том числе за бои в Будапеште — орденом Кутузова III степени. В по-

последней переделке — в перехвате и разоружении юго-западные Праги прорывавшихся к американцам власовских частей — принимал участие уже двенадцатого мая сорок пятого года, через три дня после окончания войны.

После войны Рузов был начальником кафедры иностранных языков в одном из институтов Ленинграда, а потом, на склоне лет, — пенсионером. До конца, не поддаваясь ни болезням, ни последствиям ран и контузий, живя в Гатчине, кропотливо собрал множество исторических материалов и написал книгу — историю города, вторую книгу в своей жизни. Так и умер, не утомившись, не изменив себе и своему характеру.

Я навещал его незадолго перед смертью в госпитале, и, хотя со времени нашей первой с ним встречи в Мурманске прошло уже к тому времени чуть не четверть века, он, несмотря на болезнь, показался мне почти не изменившимся, был все такой же маленький, седой, стремительный, все порывался вскочить с койки и по привычке забегать по комнате. Непривычная неподвижность мешала ему разговаривать.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

...17 октября, когда стало известно, что погода улучшилась и один из мотоботов сегодня в три часа дня отправится на Рыбачий полуостров, уехавший в город Мишка Бернштейн вернулся красный и взволнованный. Оказывается, сегодня в Москву летели двое корреспондентов «Сталинского сокола», которые предлагали Мишке лететь вместе с ними. А кроме того, в Мурманск только что прилетел кто-то из газетчиков, вылетевший из Москвы накануне, и он во всех подробностях рассказал Мишке о происходившем в тот день. Я услышал это уже из вторых рук, но все равно это произвело на меня тягостное впечатление. Что это такое, я представлял себе и по Борисову, и по Днепротетровску, и по другим местам, но, думая о Москве, особенно тяжело было узнать об этом... Сталовилося уже ясно, что немцы угрожают непосредственно Москве.

До прихода Мишки было точно договорено, что я и Зельма выйдем сегодня на Рыбачий, а Бернштейн, который не переносил качки, тем временем едет посуху в 52-ю дивизию к генералу Вещезерскому. А потом, когда мы вернемся и съедемся в Мурманске, Зельма и Бернштейн взаимно поделятся своими впечатлениями.

Но теперь Мишка стал шуметь, что нас командировали всего на десять дней и что он дольше здесь не может оставаться,

а должен лететь со всеми теми снимками, которые он уже сделал, прямо в Москву, что здесь, на севере, ему уже больше нечего делать, а в Москве невозможно не быть.

Я разделял его чувство: мне самому было почти неперепно думать о том, что происходит там, под Москвой, и к этому еще — что греха таить — примешивались и личные чувства. В Москве оставались и мать, и отец, и все другие близкие мне люди. Но, с другой стороны, газетное чутье по-прежнему подсказывало мне, что именно сейчас газете необходимы корреспонденции отсюда, со стабильного фронта, где не отступают, где все в порядке, и что это, по закону контраста, в такие дни особенно хорошо прозвучит в газете. Поколебавшись и преодолев первое желание — немедленно лететь в Москву, — я уговорил Мишку отправить снятые пленки с фотокорреспондентами из «Сталинского сокола», а самому ехать, как мы раньше условились, на фронт к Вещерзерскому.

К двум часам дня мы с Зельмой пришли на лесную пристань и увидели судно, на котором нам предстояло плыть. Это был небольшой, до крайности грязный мотобот «Таймень», очень маленькое суденышко, на котором числилось всего восемь человек штатской команды, включая сюда и капитана, и главного механика, и буфетчицу.

На этот раз «Таймень» был гружен дровами, которые в ожидании зимних, еще более свирепых, штормов спешили заранее доставить на Рыбачий и Средний полуострова.

Мы влезли на мотобот, он отвалил, и мы часа два медленно шли по Кольскому заливу, еще долго продолжая видеть Мурманск. Погода была хорошая.

Немцы совершали очередной налет на город. Над головами, над заливом, крутились самолеты, шел воздушный бой, а где-то сзади бомбили.

Капитан, долговязый немолодой человек в ватнике и в красной выцветшей фуфайке, всю дымя махоркой, рассказывал нам, как в прошлый рейс, когда он ходил в гавань Эйна, его обстреляла немецкая батарея и сделала ему несколько небольших пробоин. Он рассказывал нам эту историю на все лады и очень громко, как глухим. Из этого я уразумел, что, как видно, он в предыдущий рейс возил на Рыбачий не только дрова, но и водку, и эта перевозка не осталась для него без последствий. Впрочем, сам капитан развивал другой вариант. Он с увлечением рассказывал о каком-то мифическом полковнике, который был хороший человек, очень хороший человек, прекрасный человек и оставил ему целую бутылку водки. «Во!» — капитан в несколько приемов, постепенно

все шире и шире разводя руками, показывал, какая это бутылка. «На тебе, Петруша! Пей, дорогой моряк. Пей, пока живой» — так звучали слова полковника в изложении капитана, которого в этой минуты мы стали звать между собой Петрушей.

В начале пятого спустились сумерки, и уже мимо Грязного мы шли в полной темноте. На море свежело. Петруша высказывал опасение, что «Мотка» — так он по-моряцки называл Мотовский залив, — «Мотка», — она, стерва, помотает сегодня. Ох и мотать будет!» — говорил он с таким довольным видом, словно его прогнозы могут доставить нам одно только удовольствие.

Потом мы по приглашению Петруши спустились в его каюту. Это была крошечная клетушка с крошечным столиком и двумя койками одна над другой. Я завалился на верхнюю, а Зельма — на нижнюю. К этому времени мы уже вышли в Мотовский залив, и нас в самом деле начало качать.

Часа через полтора в каюту пришел сменившийся с вахты Петруша. По-прежнему вспоминая добрыми словами полковника, он вытащил из-под койки действительно изрядных размеров бутылку с водкой и налил в чайные стаканы — себе и нам. Мы выпили. Стало тепло и хорошо, и даже начало казаться, что меньше качает.

К этому времени в каюту Петруши явился пароходный механик, человек с угрюмым характером и, как сразу же выяснилось, с весьма мрачными взглядами на жизнь. Он был недоволен сразу всем: Петрушей в качестве капитана, топнажем своего мотобота, плохим состоянием машины, наличием войны между Германией и СССР. Но больше всего тем, что немцы обстреливают залив. Чувствовалось, что это его очень волновало, даже в том виде, в каком он появился в каюте у Петруши. Очевидно, добродетельный полковник снабдил водкой не только Петрушу, но и механика. И я начал уже опасаться, как бы мы из-за доброты полковника, чего доброго, не попали вместо гавани Эйна на мыс Пикшуев, к немцам.

Между механиком и Петрушей произошел длинный спор, в котором оба они апеллировали к нам. Погодование механика не утихало часа полтора или два. Он вспоминал разные горестные эпизоды из своей жизни и укорял нас тем, что мы вот плывем и даже не знаем, с каким трудом он, механик, возит нас на этом паршивом мотоботе, на котором такая невозможная машина. Он предупреждал Петрушу в том, что тот ушел с вахты, а немцы тем временем могут нас обстрелять. Но когда задетый этими словами Петруша решил раньше времени вернуться на вахту, механик стал обижаться: «На кого же ты меня оставляешь, Петруша?» И Петруша остался.

На исходе второго часа беседы механик наконец уснул, положив голову на стол, а Петруша все же отправился па вахту.

Прошло несколько часов. Хотя довольно сильно штормило — было пять или шесть баллов, — по ветер оказался попутным, и мы пришли в Эйну раньше, чем предполагали, глубокой ночью. Ежась от холода, мы вылезли на палубу и по сходне перебежали на берег.

Влево и вправо уходили берега Рыбачьего полуострова, покрытые снегом. И рядом с этим снегом окаймлявшее его море казалось почти черным.

Справа от того места, где мы пристали, поднимались мачты недавно затопленного здесь, а когда-то раньше известного всей стране гидрографического судна «Персей». Подальше торчали мачты и трубы еще двух затопленных судов.

После того как немцы, в первые же три дня войны, своим маршем на восток, к реке Западная Лица, отрезали Рыбачий и Средний от материка, они лишили гарнизон полуостровов всякого сухопутного сообщения. Теперь, пытаясь нарушить единственную оставшуюся коммуникацию — морскую, немцы зверски бомбили и маленькую гавань Озерки на Среднем полуострове, и гавань Эйпа на Рыбачьем. И на причалах, и в их окрестностях не было буквально ни одного живого места, все было в запесенных снегом воронках.

Мы вылезли на берег и пошли искать пачальство.

Ночь была студеная и ветреная. Одновременно мела и метель, и поднятая ветром поземка. Проваливаясь в снегу, мы с Зельмой забрались на какую-то гору, но пикого там не пашли, вернулись на пристань, пошли снова, но уже в другую сторону и наконец по легкому дымку пашли пещеру, в которой грелся дежурный патруль. Красноармеец проводил нас к коменданту: его землянка в километре от гавани была врезана в один из каменистых холмов.

В этой довольно просторной землянке, с четырьмя койками, за сбитым из досок столом сидел комендант гавани Эйны старший лейтенант Гинзбург, как выяснилось, одессит по рождению, убежденно и образованию. Пока что за время войны здесь, на Рыбачьем, у него был только один корреспондент, и Гинзбург был обрадован пашим появлением.

Мы сразу стали спрашивать его, как добраться до штаба укрепленного района. Он сказал, что быстро добраться туда пещего и думать. Днем из Эйны в Озерки морем не пройдешь, потому что все последние дни немецкая батарея с Пикшуева прештреливает пашковзь залив, а посуху надо ехать сорок километров. Но сейчас дорога, соединяющая Эйну с Озерками, занесена

так, что несколько десятков грузовиков с продовольствием вот уже двенадцать часов стоят в снегу, и водители только и делают, что разгребают снег, чтобы грузовики окончательно не застряли.

Услышав это, мы попросили у коменданта разрешения дождать у него ночь, и комендант, по законам северного гостеприимства угостив нас водкой, чтоб согрелись, предложил нам укладываться.

Под утро меня разбудили могучий кашель и кряхтение. В землянку с разгрузки дров вернулся подполковник Собчак, старый вояка, на вид лет за пятьдесят, с седыми усами и зычным голосом лейб-гвардии фельдфебеля. Оживленно обсуждая с комендантом результаты погрузки и разгрузки, он заполнял могучими трубными звуками все помещение землянки. Наконец Собчак с Гинзбургом заснули, и я тоже.

Прошло еще полчаса или час, я сквозь сон услышал, как комендант разговаривает с кем-то по телефону. Потом опять кто-то пришел в землянку, и начался служебный разговор в резком тоне, причем, как я, даже спросонок, сразу сообразил, одним из собеседников была женщина. Когда я открыл глаза, то увидел стоявшую перед Гинзбургом официально, навитыжку, девушку в набекрень надетой ушанке, в полушубке, бриджах и щегольских сапожках. Она говорила с Гинзбургом очень громко и очень официально.

— Товарищ старший лейтенант,— говорила она,— если вы не обеспечите мне транспорт для срочной доставки раненых с пункта медпомощи на пристань, то я подам рапорт по команде.

Она говорила четко, соблюдая все периоды и все запятые. Гинзбург устало, спросонок, сидел за столом и отвечал ей миролюбиво и тихо:

— Таисия Ивановна, ну зачем же рапорт? Я вам и так все сделаю. И почему вы сейчас пришли? У меня тут люди спят, журналисты приехали. Ну зачем вы с вашим рапортом людей будите?

Но Таисия Ивановна со всей гневной и непреклонной официальностью своих девятнадцати лет требовала выполнения каких-то параграфов, которые обязан был выполнить комендант гавани Эйна.

— Вы комендант или не комендант, товарищ старший лейтенант? — спрашивала она.

Гинзбург, по-прежнему миролюбиво, соглашался с тем, что он комендант.

— Так в чем же дело?! — непреклонно спрашивала Таисия Ивановна.

4 Комендант сказал еще несколько миролюбивых фраз, хлопившихся к тому, что он выполнит требования Таисии Ивановны, после чего она наконец ушла, кинув на нас, грешных, высокомерный взгляд.

Когда я проспнулся следующий раз, сквозь крошечное оконце пробивалось чуточку белесого света. Зельма вскочил, схватил аппарат и отправился шастать по гавани, спеша снять все, что тут можно снять, в светлое время. А я остался в блиндаже ждать куда-то ушедшего Гинзбурга. Вскоре он вернулся, и мы сели завтракать.

За завтраком Гинзбург немедленно начал расспрашивать меня об Одессе. Первый вопрос был, конечно, — как там, в Одессе, Оперный театр? Когда я сказал, что при мне в Оперный театр попали два снаряда и немножко повредили фронто́н, Гинзбург стал ахать, как, впрочем, ахали при этом рассказе и другие одеситы, и долго сокрушался, говоря о том, какой это изумительный театр и как ему жалко, что в него попали снаряды. Он так говорил, что могло показаться: разбитый фронто́н одесского театра чуть ли не главная наша потеря за время войны.

Ответив ему на все вопросы об Одессе, я все-таки стал выяснять, как нам добраться в Озерки. Выяснилось, что мотоботы туда пока не пойдут, а машины тоже пойдут не раньше чем через сутки-двое — метель все еще продолжается. А пробовать ехать туда верха́ми комендант не советовал.

— В такую метель, как сейчас, извините за выражение, — добавил он деликатно, — мы и в уборную-то по веревке ходим. Натянем и ходим, а то заблудиться можно.

Я попросил его созвониться со штабом укрепленного района, попросить, чтобы за нами будущей ночью прислали оттуда, из Озерков, моторку. Комендант одобрил мой план и приказал телефонисту пачинать дозваниваться. Тогда я спросил, чем можно заняться здесь в течение этого дня. Он ответил, что ничего особенного тут у них нет, что Зельма, которого он встретил на улице, пошел снимать зенитчиков. Но они еще не проявили себя здесь в такой мере, чтобы о них стоило писать.

Потом мы разговорились; он стал вспоминать жену и дочь, оставленных им в Одессе, сказал, что тоскует по югу, и шутя заметил, что если Кольский полуостров — нос Европейского материка, то Рыбачий полуостров — это бородавка на носу, и, стало быть, он здесь не что иное, как комендант бородавки, только и всего...

Потом пришла Таисия Ивановна. Она не показалась мне такой грозной, как ночью, и разговаривала теперь с комендантом уже менее сурово. Выяснилось, что она военфельдшер, начальник

вакопункта в гавани Эйна, единственное лицо среднего командного состава женского пола в ближайших пределах Рыбачьего полуострова. Видимо, это обстоятельство и обязывало ее к такому строго официальному и суровому обращению с лицами командного состава мужского пола.

Гинзбург вскоре ушел, а мы с Таисией Ивановной остались сидеть в землянке. Когда мы разговорились и она сняла ушанку, под которой обнаружилось короткие, по-мальчишески стриженные волосы, Таисия Ивановна превратилась в девушку Таю из Ленинграда, с папой, мамой, с сестрами и братьями. Сюда, на Рыбачий полуостров, ее занесло уже шесть месяцев назад, и здесь у нее под началом было шесть женщин — санитарок и прачек, которыми она командовала со всей строгостью, присущей ее возрасту.

Кроме того, здесь, на Рыбачьем, было человек тридцать командиров, многие из которых поначалу сочли своей прямой и приятной обязанностью ухаживать за Таисией Ивановной. Удивляться этому не приходилось — большинство людей сидело здесь, в этом укрепленном районе, уже давно, со времени заключения мира с Финляндией — с марта сорокового года.

А между тем девушка была командиром и должна была выполнять свои служебные обязанности и вступать при этом в пререкания с другими начальниками из-за транспорта, из-за питания, из-за медикаментов и из-за многого другого. Уже сложились официальные отношения, которыми она не могла пренебрегать. От этого-то и родилось ее постоянное напряженное состояние, ее подчеркнутая официальность и даже требование, чтобы ее звали только по имени и отчеству. В условиях, когда кругом нее были только мужчины, малейшая фамильярность, одна улыбка кому-то из них уже не дали бы ей возможности работать дальше так, как она хотела и считала нужным.

Все это напомнило мне чем-то рассказ Горького «Двадцать шесть и одна» и ту опасность, которая угрожала там героине...

Днем я вместе с комедантом ходил в блиндаж к женщинам: политрук гарнизона проводил там комсомольское собрание.

К чему только не привыкаешь на войне! Но когда я вспоминаю этот крохотный блиндаж с длинными сплошными парами, эту земляночку, в которой заперты семь женщин, на самом краю света, на холме над гаванью, которую все время бомбят; вспоминаю тамошние страшные ветры и постоянные метели, — мне начинает казаться, что я никогда не забуду тех как будто бы ничем не примечательных минут, что я пробыл там.

На собрании женщины сидели устало, клевали носами, не в силах преодолеть желания спать. Потому что как раз днем они

обычно и спали, а по ночам работали. В прачечной стирали белье только в темное время, когда идущий из трубы дым не демаскировал наше расположение. И при таком распорядке работы получалось, что даже сейчас, когда полярная ночь еще не полностью вошла в свои права, эти женщины по целым неделям не видели дневного света.

К вечеру Гинзбург наконец дозволился, и ему обещали, если хоть мало-мальски позволит погода, прислать за нами из Озерков моторку. А метель все продолжалась.

Ближе к ночи пришел подполковник Собчак. Он устало повалился на койку, свернул сигарку и вдруг стал рассказывать о финской кампании и о том, как он мучился тогда с оленьим транспортом, будь он проклят!

— Уж слишком неприхотливые животные олени, — сердито говорил он. — Такие неприхотливые, что ничего, кроме своего ягеля, не жрут. А где его возьмешь, этот ягель? Дашь ему сена — головой мотает, дашь ему хлеба — головой мотает. Дай ему только ягеля! А ягеля нет. Так я и воевал с ними, с оленями. Я на себе вместо них грузы таскал, а они ходили и свой ягель искали.

Собчак стал одну за другой выкладывать разные административно-хозяйственные истории, связанные со службой на севере. Запомнить я их не запомнил, но понять хорошо понял: здесь, на Рыбачьем, все перевозки, все виды снабжения, и топливо, и еда — все достается горбом!

За этот день, что мы пробыли в Эйне, ее два раза бомбили и один раз пад головой произошел воздушный бой, ушедший потом куда-то за облака.

Теперь, ночью, говорили об этих бомбежках лениво, привычно обсуждая, где и когда падали бомбы, где сегодня, где в прошлый раз. Собчак сказал, что если бы собрать все железо, сброшенное на несколько домов, составлявших раньше поселок Эйна, то из одного этого железа можно было бы выстроить три таких поселка.

Про бомбежки говорили долго, наверно, часа полтора. И я понял, что как ни крепись, а сидеть здесь уже полтора года людям безмерно скучно и бомбы, падающие в разных местах — сегодня здесь, а завтра там, — пожалуй, вносят в их жизнь некое, хотя и жутковатое, разнообразие и именно поэтому являются главной темой ночных бесед. Не потому, что люди придают такое уж особенное значение этим бомбежкам, а просто потому, что здесь уже больше не о чем говорить.

Ночью по телефону позвонили, что моторка пришла.

Простившись с комендантом, подполковником и Таисией Ивановной, мы с Зельмой взвалили на плечи вещевые мешки и двинулись под гору к гавани.

Моторка стояла у одного из разбитых причалов. В ней было двое — моторист и пулеметчик. Мы спрыгнули в лодку, и она сразу тронулась. В самой гавани было сравнительно тихо, по едва мы вышли в Мотовский залив и пошли вдоль берега, как стало сильно мотать. Было пять-шесть баллов. Лодку швыряло то вверх, то вниз: она зарывалась в воду, и, хотя я был одет поверх ватника еще в кожаное пальто, все промокло до нитки. Нам предстояло идти примерно часа полтора, но лодку с самого начала стало заливать водой. Моторист сидел за рулем, а пулеметчик, сняв пулемет со стойки, в обнимку с ним лежал под брезентом на носу.

Один раз с нашего берега нас окликнул часовой. Здесь по скалам ходили патрули, потому что от немцев и до нас напрямик через залив было всего два с половиной, а местами два километра. Мы шли близко под нашим берегом, чтобы нас не было видно на фоне скал. Ночь была хотя и бурная, но не особенно темная. Вдруг слева от нас, ближе к немецкому берегу, показалась тень. Моторист закричал пулеметчику:

— Волков, готовь пулемет к бою!

Пулеметчик молча вылез из-под брезента, установил пулемет на стойку и приготовился стрелять. Слева от нас прошел небольшой баркас — наш, за ночь, видимо, решивший проскочить в Озерки и возвращавшийся оттуда.

— Отставить пулемет, — сказал моторист, и пулеметчик, молча сняв пулемет, залез с ним под брезент.

Мы прошли еще минут двадцать. Теперь, по нашим расчетам, было уже недалеко до Озерков. Но лодку швыряло все сильнее, и мне иногда казалось, что она нырнет и уже больше не вынырнет обратно. На дне сильно прибавилось воды. Пулеметчик сказал спокойно:

— Воды — больше некуда.

— Сколько до картера? — спросил моторист.

— Два пальца, — ответил пулеметчик.

— Ну, тогда дойдем, — сказал моторист, но на всякий случай подался еще ближе к берегу.

Лодку уже совсем захлестывало, когда наконец началась тихая вода гавани.

Мы пристали в Озерках к таким же разбитым в щепу причалам, какие были в Эйпе, и по скользкому берегу взобрались наверх. На причалах громоздились мешки, ящики, бочки, и их

грузили в темноте на машины. Очевидно, то было продовольствие, пришедшее в Озерки на встреченном нами баркасе.

Пока мы шли в Озерки, моторист все время торопился, потому что, как он нам объяснил, на этой же моторке после нашего прихода должна уйти на немецкий берег разведка. Через несколько минут после того, как мы вышли на берег, мы встретили эту разведку. К причалам шли пять или шесть человек в белых маскахалатах, с автоматами. Как я узнал на следующий день, они в эту ночь выбрались на проходившую здесь близко к морю Петсамскую дорогу, одного немца убили, а другого взяли в качестве «языка».

Мы добрались до землянки пограничного поста и связались из нее со штабом. За нами обещали прислать машину. Но машина что-то не шла и не шла, и мы минут сорок, дрожа на холодном ветру, ждали ее у бывшего здания почты.

До войны Озерки были небольшим, наспех построенным уютным городком с клубом, школой, почтою и несколькими рядами двухэтажных и одноэтажных домов. Сейчас все это было вдребезги разбито. Из снега торчали щепки, бревна валялись поперек дороги. Уже четыре месяца поселок непрерывно бомбили, хотя в нем уже давно никто не жил и ничего не было. Все ушло под землю, и лишь по почам на причалах суетились люди, спеша разгрузить затемно пришедшие мотоботы и баркасы.

Наконец машина все же пришла. Дважды застряв по дороге и вытащив ее на своих плечах, мы наконец забрались на гору, а потом съехали в какой-то овраг, белый и пустой, в котором не было ни малейшего признака присутствия людей. На часового мы наткнулись буквально в упор, в двух шагах. В своей маскировочной куртке и штанах он на фоне снега был почти незаметен. Часовой сперва довел нас до политотдела, а потом оттуда проводил в блиндаж комиссара укрепрайона. Вход в блиндаж был завешен белым полотном; новый часовой вырос тоже в двух шагах от нас, из потькуда. Чувствовался порядок.

В блиндаже, в который мы вошли, все было устроено по-хозяйски. Он был сколочен из толстых бревен и обшит изнутри досками. Койки были утоплены по сторонам в ниши. Это было постоянное, прочное жилье людей, которые уже давно живут здесь и собираются еще долго жить.

Начальника укрепрайона — полковника Красильникова не было, был только его комиссар — полковой комиссар Шабунин. Он выглядел таким же плотным и уютным, как его блиндаж. Ему было за пятьдесят, и он сидел тут уже давно и знал, как он выражался, на обоих полуостровах каждую дырку, но, заболев здесь, на севере, астмой, в последнее время сравнительно мало

вылезал из блиндажа — не в пример своему беспокойному полковнику, которого и сейчас не было на месте.

Шабунин встретил нас радушно и угостил чаем, который к нашему приходу уже кипел на круглой гофрированной финской плитке. Зельма ушел ночевать в политотдел, а я остался ночевать у Шабунина. Забрался на койку в верхней пише и лег, раздевшись догола, потому что абсолютно все, что на мне было, оказалось мокрым до последней нитки и мне пришлось все это развесить на ночь сушиться вокруг железной печки.

Утром я вылез на воздух, хорошенько умылся снегом и с интересом огляделся. Метель к утру стихла, стояла ясная, тихая погода. Как выяснилось при дневном свете, командный пункт размещался в узком ущелье между двумя невысокими каменистыми холмами, сейчас, в середине октября, уже сплошь покрытыми снегом. В расщелинах между камней кое-где рос мелкий, цепкий, узловатый кустарник — единственная растительность на обоих полуостровах. Более холодную и неприютную землю трудно было себе представить. Сейчас, при дневном свете, если внимательно взглядеться, можно было увидеть в скалах, и выше и ниже, отверстия блиндажей, завешенные белыми полотнищами. Но с воздуха, вне всякого сомнения, их было совершенно невозможно увидеть, и мне теперь становилось понятно, почему немецкая авиация столько месяцев подряд бомбит давно опустевшие Озерки. У немцев есть только две возможности: или бомбить эти Озерки, единственный хорошо различимый с воздуха пункт на поверхности Среднего полуострова, или, ничего не видя, бомбить весь полуостров наугад, по площадям. Видимо, немцы все же предпочитали бомбить опустевшие дома, от которых хоть щепки летят.

А вообще, достаточно было поглядеть при дневном свете на этот пейзаж, чтобы понять каторжные условия, в которых приходится работать здесь авиации, в равной мере и нашей и немецкой.

Когда пришел Зельма, то, к его несчастью, оказалось, что Шабунин пламенный фотолюбитель. Он сразу же потребовал от Зельмы, чтобы все, что здесь будет снято, было здесь же проявлено и здесь же отпечатано, объяснив, что у него в хозяйстве все найдется: и фотобумага, и реактивы, и увеличитель.

— Вы не думайте, — сказал Шабунин, — что если вы на край света заехали, так здесь уж ничего и нет. Здесь-то как раз все и есть!

Зельма понял, что ему не отвертеться и придется не только снимать, что фотокорреспонденты очень любят, но и проявлять, что они не особенно любят, и печатать, что они уже просто-

напросто ненавидят. Попаял и смирился. Тем более что во всем остальном Шабунин оказался очень славным человеком.

Он подробно рассказывал нам в то утро о событиях, с которых началась тут война и в результате которых оба полуострова — и Средний и Рыбачий — оказались кусочками земли, отрезанными от всего остального фронта. То есть, в сущности, почти с первых дней войны остались как бы на положении окруженной с суши и имеющей подвоз только с моря Одессы.

В тот день в разговоре с Шабунным, а впоследствии в разговоре с полковником Красильниковым и другими командирами я примерно восстановил для себя картину того, что произошло здесь в первые дни войны.

Судя по тому, что я услышал, дело обстояло так. В первый день боев немцы силами трех горпоегерских полков навалились на наши части, занимавшие позиции у самой границы. Не выдержав неожиданного нападения, наши отступили, а командир дивизии погиб.

Немцы в первые же двое суток прошли вдоль берега тридцать километров, заняли Титовку и оставили у себя в тылу перешеек, который соединял Средний полуостров с материком. На следующий день, решив захватить с ходу и полуостров, немцы повернули на перешеек и начали переваливать через горный хребет Муста-Тунтури. Перевалив хребет, они могли потом разлиться по всему полуострову и очень стремились к этому.

Стремление вполне понятное, особенно если учесть, что, если бы даже немцы по суше вплотную придвинулись к Мурманску, подошли к Кольскому заливу, все равно до тех пор, пока в их руках не оказались бы Средний и Рыбачий полуострова, они не могли бы поддерживать свои операции с моря. Тот, у кого в руках оставались Средний и Рыбачий, все равно контролировал весь этот морской район от Мурманска на востоке до Петсамо на западе.

Но как раз потому, что с Рыбачьего и Среднего контролировались морские пути, оказалось очень трудным оборонять их с суши, со стороны перешейка. Здесь все орудия, все батареи были установлены так, чтобы отражать атаки с моря. А некоторые орудия вообще стояли на неподвижных тумбах и поддавались перемещению с величайшим трудом. На самый перешеек к началу войны у нас не было направлено ни одного орудийного ствола. Сухопутная линия обороны проходила не по перешейку, а по матерiku, дальше, западней перешейка. Никак не предполагалось, что немцы могут дойти до перешейка по суше.

В течение суток на полуостровах все было поднято на ноги. За ночь на руках через скалы артиллеристы перетаскивали тяже-

ные орудия на такие позиции, с которых они могли бить по перешейке.

Это была титаническая работа. Легко задним числом говорить о ней, но трудно понять, как она была сделана, когда смотришь на эти скалы и на те позиции, на которых теперь расположена артиллерия.

Утром немцы, сбивая на Муста-Тунтури наше слабое охранение, стали скатываться с хребта вниз, устремляясь на полуостров. Вот здесь-то, на скатах хребта, их и встретила огнем артиллерия. В том числе и тяжелая. Вся, которая уже была повернута к этому времени. Остальную продолжали поворачивать.

Полковник Красильников, забрав с Рыбачьего полуострова полк охраны, по частям перетаскивал его на Средний и бросал в бой. Он вытаскил на передний край все, какие только были здесь, пулеметы. На перешейке к середине дня было сосредоточено так много артиллерийского и пулеметного огня, что немцы, уже перевалив через хребет, не смогли с него спуститься.

Линия обороны так и проходит по этому хребту, по тем его местам, где были остановлены немцы. И с тех пор все, что происходит на Среднем полуострове,— это ежедневные кровавые схватки боевых охранений, поимка «языков» и постоянные глубокие разведки в немецкий тыл. Иногда большими группами.

Там, где были остановлены немцы, теперь перед нашими позициями проволочные заграждения и минные поля. Но все это саперы сделали уже потом, под немецким огнем. А в первые дни боев на перешейке не было ровным счетом никаких укреплений.

Так выглядела по рассказам их участников история событий, происходивших на Рыбачьем и Среднем до нашего приезда сюда.

В свой первый день здесь мы решили поехать на самый краешек Среднего полуострова, в бывшее финское курортное местечко, откуда хорошо виден Петса́мский залив, а в ясные дни, говорят, видно даже и побережье Норвегии, до которого отсюда всего несколько десятков миль.

Меня в этой поездке интересовали главным образом наши торпедные катера, которые стояли надежно спрятанные в одной из бухточек полуострова и совершали оттуда вылазки к Петса́мо и к берегам Норвегии.

Шабунин решил поехать вместе с нами и на случай встречи с зайцами, которых, как он говорил, здесь великое множество, взял с собой двустволку.

Мы доехали на машине до второго перешейка, который соединял Средний полуостров с Рыбачьим. В свое время там

собирались прорыть канал, который позволил бы судам не огибать Рыбачий, а проходить, если можно так выразиться, сквозь него, на сотню с лишним миль сокращая путь между Мурманском и норвежскими портами. Теперь, во время войны, конечно, об этом канале все забыли.

На перешейке в сложенных из камня землянках стоял саперный батальон. Нам пришлось оставить здесь машину — дальше на ней в том направлении, куда мы должны были добратъся, проехать было нельзя, — и мы стали ждать, когда нам дадут лошадей и сани.

Комиссар саперного батальона сначала сам рассказывал нам о том, как его ребята под огнем укрепляли перешеек, а потом позвал одного из своих лучших саперов, казаха по национальности. Это был среднего роста щеголеватый парень лет двадцати пяти, с красивым раскосым девичьим лицом. Он ходил в легких, до блеска начищенных сапожках, в гимнастерке с портупеей и без верхней одежды. Когда его спрашивали, не холодно ли ему, отвечал: «Ни в коем случае». Говорил по-русски с сильным акцентом и, рассказывая о своем участии в боях, почему-то особенно папирал на то, как важно в боевых условиях быть легко одетым, лазить по скалам не в шинели, а в фуфайке. Слово «фуфайка» он произносил как «пупайка», а о себе говорил во множественном числе: «приказали», «пошли», «выполнили приказ». И хотя он был парень хороший, храбрый и все, что он рассказывал, совершенно явно было чистой правдой, но я несколько раз еле удерживался от улыбки из-за этой его «пупайки» и употребления глаголов во множественном числе.

После разговора в землянке у саперов мы сели в сани и поехали дальше. Дорога шла в гору, но лошадей бежала довольно резво. Своеобразие дорог здесь в том, что они одновременно и русла ручьев. В зимнее время их то заносит снегом, то опять обнажает ветрами их каменное дно, по которому деревянные полозья саней тащатся со скрипом и скрежетом.

Мы ехали то по камням, то по мелкой воде, то снова по камням. Два раза нам приходилось вылезать из саней и с ходу протаскивать их через быстрые горные ручьи. Мороз крепчал, и мы то и дело вылезали из саней, чтобы побегать и отогреть замерзшие, промокшие во время переправ ноги.

Здесь, немного повыше, на скалах уже не было никакой растительности. О том, как сурова здесь природа, может дать представление одна подробность. Вдоль дороги шла постоянная телефонная линия на столбах. Чтобы здешние ветры не вырвали и не сломали столбы, они ровно до половины своей вышины обложены пирамидами из камней.

Изявно замерзшие и усталые, мы добрались до места уже перед самым вечером. На то, чтобы проехать всего двенадцать — тринадцать километров, ушел почти целый день.

Бывший финский курортный поселок представлял собой живописное зрелище, которое запомнилось мне по контрасту со всем остальным, что я видел на полуостровах. Вода темно-серая, почти черная. И на этой черной воде у маленького причала стального цвета торпедные катера. Где-то далеко-далеко над черной водой виднеется порвежский берег. А сзади, на полуострове, всюду абсолютно белые горы, покрытые снегом. И среди этого снежного пейзажа два десятка чистеньких, парадных, похожих друг на друга финских домиков ярко-кирпичного цвета, с белыми наличниками рам и дверей. Аккуратные, маленькие, похожие на игрушечные.

До финской войны сюда приезжали отдохнуть, посмотреть на северное сияние, порыбачить и поохотиться на зайцев. Теперь это крошечное курортное местечко было самой крайней северной точкой гигантского фронта. И в одном из этих домиков размещался штаб отряда торпедных катеров.

Операциями катеров руководил здесь представитель штаба флота старший лейтенант Моль, веселый и вместе с тем сдержанный, умный, интеллигентный человек с хорошим чувством юмора.

Моль и другие моряки рассказывали нам о последних операциях катеров, во время которых они потопили на выходе из Петсамского залива и в самом заливе несколько немецких транспортов.

Я потом написал обо всем этом в очерке «На «ты» с Баренцевым морем», который в редакции переименовали в «Дерзание». Кстати, первоначальное название очерка родилось у меня как раз в разговоре с Модем.

Главным врагом катерников здесь были не столько немцы и финны, сколько отчаянная погода, почти круглый год стоящая в этих местах. Погода, при которой такие утлые суденышки, как торпедные катера, иногда почти невозможно выпустить из гавани в открытое море.

— Но мы все-таки выпускаем, — сказал мне Моль. — Хотя Баренцево море и требует, чтобы с ним обращались на «вы», а мы все-таки иногда рискуем говорить с ним на «ты»!

В тот вечер я оценил прочное устройство финского домика. Снаружи все сильнее разыгрывался ветер, на море отчаянно штормило, а в домике было тепло и уютно. Радист, сидевший за пультом, то и дело передавал позывные, и все, кто был в компании, тревожились: какой-то катер вышел со специальным заданием,

и за него беспокоились из-за этой бурной погоды. Я спросил у Моля, пойдут ли сегодня еще катера. Он сказал, что один пойдет. И я спросил, нельзя ли мне будет сходить с ними один раз на операцию. Он ответил, что вообще-то можно, но как раз сегодня и как раз этот катер пойдет в такое место, что мне нельзя идти с ними. Я было начал спрашивать, почему и как, но на уклончивым ответам Моля понял, что, видимо, катер пойдет на специальное задание, связанное с дальней разведкой, и больше расспрашивать не стал.

Затянув потом в соседнюю комнату, я понял, что не ошибся. Там сидели пять разведчиков из морской разведки, и среди них Мотовилин. Потом в комнату вошел огромного роста человек в лейтенантской форме, в котором я узнал одного из штабских людей, заходивших в свое время при мне в Мурманск в помещение разведки.

Разведчики ели и отдыхали перед походом. Моль уточнял с радистом последние данные. Потом один из морских командиров сказал: «Ну, пора», натянул на себя огромный кожаный шлем торпедиста, плотно застегнул ремень и вместе с лейтенантом из разведки и пятью разведчиками вышел в ночь. Моль и остальные моряки остались.

Вскоре подъехал командир стоявшего неподалеку морского артиллерийского дивизиона, капитан, которого все стали поздравлять с только что полученным им орденом Красного Знамени. А получил он этот орден за то, что во время непрерывной бомбежки пемцев, которые засекли батарею и бомбили именно в то время, когда мимо нее пытались проскочить в Петсамский залив немецкие суда, он ни на минуту не прекратил огня: пока расчет одного орудия стрелял, расчеты всех остальных лежали в щелях, затем стрелял расчет следующего орудия и так далее.

После прихода капитана на столе появились разбавленный спирт и шпроты в еще не виданном мною до сих пор количестве. Не банка шпрот и не тарелка со шпротами, а целое блюдо величиной с треть стола. Когда мы справились со шпротами, напоем еще и какао. И мы долго сидели и разговаривали.

Была уже глухая ночь, когда я вышел на крыльцо. Все кругом было черным-черно. На море ревел чудовищный ветер, и невольно подумал о разведчиках, два часа назад вышедших в море на катере. Теперь на море было не меньше восьми баллов, а пошли они, наверное, далеко, должно быть в Норвегию. Так потом и оказалось.

Мы започевали у моряков и утром, проснувшись, с удивлением обнаружили, что за ночь население нашей комнаты удво-

сь. Промокшие, измученные, четыре часа промаявшись в напрасных попытках отойти от берега, разведчики вернулись обратно и спали как мертвые.

В середине дня, договорившись с Модем, что я ему завтра звоню, мы двинулись в обратный путь и, проделав ту же дорогу, добрались к вечеру до командного пункта укрепления.

Радио из-за атмосферных условий работало очень плохо, но все-таки в политотделе поймали обрывки сводки, в которой сообщались новые тревожные известия о Москве. Было ощущение страшной оторванности и невозможности принять участие в том, что там происходит. И это ощущение было не только у меня, у всех, кто находился здесь. Тут тоже была война, фронт, но казалось, что в эти дни, когда Москва в опасности, все мы, кто сейчас не там, не под Москвой, занимаемся не самым настоящим делом.

Я залег под потолок на свою верхнюю койку и в том печальном ощущении оторванности от Москвы, которое у меня было этот вечер, написал стихи, которые «Красная звезда» потом напечатала под заголовком «Голос далеких сыпоев». Они совершили очень долгий путь, прежде чем дошли до редакции. Сначала их переправили в пакете на моторный катер, потом на этом моторном катере довели до Мурманска, там отнесли на военный телеграф, и только на третий или четвертый день, переданные по телеграфу, они очутились в Москве.

Я кончил писать стихи уже глубокой ночью и вышел на мороз погулять. Был сильный ветер, холод пронизывал до костей, но уходить обратно в блиндаж не хотелось. Над головой стояло свершное сияние. Верней, не стояло, а перебегало по всему горизонту, иногда становясь похожим на сплошной небесный мост. И у меня вдруг мелькнула страшная мысль: а что, если это и правда мост между тем местом, где сам человек, и тем местом, где сейчас его мысли. Я еще долго бродил, проваливаясь в снегу, стараясь отогнать от себя тоскливые мысли о Москве, от которых весь вечер после получения сводки никак не мог отделаться.

Утром, приведя в порядок свои записи, я дозвонился по телефону до Моля, и он сказал мне, что сегодня, если к середине дня улучшится погода, на ночь глядя пойдут на операцию, в которую можно взять и меня.

Я до трех часов ждал звонка от моряков, но в три часа они позвонили и сказали, что погода и сегодня не позволит выйти на катере...

Спустя много лет интересно бывает, роясь в документах, вдруг обнаружить донесение с протокольной, чисто военной записью тех же самых событий, которые ты когда-то давно по своему запомнил и по-своему записал в дневник.

В морском архиве я натолкнулся на донесение, подписанное воентехником второго ранга Веселковым, должно быть, тем самым огромного роста человеком в лейтенантской форме, который тогда, в октябре сорок первого, отправлялся при мне куда-то в дальнюю разведку на торпедном катере. Вот несколько строк из этого донесения.

«В Пуманки мне дали радиограмму, в которой было указано следующее: «Задачу номер один выполнять, задачу номер два временно отставить».

Девятнадцатого октября сорок первого года на торпедном катере № 13 я вышел для выполнения задачи, но ввиду сильного шторма вернулись на базу.

Двадцатого октября сорок первого года получил вторую радиограмму, где было сказано — выполнять задачу номер два. Я подготовил людей и стал перевозить на катер, но ввиду сильной волны в бухте все перемокли.

С двадцать первого на двадцать второго октября погода стояла неплохая, но был большой туман, а поэтому при трех попытках я высадить не мог, а двадцать второго мы в восемь утра пришли в Пуманки...»

Из дальнейшего текста донесения выясняется, что разведчики еще несколько раз выходили на катере в море, но погода еще пять дней подряд так все не давала и не давала им этого сделать. Да, хотя старший лейтенант Моль и говорил тогда мне, что они пробуют разговаривать с Баренцевым морем на «ты», но, как видно, выходило это далеко не всегда.

Ближе к вечеру к Шабунину приехал местный старожил, комиссар тяжелого артиллерийского полка Дмитрий Иванович Ермаков. Впоследствии мы с ним сдружились, хотя, надо признаться, в первую минуту он мне не понравился. Едва он зашел к Шабунину, как я понял, что эти люди, давно живущие рядом, одном гарнизоне, до тонкости знают не только свои, но и все чужие хозяйственные дела, все недостатки и погрешности.

За их разговором чувствовалась скука долгой гарнизонной жизни на краю света, которую даже война не в силах была преодолеть до конца. Они оба были, каждый по-своему, интересными и своеобразными людьми, но говорили друг с другом все о том же самом, паверное, уже в десятый раз.

Поговорив с Шабунным, Еремин предложил нам с Зельмой отправиться к нему в полк, с тем чтобы сегодня побеседовать, а завтра съездить на огневые позиции артиллерии.

Мы быстро собрались и спустились вместе с Ереминым в овраг, где его ждала машина. Водителем машины, к моему удивлению, оказался сын Еремина.

— Понимаете, какое дело, — кивнув на сына, сказал Еремин, когда мы уже сели в машину и поехали. — Приходится все время его откомандировывать. Как водку привезут на мотоботе, пока на машины погрузят, смотришь — уже не вся! Теперь, как только приходит для полка пайковая водка, посылаю самого надежного в этом случае человека — сына. Он ее забирает и, представьте себе, довозит до складов без единой течи в бочках!

Минут через двадцать мы съехали вниз, к самому берегу моря, и по узкой лестничке забрались в ереминский блиндаж. Это был не просто блиндаж, а целое двухкомнатное помещение. Первая комната была обставлена в канцелярском стиле — рабочими столами с лампами под зелеными абажурами. А вторая комната была совершенно жилой, и стояли в ней две кровати и большой кожаный диван, неожиданно для себя попавший под землю.

Мы немного поговорили с Ереминым о событиях, происходивших в полку за первые четыре месяца войны, а потом, на мою удачу, к нему явился рапортовать о прибытии только что вернувшийся из госпиталя сержант Данилов, звукометрист, разведчик, детина колоссального роста, буквально упиравшийся головой в потолок довольно высокого блиндажа. У него было круглое детское лицо и руки, в которых небольшой арбуз, наверное, выглядел бы как яблоко.

Когда я разговаривал с ним, он стал рассказывать о почти невероятных вещах с таким удивительным спокойствием и с такой детской уверенностью в том, что иначе не могло и быть, что я ему поверил так, как, наверно, не поверил бы никому другому...

Страничка из фронтового блокнота, где был наспех записан тогда этот рассказ, дает некоторое представление о том, как выглядели в ту осень ежедневные бои в скалах Муста-Тунтури. Вот она, эта лежащая сейчас передо мной страничка:

«Вечером двенадцатого мы перебежали каменное плато, я со своим отделением перебежал первым. Нас стали обстреливать огнем и гранатами.

Одного — Бориславского — у меня ранило. Он кричит: «Товарищ командир!» А я: «Тише ты», — говорю. У нас многих тогда ранило и убило. Девятнадцать человек из тридцати шести.

Я пошвырял много гранат. Потом все вышли. Меня ранило осколком гранаты в бок и в лопатку. Но меня перевязали, и я остался с десятью людьми, старшим.

В пять часов вечера тринадцатого немцы пошли в наступление. Я за день собрал много гранат, подгрел их к себе — шесть, десять штук, и три винтовки. Тут у меня еще двоих убило — сержанта и бойца Терейцева.

Немцы стали подходить все ближе. Я лично для себя подобрал побольше гранат, потому что другие бросают их близко, без пользы, а я бросаю куда подальше. Разложил их кругом себя, чтоб не взорвались разом от детонации.

Немцы стали бить нас гранатами, пулеметами и минометами. Сзади склон, впереди каменное плато — и немцы. Я стою между двух камней. Они хотя и высокие, но мне вполгрудь. А ребята лежали ниже меня. Я стал гранаты кидать. Свои все бросил. Площадка была метров тридцать. Мне была задача — не пустить немцев на нее. Свои гранаты я уже все бросил; ребята мне снизу их подают.

Целиком, в рост я ни одного немца так и не видел. Как он только поднимается вполроста, как кишу гранату, так его и нет. Это сначала, а потом такой дым от гранат был, что почти ничего не видел. Или граната ихняя мелькнет над дымом. А наши гранаты в это время почти все кончились.

Меня опять ранило в пальцы правой руки, в щеку и глаз. Глаз залило кровью, ничего уже этим глазом не видно.

Тут огонь немножко притих. Я спустился на несколько метров к командиру. «Как, — говорю, — быть? У меня бипта нет, я свой истратил, Бориславского перевязывал». Командир говорит: «Иди к санитару». Я спустился, ребята мне сделали перевязку и воды дали попить. Я давно не пил...»

Так все это виделось там, влотноую, глазами самого сержанта Дашилова Александра Ивановича, человека отнюдь не словесноохотливого.

А во фронтовой сводке все им лично пережитое за эти сутки выглядело и вовсе коротко: «...В районе Муста-Тунтури до двурот противника перешло в наступление из района 9872 на безмяшную высоту 9672. Артиллерийским, пулеметным огнем контратаками противник был остановлен...»

Вот и все.

...Вскоре после ухода Данилова к Еремицу, тоже с рапортом, явился сержант Букин, «поэт Рыбачьего полуострова», как рекомендовал мне его Еремин. Это был бойкий паренек, видимо окончивший десятилетку, много читавший. Он держался с подчеркнутой строевой подтянутостью и даже некоторой щеголеватостью, отличающей людей, которым строевая подготовка еще не вошла в плоть и кровь и которые все время помнят о том, что они должны вести себя по-строевому.

Мы поговорили с ним, потом Букин о чем-то пошептался в углу с Ереминым и ушел. А Еремин после его ухода стал жаловаться мне, что Шабунин хочет забрать у него этого Букина.

— А Букин наш, — говорил он, — зачем его отдавать?

Из дальнейшего разговора выяснилось, что артиллерийский полк был, если можно так выразиться, старожилом этих мест. У него было все свое. Своя типография, своя газета, свой поэт, свой фотограф, свой клуб и даже свое подсобное хозяйство — коровы и поросята. Теперь на полуострове шла титаническая борьба: Еремин делал отчаянные попытки удержать все полковое имущество в своих полковых руках, а Шабунин стремился к тому, чтобы кое-что из артиллерийских богатств перешло в общее владение.

С этой точки зрения, в частности, рассматривался и Букин. Еремин говорил о нем, что это «наш, артиллерийский поэт», а Шабунин хотел дать ему звание политрука и забрать к себе политотдел.

А шептались Букин с Ереминым, оказывается, потому, что у них возникла идея собраться с моим участием в редакции полковой газеты и побеседовать с начинающими поэтами Рыбачьего Среднего полуостровов, из которых Букин был уже самым малютким. Я, конечно, согласился, и Еремин немедленно посадил телефониста вызывать с разных точек обоих полуостровов артиллеристов, причастных к поэзии.

Мы започевали в блиндаже; перед сном Еремин еще долго ворочался и сокрушался, что я не был у них здесь раньше. Какой тут был отличный клуб. Его теперь бомбами разбило в щепки. Как там все оборудовано было! Какой зал на триста мест!

Командир полка майор Рыклис, которого мы ждали, так и не вернулся почевать с наблюдательного пункта, а начальник штаба капитан Тюрин пришел глубокой ночью и улегся на свою высокую, с двумя перинами кровать, про которую Еремин намерзливо говорил, что хотя дом у Тюрина начисто разбомбил, но жизненно необходимое для себя он спас — обе перины тут, в блиндаже.

Мы встали в восемь утра, было еще совсем темно. Еремин

вызвал своего ординарца и сказал ему, что хорошо бы к вечеру, как он выразился, «сообразить поросеночка». После этого мы отправились в дорогу.

У меня с утра отчаянно разболелся зуб, который потом так и продолжал мучить меня до самого конца этой поездки. Я полоскал зуб водкой, и мы двинулись с Ереминым на артиллерийские позиции. Ехали на трехосном грузовике, но даже и на этой машине дорога была почти непроходимой.

Мы переехали по перешейку на Рыбачий полуостров; там каменистая дорога пошла через большие промоины. В одну из таких промоин мы вскочили с полного хода, и она оказалась такой глубокой, что вода покрыла колеса грузовика, залитый водой мотор заглох, и мы оказались в кузове, как на острове. Через полчаса нас кое-как вытащили задним ходом при помощи трактора.

Еремин сказал, что дальше, видимо, все же придется добираться уже не на грузовике, а на моторке, и мы пошли в подземный полевой госпиталь, который был расположен тут же поблизости. Пока Еремин звонил, вызывая моторную лодку, мы с врачом обошли одну за другой все палаты.

Надо отдать должное и саперам и медикам. Все здесь было устроено очень прочно и хорошо. Стены и перекрытия были срублены из добротного леса, а это уже само по себе было подвигом, если учесть, что на Рыбачьем не растет ни одного дерева. А сверху все было обложено камнями и замаскировано так, что не только с воздуха, но и с земли, в каких-нибудь тридцати метрах, госпиталь был совершенно невидим. Приемный покой, перевязочная, операционная и палата для тяжелораненых были связаны общим подземным коридором. Все, что надо было делать с тяжелоранеными, можно было делать, не вынося их на воздух.

Пожалуй, по своему устройству этот госпиталь был единственным в своем роде здесь, на севере. Эвакуация с Рыбачьего Среднего и возвращение с Большой земли сюда были сопряжены с такими трудностями, да и отнимали столько времени и сил, особенно когда из-за непогоды подолгу не бывало связи с материком, что тут, не в пример другим госпиталям, оставляли всех, кто впоследствии мог вернуться в строй. Даже таких, для кого требовалось трехмесячное лечение. Из-за этого госпиталь, обслуживавший не такой уж большой гарнизон, был рассчитан на двести постоянных коек.

Водивший меня врач, с гордостью показывая одно за другим помещения госпиталя, наконец вернулся со мной в приемный покой и сказал:

— Вот сейчас мы посмотрим здесь интересную вещь!

Он открыл дощечку, закрывавшую стеклянное окошечко, и

предложил мне посмотреть. Я в первую секунду даже отшатнулся и только потом понял, что окно выходило в операционную и как раз на уровне его находился операционный стол. А то, что я увидел совсем близко за стеклом, было человеческой ногой, кровоточащей, разорванной от колена почти до паха.

Глядя на эту ногу, врач с удовольствием сказал:

— Сейчас делают перевязку. Редкий случай. Чудом спасли эту ногу. Посмотрите, в каком она сейчас хорошем виде.

От этого «хорошего вида» с непривычки мороз подирал по коже, но врач, показывая мне эту ногу, лежавшую на операционном столе, с упоением говорил:

— Вот видите, какая она сейчас — вся розовая. А когда привезли, была вся черная. Розовая — значит, будет в порядке. Пресекли нагноение. Очень интересный случай. Посмотрите, как она сейчас великолепно выглядит.

Он говорил об этой ноге как о произведении искусства, и в его словах была такая покоряющая профессиональная увлеченность, что я, преодолев первое чувство, долго смотрел на эту «великолепную» ногу.

Обход на этом закончился, и тут меня черт дернул пожаловаться на мой больной зуб. Еремин и Зельма с легкомыслием, свойственным людям, когда зубы болят не у них самих, а у кого-то другого, посоветовали мне сейчас же, здесь же обратиться к зубному врачу. Пришлось обратиться.

Очевидно, у меня все-таки есть интуиция, потому что, увидев хорошенькую двадцатилетнюю девушку, которую мне отрекомендовали как зубного врача, я дрогнул. Мне не понравилось, что на ее лице были написаны нерешительность и застенчивость, прямо противоположные ее профессии.

Девушка привела меня в маленькую комнатку, отгороженную от приемного покоя только занавеской, посадила на табурет и позвала санитару, который пришел, держа в руках керосиновую лампу.

Через минуту после того, как я открыл рот, выяснилось, что мой больной зуб требуется вырвать, и девушка, выбрав соответствующие щипцы, приготовилась действовать. Теперь в ее глазах вместо перешимости было выражение отчаяния и готовности ко всему. Щипцы лязгнули, и половина зуба была отломана. Они лязгнули еще раз, и вторая половина зуба была тоже отломана. Таким образом, полдела было уже сделано, оставалось лишь достать из меня еще нижнюю часть зуба, или, как она выразилась, «корни». Сначала она пробовала вынуть их с помощью щипцов, а потом достала какой-то инструмент, напоминающий ручку железного молотка, предназначенную для выдергивания гвоздей.

Я почувствовал, что дело мое плохо, и посмотрел на часы. Было ровно десять утра. Это оказалось неллишним, ибо встал я с этого табурета только в одиннадцатъ.

Если бы я до этого не осматривал госпиталь в качестве корреспондента «Красной звезды», то, паверное, или завопил бы, или убскал. Но теперь медперсонал госпиталя за занавеской, в приемном покое, с интересом прислушивался к тому, что здесь происходит, и убегать было уже поздно, а вопить — несовместимо с достоинством «нашего собственного корреспондента».

Двадцать минут одиннадцатого я увидел, как дрогнула лампа в руке выдавшего виды санитара. Очевидно, не в силах наблюдать мои страдания, он отвернулся к стене. В половине одиннадцатого девушка уперлась мне коленом в живот и, выломав из меня кусок кости, тут же показала:

— Вот он, ваш корень.

— Все? — спросил я, увидев в ее руке этот крошечный кусочек и подумав, что с такой патугой из меня можно было бы вырвать по крайней мере берцовую кость.

— Нет, — сказала она, — это один корень, а у вас там еще один.

— Ладно, — сказал я. — Даю вам еще полчаса. Если вы его за полчаса не вынете, бог с ним, пусть уж остается у меня.

Без пяти одиннадцатъ в дело опять пошли щипцы; отхватив мне полдесны, она сказала, что щипцами тут не возьмешь, и снова взялась за ту штуку, которой можно выдергивать гвозди.

Ровно в одиннадцатъ она, по-моему теперь уже просто наугад, еще раз с треском повернула эту штуку у меня во рту и, так и не выдрав второго корня, обессиленная, опустилась на табуретку рядом со мной, прислонившись головой к стене. Лицо ее было бледно, а глаза полузакрыты. Испугавшись, что ей плохо, я взял из рук санитара стакан воды и дал ей. Она выпила и поблагодарила.

— Ну как? — встретили меня Еремин и Зельма, когда я вышел.

Я сказал, что ничего. Но, должно быть, выражение моего лица не соответствовало ответу, и Еремин, как и большинство северян, знавший от всех бед одно лекарство, сразу потащил меня в комнатку к главврачу и налил мне спирта. На первые несколько минут это и правда помогло.

По телефону позвонили, что моторка выслана, и мы двинулись в дальнейший путь.

На Рыбачьем бывают приливы и отливы. Когда мы вышли из госпиталя, прилив только начинал подниматься; торчавшие из-под воды каменистые гряды мешали моторке подойти к тому

месту, до которого мы добрались. Матросы спустили шлюпку, но шлюпка не смогла подойти к самому берегу. Она подошла лишь к оконечности длинной каменистой косы, далеко выдававшейся в море и еще не залитой приливом. Идти по ней до лодки нужно было метров пятьсот. Ее уже начинало понемногу заливать водой, но на ней повсюду торчали камни, и до лодки можно было добраться, перепрыгивая с камня на камень.

Однако вскоре выяснилось, что мы не учли стремительности прилива, и вторую половину косы пришлось, как Иисус Христос, идти уже прямо по морю, глядя под ноги и нащупывая подошвами камни. Наконец, совершенно промокшие, мы все же добрались до лодки.

Лодку колотило о камни приливом; она то плыла, то вновь застревала среди камней. Приходилось снова и снова вылезать и, стоя уже по пояс в воде, вытаскивать ее на глубину. С лодки мы перебрались на моторку, а на моторке наконец добрались до того места на берегу, откуда посуху было ближе всего идти к огневым позициям артиллерии.

Мы прошли с километр, перепрыгивая с камня на камень и иногда проваливаясь в снег, и наконец добрались до пушек. Они стояли за обратным скатом высокой каменной горы, с вершины которой видны были все немецкие позиции не только на перешейке между Средним полуостровом и материком, но и намного глубже, вплоть до самой Титовки. Как выяснилось, именно эти батареи благодаря точному наблюдению с вершины горы разбили недавно два немецких гидроплана, сидевших за двенадцать километров отсюда, на воде, в Титовском заливе.

После того как Еремип принял обычные рапорты, батарея получила сверху, с наблюдательного пункта, приказание вести огонь, и тяжелые 152-миллиметровые орудия начали бить рядом с нами.

Артиллеристы привыкают к этому грохоту, а я в двадцати метрах от пушек каждый раз вздрагивал при выстреле, а потом было такое ощущение, словно мне наглухо заткнули ватой уши.

Зельма помпожко поснимал, и мы пошли наверх, на наблюдательный пункт. По воображаемой прямой это было не так уж далеко и высоко, но по той единственной тропинке, по которой можно было туда добраться, длина пути составляла около пяти километров в гору.

Отойдя на полкилометра от батарей, я обернулся. Орудия были замаскированы так хорошо, что, несмотря на солидную величину, их можно было разглядеть отсюда с большим трудом, да и то заранее зная, где они стоят.

Кругом был дикий пейзаж, нагромождение камней при пол-

ном отсутствии дорог. И я лишний раз вспомнил о той ночи, когда вот эти самые тяжелые системы перетаскивали по горам с одних позиций на другие всеми видами транспорта, а больше всего на руках и этим спасли оба полуострова.

Поднимались больше двух часов. Местами тропинка почти совсем терялась. Лезть в гору было трудно, и мне вскоре стало жарко идти в моей кожанке. Однако нет худа без добра: на подороге мы забыли о том, что промокли, даже стало казаться, что одежда начинает сохнуть.

Мы несколько раз думали, что уже долезли до самой вершины, но за ней открывалась еще одна, повая. Наконец мы добрались до небольшого плато на самом верху — гладко, почти как стол, срезанной каменной площадки, примерно сто на сто метров. На этом каменном столе местами лежали естественные нагромождения камней, и их было трудно отличить от двух искусственных — от командного и наблюдательного пунктов, тоже спрятанных в камнях. Командный пункт размещался чуть пониже, а наблюдательный — в ста метрах от него, на самом краю скалы.

Сначала мы зашли на командный пункт, где нам сказали, что командир дивизиона старший лейтенант Скробов находится на наблюдательном. На несколько метров выше командного пункта все уже начинало просматриваться с немецкой стороны, и мы, прежде чем идти дальше, надели на себя белые халаты, белые варежки, белые капюшоны, а пунктуальный начальник штаба дивизиона не забыл заставить нас спрятать под халаты бинокли и фотоаппараты. Чувствовалось, что маскировочная дисциплина стоит здесь на должной высоте.

Кстати сказать, с этим у нас далеко не всюду благополучно. Не потому, что люди не понимают значения маскировочной дисциплины, а потому, что ложное представление о храбрости заставляет их порой пренебрегать маскировкой из боязни, чтобы осторожность не была принята за трусость. Но здесь, в дивизионе у Скрובה, видимо, презирали эти ухарские соображения и маскировались самым добросовестным образом, не желая менять этот лучший в окрестностях наблюдательный пункт.

Когда мы добрались до него, то увидели, что это, как чаще всего здесь бывает, не вырытая в земле, а воздвигнутая из камней крошечная земляночка с двумя отверстиями — для стереотрубы и бинокля. Нас встретил в ней старший лейтенант Скробов, рослый человек с грубоватым умным солдатским лицом и при стальными глазами. Он отапортовал Еремину и стал подробно докладывать ему события дня. Он сообщил все замеченное за этот день, каждое мельчайшее передвижение немцев, и за словами еще чувствовался охотничий азарт человека, изучившего здесь как

дый вершок земли и уже так давно и так повседневно охотясь за немцами, что это превратилось у него из привычки в потребность.

Оказалось, что, когда мы были там, внизу, у орудий, батарея была по одной из лощин, через которые шла дорога, ответвлявшаяся с Петсамского шоссе к перешейку. В этой лощине у немцев скопилось несколько машин и два или три десятка конных. Их-то и накрыл огонь дивизиона. Лощина была заранее пристреляна, с поправками на атмосферные условия.

Скробов показал на стереотрубу засеченные им точки расположения немцев. Потом он показал нам эту, только что обстрелянную лощину. Оставалось лишь удивляться тому, как он точно знает весь этот однообразный угрюмый пейзаж, как отличает одну крошечную лощину от другой, один кустарничек от другого там, где, казалось бы, невозможно отличить это человеческим глазом. Но он все это видел и даже показывал черневшие на снегу пятнышки убитых лошадей и людей, которых немцы еще не успели вытащить из лощины.

Скробов понравился мне. Он докладывал комиссару полка очень спокойно, по-деловому. В нем не было никакого искательства перед Ереминым. Чувствовалось, что этот человек всецело отвечает за порученное ему дело и именно поэтому совершенно спокоен перед лицом начальства.

После того как Скробов рассказал мне о действиях своего дивизиона и немножко о себе и я записал все это в блокнот, он стал разговаривать с Ереминым о разных деталях служебного свойства. А я присел на чехле от стереотрубы. Зубная боль впервые вдруг отпустила меня, и начало так клонить ко сну, что я задремал, прислонившись к ледяным камням, холодный и голодный, но счастливый тем, что меня никто не трогает и я могу несколько минут поспать.

С наблюдательного пункта мы вернулись на командный. Там нас угостили из котелков обедом, который приносили сюда снизу, из-под горы, тем же путем, каким мы поднимались, — в термосах за плечами. Сегодня стояла более или менее сносная погода, но в сильный ветер и в метель это довольно тяжелое занятие. А дней, когда ветры и метели, здесь насчитывают примерно двести в году.

Пообедав, мы еще немного поговорили со Скробовым, который показал нам свою артиллерийскую документацию, в условиях такой землянки сделанную с неслыханной тщательностью, чуть ли не на ватманской бумаге, цветными карандашами и тушью. Коротко и точно ответив на все наши вопросы, он попросил у Еремина разрешения вернуться на наблюдательный пункт.

Это был несомненный самородок, выходец из рядовых красноармейцев, ставший к тому времени, когда мы у него были, старшим лейтенантом. В нем было большое чувство собственного достоинства — удивительное у человека, который абсолютно все в своей жизни сделал собственными руками. Он экстерном сдавал за десятилетку и потом за военную школу. Голова у него была большая, лобастая, с внимательными медленными глазами. Я подумал тогда, что такие люди всегда пробивают себе дорогу. Именно такого типа люди, даже в старое время, даже из кантонистов, случалось, выходили в генералы.

После ухода Скробова мы, отогреваясь перед дорогой, посидели еще с полчаса в землянке, и Зельма заставил меня прочесть собравшимся в ней артиллеристам несколько стихотворений, в том числе и «Жди меня»...

Пожалуй, именно тогда, в дивизионе у Скробова, я впервые читал еще не напечатанное «Жди меня» целому десятку людей сразу. Гриша Зельма, подбивший меня там прочесть эти стихи, потом, во время нашей поездки, где бы мы ни были, снова и снова заставлял меня читать их, то одним, то другим людям, потому что, по его словам, стихи эти для него самого были как лекарство от тоски по уехавшей в эвакуацию жене.

После того как «Жди меня» было напечатано, я читал его сотни раз и во время и после войны. И наконец через двадцать лет после войны решил было никогда больше не читать этого стихотворения. Все, кто мог вернуться, — вернулись, ждать больше некого. А значит, и читать поздно. Так я решил для себя. И больше года не читал, пока не попал на Дальний Восток к торговым морякам, рыбакам и подводникам, уходившим из дому в море на много месяцев, а иногда и больше.

Там на первой же встрече от меня потребовали, чтобы я прочел «Жди меня». Я попробовал объяснить, почему я решил не читать его, но моих объяснений не приняли. Уже по-другому, чем когда-то на войне, стихотворение все еще продолжало отвечать душевной потребности людей, имевших на это свои причины. И я отступил и снова стал читать его, хотя для меня само оно по-прежнему было связано только с теми днями войны, когда оно было написано, и в душе у меня, когда я, читая, глядел в зал, сохранялось чувство какой-то моей вины перед теми, кто ждал и все-таки не дождался.

За долгие годы я получил многие сотни, если не тысячи писем и от тех, к кому вернулся, и от тех, к кому не вернулся.

И одно из них недавно еще раз подтвердило мне всю неразрешимость этого противоречия.

Не называю имени и фамилии, потому что в данном случае дело не в них:

«...Бесконечные передачи на военные темы невыносимо теребят душу, да и уже три недели, как я не работаю — стала пенсионеркой. Не знаю, знаете ли Вы в полной мере, чем для нас, молодых «солдаток» Отечественной войны, было Ваше стихотворение «Жди меня»? Ведь в бога мы не верили, молитв не знали, молиться не умели, а была такая необходимость взывать к кому-то «убереги, не дай погибнуть». И вот появилось Ваше «Жди меня». Его посылали с тыла на фронт и с фронта в тыл. Оно вселяло надежду и в тех, кто верил, что их ждут, и в тех, кто ждал... В декабре 1943 года я получила письмо, написанное мужем 1 ноября в двенадцать часов ночи, в котором он писал: «Когда получишь мое письмо, мы уже будем по ту сторону Днепра». Это было последнее письмо. Прошли декабрь, январь и почти весь февраль. Я ежедневно многократно заглядывала в почтовый ящик и шептала, как молитву, «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло...» и добавляла: «Да, родной, я буду ждать, я умею». 23 февраля я узнала, что я, видимо, не умела ждать «как никто другой», что мне не дано дожждаться. Он был смертельно ранен 2 ноября в 10 часов утра, через десять часов после того, как он написал мне письмо. Я не хотела этому верить, не могла в это поверить даже после встречи с друзьями, присутствовавшими на похоронах. Стыдно об этом писать, но я, посмотревшись фильмов и начитавшись книг о разведчиках, по ночам фантазировала, что его заслали в разведку, в тыл врага, а для большей конспиративности разыграли его похороны. Мне и сейчас, на старости лет, часто снится, что он вернулся после длительной разлуки. Все годы я переписываюсь с пионерами, шефствующими над могилой. В день 25-летия Победы я была там. Все эти годы мои мысли многократно возвращались к Вам — автору «Жди меня», вроде Вы в чем-то передо мной виноваты. Правда, когда я была на могиле, ко мне подошли сельские женщины, успокаивали меня, и одна из них сказала: «Это большое счастье, когда есть могила, над которой можно поплакать, а вот когда «пропал без вести» или где-то погиб на чужбине, тогда тяжелей». Вот я и хочу Вас попросить от имени всех тех, кто «ждал, как никто другой», но увы... не дождался. Реабилитируйте нас. Напишите что-то в наше оправдание, а то ведь последние восемь строк Вашего стихотворения звучат для нас, не дождавшихся, как укор, упрек, обвинение...»

Но что я могу написать сейчас в ответ на это письмо? И о каких оправданиях может идти речь?

Беспощадная мясорубка войны четыре года подряд делала свое дело, не желая разбираться в человеческих судьбах. И вышло так, что я, написавший эти стихи, я, кого ждали, быть может, с куда меньшей силой и верой, чем других, вернулся, а те, другие, не вернулись...

И что теперь можно с этим поделать? Какие стихи писать, вдогонку к тем, которые я продолжаю читать и с чувством невольной вины, и с сознанием неразрешимости этого противоречия...

Возвращаюсь к дневнику.

...Под гору спускались меньше часа. Только внизу, когда уже стемнело и усилился ветер с моря, мы почувствовали, как продрогли. У меня не попадал зуб на зуб, ноги были чугунные, их жгло холодом, а промерзшее белье корбило. Но Дмитрий Иванович Еремин вдруг повернулся ко мне и сказал:

— Поросенок.

— Что поросенок? — с недоумением спросил я.

— Там у нас будет поросенок. С корочкой. Как вспомнишь, так вроде и не так уж холодно, верно?

Я невольно рассмеялся и согласился, что верно.

До берега добрались в полной тьме. Долго шли по камням, спотыкаясь и падая, и наконец свистом и криками вызвали лодку. Меньше чем через час после этого мы были снова на Среднем полуострове, в землячке Еремина. И на столе там действительно стоял поросенок с корочкой. Мне даже на минуту показалось, что у меня перестал болеть зуб.

На следующий день мы с Зельмой с утра перебрались от Еремина к пограничникам. Штаб пограничников размещался внизу, у самого моря. Здесь был наносный грунт, мягче, чем повсюду на полуострове, и пограничники зарылись в землю. Они еще накануне отправили на передний край, на перешеек, большую разведывательную партию, и сегодня ночью она должна была проходить через наши позиции в тыл к немцам.

В штабе отряда мы познакомились с комиссаром отряда Филатовым и с командиром майором Калениковым. И раньше и позже мне редко приходилось встречать людей, похожих на этого своеобразного человека. Очень большой, грузный, уже немолодой — лет сорока пяти с виду — седеющий человек с большими руками, с большим и широким загорелым лицом. Обычно он мало передвигался и сидел на одном месте, у себя за рабочим столом.

Он был очень гостеприимен, но совсем по-особому. На столе у него всегда лежало несколько пачек папирос, на полке стояла бутылка со спиртом. И невозможно было отказаться закурить или выпить, так настойчиво, с таким добродушием и хлебосольством он угощал. Разливал спирт он сам, своей хозяйской рукой по кружкам, а себе ставил самую большую, синюю эмалированную. Но когда потом начинали чокаться, выяснялось, что майор чокается молоком, потому что сам ничего другого не пьет. Да вдобавок и не курит.

Это был веселый человек, хороший рассказчик и обаятельный собеседник за столом. Всегда ровный: и во время дружеских бесед, и во время служебных разговоров с подчиненными, и, как мне говорили, во время боевых операций, — он со своим твердым спокойствием, сердечностью и какой-то особенной хозяйственной неторопливостью был любимцем всего отряда. Должно быть, такой характер, как у него, сложился на заставах, где он прослужил чуть ли не двадцать лет подряд, на польской и румынской границах, а потом здесь, на Крайнем Севере. Жизнь в замкнутом кругу маленького гарнизона с постоянными поимками нарушителей, с повседневной напряженной, нервной работой — наверно, именно она сделала его таким спокойным, неторопливым, казалось, ко всему привыкшим и ничему не удивляющимся. А уж веселый прав, видно, был дан ему от природы.

Только уже уезжая, я случайно узнал от комиссара отряда, что у майора Каленикова в начале войны на Украине погибла семья. Но он сам никогда ни одним словом ни в одном разговоре не обмолвился об этом.

У пограничников мы с Зельмой провели несколько дней. В смысле чисто военном по соседству с нами примечательных событий за эти дни не происходило, кроме одной сплетней бомбежки пристани Озерки. К несчастью, она пришлась как раз на то время, когда там разгружали привезенные ночью продукты. Было убито и ранено около двадцати человек. Бомбы ложились совсем рядом с землянками пограничников. Две из них, слава богу, в это время пустых, развалились от прямых попаданий.

Землянка, в которой мы жили, ходила ходуном, из-под бревен сыпалась земля. Все это продолжалось минут двадцать, а потом в отряде снова пошла привычная жизнь.

Мы ожидали возвращения ушедших в тыл к немцам партий. Но в первые же сутки, ночью, произошла встреча, отвлекшая меня от этого ожидания.

К Рыбачьему полуострову пристала лодка, на которой прибыли из Норвегии двое норвежских партизан. Их переправили

к пограничникам. Мне захотелось поговорить с ними, и я попросил об этом Каленикова.

Сначала в землянку пришел только один из двух. Это был, как тут называют, «русский норвежец», молодой парень, лет двадцати шести. Его родным языком был норвежский, но так же, как его отец и дед, он жил в России, в Вайда-губе, на крайней северо-западной оконечности Рыбачьего. Он служил у нас во флоте и был переправлен в Норвегию вместе с небольшой группой, в пять-шесть человек, наших морских разведчиков. О том, что произошло с ним за последние две недели, он рассказал мне и Каленикову на довольно хорошем русском языке, хотя и с сильным акцентом.

Одна из наших диверсионных групп действовала против немцев между Нарвиком и Киркенесом. Она имела радиостанцию, была связана с норвежскими партизанами и занималась не столько диверсионной, сколько разведывательной работой. Три дня назад эта группа вместе с несколькими норвежцами — в их числе было двое рыбаков и старый учитель, участник обороны Нарвика, — была застигнута немцами в маленьком доме на берегу океана. После короткого рукопашного боя три человека, в их числе командир группы, погибли, а остальные ушли обратно в горы. Туда, где у них оставалась рация.

После этого рассказчик вместе со стариком учителем пробрался в рыбацкий поселок, взял там лодку и в страшную бурю, содрав до крови руки, сделав шестьдесят миль па веслах, добрался до Рыбачьего полуострова.

Рассказывал он об этом обо всем с подробностями, врезавшимися в память. Вроде того, например, что у командира отряда была лысая голова и отросшая за неделю скитаний рыжая борода и что по этим приметам его и узнали потом пришедшие на место боя рыбаки.

Рассказчик и старый учитель переправились на Рыбачий полуостров вдвоем, с тем чтобы сообщить сюда все полученные за последние две недели сведения о передвижении немецких транспортов, войсковых частей и о базировании немецких самолетов. То, что они по такому бурному морю проплыли в шлюпке на веслах шестьдесят миль и не потонули и добрались, следовало считать чудом. Правда, надо добавить, что они оба были норвежцами, то есть рожденными моряками.

У меня так и стоит в ушах весь этот его рассказ, со всеми подробностями и мелочами. И его голос, и его совершенно особая манера речи, когда он, сидя в своей старой, просоленной фуфайке, поджав ноги на койке Каленикова, говорил все это со своим сильнейшим норвежским акцентом, почти после каждой фразы

повторяя очень забавно звучавшую в его устах присказку: «Едят его в корень».

Мне не хочется записывать еще раз весь ход его повествования в тот вечер, потому что все это почти с абсолютной точностью уже изложено мною в рассказе «В скалах Норвегии». Помню, как я жалел, когда писал этот рассказ, что мне приходится сознательно зашифровывать в нем кое-какие вещи, да и называть его рассказом, потому что вся эта история выглядела бы куда интереснее, если бы читатель мог знать, что в ней нет выдумки...

Совсем недавно, весной 1975 года, одно неожиданное для меня письмо еще раз подтвердило, что, к сожалению, в рассказе «В скалах Норвегии» действительно не было выдумки.

«...Давно я прочла Вашу книгу «Мурманское направление», и то, что Вы там пишете о гибели командира, и что этот командир был лысый, все совпадает с гибелью моего мужа, ст. лейтенанта Кудрявцева Георгия Васильевича. Сразу после войны мне рассказали очевидцы о гибели моего мужа, и все очень схоже с описанием в Вашей книге, которую я прочла позже, только разница в том, что у нас было два сына, а не дочь, о которой Вы упоминаете. Он погиб 20 октября 1941 года в Норвегии. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Сам он был разведчик, но задание, которое он выполнил, к его разведывательной работе не относилось. Просто некого было послать подорвать работу аэродрома, задание было выполнено.

По возвращении их отряд, которым руководил мой муж, должен был быть снят подводной лодкой, но лодка не подошла, поэтому они были вынуждены започевать в избушке лесника, который считался своим человеком, но предал их за мешок муки. Я сейчас искала в своем книжном шкафу Вашу книгу, чтобы восстановить в памяти точность Вашего описания, но не нашла, дети мои ее запрятали, т. к., читая ее, я очень плакала и кричала: «Юрка, да это же ты». Поэтому прошу Вас, если Вы можете, припомните фамилию того командира и напишите мне, если это был?

С искренним приветом *Кудрявцева Людмила Анатольевна.*

P. S. Книгу нашла у сына, перечитала «В скалах Норвегии». И еще больше убедилась, что это именно был он...»

Фамилию командира, названную в письме, я припомнить не мог, а скорей всего тогда в разговоре норвежец и не называл мне ее.

Но и примерная дата, и примерное место гибели, и некоторые ее обстоятельства, и внешность погибшего — все совпадало. И, учитывая все эти совпадения, вряд ли в моем рассказе могла идти речь о каком-то другом человеке.

Последнее слово, как почти всегда, могли сказать только архивы военного времени. Прочитав это скорбное письмо, я обратился к их помощи. И сначала получил сведения о том, что Георгий Васильевич Кудрявцев действительно был заброшен — там, на севере — в тыл противника и погиб, выполняя задание, осенью 1941 года, а потом прочел подписанную его непосредственным начальником реляцию о посмертном награждении орденом Красного Знамени:

«...Группа разведчиков, которую он возглавлял, пахотилась в глубоком тылу противника 50 дней... Кудрявцев дважды попал в окружение, из первого окружения с боем вышел, потеряв одного убитого, при втором окружении, идя на прорыв, был убит... Не щадя своей жизни, погибший при выполнении особого задания в глубоком тылу противника, Кудрявцев вполне достоин посмертной награды орденом «Красное Знамя», что будет служить символом воспитания для двух его сыновей...»

Возвращаюсь к дневнику.

...Когда мы поговорили с молодым норвежцем, он ушел и вернулся уже вдвоем. Второй норвежец, школьный учитель, был невысокий старик, на первый взгляд казалось, несильного телосложения, а на самом деле весь подобранный, крепко сбитый, копенастый. Он был в старых железных очках и говорил неторопливо, спокойно и охотно. Рассказывал о последних днях независимости Норвегии, о том, как они сражались в Нарвике и как они, будь на то их воля, не ушли бы оттуда. Он много говорил о норвежском короле, которого он откуда-то лично знал. А еще больше о пасторах, которые, по его словам, были одними из главных оплотов антигерманского движения в стране.

В старом школьном учителе, в его уважении к королю, к пасторам, к национальному укладу жизни чувствовалась вся патриархальность этой северной страны, все ее честные обычаи, вся прочность ее привычек и пристрастий.

Помню, тогда, когда я его слушал, мне подумалось, что именно для этих, казалось бы, невоинственных людей присутствие немцев нестерпимо, что они никогда не перенесут этого присутствия и что вся их жизнь питается только верой в то, что все это прекратится, что где-то в Англии есть король и есть армия, что оттуда уже переплыли и продолжают переплывать норвеж-

кие офицеры и что скоро настанет час освобождения. И в нас, русских, старик верил всею душой, считая, что мы непременно будем причастны к освобождению его Норвегии.

Мы проговорили с норвежцами весь вечер. И хотя по внешности все было очень обычно и просто, на меня дохнуло романтикой, а на войне это не так-то часто бывает. Причиной были сами эти люди, и их рассказ, и то, что разговор происходил на краю света; снаружи, за стенами землянки, одновременно бушевало море и гудела метель, и все это вместе взятое было так бесконечно далеко от Москвы...

Весь следующий день прошел в разговорах с людьми о прошлых походах разведчиков из этого пограничного отряда. Я спрашивал о боевых действиях, а сам имел вид далеко не боевой. Зубная боль не отпускала, и заботливый Калеников вручил мне из своих запасов, оставшихся еще с финской войны, химическую грелку. Заливая эту грелку водой, чтобы она не остывала, я весь день так и держал ее привязанной к щеке.

Ближе к ночи атмосфера в блиндаже становилась все тревожнее. Калеников и Филатов с нетерпением ждали сведений о своей роте, переправившейся в тыл к немцам. Если там, в тылу немцев, все прошло благополучно, пограничники должны были сегодня к часу ночи выйти обратно к нашим позициям.

Я сидел напротив Каленикова, который, поглядывая на телефон, пил свое неизменное молоко, когда ровно в два часа ночи раздался звонок. С переднего края через промежуточную станцию передали, что разведчики вышли обратно на линию фронта.

Через полтора часа, замерзшие, багровые от мороза, приехали на конях двое командиров из возвратившегося отряда. Калеников сразу же налил им по стакану водки и лишь после этого стал слушать их рассказ. Водка была кстати, потому что они оба обмерзли почти до потери сознания. Они рассказывали горячо, перебивая друг друга, но в общем толково и подробно, главное, не теряя за подробностями сути.

Надо сказать, что рассказы об этой разведывательной операции были для меня, как для корреспондента, пробным камнем. По ним можно было проследить, как люди рассказывают о пережитом ими сразу же, через час, через несколько часов, через сутки. В течение этой ночи и следующего дня я провел кропотливую работу, расспросил больше двадцати участников рейда по немецким тылам о том, как все происходило. Мною было записано с их слов примерно страниц восемь — десять, которые послужили материалом для очерка «По дороге на Петсамо».

Но дело не в том, как я сумел использовать эти рассказы в очерке, а в том, что я на этот раз мог проследить, как видоиз-

меняется сам рассказ об одном и том же событии. Видоизменяется без всякого злого умысла, просто по законам психологии. Начиная с рассказа людей, только что приехавших с первым донесением, еще обмерзших, еще дрожащих от волнения, и кончая рассказами людей через сутки после их возвращения, людей, уже выпавшихся, помывшихся в бане, а главное, подробно поговоривших между собой и как-то невольно уже усвоивших общую точку зрения на происходившее.

Я впервые тогда так остро почувствовал и взял на заметку для будущего, что рассказы, которые тебе удастся услышать непосредственно по горячим следам, сразу после событий, отличаются не только большей достоверностью, но и большим количеством живых, непридуманных деталей. Когда я наталкиваюсь на такой рассказ, то потом стараюсь почти стенографически передать все то, что мне рассказал человек. В таких случаях ничего не нужно придумывать, надо только суметь расположить тот материал, который услышал.

Оба командира, едва успев донести о результатах рейда, о том, что он прошел благополучно, что мост взорван и при этом потеряно всего два человека, повалились на лавки и заснули мертвым сном. Всего два человека погибших — немного для такой операции, но Калеников в эту ночь очень сокрушался о них. Он, что вообще характерно для пограничного командира, знал обоих по именам и отчествам, знал их в лицо и, говоря о них, напоминал недавно пришедшему в отряд комиссару, какие они были с виду: «Да этот вот такой рыжеватый, с веснушками. А этот — высокий черный парень, у него дисциплина, помини, хромала...»

Слова Каленикова навели меня на размышления о том, почему пограничники с самого начала войны так хорошо и стойко дрались. Думается, в значительной мере потому, что именно в пограничных частях командеры отлично знали своих бойцов.

Почти сутки подряд записывая рассказы участников рейда, я устал как собака. Рука у меня просто не работала — столько пришлось записывать.

Приближалось время нашего возвращения с Рыбачьего на материк. Оставалось съездить на день в расположение полка, стоящего на самом хребте Муста-Тунтури. Мы выехали туда рано утром на следующий день вместе с Филатовым, который должен был встретить там остальных, еще не вернувшихся в отряд, пограничников. Нам заложили санки, и пара довольно бойких лошадей повезла нас по санной дороге в полк.

Погода по нормам Рыбачьего стояла удачная, только слегка поросил мелкий снег. К тому же нам еще и повезло, что нем

ды, на нескольких участках просматривавшие и обстреливавшие дорогу, на этот раз так и не выпустили ни одного снаряда.

До полка мы добрались за два часа. Его командный и наблюдательный пункты были расположены на скатах каменистого холма. Был обычный день. Шла редкая артиллерийская перестрелка, иногда стреляли пулеметы. Ночи были здесь кровопролитнее дней. И наши, и немцы в боевых охранениях лежали друг от друга на расстоянии гранатного броска, и всякую ночь вспыхивали стычки.

А вообще говоря, не только тут, на перешейке, но и на других крайних северных участках фронта наиболее активные операции были связаны в то время с действиями разведывательных партий. В дни затишья именно они нанесли немцам самый чувствительный урон. По крайней мере такое впечатление сложилось у меня.

Здесь, в полку, я записал со слов солдат несколько любопытных рассказов о боях в скалах Муста-Тунтури. И среди них — рассказ сержанта Данилова; вместе с рассказом его однофамильца Данилова из ереминского полка он вошел в очерк «Однофамильцы». А точнее, весь очерк, в сущности, составил у меня из этих двух почти топографических записей в блокноте...

Одну из этих записей, верхней кусочек из нее, я уже привел. Приведу теперь страничку и из второй. Что-то самое главное в обеих этих людях объединяло их в моем сознании гораздо прочней, чем та чистая случайность, что они оказались однофамильцами.

«...Одна граната ударила о край скалы, а потом мне на каску, а с каски на камни и перед лицом разорвалась. Порапило лоб, щеки, шею, лопатку. Я бросил свою последнюю гранату и отошел назад.

Пошел вниз, а тут двое ребят раненых, один в ногу, а другой в спину. Один плачет, говорит: «Ради бога, перевяжи, зайду кровью». И я свой биит на них и истратил. Хотел, чтоб себя перевязать, рубашку рвать, но сперва спросил: «Как у меня, сильно кровь идет?» — «Нет, — говорят, — подсыхает». Ну раз так, я перевязывать не стал. А один из них — сил у него не было — винтовку впереди оставил. Ну, я сразу ему винтовку принес, потому что какой же боец без винтовки? Когда шел братпо, нес ему винтовку, меня в поясницу — миной. Один из них мог еще идти, а второго я взял на плечи. А тут опять миза — фыр! Я как кинусь на лапки и дальше прямо на животе, как змея. Тряхнул его малость, когда падал, он пискнул. Я говорю: «Ничего, Ванька», — его Ванькой звали. В общем, доставил его к санитарам.

Тут еще лежал раненый наш лейтенант. Я говорю: «Чего же, надо и вас снести!» Пошел за носилками, санитаров не было. Принес носилки, а тут санитары подошли. Ну, я им его сдал, а сам полез обратно.

Теперь будем лучше воевать, маленько подучились...

На этих многозначительных для сорок первого года солдатских словах и обрывалась в блокноте запись рассказа второго из двух сержантов Даниловых — Ивана Фаддеевича.

...Пришлось мне поговорить и с комиссаром полка. Это было любопытно по сочетанию крайностей: Рыбачий полуостров Муста-Тунтури — крайняя северная точка фронта — и назначенный недавно комиссаром полка казах, старый кавалерист Кузжухметов, человек южный, бронзовый, со смешным и трогательным акцентом объяснявший по-русски.

Обратно из полка возвращались затемно. Когда вернулись в отряд к Каленикову, выяснилось, что в заливе произошла целая драма. Морские разведчики, которым было приказано как можно быстрее вывезти на материк норвежцев, доставивших важные сведения, пришли в Озерки на своем боте, не дожидаясь полной темноты. Немецкая артиллерия с мыса Пикшуева заметила и стала гвоздить по ним. Деться было некуда, оставалось идти вперед. Они и шли, пока в них не попало несколько снарядов. Выбросились на камни. Капитан мотобота был убит, несколько человек ранено. Кое-как по камням перебрались на берег.

Тяжелая батарея с Рыбачьего открыла огонь по Пикшуеву мысу и подавила немецкую артиллерию, но поздно.

В эту ночь на материк отплыл мотобот, и нам с Зельмой предстояло на нем возвращаться.

Прощальный вечер начался неудачно. Еремин решил, что мы с Зельмой должны помыться перед дорогой; мы помылись в его баньке, оделись в чистое и пошли погреться к нему в блиндаж, оставив в предбаннике вещевой мешок с тем бельем, которое сняли с себя; нам обещали потом прихватить его. Но больше этого белья мы так и не видели. Пока мы обогревались у Еремина, налетели немецкие бомбардировщики, разбомбили баню и предбанник. Жалкие остатки моего, очень пригодившегося мне здесь, на севере, шерстяного белья, как на смех, закинуло на телеграфный столб.

Оставалось утешаться тем, что все же нам повезло, что мы не задержались в бане еще минут на пятнадцать.

Перед отъездом мы собрались в блиндаже у Каленикова, чтобы поужинать на прощанье. Кроме Каленикова и Филатова, были Еремин и командир артиллерийского полка майор Рыклис. Вышло так, что я впервые познакомился с ним только в этот последний вечер, когда он рассказал мне происшедшую с ним и с одним из его подчиненных, с сыном его старого друга, историю, которую я потом положил в основу поэмы «Сын артиллериста».

Рыклис оказался отличным рассказчиком. Калеников тоже разошелся, рассказывая разные истории из пограничной жизни. Мы с Зельмой не остались в долгу, и к двум часам ночи, когда нам предстояло выходить в метель и грузиться на бот, нам уже было все ни почем. Филатов проводил нас до пристани; мы втиснулись в маленькую кают-компанию бота — она же кубрик, она же все на свете. Зельма устроился внизу, а я, еще раз подлив воды в свою химическую грелку и улегшись на нее щекой, пригостился на верхней полке под потолком каюты.

На этот раз в море сильно мотало. Люди, находившихся на мотоботе, выворачивало наружу, но у меня так болели зубы, что мне было не до этого. И я, так и не сомкнув глаз и забыв о всяких морских болезнях, только считал часы и минуты до возвращения в Мурманск.

В Мурманске мы выгрузились к вечеру следующего дня, и я прямо с пристани пошел в поликлинику к зубному врачу, который наконец вырвал мой проклятый корень.

Так закончилась наша поездка на Рыбачий и Средний полуострова...

А теперь издали, с расстояния в тридцать с лишним лет, сначала несколько слов о том, что представляли собой полуострова Рыбачий и Средний во всей системе нашей обороны на севере, а затем — несколько страниц о людях, с которыми я там встречался, и об их последующих судьбах.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Арсений Григорьевич Головкин писал о Рыбачьем так:

«Кто владеет Рыбачьем и Средним, тот держит в своих руках Кольский залив. Без Кольского залива Северный флот существовать не может. Самое же главное — Кольский залив нужен государству. Мурманск — наш океанский порт...»

Несколько в других словах, в сущности то же самое, сформулировал в своей военно-исторической работе «Ход войны на севере и ее итоги» и бывший член Военного совета Карельского фронта Геннадий Николаевич Куприянов:

«Трудно переоценить значение Рыбачьего для обороны всего советского Заполярья. Еще тогда, в июле — августе 1941 года, когда шли упорные бои на Мурманском направлении, руководитель обороны севера генерал Б. А. Фролов не раз подчеркивал, что кто владеет Рыбачьем, тот владеет и Кольским заливом, тот, в конечном счете, владеет и Мурманском».

Приведенное Куриряновым высказывание командующего Карельским фронтом относится к июлю — августу сорок первого года. Оно в полной мере сохраняло свою актуальность и к тем октябрьским дням сорок первого года, когда я попал на Рыбачий. Цену Рыбачьему знали не только мы, но и противник. В директиве германского верховного командования от двадцать второго сентября 1941 года приказывалось:

«В первой половине октября возобновить наступление на Кандалакшу и одновременно, еще до наступления зимы, овладеть по меньшей мере западной частью полуострова Рыбачий и тем самым исключить возможность ведения огня артиллерией противника и действий его торпедных катеров с целью блокирования подступов к порту Липхамари».

Итак, именно тогда осенью немецким войскам было приказано овладеть по меньшей мере западной частью Рыбачьего.

Не берусь судить, какими путями, но эти намерения немцев стали известны нам, и седьмого октября сорок первого года командующий Северным флотом получил от Военного совета Карельского фронта директиву, в которой сообщалось, что, имея в виду, что противник готовился к захвату полуостровов Рыбачий и Средний. При попытке захвата полуостровов не исключалась возможность использования противником воздушных и морских десантов. В связи с этим было приказано:

«Командующему Северным флотом усилить наблюдение, охрану побережья полуостровов и подходов к ним, могущим быть использованными противником для высадки морских десантов. Штабам Северного флота, 14-й армии еще раз практически проверить в гарнизонах полуостровов, в войсковых авиационных штабах вопросы взаимодействия между авиацией береговой обороны и подвижными резервами по уничтожению десантных войск противника как при подходе к району высадки, так и после высадки. Постоянно вести тщательное наблюдение за противником и глубокую войсковую и агентурную разведку с целью предотвращения всяких неожиданностей».

Видимо, в пору моего пребывания на Рыбачьем те особенно активные действия разведчиков, о которых я писал, были, в частности, связаны и с получением этой директивы. Разведывательные сводки того времени дают представление о размахе и

тщательности работы пашей разведки там, на севере. Сведения, получаемые из разных источников, в том числе от дальних разведывательных партий, захватывавших пленных порою в очень глубоком немецком тылу, сочетались с ювелирной работой по наблюдению над передним краем противника.

Вот несколько разнохарактерных выписок из этих осенних разведсводок сорок первого года, взятых за разные дни.

«...На Мурманском направлении противник производит перегруппировку своих сил, на своем левом фланге подтягивает свои резервы к линии фронта...»

«...У пристани Липахамари танкер под погрузкой и на берегу четыре цистерны красного цвета. Южнее пристани Липахамари два транспорта среднего тоннажа на рейде...»

«...Из Швеции через Рованиemi в район Солмиярви прибыла немецкая пехотная часть численностью до пяти тысяч человек. Часть имеет автомашины и мотоциклы...»

«...На Мурманском направлении противник подвозит боеприпасы, продовольствие и ведет разведку перед фронтом и на флангах...»

«...В результате боевых действий разведотряда на коммуникациях противника Петсамо — Титовка захвачены четыре пленных немца. Из них один капитан, два лейтенанта и один шофер. По документам установлено, что части противника, действующие у Рыбачьего, приданы шестой горноегерской дивизии. По показаниям пленного капитана, шестая горноегерская дивизия прибыла не на замену второй и третьей горноегерским дивизиям, а для их усиления...»

«...По дороге от Паркена к озеру Сатаярве до ста крытых машин, голова колонны в координате 1436. Впереди колонны две легковых автомашины...»

«...В районе хребта Муста-Тунтури к фронту прошло до тридцати вьючных лошадей и до семидесяти человек пехоты...»

«...В районе Муста-Тунтури движение девяноста солдат противника и колонны в составе тридцати лошадей...»

«...В районе координата 0030 А-В скопление пехоты и автомашин...»

«...В районе координата 0260 скопление пехоты до батальона».

«...Разведгруппой в результате боя подобран убитый унтер-офицер, принадлежащий батальону СС «Фюрер»...»

«...Через Швецию в Киркенес на самолете прибыл германский генерал. Этим же маршрутом прибыл еще один генерал...»

«...На Мурманском направлении противник производит подмену подразделений на переднем крае...»

Так выглядели в те дни разведводки с самого северного участка нашего фронта. Сведения, разные по своим источникам, масштабу и значению, все вместе взятые, говорили о напряженности обстановки и о подготовке немцев к выполнению той директивы своего верховного командования, которую им так и не удалось выполнить — ни тогда, ни потом.

А теперь о людях, с которыми я встречался там, на Рыбачьем.

Несколько лет назад я получил письмо от бывшего разведчика 178-го артиллерийско-минометного полка, а ныне мастера треста Алтайводстрой Филиппа Васильевича Галутского. Он делился в этом письме со мной своими волнениями, связанными с розысками однополчан, и посылал на мой суд свое стихотворение «Однополчанам», написанное, как он выразился в письме, «так, для себя». Если судить это стихотворение с чисто литературной точки зрения, оно действительно не для печати, и все же мне хочется привести его здесь, потому что в нем неумело, но пронзительно высказано то очень дорогое для участников войны чувство, с которым многие из них и по сей час не хотят и не могут расстаться:

Где же вы, друзья!
Вас было очень много,
Я вас не забыл — пелюзя.
Однополчане сто семьдесят восьмого,
Всю жизнь я вас ищу,
Любимые солдаты, командиры.
Получив письмо — ответ — грущу.
И снятся мне атаки и мушкетеры.
Исколесил я письмами все дали,
Где же вы теперь, парторг, комбат,
Вручавшие нам ордена, медали?..
Я вас найду, я ваш солдат...

Конечно, с наибольшей остротой то чувство, которое выражено в этих стихах, испытывает истинный фронтовик, человек, переживший войну на ее переднем крае, если не всю, то хотя бы какую-то часть ее провоевавший в одной и той же части, рядом с одними и теми же людьми, которых иногда отнимала смерть, а иногда возвращали госпитали.

Однако и мне, военному корреспонденту, тоже в какой-то мере свойственно это чувство, желание выяснить, найти, узнать. Хотя я никогда за войну не служил в одной части ни с кем, кроме моих товарищей по «Красной звезде», однако люди, встреченные хотя бы накоротке и порой всего единожды за войну, но запавшие в душу или по тем или иным причинам оставшиеся в памяти, в какие-то минуты войны для меня были однополча-

нами. Наверное, без этого, пусть скоротечного чувства своей причастности к тем людям, к тому коллективу, в который ты попал как военный корреспондент, вряд ли можно было душевно выстоять, проработав всю войну в далеко не самой трудной — я уже писал об этом, — но, добавлю, в то же время и в самой одинокой из всех профессий — военного корреспондента. И привел я здесь эти стихи потому, что с их помощью мне легче объяснить то желание пройти по дальнейшим следам встреченных мною в разные дни войны людей, которое одолевает меня всякий раз, когда я заново встречаюсь с ними, перечитывая свои дневники.

О Данииле Ефимовиче Красильникове, полковнике, а впоследствии генерале, руководившем обороной Рыбачьего и Среднего, уже через несколько лет после войны один из его подчиненных, Рыклис, писал мне так:

«Если уж говорить о том, чья заслуга, что Рыбачий и Средний не были захвачены немцами в первые же дни войны, то это в значительной степени его заслуга. У него я учился мужеству в те трудные дни. Это был властный, опытный боевой командир, участник событий в Испании... И если бы не он, судьба Рыбачьего, возможно, была бы решена по-иному. Где он теперь?..»

К тому времени, когда Рыклис задавал этот вопрос в своем письме, Красильникова уже не было на свете. Дойдя до Берлина во главе 265-й Выборгской дивизии, он несколько месяцев спустя погиб в автомобильной аварии все-навсего на сорок седьмом году жизни. Я не могу документально подтвердить здесь слова Рыклиса о том, что Красильников воевал в Испании, потому что такого рода сведения не всегда найдешь в документах. Но даже если не считать Испании, воевал он много. Сначала бойцом и командиром взвода всю гражданскую войну с восемнадцатого до двадцать первого года, до Кронштадта, под которым был ранен. Потом командиром полка в финскую войну. Потом четыре года Великой Отечественной...

Комиссар Красильникова Павел Андреевич Шабунин тоже повоевал на своем веку достаточно. С 1915 года служил в царской армии, в семнадцатом вступил в красную гвардию, до конца двадцатого года воевал на врангелевском фронте, а потом на Туркестанском — с басмачами. В дневнике я правильно определил его возраст, тогда, в сорок первом году, на Рыбачьем ему было уже под пятьдесят. Тяжелая астма год спустя вынудила его перейти на тыловую работу — начальником политотдела одного из тыловых учреждений Карельского фронта. На этой должности он и закончил войну.

Командир пограничного отряда на полуострове Среднем Иван Иустинович Калеников, провоевав большую часть войны там, на севере, к концу ее, как и другие оставшиеся в живых командиры-пограничники, вернулся к своим прежним прямым обязанностям — несению службы на государственной границе, а когда ушел в отставку, поселился на юге, в Молдавии, где в свое время немало прослужил на границе. В 1969 году я получил от Каленикова письмо, в котором он сетовал, что во время моей поездки на Дальний Восток в район острова Даманского я не повидал там его дочь, хотя был совсем недалеко от нее. Оказалось, что, вопреки сведениям, которые сам Калеников имел тогда, в сорок первом году, его семья спаслась, а дочь Каленикова после войны вышла замуж за офицера-дальневосточника. У семей пограничников и армейцев своя география жизни. Тесть когда-то воевал поблизости от Ледовитого океана, а зятю через двадцать восемь лет пришлось служить вблизи от берегов Тихого.

Командант «бородавки» гавани Эйна — Иосиф Моисеевич Гинзбург, по специальности артиллерист, командир зенитной роты, успевший к тому времени, когда мы встретились с ним, сбить над Рыбачьим уже семь немецких самолетов, впоследствии стал начальником штаба одного из батальонов морской пехоты, дошел до Германии, а потом судьба забросила его в город Юкки, в Северную Корее. Демобилизовавшись в звании подполковника, он через несколько лет после войны ушел, как говорится, на гражданку и работает в заводууправлении одного из предприятий в Черкассах, на Украине.

Михаил Николаевич Моля, которого я застал на Рыбачьем представителем штаба флота в отряде торпедных катеров, в ходе войны неоднократно награжденный, в том числе высшими морскими орденами Ушакова и Нахимова, кончил ее командиром бригады охотников за подводными лодками.

«Поэт Рыбачьего полуострова», Николай Букин, написавший знаменитую среди северян песню «Прощайте, скалистые горы», встреченный мною тогда на Рыбачьем в сержантском звании, через много лет после этого ушел в отставку полковником и сделался профессиональным литератором.

Долго с помощью очень душевно чутких в таких делах работников нашего военного архива разыскивал я хоть какие-нибудь следы обоих упомянутых в моем дневнике сержантов Даниловых — и Ивана Фаддеевича, и Александра Ивановича, но умения оказалось слишком мало дополнительных данных для того, чтобы в безбрежном море связанных с войной документов личного состава многомиллионной армии найти людей со столь распространенной фамилией, как Данилов, с такими то и дело

встречающимися именами, как Иван и Александр. На фронте были многие тысячи Даниловых — и верпувшихся с войны, и не вернувшихся, — и среди них многие сотни Иванов и почти столько же Александров, сотни Ивановичей и десятки Фаддеевичей. Словом, из-за огромности войны дальнейших следов судьбы двух этих людей мне так и не удалось найти. Кстати сказать, эту огромность войны, ее действительную всенародность иногда с особой остротой ощущаешь через что-то одно, иногда через что-то другое, а бывает, что и через фамилии. Написав в свое время трехтомный роман о войне, я упомянул в нем по ходу дела сотни самых разных русских и нерусских фамилий. Эти фамилии не были подлинными, я по праву романиста придумывал их, а вернее, брал более или менее привычные, распространенные фамилии, бывшие у меня на слуху и на памяти. И вот в течение уже многих лет я нет-нет да и получаю письмо: быть может, я знаю дальнейшую судьбу такого-то или такого-то солдата, сержанта или лейтенанта, фамилия которого упоминается у меня в романе как имя живого тогда человека? Или: не знаю ли я, где в точности похоронен тот, о ком я упоминаю как о погибшем в бою или смертельно раненном? И почти в каждом случае в этих письмах указывается, что их сын, или брат, или муж — человек именно с этой фамилией, а порой именно с этим именем и отчеством — воевал именно в этом солдатском или офицерском звании, в тех примерно местах, о которых я пишу в романе, и погиб или пропал там без вести. Год за годом, отвечая на эти трудные письма, я объясняю моим адресатам, что в романе шла речь о вымышленном мною, а не о подлинном, близком им человеке и что поэтому я не могу помочь им в розысках. Я постепенно собрал множество этих скорбных писем, обычно по несколько на каждую фамилию. Перечитывая их недавно все подряд, на этот раз именно через них заново, с новой остротой ощутил и огромность войны, и безмерность понесенных на ней потерь.

Как я уже сказал, следов ни одного из двух Даниловых я так и не нашел. Но следы человека с более редкими именем и фамилией, того молодцеватого сапера-казаха, с которым мы разговаривали в саперном батальоне, Айтмагомбета Арешева, — его следы я все-таки обнаружил. К сожалению, следы эти оказались печальными. В карточке, которую мне после долгих розысков принесли в архиве, стояло:

«Западно-Казахстанская область, Урмитский район. Казах, учащийся, холост, детей нет, военное образование — школа сержантов, член ВКП(б), награжден медалью «За отвагу», и последняя запись: «Умер от рап. 11/VI-42, полуостров Рыбачий».

Прочитав это, я невольно подумал, что через год после того, как мы с ним виделись, он умер от ран, наверно, именно там, в подземном госпитале на Рыбачьем, возле которого рядышком стоял тогда их саперный батальон. И, обратившись к своему фронтовому блокноту, как-то заново, с горечью прочел последние строчки тогдашней моей записи разговора с этим человеком, про которого в архивной карточке было сказано: казах, учащийся, холост... Вот эти строчки:

«...Полюбил в горах ходить. Как встали на лыжах, так и свою тоску об лошади забывали. Когда война кончится, поеду домой и женюсь, и жену сюда привезу, непременно на север...»

Мне остается сказать о судьбах еще трех людей, встреченных мною на Рыбачьем, — трех сослуживцев по 104-му тяжелому артиллерийскому полку.

Его командир Ефим Самсонович Рыклис, которому к началу войны было тридцать шесть лет, девятнадцать из них уже успел прослужить в артиллерии, за вычетом тех двух лет, на которые он выбывал из армии при обстоятельствах, которые мы кратко именуем сейчас периодом необоснованных репрессий. Вернувшись в 1939 году на ту же должность командира дивизиона, которую ему пришлось покинуть в 1937 году, и восстановившись в партии, он участвовал в финской войне и за три месяца до начала Великой Отечественной был назначен командиром полка на Рыбачьем. И в том же сорок первом году, осенью, там, на Рыбачьем, получил свой первый из трех орденов Красного Знамени. На севере воевал до середины 1943 года, а потом всю остальную войну, командуя артиллерией 27-го стрелкового корпуса, дошел до Виттенберга на Эльбе, отделившись за всю войну только двумя легкими ранениями и дослужившись до полковничьего звания.

Подчиненный Рыкписа, старший лейтенант Яков Дмитриевич Скробов, командовавший там, на Рыбачьем, в его полку одним из дивизионов, тоже закончил войну в звании полковника. Прodelав во время войны блистательный путь от командира дивизиона до начальника штаба артиллерии Первого Украинского фронта, Скробов по воле военных судеб, среди многих артиллерийских начальников, которые находились у него в подчинении, имел и своего бывшего командира полка, чей корпус входил в состав Первого Украинского фронта.

Лет десять назад мне довелось беседовать о последних наступательных операциях этого фронта с его командующим Иваном Степановичем Коневым, который при всей его скупости на похвалы отзывался мне о Скробове как еще об очень молодом

в то время, по исключительно способном артиллеристе. От командира дивизиона до начальника штаба артиллерии огромного фронта, в который входило больше десяти армий, дистанция огромного размера. Да и должность эта, разумеется, генеральская. Однако Скробов исполнял ее, находясь в полковничьем звании. До большего по молодости лет он в годы войны не дослужился; дослужился уже после войны до генерал-лейтенанта артиллерии и в свой черед и срок ушел в отставку, написав мне об этом кратко и без горечи, как о должном и необходимом:

«...Ушел в отставку. Возраст и здоровье не позволяют тянуть в полную силу служебную лямку, а раз так, надо уступать место тем, кто ее может тянуть, то есть молодым. Завершив военную службу, могу сказать, что я доволен своей судьбой, судьбой военного человека, служившего Отечеству в Вооруженных Силах».

Командуя артиллерией далекого военного округа, было недосуг добираться до места своих первых боев, чуть ли не на другой конец света. Но, выйдя в отставку, Скробов не замедлил съездить на Рыбачий и Средний, а съездив, написал «Заметки о минувшем», копию которых прислал мне для сведения.

И надо сказать, что эти заметки неожиданно поразили меня своим тоном, казалось бы, никак не свойственным этому суровому и молчаливому человеку. Должно быть, первые впечатления войны у каждого по-своему врезаются в душу с особенной силой.

Вот что писал Скробов о своих впечатлениях от увиденного им на Рыбачьем через тридцать с лишним лет после того, как он воевал на этой суровой земле:

«...Время и природа оставили в полной сохранности траншеи, дзоты и доты и другие оборонительные сооружения, из которых наша пехота отбивала атаки врага. Целы наблюдательные пункты и огневые позиции артиллерии, с которых она обрушивала свой огонь. Сохранились командные пункты частей. Словом, сохранилось все, что было сделано разумом и руками рыбачинцев во имя неприступности обороны, потому что это «все» сделано из камня и выдолблено в камне, и, право же, кажется, что обитатели этих оборонительных сооружений оставили их совсем недавно. Только обвалились перекрытия блиндажей и землянок, не выстояло дерево, дерево — не камень, недолговечно, сгнило. Сохранились и следы происходившей здесь тяжелой борьбы. Время не зарубцевало раны изрубленного войной камня. На Муста-Тунтури, обтесанной металлом войны, ничего не растет, даже нет лишайника. И долго ничего не вырастет,

потому что не на чем расти. Голый камень не родит. В безмолвии лежат участки каменистой поверхности Рыбачьего, исковерканные разрывами авиабомб и снарядов. Много воронок, больших и малых. Полярные ветры давно выветрили из них песок, разметавший взрывами, по белая, как мраморная крошка, взрывная каменистая россыпь и стальные осколки сохранились. Вдоль траншей и в самих траншеях вокруг НП, огневых точек и в других местах, где сидели рыбачинцы, как щбенка, лежат осколки, пули, стреляные гильзы, а кое-где ручные гранаты и патроны. Осколки уже покрылись толстой коркой ржавчины, а пули и гильзы позеленели, но лежат там, куда их бросила война. Могилы погибших некогда были обложены диким полярным камнем и лишайником. На них были установлены дощатые пирамидки с подписями. Пирамидки подгнили и упали, надписи уничтожила непогода и время. Находясь на одном из таких кладбищ у подножия Муста-Тунтури, я вспомнил бои за Одером в 1945 году и престарелого генерала-артиллериста, выговаривавшего молодому командиру дивизии полковнику за то, что в полосе его дивизии генерал обнаружил незахороненный труп убитого лейтенанта, лежавший у дороги, по которой шли войска. Помнится, генерал говорил: «Своевременно и с почестями похоронить павших в бою — это немаловажный моральный фактор для живых. Что подумают бойцы, проходящие и проезжающие мимо тела убитого лейтенанта, лежащего в грязной жиже? Только одно — может, и мое тело будет вот так валяться». Генерал был прав. Ну а содержание в надлежащем порядке кладбищ и могил погибших на войне — это не только моральный, но и воспитательный фактор. Видимо, многие десятилетия, если не века, крепкий камень Рыбачьего будет хранить следы ушедшей в историю войны. В этом отношении Рыбачий, по существу, является местом уникальным. Напрашивается вывод: не следует ли это место сделать мемориально-заповедной зоной, сохранив в ней все то, что оставила после себя проходившая здесь война. Мне кажется, следует...»

Я привожу здесь эти слова Скробова не для того, чтобы советовать или взывать к кому-то. Многие из того, о чем он писал несколько лет назад, было сделано к тридцатилетию победы, в этом сыграли свою роль и его «Заметки о минувшем». Я привел отрывок из них по другой причине: чтобы дать почувствовать, с какой иногда не высказанной до конца вслух глубиной и силой врезаются в память воевавшего человека места, где он принимал первые бои и хоронил первых товарищей...

В связи с Рыбачьим мне осталось сказать еще об одном артиллеристе, комиссаре полка Дмитрие Ивановиче Еремине. Этот человек настолько запал мне в память, что я потом некоторыми чертами его характера и манерою речи наделил главного героя своей пьесы «Русские люди» капитана Сафонова. Находясь на политработе, он еще до войны закончил экстерном артиллерийское училище, и это сослужило ему свою службу потом на Рыбачьем. С севера он попал на юг, под Сталинград, и к концу войны дошел до Чехословакии. Потерял до этого, в середине войны, на Курской дуге сына, который и на Рыбачьем, конечно, выполнял не только деликатные отцовские поручения о доставке в неприкосновенности причитавшейся личному составу пайковой водки, а и вывозил с передовой раненых, и делал многое другое, что положено делать фронтовому водителю. В общем, Дмитрий Иванович и отдал войне сына, и сам, несколько раз за войну раненый и контуженный, провоевал ее от звонка до звонка.

Мы после войны пошли с ним друг друга и долго состояли в переписке, как вдруг, после того как я напечатал в журнале «Юность» главы из своих дневников, связанные с поездкой на север, я получил от него письмо хотя и дружеское, но в то же время укоризненное. Он укорял меня за то, что я, по его мнению, в слишком легком и отчасти даже юмористическом тоне описал в дневниках свою поездку на Рыбачий полуостров. Письмо этого своеобразного человека было написано тоже своеобразно, непохоже ни на какие другие письма, и поэтому я не хочу пересказывать упреки Дмитрия Ивановича своими словами:

«...Когда читаешь все это, я имею в виду поездку по Рыбачьему, ты все как-то в шуточках свое пребывание описываешь. Это в то время было хорошо, это подымало моральный дух. Ты это умел делать и в действительности. Тут по коже мороз, а он со смешком рассказывает о зубной боли. Это действительно в то время рассеивало мрачные мысли и настраивало на бодрость духа. Но я боюсь, что пышешняя молодежь, не видя, не пережив, может понять, что эта поездка была не в пекло войны, а нечто вроде прогулки. Шабунин собирается ехать с Симоновым на боевые операции и прихватывает с собой охотничье ружье — по дороге, может, дичь попадет... Симонов собирается ехать домой, и вдруг ему предлагают баньку — и опять безобидное приключение, что подштапки его висели на телеграфных проводах. На боевые точки приехали с Ереминым, где каждую минуту можно ожидать огня артиллерии противника или бомбежки авиации, — Симонов ходит пешком по воде, как Иисус Христос, а комиссар тем временем, как будто с хорошей про-

гулки в доброе мирное время, предлагает жареного поросеночка откусать. Для нас понятно, в какой обстановке все это было. Но оборона Рыбачьего, и особенно в первые дни войны,— это была трагедия. Вот и хотелось бы более серьезно подчеркнуть это...»

Так отдалел меня бывший комиссар 104-го артиллерийского полка за юмористические детали моего повествования о том военном времени. Прочитав это, я подумал, что, может быть, он в чем-то и прав. И, подумав так, в своих комментариях и дополнениях к дневнику постарался, как выразился Еремин, «более серьезно подчеркнуть» и значение обороны Рыбачьего, и остроту сложившейся там обстановки.

Однако, не скрою, в то же время у меня сохранилось чувство, что и я по-своему был тоже прав,— была же, очевидно, все-таки какая-то причина для того, чтобы именно эта поездка на Рыбачий и Средний оказалась описанной с большим вниманием к житейским мелочам войны и с большей долей юмора, чем это свойственно другим страницам дневника. Да, конечно, Еремин по-своему прав, подумал я. Хотя Шабунин действительно брал с собой в дорогу охотничье ружье, но на ту находившуюся в непосредственном соседстве с катерниками береговую батарею номер 221, первый орден знаменитого командира которой Космачева мы тогда обмывали, как свидетельствуют документы, немцы за годы войны сбросили семь тысяч авиабомб и выпустили по ней семнадцать тысяч крупнокалиберных снарядов. Да, он прав, бомбежка все равно остается бомбежкой, даже если в результате ее на телеграфных проводах повисли твои подштанники, а ты сам остался при этом невредим, и, разумеется, день на день не приходится, тот же самый Еремин по дороге на наблюдательные пункты своих дивизионов и батарей не раз лежал по дороге и под бомбежкой, и под обстрелом, видел вокруг себя и убитых и раненых, и тут уж не до поросеночка, хотя в тот удачный день, когда мы не подверглись никаким опасностям, кроме простуды, поросеночек все-таки был.

Это я понимал, конечно, и тогда, когда был на Рыбачьем. И тогда, когда почти через год, вернувшись из Сталинграда, додиктовывал именно эти страницы дневников. Так откуда же все-таки появился этот юмористический оттенок? Почему меня на него потянуло? И пожалуй, точнее всего я понял причину этого, перечитав одно из последних послевоенных писем покойного уже ныне Ефима Самсоновича Рыклина, а вернее, одно место в этом письме:

«...Я ночью не мог спать — мне все мерещились Озерки, мой КП и НП, Скробов с его хозяйством, госпиталь на перешейке

куда я заворачивал иногда погреться по пути к Скробову, Пикшуев с его пушчонками, по которым мы неоднократно вели уничтожающий огонь, а они снова и снова оживали, и наши жгучие переживания за Москву, которая была в опасности...»

Вот именно. Пожалуй, в этом, именно в этом, в этих неотвязных мыслях о Москве, в этой нестерпимой тревоге за нее, за все происходившее там, пока я сидел тут, на краю света, на Рыбачьем, была причина того отчасти юмористического тона, в котором я описывал эту свою поездку. Хотелось и самому быть веселее, чем ты был на самом деле, хотелось развеселить и других, не меньше тебя встревоженных людей, хотелось и самому не поддаться, и другим не показать своей душевной тревоги. Все время владевшее тобой подсознательное чувство, что хотя война всюду война и на ней всюду убивают, но все-таки самый главный, самый роковой вопрос общей нашей жизни или смерти решается сейчас не здесь, а там, под Москвой! — заставляло с большей, чем обычно, легкостью, а минутами и с большим, чем обычно, равнодушием к реальной или предположительной опасности относиться ко всему, что происходило вокруг тебя здесь, так далеко от Москвы.

И хотя я писал разные страницы дневника с разного, иногда меньшего, иногда большего, отдалення во времени, я жил в нем в том времени, какое описывал, и это относится к его страницам о Рыбачьем полуострове так же, как и к остальным. Я не оправдываюсь, всего-навсего объясняю. Дневник есть дневник, он не принадлежит к числу тех сочинений, которые полезно поправлять задним числом даже перед лицом более или менее справедливых критических замечаний.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

...На другой день после приезда я пошел в морскую разведку к майору Людену. Когда я пришел, он занимался одновременно двумя делами: вполголоса, но со всеми фиоритурами вел арню Тремина и писал третий по счету рапорт о переводе его в пехоту на Западный фронт. Как и многие люди на севере, он глубоко переживал октябрьские и ноябрьские события под Москвой и буквально не находил себе места.

Немпожко отведя душу разговорами на московские темы, Люден сказал мне, что завтра в тыл к немцам идут сразу две разведывательные партии. Одну из них поведет он, а другую — Карпов. Карпов должен был уйти на неделю или полторы, а Люден — на один сутки. Предстояла короткая операция на Пикшуе-

вом мысу, где немцы держали пару пушчонок, из которых они падали по заливу, не давая в светлое время нашим мотоботам проходить в Озерки. Тот бот, который перед нашим отъездом с Рыбачего шел в Озерки, был обстрелян как раз этими пушками.

По словам Людена, во время операции предстояло выяснить, есть ли на Пикшувом гарнизон, и если он есть, то уничтожить его. А также узнать, исправны ли там немецкие пушки после того, как по ним два дня долбила наша артиллерия. И если они исправны, то их уничтожить.

Люден считал, что все это будет делом одной ночи, и это меня сразу соблазнило, и я сказал Людену, что прошу его взять меня с собой.

Я без особых колебаний подумал, что, наверно, Мишка Бернштейн не будет возражать против того, чтобы пойти в эту операцию, и попросил взять и его. Люден посоветовался с начальником разведки Визгиным, тот согласился, и я уже через полчаса был в гостинице, где Бернштейн и Зельма проявляли свои снимки.

Когда я сказал Мишке, что нам предстоит с ним пойти в эту разведку, единственным, что он спросил, было — долго ли придется плыть морем? По правде говоря, я сам не знал этого в точности, но, чтобы успокоить его, сказал, что нет, недолго. — Ну, если недолго, тогда ладно.

После этого мы отправились к разведчикам, которые обещали выдать нам кое-какое обмундирование. Но Мишкины толстые шикры не влезали ни в одни валенки. В конце концов валенки пришлось обрезать. Я решил идти в сапогах. Нам выдали ватники и ватные штаны. А вообще предполагалось, что мы должны были идти налегке, потому что от места высадки до Пикшувой мы предстояло сделать двенадцать или пятнадцать километров по скалам.

Я не предложил Зельме принять участие в этом деле, потому что не знал, какие у него планы. И в то же время, зная его характер, понимал, что если я предложу ему это, то он все равно пойдет, даже если это совершенно не входит в его намерения. Потом оказалось, что он обиделся на меня за то, что я его этого не предложил, и несколько дней молчал и злился.

На следующее утро мы пришли в разведку уже вполне обмундированные — в шерстяных свитерах, в фуфайках и ватных штанах. Мишка со своим паганом, я с парабеллумом. Словом, у нас был достаточно воинственный.

Визгин сказал, чтобы мы не только сдали все документы, но и на всякий случай записали домашние адреса, а кроме того, если хотим, написали на всякий случай записки своим близким.

Все это прозвучало довольно мрачно. Но, как и во многом мрачном па войне, была тут и своя смешная сторона. Когда я поспешил суеверно отказаться не только писать записку, но и ставить адрес, Визгин недовольно сказал мне:

— Все-таки неправильно вы это делаете. У пас из-за этого же хлопоты были. Убило тут, пошмааете, одного лейтенанта, адреса он не оставил. Возились, возились, так и не смогли отыскать, куда все это переслать.

В его словах чувствовалось не столько огорчение оттого, что было лейтенанта — случай па войне достаточно обычный, сколько досада из-за того, что до сих пор никто так и не знает, куда отправлять оставшиеся после убитого лейтенанта вещи.

Я невольно рассмеялся.

Мы сдали документы, получили свертки с маскировочными куртками, штанами, капюшонами, перчатками и стали терпеливо ждать.

В заливе были снежные заряды, бушевала метель, и па теплые катера в Полярное все не давали и не давали «добро». Однако по-прежнему оставалась надежда, что погода все-таки справится и «добро» дадут, и мы сидели в разведке сначала с восьми до двенадцати — до флотского обеда, а потом, после обеда, — до тех пор, пока окончательно не выяснилось, что «добра» не будет.

Теперь начиналась смешная оборотная сторона утренней торжественной сдачи документов. Нам пужно было возвращаться в гостиницу, следовательно, нам пужны были документы. Кроме того, нам пужно было есть и пить, следовательно, нам могли пригодиться и деньги. Пришлось забрать и то и другое.

В гостинице нас встретил ухмыляющийся Зельма. Он и Бишка стали проявлять свои снимки, а я взялся за стихи. Написал в этот вечер стихотворение «Мне хочется назвать тебя кепой».

На следующее утро повторилась та же самая процедура, что пакануне. Мы обмундировались, падели свитеры, фуфайки, вооружились, явился в морскую разведку, сдали документы, получили свертки с маскхалатами. Погода па улице была ясная, и, азалось, ничто не предвещало новой задержки. Однако после того, как мы прождали часа четыре, выяснилось, что здесь, в Мурманске, погода хорошая, но в Полярное мы сегодня не пойдем. На этот раз не дают «добро» там, в Полярном, па выход из Полярного в открытое море.

Мы пообедали, взяли обратно документы и деньги и отправились к себе в гостиницу, где нас так же, как и вчера, встретил смехающийся Зельма.

В этот вечер Мишка отозвал меня в сторону и тихо сказал, что ему надоело сидеть в Мурманске и ни черта не делать, что это может продолжаться бесконечно и что, честно говоря, даже если он и пойдет в эту разведку, то спимать ему все равно вряд ли что придется. С этим можно было согласиться, потому что почти стояли довольно темные, и даже странно, как мне такая простая вещь не пришла в голову самому...

Наверно, я не подумал тогда об этом из-за свойственной Мишке безотказной готовности все, что угодно, и до конца раз делить с любым из своих товарищей. Так я думаю сейчас, перечитывая дневник и вспоминая этого человека, в начале июня 1942 года погибшего в окружении под Харьковом — как и при каких обстоятельствах, так и не знаю, потому что живых свидетелей его гибели не осталось. Как-то не совсем ловко, паверное, называть задним числом Мишкой давно погибшего человека, которому сегодня, будь он жив, было бы за шестьдесят, но и по правлять это в дневнике не поднимается рука. Все мы до одного звали его тогда именно Мишкой, и никак иначе. Здоровье, молодой задор и детская непосредственность буквально так и перли из него. И даже тем из нас, кто был моложе его на годам, все равно всегда казалось, что самый молодой из всех — это он.

Таким по человеческой своей сути он и был, таким и сыграл его потом, после его гибели, Лев Свердлин в фильме «Жизнь моя».

...У меня самого было скверное чувство на душе оттого, что мы уже два дня готовились, сдавали и брали обратно документы. А главное, я каждое утро вставал с чувством, что вот сегодня ночью мы пойдем в тыл врага, значит, пап или пропал, но, во всяком случае, к следующему утру все уже будет ясно. Нетрудно было мгновенно решиться и пойти в разведку, но когда она все оттягивалась со дня на день и каждое утро заново приходилось готовить себя к ней, то это становилось трудным, с непривычки выдержки не хватало.

Когда я согласился с доводами Мишки, что ему действительно нет смысла идти, он спросил:

— А может, и ты не пойдешь?

Но хотя меня тянуло на это уже куда меньше, чем в первый день, я еще месяц назад пил с разведчиками за то, что когда-нибудь отправлюсь вместе с ними, и теперь, когда такая возмож-

ность представилась, не мог ее упустить, хотя бы просто из самолюбия.

На третий день Зельма и Берштейн поехали куда-то снимать оленьи упряжки, которые использовала паша санитарная служба, а я снова обмундировался, снова сдал документы, снова просидел шесть часов в разведке, съел флотский обед, выпил флотскую водку, узнал, что на выход в море опять не дали «добро», снова забрал документы обратно и вернулся в гостиницу, где на этот раз встретил уже две ухмыляющиеся физиономии вместо одной.

То же самое повторилось и на четвертый день. И я поклялся себе, что если завтра, 6 ноября, все снова отменится, то я не пойду вообще. Ожидание измотало меня: казалось, что мне уже никуда не хочется идти.

Но 6 ноября днем сказали, что наконец получено «добро» на выход в океан.

Был теплый ноябрьский день. Несмотря на мокрую пургу, видимость была приличная. По дороге на пристань я заехал в гостиницу, где не нашел ни Зельмы, ни Берштейна. Они уехали снимать зепитчиков, и я оставил им записку. Внизу нетерпеливо гудела машина; через пять минут мы были уже на пристани. Шли в Полярное на маленьком, принадлежавшем разведке катерке. На палубе задувало снегом, и мы с Визгным и Люденом спустились вниз, в уютную теплую каюту, и стали забивать «козла».

Надо отдать должное морякам: когда играет заядлая морская компания, то кости выкладываются на стол с такой яростью и грохотом, что издали это похоже по звукам на средних масштабов артиллерийскую подготовку.

Выгрузившись в Полярном, мы пошли в подводный экипаж, где жили моряки из диверсионных групп, но большей части состоявших из добровольцев-подводников. Там под руководством капитана Изарцева, одного из лучших и самых опытных разведчиков, угрюмого, мрачноватого и, по-моему, сурового человека, морячки готовили оружие. Распихивали по карманам фуфаяк или привязывали на поясные ремни гранаты, щелкая затворами, проверяли винтовки, запасались сигнальными ракетами, упаковывали сухой паек, который, несмотря на то что операция должна была проводиться всего одну ночь, был рассчитан на трое суток. Радист проверял на слышимость свою рацию.

Продолжалось все это около часа. Потом, когда уже было совсем темно, мы собрались и построились во дворе подводного экипажа, одетые кто в маскхалаты, кто в маскировочные куртки и брюки.

Здесь, против моих ожиданий, никто никому не сказал никаких прочувствованных слов: не то они были сказаны уже когда-то раньше, не то были бы страшны в такую минуту для людей, избравших разведку своим ремеслом. Нас построили, разделили на две группы, и мы отправились на причал.

Еще когда мы стояли во дворе подводного экипажа и в тишине строились там в своих маскахалатах, я вдруг подумал, что вот мы всего через несколько часов будем там, у немцев, а никто ни в Киркенесе, ни в Петсамо не знает, что здесь, во дворе, в эту минуту построился отряд, который будет действовать там, у них в тылу.

Узенький трап уходил с очень высокого причала вниз, на очень маленькое суденышко, и выглядел так, словно он уходит куда-то в тартарары, под воду. Я с грехом пополам спустился по этому трапу и ступил на борт морского охотника. Инзарцев шел на другом охотнике, а на этом, кроме двадцати разведчиков, было трое — Люден, Визгин, решивший сам пойти в эту операцию, и, как говорится, третий лишний — я. Мы отвалили от причала, развернулись и пошли к выходу из Кольского залива.

Погода, как назло, разгулялась, и Люден, поглядывая на часы, ворчал, что надо было отложить эту экспедицию до тех пор, пока луна не пойдет снова на ущерб. Действительно, ночь выдалась чудовищно светлая. Я еще никогда не видал здесь в эту пору года такой светлой ночи. Луна светила так, что можно было различить человека на снегу за двести шагов. Но мало того, кроме луны, еще весь горизонт занимало переливающееся северное сияние. И я пожалел об отсутствии Мишки, которому в такую удивительно светлую ночь, может, и удалось бы что-нибудь снять.

Морской охотник — очень небольшой кораблик, и когда на него садится еще двадцать человек, кроме экипажа, то, куда их ни засунь, все равно будет тесно.

Мы шли на порядочной волне. Она переклестывала через борт, было недолго и промокнуть. Большинство разведчиков спустились в кубрик и залегли там. К концу пути многих из них укачало. Должно быть, виной была не только волна, но и нехватка свежего воздуха.

Я вслед за Визгиным и Люденом постепенно, бочком-бочком вылез на капитанский мостик. Визгин так и не уходил все время отсюда, боясь, что, если спустится вниз, в духоту, ему будет еще хуже. До этого он служил в Амурской речной флотилии, его «травило» при качке, и каждый выход в капризное Баренцево море был для него пыткой над собственной натурой. Впрочем, он крепился и не подавал виду.

Мы стояли рядом с Людепом. Он жаловался на луну, посмеивался над своими уже немолодыми годами, что в прежние бы годы он радовался луне, а теперь ругает ее старой хрычковой. Словом, болтал о чем угодно, кроме предстоящего дела. И я был рад этому.

Качка усиливалась. Когда мы вошли в Мотовский залив, она достигла четырех-пяти баллов. Для такого суденышка, как морской охотник, это еще не опасно, но уже чувствительно. Шли мы часа четыре и около десяти подошли близко к немецкому берегу. Где-то далеко, направо от нас, был Петсамо, налево — река Западная Лица и наши передовые позиции, а в двенадцати километрах от нас на фоне черной воды вырисовывался контур мыса Пикшуева, куда нам предстояло добираться. За спиной у нас оставался Рыбачий, на котором пет-пет да и мелькал вдруг свет подфарника проходившей где-то далеко машины.

Вплотную подойти к немецкому берегу мы не могли — было слишком мелко, и из воды повсюду торчали камни. На воду спустили лодочку — «тузик», один трап перебросили с борта охотника на «тузик», а второй — с «тузика» на прибрежные камни. В самом «тузике», в этой зыбкой передаточной инстанции, стоял Визгип. Двое моряков из команды охотника, увидев, как один из разведчиков, перебираясь с качавшегося «тузика» на второй трап, плюхнулся в воду, решили помочь остальным. Они встали по пояс в ледяной воде по обеим сторонам трапа и начали одного за другим припимать на руки тех, кто слезал. Припимали и доводили до конца трапа. Дальнейшее было делом собственной ловкости. Кто прыгал лучше, тот мочил себе ноги до колен, а тот, кому это не удавалось, проваливался в воду и выше колен и по пояс. Я, к сожалению, тоже оказался не из ловких. Перспектива шагать по горам, по снегу, в мороз двенадцать или пятнадцать километров в мокрых сапогах и штанах была не особенно заманчивой, но ничего не оставалось делать.

Первые из высадившихся пошли и в глубь и вдоль пустынного берега дозорами. Все остальные высаживались уже под их прикрытием. Несмотря на маскхалаты, людей было хорошо видно даже издали — такой светлой оказалась эта почва. Я с тревогой подумал, что, если нам не удастся незаметно подобраться к Пикшуеву мысу, нас могут в такую ночь перестрелять как куропаток. Всего нас вылезло на берег около сорока человек. По агентурным сведениям, на мысе Пикшуевом должно было стоять не больше полуроты немцев, то есть человек шестьдесят — семьдесят. При соблюдении неожиданности шансы на успех были на нашей стороне. Но при отсутствии неожиданности дело могло обернуться плохо.

Едва мы вылезли на берег, морские охотники отчалили и пошли болтаться в море, поближе к берегам Рыбачьего. С нами были ракеты; после окончания операции мы должны были вызвать ими катера. А кроме того, с нами шел радист для дублирования ракет и передачи условных сигналов о помощи, если бы с нами случилось что-нибудь худое.

Мы вылезли и пошли. Впереди шел прирожденный разведчик Мотовилин, за ним еще двое, за ними Люден, за Люденем я, дальше цепочкой тянулись все остальные. Инзарцев, по-моему, шел замыкающим.

Мы с небольшими остановками шли эти двенадцать километров около трех часов. Двигались быстро, особенно если учесть, что мы шли над самым берегом по крутым скалам прибрежных скал. Кое-где приходилось перепрыгивать со скалы на скалу, с камня на камень. И это еще было ничего. Хуже было там, где попадались расщелины между скалами. Они были замечены снегом и обдuty ветрами и превратились в абсолютно гладкие и твердые, как кость, снежные откосы с очень крутым градусом наклона. Переходить такие места было особенно трудно. Несколько человек ссыпались вниз. Им помогли подняться. По счастью, обошлось без увечий. Потом ссыпался шедший впереди меня Люден. Его бросился выручать один из разведчиков и пролетел по откосу еще метров на пятнадцать ниже его.

На втором привале, лежа на снегу за скалой и потихоньку покуривая в рукава, мы вдруг вспомнили, что ведь сегодня праздничная ночь — с 6 на 7 ноября.

Среди оказавшихся около меня на этом привале людей было несколько украинцев. Пошли разговоры о Днепронетровщине и Харьковщине, о том, где их семьи. От разговоров этих веяло грустью и огромностью расстояния, отделявшего нас от всего, что мы любили.

Мы шли так быстро и так уставали от постоянного перелезания и переползания, что ни у кого не замерзли ноги, хотя почти у всех они были мокрые. Больше раздражало то, что намокшие в воде маскировочные халаты, штаны и куртки застыли и коробились при ходьбе с таким шумом, который нам из-за стоявшей кругом тишины казался почти грохотом. Ветер с моря набивался в эти стоявшие колом маскировочные одежды, как в паруса, и тоже мешал идти.

Примерно на середине пути, у обледенелого устья ручья, передовые разведчики заметили следы. Все насторожилось. Следы были и похожи и непохожи на человеческие. При том ветре, который сейчас дул, следы могли остаться только от того, кто

Прошел здесь совсем недавно. Через несколько секунд кто-то сообразил и сказал:

— Это же росوماха.

Все рассмеялись.

Выйдя паверх, на плоскогорье, мы наткнулись на шедшие под снегом провода. Видимо, это была линия, соединявшая передовые позиции со штабом немецкой дивизии. Рассчитав, что нам осталось идти уже очень мало, всего каких-нибудь пятнадцать минут, а немцы все равно до утра на обрыв линии выйти не рискнут, разведчики стали резать ее сразу во многих местах. Выбирали из-под снега провода, закатывали их в клубки и зарывали клубки в стороне в снег. Вскоре линия была уничтожена на протяжении целого километра.

Наконец Мотовилин указал на высившиеся впереди две или три сопки, на которых чернели гряды камней.

— Вот и Пикшуев,— сказал он. — Подходим.

Все притихли. Было светло почти как днем. У меня появилось неприятное ощущение в спине; казалось, что кто-то невидимый без труда может нас всех откуда-то перестрелять.

Отряд разделился, и мы пошли в обход сопки. Держали оружие наготове — считалось маловероятным, что немцы нас так до сих пор и не увидели. Несмотря на все принятые предосторожности, они все-таки должны были нас заметить в такую ночь.

Однако, когда мы вплотную подползли к ближайшей сопке, на которой чернели пятна землянок, мы не услышали оттуда ни крика, ни выстрела. Мы бросились к землянкам. Когда долбанули дверь в первую из землянок, она со скрипом открылась. В землянке никого не было. Я вошел туда вслед за Люденом и посветил фонарем. По всему чувствовалось, что землянка не брошена, что в ней жили и, очевидно, собираются жить. На столе стояла лампа с исправным фитилем, стояли котелки, чугушки.

Вторая и третья землянки были тоже пустые.

Другая группа, обходившая сопки, тоже так и не наткнулась на немцев.

Через полчаса нам уже стало ясно, что на Пикшуевом мысу, во всяком случае здесь, где мы были, или вообще никого нет, или есть немецкий дозор, который при нашем появлении спрятался и боится себя обнаружить.

Впоследствии, по агентурным сведениям, оказалось, что именно в это время немецкая полурота, стоявшая на Пикшуевом мысу, сменилась. Одна полурота ушла отсюда, а другая, которой предстояло ее сменить, еще не пришла. Надо думать, что немецкий патруль все-таки оставался здесь, но он сам стрелять по нас не решился, а мы его не пашли.

То, что немцы не собирались уходить с Пикшуева мыса, было ясно с первого взгляда. Землянки были в полном порядке, в них оставались разные бытовые вещи. В двух сараях и небольшом домике были устроены склады продовольствия. Не бог весть, какие, но все же склады: бочки с яичным порошком, мешки с мукой, с галетами, мешки с кофе, запас консервов и еще что-то, уже не помню что. В одном из сараев были сложены баллоны. Мы сначала сочли их немецкими, но потом увидели, что это баллоны с ацетиленом для освещения маяка — наш запас, оставшийся еще с мирного времени.

Поодаль от землянок мы нашли два изуродованных орудийных лафета и один, тоже изуродованный, ствол горного орудия. Второй ствол немцы, очевидно, увезли с собой. Судя по всему, наша артиллерия как следует накрыла эту горную батарею.

Все запасы доставлялись сюда с неимоверным трудом, на выюках, и было очевидно, что, уничтожив все, что здесь осталось, мы тем самым затрудним положение немцев, которые не лыцезавтра вернутся сюда, на Пикшуев, и им придется все запово заводить.

Взломав двери складов и разобрав часть досок, мы стали обкладывать немецкие запасы досками, и фанерой, и всем, что попадалось под руки, чтобы поджечь.

Сигнальных ракет было решено не давать. Радист вызвал наши охотники по радио. В стоявшей кругом тишине были отчетливо слышны его точки и тире.

Вскоре к берегу немного западнее самого Пикшуева подошли оба морских охотника. С одного из них слез Визгип, который захотел сам принять участие в поджоге немецких складов. Всех, за исключением пятерых человек, переправили на морские охотники; последними остались Визгип, Люден, Мотовилин, еще один разведчик и я. Прихваченная с собой бутылка с горючей жидкостью хотя и разбилась, но жидкость почему-то не загорелась. А бензин сделал свое дело. Мы облили доски и фанеру и зажгли оба склада и дом. Сначала пламя разгоралось слабо, а потом все сильнее и сильнее, и, когда мы перебрались на морской охотник, уже было видно, как и в доме и в складах сквозь двери и ставни прорываются изнутри красные языки пламени.

Оба морских охотника отчалили, я пошел вниз, в кубрик, и завалился на койку. На обратном пути начало сильнее, чем по дороге сюда. Было около шести баллов. Через полчаса после того, как мы отошли от берега, Люден прислал за мной краснофлотца, чтобы я вышел на палубу. Я поднялся.

Сзади нас, над мысом Пикшуевым, стоял огромный столб пламени, то падавший, то снова поднимающийся в небо. Взрывы

отсюда уже не были слышны, но по промежуткам, с которыми то падало, то вновь поднималось пламя, было ясно, что там что-то рвется. Может быть, это был апетилен, а может быть, и не замеченный нами запас снарядов. Я простоял на борту охотника минут пятнадцать, глядя на это зрелище, а потом снова спустился в кубрик.

В семь часов утра, когда кругом стояла все та же светлая северная почь, мы вернулись в Полярное, и Визгин с Людеком сразу отправились докладывать по начальству. А я, узнав от кого-то, что здесь, в Полярном, сейчас живет Александр Жаров, пошел к нему и вскоре был уже на четвертом этаже в знаменитом циркульном доме — гордости Полярного. Этот дом стоит на горе, и его большая геометрически правильная дуга видна с моря.

Не забуду того радушия, с которым меня встретил Жаров. Был заварен крепкий чай, на столе стояли рюмки спирта и колбаса на закуску. Это было верхом блаженства, особенно если учесть, что я был по пояс мокрый и, как только вошел в теплую комнату, мое заледеневшее обмундирование начало стремительно оттаивать. Выпив сначала спирт, а потом чай, я разделся и лег на диване в комнате у Жарова.

Проспал я всего два часа. Меня разбудило радио. Говорила Москва. Не то это была запись на пластинку речи Сталина на параде, не то — повторение речи диктором, но, во всяком случае, это была та самая речь, которую Сталин произнес в то утро, 7 ноября, на Красной площади.

Трудно сказать, что с нами делалось. Эта традиционность, этот парад на площади, когда немцы находились в шестидесяти — семидесяти километрах от Москвы, — все это потрясло сердца. Казалось, что теперь, после этого, все будет в порядке, и вообще и в частности — с Москвой. Как я потом выяснил, даже в наиболее критические моменты в самой Москве было гораздо больше уверенности в этом, чем у людей, которые могли следить за событиями только издали.

Через час катер отходил из Полярного в Мурманск. Я знал, что Зельма и Бернштейн собирались из Мурманска сюда, в Полярное, но у меня уже не было времени узнавать, приехали они или не приехали. Журналистский долг требовал немедленного отъезда в Мурманск, надо было поскорей написать о том, что я видел, и успеть отправить так, чтобы корреспонденция по возможности попала в номер 8 ноября.

Замерзший и усталый, я добрался до Мурманска. В нашем номере в гостинице было пусто. Ребята действительно уехали в Полярное.

Я пошел в морскую разведку и продиктовал там машинистке подвал о высадке на Пикшуевом мысе, назвав его «В праздничную ночь».

Главный смысл корреспонденции был, конечно, в том, чтобы напечатать ее именно 8 ноября — сразу же, в праздник. Но с этим в первый и единственный раз на севере мне не повезло. На телеграфе что-то перепутали, и мой очерк пришел в Москву только через две недели. Но хотя злободневность его отпала, Ортенберг все-таки напечатал его 25 ноября, поставив на нем пометку «Задержано доставкой» и проявив тем самым редакторский такт по отношению к своему корреспонденту. Мне было бы нечестно говоря, обидно, если бы именно этот очерк остался непечатанным...

И вот сейчас передо мной лежит несколько сохранившихся в Центральном военно-морском архиве документов, о которых я не имел, да и не мог иметь представления ни тогда, когда мы высаживались на мысе Пикшуев, ни тогда, когда я потом описывал в своем дневнике это, вполне заурядное для морских разведчиков, но существенное для меня самого, событие.

Первый из трех документов озаглавлен «Схема-план разведывательно-диверсионной операции на маяк Пикшуев». На документе вычерчена схема операции с соответствующими условными обозначениями маршрута катеров, места высадки, маршрута десанта к району диверсии и маршрута последующего отхода. В первом параграфе сформулированы задачи: 1. Разведка мыса Пикшуев. 2. При установлении наличия групп противника на маяке Пикшуев уничтожить их и захватить языка. 3. Сжечь постройки маяка Пикшуев. В следующих параграфах указывался состав разведывательно-диверсионного десанта, в третьем параграфе — порядок и время проведения операции. Первоначально, как видно из этого документа, она планировалась в ночь со второго на третье ноября и так первоначально и была утверждена стоящими наверху документа подписями командующего Северным флотом Головкин и членом Военного совета Николаевым. В примечании были указаны опознавательные сигналы на случай встречи с другой, выходящей в ту же ночь диверсионной группой Карпова и пароль — Маузер — Москва.

Второй документ — адресованное начальнику разведотдела донесение о том, как прошла в действительности эта оттянутая на четверо суток из-за непогоды операция.

«Выполняя задание командующего флотом по разведке района маяк Пикшуев... на двух катерах типа МО 06.11.41 в 18.00

вышел в район действия. В 21.00 группа высадилась в десяти километрах от объекта действий и, организовав ближнюю разведку, двинулась в восточном направлении. Переход проходил в исключительно трудных условиях. Обледенелые сопки, крутые обрывы. Некоторые товарищи, взбираясь на сопки, срывались с десятиметровой высоты, но ушибов никто не получил. В 24.00 подошли к объекту действий. Я разбил отряд на три группы: первая обходила сопки, окружающие маяк справа, вторая, сковылающая, двигалась в лоб на блиндажи, и третья двигалась на маяк вдоль побережья. Сам двигался с первой группой.

Группы на своих маршрутах обнаружили брошенные противником землянки и блиндажи, судя по заготовленным дровам, керосину в лампах, противник оставил район маяка дней за пять — десять до нашего прихода.

В 1.00 7.11.41 все три группы сошлись у маяка, выставив охранение. Я с группой разведчиков обследовал здание маяка. Жилое здание оказалось в полуразрушенном состоянии. По-видимому, противник пользовался матрасом здания как топливом. Амбары оказались запертыми на замки. Взломав двери, мы установили: один амбар был приспособлен для жилья — нары и печка. В двух остальных хранились продовольственные запасы: кофе, мука, хлеб в специальной упаковке, крахмал, лыжная мазь и так далее... Невдалеке от маяка был найден разбитый лафет горной 76-миллиметровой пушки и много стреляных гильз. Условным сигналом были вызваны катера, на которые погрузили найденные продукты и произвели посадку групп.

После посадки отряда на катера четыре бойца, в числе которых был спецкор газеты «Красная звезда» тов. Симонов, подошли маяк и здания маяка. Катера легли на обратный курс в 2.00 7.11.41. По данным наблюдения с постов в губе Эйна, пожар на маяке продолжался до 10.00 7.11.41. Вывод: задание командования выполнил, установлено, что маяк Пикшуев оставлен противником. Начальник Первого отдела РОСФ майор Люден».

Откровенно говоря, с расстояния в тридцать с лишним лет меня порадовало, что я ни вольно, ни невольно ничего существенного не приврал и не напутал в своих тогдашних записях. Разве что с непривычки к таким переходам десять километров показались мне двенадцатью, да продуктов, как выяснилось, нам было выдано не на трое суток, как я считал, а только на двое. Тогда, после возвращения из похода, мне было даже как-то немножко обидно, что после всех приготовлений именно в этом походе так ничего, в сущности, и не произошло. Но заранее этого, конечно, никто не мог знать. Разведчики, как и в каждом походе,

планировали возможность разных вариантов, в том числе и более серьезных, которые в данном случае не возникли.

Возникли они не у нас, а у лейтенанта Карпова, как я уже упоминал, ушедшего на операцию в ту же ночь, что и мы. Об этом и повествует третий, лежащий передо мной документ.

«Справка к операции М-13» (паша обозначалась предыдущим номером — 12). В справке говорится, что группа Карпова, погрузившись на сторожевой катер, вышла к своему месту высадки одновременно с нами, но, едва подойдя к нему, была обстреляна огнем станковых пулеметов прямо на катере. Катер, в свою очередь, по приказанию Карпова обстрелял немцев из малокалиберных орудий и отошел от берега на недосягаемое для пулеметного огня расстояние, а потом лег на обратный курс и вернулся в Полярное. В справке дается объяснение, почему Карпов принял такое решение: «Товарищ Карпов хотел провести высадку группы в районе мыс Пикшуев, маяк Пикшуев, но, зная, что там действует десантная группа майора Людепа, предположил, что своей высадкой он может помешать работе группы майора Людепа».

Итак, Карпов в ту ночь вернулся, чтобы не помешать работе нашей группы, и у меня в дневнике, оказывается, неверно написано, что он погиб во время этой операции. На самом деле погиб он через пять дней, во время следующей, четырнадцатой по счету, операции, когда разведчики, высадившись, окружили и забросали гранатами тот самый немецкий узел сопротивления на западном берегу губы Большая Западная Лица, на который в прошлый раз наварлся Карпов. В этом ночном бою, как свидетельствует допесение о нем, по достоверным данным, было уничтожено тридцать семь солдат противника и, по предположительным — еще некоторое количество в забросанных гранатами жилых землянках. При этом шесть разведчиков было ранено, а четверо убито, в том числе лейтенант Карпов. Так все это выглядело в действительности в ночь с двенадцатого на тринадцатое ноября, когда мы с Бернштейном и Зельмой уже двинулись в обратный путь из Мурманска в Москву.

А теперь еще хотя бы по полстранички из архивных данных о трех людях, вместе с которыми я высаживался на мысе Пикшуев.

Командир ОДРО, а если расшифровать, Особого Добровольческого Разведывательного Отряда Северного флота, Николай Аркадьевич Инзарцев пришел во флот добровольно, по комсомольскому призыву с Горьковского судостроительного завода. Кончил электромашинную школу, плавал на подводных лодках, а с первых же дней войны, снова добровольцем, пошел в разве-

дивательный отряд. Оттуда в сорок втором году перешел в 82-ю отдельную бригаду морской пехоты командиром батальона автоматчиков. После тяжелого ранения в голову осколком гранаты почти совершенно потерял речь, но все-таки добился назначения в Тихоокеанский флот и в конце концов, вернувшись в разведку, осенью сорок пятого года опять участвовал в десантах и представлял ультиматум о капитуляции командиру японской военно-морской базы в Северной Корее. После войны ушел в отставку в звании полковника.

Командир десантной группы майор Марк Юрьевич Люден, казавшийся мне тогда, в сорок первом году, уже немолодым человеком, и в самом деле был старше меня на двенадцать лет. Уроженец города Замостье в Польше, сын еврейского бедняка, ткача, уехавшего еще в начале века искать счастья в Америку и умершего там, Люден ребенком уехал с матерью в Мариуполь, там потерял и мать и остался один как перст. В одиннадцать лет стал учеником столяра, а в шестнадцать — телефонистом 16-й стрелковой дивизии. Воевал против банд Махно и Антопова, был политруком роты связи и в двадцать втором году, как он сам пишет в своей биографии, «в связи с моей абсолютной малограмотностью», был направлен на учебу на рабфак Ленинградского технологического института. В тридцать шестом году окончил Академию Фрунзе с дипломом первой степени, перешел в разведку и, как это сформулировано в документах, «убыл в специальную заграничную командировку». С начала войны работал в разведке Северного морского флота, в сорок втором году перешел в морскую пехоту, в ту же самую 82-ю морскую стрелковую бригаду, что и Инзарцев, заместителем ее командира.

Последняя запись в личном деле: «В составе бригады перешел в Красную Армию 14.1.1943». Дальнейших сведений о нем в морском архиве нет. Не нашел я этих сведений пока что и в других местах. Будь он жив, думаю, что этот человек откликнулся бы на журнальные публикации моих дневников, в которых упоминалась его фамилия. Остается предполагать, что он погиб на войне при неизвестных мне пока обстоятельствах.

В хранящихся в морском архиве толстых томах с подписями в них наградными листами я нашел датированный 1944 годом наградной лист на представленного к ордену Отечественной войны старшину первой статьи Степана Максимовича Мотовилина. В наградном листе упоминалось, что Мотовилин, много раз участвовавший в операциях в тылу противника, уже до этого был награжден Красным Знаменем и Красной Звездой. Затем излагалась мотивировка представления к новому ордену:

«...За это время товарищ Мотовилин принимал участие... в операциях по заброске агентов в глубокий тыл противника в качестве переправщика. Участвуя в операции по высадке группы с подводной лодки, товарищ Мотовилин С. М. вдвоем с товарищем Нечаевым при тяжелых условиях — сильная волна и большое расстояние до берега — благополучно высадили группу и выгрузили груз, не замочив его.

Во время операции по высадке группы с торпедных катеров товарищ Мотовилин С. М. на маленькой резиновой шлюпке, несмотря на сильный ветер с берега, и большое расстояние, и опасные рифы, сделал пять рейсов, благополучно доставив весь груз на берег сухим и отлично выполнив все задание». После изложения обстоятельств в наградном листе стояли резолюции вышестоящих: «Достоин», «Достоин», «Достоин». И окончательное решение: «Наградить орденом «Отечественная война II степени», командующий Северным флотом адмирал Головкин».

Сейчас морской разведчик Степан Максимович Мотовилин работает в Урюпинске в скромнейшем из скромных районных заведений — в комбинате бытового обслуживания. Увлечшись после войны фотографией, он стал профессиональным фотографом. А войну кончил на три дня позже большинства других восставших людей. Его пятидесятая за войну дальняя разведка на этот раз оказалась очень дальней. Подводная лодка, в которой шел на свое последнее задание Мотовилин, получила известие о безоговорочной капитуляции и приказ вернуться, находясь далеко в море, и Мотовилин ступил на берег только через трое суток после конца войны.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Возвращаюсь к дневнику.

...Дождаясь возвращения ребят из Полярного, я жил в Мурманске один и сделал за эти три дня две корреспонденции по материалам особого отдела.

Самая любопытная из встреч была с одним из пленных — необыкновенно словоохотливым австрийцем, христианским социалистом, бесконечно и без умолку болтавшим и по собственной инициативе писавшим десятки показаний, одно другого многословнее и запутаннее. Он перешел к нам добровольно, и вначале его подозревали в том, что он засланный к нам шпион, притом крупного полета. Но потом выяснилось, что на самом деле это типичный Хлестаков, что сдался он просто-напросто из трусости, а наболтать мог сорок бочек арестантов в любую минуту и по любому поводу. Ему доставляло огромное удовольствие, что с ним

так много разговаривают и что радуются, когда он исписывает целые тетради все новыми и новыми показаниями. Это был небольшого роста человек с быстрыми бегающими глазами и с пулеметной скороговоркой. Я слушал его много часов и использовал для корреспонденции выборки из его показаний.

На мой взгляд, это был интересный материал, но он почему-то так и не пошел в «Красной звезде». Не только не пошел, а вообще куда-то пропал, и я так потом и не нашел никаких следов его в редакции.

В эти дни в мурманском театре сыграли премьеру «Парня из нашего города», и я был на ней. Декорации были бедные и трогательные, но женщина-режиссер Савина, поставившая спектакль, сделала это умно и тактично, а главное — самого «Парня» прекрасно играл актер Филиппов.

Наконец, 11 или 12 ноября вернулись из Полярного Зельма и Бернштейн, задержавшиеся там из-за погоды: два дня не давали «добро» катеру, на котором они должны были добраться до Мурманска.

Еще 5 ноября, готовясь пойти на Пикшусв, я получил по военному проводу телеграмму от Ортенберга о моем и Бернштейна выезде в Москву. Но тогда мне было обидно не кончить начатое дело, и я сделал вид, что телеграмма уже не застала меня в Мурманске. Теперь, когда очерк «Праздничная ночь» ушел в редакцию, совесть моя была чиста, и, как только ребята вернулись, мы тронулись в путь.

Стояла такая непогода, что лететь самолетом не приходилось и думать, и мы, решив, что лучше двигаться медленно, но верно, сели на поезд, который должен был довезти нас до Кандалакши. Оттуда, по нашим сведениям, уходил один из последних в навигацию пароходов в Архангельск, а из Архангельска предстояло либо самолетом, либо поездом добираться до Москвы.

Я был рад вызову. Меня тянуло в Москву, а кроме того, я томился полной неизвестностью, где теперь мои старики.

Мы рассчитывали, что поезд до Кандалакши пройдет сутки, оттуда сутки с небольшим займет переход до Архангельска, а там, если даже поездом, то еще несколько суток, и мы — в Москве. На самый худой конец мы собирались потратить на дорогу неделю. Но в жизни вышло по-другому: вместо недели мы ехали три.

Ночью мы в полной тьме влезли в уже набитую доверху теплушку, где люди сидели в три этажа, а посредине вагона стояла пышущая жаром печка. До Кандалакши проехали, как и думали, сутки.

Морской комендант сначала обрадовал нас, что пароход «Спартак», на котором мы собирались плыть, уже стоит у прича-

ла, а потом добавил, что, когда пойдет этот «Спартак», пока никому не известно. Оказывается, этим пароходом должны были возвращаться в Архангельск полторы тысячи человек — архангельских жителей, занятых на оборонных работах Карельского фронта. Но в связи с разными военными перевозками из нескольких эшелонов, которыми должны были прибыть все эти люди с разных участков Карельского фронта, в Капдалакшу пока прибыл только один — четыреста человек; остальные были еще в пути и ожидали со дня на день.

Командант, видимо умудренный горьким опытом, произнес это «со дня на день» прощески и добавил: дай бог, чтобы «Спартак» поспел в Архангельск к концу навигации!

— А когда будет конец навигации? — спросил я.

— А кто его знает... — сказал морской командант. — Как мороз хватит, так и конец. Может, через день, а может, и через неделю.

После этого невеселого заявления мы в ожидании отплытия на следующую почку переселились на пароход «Спартак». Кроме нас троих, этим пароходом в Архангельск отправлялись еще морской полковой комиссар со своим адъютантом и старенький капитан второго ранга. Полковой комиссар устроился в каюте у капитана, а мы — кто где. Зельма пристроился на коротенькой лавке в каюте у пароходного механика. Это имело два неудобства. Во-первых, лавка была очень уж короткой, а во-вторых, механик, сварливый старый моряк лет пятидесяти пяти, служака и педант, терпеть не мог молодого капитана и все свободное от сна и вахты время неутомимо посвящал Зельму в отрицательные стороны капитанской жизни.

Капитан второго ранга, я и Мишка устроились в кают-компанию. Капитан и Мишка вдвоем на диване, а я на полу, на полужубке.

Наш быт на корабле был бытом людей, неожиданно заминувших во льдах. Мы сели на пароход 15 ноября, а сошли с него только 28-го. Первые пять дней мы жили в ожидании того, когда наконец подойдут все эшелоны с людьми. Жизнь наша состояла из сна, по принципу — чем дольше, тем лучше, из еды, весьма умеренной, и из развлечений трех видов: игра в «козла», чтение изящной литературы и слушание патефона. Патефон этот почти непрерывно играл в находившейся по соседству с кают-компанией комнатке буфетчицы и корабельной докторши. У них было всего шесть пластинок, но зато они заигрывали их непрерывно. Буфетчице Нине особенно нравилось «Лимон-Лимонейро», а докторша Клава предпочитала «Прощай, мо

табор». Впрочем, иногда они заводили и остальные четыре пла-
стилки, которые мне тоже удалось заучить наизусть.

Довольствие мы получали на суше: перевести нас на кора-
бельное питание обещали, когда отчалим.

Запасливый Зельма, на наше счастье оторвав Мишку от
круглосуточного забивания «козлов», пошел вместе с ним куда-
то в АХО за сухим пайком. Они принесли несколько буханок
хлеба, чай и сахар. Никто из нас не предполагал, как это нас
выручит.

На четвертые сутки на пароход начали грузить людей, воз-
вращавшихся с оборонных работ. Их грузили весь четвертый и
весь пятый день. Несмотря на протесты капитана, на пароход,
надеясь, что он не застрянет в пути и пройдет до Архангельска
всего тридцать часов, погрузили вместо полутора тысяч две с по-
ловиной тысячи человек.

«Спартак» был лесовозом. Никаких приспособлений для пе-
ревозки людей на нем не было. Две тысячи человек разместились
в трюмах, а пятьсот — прямо на палубе, в надежде на то, что
переход продлится немногим больше суток и это время они как-
нибудь перетерпят. Все это были архангельские жители, пробыв-
шие по два — два с половиной месяца на тяжелых земляных ра-
ботах, оторванные от семей, не слишком сытно питавшиеся все
это время и, конечно, отчаянно скучавшие по дому. Все они хо-
тели любой ценой хотя бы на день раньше вернуться в Архан-
гельск. Всем им выдали на всякий случай трехсуточный сухой
пайк — хлеб, сахар, чай и по две селедки, — но погрузка продол-
жалась два дня, и у тех, кто получил этот сухой пайк с самого
начала, он был к тому времени, когда мы отплыли, уже почти
съеден.

Большого мороза не было, стояло два-четыре градуса, но и
в этих условиях перспектива просидеть больше суток на откры-
той палубе была не слишком веселой.

Кандалакшский залив затянуло льдом; мела поземка, и мн-
утами казалось, что мы стоим вмерзшие в лед где-нибудь
в Арктике.

Наконец два маленьких полуледокольного типа буксирчика,
трепыхаясь вокруг нас, стали проделывать нам во льду дорожку.
Но это оказалось не так-то легко. Пятьдесят или шестьдесят
километров, которые нам пришлось идти по Кандалакшскому за-
ливу до выхода в Белое море, стоили нам двух с лишним суток
пути. Дул ветер, и было нестерпимо смотреть на людей, ютившихся
на палубе. Для них натянули навесы, поили их несколько раз
кипятком, но все равно я впервые за время войны почувствовал
себя так отвратительно — человеком, который сидит в этой кают-

компании как в стеклянной банке, из которой все видно, но помочь ничем нельзя. Мы жили в этой кают-компании, выходившей иллюминаторами на палубу, ели, правда, скудный, но все-таки обед, я спал на полу, но в тепле. А за стенкой кают-компании люди стояли в очередях за кипятком и спали на голой палубе, просыпаясь от холода. Мы были бессильны чем-нибудь помочь, потому что кают-компания постепенно тоже до отказа набилась людьми. Но чувство все равно было ужасное.

На вторые сутки после нашего выхода из Капдалакши у многих кончился запас продовольствия, но люди терпели, надеясь, что теперь через сутки уже будут в Архангельске. Мы наконец вышли в открытое море, и теперь действительно казалось, что еще через сутки — и все. У кромки льда перед устьем Северной Двины, на тот случай, если бы ледовые условия не позволили пройти нам самим, нас должен был встретить ледокол. Выйдя в открытое море, все воспрянули духом.

Что до меня, то я все эти дни, чтобы меньше думать о происходившем кругом, забирался в каюту третьего помощника, когда он был на вахте и писал там стихи. Я написал за эти дни семь или восемь стихотворений. В том числе «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» и «Словно смотришь в бинокль перевернутый...». А что еще было делать, кроме писания стихов? На душе было скверно, а в животе пусто. И все это вместе взятое делало меня злым и работающим.

К концу четвертых суток мы дошли до кромки льда у устья Северной Двины. Сначала в заливе лед был нетвердый, а дальше, в реке, стояло густое толстое сплошное «сало». Через три часа хода выяснилось, что мы двигаемся с максимальной скоростью — двести-триста метров в час. Но и для того, чтобы сделать эти двести-триста метров, приходилось все время форсировать машину, давать задний и передний ход, опять задний, опять передний, а толку не выходило почти никакого.

Впереди с обеих сторон уже были видны берега. Судя по тому, что застряли не одни мы, а еще несколько пароходов, пришедших раньше нас, ледокол уже давно ожидали. Мы думали (потом это подтвердилось), что как раз в это время пришел караван английских судов с военными грузами и ему пробивали путь все наличные ледоколы.

Наш капитан дал радиограмму начальству, что он ждет ледокол этой ночью. Учитывая, что у него две с половиной тысячи людей на борту, он был уверен, что ледокол пришлют. Настроение в этот вечер у всех стало лучше. Никто из ехавших на пароходе не хотел верить, что мы можем застрять теперь здесь, в виду самого Архангельска. Но на следующие, пятые сутки ле-

докол не появился. Мы продолжали медленно двигаться во льдах. Многие люди на борту уже явно голодали. Появились больные. Докторша Клава приходила в кают-компанию и рыдала навзрыд, говоря, что она не может больше ходить по трюмам и видеть, что там происходит.

Капитан послал вторую радиограмму.

На шестые сутки мы продолжали по-прежнему толочься во льдах, а в общем, за последние двое суток продвинулись всего на двадцать километров. Оставалось еще километров тридцать пять. Берега теперь были совсем близко: на левом виднелось даже какое-то селение. Если бы был твердый лед, то можно было бы спустить людей на берег по льду. Но кругом корабля стояло сплошное «сало». Невозможно было ни пройти пешком, ни проехать на лодке.

Вечером на шестые сутки появился первый покойник. Его вынесли из трюма и прямо на посылках положили на палубе, накрыв брезентом.

Поздно ночью, когда на корабле все уже спали, Зельма увидел, как к этому трупу, озираясь, подошел какой-то человек, быстро сунул руку под брезент и, вытащив оттуда краюху хлеба, спрятал ее за пазухой. Видимо, он боялся, что другие уже начавшие голодать люди заставят его поделиться этой краюхой, и спрятал днем хлеб под брезент рядом с трупом, где никому бы и в голову не пришло его искать.

В эту ночь несколько пассажиров, решив, что команда прячет у себя на камбузе запас продовольствия, взломали камбуз. На самом деле на камбузе почти ничего не было. Команда тоже сидела на голодном пайке. Мы второй день ели только хлеб и пили кипяток. Но самый факт взлома камбуза говорил о серьезности положения.

Весь седьмой день пароход представлял собой странное зрелище. Все, кто только мог, толпились на том борту, откуда был виден архангельский берег. Толпились и упорно смотрели в ту сторону, словно, стоя у этого борта, они были ближе к цели. Это было невольное, но сильное общее чувство, почти психоз, который очень трудно было преодолеть.

Пароход, как мне потихоньку сказал капитан, в этот день уже не двигался ни взад, ни вперед. Но чтобы поддержать настроение измученных людей, капитан гонял машину все время взад и вперед. Пароход отходил назад, потом снова порывался вперед, опять назад — опять вперед...

Вечером капитан вызвал к себе полкового комиссара и меня и сказал, что люди измучились, потеряли терпение, и поставил

перед нами вопрос: что делать? Перебирая возможности, вспомнили, что на корабле среди других грузов есть несколько бочек сушеных тресковых голов. Их везли из Капдалакши в Архангельск на завод для изготовления клея. Головы были сухие и почти несъедобные, но я посоветовал капитану зарядить на ночь камбуз, распарить в котлах, в кипятке, эти головы и раздать всем находившимся на пароходе.

Так как на пароходе к этому времени насчитывалось уже около трехсот пятидесяти больных, мы решили сообща послать радиogramму в Военный совет Беломорской флотилии. Текст был примерно такой: «Терпим бедствие положение угрожающее на борту две с половиной тысячи человек несколько дней без еды есть смертный случай триста больных немедленно необходим ледокол во избежание несчастья». Эта радиogramма была отправлена среди ночи.

В камбузе всю эту ночь обваривали тресковые головы и утром раздали всем по куску.

Мы ждали ответа, но ответа все не было. К концу дня течение сблизило нас с застрявшим, как и мы, во льдах тральщиком, с которого после наших сигналов о бедствии ухитрились переправить нам два мешка сухарей. Больше они не могли нам дать, потому что тоже давно стояли здесь и тоже были голодны. Получив эти мешки, раздали пассажирам по кусочку сухаря.

Наш лесовоз по-прежнему давал то передний, то задний ход, все еще пытаюсь создать иллюзию, что мы как-то двигаемся.

После раздачи тресковых голов и сухарей день прошел сравнительно спокойно. Наступила ночь. Никогда не забуду этой картины. Почти черное небо, еле-еле выглядывающая из-за облаков луна, а со всех сторон, на порядочном расстоянии друг от друга, дюжина вмерзших в лед больших и малых судов. И вдруг среди ночи впереди — огни ледокола «Сталин». Они медленно, но верно приближались к нам. Весь пароход проснулся. Люди толпились на палубе. Ледокол подходил все ближе. Наконец уже оказалось возможным переговариваться с ним в рупор. Ледокол стал разворачиваться так, чтобы пробить лед и дать нам возможность пойти за ним в кильватер.

Среди ночи на всех судах зажглись бортовые огни. Все они пришли в движение. Каждое судно стремилось поскорее приблизиться к этой пробитой ледоколом дорожке, чтобы поближе к ледоколу войти в состав кильватерной колонны. Нам удалось пристроиться за ледоколом первыми.

Пассажиры так густо толпились на палубе, что мешали работать матросам. Несмотря на все пережитое до этого, после появления ледокола людьми овладело праздничное настроение.

Я стоял наверху в рулевой рубке и наблюдал за всей этой картиной: за движением во льдах, за сигнальными красными и зелеными огнями. Слушал хруст льда и крики перекликающихся в рупоры капитанов. После часового маневрирования мы пристроились за ледоколом и тихо двинулись.

На следующий день, в три часа дня, мы сошли со «Спартак» на пристани Соломбала, на окраине Архангельска.

Устроившись в одном из голых номеров только еще пачинавшей оборудоваться гостиницы, я вспомнил, что сегодня 28 ноября — мой день рождения. В гостинице была компата, отведенная под буфет, и мы после голодовки, достав там бутылку спирта, хлеба и колбасы, втроем выпили за мое здоровье. А ночью из кабинета директора гостиницы я, к собственному изумлению, дозволился до Москвы. Телефон в коммунальной квартире, где жили мои старики, вдруг ответил: к нему подошла сестра отца — тетя Варя, и от нее я узнал, что и отец, и мать, и все другие близкие мне люди уехали из Москвы в эвакуацию еще в октябре...

Когда я обратился в этом году к помощи работников Центрального военно-морского и Архангельского областного архивов, чтобы уточнить обстоятельства рейса лесовоза «Спартак» из Кандалакши в Архангельск, то оказалось, что все основные обстоятельства этого плаванья были изложены в моем дневнике довольно точно.

В одно очевидное заблуждение, должно быть, так же, как и другие люди, я впал в ту ночь, когда нас стали выводить из льдов, припаяв один ледокол за другой. На самом деле, как свидетельствуют документы, нас выручал в ту ночь ледокол «Ленин», а не «Сталин».

Осталось также не до конца ясным для меня, какого в точности числа мы окончательно высадились в Архангельске. Мне, судя по дневнику, казалось, что 28 ноября. Но, возможно, это произошло на двое-трое суток раньше, а мы, не сразу добыв себе жилье, устроились в гостинице только 28-го.

Но все это не столь существенно. Документы тех дней подтверждают более важные вещи, и, в частности, состояние льдов и погоду: «...Видимость плохая, местами туман... температура от минус десяти до минус четырнадцати... На реке Северная Двина сплошной лед толщиной тридцать пять сантиметров... Началась подготовка к выводу и частичное движение по реке Северная Двина десяти транспортов конвоя ОР-2, подлежащего отправке из Архангельска в Англию...»

Очевидно, первоочередным по военному времени делом — проводкой этого коновоя и были заняты ледоколы, которых мы ожидали.

Подтверждаются архивными данными и те почти точно названные цифры, которые я упоминал в дневнике: в соответствующем донесении сказано, что пароход «Спартак» «...имеет на борту 2330 чел., больных 304, умерших 2 чел.». Последняя цифра напечатана в донесении на машинке и потом зачеркнута карандашом.

Судно — о чем тоже свидетельствуют документы — было грузоподъемностью всего 2568 тонн, то есть сравнительно небольшое, и в зимнее время разместить на нем в сколько-нибудь человеческих условиях две с лишним тысячи человек, даже при всем старании капитана и команды, было практически невозможно.

После публикации глав из моих дневников в журнале «Юность» я получил два письма от людей, пливших тогда вместе со мной на «Спартаке».

Первое письмо мне прислал тот «морской полковой комиссар», с которым мы вместе составляли радиограмму со «Спартака», полковник в отставке Степан Ильич Сосипович:

«...Военные дороги свели меня с Вами в поябре 1941 года на пароходе «Спартак», где нам вместе пришлось перенести трудный рейс от Капдалакши до Архангельска и даже припимать совместные усилия, чтобы вырваться из ледового плена и как-то накормить бочкой тресковых голов 2330 человек голодных пассажилов. Тогда я, бывший комиссар Мурманского укрепленного района Северного флота полковой комиссар Сосипович, следовал к повому месту службы в Архангельск. На «Спартаке» и состоялось наше знакомство с Вами, Зельмой и М. Бернштейном...»

Второе письмо пришло от совершенно незнакомой мне жепщины:

«...Я случайно прочла Ваш рассказ с таким опозданием. Этот рассказ напечатан в 1969 году, а я Вам пишу в 1974-м, но что ж, так получилось! Я жила в Архангельске, и, когда началась война, меня взяли в армию и нас отправили на карело-финский фронт. Нас всех 2500 человек посадили на пароход «Спартак» в 1941 году, в июле месяце, вернее сказать, это не пароход, а грузовой лесовоз. Мы ехали по Белому морю до Капдалакши, там нас высадили, и до места назначения мы добирались пешими. Мы были у самой финской границы, станции Лоухи, и там мы были на оборонительных работах четыре месяца. Вот тогда я и попала на этот лесовоз «Спартак», который нас должен был доставить обратно в Архангельск... Я никогда не думала, что прочту то самое, которого я очевидцем была. Все правильно.

Мы возвращались с карело-финского фронта и ровно девять суток пролежали на лесовозе «Спартак» впризу, в трюме, на голлом железе, голодные, холодные и спокойные.

Вы пишете в своем рассказе, что Вы никогда в жизни не забудете такого, когда к нашему пароходу подходил ледокол «Сталин».

Да, я с Вами согласна на 100 % — мне тоже никогда в жизни не забыть такого момента. Честно Вам признаться, мы тогда уже теряли надежды на спасение и все только думали о нашей Родине и столице Москве. Я никогда не забуду, умирая буду, как подошел к нашему люку капитан парохода и в рупор стал говорить таким внятным голосом: «Внимание, внимание!» — потом сделал большую паузу и опять: «Внимание, внимание! К нашему пароходу подходит ледокол «Сталин».

Боже, что тут началось — начали люди шарахаться, да, извините за такое выражение, именно что шарахаться. Люди вставали и падали, вставали и падали, и все равно начали кричать «ура!». Кто мог, выходил на палубу, а кто и не мог подняться. Даже были покойники. Я говорю: «Дядечка, подвигитесь, дайте пройти», — а он давно уже холодный и не двигается. На нас страшно было смотреть, можно было перепугаться. Грязные, худые, мазутные и не похожи были на людей.

Я сейчас иногда думаю, что как будто это была не я — как я могла выжить такой 18-летней девчонкой, а вот выжила! И на сегодняшний день работаю.

Вы только одного не написали, что людей выносили на носилках, больше половины не могли подняться. Особенно тяжело перенесли мужчины. Лесовоз стал в район Соломбала, после чего нас всех перевозили в город Архангельск. Нас, конечно, поместили в больницу, немного подлечили, обмундировали в военную форму, и я все четыре года потом пробыла на фронтах и кончила службу в 1945 г. в Прибалтике, где и сейчас живу и работаю на молочном комбинате в лаборатории.

Благодарю за такую откровенную повесть, тем более я фронтовичка.

Обычно пишут и больше всего показывают хорошую сторону, а плохую как-то меньше, а здесь написано все точно.

С приветом к Вам — *Фаина Сафьянова*.

К этому письму мне нечего добавить. Разве что только одно. Людям на войне приходилось велегко. И как ни трудно вспомнить о тяжелом, но из уважения к людям, прошедшим через все это и все-таки победившим, нам, литераторам, не след вычеркивать невеселые подробности войны ни из своей памяти, ни из своих книг. Иначе нам не будут верить. И правильно сделают.

...Мы задержались в Архангельске, пробуя улететь в Москву самолетом. Мы предпочитали самолет, потому что, по нашим тогдашним соображениям, это было надежнее. Самолет так или иначе мог сесть в Москве, а Северная дорога за эти дни, пока мы станем добираться, могла оказаться перерезанной.

Ортенберг вдогонку за первой телеграммой, вызывавшей меня в Москву, прислал в Мурманск вторую, в которой требовал, чтобы я перед выездом сделал для газеты материал об английских и американских парходах, приходящих с грузами в наши порты. В Мурманске этого сделать было нельзя — в те дни туда приходили только английские военные суда, — а в Архангельске, в ожидании самолета, я попробовал это сделать.

Ребята поехали фотографировать летчиков, а я, выпросив у моряков переводчицу, очень молоденькую и поэтому старавшуюся быть особенно солидной, которую я за ее солидность шутя называл «товарищ техник-интендант второго ранга Тамара Платонна», поехал на Вторую Бакарицу, к месту предполагаемой стоянки каравана. Однако, когда мы туда приехали, нам сказали, что английские корабли, которые должны прийти сюда, еще не пришли.

Из-за напрасного ожидания самолета мы пропустили один поезд, по я за это время сделал два дела. Узнав о награждении английских летчиков, четверо из которых упоминались в моем очерке «Общий язык», отправил этот так и не отправленный в свое время из Мурманска очерк по военному проводу в Москву и написал за одни сутки поэму «Сын артиллериста»...

Пожалуй, именно здесь будет уместно, оторвавшись от дневника, рассказать о судьбе человека, ставшего главным действующим лицом этой поэмы. Когда в последний день на полуострове Среднем майор Рыклин рассказывал нам эту историю, мне то ли не с руки было спрашивать имя и фамилию ходившего в тыл к немцам лейтенанта, то ли я просто забыл это спросить. Так появилось в поэме вымышленное имя — Ленька, а рядом с ним фамилии Деева и Петрова, тоже вымышленные и удобно укладываемые в стихотворный размер.

Совершенно неожиданно для меня эта написанная за один присест и не отличавшаяся большими стихотворными достоинствами поэма стала из-за своего героического сюжета настолько популярной, что ее включили в школьные программы.

И многие годы после войны школьники пятого класса, главным образом мальчишки, обычно где-то в марте, в апреле, когда в их школьной программе доходила очередь до «Сына артилле-

риста», присылали мне по несколько десятков, а то и больше писем с вопросом о дальнейшей судьбе «Леньки» — жив ли он?

Приходилось отвечать, что я не знаю, что с ним было дальше, но надеюсь, что, провоевав всю войну до конца, он остался жив и здоров.

По правде говоря, не желая огорчать ребят, я отчасти кривил душой, потому что мне самому казалось, что прототип Леньки навряд ли жив. В поэме было указано и место действия этой истории — полуостров Средний, и в точности был изложен весь ее действительный сюжет; и мне думалось, что останься жив человек, о поступке которого написана поэма, — он бы рано или поздно откликнулся бы на нее. Однако я ошибся, как ошибался потом еще не раз. Оказывается, даже прочитав то, что было написано несомненно и именно о них, а не о ком-либо другом, многие фронтовики по своей скромности не спешили ни сообщать о себе автору, ни делиться этим с окружающими. Герой поэмы «Сын артиллериста» принадлежал к людям именно этого типа. Только в 1964 году я неожиданно узнал от поэта Николая Букина, что «Ленька» жив и здоров, что зовут его Иван Алексеевич Лоскутов, что ныне он подполковник и служит по-прежнему в артиллерии, но уже не на Крайнем Севере, а на Дальнем Востоке.

После того как мы списались и встретились с ним, я послал ему письмо с просьбой выручить меня и рассказать своими словами и о собственном подвиге, и о дальнейшей своей судьбе.

Письмо, полученное в ответ, заслуживает того, чтобы привести его полностью:

«Уважаемый Константин Михайлович!

По Вашей просьбе отвечаю на вопросы, которые Вам задают школьники в письмах к Вам о судьбе Леньки Петрова из Вашей поэмы «Сын артиллериста».

Ну, прежде всего о том эпизоде, который лег в основу поэмы. В начале войны я служил на севере в артиллерийском полку, в должности командира взвода топографической разведки, в звании «лейтенанта».

В июле месяце 1941 года на нашем участке фронта содалось особенно тяжелое положение, немцы ожесточенно рвались вперед, и поэтому от нашего полка требовался наиболее интенсивный и точный огонь. Вот тогда командованием полка было принято решение выслать корректировочный пункт на одну из высот. Дело в том, что эта высота во время наступления немцев оказалась практически в ближнем их тылу и на ней осталось наше боевое охранение, что-то порядка 20 человек. Вот эта высота и была выбрана местом для корректировочного пункта.

Я был вызван к командиру полка майору Рыклизу (майор Деев) и комиссару полка Еремину, и мне была поставлена задача с радиостанцией выйти на эту высоту. Получив задание, я с радиостанцией и двумя разведчиками отправился на передний край нашей обороны. Пехотинцы дали нам проводника, и под покровом тумана мы вышли к месту назначения. Идти нужно было около трех километров. Прошли мы примерно с километр, как туман рассеялся и немцы открыли по нашей группе пулеметный и минометный огонь. Проводник наш был ранен, и я его отправил обратно. Оставшееся расстояние мы шли что-то около трех часов, правда, «шли» не то, в основном ползли, ибо попытки вытянуться во весь рост прерывались огнем немецких пулеметов и минометов. Но как бы то ни было — цель была достигнута. Правда, сумка у меня оказалась пробита пулей, а в сумке пробило карту, целлулоидный круг, пачку денег (мою месячную получку), и от ранения меня спас находившийся в сумке хорд-угломер, от которого пуля рикошетиrowала.

Обзор немецких позиций с этой высоты был очень хороший, прекрасно мы наблюдали минометную батарею, кухню, много пулеметных точек, отчетливо наблюдали все передвижения немцев. В течение этого дня мы засекли все видимые цели, определили их координаты и передали все необходимые данные по радио в полк.

На следующий день огнем наших батарей минометная батарея по нашим корректирам была уничтожена, накрыта большая группа пехоты, принимавшая пищу, уничтожено несколько пулеметных точек.

Немцы, очевидно, поняли (а может, засекли работу радиостанции), что огонь корректируется именно с этой высоты, и открыли по ней артиллерийский и минометный огонь. Одна из минометных батарей была нами засечена и по нашим командам огнем батарей подавлена. Видя, что огневой налет по высоте эффекта не дал и не смог прекратить точный огонь наших батарей, немцы бросили в наступление на высоту большую группу пехоты. Вызванный нами огонь по наступающим немцам не смог их остановить, и немцы окружили высоту со всех сторон, начав подниматься непосредственно на нее. Нам ничего не оставалось делать, как вызвать огонь непосредственно по высоте. Мы передали такую команду, но командир полка посчитал, что это ошибка, и переспросил, и только после вторичной нашей команды на высоту обрушился шквал нашего артогня.

Наступавшие немцы частично были уничтожены, а остальные обратились в бегство. В период обстрела мы постарались укрыться и остались живы, правда, состояние было ужасное. Ра-

диостанция была разбита, и дальнейшее наше пребывание на высоте без связи с полком было бессмысленно, и я принял решение возвратиться в полк. Но уйти удалось только на следующий день, когда спустился туман, ибо малейшее движение на высоте вызывало огонь немецких пулеметов. Вернулись в полк, где уже нас считали погибшими, и доложили о выполнении задания. Вот и весь эпизод, который послужил основанием для создания поэмы «Сын артиллериста».

В этом полку я прослужил до конца войны. Полк в 1944 г. был награжден орденом Красного Знамени и ему было присвоено наименование Печенгский.

В 1945 году нас передислоцировали на Дальний Восток, где полк принимал участие в войне с Японией, высаживался в портах Кореи.

С 1947 года я служу на Краснознаменном Тихоокеанском флоте.

За период войны награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами Красной Звезды и девятью медалями.

Вот коротенько и все о себе.

Прошу передать от меня, Константина Михайлович, Вашим корреспондентам горячий привет, пожелание отличных успехов в учебе, пожелание быть им достойными славы своих отцов и старших братьев, славы нашей Великой Родины.

3.III. 1966 г.

И. А. Лоскутов.

С тех пор как я получил это письмо, я посылаю копии с него всем пятиклассникам, спрашивающим меня о судьбе «Леньки». Моя жизнь стала легче, а жизнь Ивана Алексеевича Лоскутова — тяжелее, потому что всю дальнейшую переписку ребята ведут уже с ним самим.

Встреча с Лоскутовым не только доставила мне возможность познакомиться с отличным и скромнейшим человеком, но и позволила мне выяснить одну фактическую неточность, которую в поэме я, конечно, уже не стал исправлять. В ней есть строчки о том, что отец «Леньки» погиб в сорок первом году на юге, в Крыму. В действительности воевавший на юге отец Лоскутова, Иван Михайлович, так же как и сын, — артиллерист, не погиб, как тогда думали, а был тяжело ранен, долго кочевал по госпиталям, после них доканчивал войну уже не на фронте, а преподавателем в артиллерийском училище и умер своею смертью в 1965 году.

Возвращаюсь к дневнику.

...Кроме «Сына артиллериста», я в те же дни закончил в Архангельске книжку стихов «С тобой и без тебя», дописав последние строчки последнего стихотворения: «Я, перебрав весь год, не вижу...»

У меня было смутное чувство. Было неясно, как все обернется в моей личной жизни, да и ехал я в Москву, представляя себе сложившееся там положение еще более тяжелым, чем оно было на самом деле. А в общем, что бы там ни происходило, мне предстояло принимать в этом участие, и я, боясь, как бы эта только что законченная книжка стихов не пропала, при помощи украинского писателя Холыша, симпатичного редактора военной окружной газеты, за один день перепечатал и даже переплел в типографии в три отдельные тетрадки три экземпляра этой будущей книжки, и один из них, уезжая в Москву, на всякий случай, чтоб сохранилась, оставил в Архангельске, у Андреева, директора архангельского театра. Он и его жена, актриса Воеводина, сами уже немолодые люди, тревожившиеся за своего сына, от которого с фронта уже давно не было никаких известий, отнеслись ко мне в те архангельские дни почти как к сыну, наверное, поэтому я и оставил именно у них свою тетрадку со стихами.

А самолеты все не вылетали и не вылетали, и, пропустив еще один поезд, мы решили все-таки ехать, не дожидаясь погоды, и утром 2 декабря сели в поезд, отходивший из Архангельска в Москву.

Накануне отъезда Зельма получил телеграмму из редакции «Известий». В телеграмме требовали, чтобы он ехал из Архангельска не в Москву, а прямо в Тихвин, где, очевидно, разыгрывались события. Настроение в эти дни немного улучшилось, были получены первые хорошие сведения из-под Ростова. Но в отношении самой Москвы по-прежнему не было слышно ничего успокоительного.

Зельма по дороге загрустил, ему хотелось ехать до Москвы вместе с нами. Во время стоянки в Вологде, где он должен был слезать, мы разделили с ним остатки сухого пайка, он навьючил на плечи вещевой мешок, и мы проводили его до конца перрона. И я долго смотрел ему вслед. Было как-то грустно и тревожно расставаться с ним. Предчувствие потом оправдалось. Не доехав до Тихвина, Зельма попал под бомбежку, был контужен и несколько недель пролежал в госпитале. И я увидел его снова только спустя полгода.

Против ожидания мы ехали быстрее, чем думали, и 4-го декабря были уже во Всполье. Название этой станции волновало меня

еще задолго до нашего прибытия на нее. Именно здесь должно было выясниться, пойдет ли поезд через Ярославль прямо на Москву или, если это будет уже невозможно, его передадут со Всполья на восток, на Вятку, и дальше пошлют кружным путем.

Простояв во Всполье несколько часов, мы, к нашему душевному облегчению, двинулись прямо на Москву. 5-го утром мы были в Александрове; до Москвы оставалось сто километров. Но когда мы простояли в Александрове целых пять часов, нас снова охватила тревога: почему такая длинная остановка, неужели мы не поедем прямо на Москву?

Наконец мы все-таки выехали из Александрова и черепашим шагом стали приближаться к Москве. За окнами пошли знакомые подмосковные станции, дачи, переезды, платформы. На запасных путях стояло много разбитых и сожженных вагонов, были заметны следы бомбежки.

Мне и раньше во многих знакомых до войны местах казалось странным, когда к этим знакомым местам вдруг приближалась война. Но, пожалуй, нигде это не казалось таким странным, как здесь, в подмосковной дачной местности.

Вечером поезд остановился у перрона Ярославского вокзала. К Москве в поезде осталось совсем мало народу. В нашем вагоне, кроме нас, ехало всего три человека.

В Москве было холодно. По гулкому мерзлому перрону мы пошли внутрь вокзала. Вокзал был холодец, чист и пуст. Не было ни мешков, ни мешочников, ни кричащих женщин, ни детей, никого. В вестибюле дежурили одни милиционеры.

Из Архангельска я никак не мог дозвониться в редакцию. Все ее телефоны, и на Малой Дмитровке, в старом помещении, и в ее последнем помещении, откуда я уезжал, в подвалах Театра Красной Армии, не отвечали. Только здесь, в Москве, позвонив с вокзала в «Правду», мы узнали, что редакция «Красной звезды» теперь находится в том же здании, что и «Правда». Мишка дозвонился до секретаря редакции, и тот сказал, что через двадцать минут придет машину.

Было девять тридцать вечера, по Москве еще ходили трамваи. И нам было удивительно, что по Москве, совершенно темной и пустой, по-прежнему идут хотя и темные, без света, но все-таки трамваи.

Когда до Москвы оставалось километров десять, мы, нетерпеливо глядя в окна вагона, вдруг в абсолютной темноте, в том направлении, где была Москва, заметили вспышки. Мы не могли найти им другого объяснения, кроме того, что, очевидно, это наша артиллерия бьет с окраин Москвы по немцам.

И, только выйдя на черную Комсомольскую площадь, я по-

нял, что издалека, в полной тьме, мы приняли за выстрелы вспышки трамвайных дуг.

Машина действительно пришла через двадцать минут. И мы всю дорогу расспрашивали редакционного водителя, который вел нас: что делается, насколько близко немцы, спокойно ли в Москве? Как часто ее бомбят? Все ли живы в редакции? И на все эти вопросы он давал нам гораздо более успокаивающие ответы, чем мы могли ожидать.

По дороге в редакцию я на минутку заехал на Петровку к тете Варе. Она меня расцеловала, сунула мне в руки письма матери, и я, оставив там вещевой мешок и обещав вернуться и заночевать, поехал в редакцию.

В начале одиннадцатого мы взобрались на четвертый этаж «Правды», где в нескольких комнатках ютилась вся «Красная звезда». Ее московская редакция в день нашего приезда состояла человек из двенадцати: Ортенберг, Карпов, Копылев, Висинский, заведующий корреспондентской сетью Бейлинсон, начальник АХО — кормилец и попец редакции Одецков, две stenографистки и две машинистки. Кроме того, было еще несколько корреспондентов, ежедневно ездивших из редакции за материалами на фронт. В их числе Хирен и Милецкий. А вся редакция занимала всего шесть комнат в одном крыле четвертого этажа «Правды».

Только здесь впервые за все время я почувствовал всю ту меру оторванности от Москвы, в состоянии которой я находился последнее время на севере. Ребята поили и кормили нас с Минской, о чем-то спрашивали, хвалили за некоторые очерки, говорили какие-то хорошие, теплые слова, а я все время чувствовал только одно: наконец в Москве, наконец в Москве, наконец в Москве. И все никак не мог свыкнуться с этой мыслью. В тот день я, наверное, впервые понял, до какой степени я москвич и больше всего на свете люблю этот город.

Среди ночи появился Ортенберг. Я пошел к нему, и он стал расспрашивать меня о поездке. Я тут же, с места в карьер, прочел ему вслух «Сына артиллериста», и поэма сразу пошла в номер.

Наговорившись досыта, часа в два ночи, останавливаемым на каждом перекрестке патрулями, я все-таки добрался до Петровки. Тетка поила меня кофе и рассказывала разные обстоятельства московской жизни за время моего отсутствия. Только здесь я мог спокойно прочитать письма матери.

Мать — это было так похоже на нее — в своих письмах больше всего беспокоилась о том, чтобы я не подумал, что она уехала из Москвы, чего-то убоявшись. Она писала, что единст-

венной причиной отъезда было опасение оказаться отрезанной от меня. Зная ее характер, этому нетрудно было поверить.

В день приезда меня радостно поразило общее чувство, что Москву не отдадут. Было ощущение сжавшейся до предела стальной пружины, которая уже дальше сжиматься не может, а может только разжаться и ударить. В эти дни, когда люди, чем дальше они были от Москвы, тем больше тревожились за ее судьбу, в самой Москве было спокойно и уверенно. Пробыв в ней всего час, я уже почувствовал, что ее действительно никогда не отдадут.

6-го я сдал в редакцию очерк о действиях торпедных катеров в Баренцевом море. С утра у всех было хорошее настроение: поступали первые сведения о том, что наши войска перешли в наступление.

Вечером, когда мой подвал был уже набран, выправлен и стоял в полосе, я узнал, что в Москву вернулись с фронта Трошкин и Кригер, и, созвонившись, поехал повидаться с ними на квартиру к Кригеру. В квартире было холодно и неуютно, но все равно как-то по-домашнему хорошо после всех поездок и скитаний последнего времени.

Просидев и проговорив несколько часов, мы все улеглись спать тут же у Кригера. А наутро приехавший за Трошкиным и Кригером водитель вошел со словами, что Япония объявила войну Америке и Англии.

Мне казалось, что, очевидно, не сегодня, так завтра и у нас тоже начнется война с Японией. Мы все были взволнованы; Кригер и Трошкин сразу поехали к себе в «Известия», а меня водитель отвез в «Правду». По дороге мне мерещились халхин-гольские степи и казалось, что я опять попаду на Дальний Восток.

Но когда я явился к редактору, он сказал, что мои предположения неосновательны и вряд ли на Дальнем Востоке следует ожидать каких-либо особых событий. По крайней мере в ближайшее время.

В этот день я написал и сдал еще один очерк о севере, а вечером вместе с Трошкиным, Кригером и Евгением Петровым мы поехали в совершенно пустой в это время Клуб писателей.

Надо сказать, что в эти декабрьские дни писателей в самой Москве осталось мало. В «Известиях» работали Петров и Линдн, в «Правде» — Ставский, писал в газеты никуда не двигавшийся из Москвы старик Новиков-Прибой, а почти все остальные или были на разных фронтах, или в эвакуации.

В клубе в эту зимнюю ночь было совершенно пусто, никого, кроме нас. Нам выдали роскошный по такому времени харч с выпивкой, и мы просидели за столом до утра.

Женя Петров, когда на него находил стих, мог целыми часами не вставать из-за рояля. У него был чудесный слух и замечательная музыкальная память. Он играл на рояле то обрывки каких-то мелодий, то танцы, то музыкальные шутки.

Это была шумная и хорошая ночь, которой придавал оттенок некоторой мрачности только огромный, совершенно пустой дом. Мы разошлись, когда уже светало. Было морозно, ипей обсыпала деревья, и улица Воровского казалась аллеей из прочитанных в детстве сказок. Я еще никогда не видел такого сплошного, такого красивого инея на всем — на домах, на деревьях, на проводах.

Накануне редакция забронировала мне номер в гостинице «Москва». Я пришел в него рано утром, в большой и пустой. Не могу вспомнить другого такого тоскливого утра. В редакции все еще спали после номера. Я позвонил туда, думал поработать, но машинисток не было на месте. Кроме тех своих товарищей, с которыми я провел эту ночь, у меня в Москве не было ни одной знакомой души, которой можно было бы позвонить. Сурков и Слободской вместе с поездом своей фронтовой газеты очутились в эти дни на несколько десятков километров восточнее Москвы, в Обираловке. По игре случая, из-за того, что эта газета базировалась в поезде, а поезд поставили в Обираловке, четыре центральные газеты оказались в эти дни ближе к передовой, чем газета Западного фронта.

Впрочем, говорили, что со дня на день ее редакция должна была переехать в Москву.

Мне было дано еще два дня, чтобы окончательно отписаться за поездку на север. Я начал писать очерк «Однофамильцы» и на следующий день, не выдержав гостиничной жизни, вернулся в редакцию.

Мне отвели комнату, в которой стояли шкафы картотеки, и поставили туда диван и стол.

Положение на фронте прояснилось, наступление развертывалось, и в Москву стали одного за другим вызывать людей, по приказу редактора выехавших до этого в Казань, где была наготове вторая редакция «Красной звезды», дублировавшая московскую. Приехал Габрилович, за ним Павленко.

Девятого декабря я узнал, что Сурков и Слободской вместе со своей редакцией «Красноармейской правды» переехали в Обираловку в помещение «Гудка». Как раз в этот день у меня было назначено выступление на радио. Я должен был прочесть несколько военных стихотворений, и в их числе еще не напечатанное «Жди меня». Перед тем как ехать туда, я заскочил в машине в «Красноармейскую правду». Там в маленькой комнате я застал Верейского, Слободского и Суркова, которого

первую минуту даже не узнал — такие у него были brave пшеничные, с подпалинами чапаявские усы. Расцеловавшись, мы посидели минут десять, спрашивая друг друга о событиях, происшедших с нами за те несколько месяцев, что мы не виделись после Западного фронта. Потом я прочитал Алеше посвященное ему стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Старик расчувствовался. Я — тоже. Из-под койки была вытащена бутылка спирта, который мы и распили без всякой закуски, потому что закуски не было.

Ровно в восемь, взглянув на часы, я с ужасом увидел, что именно в эту минуту должно было начаться мое выступление на радио.

Проскочив на студию мимо не успевшего меня задержать вахтера, я застал диктора читающим уже третье из четырех моих отобранных для этой передачи стихотворений. Ему осталось прочесть только последнее — «Жди меня». Но мне хотелось обязательно прочесть хоть бы одно стихотворение самому, в особенности это. Выступление по радио значило, что человек именно сегодня, в эту минуту, жив и здоров, и об этом сегодня же будут знать те, кто находится очень далеко от него. Я показал диктору жестами, что буду читать сам, встал рядом, потянул у него из рук лист со «Жди меня», и ему осталось только объявить, что стихотворение «Жди меня» будет читать автор.

Сам не помню, как я тогда прочел его.

На следующий день ко мне в «картотеку» пришли Сурков, Слободской и Борис Рунин. Я прочел им всю книжку стихов «С тобой и без тебя», от начала и до конца, и они, так же как и я, уверенные, что до конца войны ее нельзя будет напечатать, похвалили меня, им понравилось, что я написал книгу стихов о любви.

Это был очень важный для меня вечер. Я сильно волновался перед тем, как прочесть им целиком всю эту книжку, которую, в сущности, вот так, подряд и всерьез, никому еще до сих пор не читал.

В этот же вечер пришло сообщение о взятии Ельца частями Юго-Западного фронта. И я вызвался туда лететь...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

...С вечера предполагалось, что мы вчетвером: Высокоостровский, я и два фотокорреспондента — Бернштейн и Темин — вылетим под Елец двумя самолетами завтра, с самого утра. Однако утром на аэродроме, как водится, сначала не были готовы

У-2, потом задержался где-то кто-то из летчиков, потом не было погоды, потом в снегу никак не могли сдвинуться с места лыжи на которых стояли самолеты, но все-таки наконец мы поднялись, и при довольно сильном ветре, качаясь над самыми крышами московских домов, полетели.

Мы летели через Рязань и попали туда только к трем часам дня. Пока машины заправлялись горючим, а летчики обедали, выяснилось, что сегодня вылетать на Елец уже поздно. После обеда, поговорив на аэродроме с командиром и комиссаром БАО мы легли отдыхать. Вылет предполагался ранний.

Летчики тоже легли спать, не позаботившись перед этим проверить, как поставлены и закреплены наши самолеты на аэродроме. За ночь разыгралась чудовищная метель, а утром, когда летчики пошли на летное поле, самолетов там не оказалось. Они бегали, искали самолеты и наконец вернулись в панике, заявив, что кто-то угнал их самолеты. Как бывает в таких случаях, появились даже различные версии, что кто-то видел, как какие-то самолеты поднимались в воздух, и так далее и тому подобное.

Будучи от природы Фомой Неверующим, я взял бензозаправку и поехал по аэродрому. После недолгих поисков километрах в двух от того места, где мы вчера сели и оставили самолеты, на самой окраине аэродрома, незаметно ухотившей под уклон, я обнаружил оба пропавших самолета. Они стояли недалеко один от другого. У одного было поломано шасси, у другого — костыль.

Как попали самолеты на другой конец аэродрома? Очевидно, это можно объяснить только одним — была очень сильная метель с ветром, поле аэродрома шло наклонно в сторону того оврага, на краю которого в конце концов оказались самолеты, самолеты стояли на лыжах и были не закреплены. Вероятно, они сорвались с места и поехали.

А в общем, как выяснилось, в ближайшие два дня, пока самолеты не отремонтируют, лететь на них дальше было нельзя. Из-за этой глупейшей истории мы не могли попасть теперь в Елец без вынужденного двухсуточного сидения в Рязани. Что было делать?

В экстренном утреннем сообщении говорилось, что вчера вечером нашими войсками освобожден город Михайлов. Михайлов в каких-нибудь ста километрах от Рязани, и я, посоветовавшись с ребятами, решил, чем нам сидеть здесь, лучше поехать в Михайлов, сделать хоть какой-нибудь материал, — а там будет видно. На том и порешили.

Командир БАО одолжил нам полуторку и два одеяла. Мороз был градусов тридцать пять. Мы погрузились в полуторку, один

в кабину, остальные в кузов. Иногда меняясь, но все равно сильно замерзнув, мы километров за семьдесят от Рязани застряли посреди дороги. У полуторки полетело сцепление, и идти дальше она не могла. Она и так плохо шла с самого начала, много раз останавливалась, и ко времени этой последней остановки дело шло уже к вечеру. К нашей удаче, сцепление полетело как раз на въезде в деревню. Мы на руках откатили полуторку на обочину и пошли к ближайшей избе. Хозяином ее оказался старик, руководитель местной пожарной команды, судя по его словам, активный общественный деятель, а судя по виду, порядочный хитрец. Он предложил нам заночевать у него. Избушка была крохотная, на курьих ножках, а из-за перегородки то и дело высывалась голова недовольно ворчавшей бабки.

— Вот нелюбезная она у меня,— говорил старик.— Нелюбезная, и все тут. Я человек гостеприимный, ко мне кто ни приходит, я всегда рад. Водочка-то у вас есть?

Мы ответили, что водочки нет, но есть спирт.

— Ну спиртик,— бодро отозвался старик,— а у меня сальце есть. Может, и картошечки найдем. Старуха моя нелюбезная, но это оттого, что тут одни были, она им и сальца и картошечки выставила, а они уехали и не рассчитались. Вот она меня теперь все пилит и пилит. А мне что, военные люди — свои люди: не дали и не дали. А старухе обидно.

Из этих слов старика нам стало ясно, что он великолепно знает, что почем, и если мы угостим его спиртом, то у нас будет все, что нам надо,— и сало и картошка.

Так оно и вышло. Старуха сварила нам котел картошки с салом, мы достали спирт и, сильно намерзшись за день, со вкусом пообедали. Старик бодро выпил сначала одну рюмку, потом другую, причем пил как-то украдкой, косясь за перегородку и пришептывая: «Как бы бабка не увидела».

— А что? — спросили мы его.

— Ругается, не дает употреблять.

Когда он выпил третью рюмку, бабка его все-таки застукала. Она подошла к столу, обвела нас долгим вопросительным взглядом и сказала:

— Что же вы, его потчуете, а меня нет, хозяйку-то?

Тут мы сообразили, что старик просто-напросто хотел обездолить свою старуху, скрыв от нее, что мы его угощаем спиртом. Бабушка выпила с нами и сразу перестала бубнить.

Однако как ни хороша была картошка с салом, но надо было попробовать дозвониться до БАО, чтобы вызвать на помощь другую машину. Мы решили, что сами доберемся с утра до Ми-

хайлова на какой-нибудь попутной, но с этой машиной все-таки надо было что-то делать.

Сначала мы пошли в сельсовет. Там было пусто. Стекла выбиты, внутри стоял густой морозный пар. Это была последняя деревня, до которой во время своего наступления южнее Москвы несколько дней назад дошла немецкая разведка. Она заскочила в эту деревню, убила двух милиционеров и уехала. Телефон в сельсовете стоял, но провода были оборваны.

Из сельсовета мы пошли в сельскую больницу. В ней был промежуточный пункт для раненых и дежурили две медсестры, совсем еще молодые девушки, предложившие нам всем заночевать в домике при больнице. Они напоили нас чаем, завели старый граммофон с трубой, и мы часа два посидели, радуясь таким простым вещам, как горячий чай, граммофонная музыка и теплая комната. А после этого улеглись спать вповалку на полу на нескольких сепниках, взятых из больницы.

Утром водитель отправился в соседнюю деревню звонить к себе в БАО, а мы забрались в попутный грузовик и через два часа доехали до Михайлова.

Михайлов был первым городом, взятым на этом направлении 10-й армией генерала Голикова. Командование армии на рассвете уехало вперед, к Епифани, которая, по слухам, была взята вчера вечером, а здесь оставались только политотдел и часть штаба.

Никогда не забуду того радостного чувства, с которым я въезжал в Михайлов. Этот город, таким, каким он был в то утро, стал для меня первым явным свидетелем разгрома немцев. Маленький городок был буквально забит машинами, танками и броневиками, целыми и изуродованными. Грузовики, штабные машины, автобусы стояли в каждом дворе. Мотоциклы и велосипеды валялись целыми сотнями. У дорог и в снежных полях вокруг города торчали десятки броненных орудий.

Город был сильно побит артиллерией, многие дома сожжены или разрушены бомбежкой. Михайлов, как нам сказали, был обойден с двух сторон и взят в жестоком бою. Именно этим и объяснялось такое большое количество броненной немецкой техники.

Мы с Высокоостровским пошли искать политотдел, а фотокорреспонденты, сговорившись встретиться с нами через час, двинулись снимать город. В политотделе сказали, что сейчас несколько машин двинется вдогонку за командующим. Мы с Высокоостровским договорились, чтобы нас взяли.

Высокоостровского пристроили в ЗИС к начальнику штаба, а меня посадили к адъютанту в открытую «бантамку».

К этому времени прошло уже больше часа, а наши фотокорреспонденты все не появлялись... Я оставил им в политотделе записку, чтобы они ехали вслед за нами на машине, которая повезет газеты, и мы двинулись. Уже на выезде на перекрестке мы увидели толпу жителей, которых снимали Бернштейн и Тёмин. Но машины были чужие, задерживаться мы не могли, и я успел только крикнуть ребятам, чтобы они ехали вдогонку за нами.

Мы ехали из Михайлова по зимней дороге вслед за наступающей армией. Армия Голикова в эти дни проходила по пятнадцать-двадцать километров в сутки, и дорога представляла собой незабываемое зрелище: она была буквально загромождена брошенными немецкими машинами, орудиями, танками, броневиками. Особенно много было транспортных машин, на которых ездил немецкая мотопехота. Стояли сильные холода, у немцев замерзала вода, и они бросали машины посреди дороги.

Жители, которые были этому свидетелями, рассказывали мне, какие свалки разыгрывались на дороге из-за мест в машинах. Немецкие пехотинцы заставляли танкистов переливать бензин из танков в транспортные машины, чтобы на них могло уехать как можно больше людей. В плен наши бойцы брали неохотно. Да и трудно было их за это упрекать: войска шли через деревни, сплошь, дотла сожженные немцами. По сторонам от дорог была обгоревшая, черная пустыня, только трубы да печи, да изредка одинокие полуразрушенные дома. В деревнях стояли виселицы, с которых иногда только что, иногда несколько часов назад снимали повешенных немцами людей.

Хотя сами по себе те немцы, которых все же брали в плен, имели в этот день жалкий вид и лично во мне не вызывали чувства ненависти, но они воспринимались в сочетании со всем окружающим, с этими пепелищами, которые они оставили на нашем пути. И все это, вместе взятое, вызывало жгучую ненависть у всех нас.

Оторвусь от дневника.

В одном из моих фронтовых блокнотов сорок первого года, связанном с началом нашего декабрьского наступления под Москвой, есть запись, очевидно, первый набросок так и не написанных потом стихов:

«Этого хочет народ, и будет так, как хочет народ, а немцы лгут, их народ не хочет этого, и наоборот — тот, кто хочет этого, — не немец, он фашист, и только...»

Да, я называл тогда немцев немцами, и только так всюду и писал: немцы, немецкая армия. И дневники не принадлежат

к числу сочинений, в которых можно задним числом менять терминологию.

Но с другой стороны, судя по этой же старой записи, хотя ненависть оставалась ненавистью, а все-таки, несмотря на нее, что-то слишком сильно с детства укоренившееся в сознании даже тогда мешало мне поставить знак равенства между словом «немец» и словом «фашист».

В дневнике сказано, как выглядела картина отступления немцев там, где я был, в полосе действий 10-й армии, южнее Москвы. С поправками в ту или другую сторону похожие на эту картины были и на других дорогах немецкого отступления. Известное представление об этом дает лежащий передо мной дневник одного из немецких офицеров, дивизия которого отступала от Москвы на совсем другом участке, не южнее, а севернее Москвы, в те же самые декабрьские дни. Этот дневник, попавший нам в руки в разгар зимних боев сорок первого — сорок второго года, переводился тогда же, наспех, на фронте, но даже сквозь этот торопливый перевод чувствуется, что автор дневника был человеком литературно одаренным и наблюдательным. Мне хочется привести некоторые из его записей для того, чтобы картина декабрьского немецкого отступления от Москвы или хотя бы некоторые черты ее возникли такими, какими они виделись оттуда, с той, с немецкой стороны. В таких случаях увиденное с двух разных точек зрения становится еще наглядней. Вот как выглядят некоторые из этих записей:

«...Сознаем невозможность удержат линию обороны. Предполагается дальнейший отвод сил... Привезли около восьмидесяти человек, сорок из них с обморожениями второй и третьей степени... От усталости люди падают прямо там, где они стоят. Что же будет дальше? Ни одного свежего человека, который мог бы стать на место того, кто сегодня выйдет из строя. Неужели нет дивизии, которая могла бы нас сменить... Саперы взрывают танки и зенитные орудия... Тыловые части отходят согласно приказу и поджигают оставленные деревни. Пламя освещает ночное небо... Приказано оставить позиции завтра утром. Все это очень горько. Мы практикуем род боя (очевидно, отступление. — К. С.), в котором никогда не упражнялись... И вот приходится отказываться, оставлять на произвол судьбы землю, которую мы завоевали в нашем победоносном движении вперед. Боже мой, боже мой! В чем мы провинились, что на нашу долю выпало такое. Наше положение критическое. Возникает опасность быть отрезанными. Требуется не терпящее отлагательства отступление. Идем всю ночь напролет. Отходить придется, возможно, с боями. Внутренне мы готовы к этому. Положение неиз-

вестно. Большинство телефонных проводов не работает, не перерезал ли их противник... С трудом спускаемся на автомобилях с крутого склона. Одно штурмовое орудие взорвано, о судьбе второго ничего не известно. Встречи с тоже отступающими полками создают первые пробки, но полнейшая неразбериха ждет нас лишь в следующем селе. Хлынули части многочисленных, откатывающих назад дивизий, запрудили путь. В танки заправили по пятьдесят литров горючего, достаточно гранаты, чтобы все запылало. Кверху поднимается столб огня высотой в метр. Машина стоит, охвачена ярким пламенем. Таким образом, все, что не может быть взято с собой и что не должно попасть в руки большевиков, уничтожено. На дороге остается несколько орудий первого дивизиона. Измученные лошади не могут больше тащить повозки и околевают. Противотанковая рота потеряла несколько пушек и обозных повозок. От некоторых автомашин приходится отказываться из-за недостатка горючего. Нас нагоняет взвод тяжелых пехотных орудий. На последнем крутом склоне орудие проваливается в глубокую яму, его больше не спасти. Взрываем... Попадаем в страшную неразбериху. На дороге то там, то здесь валяются ящики с боеприпасами, ящики со снарядами. Еду дальше. Они лежат уже горами... Какие потрясающие картины встают перед нами. Я думаю, что я видел подобное только в походе на Запад при отступлении французских войск. Разбитые машины. Рассыпанные патроны... Моральное состояние и дисциплина при этом отступлении подверглись тяжелым ударам... Представляются невероятные картины: совершенно опустившиеся фигуры бродят повсюду в непристойном виде, как бродяги, как последняя сволочь... В 267-й дивизии дело дошло даже до кровавой потасовки...»

Все эти записи сделаны в течение десяти дней между седьмым и семнадцатым декабря 1941 года, примерно в то же самое время, о котором идет речь у меня в дневнике. Я привел их еще и потому, что все это, происходившее на другом фланге в Московской битве, почти дословно подтверждает рассказы жителей о немецком отступлении, которые я своими ушами слышал, двигаясь от Михайлова до Елифани.

Возвращаясь к дневнику.

...Не доезжая до Елифани, мы догнали полковника Немудрова — офицера для поручений при командующем армией. У него сломалась машина, и его подсадили к начальнику штаба, а Бысокоостровского высадили и оставили на дороге ждать какой-нибудь другой машины.

К вечеру мы проехали через Елифань. Город был почти целиком сожжен и еще дымился и тлел. Так же как и Михайлов, он был забит брошенными немецкими машинами, главным образом транспортными.

В Елифани командующего армией не оказалось. Он был уже где-то впереди, под Богородицком, где шел бой.

Мы ехали все дальше и дальше, пробираясь среди обломков и остовов брошенных и сожженных машин. Наконец мы остановились в какой-то деревне, из которой немцы ушли четыре часа тому назад. Она еще догорала, и со всех сторон над снегом плясали языки пламени. Мы зашли в чуть ли не единственную уцелевшую избу. Там грелось уже несколько человек.

Хозяйка избы со всхлипываниями стала рассказывать, как немцы выгнали всех на мороз, и как зажгли деревню, и как убили ее соседа, который хотел потушить свой дом. Говоря все это, она скоблила ножом стол, за который мы хотели присесть, чтобы перекусить.

— Не садитесь, погодите, они тут на столе спали,— говорила она. — Погано тут, погано!

Она все говорила, и всхлипывала, и металась от стола к печке, где варилась картошка.

— Вот все варю и варю, все идут и идут наши,— говорила она, продолжая всхлипывать. — Всю картошку сварю, пока все не пройдут.

Пробыв в этой деревне полчаса и узнав от командиров, что командующий поехал дальше, вперед, мы двинулись вслед за ним.

Был сильный ветер. Все вокруг заметало снегом. Сквозь снег уже недалеко виднелось зарево. Это горел Богородицк. Слева и справа по всему горизонту было видно еще несколько зарев, не таких больших. Немцы, уходя, сжигали вокруг все, что успевали сжечь.

Еще раз прерву себя, чтобы дополнить эту картину взглядом на нее с той, немецкой стороны.

«...Устоять или погибнуть. Третьего в эту русскую зиму быть не может. Если село запылает, то этот огненный столб, во исполнение приказа фюрера, покажет летчикам и нашим соседям, что здесь до последнего патрона сражались немецкие солдаты», — писал в дневнике все тот же молодой немецкий офицер, скорей всего мой ровесник или почти ровесник.

До последнего или не до последнего патрона они сражались — с этим, наверное, в разных местах бывало по-разному, но что они повсюду старались сжечь все до последнего дома — этому я был свидетель.

...Еще через час, то садясь в машину, то вылезая из нее, мы добрались до какой-то деревни, которая тоже была вся в догоравших развалинах. Посреди нее стоял один целый дом, как потом оказалось — сельсовет. Возле этого дома, красный от мороза, в сбитой набок шапке и расстегнутом полуплукке, стоял командующий 10-й армией генерал Голиков и разносил какого-то командира, который спрашивал, куда ему вести свою роту и где находится его полк.

— В Богородицке ваш полк! — кричал генерал. — В Богородицке!

— А куда же идти? — спрашивал командир.

— А вот зарево. Там бой идет. Туда и идите.

— А по какой дороге?

— Ни по какой дороге! — кричал Голиков. — А просто идите на зарево и дойдете. Бой там идет. Поняли?

И люди шли мимо него и уходили куда-то в метель, в сторону зарева.

Начальник штаба армии генерал Дронов, обратившись к Голикову, спросил его, какие части там, впереди.

— Все, что впереди, в Богородицке, — сказал Голиков.

— А ведь полк, — Дронов назвал номер полка, — еще не подошел сюда. Сейчас здесь впереди вас ничего нет, товарищ командующий!

— Разведка есть! — сказал Голиков. — С меня довольно. Разведка впереди. Поняли?

Он увидел приехавшего с нами полковника Немудрова и сказал ему:

— Немудров, мне то сообщают, что уже взяли Богородицк, то сообщают, что еще не взяли. Ничего не понимаю. Скорей всего еще не взяли. Так вот отправляйтесь и берите. Тут до него километров восемь. Двигайтесь.

Немудров откозырял и пошел, но вернулся с дороги.

— Товарищ командующий, какой пропуск?

— Пропуск? — переспросил Голиков. — Богородицк! Сегодня пропуск — Богородицк. Идите!

Несмотря на все то мрачное, что мы видели за этот день, — сожженные и полусожженные города, зарево горящих кругом деревень, несмотря на лютый мороз и буран, все-таки во всем этом было что-то яростное и веселое. Мы наступали, наконец-то наступали! Об этом говорили и оставляемые немцами пожарища, и их валявшиеся повсюду машины. Это чувствовалось и в голосе генерала, и даже в той неразберихе, которая творилась кругом.

Выбрав минуту, я подошел к Голикову и представился как корреспондент «Красной звезды».

— Очень хорошо. Посмотрите, как мы тут воюем, — сказал он. Начавшийся было разговор прервал какой-то командир, который привел только что пойманных на окраине этой деревни двух немцев. Видимо, они отстали от своих и, обледеневшие, со злости в темноте поджигать какую-то еще оставшуюся там целую избу.

Генерал подошел к пленным. Они были в ботинках и шинелях, в натянутых на уши пилотках.

— Из какой дивизии? — спросил генерал.

Ему ответили.

— Что, поджигали? — спросил Голиков.

Подтвердили, что поджигали.

Поджигателей было приказано расстрелять.

Их куда-то увели, а генерал ушел в дом. Дом состоял из двух частей: одна, кажется, была жилая, а другая представляла собой что-то вроде огромного сарая с печью внутри. Там на земляном полу уже лежало вповалку несколько командиров. А из печи торчало два бревна: по мере того как они прогорали, их совали все глубже и глубже в печь. На дворе было не меньше тридцати градусов. Двери сарая были сорваны с петель, окна выбиты, но все же по крайней мере сверху не сыпал снег и меньше задувал ветер.

У меня не было с собой ни сухаря, ни крошки хлеба, вообще ничего. Я лег поближе к печке, примостившись так, чтобы, поворачиваясь, можно было греть то спину, то грудь. Кто-то из соседей поделился со мной замерзшим куском хлеба. Засунув в печь ведро, в нем топили снег и пили из него чуть теплую грязную воду с плававшей в ней соломой. Я так устал и намерзая за день, что все-таки уснул, иногда сквозь сон переворачиваясь.

Когда я проснулся через три часа, уже рассвело. Я встал и обошел деревню. От нее почти ничего не осталось. Не сгорело только три избы в разных концах. За ночь люди наскоро завалили сверху обгорелыми бревнами и соломой подполы, чтобы там можно было ютиться и спать. Сюда, в эту деревню, сошлись люди еще из нескольких окрестных деревень, сожженных совсем, дотла. Но в трех оставшихся избах было так мало места, что туда устроили греться лишь женщины с детьми, а все остальные только заходили по очереди погреться с краешку и снова выходили на мороз.

Я минут пятнадцать походил по деревне, еще не решив, что же мне теперь делать и как добираться до Богородицка. В это время из дома сельсовета вышел Голиков. Он был с утра начисто, досиня выбрит. Вместе с ним вышел начальник штаба, с которым я вчера ехал. О Богородицке все еще не было окончательных сведений. По одним слухам, он был взят, по другим — еще нет.

— Поезжайте,— сказал Голиков генералу Дронову. — Если Богородицк взят, сообщите мне, а если еще не взят, возьмите.

Я попросил у него разрешения поехать с начальником штаба.

— Поезжайте, поезжайте,— сказал он торопливо.

Метель так замела все дороги и все еще продолжала мести с такою силою, что ехать дальше на машине не было никакой возможности. Появились какие-то санки, и мы втроем — Дронов, его адъютант и я — поехали по направлению к Богородицку. Адъютант правил лошадей, а мы сидели за его спиной в санях. Все кругом замело сплошной белой пеленой. Сани мотало из стороны в сторону и заваливало то в одну, то в другую кювет. На дороге стояли взорванные немецкие броневики. Сквозь метель брели вперед небольшие группы бойцов — то ли пополнение, то ли отставшие. Метель не утихала. Проселочная дорога петляла во все стороны. Проехав часа полтора и уже приближаясь к Богородицку, мы встретили сжавшие нам навстречу сани. В них сидел бурый от мороза полковник Немудров — тот самый, которого командующий накануне отправил брать Богородицк.

— Ну как? — спросил его генерал.

— Взяли. Ночью. И еще километров на восемь отогнали дальше. Бой идет,— сказал Немудров. — Я четыре донесения послал вам с пешими.

— Ни одного не дошло,— сказал Дронов.

— Наверно, заблудились связные, а может, замерзли,— сказал полковник. — А вы куда?

— Хотели туда. А теперь поедem обратно,— сказал Дронов.

Мы завернули сани и поехали обратно вслед за полковником. Через полтора часа мы вернулись в штаб. Там я наконец зашел во вторую, теплую, половину сельсовета погреть окоченевшие руки, и мы с Немудровым, который тоже вторые сутки ничего не ел, разодрали пополам остатки перезрелой курицы.

Я колебался, что мне делать: то ли оставаться здесь, то ли со своими первыми впечатлениями, пока они интересны для газеты, срочно добираться до Москвы. В этот момент случилось сразу два события: наконец приехал на каком-то попутном грузовике Высокоостровский и прилетел и сел у окраины деревни летчик с пакетом из штаба ВВС армии. Голиков сидел за столом и писал донесение, чтобы отправить его с летчиком. Я решил и, подойдя к члену Военного совета армии, попросил его высадить из самолета бортмеханика и посадить в самолет меня, чтобы я мог сегодня же попасть в Москву и сделать корреспонденцию для газеты. Он с минуту колебался, но потом, видимо понимая, что такое газетная спешка, решительно сказал:

— Ладно, снимем бортмеханика.

Летчик, выслушав это приказание, поморщился, посмотрел на меня и сказал:

— Хорошо. Только имейте в виду, вчера у меня уже один самолет сожгли, больше не хочу! Так что хоть голову себе отвершите, а когда полетите, сразу смотрите во все стороны!

Голикову не терпелось ехать вперед, и он приказал передислоцировать командный пункт в Богородицку. На деревенской улице стала строиться колонна уходивших туда машин. Высокоостровский оставался у Голикова: он хотел сделать для газеты статью обо всей операции. Я было уже двинулся вслед за летчиком, как вдруг в дверь избы вместе с ворвавшимся паром вошел человек в черной кожанке, с очень знакомым лицом.

— Комиссар штаба такой-то дивизии,— громко отрапортовал он.

Его, видимо, ждали, и он сразу прошел к Голикову.

Я силился вспомнить, кто же это, но вспомнил только через минуту, когда он, уже возвращаясь, снова прошел мимо меня. Да ведь это же Балашов, старший политрук, комиссар того полка, в котором я был в Одессе вместе с Халипом! Я узнал Балашова, а он меня.

— Как ты сюда попал? — спросил я его.

Он ответил, что был в четвертый раз рабеп и эвакуирован из Одессы, а потом, после госпиталя,— попал сюда.

— Заезжай к нам в дивизию,— торопясь, говорил он на ходу. Его уже ждала машина.

Я вспомнил, в каком аду он был под Одессой, и порадовался, что он уцелел, выжил и вот воюет теперь здесь, под Москвой...

Комментируя свои дневниковые записи о боях под Одессой, я уже писал и о дальнейшей судьбе, и о трагической смерти Никиты Алексеевича Балашова. Напомню здесь только, что со дня нашей последней встречи с ним, под Москвой, когда я так обрадовался, что он уцелел там, в Одессе, и стоит передо мной живой и здоровый, жить на свете ему оставалось не так уж много, всего полтора года. Война мерит людские жизни на свой аршин, могла отмерить и еще короче.

Погиб и один из двух моих спутников, с которыми мы ехали на санях к Богородицку. Об этом я узнал несколько лет назад из письма бывшего начальника штаба 10-й армии генерал-лейтенанта в отставке Николая Сергеевича Дронова:

«...Хорошо помню разрушенный, забитый немецкой техникой Михайлов, где мы с Вами встретились. Помню путь на Епифань и село Колодези, где мы догнали генерала Голикова. Из Колоде-

зей мы с Вами и моим адъютантом Букреевым выехали к Богородицку. Помню, как, оставив из-за метели на дороге машину, мы пересели в сани. Букреев правил лошадей. Несколько слов хочу сказать об этом чудесном парне. Еще будучи моим адъютантом, по в другой части, когда я командовал дивизией при освобождении последнего, Уваровского района Московской области, он был ранен. По выздоровлении, вернувшись из госпиталя, он рвался на передовую, тяготясь своим адъютантским положением, и ему удалось уговорить меня, и я направил его на окружные танковые курсы. Он кончил их и погиб в бою. Правильно делаете, что пишете о войне, о которой забывать нельзя. Надо, чтобы книг о тех страшных и суровых годах было еще больше. Того, кто скажет, что писать об этом уже хватит, что пора забыть, не ворошить старого, я назову предателем, потому что если забыть это, значит надо забыть и то, что принес человечеству фашизм. Забыть — это значит уже почти простить. А разве это возможно?..»

Возвращаюсь к дневнику.

...Машины со штабом начали выезжать из деревни. Мы с летчиком шли по заметенному снегом картофельному полю к самолету. На задах, у плетня я увидел двух расстрелянных вчера поджигателей. Они лежали, неуклюже поджав под себя ноги. Женщины равнодушно проходили мимо них.

Мы сели в самолет и поднялись. Видимо, жители этих мест сильно натерпелись от немецкой авиации, потому что наш У-2, летевший с примусным шумом на высоте десятка метров, заставлял шедших по дороге с узлами, с котомками и санками женщин разбегаться и ложиться в снег. И лишь потом, когда мы уже пролетали у них над самыми головами, они узнавали своих, вскакивали и начинали махать нам руками.

В первый раз мы сели у Епифани, где летчику надо было взять еще один пакет. Я полчаса прождал его, приплясывая у самолета, а он, вернувшись и, очевидно, опять вспомнив, как его вчера подожгли, снова сказал мне, чтобы я как следует смотрел по сторонам. Я, разумеется, так и делал.

Примерно через час мы сели в Михайлове. Как выяснилось, летчик, с которым я прилетел, дальше лететь был не намерен и не имел на это приказаний. Одновременно с нами на другом У-2 прилетел и сид рядом какой-то рослый летчик, молодой и начальственного вида. К его У-2 подъехала «эмка», и я, увидев это, попросил его подвезти меня до ВВС армии. Не туда ли он едет? Летчик согласился меня подвезти и сказал, что едет имен-

но туда, что, впрочем, было неудивительно, ибо он оказался командующим ВВС 10-й армии генерал-майором Богородецким.

Штаб ВВС размещался в Михайлове, в большой комнате одного из сохранившихся домов. В комнате стояли обеденный стол, буфет и несколько фикусов. Дело шло уже к вечеру. Я попросил генерала, чтобы он дал мне самолет до Рязани, где я смог бы снова пересечь на один из двух стоявших у нас там самолетов. Но он сказал, что сегодня по запасу светлого времени этого уже не успеть, а завтра, прямо на рассвете, он даст мне У-2, и я за час с четвертью долечу до Рязани. Рассчитав, что если даже за вечер и ночь я доберусь туда на какой-нибудь попутной машине, то все равно ничего не выгадаю, я започевал в Михайлове, и на рассвете уже был на аэродроме. После некоторых задержек, связанных с выяснением маршрута: куда приказано лететь сначала и куда потом, — мы сели с летчиком в самолет и поднялись.

Погода была отвратительная. Машину качало вкривь и вкось. Сквозь метель почти ничего не было видно. Но через час с небольшим мы благополучно сели на аэродром в Рязани.

Я боялся, что наши самолеты улетели отсюда, потому что как-никак мы отсутствовали уже четвертый день. Но выяснилось, что один из самолетов еще так и не починили, летчик поехал в Рязань за какими-то запасными частями, а второй самолет был исправен, и летчик сидел и ждал нас. Мы позавтракали вместе с ним, и он отправился готовить машину к полету. К двум часам дня у него все было готово, по нас стали уговаривать не лететь. Метель превратилась в бурю. Самолет раскачивало ветром даже на земле. Но теперь мне уже было просто необходимо попасть в Москву без новых проволочек, иначе я опаздывал со своей корреспонденцией и моя поездка теряла для газеты всякий смысл. У летчика, видимо, имелись свои соображения, по которым он спешил попасть в Москву и тоже желал лететь во что бы то ни стало. В общем, мы залезли в самолет и полетели.

Хотя У-2 — машина, на которой обычно чувствуешь себя спокойно, в данном случае не могу сказать этого о себе. Видимость была такая отвратительная, что, боясь зацепиться за что-нибудь, мы летели выше, чем обычно, и нас трепало в воздухе как щепку. Когда мы пролетали над Коломной, над трубами ее заводов, были такие дикие порывы ветра, что казалось, мы вот-вот плюхнемся на какую-нибудь крышу. Было и так холодно, а над Коломной с меня сорвало ушанку. Остаток пути пришлось лететь с непокрытой головой, и я тер и бил себя кулаками по лицу и голове, чтобы не обморозиться окончательно.

В пятом часу дня мы сели под Москвой на заметенный снегом аэродром около бывшего авиазавода, на котором я когда-то

работал. Я попрощался с летчиком и пошел в штаб авиаотряда звонить в редакцию. Вид у меня был довольно глупый: в полном обмундировании и без шапки. Машину прислали без проволоочки, и через час я добрался до редакции. Материал, разумеется, был срочно необходим, и я диктовал его до глубокой ночи. Мой не больно складно написанный очерк «Дорога на запад» все же был одним из первых газетных материалов, в которых рассказывалось о разгроме немцев под Москвой...

Сейчас, задним числом, справедливость требует добавить, что 10-я армия, в которой я тогда оказался, только что заново сформированная и впервые под Москвой брошенная в бой, практически состояла из одной пехоты с положенной ей по штату артиллерией, по почти без всяких частей усиления.

И если учесть это, то можно без преувеличений сказать, что лишь ценой крайнего напряжения всех физических и нравственных сил солдат и офицеров наших наступавших тогда на этом направлении дивизий удавалось дешево и пощадно, в мороз, в метель, пешком по снегам без передышки, ежесуточно по пятнадцать и по двадцать километров гнать перед собой отступавших немцев, заставляя их бросать на дорогах технику, оружие, снаряжение, все то, что еще недавно составляло основу их материального перевеса над нами.

В «Журнале боевых действий» 10-й армии за декабрь 1941 года есть запись о взятии разрушенного и сожженного Богородицка и захваченных в нем трофеях — двухстах с лишним немецких транспортных и штабных машинах и девяти зенитных установках.

В этой же записи в объяснение того, почему армия взяла Богородицк на сутки позже, чем это было приказано, достаточно откровенно говорится о трудностях, возникших в ходе наступления:

«...Нет регулярного подвоза боеприпасов, горючего и питания. Дивизионный и армейский гужевые транспорты не успевают догонять свои части и отстают. Дивизии находятся в непрерывном движении со дня выгрузки. В результате отсутствия достаточных средств связи для облегчения управления Военный совет армии с двенадцатого декабря с опергруппной выбрасывается к войскам, находясь от линии фронта пять — десять километров, а иногда и впереди. Средства связи со штабами дивизий — почти исключительно направленными от оперативного отдела и самолетами У-2, которых в армии три, но летают только два. В армии отсутствуют подвижные войска, как-то: танки, автобаты. Из конницы: 41-я кавалерийская дивизия, которая вошла в подчинение,

имела сорок процентов к штатному составу. А 57-я и 75-я кавдивизии прибыли неукomплектованными и без седел...»

Я привел эту выписку для полноты картины, которую я тогда наблюдал как корреспондент «Красной звезды». Одно наблюдал, о другом догадывался, о третьем не имел, да и не мог иметь достаточно полного представления.

Вся эта самокритическая запись в «Журнале боевых действий» заканчивалась словами:

«Моральное состояние войск Армии хорошее, боевое. Успехи наступления поднимают дух личного состава...»

Эти слова о моральном состоянии войск были такой же святой правдой, как и все сказанное до этого о неполадках.

Наступление шло в трудных условиях, но все-таки оно шло и до поры до времени не останавливалось. Именно это и составляло в ту зиму главную радость для воевавших людей. Да и какие еще радости были на войне? Во всяком случае из тех, что хоть как-то можно было поставить тогда вровень с этой?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

...Я сдал свой очерк в номер в два часа ночи, и едва успел это сделать, как редактор вызвал меня и сказал, что, по только что полученным сведениям, наши войска ворвались в Калинин, сейчас город, очевидно, уже занят и надо срочно дать об этом материал в газету. Он тут же стал звонить по телефонам, ему обещали выделить для полета в Калинин Р-5. Он приказал, чтобы я вылетел утром вдвоем с фотокорреспондентом Сашей Капустянским и во что бы то ни стало завтра же к вечеру вернулся с материалом в номер.

Я поспал четыре часа, и в семь утра мы выехали на аэродром.

Задержки начались уже по дороге. Сначала застряла наша «эмка», и нам пришлось два километра топать по сугробам. Потом, когда мы сели в самолет, оказалось, что у него неисправен мотор; начали искать летчика с другого самолета. А когда он появился, то выяснилось, что его машина еще не заправлена. Когда приказали заправить машину, то по дороге застряла в снегу бензозаправка. Наконец вытащили бензозаправку и заправили бензином самолет, оставалось только сесть в него. Но перед этим летчик спросил меня, умею ли я стрелять из авиационного пулемета. Я признался, что не умею. Летчик потратил пять минут на то, чтобы обучить меня, как наводить, как поворачивать и где нажимать. Из всего этого мне больше всего понравилось, как

поворачивалась турель: очень мягко и с приятным шумом. Затем нам дали сигнальные ракеты, и мы, прежде чем влезать в самолет, обсудили, где будем садиться. Пункты, где находились штабы обеих армий, наступавших на Калинин, нам были известны, но пока бы мы прилетели туда, добрались от самолета до штаба, узнали обстановку и вернулись к самолету, — пока бы все это происходило, мы, конечно, не успели бы, побыв в Калининне, прилететь к вечеру в Москву. Газета осталась бы без материала.

Точных известий о Калининне и положении на его окраинах — с какой стороны наши, с какой немцы — у нас не было. Но мы все же решили садиться прямо в Калининне. Подлететь к городу, пустить сигнальные ракеты на всякий случай, чтобы не обстреляли свои, и садиться. Я договорился с летчиком, что он опустится пониже и постарается разобраться в обстановке по идущим машинам. А кроме того, логически рассудив, решили подлететь к Калининну с востока — с той стороны, откуда, скорей всего, брали его наши.

Самолет Р-2 — двухместный, а нас было трое. Капустянский лежал внизу, в фюзеляже, лицом ко мне, а я сидел за турелью и глядел во все стороны, от души желая и себе и своим спутникам не иметь никаких воздушных встреч.

Внизу, среди снегов, лежали деревни, то пощаженные, то не пощаженные войной, то выгоревшие дотла, то почти целые.

Пролетая над Клином, мы на всякий случай пустили пару сигнальных ракет, хорошо помня старую авиационную шутку, что никто так удачно не сбивает самолеты, как собственные зенитчики.

Через полтора часа мы уже подлетали к Калининну. Капустянский напарал мне записку, прося снять через борт панораму города. Мороз стоял около тридцати градусов. Как только я стаскивал рукавицу и высовывал руку с фотоаппаратом за борт, ее словно обжигало, и она переставала что-нибудь чувствовать. Капустянский дергал меня за ногу, чтобы я снимал, а летчик, повернувшись ко мне, делал знаки, чтобы я пускал сигнальные ракеты. Я несколько раз щелкнул аппаратом, потом онемевшими пальцами нажал курок и выпустил красную ракету. Теперь нужно было выпустить еще и зеленую, но проклятая ракета никак не влезала в пистолет, как я ее туда ни пихал. Второй ракеты я так и не выпустил, а на моих снимках, как впоследствии выяснилось, получился не Калинин, а близлежащий лес, — спешая, я не учел наклона самолета при вираже.

Сделав полукруг, мы стали спускаться и сели на Волгу у правого берега. И едва сели, как мотор заглох. Я повернулся направо и сквозь поднятую самолетом пелену снега увидел, как какие-то

люди стаскивают на руках с откоса пушку, и в наступившей вдруг тишине ясно услышал дорогие мне в эту минуту трехэтажные русские слова, относившиеся к пушке, к богу и к родителям. Тут уж не могло быть никаких сомнений, что все в порядке — прилетели к нашим.

Оставив летчика у самолета, мы с Капустянским пристроились на какой-то санитарный автобус и добрались на нем до штаба дивизии, бравшей сегодня ночью Калинин с восточной стороны.

Мы зашли к командиру дивизии и к комиссару. Они рассказывали о ходе событий, в которых участвовала их дивизия, потом мы попросили полторку и поехали по калининским улицам. Капустянский спял проходившие войска, панораму разрушений, взорванный мост через Волгу, немецкое кладбище в центре города. Женщины уже тащили с этого кладбища берзовые кресты на дрова.

Глядя картину «Разгром немцев под Москвой», в которой, если я не ошибаюсь, есть кадр: женщина, вытаскивающая из земли немецкий крест, некоторые считали это патетической инсценировкой. А между тем я свидетель: так это и было на самом деле. И делалось это не столько из ненависти к немцам, сколько из хозяйственных потребностей.

Пока Капустянский снимал, я пошел по улице и стал разговаривать с людьми. Многие женщины плакали. Еще до вчерашнего дня люди до конца не верили в то, что немцев смогут разбить, выгнать отсюда. Между прочим, когда думаешь о настроениях, об ощущениях и мыслях людей там, в занятых немцами городах, то часто не учиываешь одного простого обстоятельства: с первого и до последнего дня пребывания там немцев огромное большинство людей вынуждено питаться только немецкой дезинформацией. Иногда к ним попадают наши листовки, почти никогда — газеты, но зато вместо всего этого существуют немецкие бюллетени, немецкое радио, немецкие газеты. И если в газетах, рассчитанных на собственного, немецкого читателя, масштабы лжи еще остаются в пределах здравого смысла, то в газетах для оккупированного населения немцы абсолютно не стесняются и пишут совершенно небывалые вещи. Но как бы ни были нелепы эти вещи, когда они повторяются день за днем, они все-таки угнетают людей, заставляя думать: а вдруг это правда?

Один из характерных примеров такой пропаганды: в сентябре и октябре немцы во всех своих русских газетках писали, что немецкие войска вышли на Волгу. И формально это была правда, потому что в верховьях Волги, на Северо-Западном и Калининском фронтах, они кое-где действительно вышли на Волгу. Но они

писали об этом так, что люди, привыкшие всю жизнь представлять себе Волгу совершенно по-другому, могли подумать, что заняты по крайней мере Саратов и Куйбышев. Как раз на такое впечатление и были рассчитаны заголовки в газетах о выходе немецких войск на Волгу.

Высыпав на улицы, люди разговаривали друг с другом, женщины всхлипывали, мальчишки висли на военных машинах. На всех лицах была радостная растерянность.

Нельзя сказать, чтобы город был сильно разбит. В нем было сожжено порядочно домов, много домов пострадало и сгорело от бомбежек, но в общем верилось, что через месяц-два он начнет опавляться после всего им пережитого.

Брошенной немецкой техники и на улицах, и на выездах из города было сравнительно мало, и у меня создалось впечатление, что, вынужденные к отступлению нашим движением с юга и с севера, немцы из самого Калинина, очевидно, отступили по приказу, не ведя в самом городе особенно ожесточенных боев, а лишь прикрывая свое отступление. В этом смысле Калинин представлял собой иную картину, чем Михайлов. Там чувствовался разгром, здесь — отступление.

Через два часа мы вернулись на командный пункт дивизии. Ее командир по первому впечатлению показался мне человеком угрюмым, но тут, давая нам дополнительные данные о действиях своей дивизии, он оживился, привел несколько подробностей, потом вспомнил, что дивизия представлена к званию гвардейской, и наконец стал говорить, что именно их дивизия в большей мере, чем другая, наступавшая с другой стороны, сыграла роль при взятии города. Он утверждал это тем решительней, что дивизии были в составе разных армий.

Мы уже собрались на самолет, но генерал вдруг махнул рукой адъютанту, на столе появилась бутылка бесцветной жидкости, оказавшейся спиртом, и мы вместе с командиром дивизии и комиссаром выпили перед дорогой по чарке. Настроение у всех было хорошее — так или иначе, неизвестно, какой больше, этой ли дивизией или другой, но Калинин общими усилиями был взят. И мы выпили за то, что он взят, и за то, что его все-таки главным образом брала именно эта дивизия, и за то, чтобы она стала гвардейской.

Сев в полуторку, мы поспешили к самолету и через пять минут после того, как подъехали к нему, были в воздухе. Сделав два круга над Калинином, летчик взял курс на Москву.

Прилетели мы в полной темноте и сели не слишком удачно, подломив у самолета одну ногу. Несмотря на это, все обошлось благополучно, и в восьмом часу вечера я уже был в редакции и

корпел над очерком «Вчера в Калинин», который, по совести говоря, получился плохо. Хуже, чем тот очерк, который я написал накануне о Михайлове. Наверное, и потому, что первые впечатления были сильнее, и потому, что трудно два дня подряд писать очерки, в сущности, о том же самом.

После Калинина редактор два или три дня выдерживал меня в Москве. Сколько-нибудь крупных городов в эти дни пока не освобождали; он выжидал выхода наших войск к Калуге и собирался отправить меня туда.

Не знаю, может быть, когда-нибудь это еще повторится со мной, но те декабрьские дни в Москве кажутся мне какими-то особенными. Фронт был еще так близко, что все корреспонденты были, что называется, прицеплены к телефону. В любые пятнадцать минут за любым из нас могли прислать машину, и он, надев полушубок, мог уже через два часа оказаться на фронте. Кстати, и полушубки, и валенки, и оружие, и вообще все, что могло понадобиться в поездке, — все это по возможности постоянно находилось под рукой в редакционных «эмках».

Казарменное положение стало тогда не только необходимою, но и привычкою жить и спать, пить и есть там же, где ты работал. И все старались держаться потеснее друг к другу; одиночество было противопоказано всем.

И от близости фронта, и оттого, что утром можно было уехать, а к концу дня вернуться, а следующим утром снова уехать и снова вернуться, создавалось ощущение какой-то скоротечности жизни, некоторой рискованности и нежелания ничего откладывать до завтрашнего дня. Было суматошно, непонятно и хорошо. Все, что имели, делили по-братски, и никому не приходило в голову составлять далеко идущие планы, рассчитывать свою жизнь или свои отношения с людьми хотя бы на неделю вперед. Все начиналось сегодня и кончалось завтра.

Перед отъездом в Тулу, откуда потом мне предстояло выезжать под Калугу, я, проходя по улице, с удивлением увидел афишу — Московский драматический театр имени Ленсовета открывал сезон спектаклем «Парень из нашего города». Попросив в редакции разрешения задержаться на один день, я пошел посмотреть спектакль.

Спектакль начался в два часа дня. Театр играл в холодном помещении на Ордывке, зрители сидели в полушубках и шапках. Бурмина играл перешедший сюда из Театра Ленинского комсомола Плятт, а Васнецова — Фрелих. Все остальные актеры были новые.

Было как-то странно сидеть здесь, в театре, в Москве, на этой своей довоенной пьесе. Да и вообще последнее время в

Москве было как-то странно представить себе, что по-прежнему существуют театры и в них по-прежнему идут пьесы.

На следующий день на рассвете, а вернее, еще затемно я уехал на машине в Тулу. Там размещался штаб 50-й армии генерала Болдина, передовые части которой подходили в это время к Калуге. Как тогда шутили между собой корреспонденты, у меня было редакционное задание: взять Калугу и вернуться.

Я ехал по этой знакомой дороге на Тулу с каким-то удивлением в душе. Прошло всего четыре с половиной месяца с тех пор, как мы втроем с Халипом и Демьяновым ехали по этой же самой дороге через Тулу на Южный фронт, в Одессу. Теперь Тула была городом, только что избавившимся от угрозы захвата ее немцами, а дальше все дороги, лежавшие на Орел, Курск и Харьков, были для нас пока непроезжими — всюду были немцы.

Через пять часов мы доехали до Тулы. Город было трудно узнать. Он был весь перегорожен баррикадами и рогатками. Многие баррикады были сложены из кусков балок, обрезков железа, из прессованной металлической стружки, из всего, что только нашлось на старых заводских дворах. Впечатления города, сильно побитого войной, Тула не производила. Были поврежденные и разбитые дома, были дома с разбитыми стеклами, но в общем город остался цел.

По дороге в Тулу, километрах в тридцати или сорока от нее, увидели несколько подбитых немецких танков, остатки грузовиков и повозок. Это было то самое место, где разведка одной из передовых частей Гудериана, обойдя Тулу с юго-востока и завернув на север, вышла на дорогу между ней и Серпуховом, пытаясь довершить окружение Тулы. Именно в тот день, на несколько часов опередив эти прорвавшиеся к дороге немецкие танки, генерал Болдин, на мой взгляд, спас Тулу тем, что, приняв командование 50-й армией, вместе со своим штабом въехал внутрь намечавшегося немецкого окружения, решив рвать его изнутри.

Около часа у меня ушло на поиски штаба, который, как и многие другие наши штабы, благоразумно размещался в маленьких одноэтажных незаметных деревянных домишках на окраине города. Своего старого товарища еще по Халхин-Голу, нашего корреспондента при 50-й армии Пашу Трояновского я обнаружил у комиссара штаба армии. Получив там последнюю армейскую информацию, мы договорились с Пашей ехать завтра под Калугу, а пока что пошли поспать к нему в комнату, где он жил вместе с корреспондентом «Правды» Булгаковым.

Вечером в этот же день я вместе с Трояновским пошел к командующему армией генералу Болдину. Мне надо было с ним поговорить, потому что одним из заданий, полученных мной от

редакции, было задание написать или рассказ, или очерк о генерале. Считалось, что Болдин был для этого одной из самых подходящих фигур. Трояновский, который знал в армии всех и которого все знали, потому что он был здесь с самого начала боев за Тулу, прошел к генералу и попросил его о свидании. Болдин назначил время, когда он меня примет.

В ожидании, чтобы не тратить времени зря, я подсел к адъютанту генерала, который побывал с ним в двух окружениях и, так же как и сам Болдин, был два раза ранен, и стал расспрашивать его о командующем. Адъютант говорил о Болдине с увлечением, и мне показалось, что им владело искреннее и глубокое чувство. Впрочем, это было несудивительно. Во время первого окружения на Смоленщине генерал, взяв на плечи, вытаскивал своего раненого адъютанта из боя...

Рассказ старшего лейтенанта Евгения Степановича Крицына сохранился у меня во фронтовом блокноте. И по правде говоря, по-моему, он живей рисует и фигуру Болдина, и обстановку первых дней войны, чем мои собственные, сделанные во время разговора с самим генералом, заметки для очерка, который я так и не написал.

«...Болдин в первый день войны вылетел на СБ в Белосток. Нас обстреляли. Все-таки сели, хотя с пробоинами. С вооруженными людьми на грузовике поехали в штаб 10-й армии. Пять-шесть километров отъехали; у Берестовицы нам разбили с самолета грузовик, и всех убило. Остались шофер, я и генерал, раненный в левую руку, — четыре пальца. Один осколок он и сейчас носит. Хотели выпнуть, но он говорит: «Потом, после войны, пока в горячке и так не мешает...» Пересели с ним в другую машину — и в штаб армии. Он дал там указания, пробыл сутки и до 28 июня объезжал части.

Ходил сам в трудную минуту в атаку с танковой группой у Кузница-Соколики.

Приехал Кулик. «Ну, — говорит, — поскольку ты, Болдин, здесь, я могу уехать».

Кулик уехал, а Болдин остался и, получив приказ об отходе, был до последнего впереди. Собирал войска, приводил их в порядок и делал прорыв с боем на Пески. Останавливал на танке войска. Соберет тысячи две и ставит задачу на прорыв.

Северо-западнее Минска собрались части, с дивизию. Разведка донесла, что близко штаб мотоциклетного полка. Уничтожили штаб. В штабе взяли документы и восемнадцать машин. Тут появились немецкие танки. А у нас было всего два танка и две пушки. Он приказал открыть огонь. Били до последнего снаряда. Отдал приказ прорываться дальше. Меня тут два раза

ранило, в пятку и в бедро. Он меня подобрал и метров двести нес на себе под огнем.

Переправу занял противник. Генерал сам разведаль брод и на себе вместе с другими перетащил по грудь в воде пятьдесят машин.

Постепенно к нему собирались люди. По дороге делали налеты на немцев, жгли склады, машины, самолеты, два штаба, семь машин с документами.

Четверо суток заботливо подготавливал выход. Вооружал всех по лесам. Стало у нас одиннадцать пушек, машины. Взяли у противника рацию, связались со своими частями, 11 августа в семь утра пошли на прорыв в 30—40 километрах северо-западнее Смоленска. Он вел людей сам, шел в атаку впереди.

Немцы сидели выпивали около своей артиллерии. Застали их врасплох, взяли в этом бою 21 орудие, убили 1500 немцев, сожгли 100 машин и 130 мотоциклов.

Рука у него была раздута и на перевязи.

Прорвались и пришли на командный пункт Тимошенко. На второй день он был на приеме у Сталина и 18 августа, уже как заместитель командующего фронтом, выехал в 30-ю армию, где было тяжелое положение...»

Так выглядела тогда в рассказе спасенного генералом адъютанта история этого прорыва из окружения, который потом, в августовском приказе Ставки, приводился в укор другим генералам как пример для подражания.

Начав воевать генерал-лейтенантом, заместителем командующего Западным фронтом и во главе 50-й армии отличившись в дни обороны Тулы, Болдин впоследствии не выдвинулся и не вошел в число тех командармов, чьи военные дарования развернулись в ходе всей четырехлетней войны с наибольшей очевидностью.

Но конец войны — концом, а начало началом. И справедливость требует помнить об этом и о тех первых впечатлениях, которые складывались у нас о людях тогда, в начале войны.

Возвращаюсь к дневнику.

...Ровно в назначенный час генерал вызвал адъютанта к себе в кабинет, и тот, вернувшись, сказал мне:

— Генерал просит извинения: он все еще на проводе с Москвой. Но через пять минут он вас примет.

Ровно через пять минут меня пригласили в кабинет к Болдину. Я почему-то думал, что Болдин старше. На самом деле ему было пятьдесят, а выглядел он лет на сорок пять. Это был огромный человек с длинными руками, с широкими, немного сутулыми

плечами, богатырской грудью и большой, начинающей лысеть головой. Он носил аккуратные солдатские усы.

Начальство часто щеголяло на фронте отсутствием единообразия в форме. Генералы ходили и в полушубках, и в кожанках, и в бекешах, и в парашютно-десантных куртках — кто в чем. Болдин был одет строго по форме и ходил зимой в шинели со всеми положенными ремнями и полевой сумкой, являя собой пример подтянутости.

Он сначала рассказал мне, что происходило на фронте его армии, а потом, когда я начал расспрашивать его о нем самом, кратко сказал про свою жизнь. Это была солдатская жизнь человека, с молодых лет и навсегда связавшего судьбу с армией. Всю первую мировую войну генерал провел на Кавказском фронте, начал солдатом, кончил подпрапорщиком. Причем в его роте было много земляков из той деревни в Мордовии, где родился он сам, и из соседних деревень.

У Болдина были хорошие умные глаза, спокойная улыбка, внимательная приглядка, юмор и отсутствие крепких выражений в разговоре.

Как я понял из слов генерала и из дополнительных объяснений Трояновского, ситуация под Калугой складывалась довольно трудная. Немцы с двух сторон оставались еще очень близко от Тулы. Но наша ударная группа прорвалась вглубь по Калужской дороге и дошла до самого города. Бой шел за предместья Калуги. Прорыв был совершен на большую глубину, но по обеим сторонам узкой кишки прорыва по-прежнему были немцы. Они то в одном, то в другом месте перерезали эту кишку, так что от штаба армии до командовавшего наступавшей на Калугу группой войск генерала Попова было почти невозможно добраться. А он, в свою очередь, не мог добраться до своих передовых частей, которыми временно начальствовал один из командиров дивизий.

Словом, переплет был сложный, но Болдин действовал в этих условиях смело и решительно. И, учитывая психологическое состояние немцев в те дни, очевидно, так и следовало действовать. То есть поступать с немцами так, как всего каких-нибудь два месяца назад они поступали с нами.

Добраться до Калуги было трудно, но попытаться все же следовало. Вернувшись от Болдина, мы решили ехать в сторону Калуги на двух машинах — так, во всяком случае, было надежнее.

Всю ночь мела метель, к утру она вроде бы затихла, но, когда мы были уже в дороге, возобновилась с новой силой. Дорогу все сильнее переметало, вокруг были заносы, множество машин стояло в пути. Мы проткнулись через несколько пробок, но в кон-

це концов, проехав за пять часов тридцать километров, окончательно застряли в еще одной пробке и поняли, что нам на своих «эмках» вряд ли в ближайший день-два удастся пробиться вперед по этой дороге.

Мы прочно засели в середине пробки, и спереди и сзади были машины. В конце концов мы одну за другой перетаскивали обе «эмки» через кювет в поле, где был твердый, слежавшийся наст, объехали по нему запасы, снова перетаскивали машины через кювет и выехали на дорогу позади пробки. Через девять часов, голодные и холодные, мы бесславно вернулись в Тулу.

Я дозволился по ВЧ до «Красной звезды» и, доложив Ортенбергу о нашей неудаче, сказал ему, что, если редакция хочет, чтобы мы сделали материал о Калуге, и не только доехали туда, но и вовремя вернулись с материалом, нам нужен У-2. Выслушав меня, он обещал прислать самолет.

На следующий день У-2 не пришел — не было погоды, но в редакции сказали, чтобы мы ждали, — на следующий день У-2 придет обязательно.

Болдин, который прошлой ночью выехал на вездеходе вперед, к генералу Попову, добирался туда уже вторые сутки, и в штабе даже не было толком известно, где он находится.

Единственная связь с наступавшими на Калугу частями поддерживалась при помощи самолетов.

Под Калугу ежедневно вылетал утром и возвращался оттуда вечером офицер связи — капитан Аранов, маленький красноносый человек, утопавший в большом полушубке. Он каждый раз долетал, каждый раз находил все, что требовалось, и каждый раз возвращался. Его У-2 за эти дни остался чуть ли не единственным в распоряжении штаба армии. Все остальные были сожжены немцами или покалечены при вынужденных посадках в метель. А он всякий раз благополучно добирался туда и обратно.

В первый раз я увидел капитана так: из-под Калуги уже сутки не получали никаких известий; в дверь вбежал маленький запыхавшийся человек в полушубке и столкнулся с комиссаром штаба.

— Был? — спросил комиссар штаба.

— Был, — радостно ответил капитан.

— Ну, значит, поздравляю с орденом Красного Знамени. У командующего слово твердое. Раз добрался, значит, все!

— Командующий у себя? — спросил капитан, видимо до того уставший, что на него не произвели впечатления даже эти слова об ордене. Комиссар сказал, что командующий у себя, и повел капитана к Болдину. Через три минуты капитан вышел из кабинета, и оттуда донесся голос Болдина:

— Вы там посмотрите, чтобы его накормили, напоили и обогрели как следует!

Но капитан шел через комнату такой тяжелой, шатающейся походкой, что было совершенно ясно, что с ним теперь можно сделать только одно: немедленно уложить этого смертельно усталого человека спать.

Наш самолет из Москвы не пришел и на второй день. Стали ждать его на третий. К вечеру, когда еще сильнее разыгралась метель и оставалось совсем мало надежды на то, что он придет, с аэродрома в штаб позвонил Виктор Темин. Редактор прислал его вместе с самолетом.

Вскоре в тесную комнату, где мы жили с Трояновским, ввалились Темин и корреспонденты «Известий» Гурарий и Беликов. Оказывается, они прилетели двумя самолетами. Утром решено было лететь всем вместе.

За ужином один из братьев корреспондентов с пафосом стал громить всех эвакуировавшихся из Москвы.

В те дни у многих оставшихся в Москве было кислое отношение к уехавшим из нее в октябре. Слишком уж много народу уехало в то время, в сущности, без приказаний и распоряжений, под тем или иным соусом. Но я лично, во-первых, трезво делил всех уехавших на уехавших по приказанию и уехавших в качестве, если можно так выразиться, «добровольцев», а во-вторых, думая об этих последних, понимал, что, как бы мы ни метали громы и молнии на их головы сегодня, через пять дней после того, как они вернутся, мы им все это забудем в силу природных свойств нашей русской натуры.

Но наш разгорячившийся товарищ держался другого мнения. Он говорил об эвакуировавшихся из Москвы и оставшихся в Москве так, словно шестнадцатого октября пролегла некая черта всемирно-исторического значения, пропасть, бездна между москвичами и так называемыми «куйбышевцами». Он то с гневом, то с сарказмом говорил, что им не простим этого ни мы, ни история; что пусть только они попробуют вернуться как ни в чем не бывало, в то время как мы тут в самые тяжелые дни... и так далее и тому подобное!

Не стал бы приводить этот разговор, если б не запомнил его до такой степени отчетливо. А запомнил потому, что он был всего лишь самым откровенным из целой серии похожих на него, вспыхивавших в эту зиму. Смешная их сторона состояла в том, что люди, любившие поговорить на эту тему, клеймя уехавших, в душе считали собственное присутствие в Москве чуть ли не подвигом.

Порой даже те, кто остался чисто случайно — или потому, что им не досталось места в поезде, или потому, что они опоздали, или потому, что о них просто-напросто забыли в момент эвакуации, — постепенно привыкали считать себя людьми, оставшимися из глубоко принципиальных соображений.

Что до нашего собеседника, то он как раз остался в Москве отнюдь не случайно и, в сущности, был милым и хорошим парнем, только, пожалуй, несколько преувеличивавшим в тот вечер исторический смысл своего решения.

Рано утром мы с Трояновским снова пошли в штаб узнавать обстановку. На самолетах под Калугу надо было лететь с таким расчетом, чтобы утром долететь туда, собрать материал о ее взятии и к вечеру прилететь обратно в Тулу. Долететь до Калуги и отправить самолет обратно, а самим остаться там — значило отрезать себе возможности своевременной доставки материалов о взятии города.

В штабе нам сказали, что большая часть Калуги пока по-прежнему в руках немцев, идут ожесточенные бои на ее окраине. Одновременно мы узнали, что южной конный корпус Белова сегодня ночью ворвался в Одоев, и у меня возникла идея слетать в Одоев, вернуться оттуда, передать материал, а на следующий день, если прояснится ситуация, лететь в Калугу.

Кстати сказать, в Туле оказалось сразу два фотокорреспондента «Красной звезды» — присланный редактором Темин и давно сидевший здесь Кнорринг. Оба хотели лететь со мной, и мне пришлось принимать соломоново решение: сначала слетать в Одоев с Кноррингом, а потом взять с собой под Калугу Темина.

Через час мы четвером — я с Кноррингом и известицы — двинулись на аэродром. Немного мело, но погода была сносная, летать было можно. Летчики проверили моторы, и мы поднялись. Оба летчика не слишком хорошо знали этот район и поначалу вместо Одоева сели во взятом два дня назад городке Крапивинс. Выяснив свою ошибку у окружившей самолеты стайки ребят, мы поднялись, полетели дальше и минут через пятнадцать сели на полянке около сосновой рощи у окраины Одоева. У новой стайки осведомителей-ребятишек мы узнали, во-первых, что на этот раз мы действительно в Одоеве, что немцы удрали отсюда ночью и что через город все утро идет кавалерия. Мы подтащили самолеты поближе к опушке, так чтоб хоть их фюзеляжи оказались под соснами, и, оставив их там, двинулись в город.

Он представлял собой невеселое зрелище и был сильно побит — очевидно, не только немецкими, но и нашими бомбежками. Кроме того, немцы, уходя, успели кое-что поджечь. Во всем городе были разбиты окна. Население на три четверти разбежа-

лось по окрестностям и только сейчас начинало собираться. По улицам шли растерянные люди. Они заглядывали в дома, в пустые окна, и горестно пожимали плечами. Врезалось в память несколько подробностей: вывески частных парикмахеров с надписями на русском и немецком языках «для господ немецких офицеров», вывески различных учреждений местной магистратуры, тоже с надписями и по-немецки и по-русски.

Гуарий и Кнорринг спалили разрушения, брошенные немецкие орудия, а мы с Беликовым, походив по городу, столкнулись с председателем райисполкома, который последние три часа осуществлял в городе местную власть. Это был немолодой человек, плохо, не по-зимнему одетый, забко потиравший руки и, видимо, невольно растерявшийся при виде всех разрушений и бедствий, постигших его город. Мы зашли вместе с ним в большую комнату какого-то дома. Здесь уже залатали фанерой несколько выбитых стекол; одна женщина мыла пол, а другая растапливала печку. В комнате не было еще ничего, ни одного стула, только кривоногий стол. Но в соседней уже толпились первые посетители, и среди них начальник местного коммунального хозяйства, инженер, который при немцах восстановил здесь разрушенный водопровод. Об этом нам сказал председатель райисполкома.

— Сейчас будем с ним говорить, — сказал он.

И мне независимо от данного случая пришла в голову мысль, что в городе, который занят немцами и в котором остались жители, возникает много сложных человеческих проблем. Скажем, хотя бы эта: вот инженер-коммуальник; он застрял в городе, по какой-то причине не успев уйти с нашими войсками. Предположим, что это честный советский человек. Но его вызывают немцы и говорят, что вот в этом городе живут ваши, русские, а взорванный водопровод не работает, наладьте его. Спрашивается, что он должен делать? С одной стороны, плохо идти на службу к немцам, а с другой стороны, плохо оставлять город без водопровода.

Эта ситуация более сложная. А вот более простая, о которой мне пришлось говорить тут же в Одоеве. Немцы живут в городе второй месяц. Это не деревня, где у жителей есть какие-то запасы продовольствия и где они могут отсидеться, иногда даже не уходя далеко от избы, а лишь выкапывая из земли то, что припрятано. Это город с пекарней и булочной, с магазинами, где раньше люди покупали продукты. Приходят немцы, назначают городского голову, приказывают организовать вновь, пусть по самым нищенским нормам, какое-то снабжение, открыть пекарни и магазины. В городе живут женщины с детьми, дети хотят есть, а снабжение могут получить только те, кто работает или служит. И вот мать

трех детей — именно такой случай был в Одоеве — идет работать при немцах в городской магистрат машинисткой. Не потому, что она любит немцев, и не потому, что хочет изменить Родине, а просто потому, что ее детям нечего есть, а если она будет работать машинисткой, то получит свои триста или двести пятьдесят граммов хлеба.

Все эти мысли возникли у меня в Одоеве, когда я говорил там с людьми. Безусловно, нам придется, да уже и приходится при освобождении своей земли сталкиваться с великим množеством проблем подобного рода и разбираться с ними в каждом отдельном случае. В Одоеве, где немцы были немного больше месяца, уже возникла масса таких проблем. А сколько же их должно возникнуть в Киеве, где немцы уже давно и где оставшимся в городе людям как-то надо существовать, потому что никто не может прожить долго на подожном корму?

Иногда, находясь на войне, забываешь о том, что быт остается бытом, хлебный паек — хлебным пайком, коммунальное хозяйство — коммунальным хозяйством, а дети — детьми. И фигура какого-нибудь отъявленного мерзавца и предателя песчаненно менее важная проблема для пера писателя, чем проблема вот такой машинистки городского магистрата, матери трех детей.

Через город на запад, подтягиваясь, двигалась кавалерия. Над городом дважды прошли «юнкеры»; выныривая из облаков, они бомбили город, но оба раза эта бомбежка шла далеко от нас: пока «юнкеры» бомбили одну окраину, мы были на другой, и наоборот.

Зато, когда мы вернулись к самолетам и уже хотели вытащить их на поляну, чтобы садиться, над самыми нашими головами с ревом прошли сначала один, потом второй, потом третий «юнкеры». Первый из них развернулся и снова низко прошел над нашими головами. Должно быть, он заметил самолеты. А может, не самолеты, а детей, потому что, замаскировав самолеты в рощице, мы не предвидели, что человек двести ребят окружают их стоящим на белом снегу черным полукольцом. Дети бросились врассыпную, мы стали на опушке под деревья, а «юнкер» спикировал и обстрелял из пулеметов то место, где только что стояли и дети и мы. По счастью, никто из детей не был ни убит, ни ранен, хотя пули прочертили через поляну длинные снежные дорожки.

Выждав пять минут, мы сели в самолеты и полетели обратно. Взлетев и развернувшись, мы снова увидели шедшие мимо «юнкеры». Но они нас не преследовали: или не заметили, или было не до нас. Отлетев подальше от Одоева, мы увидели еще один

«юнкерс». Но тут оба наших У-2 нырнули к самой земле и полетели вдоль русла реки, петляя между берегами.

Немецкая авиация свирепствовала, воспользовавшись этим первым сравнительно погожим днем. Как мне потом сказали, Болдину, который в этот день двигался по дороге на Калугу, пришлось чуть не двенадцать раз вылезать из машины и пережидать то бомбежку, то штурмовку. Немцы не хотели отдавать Калугу и делали на наших коммуникациях все, что могли.

Через полтора часа полета, уже в полутьме, мы, изрядно замерзшие, вернулись в Тулу. Забравшись в комнату у Трояновского с ногами на койку и немножко отогревшись, я написал корреспонденцию об Одоеве. Она была передана по телеграфу, но там у нас, в «Красной звезде», ее признали слишком «штатской», то есть недостаточно изобилующей военными событиями, и в результате она так и не пошла.

Корреспонденция и правда была неважная, но все же мне было обидно, что ее не напечатали. Вышло так, что с точки зрения интересов газеты я зря летал в Одоев.

А у Кнорринга все получилось еще хуже. Когда он ночью с попутной машиной отправлял проявленные кадры Одоева, то у нас как раз шел разговор о том, что, согласно последним известиям, сейчас идут бои за Белев и к утру его, очевидно, возьмут. И Кнорринг, слушая эти разговоры, по рассеянности, а может, просто от усталости написал на конверте с кадрами Одоева: «Белев».

Ортенберг, больше всего на свете любивший оперативность, даже не удивился, как молниеносно был снят Белев — чуть ли не раньше, чем был взят, — наоборот, был очень доволен, что эти снимки появятся в газете в то же утро, что и сообщение Информбюро о взятии Белева.

Ни в Одоеве, ни в Белеве никто, кроме нас, из редакции не был, и поэтому никто не обнаружил, что эти разрушенные дома на фотографиях сняты в Одоеве, а не в Белеве. Кнорринг, увидев свои фотографии в газете, в отчаянии схватился за голову. Но события нагромождались одно на другое, и кажется, никто так и не узнал об этой небольшой его ошибке.

На следующее утро мы, на этот раз уже с Тениным, решили лететь под Калугу; взята она или не взята — посмотреть, что там делается. Если взята, то лететь с материалом о ее взятии в Москву, а если нет — вернуться в Тулу, дать предварительный материал, а потом слетать еще раз.

На рассвете Беликов, Гурарий, Тенин и я с трудом влезли вчетвером в своем зимнем обмундировании в машину и поехали на аэродром. Я занял переднее сиденье, а Тенин, Гурарий и Беликов устроились сзади.

Под тряску машины я слышал, как Темин и Гурарий лениво переругивались сзади меня — сводили свои фотографические сче-ты, как вдруг за моей спиной треснула автоматная очередь. Машина встала. Темин выскочил из нее первым и, очевидно с пере-пугу, совершенно официально отрапортовал мне:

— Товарищ Симонов, Гурарий хотел меня убить!

Гурарий, который до этого все время цацкался со своим ППД, сейчас держал автомат в руках и смотрел то на него, то на простреленную крышу машины.

— Интересно, как это получилось? — растерянно говорил он. — Сколько было бы звону в редакции — Гурарий убил Те-мина.

— Над самым ухом просвистела! — кричал взволнованный Темин. И, судя по дыркам в машине, это была чистая правда.

«Эмка» застряла в глубоком снегу и дальше не пошла. Оставшиеся четыре километра до самолета мы шли пешком.

На аэродроме стояло несколько У-2, готовившихся к вылету. У одних прогревали моторы, в другие заливали бензин. Мало того, что была метель, вдобавок над аэродромом бушевали вихри снега, поднятые уже заведенными моторами. Снежинки сыпались прямо в лейки с бензином. Летчики ворчали, что достаточно и куда меньшего количества снега в бензине, чтобы моторы заглох-ли, но, несмотря на это ворчанье, все равно готовили машины к вылету. Один из наших двух самолетов сначала не могли за-вести, потом выяснилось, что нельзя лететь без обогревательной лампы: вдруг где-нибудь започуем! Наконец достали эту лампу с какого-то другого самолета.

Тем временем связные У-2 стали один за другим подни-маться в воздух. Первым вылетел капитан Арапов.

Мы, как могли, торопили наших «извозчиков», чтобы они вылетели впрытик за ним, но, пока они добывали лампу, он уже улетел. Успели улететь и другие. Теперь нам предстояло лететь, надеясь только на собственную ориентацию. Был сильный ветер и сплошная метель. К тому же было довольно холодно. Темин и Гурарий не захотели расставаться друг с другом, чтобы не вы-шло так, что, попав в разные самолеты, один из них долетит и снимет, а другой не попадет и не снимет. Мы с Беликовым сели во второй У-2.

У-2 были разные. Один открытый, а второй, в который сели мы с Беликовым, утяжеленного типа, с закрывающимися кабин-ками. Поначалу из-за холода нас это радовало, а потом как раз это и вышло нам боком.

Мы полетели над Тулой, обогнули ее и целиком вверились летчикам.

Пролетев больше часа, мы по времени должны были оказаться уже где-то под Калугой. Но в сплошном снегопаде и болтанке почти ни черта не было видно, и мы что-то излишне часто, даже для У-2, кружили и поворачивали в разные стороны. Я почувствовал, что мы заблудились, и, как потом оказалось, почувствовал правильно. Помставшись и покрутившись, мы наконец сели на какой-то поляне. Кругом был лес, вдалеке, в нескольких километрах, чернела деревня.

Когда мы вылезли, выяснилось, что летчики не имеют никакого представления о том, где мы находимся. Они из-за метели уже давно сбились с дороги, служившей им ориентиром в полете на Калугу, и считали, что мы теперь находимся где-то между Калугой и Тулой, но где — не могли сказать. И как в эту метель добраться теперь до Калуги, судить не брались.

Положение было скучное. Мы насквозь промерзли. Метель переходила в буран. Коридор, по которому прорвались наши войска из Тулы в Калугу, судя по картам, был шириной в шесть — десять километров, и трудно было поручиться, что мы не сидим сейчас на территории, занятой немцами. Посовещавшись, мы решили, что у нас нет другого выхода, как признать сегодняшний полет неудачным и попробовать добраться обратно в Тулу.

На поляне, где мы сели, лежал глубокий снег. Самолетные лыжи проваливались в нем, и, как ни форсировали моторы летчики, самолеты не трогались с места. Наконец более легкий по весу самолет, на котором летели Гурарий и Темин, оторвался от поляны. А нам это все не удавалось и не удавалось. Тогда наш летчик сел в кабину, а мы с Беликовым встали под крыльями и, упершись в них, стали раскачивать самолет. Но каждый раз, как только мы, раскатав самолет, начинали лезть в кабину, лыжи опять утопали в снегу, и самолет не двигался. Нужно было, раскатав его, садиться в кабину уже на ходу — другого выхода не оставалось.

Второй самолет ходил над нами, наблюдая наши старания, а мы с Беликовым все пытались оторваться от грешной земли. Когда мотор давал обороты, сила ветра ударяла нам прямо в грудь и в глотки и мешала вовремя вскочить в уже двигавшийся самолет. А если самолет трогался медленно и мы успевали в него вскочить, то он останавливался, и приходилось начинать все сначала. Это было тяжелое занятие — каждый раз раскачивать, бежать, вскакивать, опять раскачивать. Все крепкие слова, какие только есть в русском языке, уже были сказаны. Наконец, изо всех сил поднатужившись и раскатав крылья, мы все-таки вскочили в самолет, и он на этот раз пошел, его не заело.

Еле дыша, я перевалился через край кабины и окончательно втиснулся в нее уже на лету. Я так взмок, что не мог остыть до самой Тулы, куда мы прилетели в полной темноте и с трудом сели, чуть не обрубив телеграфные провода.

Как выяснилось позавтра, в тот день погода подкузьмила почти всех. Из шести вылетевших из Тулы самолетов все-таки долетел до Калуги и вернулся обратно только один — с капитаном Араповым. Наши два самолета вернулись благополучно. У четвертого самолета в бензине попало слишком много снега, мотор встал, и самолет шлепнулся, но, к счастью, обошлось без жертв. Пятый самолет разбился в шестидесяти километрах от Калуги, а шестой так и не нашли. Очевидно, он сел где-то у немцев...

Проверяя себя и свои тогдашние дневниковые записи, я гляжу в оперативные сводки штаба 50-й армии за те дни, что я сидел в Туле, летал под Одоев, но так и не смог добраться до Калуги. Некоторые записи в течение нескольких дней подряд почти повторяют друг друга:

«...Сведений к моменту составления сводки не поступило. Высланный офицер связи на самолете не вернулся...»

«...Сведений о результате боя, положении частей не поступило...»

«...Высланный делегат на самолете не вернулся...»

«...Сведений о положении группы к моменту составления сводки не поступило...»

Эти выписки свидетельствуют о том, что суть дела изложена у меня в дневнике близко к истине. В те, за редкими исключениями, нелетные, короткие, зимние метельные дни посланные в наступавшие части офицеры, или, как тогда еще по старинке называли их «делегаты связи», иногда не добивались до цели, иногда не возвращались, а иногда, добравшись, не успевали вернуться или связаться со штабом армии к моменту составления сводки. И только один капитан Арапов почти каждый день и добирался, и успевал вернуться. Что же за человек был этот упрямый маленький капитан, утопавший в большом, не по росту, полушубке? Желая ответить самому себе на этот вопрос, я разыскал в архиве его личное дело. Первым из документов мне попал на глаза наградной лист, датированный декабрем сорок первого года, с представлением к ордену Красного Знамени, скорей всего тому самому, о котором шла речь в моем присутствии. В наградном листе говорилось, что Арапов Алексей Пазарович, капитан, помощник начальника первого отделения оперативного

отдела штаба 50-й армии, «волевой, энергичный, штабной командир, аккуратно, четко и добросовестно выполняющий любые поручения, несмотря на их сложность». Что он «воодушевлял бойцов и командиров своим примером бесстрашия» и «выполнял ряд ответственных заданий по установлению связи и доставке боевых приказов войскам, пробираясь в тыл врага».

В следующем документе, боевой характеристике, датированной апрелем 1942 года, было сказано, что работающий помощником начальника оперативного отдела штаба 50-й армии майор Арапов «выполняет специальные задания командования и всегда, при любых условиях, все приказание выполняет точно и в срок. В труднейших метеорологических условиях тов. Арапов летал на самолете У-2, выполняя приказы командарма, и, не страшась авиации противника, своевременно выполнял задания».

Нашел я и еще одно похвальное упоминание о работе Арапова, уже не в его личном деле, а в документе, подписанном зимой сорок первого года начальником связи 50-й армии:

«Особенно большую работу из штабных командиров проделал майор Арапов, работник оперативного отдела штаба армии, летавший очень часто в самых сложных условиях погоды и обстановки...»

Итак: волевой, энергичный, бесстрашный, точный штабной командир, своевременно выполняющий любые поручения при любых условиях. Видимо, в сочетании всех этих качеств, далеко не всегда соединяющихся в одном человеке, и состоит главное объяснение того, почему именно капитану Арапову удавалось в одинаковых условиях делать больше всех других.

Ну и к этому главному объяснению нужно добавить еще чуточку везения, чуточку того боевого счастья, без которого на войне люди не живут и без учета которого никакая самая железная логика все равно до конца не объяснит всего происходящего на войне.

Боевое счастье сопутствовало капитану, впоследствии майору, впоследствии гвардии подполковнику Алексею Назаровичу Арапову и когда он — офицером оперативного отдела — одно за другим выполнял самые рискованные задания командования, и когда он потом, став начальником штаба третьей воздушно-десантной гвардейской дивизии, сначала останавливал немцев на Курской дуге, под Малоархангельском, и когда наступал оттуда почти до самого Днепра.

А потом было то, от чего на войне не страхуют ни бесстрашные, ни опытные: была немецкая бомба прямым попаданием в ту хату, где спали. И на следующий день приказ: «Погибшего при бомбардировке вражеской авиации в деревне Гайворон Черниговской области начальника штаба дивизии гвардии подполковника

Арапова Алексея Назаровича исключить из списков части с 14 сентября 1943 года...»

Всегда, когда не знаешь дальнейшей судьбы встреченного тобой на войне человека, приступаешь к архивным поискам если не с надеждой, то хотя бы с какой-то долей надежды. Так было и на этот раз. Но, к сожалению, процитированный мною приказ по частям 3-й воздушно-десантной гвардейской дивизии оказался последним архивным документом, в котором упоминались имя, отчество и фамилия летавшего под Калугу маленького капитана в большом, не по росту, полушубке.

...Когда после своего неудачного полета мы вернулись в теплую комнату Трояновского и я лег на койку и вытянул ноги, а потом, подремав минут пятнадцать, захотел встать, то почувствовал, что не могу ни согнуться, ни разогнуться. Очевидно, я надорвался, ворочая самолет. Боль в животе была такая, словно там что-то перерезали ножом. Всю ночь я не спал, а утром, скрипящий, пошел к врачу. Ребята в этот день не полетели, погода была совершенно стервозная, еще хуже, чем вчера. Врач потрогал меня, пощупал, сначала сказал что-то ученое, объяснил, что у меня сильное растяжение какой-то мышцы, и я едва доковылял обратно до Трояновского.

Положение мое было самое идиллическое. Никакого дела я так и не сделал: корреспонденция об Одоеве не пошла, до Калуги я не добрался.

Мы держали совет с Трояновским и решили, что мне нет смысла еще несколько дней валяться на койке здесь, в Туле. Взяв у него машину и вытянувшись в ней наискосок, я поехал в Москву. На дороге были снежные заносы. Мы застряли в одном из них, я стал толкать машину, но почувствовал такую боль, что вынужден был бросить это занятие. Шофер, действуя один, порвал сцепление, машина безнадежно встала. Пришлось вылезти и проголосовать. Какие-то работники НКВД посадили меня в «эмку» и довезли обратно до Трояновского.

Мы достали с ним грузовик, который должен был дотянуть на буксире до Тулы нашу застрявшую машину, и в конце концов уже ночью я пристроился на попутную «эмку» и к утру добрался до Москвы.

Кое-как поднявшись на четвертый этаж и доложившись редактору, я завалился на диван к себе в «картотеку» и два дня не вставал. Так закончилась эта моя, пока, пожалуй, самая бездарная за время войны поездка.

Я лежал и стыдился того, что не могу дать в газету ничего хорошего. Но постепенно в памяти стали возникать разные воспоминания пережитого за эти полгода, и я за несколько часов, не отрываясь, продиктовал машинистке большой очерк «Июнь — декабрь», который пошел двумя подвалами в новогодний номер «Красной звезды».

На этом, собственно говоря, и заканчивается мой дневник сорок первого года.

Следующая запись, хотя и датированная 31 декабря, в сущности, относится уже к событиям сорок второго года, который я встретил по дороге на фронт, в Феодосию.

А последний из написанных в сорок первом году очерков — «Июнь — декабрь» — был для меня самой первой попыткой подвести нравственные итоги увиденному и пережитому за первые полгода войны.

Отсюда и его название.

Время было такое, что многих тянуло и подводить итоги, и пытаться заглядывать в будущее.

Произошедший под Москвой в декабре первый крутой поворот всего хода войны потряс и наше собственное сознание, и сознание немцев.

Пока они шли к Москве по стопам Наполеона, веря, что повторяют его конца, они не боялись воспоминаний о 1812 году.

«...4-я танковая группа начала свое наступление на Москву в середине октября 1941 года на Бородинском поле, где 7.9.1812 Наполеон руководил одним из своих самых кровопролитных сражений. Как и 129 лет тому назад, русские, сопротивляясь с невероятным упорством, пытались преградить путь к «священной Москве»...»

«...И снова, как в августе 1812 года, противник пытался оградить свою столицу, задержать наступление в 100 километрах от города...»

«...Разгорелось сражение, которое по своему значению не уступало сражению 1812 года, однако было еще ожесточеннее, продолжительнее, с участием всех средств современной войны...»

Отмечая для себя эти напоминания о 1812 году в захваченных нами немецких документах, я невольно вспоминал одно, уже давно читанное военное сочинение.

Генерал Гофман, начальник штаба германских войск на Восточном фронте в первую мировую войну, выпустил в 1923 году напугавшую тогда книгу «Война упущенных возможностей». В ней он сетовал на то, что германская армия по крайней мере дважды за ту войну упустила, по его мнению, возможность глубоко вторгнуться в Россию и добиться решающей победы над ней.

Мотивируя реальность этого, он тоже вспоминал Наполеона: «...Упускается из виду, что при нынешних путях сообщения не существует тех трудностей, с которыми приходилось бороться Наполеону. Если бы в его распоряжении были железные дороги, телефоны, автомобили, телеграф и аэропланы, то он и до сих пор еще был бы в Москве...»

Книга Гофмана была одной из тех, на которых формировался взгляд верхушки германского офицерского корпуса, людей, восставших в первую мировую войну лейтенантами и капитанами и отправившихся в 1941 году в поход на Восток, командуя дивизиями, корпусами и армиями.

Все то, чего в 1812 году не было в «распоряжении» Наполеона, в их «распоряжении» в 1941 году было. И однако...

В данном случае я не проицирую, а просто хочу объяснить всю меру потрясения, которое испытали эти люди тогда, в декабре, под Москвой.

Под новый, 1942 год в штабе 4-й немецкой танковой группы было составлено описание боев под Москвой под несколько странно звучащим названием: «Штурм до ворот Москвы».

Формулировка «до ворот» оказалась вынужденной — описание было доведено только до последнего дня наступления, до 5 декабря, когда танковая группа генерал-полковника Хейнера действительно дошла до ворот Москвы, но составлять это описание пришлось уже в двухстах километрах от этих ворот.

Вся мера потрясения происшедшим особенно очевидна, если поставить рядом две цитаты из этого описания, связанные с одной и той же датой — 5 декабря:

«...С Истринского участка дивизии обоих танковых корпусов медленно шаг за шагом приближаются к Москве. Вскоре они выходят к первым дачным поселкам, столь характерным для Москвы. И несмотря на то, что их ряды редеют, великая цель, стоящая перед ними — Кремль, — заставляет терпеливо переносить все трудности и жертвы. 5 декабря 1941 года три танковых дивизии и дивизия СС «Рейх» из состава танковой группы Хейнера находятся на расстоянии 32 километров от Кремля. Они стоят перед воротами советской столицы, куда уже доносится шум боя...»

И вот то же самое 5 декабря в том же самом документе, звучащем уже не как фанфара, а как похоронный колокол:

«...5 декабря 1941 года в развитии боевых действий под Москвой наступил перелом. В результате наступающих жестоких холодов и подхода свежих сил противника на участок 4 и 3 танковых групп немецкое командование вынуждено было прекратить наступление и перейти к обороне...»

День 5 декабря 1941 года, без сомнения, еще долго будет притягивать к себе внимание военных историков. Возможно, что пропаганда противника, отрицая энергию немецкого командования, героизм немецких солдат и непоколебимую веру в них немецкого народа, будет с торжеством говорить о «чуде под Москвой», тем более что в эти первые дни декабря наступил кризис и в ходе наступления 2 танковой группы, двигавшейся с юга...

«Чуда под Москвой» не было, как, впрочем, не было чуда и в том, что немцы дошли до ворот Москвы. Был доходивший по сталинской формулировке до «моментов отчаянного положения» неблагоприятный для нас ход войны, о которой на восемнадцатый день ее Геббельс писал, что «война на Востоке уже выиграна. Трудности для нас представляет лишь пространство. Однако повторение наполеоновского случая невозможно». Была первоначально подготовленная двумя годами непрерывных побед на Западе и укрепившаяся за первые полгода войны на Востоке ложная уверенность в своей непобедимости.

И когда не «чудо», а постепенно подготовлявшийся поворот в ходе войны произошел, когда «повторение наполеоновского случая» оказалось возможным, то масштабы происшедшего, как я уже говорил, потрясли и наше собственное сознание, странно было бы отрицать это. Однако, разумеется, они еще больше потрясли сознание германских войск, еще вчера находившихся в 32 километрах от Кремля.

И именно поэтому слова «чудо под Москвой» впервые появились из-под пера германских генералов, а не из-под пера тех представителей «пропаганды противника», к числу которых принадлежал тогда и я.

Перечитав сейчас последнюю написанную мною в 1941 году и тогда же, в последний день этого года, напечатанную в газете статью «Июнь—декабрь», я не нашел в ней слова «чудо». Нашел более близкое к действительности слово «перелом» и попытку объяснить смысл этого слова — дистанцию между июнем и декабрем.

И я надеюсь, что нынешний читатель не посетует на меня, если, завершая этот первый том моего дневника, я на предпоследней его странице приведу несколько абзацев из своей статьи, напечатанной в последний день 1941 года в «Красной звезде».

Вот эти абзацы, которые дороги мне близостью публичного разговора с тогдашним военным читателем на страницах военной газеты к тому разговору с самим собой, который я вел на страницах дневника:

«...Я вспоминаю сейчас первые тяжелые июньские и июльские дни, первые жестокие неудачи и уроки, кровавые дороги, по которым мы отступали и по которым теперь идем обратно. И ныне с особенным чувством гордости и благодарности произносишь имена людей, которые тогда были душою наших войск, глядя на которых тогда, в тяжелые дни, верилось, что это кончится, что мы победим и вернемся, непременно победим и вернемся. Мы не знали, когда это будет, но, глядя на них, знали, что непременно будет.

...Как переменялись фронтовые дороги! Я никогда не забуду Минского шоссе, по которому шли, бесконечно шли беженцы. Они шли в чем были, в чем вскочили с кровати, неся в руках маленькие узелки с едой, такие маленькие, что непонятно, что же они ели эти пять, десять, пятнадцать суток, которые шли по дорогам. Над шоссе с визгом проносились немецкие самолеты. Теперь они так не летают. Они не смеют и не могут. Но тогда были дни, когда они летали низко, как будто хотели раздавить тебя колесами. Они бомбили и обстреливали дорогу. Не выдержав, беженцы уходили с кровавого асфальта в глубь леса и шли вдоль дороги, по обеим ее сторонам, в ста шагах от нее. На второй же день немцы поняли это. Теперь группы их самолетов шли не прямо над дорогой, они шли немножко в стороне, по сторонам от дороги, приблизительно в ста шагах от нее, и ровной полосой клали бомбы там, где, по их расчетам, двигались люди, свернувшие с дороги.

Я помню деревни, в которых нас спрашивали:

— Вы не пустите сюда немцев? А? — и заглядывали в глаза. Спрашивали:

— Скажите, может, нам уже уезжать отсюда? А? — и снова заглядывали нам в глаза.

И было, кажется, легче умереть, чем ответить на этот вопрос.

Я не мог прежде вспомнить об этом, потому что было слишком тяжело, но сейчас я вспоминаю об этом, потому что я прошел и проехал назад, на запад, уже по многим из тех дорог, по которым мы когда-то уходили на восток.

Произошла гораздо более важная вещь, чем взятие десяти или двадцати населенных пунктов. Произошел гигантский перелом в психологии наших войск. Армия научилась побеждать...»

Цитирую все это по лежащему передо мною старому номеру «Красной звезды» за 31 декабря 1941 года.

Научились побеждать... Сейчас мне, как и всякому человеку, знающему дальнейший ход войны, ясно, что эти слова были сказаны тогда с излишней поспешностью.

Точней было бы сказать — учились. И продолжали учиться еще и в сорок втором и в сорок третьем году.

И слово «перелом» при всей его выстраданности, при всей действительной силе контраста между июлем и декабрем сорок первого года тоже было бы точнее заменить словами: «начало перелома».

Так это потом и сделали наши военные историки.

Но тогда я не был достаточно дальновиден для такой формулировки.

Генерал-полковник Хёпнер в заключение того, датированного декабрем 1941 года документа, который я уже цитировал, в последний раз перед снятием и разжалованьем обращаясь к своим войскам, писал:

«С сознанием нашей силы, наших возможностей и нашей воли вступаем в 1942 год!»

Наступивший сорок второй год сначала, под Керчью и под Харьковом, жестоко обманул в наших ожиданиях нас, а потом еще более жестоко — под Сталинградом — немцев.

Обо всем этом и пойдет речь в следующем томе дневника.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗНЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

Дневник писателя. Том I

| | |
|----------------------------|---|
| <i>От автора</i> | 5 |
| Сорок первый | 9 |

Симонов К. М.

С 37 Собрание сочинений. В 10-ти т. — М.: Худож. лит., 1979. —

Т. VIII. Разные дни войны: Дневник писателя.
Том первый: 1941 год. 1982. 479 с.

Настоящий том составили военные дневники К. М. Симонова, в то время корреспондента «Красной звезды», охватывающие события 1941 года.

С $\frac{4702010200-126}{028(01)-82}$ подписное

P2

**Константин Михайлович
Симонов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том VIII**

Редактор
Т. Аверьянова
Художественный редактор
Е. Есенико
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Т. Сидорова и Н. Усольцева

ИБ № 2441

Сдано в набор 29.04.81. Подписано к печати 26.02.82. Л01050. Формат 61×84¹/₁₆. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,99. Усл. кр.-отт. 27,99. Уч.-изд. л. 31,27. Изд. № 111-251. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1909. Цена 2 р. 10 к.

**Ордена Трудового Красного Знамени
издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19**

**Ордена Октябрьской Революции, ор-
дена Трудового Красного Знамени
Ленинградское производственно-тех-
ническое объединение «Печатный
Двор» имени А. М. Горького Союз-
полиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательства,
полиграфии и книжной торговли.
197136, Ленинград, П-136, Чкалов-
ский пр., 15**

2р.10к.